А
Л-36

В. Д. ЛЕВИН

ОЧЕРК СТИЛИСТИКИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX в.

ЛЕКСИКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

РЯ - серия - фильмы



59312

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

В. Д. Левин

Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в.

(Лексика)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва 1964

Настоящая работа выполнена в секторе истории русского литературного языка Института русского языка Академии наук СССР и примыкает к подготовленной сектором серии исследований по исторической грамматике и лексикологии русского литературного языка конца XVIII—XIX вв.

Автор пользуется случаем, чтобы выразить благодарность всем товарищам по работе и особенно заведующему сектором доктору филологических наук Н. Ю. Шведовой за оказанную ему советами и замечаниями помощь.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
академик В. В. ВИНОГРАДОВ

9
Л-36
БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА
ИН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР
59312

Светлой памяти
Григория Осиповича
Винокура

Введение

В истории лексики литературного языка любого периода его развития можно выделить два основных процесса: один заключается в изменении самого словарного состава языка, прежде всего в появлении новых слов; другой определяет судьбу существовавших ранее в языке слов, изменение их стилистической окраски, стилистической характеристики.

Этот второй процесс может в определенные периоды отражать не только историю отдельных слов, но и «перемещения» целых серий слов из одного стиля литературного языка в другой, а нередко и появление новых для литературного языка стилистических категорий. В таких случаях изменения стилистического характера слов связаны с развитием стилистической системы литературного языка в целом.

Стилистические изменения в литературном языке, перемещения в сфере употребления тех или иных лексико-стилистических групп, — все это в конечном счете отражается и на самом составе литературного языка, заключаясь в выходе некоторых групп лексики из литературного употребления или, напротив, в вовлечении в литературный обиход слов из внелитературного просторечия, диалектов, профессиональных жаргонов.

Значение и роль названных выше двух процессов, их соотношение — различны в разные периоды истории литературного языка.

В периоды, характеризующиеся серьезными, глубокими изменениями в самой системе литературного языка, в системе литературных норм, явления стилистического порядка приобретают основное значение, отражая наиболее существенные процессы истории литературного языка данного периода.

«Вопрос о закономерностях развития литературного языка в новый и новейший периоды связан с вопросом о соотношении языковых норм со стилистическими их вариантами» [1].

[1] [В. В. Виноградов, Н. И. Конрад, М. С. Гурычева]. Вопросы советской науки. Проблема образования и развития литературных языков. М., Изд-во АН СССР, 1957, стр. 16.

Настоящая работа посвящена исследованию стилистических изменений в области лексики русского литературного языка конца XVIII—начала XIX в., периода, характеризующегося резкими сдвигами в стилистической системе литературного языка, периода, в который подготавливался новый этап развития литературного языка, ознаменованный гением Пушкина.

Главное внимание в работе уделено процессам конца XVIII в. — 80—90-х годов, так как с этого времени начинается история русского литературного языка нового времени. Именно в этот период достаточно прояснились те тенденции, которые получили дальнейшее развитие в XIX в. Качественное своеобразие этого периода может быть понято, однако, только при сравнении с состоянием русского литературного языка предшествующей поры. Это заставило автора обратиться также и к явлениям «докарамзинского» периода [2].

Возвращаясь к вопросу о двух названных ранее процессах в истории литературных языков, надо сказать, что рассмотрение этих процессов относится к разным научным дисциплинам. Первый является предметом исторической лексикологии, составляющей вместе с исторической фонетикой и исторической грамматикой историю языка. Второй составляет предмет так называемой «истории литературного языка». Выделение истории литературного языка как самостоятельной научной дисциплины — одно из крупных достижений исторического языкознания нашего века, в развитии которого особенно значительна роль советских ученых — особенно В. В. Виноградова, Л. А. Булаховского, Л. П. Якубинского, Б. А. Ларина, С. П. Обнорского, Г. О. Винокура.

Применительно к русскому языку разграничение этих исторических дисциплин наиболее плодотворно сказалось на исследовании древних периодов развития языка, несмотря на то, что само понятие «литературный язык» для этого времени является не вполне определенным. Во всяком случае, для этого периода очевидно несовпадение этих дисциплин — как, частично, по исследуемому материалу, так и по методу исследования, по самому подходу к этому материалу, взгляду на него. Выдвижение на первый план проблемы языкового употребления, отбора языкового материала в различных сферах его применения, стилистической функции этого материала, а отсюда и специфически поставленной проблемы нормы или системы норм употребления языка — что

---

[2] Явления предпушкинской поры рассматриваются в книге в самом общем виде, в основном в плане их отношения к традициям предшествующего периода и отчасти как подготовка пушкинских преобразований. Язык Пушкина не затрагивается в работе. Он явится предметом специального исследования — коллективной монографии, подготавливаемой в Институте русского языка (с участием и автора настоящей книги). В предполагаемой работе будет более детально описан и предпушкинский период в развитии литературного языка.

и составляет сущность «истории литературного языка» в отличие от «истории языка»[3] — находит отражение не только в ином охвате материала и не только в иной его группировке, но и в иной оценке языковых фактов; в условиях неравномерного развития живой, разговорной и письменной, книжной речи неизбежна и различная датировка языковых процессов в зависимости от того, имеется ли в виду история народно-разговорного или литературного языка.

Менее очевидна необходимость разграничения «истории языка» и «истории литературного языка» для более близких к нашему времени периодов, когда происходит сближение или даже совпадение самого материала исследования этих двух историко-лингвистических дисциплин. Само разграничение терминов становится непонятным, поскольку вся история языка, если не считать обособившейся от нее диалектологии, замыкается в рамках литературного языка. Однако и при этом сохраняется различие в точке зрения на материал и, следовательно, в методе его исследования. И для этого времени специфику «истории литературного языка» составит стилистический аспект рассмотрения языка, в силу чего и сама эта дисциплина может быть названа исторической стилистикой[4], что будет соответствовать членению дисциплин, занимающихся изучением современного литературного языка, где от фонетики, лексикологии, грамматики, ставящих своей задачей описание строя литературного языка, отграничивается стилистика, отличающаяся своими задачами, методами и категориями; так, именно в стилистике осуществляется исследование литературного языка как «. . .системы более или менее синонимичных средств выражения, так или иначе соотнесенных друг с другом»[5].

Стилистический подход определяет и специфическую группировку материала, которая ломает перегородки не только внутри некоторых формально-структурных категорий, но и между разными «уровнями» языковой структуры. Историческая стилистика в идеале должна охватывать и соотносить стилистически однородные явления независимо от того, относятся ли они к грамма-

---

[3] См.: В. В. Виноградов. О задачах истории русского литературного языка, преимущественно XVII—XIX вв. «Известия АН СССР, ОЛЯ», 1946, т. V, вып. 3, стр. 223 и сл.; Г. О. Винокур. О задачах истории языка [1941]. Избр. работы по русск. языку. М., 1959, стр. 221 и сл.; Р. И. Аванесов. О некоторых вопросах истории языка. — Сб. «Академику В. В. Виноградову к его шестидесятилетию». М., Изд-во АН СССР, 1956, стр. 16—17; Н. С. Поспелов. О трех аспектах исторического изучения языка. «Otázky slovanské syntaxe». Šbornik brněnské syntaktické konference 17—21. IV 1961. Spisy University J. E. Purkině v Brně. Filosofická faculta. Praha, 1962, стр. 128.

[4] См.: Г. О. Винокур. Указ. соч., стр. 221—222.

[5] Л. В. Щерба. Современный русский литературный язык. Избр. работы по русск. языку. М., 1957, стр. 121.

тике или лексике. Г. О. Винокур считает даже, что «построение стилистики по отдельным членам языковой структуры уничтожило бы собственный предмет стилистики», и отрицает поэтому правомерность и возможность внутреннего разделения стилистики на фонетику, грамматику, семасиологию (лексикологию) [6]. Трудно все же отрицать, что стилистическому исследованию практически могут подвергаться и отдельные звенья языковой системы — как охватывающие какой-либо ее уровень, так и более частные подсистемы (например, склонение существительных, структура сложных предложений и т. д.). Важно, однако, подчеркнуть, что такое изучение и описание в плане стилистики (в том числе и исторической стилистики) какой-либо одной стороны языка невозможно без проекции на общую систему стилей литературного языка рассматриваемого периода. Не давая законченной характеристики ни одного стиля литературного языка (поскольку здесь не охвачены все его стороны), такое исследование должно раскрыть — в пределах изучаемого явления — отношения, существующие между разными стилями языка. Этим объясняется, что настоящая работа, будучи посвящена только словарному составу, в то же время затрагивает и общие вопросы, касающиеся состояния стилистической системы языка в целом, рассматривает пути и тенденции ее развития.

Среди таких общих вопросов развития стилистической системы русского литературного языка второй половины XVIII и начала XIX в. особую важность приобретает вопрос о месте в этой системе языка художественной литературы.

Исследователю истории литературного языка нового времени необходимо решить для себя вопрос о границах, способах и методах использования материала, извлеченного из художественной литературы. Очевидно, что этот материал не может не привлекаться к изучению, но в то же время исследователь, которого интересуют общие процессы развития литературного языка, должен учитывать специфику этого материала. Относительно легко, по крайней мере в теории, решается этот вопрос в тех случаях, когда имеются в виду такие факты языка, которые никак не связаны специально с языком художественной литературы. Можно было бы этим и ограничиться, признав все остальное имеющим только индивидуально-художественное значение и не относящимся к компетенции историка литературного языка. Однако такое решение вопроса пригодно не для всех периодов в истории литературного языка и языка художественной литературы. Оно в значительной степени закономерно (хотя и с некоторыми оговорками) для пе-

---

[6] Г. О. Винокур. Указ. соч., стр. 224; см. также в названной ранее статье Н. С. Поспелова, где говорится об истории литературного языка как о «своеобразном синтезе лексики, морфологии и синтаксиса» (стр. 128).

риода развитой реалистической литературы, где само выражение «язык художественной литературы» несколько сомнительно, означая в общем способы употребления средств литературного языка и различных нелитературных элементов в художественных произведениях. Здесь трудно говорить о каких-то устойчивых приметах языка художественной литературы, и поэтому он несоотносителен с функциональными разновидностями, стилями литературного языка. Индивидуальный стиль писателя или художественного произведения здесь соотнесен, грубо говоря, только с нормами литературного языка вообще [7]. Однако есть такие эпохи в развитии литературного языка и языка художественной литературы, когда отношения этих категорий носят иной, более сложный характер.

В пределах языкознания можно выделить три типа (или три аспекта) изучения языка художественной литературы. Язык художественной литературы может исследоваться как эстетическая категория, как индивидуальное «словесное искусство»; язык отдельного художественного произведения или произведений какого-либо писателя или целой литературной школы рассматривают в этом случае прежде всего в плане индивидуального стиля. Разумеется, такое исследование языка художественной литературы наиболее отчетливо противопоставлено проблемам собственно литературного языка. Общелитературный язык присутствует здесь только как фон, без которого невозможно восприятие художественного своеобразия произведения. Прямо противоположный характер носит анализ языка произведений художественной литературы только как отражения норм общелитературного языка. В этом случае литературно-художественное произведение рассматривается как любой иной памятник литературного языка; здесь не ставится никаких задач, связанных со спецификой художественной литературы, тем более с индивидуально-художественным стилем писателя. Более того, все такого рода специфические явления учитываются здесь только для того, чтобы исследователь мог изолировать и отбросить их, поскольку они мешают выявлению норм общелитературного языка. Названные два подхода к языковому материалу противопоставлены друг другу как два различных аспекта исторических исследований языка — как история языка художественной литературы (или, вернее, история индивидуально-художественных стилей) и история литературного языка. Смешение и взаимная подмена этих аспектов исследования недопустимы, поэтому стремление разграничить их в отношении

[7] Об этом подробнее см.: В. Д. Левин. О месте языка художественной литературы в системе стилей национального языка. «Вопросы культуры речи», I. М., 1955; Он же. О некоторых вопросах стилистики. — ВЯ, 1954, № 5; Он же. Язык художественного произведения. «Вопросы литературы», 1960, № 2; Он же. Некоторые задачи изучения языка Пушкина. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1963, № 6.

задач, методов и самого принципа отбора объектов необходимо и закономерно [8].

Однако возможен и третий аспект в изучении языка художественной литературы, соприкасающийся как с первым, так и со вторым из названных. Имеется в виду исследование того общего, что присуще в данный исторический период языку художественной литературы или отдельных ее видов — иногда лишь в рамках того или иного литературного направления — и не является ни фактом индивидуального стиля, ни свойством общелитературного языка. В этом случае художественная литература получает какую-то языковую характеристику, а язык литературы выступает как функциональная разновидность (или система разновидностей) литературного языка и тем самым попадает в сферу внимания не только историка стилистики художественной литературы, но и историка литературного языка. Характеристика языка художественной литературы выступает здесь как характеристика каких-то сторон самого литературного языка; в этом отношении рассматриваемый аспект исследования смыкается с историей литературного языка — или даже входит в нее как частная ее проблема — и резко отграничен от истории индивидуально-художественных стилей. В то же время здесь сохраняется проблема специфики языка художественной литературы в кругу других сфер употребления языка — и в этом отношении данный аспект исследования заметно отличается от того, который имеет своим предметом только общелитературный язык, и сближается с тем, который рассматривает язык литературы в плане словесного искусства. Здесь появляются, следовательно, точки соприкосновения и с эстетическими проблемами; эстетические категории, однако, носят здесь характер нормативный, «общехудожественный», рассматриваются с точки зрения установившихся в художественной литературе норм, а не индивидуально-стилистического своеобразия писателя или отдельного художественного произведения.

Таким образом, в данном аспекте преодолевается прямолинейное и безусловное противопоставление истории литературного языка и так называемой «истории языка художественной литературы». (Строго говоря только к нему и применимо это наименование — история языка художественной литературы — в отличие от истории индивидуально-художественных стилей.) [9]

---

[8] См. в докладе В. В. Виноградова на IV Международном съезде славистов «Наука о языке художественной литературы и ее задачи» о двояком понимании слова «язык» в выражениях «язык писателя», «язык художественной литературы», «язык художественного произведения» — как словесный «текст», частично отражающий систему национального языка, и в смысле «языка искусства». («IV Международный съезд славистов. Доклады советской делегации». М., 1958, стр. 7).

[9] См. об этом также в статье Е. Куриловича «Поэтический язык с лингвистической точки зрения»: Курилович отмечает здесь, что противопоставле-

Можно возразить, что поскольку и в этом случае мы имеем дело с художественно-мотивированным употреблением языковых средств, этот материал целиком должен остаться в рамках художественной стилистики. Однако, не говоря уже о том, что употребление л ю б о г о языкового факта в литературном произведении в принципе художественно мотивировано, надо иметь в виду, что характер этой мотивированности может быть существенно, принципиально различным в разных случаях. Это особенно очевидно тогда, когда рассматриваются элементы языка стилистически ярко окрашенные, находящиеся вне норм общелитературного языка. Историк литературного языка не станет специально рассматривать случаи, когда употребление такого слова или формы мотивировано т о л ь к о сюжетом произведения, кругом его персонажей, изображаемой эпохой, стилизованной или пародической формой произведения и т. д. Учет таких чисто характерологических средств может иметь косвенное, так сказать «негативное» значение при характеристике норм литературного языка, но рассмотрение такого рода фактов, их анализ и классификация не входят в задачу истории литературного языка. Иное дело те случаи, когда художественная мотивированность выражается в том, что употребление того или иного языкового средства, не будучи связано с характерологическими задачами, обусловлено в общем лишь потребностью выразить отношение повествователя к изображаемому. Очевидно, что в этом случае художественная мотивированность не препятствует рассмотрению этого материала как принадлежности самого литературного языка.

Дело не меняется от того, что такая именно форма проявления авторских эмоций и отношений оказывается в данный период свойственной только или преимущественно художественной литературе. Более того, установление этого факта чрезвычайно существенно для характеристики самого литературного языка, выработавшихся в нем стилистических отношений. Сказанное относится и к тем случаям, когда какие-либо языковые средства выступают как условность художественной речи вообще и не несут с собой никакой дополнительной экспрессии, кроме экспрессии художественности, поэтичности. В обоих случаях выделенные языковые средства не могут не рассматриваться как факт литературного языка; анализируя их, мы остаемся в рамках возможностей литературного языка, хотя и осуществленных лишь в одной из его разновидностей.

Эти три различных подхода к извлеченному из художественных произведений языковому материалу находятся между собой в раз-

---

ние о б и х о д н ы й (общий, potoczny) — п о э т и ч е с к и й не совпадает с противопоставлением о б щ е с т в е н н ы й — и н д и в и д у а л ь н ы й, а пересекается с ним (Е. К у р и л о в и ч. Очерки по лингвистике. М., 1962, стр. 423). К сожалению, русский переводчик этой статьи перевел potoczny как «разговорный», исказив тем самым смысл статьи.

ных отношениях на отдельных этапах истории литературного языка и литературы. Это обстоятельство прямо зависит от того, какое место занимает язык художественной литературы в стилистической системе литературного языка, какова его специфика на данном историческом этапе, в каком отношении находятся между собой в этот период такие категории, как общелитературное, общехудожественное и индивидуальное.

В настоящей книге затрагивается и этот вопрос — в той мере, в какой это необходимо для решения основных задач работы. Надо сказать, что эти задачи позволяют автору ограничиться лишь двумя последними аспектами рассмотрения языка литературы: 1) как материала для суждения о нормах общелитературного языка; 2) в плане исследования специфических особенностей этого материала как принадлежности художественной литературы. Индивидуальный стиль писателей изучаемого времени не является предметом настоящей работы, хотя некоторые вопросы, относящиеся к проблеме индивидуального стиля в его отношении к общелитературной и «общехудожественной» норме отчасти и затрагиваются.

Следует остановиться еще на одном вопросе, имеющем, как мне представляется, принципиальное значение для направления исследований в области исторической стилистики. Выше было сказано, что стилистический подход к изучению литературного языка обнаруживается в преимущественном интересе к нормам употребления языка, а не к его строю. В связи с этим как важнейший предмет стилистики выдвигаются речевые стили эпохи как внутренне организованная, нормированная система противопоставленных друг другу речевых «контекстов». Однако, было бы ошибочным полагать, что задачи исторической стилистики этим ограничиваются. Более того, это, очевидно, не может считаться основной и конечной ее задачей. Исследование р е ч е в ы х стилей, их состава и приемов их организации должно привести к характеристике стилей я з ы к а как совокупностей определенным образом стилистически окрашенных языковых средств [10]. Должны, следовательно, быть обрисованы стилистические пласты (в данном случае — лексики) внутри самого языка как знаковой системы. Стилистические свойства языковых фактов присущи им как элементам этой системы. Современнику они даны непосредственно; при обращении к прошлому мы определяем эти свойства лишь путем анализа речевого употребления.

---

[10] См.: М. В. П а н о в. О стилях произношения (в связи с общими проблемами стилистики). — Сб. «Развитие современного русского языка». М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 15.

Стилистическая характеристика лексики литературного языка второй половины XVIII в.
(„Докарамзинский“ период)

Недостаточность системы трех стилей и развитие „славяно-русского“ языка

§ 1. Стилистические отношения середины и — отчасти — второй половины XVIII в. определяются системой трех стилей, наиболее полное и последовательное теоретическое обоснование которой связывается с именем Ломоносова. Система эта характеризуется относительно строгой и устойчивой прикрепленностью стилистически окрашенных средств языка к определенным видам письменности или жанрам литературы.

Одной из характерных черт системы трех стилей, как она сложилась к середине XVIII в., является стилистическая замкнутость, стилистическое единство контекста. Лежащее в основе этой черты соответствие стилистических свойств языковых элементов «материи», предмету повествования или рассуждения надо понимать лишь как зависимость языка от темы повествования, общего содержания, куда входит и характер авторского восприятия этого содержания, проникающее все повествование настроение. «Давление стиля» определяет отбор языковых средств для всего контекста.

В литературе классицизма единство контекста охватывает обычно целое произведение, содержание которого определяется жанром; именно поэтому связь языка с изображаемой «материей» выглядит в этой литературе как жанровая условность. Отношение «язык — жанр» является, следовательно, лишь производным от отношений «язык — предмет» и «предмет — жанр».

Принцип стилистического единства контекста и четкая противопоставленность таких контекстов друг другу определяют тот факт, что применительно к этой системе можно говорить как о группах, совокупностях определенным образом окрашенных

языковых элементов (стили языка), так и о наличии внутренне организованной, нормированной системы речевых контекстов (стили речи). Ведь Ломоносов не только группирует по стилистическим признакам «речения» и грамматические формы, но и дает правила конструирования из них самих стилей, указывая, в частности, и на границы допустимых соединений слов из разных групп.

Основой системы, ее «душой» был средний стиль; поэтому существенным признаком этой системы является противопоставление высокого и низкого стилей среднему (а не противопоставление их друг другу).

При стилистической квалификации языковых элементов, если исходить из системы трех стилей, устанавливаются, таким образом, слова, формы, конструкции высокие (т. е. определяющие высокий стиль), низкие (т. е. определяющие низкий стиль) и нейтральные, общие.

При этом существенным оказывается то, что в пределах литературного языка отсутствовало противопоставление книжной и разговорной речи. Литературное — это книжное. Разговорная речь до самого конца XVIII в., или даже начала XIX в., не входила в систему литературного языка (хотя была социально дифференцированна). Поэтому для характеристики лексики литературного языка как нейтральной в данном случае несущественно совпадение или несовпадение с разговорной речью; она нейтральна по отношению к разным стилям литературного языка.

§ 2. Для понимания стилистической системы литературного языка ломоносовской поры и ее дальнейшего развития особенно важно определить место в этой системе языка художественной литературы.

В системе трех стилей, как она сложилась в середине XVIII в. в ее «классическом» виде, вопрос о специфике языка художественной литературы не выделяется (или выделяется очень слабо). В теоретических высказываниях Ломоносова, в его характеристике трех «штилей» художественная литература и другие виды письменности никак специально не разграничены. Теория Ломоносова имела в виду письменный литературный язык вообще, хотя она построена прежде всего на материале художественной литературы и — более того — возникла из ее потребностей. Действительно, к высокому стилю отнесены Ломоносовым не только оды, героические поэмы или те части трагедии, «где потребно изобразить геройство и высокие мысли», но также и «прозаичные речи о важных материях», куда практически относились не только «похвальные слова» — жанр, отчасти сближающийся с художественной литературой, — но и произведения высокой публицистики, и, отчасти, научная литература. В среднем слоге находим не только «описания дел достопамятных и учений благородных» (т. е. научные и исторические сочинения), но и «театральные со-

чинения», сатиры, эклоги, элегии или «стихотворные дружеские письма». Наконец, к произведениям низкого стиля, как известно, Ломоносов причислял не только комедии, эпиграммы, песни, но и «дружеские письма», и «описание обыкновенных дел»[1]. Употребление, отбор языковых элементов определяется их стилистическими качествами и соответствует стилистическим — но не непременно специфически художественным — задачам.

Вообще разграничения художественной и нехудожественной речи по языковому материалу не существует в письменности этого периода. Три стиля, таким образом, — это стили литературного языка, а не только языка художественной литературы. Отсутствие специфических языковых примет художественной литературы, отсутствие самой проблемы языка художественной литературы отдельно от проблем литературного языка в целом делают неправомерной саму постановку вопроса о том, имеем ли мы дело со стилями литературного языка или языка художественной литературы [2].

Впрочем, сказанное в полной мере относится только к высокому и среднему стилям. В низком стиле возникали отчасти и специфические вопросы языка художественной литературы. Дело в том, что высокие и низкие языковые средства не вполне соотносительны. «Высокие» элементы несут в себе определенную стилистическую экспрессию — и только. Они целиком в рамках и нормах литературного языка, образуя, так сказать, его верхнюю границу. Среди «низких» элементов языка важное место занимают такие, которые, собственно, и не входят в состав литературного языка. Это те слова, которые в системе Ломоносова оказываются вне «трех родов речений»: «. . .презренные слова, которых ни в каком штиле употребить непристойно, как только в подлых комедиях». Здесь, разумеется, есть некоторая непоследовательность: комедии входят в низкий стиль, следовательно, «презренные слова» — это слова низкого стиля; ведь слова типа *говорю*, *ручей*, *который*, *пока*, *лишь*, которыми у Ломоносова иллюстрируется «третий род» речений — такие, «которых нет в остатках славенского языка», — это слова нейтральные или смыкающиеся с ними. Не они создают стиль. Яркой и необходимой приметой низкого стиля были «простонародные низкие слова»: они определяют его своеобразие и отличают его — наряду с явлениями грамматическими — от среднего [3].

---

[1] М. В. Ломоносов. Предисловие о пользе книг церковных в российском языке. Полн. собр. соч., т. 7. М.—Л., 1952.

[2] Ср.: А. И. Ефимов. История русского литературного языка. Курс лекций. Изд. 3. М., 1957, стр. 161; Он же. Ломоносов и русский язык. М., 1961, стр. 45.

[3] При выделении этих слов непригодны современные критерии. Многое из того, что представляется нам диалектным или «простонародным», входило в обиходную речь образованного человека того времени.

Но «низкие» слова остаются за пределами литературной нормы. Их роль в произведении — чисто художественная, характерологическая [4]. Они всегда обусловлены характером носителя речи — «низкого» или комического персонажа комедии, рассказчика или героя сатирического повествования, притчи и т. д. — и противопоставлены речи положительных персонажей или автора как некой литературной норме. В этом принципиальное отличие от слов высоких, которые — независимо от того, принадлежат ли они автору (в оде, похвальном слове, поэме и др.) или герою (в трагедии, поэме), — всегда воспринимаются как факт литературного языка, являясь свойственным литературному языку средством выражения определенной экспрессии [5]. Принципиальное отличие в этом отношении высокой и низкой лексики обнаруживается и в характере оценок слога писателя. Критическое отношение к тем или иным словам высокой лексики, как правило, связано с пониманием самих норм литературного языка (или норм «штиля»). Что касается выступлений против низкой лексики (например, протесты И. П. Елагина, Н. П. Николева, Дмитревского против засилия простонародной лексики в комедии), то они указывают лишь на постепенный отход от условных и в то же время грубо-натуралистических приемов речи «низких» персонажей [6]. Эти замечания не связаны, обычно с иным пониманием норм литературного языка (что не исключает, разумеется, того, что некоторые явления языка, относящиеся к просторечию или простонародной речи, могут расцениваться различными лицами поразному).

Таким образом, за вычетом «простонародных низких слов», выполнявших главным образом чисто характерологическую, художественную функцию, словарный состав художественного произведения этого времени должен рассматриваться как свойственный тому или иному стилю литературного языка вообще.

---

[4] См. в этой связи замечание В. В. Виноградова о том, что за пределами художественной литературы «простой слог не умещался в объем понятия „литературности“ языка. В художественной литературе, — говорит далее В. В. Виноградов, — простой слог служил в основном для характерологической квалификации и классификации персонажей (особенно в языке комедии и разговорно окрашенной „низкой“ сатиры)» (В. В. Виноградов. Некоторые вопросы и задачи изучения истории русского литературного языка XVIII в. «Тезисы докладов на совещании по проблемам изучения истории русского литературного языка нового времени». М., 1960, стр. 4).

[5] Наличие в низком стиле характерологических средств вызывает иногда у литературоведов представление об элементах реалистического метода изображения персонажей в литературе классицизма. Представление это, разумеется, совершенно иллюзорно. Нельзя забывать, что сама эта характерологичность выступает как жанровая условность.

[6] См.: П. Н. Берков. О языке русской комедии XVIII века. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1949, т. VIII, вып. 1.

Таковы в самых общих чертах некоторые особенности системы трех стилей, расцвет которой приходится на середину XVIII в. — 40—60-е годы.

§ 3. Литературный язык конца XVIII — начала XIX в., в частности так называемый «новый слог», нередко соотносят непосредственно с системой трех стилей как она сложилась в ломоносовский период. Слабо учитываются процессы развития литературного языка во второй половине XVIII века. В лучшем случае говорят о нарушениях некоторых норм этой системы, выразившихся в смешении элементов разных стилей. Между тем эти процессы глубже и своеобразнее, они имеют самостоятельное значение, и без учета их трудно вполне отчетливо уяснить особенности и следующего, «карамзинского» этапа в развитии литературного языка.

Следует сказать, что даже в период своего расцвета система трех стилей не могла охватить все многообразие литературной — и вообще письменной — практики: ломоносовская теория «лишь закрепляла то, что определилось в результате предшествующего развития стилей художественной литературы, и не указывала путей развития новой стилистической системы, соответствующей многообразию функционально-речевых стилей национального литературного языка» [7]; сами нормы различных стилей практически не были абсолютными и вполне строго установленными, они могли, например, нарушаться в поэзии в связи с наличием так называемых «поэтических вольностей»; в приказно-канцелярской и отчасти ученой речи были еще живы следы старых, доломоносовских норм словоупотребления. Тем не менее общее регулирующее значение этой системы для середины XVIII в. бесспорно.

Но в дальнейшем, уже в 60—80-е годы недостаточность системы трех стилей стала обнаруживаться все более и более отчетливо. Начинают вырабатываться такие нормы употребления языка, которые не укладываются в эту систему. В связи с этим следует обратить внимание на замечания Карамзина, Дмитриева и других литераторов (а в XIX в. — и исследователей, например Я. К. Грота, А. Галахова) относительно так называемого «славянорусского языка». Карамзин даже считает возможным говорить здесь об особом периоде в истории «слога» (по существу, истории литературного языка): «Разделяя слог наш на эпохи, первую должно начать с Кантемира, вторую с Ломоносова, третью с переводов славяно-русских господина Елагина и его многочисленных подражателей, а четвертую с нашего времени, в которое образуется приятность слога»[8].

---

[7] В. В. Виноградов — «Тезисы докладов на совещании по проблемам образования русского национального языка в связи с образованием других славянских национальных языков». М., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 6.

[8] Н. М. Карамзин. Пантеон российских авторов. Князь Кантемир (1802). Соч., т. 1. СПб., 1848, стр. 577. См. также: И. И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь. М., 1866. стр. 85; Я. К. Грот. Карам-

«Славяно-русский язык» — это дальнейший этап на пути скрещения церковнославянской и русской стихий литературного языка. Он должен был ответить потребности в формировании более свободных, чем это предусматривалось теорией трех стилей, норм книжного литературного языка, особенно в тех жанрах и видах письменности, которые или не предусматривались этой теорией, или относились к среднему стилю, лишенному с самого начала внутреннего единства, — в теоретическом рассуждении, историческом и научном сочинении, переводах из античной и западноевропейской литературы. Теоретически здесь, как правило, предполагался средний стиль, но практически он оказался недостаточно богатым и недостаточно выразительным. Естественным было тяготение в этой литературе к высокому стилю, обладающему богатым арсеналом средств выражения «важного содержания».

Характеризуя наиболее типичные образцы этой разновидности русского литературного языка, можно заметить, что его синтаксис и лексика развиваются в разных направлениях.

Синтаксис «славяно-русского языка» — речь идет об общей структуре фразы и порядке слов — обнаруживает стремление отказаться от традиций высокого стиля; но в лексике этот «язык» отчетливо ориентируется именно на высокий стиль, практически превосходя наиболее типичные его произведения и «репертуаром» и частотой употребления «высоких», архаических слов; усиливаются старые, доломоносовские книжно-приказные традиции; сами неологизмы в многочисленных переводах этого времени звучат необычайно архаично, будучи созданы преимущественно на «славенской» основе.

В этом противоречии между синтаксисом и лексикой обнаружились трудности, стоящие перед русским литературным языком этого времени. Усложненный и инверсированный синтаксис высокого стиля препятствовал развитию литературного языка на национальной основе, препятствовал развитию самой литературы, шире — письменной культуры вообще [9]. Средний слог давал образцы более естественного и близкого к «употреблению», хотя тоже по существу книжного, лишенного красок живой речи, синтак-

---

зин в истории русского литературного языка. «Филол. разыскания», т. 1. Изд. 2. СПб., 1876, стр. 68—69, 74—75.

[9] Не следует все же преувеличивать результаты тех процессов, которые происходили в области синтаксиса. Отталкивание от традиций высокого стиля не привело в этот период к выработке устойчивых норм словорасположения и строения сложных конструкций. Синтаксис оставался тяжелым и необработанным: черты приказного слога, непреодоленные следы высокого слога совместились с «нескладицей» живого, но неупорядоченного синтаксиса. Не удивительно, что синтаксис карамзинской прозы выглядел на этом фоне как подлинная революция. В то же время у таких писателей, как Фонвизин, Новиков, уже явственно проступают признаки карамзинской фразы.

сиса; вообще высокий и средний стиль в своем синтаксисе достаточно отчетливо противопоставлены друг другу. Иное дело лексика. Книжные, в значительной степени архаические слова уже и раньше неизбежно проникали в некоторые жанры, относящиеся к среднему стилю. Многие «славенские» слова приобретают в научной литературе терминологическое значение, книжные словообразовательные элементы, как правило, широко используются при создании новой научно-философской терминологии. Книжная отвлеченная лексика была представлена также в речи положительных персонажей — резонеров в комедиях. Стародум в «Недоросле» употребляет, например, *движение раздраженного любочестия* [10], *лицеприятие*, *положить основание воспитанию*, *развращенный тиран* и т. д. Значителен слой такой лексики в речи персонажей комедий Сумарокова [11].

В «славяно-русском языке» объем такого рода лексики резко усиливается. Это был естественный процесс развития отвлеченной и терминологической лексики, и роль «славенского» элемента не могла не быть здесь значительной, даже решающей.

Но влияние высокого стиля проявляется и в усвоении собственно высокой лексики, функция которой была стилистической по преимуществу. В этой связи любопытно свидетельство Д. И. Фонвизина — его предисловие к осуществленному им в 1769 г. переводу романа Битобе «Иосиф». Фонвизин считает, что слог его книги, как и других книг такого рода, «должен быть такой, какого мы еще не имеем»; ведь «все наши книги писаны или славенским или нынешним языком», между тем как надо стремиться к тому, чтобы «держаться токмо важности славенского языка, но при том наблюдать и ясность нашего; ибо хотя славенский язык и сам собою ясен, но не для тех, кои в нем не упраж-

---

[10] *Любочестие*, *любочестивый* употреблялось в том же значении, что и *честолюбие*, *честолюбивый*. Непонятно, на чем основано определение *любочестивый* в первом издании Словаря АР («Словарь Академии Российской, производным порядком расположенный», ч. I—VI. СПб., 1789—1794) «любящий воздавать честь другому» и, соответственно, *любочестие* (с пометкой «сл[авенское»])» как «любление воздавать честь другому». Такое значение не подтверждается ни одним другим словарем и употреблением в литературе; любопытно, что и в «Аналогических таблицах», послуживших основой для Словаря АР ([Предварительные таблицы для Словаря русского языка], ч. 1—5. [СПб., 1784—1787]), *любочестивый* соотнесено с *честолюбивый*. Очевидно, здесь налицо неудавшаяся попытка искусственного разграничения двух групп слов. Во втором издании Словаря АР («Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. Вновь пересмотренное, исправленное и пополненное издание», ч. I—VI. СПб., 1806—1822; далее ссылки на второе издание оговариваются особо) *любочестие* и *любочестивый* объяснены уже как *честолюбие* и *честолюбивый* (правда, в *любочестивый* дано и второе значение: «в сл[авенском]: щедрый», с примером из церковной литературы).

[11] См.: А. Т. Кунгурова. Лексика комедий А. П. Сумарокова. (Канд. дисс., рукопись). М., 1954.

593.12
БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА РУССКОГО ЯЗЫКА
АКАДЕМИИ НАУК СССР
www.ruslang.ru

няются»[12]. Г. О. Винокур, первым, кажется, обративший внимание на эти слова Фонвизина, замечает, что «здесь очень точно указано на возникшую у русской литературы потребность в таком языке, который, с одной стороны, не был бы так тривиален и фамильярен, как язык повседневный, но, с другой стороны, не очень бы сильно отличался от повседневного языка своей высотой и книжностью»[13]. Можно было бы добавить, что здесь отчасти объясняется и отмеченное выше расхождение в развитии синтаксиса и лексики: требование ясности слога предполагало отказ от сложных синтаксических построений, характерных для прозы высокого стиля. В то же время «славенская» лексика создавала необходимую «важность»: «Приходили мне на мысль наши нынешние слова и речения, и весьма употребительные в сообществе, — говорит Фонвизин о своих поисках в переводе «Иосифа», — но не зная примеру, оставлял я оные, опасаясь того, что не довольно изобразят они важность авторской мысли»[14]. Отсюда необходимость обратиться к словам «славенским», которые, будучи по отношению к структуре языка фактом внешним, не препятствовали сохранению «ясности». Разумеется, и здесь возникают свои трудности: объем отобранной славянской лексики имеет свои границы. «Множество приходило мне на мысль славенских слов и речений, которые, не имея себе примера, принужден я был оставить, боясь возмутить ясность, или тронуть нежность слуха»[15].

§ 4. Таким образом, книжно-литературный язык стремится поглотить весь фонд книжной, в том числе и специфически высокой лексики. Это относится и к художественным произведениям типа только что упоминавшегося романа «Иосиф» (или — позднее — романов Хераскова), и ко многим произведениям исторического и научного жанров — таким, где требовалось подчеркнуть «важность» содержания. Это не было чем-то совершенно новым и неподготовленным: еще в ломоносовский период отмечаются некоторые признаки распространения высокого слога на научную, философскую, историческую литературу; пользуясь терминологией Ломоносова, можно сказать, что «описание учений благородных» (это относится у Ломоносова к среднему стилю) легко переходило в «речи о важных материях», что принадлежит уже стилю высокому. Средний стиль уже в то время, следовательно, отчасти смыкался или сближался с высоким. Очевидно, имея в виду именно этого рода факты, акад. В. В. Виноградов говорит о «стиле научного рассуждения» и «историческом стиле» в пределах высокого

---

[12] Д. И. Фонвизин. Собрание сочинений, т. 1. М.—Л., 1959, стр. 443—444. См. также: Н. И. Новиков. Опыт исторического словаря. Избр. соч. М.—Л., 1951, стр. 359.

[13] Г. О. Винокур. Русский язык. Исторический очерк. Избр. работы по русск. языку, стр. 33.

[14] Д. И. Фонвизин. Указ. соч., стр. 444.

[15] Там же.

стиля [16]. Для ломоносовской поры это, однако, лишь частность, не нарушающая общих норм господствующей стилистической системы; позднее это — отражение новых тенденций развития, приведших к серьезным сдвигам в самой этой системе.

И современники, и позднейшие исследователи воспринимали эти явления как процесс архаизации языка. Известна характеристика книжного языка послеломоносовского периода, принадлежащая И. И. Дмитриеву:

«Историю нашей словесности можно разделить на два периода. Первый, по моему мнению, продолжается до последнего десятилетия царствования Екатерины Второй. В начале его три словесника покушались приближить... книжный язык к употребляемому в обществах. Князь Кантемир начал, и с довольным успехом; Тредьяковский хотел перещеголять его, и за недостатком разборчивости, составил такой слог, который смешил даже и современников. Потом Ломоносов, одаренный превосходным гением, очистил книжный язык от многих слов, обветшалых и неприятных для слуха; подчинил его законам исправленной им грамматики; предложил в риторике своей правила для соблюдения плавного словотечения; и хотя советовал пользоваться чтением церковных книг, но сам начал писать чистым русским языком, понятным каждому состоянию, и заслужил славу первого преобразователя отечественного слова». Среди писателей ломоносовской школы, отличавшихся «плавностию или исправностию слога», И. И. Дмитриев называет Д. И. Фонвизина, А. М. Кутузова, И. П. Елагина, С. А. Порошина, а из более поздних — А. С. Шишкова.

И далее: «Впоследствии времени захотели сами быть начальниками (т. е. зачинателями. — *В. Л.*) школы Елагин и Фонвизин. Первый обратился к *славянчизне*: перевел почти по-славянски «Похвальное слово Марку Аврелию», известного французского оратора Томá; другой, хотя и с большим вкусом, полагал, будто в высоком слоге надлежит мешать русские слова с славянскими и для благозвучия наблюдать некоторый размер, называемый у французов кадансированною прозою; по этой методе переложил он Иосифа, прозаическую поэму г. Битобе, и то же самое «Похвальное слово Марку Аврелию». Последователи их захотели перещеголять своих учителей и уже начали еще более употреблять славянские речения и обороты» [17].

[16] См.: В. В. Виноградов. Вопросы образования русского национального литературного языка. — ВЯ, 1956, № 1, стр. 19.

[17] И. И. Дмитриев. Указ. соч., стр. 84—86. — Указание на пристрастие к ритмизованной, «кадансированной» прозе не противоречит сказанному выше о тенденциях развития синтаксиса «славяно-русского языка». Это один из путей отхода от сложной и труднообозримой ломоносовской фразы. Ведь пристрастие к ритмической прозе питал и Карамзин, провозгласивший сближение языка письменности с «употреблением», речевой практикой общества.

А. А. Бестужев-Марлинский говорит о книжном языке до Карамзина, что это был язык «звучный, богатый, сильный в сущности, но уже отягчалый в руках бесталантных писателей и невежд-переводчиков» [18]. Заслугу Карамзина он видит в «преобразовании» этого книжного языка.

Вот еще одно, менее известное, свидетельство К. Н. Батюшкова. В его записных книжках сохранился план книги об истории русской словесности; отдельным пунктом даны «Болтин, Елагин, историки, переводчики» — и далее: «Господствование французской словесности и вольтерианизм. *Желание воскресить старинный язык русский. Несообразности*» [19]. См. еще замечания известного исследователя русского литературного языка XVIII и XIX вв. Я. К. Грота: «Последователи Ломоносова, усвоив себе его уважение к церковнославянским книгам, но не обладая его сдержанностью в обращении с языком, обезобразили письменную речь злоупотреблением славянизмов» [20].

Эта архаизация литературного языка основана прежде всего на расширении сферы употребления «славенской» лексики, усилении ее места и роли в литературном языке. Можно было бы сказать, что это была архаизация среднего стиля, если бы, как увидим далее, само понятие среднего стиля в это время не наполнялось новым содержанием.

Разумеется, и в это время писали по-разному, более книжно и менее книжно, ближе к традициям среднего стиля и почти теряя границу между средним и высоким; это можно обнаружить в произведениях одного и того же автора (ср., например, перевод И. И. Лепехина «Всеобщей естественной истории» Бюффона и его же «Дневные записки»); но это не противоречило общей тенденции развития лексики литературного языка.

Место и роль „славенской“ лексики в литературном языке второй половины XVIII в.

§ 5. Литературный язык последних десятилетий XVIII в. обладает большим фондом книжной «славенской» лексики. Сфера ее употребления очень широка. Она по-прежнему служит средством создания высокого «парения», средством возвышения к «важному великолепию» в произведениях, традиционно относящихся к высокому стилю, — одах, поэмах, похвальных словах, трагедиях, в произведениях церковного красноречия и др. Как естественное

[18] А. А. Бестужев-Марлинский. Взгляд на старую и новую словесность в России. Соч., т. 2. М., 1958, стр. 527.

[19] К. Н. Батюшков. Сочинения. М., 1955, стр. 396 (курсив мой. — *В. Л.*).

[20] Я. К. Грот. Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля. «Филол. разыскания», т. I, стр. 3.

развитие тех же традиций можно рассматривать употребление этой лексики в «высоких», риторических частях тех произведений, которые не относились к высоким жанрам; таковы, например, многие места в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева.

Смешение элементов разных стилей часто рассматривается как важнейший процесс в истории русского литературного языка второй половины XVIII в. Действительно, такое смешение нарушает один из важнейших принципов системы трех стилей — стилистическое единство, стилистическую замкнутость произведения. Но надо различать смешение разностильных элементов как результат ослабления их стилистических свойств в литературном языке — вообще как явление истории литературного языка — и совмещение, объединение в одном произведении разностильных контекстов как осознанный прием.

Там, где есть сознательный отбор, тем более — сознательное противопоставление, столкновение слов разной стилистической окраски, нельзя говорить о смешении. Здесь особенно остро ощущаются стилистические свойства языковых средств, возникает яркий стилистический эффект. Это может быть комический эффект, как, например, в ирои-комической поэме, в пародии, сатире [21]. Но такое объединение может и не носить комического характера, будучи художественным приемом, обусловленным совмещением в произведении разных тем, разных экспрессий.

Когда еще в 80-е годы XVIII в. говорили о державинской «Фелице», что «сие сочинение, как всем известно, писано совсем иным слогом, как прежде такого рода стихотворения писывались» [22], то имели в виду тот «забавный слог», то соединение торжественного и простого, обыденного, которое действительно было новостью, но, разумеется, это не означало ни изменения состава, материала литературного языка, ни изменения стилистических свойств этого материала. См. замечание самого Державина в его «Рассуждении о лирической поэзии»: «Итак гимн и ода заимствуют свое наречие, свои краски, свою силу от воспеваемого ими предмета; но никогда площадных или простонародных слов себе не дозволяют, разве в таком роде будут писаны» [23].

Соединение разностильных контекстов у Радищева — такого же рода, оно стилистически мотивировано. Можно сослаться, например, на одно из поздних сочинений Радищева, составленное им в 1800 и 1801 гг. описание своего имения, где говорится «о земле и о всем, до того принадлежащем, о крестьянах, на оной живущих, . . . о способах к лучшему хозяйству» и под. Написано оно в виде письма и носит шутливое заглавие: «Вот описание моего

[21] См., например, пародическое использование текста «пиимы» Тредьяковского «Телемахида» в «Памятнике дактило-хореическому витязю» Радищева.

[22] «Собеседник любителей российского слова», 1784, ч. XVI, стр. 6.

[23] Г. Р. Державин. Сочинения, т. 7. Изд. 2. СПб., 1878, стр. 536.

владения, поместья, вотчины, деревни или назови как хочешь» [24]. Естественно, что написано это сочинение просто, обыкновенным, простым слогом. Но вот отрывок из этого описания: «Сия серая поверхность поля, возделанная и утучненная, покрывается густою зеленостию, которая издали взору, бродящему по ней, представляет величественно распростертый ковер, какой очам всесильного явила юная природа, на произведение любовью его воспаленная; и возрастая до совершенствования семени, зеленое былие желтеет. Зри, — восстав, дух бури несется по поверхности нив, колеблет желтые злаки и оку очарованному океан представляет белокурый, на коем зрение тем паче услаждается, что зрит тут исполнившуюся уже надежду возделателя и совершившуюся благодать природы на его прокормление. Настал день жатвы. И се при востечении денного светила зрится в селитьбах [25] мирная тревога. Селяне оставляют дома свои и вышед, яко сильное ополчение, из-за оград жилищ своих, распростираются по нивам своим, где согбенны до земли и в поте лица своего подсекают волнующуюся жатву. . . паки собрашася вкупе, возвращаются; торжественные гласы (очевидно, ошибка: надо *глася* — *В. Л.*) песни, победили убо скупую, но равно и милующую природу, и надежные в прокормлении своем, восприемлют, возвратяся в дома, птенцов своих на лоно свое. Блаженны, блаженны, если бы весь плод трудов ваших был ваш. Но, о горестное напоминовение! ниву селянин возделывал чужую и сам, сам чужд есть, увы!».

Это описание заметно выбивается из общего стиля сочинения, и это отчетливо осознается автором: он сам рассказывает, как «поминовение» об этом поле «исторгло сие стихотворческое изображение».

«Стихотворческий», т. е. эмоциональный, возвышенный характер этого описания создается, разумеется, не только лексикой, но и всем образным строем отрывков; однако бесспорно, что отбор «славенских» слов и их сконцентрированность играют здесь решающую роль [26]. Такое «смешение» не разрушает, а скорее под-

---

[24] А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. 2. М.—Л., 1941, стр. 171 и сл.

[25] *Селитьба* — здесь в значении «поселение», «жилище». Но в Словаре АР *селитьба* толкуется только как «действие поселяющего»; возможно, что Радищев смешал здесь два слова — *селитьба* и *селитва*; последнее в Словаре АР толкуется как «жилище, обиталище», с пометой «сл[авенское]». В «Аналогических таблицах» тоже даны оба слова, причем *селитва* объясняется как селение (и тоже с пометой «славенское»), а *селитба* (sic!) никак не определено; в экземпляре Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина к этому слову сделана приписка (явно того же времени, как и все другие приписки в этом экземпляре) — habitation, которая не проясняет дела, так как могла означать и «обитание», «жительство» и «жилище».

[26] Слова о «стихотворческом изображении» не случайны у Радищева, как и у других писателей этого времени, например, у М. Н. Муравьева, Д. И. Фонвизина. Дело в том, что уже в середине XVIII в. и даже рань-

черкивает стилистические свойства слов. Это можно сказать и относительно языка «Путешествия из Петербурга в Москву».

Г. О. Винокур писал, что в объединении разных стилей в «Путешествии. . .» нет «никаких отступлений от стилистических норм классицизма, если не считать отступлением соединение разных литературных стилей в одном переплете вследствие новости самого жанра». И далее: «Три стиля речи, заповеданные русской литературе Ломоносовым, нигде не сливаются у Радищева в одно целое, и каждый отдельно несет свою особую функцию» [27].

§ 6. Несмотря на нетрадиционность жанра, употребление славянизмов в «Путешествии. . .» Радищева в общем традиционно в том смысле, что здесь сохраняется вполне осознанная живая связь между содержанием текста, его «материей», и языком. Отсутствие стилистического единства произведения в целом в данном случае только подчеркивает эту традиционность. Но независимо от этого, и «Путешествие. . .» обнаруживает признаки изменения тех стилистических отношений, которые выработались в системе трех стилей. Обратимся, например, к главе «Крестьцы». Вот как напутствует крестицкий дворянин отъезжающих на военную службу сыновей: «Воссядите и внемлите моему слову еже прибывать во внутренности ваших душ долженствует»; « с неизреченным удовольствием зрю слезы ваши, орошающие ланиты вашего лица. Да отнесет сие души вашей зыбление совет мой во святая ее, да восколеблется она при моем воспоминовении вождаем собственныя корысти побуждением»; «итак изжените из мыслей ваших, что вы есте под властью моею»; «образ мой преследуя нарушителю союза нашея дружбы, поженет его в сокровенности его и устроит ему казь несносную, дондеже не возвратится к союзу»; «даждь, всещедрый, сего да не узрю, отошед в недра твоя сии предворяй»; «не имеете казистого восшествия» (т. е. красивой, изящной по-

ше славянизмы высокого стиля встречаются как поэтические вольности в средних стихотворных жанрах, таких, как элегия эклога, песня. Так, в элегии Сумарокова, написанной по поводу смерти актрисы Троспольской, найдем такие строки: «Прекрасна женщина и Мельпомены дщерь»; «и хладны уж ее младые члены»; «Восплачь, восплачь о той со мной и воспечались» и под. См. также в песнях Сумарокова: «О места, места драгие!»; «По долине сей текущи, Воды слышали твой глас»; «Пойте днесь мою печаль, что, лишась его, я стражду»; («О места, места драгие»); «Сама воспламенила мою ту хладну кровь» («Сокрылись те часы») и т. д. Эти явления, связанные со своеобразием стихотворной речи, также не затрагивали основ стилистической системы, хотя и знаменовали собой начало важного в дальнейшем процесса стилистического преобразования определенных слов «высокой» лексики в лексику «поэтическую». Впрочем, можно указать здесь и на связь с языком песен начала XVIII в.

[27] Г. О. Винокур. Русский литературный язык во второй половине XVIII века. Избр. работы по русск. языку, стр. 160. Надо, впрочем, заметить, что те процессы развития книжного языка, о которых шла речь выше, коснулись и языка Радищева, особенно такого его произведения, как «О человеке, его смертности и бессмертии», а отчасти и «Путешествия. . .» (об этом см. ниже).

ходки); «если благодетельное лишение внешних чувствований, сон, удалится от твоего возглавия и не возможешь возобновить сил разумных и телесных — беги из чертогов твоих, и, утомив члены до усталости, возляги на одре твоем и почиешь во здравие»; «яко же шественник, отдаляяся среды стези, вдается опасности ввергнутися в тот или другой ров»; «возобновите слуху вашему глаголы наши и взаимные лобызания»; «во младом человеке не токмо щегольство преходящее простительно, но и всякое почти дурачество» и т. д. — так написано почти все поучение от начала до конца. Оно обрамлено таким же высоким, патетическим авторским описанием прощания отца с сыновьями: «Друзья мои, — сказал отец, — сегодня мы расстанемся, — и, обняв их, прижал возрыдавших к перси своей»; «Вещавшу сию старцу, юношеский румянец покрыл сморщенные ланиты его». Самый портрет дворянина выдержан в том же стиле: «Редкие седины едва пробивались сквозь светлорусые власы главы его. . . Нежная улыбка. . . изрыла ланиты его ямками. . . Очи его, очи благорастворенного рассудка, казались подернуты легкою пленою печали»; «но искры твердости и упования пролетали оную быстротечно». В такой же тональности переданы раздумья самого автора: он готов *возрыдать* от того, что сын его, «знатный боярин, презирает заслуги и достоинства», говорит о тех, чья «участь пресмыкаться в стезе чинов». Высокий характер всего этого описания контрастирует с просторечно-ироническим изображением молодого человека, который «выучился. . . таскаться по девкам или врать чепуху барыням», которого «приголубила фортуна, вертясь на курьей ножке» и т. д.

Это, разумеется, высокий стиль, и обусловлен он той возвышенной эмоциональностью, которой пронизал автор всю эту сцену. И здесь как будто безразлично, что прощание ничем не примечательного крестицкого дворянина с сыновьями и самый этот дворянин и его дети — это не предмет высокого стиля, что это скорее тема для сентиментальной повести. Главное, что автор, а вслед за ним и читатели воспринимают это содержание как высокое, торжественное. Однако нетрадиционность самого понимания высокого предмета не безразлична для судьбы высокого стиля, а поэтому и для судьбы высокой лексики. Уже здесь скрывается зародыш разрушения исключительности высокой лексики, которая начинает выходить за первоначально положенные ей пределы, — хотя самый принцип стилистического соответствия языка и содержания здесь вполне выдержан.

С другой стороны — и, может быть, с большей силой — подтачивают высокий стиль в его традиционном понимании произведения типа упоминавшегося выше фонвизинского перевода романа (прозаической поэмы) «Иосиф».

Если в языке существовали русские и церковнославянские синонимические пары, — в «Иосифе» почти всегда безусловно

господствуют славянизмы. Так, в двух первых песнях (главах) ни разу не встретились слова *голос*, *берег*, *волосы*, *сказать* или *говорить*, *ночной*, *молодой* при 49 случаях употребления слова *глас*, 6 — *брег*, 6 — *власы*, 20 — *рещи* (*рек*, *рекла* и т. д.), 4 — *нощный*, 7 — *младой*. Слова *один*, *дерево*, *глаза*, *ночь* встретились в этих главах всего по одному разу, а *един* — 53 раза, *древо* — 15 раз, *очи* — 50 раз, *нощь* — 9 раз. Слово *пастух* употреблено дважды, а *пастырь* — в том же прямом значении — 13 раз и т. д. Такое же приблизительно соотношение и в остальных главах. В «Иосифе» постоянны такие слова, как *се*, *внити*, *изыти*, *погребсти*, *тещи*, *отвещати*, *разгнати*, *нарещи*, *возмочь*, *внезапу*, *отшествие*, глагол *хотеть* — постоянно с основой *хощ-* и т. д. По многу раз встречаются архаические и «приказные» частицы, союзы, наречия: *паки*, *паче*, *токмо*, *толико*, *колико*, *толь*, *тамо*, *тако*, *ниже́* и под.

Может быть, следует говорить, что это и есть высокий стиль, как его понимал Ломоносов, но лишь захвативший такие виды художественной литературы, которые не предусматривались ломоносовской теорией, тем более, что здесь, в отличие от рассказа о крестицком дворянине, и самый «предмет» — традиционно относимый к высоким? Но это не совсем так. Высокий стиль — это целый комплекс признаков; он обнаруживается не только в лексике, но и в грамматике, особенно в синтаксисе. И самое главное — в высоком стиле достигнуто единство языка, образной системы прозведения и содержания, причем под содержанием надо понимать не только самый предмет изображения, но и выражение авторского отношения к изображаемому. Высокий стиль проникнут высокой — как говорили, выспренной — риторикой, лирическим «восторгом». Кюхельбекер много лет спустя писал, что ода, «увлекаясь предметами высокими, передавая векам подвиги героев и славу отечества, воспаряя к престолу неизреченного и пророчествуя пред благоговеющим народом, парит, гремит, блещет, порабощает слух и душу читателя» [28]. Но в романе Битобе библейский — а потому «важный» — сюжет облечен в форму чувствительного повествования [29], а местами это просто довольно прозаический рассказ о событиях, где отсутствует даже и «чувствительная» патетика. Вот один вполне типичный для романа в целом отрывок:

«Далука с удовольствием внемлет хвалам, приписуемым Иосифу; но едва слышит она о тоске сего несчастного, уже очи ее

---

[28] В. К. Кюхельбекер. О направлении нашей поэзии. «Мнемозина», ч. II. М., 1824, стр. 31.

[29] Вот как описывает свою реакцию на чтение этой «славной поэмы» Андрей Болотов: «Сию-то книгу читал я лежучи спокойно на перинах в большой новокупленной своей карете, и как вся она наполнена трогательными сценами, то по чувствительности своей не мог я читать ее, не утирая множество раз текущих из глаз моих слез, душевным удовольствием производимых» (А. Т. Болотов. Жизнь и приключения, описанные самим им для своих потомков, т. 3. М.—Л., Academia, 1931, письмо 159).

мраком покрываются. Она сама себя о причине смущения сего вопрощает и уверяет себя, что оное есть единое сожаление. «Печаль, — вещает она, — изображенная на челе Иосифа, не выходит из мысли моея: кто бы не смутился оною! Толь млад и толь несчастен! Он умрет жертвою своего молчания... Без сомнения, он рода знатного; в естественной простоте его видно благородство; сами боги в рабское состояние приводимы бывали... Един он из всех пастырей любви не ощущает!... Хощу зрети пред собою отверсто его сердце, хощу простерти к нему благодетельную руку».

Рекла, и прежде нежели солнце путь свой окончало, исходит она одна из своих чертогов, и стопы ее, как бы сами собою неслися прямо к роще. Иосиф, седящий в уединенной своей сени, воздавал скорби своей обыкновенную дань слезами, как вдруг Далука при входе сени предстала. Удивленный восстает он, сокрывает воздыхания свои и хощет отерти слезы свои» (1, 2). — Вот как звучит объяснение в любви: «К чему тебе вещати, что я тебя люблю... Еще ли хощешь ты шествовать отсюда? Еще ли меня оставити ты хощешь?. О, коль приятно мне будет соделати твое счастие!... Я сниду до тебя» и т. д. (1, 3) [30].

Такая манера повествования оказалась довольно устойчивой. В самом конце XVIII в. появились прозаические произведения Хераскова — «Кадм и Гармония» и «Полидор, сын Кадма и Гармонии». Уже по жанру они не относятся к произведениям, которые культивировал классицизм. Сам автор пишет в предисловии к «Кадму и Гармонии», что он отклонил советы «переложить сие сочинение стихами, дабы вид эпической поэмы оно приняло». «Я не поэму писал, — говорит далее Херасков, — а хотел сочинить простую токмо повесть, которая для стихосложения не есть удобна. Кому известны пиитические правила, тот при чтении сей книги почувствует, для чего не стихами она писана». Обе повести написаны типичным «славяно-русским языком», сильно архаизированы. Карамзин в своей рецензии в «Московском журнале» привел только места патетические — описание внешности присланного богами фивянам нового царя, обращение Кадма к народу и др.; архаичность языка повести в этих случаях стилистически объясняется традициями высокого стиля, и он не выглядит как явный анахронизм; определенный слой славянизмов, пусть ограниченный и в самом «репертуаре» и в сте-

[30] Здесь и далее в этой главе «славенская» лексика демонстрируется как правило, нерасчлененно. Между тем приводимые в примерах слова не вполне однотипны: среди них встречаются слова разной степени архаизированности, некоторые из них имеют дополнительные стилистические характеристики (например, специфически «приказные» слова). Нас, однако, интересует сейчас самый факт распространенности славянизмов в разных видах письменности этого времени. В следующей главе, где описываются различные лексические группы в литературном языке второй половины XVIII в., будет рассматриваться вопрос и о различиях внутри «славенской», архаической лексики.

пени концентрации, в литературе такого рода употреблял и Карамзин. Но дело в том, что так написаны не только лирические монологи или эмоционально приподнятые описания, но и места, посвященные спокойному изложению фактов, повествованию о событиях. Вот несколько отрывков: «Вдруг смешанные их мечтания некиим велегласным воплем и стуком оружий прерываются. Кадм и Гармония воспрянули и внемлют громкие гласы, гласы от великого людей сонмища происходящие» (ч. I, кн. 2); «Прешли уже изобилующие поля жатвою златою и злаками, . . . прешли и достигли при небольшой реке малого уединенного домика, при коем виден был вертоград, плодоносными древами преисполненный; вкруг него зримы были пасущиеся стада жадных агнцов и тучных волов на злачных пажитях. Се ваше жилище! вещал Велесил Кадму и Гармонии» (ч. II, кн. 12); «Полидор, уязвленный таковым уничижением, двигся от его места, да приблизится кичащемуся собеседнику» («Полидор. . .», ч. III, кн. 10).

См. еще примеры из обеих повестей: «исходит во сретение»; «воссел близ Таксилы»; «Кадму показались глаголы сии основательными и рек он Таксиле»; «тако простирая речь свою»; «потек из его чертогов»; «Кадм протекает, будто гонимый ловцами елень, из стогны в стогну»; «орало лежит на ниве»; «беги моих воззрений» (т. е. избегай моих взглядов»); воины при сем слове двигнулись и устремились ко стране западной» [31]; «един из них, отторгшись от дружины, низшел с коня и, возопиял»; «поведай мне, где я? какой град предлежит моему зрению? и чего вы от нас хощете? к сей степени буйственного воспламенения желающая подвигнуть Таксила сердце Кадмово» (в этой фразе поражает и искусственное словорасположение); «намеревался един токмо со Евмором по сей стезе шествовать» и др. («Кадм и Гармония»); взгляните и рците»; «исторгнувшись из круга славян, един от старейшин вскричал велегласно»; «вещая жизнь Полидорову»; «сия глаголющая скромность душу Полидорову паче смущает»; «восстает с томностию и шествует ему во сретение»; «соделывают из них свое игралище»; «некое темное глаголание»; «молчание его ужаснее глаголения»; «словеса почтенного старца»; «тысящи прелестей блеснули в очи Полидору»; «терзающая свои власы»; «сей сокровенный рыцарь»; «чрез седьм дней, рече Полидор, сию тайну познать надеюсь»; «разжену снедающие меня горести»; «не женем тебя от нас»; «посреде младых Фивян, кои казались пожирающими зрением прелести Изоны»; «черные власы его воздымаются»; «вращая мрачные очеса» («Полидор») и др. Даже в предисловии к «Кадму и Гармонии» автор пишет: «Толиким покровены мраком; эпическою поэмою нарещися не может» и т. д.

[31] *Страна* в значении «сторона», «место по правую или левую руку лежащее», безусловно, воспринималось как славянизм, хотя словари и не фиксируют этого.

Можно привести еще такие слова, как *прейти*, *прелетать*. *пребыть* («един Полидор пребыл тверд»), *преплыть*, *пренести* («*не* могу сего пренести»), *юница*, *лепота* («лепоты неописáнные»); *внити*, *сретать*, *могýщий немотствовать изыти*, *изникать*, *возбудить* (в значении «пробудить», например «шум возбудил юношу»), *сенолиственное древо*, *подвиг* (в значении «действие», например «оба таковые подвига» — говорится и об участии героя в сражении и о его уклонении от боя), *искупить* (в значении «выкупить», «освободить»), *восставлять* (подымать, ставить на ноги), *возгнетать*, *седящий*, *преткновение*, *любомщение* и т. д. Постоянны в обеих повестях вводящие слова прямой речи *рек*, *вещал*, *ответствовал*, *вопиял*, *возопил*. Обычны, а иногда и явно преобладают над своими синонимическими соответствиями *се*, *токмо*, *тако* (постоянно: «она начала тако», «тако им беседующим», «тако размышляя», «и тако глаголет» и т. д. [32]), *яко* (и «качественное» и сравнительное), *тамо*, *паки* (например, «я паки в дремучем лесу», — говорит Кадму красавица Таксила и др.), *паче* в разных оттенках значения (в том числе и как уточняющее слово, равнозначное современному *скорее*, *вернее*, например: «служители или паче собеседники»; «ты не царь, ты паче ближний сродич наш» и под.; ср. «люблю отца моего паче, нежели они его любят» или «паче и паче усиливают»), *таковый*, *дабы* (ср., например, в таком не совсем обычном употреблении: «О дабы она и тебе была сестрою токмо!» — в восклицании Гармонии, обращенном к Кадму, влюбленному в Таксилу [33]), *толикий* и *толико*, *коликий* и *колико*, *толь*, *толикократно*, *почто*, *купно*, *вящий* («вящщая буря на корабле восстала»).

Любопытны исправления в списке «погрешностей» 1-го издания «Кадма и Гармонии» 1789 г. Это не только исправления типографских ошибок, но и целые замены. Все они направлены на усиление архаического и высокого элемента в повести. Не говоря уже о трехкратном исправлении предлога *к* на *ко* (*к пользе — ко пользе*, *к слабостям — ко слабостям*, *к стопам — ко стопам*) и *в* на *во* (*в пределах — во пределах*), которые, может быть (что сомнительно), следует отнести к ошибкам типографского характера, и даже об исправлении наречия *так* на *тако* и *спутников* на *сопутников*, можно назвать такие, как замена *принудил* словом *подвигнул*, *песнопение — песнословие*, *обман — искушение*, даже *очи* заменено на *зрение*.

§ 7. Произведения типа «Иосифа» или романов Хераскова имеют принципиальное значение для понимания тех глубоких изменений в литературном языке, которые связаны с именем

---

[32] Но не в случаях, когда слово это служит лишь подтверждением только что высказанной мысли: здесь всегда *так*.

[33] *Дабы* употребляется обычно в значении союза целевого (*чтобы*); здесь слово это выражает желание, стремление, близко к риторическому *если бы*.

Карамзина и его школы. Иногда говорят, что преобразования Карамзина были неизбежным и, так сказать, автоматическим следствием изменений в самой литературе: сентиментальные повести нельзя было писать иначе, чем их писал Карамзин. Это не совсем так. Бесспорно, что «карамзинская реформа» в литературном языке теснейшим образом связана с развитием и расцветом сентиментализма; но здесь не было автоматизма: сентиментальные повести (если не считать Карамзина и его школы) могли писаться и писались самым архаическим языком и слогом. Кроме приведенных примеров, можно привести и множество других.

В четвертой части «Московского журнала» (кн. 3) помещена трогательная сентиментальная повесть «Альфида». В примечании издатель журнала Н. М. Карамзин говорит, что «хотя почтенный сочинитель и не сказывает нам своего имени, однакож читатели легко могут узнать его по слогу пьесы». Действительно, нетрудно узнать здесь руку автора «Кадма и Гармонии». Вот несколько фраз из этой повести: «Она его объемлет, — и дрожащим голосом вопиет к нему»; «скажи мне вину твоей задумчивости»; «не тако робкая серна убегает от кровожаждущего тигра, как Альфида потекла от мнимого Кипридина сына»; «увидел исходящего юношу из недр водных»; «гнев и мщение возгремели в ее сердце»; «Увы! почто Зоандр нарекся богом!» (это восклицание сетующей на смерть возлюбленного Альфиды); «напечатлевала чувства любви»; постоянные *тамо*, приказное *учинить* («учиню тебя бессмертною», «учинилась своим любовником и подругами своими пренебреженною», «учини меня счастливым», «она посмешищем всех женщин учинилась») и под.

Как и в «Иосифе», «Кадме и Гармонии» и «Полидоре» здесь мог играть какую-то роль сюжет — библейский или античный. Но архаический элемент достаточно заметен и в сентиментальных произведениях с современными героями.

В лирическом и сентиментальном «Дневнике одной недели» Радищева [34], содержащем чувствительные излияния человека, разлученного на неделю с близкими и любимыми людьми, находим: «Почто отъехали? . . . Что ты произрек? Страшись! Се глагол грома, се смерть благоденствия твоего, се смерть твоей надежды!»; «Но где искать мне утоления, хотя мгновенного, моей скорби? Где? Рассудок вещает: в тебе самом . . . Стопы мои становятся тише, шествие плавнее — войдем в сад, общее гульбище, — беги, беги, несчастный, все скорбь твою на челе твоем узрят . . . собрание карет — позорище, играют Беверлея. . .»

В последнем отрывке высокая лексика применена к рассказу о явлениях бытовых, обыкновенных: *стопы* и *шествие* о про-

[34] Среди исследователей творчества Радищева нет единомыслия относительно времени написания этого произведения: некоторые относят его к 1773 г., другие — к 90-м годам.

гулке героя в саду, где гуляющие могут *узреть* скорбь на его челе; *позорище* — о театральном представлении. Лирический тон, высокая экспрессия захватывает все произведения, независимо от изображаемых вещей и действий. Так написан весь «Дневник», например: «забыли, что я им поеду во сретение»; «о пагуба, о гибель! се смерть жизни, се смерть души»; «се разверста пропасть — они меня в нее ввергают»: «Все миновалось, ниспал обаятельный [35] покров утех и веселий . . . Что изрек? . . . Какое хуление!» Мы встретим здесь: «нечаянный хлад объемлет мои члены»; «комната . . . возгорится», риторические *почто* («почто отъехали? почто я казнюся? Почто лишен тебя? почто, почто я с ними расстался» и др.) и частые *толико* и *колико*: «о, колико солнце путь свой лениво совершает»; «о, если бы они могли иметь отзвон [36] моего терзания в душах своих, колико приятно будет для них зреть меня несколько часов прежде») и др.

Обратимся еще к одному примеру из произведений Радищева. В литературе уже сопоставлялись — или, вернее, противопоставлялись — «Бедная Лиза» Карамзина и рассказ о горестях Анюты в главе «Едрово» радищевского «Путешествия. . .» [37]. Исходя из очень «условного и неопределенного» понимания реализма [38], исследователь оценивает рассказ Радищева как произведение критического реализма, в отличие от сентименталистической повести Карамзина. Между тем, если говорить о языке рассказа об Анюте, он — несмотря на отражение стилистики сентиментализма — находится в общем в пределах старых, докарамзинских норм; это относится и к пониманию Радищевым самой нормы литературного языка, и к языковым средствам художественного изображения. Вот, например, как изъясняется автор-путешественник, обращаясь к Анюте: «Поцелуй мой есть знак моего к тебе почтения и был исторгнут восхищением глубоко тронутыя души. Не бойся меня, любезная Анюта, не подобен

[35] *Обаяваши* (*и обавати*, *обаяти*) — «волхвовать, колдовать, чаровать» (Словарь АР, изд. второе; в первом издании, очевидно по недосмотру, слова этого нет, но все это гнездо, в том числе и *обавательный*, которого нет в Словаре АР, представлено в «Аналогических таблицах»; почти все слова этого гнезда помечены здесь как «славенские»). О дальнейшем развитии значения в этом слове см.: В. В. Виноградов. О некоторых вопросах русской исторической лексикологии. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1953, т. XII, вып. 3, стр. 209.

[36] Слова *отзвон* нет ни в Словаре АР, ни в «Аналогических таблицах»; есть *отклик* и *отзыв*. В литературе встречается также более книжное *отглас*, см. замечание Карамзина в письме И. И. Дмитриеву: «Отзыв для меня лучше, нежели отглас» (стр. 50); в различных словарях есть еще *отзывание*, *отзывка*, *воспящение гласа* и др. Возможно, что *отзвон* — индивидуальное новообразование Радищева. См.: G. Hüttl-Worth. Die Bereicherung des russischen Wortschatzes in XVIII Jahrhundert. Wien, 1956, стр. 142.

[37] Н. И. Пиксанов. «Бедная Анюта» Радищева и «Бедная Лиза» Карамзина. «XVIII век». Сб. 3., 1958.

[38] См. замечания В. В. Виноградова в книге «Проблема авторства и теория стилей» (М., 1961, стр. 237).

я хищному зверю, как наши молодые господчики, которые отъятие непорочности ни во что вменяют»; «Не будешь ты окружена соглядателями, в сети пагубы уловить тебя стрегущими. Не будет слух сердечного друга твоего уязвлен прельщающим гласом, на нарушение его к тебе верности призывающим». И синтаксическая структура и лексика этих речей представляются удивительно книжными, если учесть, что рассказ содержит «чувствительную», «трогательную» историю. Еще более книжно построено само авторское повествование — и особенно риторические монологи автора: «Твоя откровенная [39] невинность любострастному дерзновению неприступная, научила бы меня ходить во стезях целомудрия. . . Я бы удалился от смрадных наемниц любострастия»; «Уверен, что обратишь на путь доброделания начинающего с оного совращатися»; «Не востревожься, если закоренелый в развратности, поседевший в объятиях бесстыдства мимо тебя пройдет и тебя презрит»; «не тщися воспретить его шествию»; «Но не пропусти юношу, опасными лепоты прелестями облеченного . . .Он. . . дерзновенен, обидящ уязвляющ кажется»; «но сердце его уступит твоему впечатлению [40] и отверзется на восприятие твоего благотворного примера» и т. д. Автор употребляет такие слова, как *поползаться* («дерзкая рука поползается на непристойные и оскорбительные целомудрию шутки с деревенскими девками»), *омерзить*, *восхотеть*, *благоумышленный*, *вопрошать*, *воздыхать*, *обещаваться*, *мраз* («И когда мраз старости подернет чувственное веселье непроницаемою корою»), *напоминовение*, *предвечное*, *толико*, *се*, *яко* и др.

Как видим, сентиментальное содержание могло укладываться и в архаическую языковую форму. Даже Стерна можно было переводить «славяно-русским языком» — таков, например, перевод Г. Апухтина переписки Иорика и Элизы Драпер и жизнеописания Элизы Драпер, написанного аббатом Рейналем (см. стр. 289 и сл.); можно назвать еще помещенный в «Московском журнале» перевод И. С. Захарова отрывка из «Сентиментального путешественника» Верна и другие произведения.

§ 8. Еще шире и свободнее употреблялся архаический, «славенский» лексический пласт в литературе, не связанной с развитием сентиментализма. Как и следовало ожидать, насыщены славянской лексикой такие произведения, как «Илиада» в переводе П. Екимова [41] или «Освобожденный Иерусалим» в переводе

[39] *Откровенный* — здесь «явный, неприкрытый»; см. в Словаре АР 1-е значение — «не имущий покрова», с пометой «сл[авенское]» и примерами только из церковной литературы.

[40] Здесь старое употребление этого слова; см. в Словаре АР: *впечатление* — «вперение, вкоренение» как действие, процесс (например: «впечатление любви к добродетели»). Слово это в Словаре АР дано без пометы, но *печатлею* помечено как «славенское».

[41] «Омировых творений часть первая». Перев. с греч. П. Екимова. СПб., 1776.

М. Попова [42]. Екимов свободно употребляет в «Илиаде» такие слова, выражения, формы, как *аки*, *аще*, *тамо*, *зело*, *зде*, *рекл*, *убо*, *совоинственники*, *совещавать*, *абие*, *влещи корабли*, *с зельным шумом*, *повеждьте*, *внегда*, *кийждо*, *велия слава*, *воздвиг брань*, *мещется*, *радостотворные содевая служения*, *воздвизает вражду* — и т. д. Вот несколько образчиков языка этого перевода: «Паки от другия страны терзающаяся утробой матерь его Екава проливала слезы и единою рукою обнажив перси, другою же показывая сосцы, вещает» (песнь 22); «Старче! не помогут тебе ни скипетр, ни венец бога, естьли я увижу тебя зде при кораблях или медлящего днесь или после паки возвращающегося» (слова Агамемнона — песнь 1); «Тако рекл»; «Ахеяне ничего ему не отвещая пребывали все во глубоком молчании; ибо стыдилися отринути желание его, боялися же и восприяти» (т. е. стыдились отказаться от вызова на поединок с Гектором и боялись принять этот вызов); «Агамемнон повелел возлещи всем Ахеянам»; «знаю управляти щитом в деснице и шуице тако, что могу неослабно ратовати»; «ныне же в таком виде не хощу развити тебя соглядая в тайне»; «Ектор. . . абие мещется с колесницы на землю»; «страх же вселяется во уды всех троян, самого Ектора сердце в персях вострепетало» (песнь 7). См. также пример из «Илиады», который приводит А. Галахов в своей хрестоматии [43]:

«Тако рекл! Ектор же слышав сия, возрадовался сердцем и, вшед на средину обоего воинства, воспятил троянам, держа копие. Аргивяне мещут на него стрелы и камение; управляющий же воинством Агамемнон возопил к ним: воздержитеся, аргивяне! и да не вержете, юноши ахейские: Ектор бо зрится некое слово хотящий и нам вещати». Поражает не столько само обилие архаизмов — в переводах Гомера они не могут удивлять (хотя это, очевидно, даже для того времени явление, выходящее за пределы обычной нормы), — сколько то, что они уживаются нередко со спокойным, лишенным всякой выспренности и эмоциональности, вполне прозаическим и даже суховатым повествованием. Это относится и к «героической поэме» Тасса «Освобожденный Иерусалим». Уже в предисловии находим: *в письмоводстве претыкания*; *восчувствовать*; *непременный убо и священный долг*; *гремит вся подсолнечная устами знаменитых краснословцев* и т. д.

Еще архаичней текст самой поэмы — и не только в местах высоких, например: «он избегал сретиться со Аргантом, чинившим вотще все усилия с ним соединиться» (песнь VII); «Яростный

---

[42] Т. Т а с с. Освобожденный Иерусалим, прозаическая поэма, ч. 1—2. Перев. с франц. М. Попова. СПб., 1772.

[43] См.: А. Г а л а х о в. Русская христоматия, т. I. Изд. 17. СПб., 1879, стр. 389. — Очевидно, в разных экземплярах «Илиады» есть некоторые различия. В экземпляре, имеющемся в Гос. библиотеке СССР им. В. И. Ленина, этот эпизод описан несколько иначе.

срацин, помышляя токмо сохватати графа, яко то медведь творит со своею добычею» (там же); «когда паки пришел в себя» (песнь I); «Годофред уверясь в необходимости соорудить паки новые махины, дабы возмощи приступать со успехом ко граду, издал повеление, да шествуют делатели в лес для срубления древ, годных на сие дело» (песнь XIII); «и пошествуя во мгновение со двумя рыцарями, протек он вертоград и истек из лавиринфа» (песнь XVI); «пребыла пред ним непроизрекающа ни единого слова» (песнь XVI); «по исшествии Армиды из ее омрака» (песнь XVI); «преставшу Годофреду вещати, шум плесканий, подъявшийся в тот самый час в собрании, дал знати, что каждый речь его одобряет. Святый пустынножитель был производителем сего предприятия и находился тут же, восседяй между начальниками, почтенный Петр, прияв тогда слово, рек им тако» (песнь I) и т. д.

Перевод Попова насыщен славянщиной. Буквально в каждой фразе встречаются у него слова типа *седмь*, *осиять*, *изрещи*, *рещи*, *восприятие объятий*, *отвещать*, *власы*, *нощь*, *собрегать*, *вотще*, *днесь*, *воспящать*, *тысяща*, *прикровенный*, *рамена* и т. д., а также постоянные *учинить*, *паки* (см., например, в обращении к возлюбленному: «учинить тебя свидетелем последних моих воздыханий» — песнь XVI), *токмо*, *тако*, *паче*, *толико*, *толь*, *бо* и т. д. См. также среди «исправлений погрешностей»: *один — един*, *втай — отай* [44], *противу — против*, *заблудшую — заблуждшую*, *впадет* («во власть нашу») — *прейдет*, а также *возлюбленной — возлюбленныя* (но *на земли* исправлено: *на земле*).

Архаика в языке перевода «Освобожденного Иерусалима» получает у переводчика теоретическое обоснование. В предисловии Попов замечает, что сетования переводчиков на нехватку «речений» объясняются главным образом тем, что «не рачим вникать в обширный и богатый славенский язык, который есть источник и красота российского»; поэтому он занимался «приискиванием в духовных книгах или в новопреведенных равносильных речений тем, каковые попадались мне во французском» (Попов переводил Тасса с французского перевода). Среди этих заимствованных им из разных книг слов он приводит *доблесть* и *доблественный* (brave), *ратоборец* и *бранник* (champion), *благостройность*, *благоучреждение*, *благоповедение* (discipline), *соглядатай*, *созиратель* (espion), *доброгласие* (harmonie), *всеоружие* (trophée), *самоизвольник* (volontaire), *купа* (troupe) и др. Не менее книжно

---

[44] В «Аналогических таблицах» есть оба слова — и *втай* и *отай*, и оба помечены как «славенские»; но в Словарь АР отобрано только *отай* — «тихонько, неприметно», с той же пометой; во втором издании Словаря АР снова видим оба эти наречия, но *отай* помечено как «славенское» и сопровождается примером из библии, а *втай* в одной словарной статье с *втайне* (которого также нет в первом издании) дается без всяких помет и примеров. Следовательно, исправление в переводе Попова имеет вполне ясный стилистический смысл.

и архаично звучат и слова, которые он считает сочиненными им самим: *оружейница* (arcenal), *сонмица* (bataillon), *стрелометница* (catapulte), *валоокружение* (circonvalation), *совоспевание* (concert), *воскрайе крил* (extrémité des aîles), *любосоние* — наряду с взятыми из книг *сонница* и *спячка* (létargie), *письмоводство* (litterature), *бабрица* (tigresse) и некоторые другие [45].

§ 9. «Славенская» лексика обильно представлена и в литературе нехудожественной — в философских, исторических, политических сочинениях.

Чрезвычайно архаичны по лексике теоретические труды Радищева. Это почти тот же язык, что и в его «Слове о Ломоносове», оде «Вольность» или высоком поучении «Беседа о том, что есть сын отечества». Вот, например, как написано его философское сочинение «О человеке, о его смертности и бессмертии»: «орел, паря превыше облаков, зрит с высоты своего возлетения кроющуюся под травным листвием свою снедь»; «утешишься, если страждешь, возблаженствуешь паче, если блаженствуешь»; «воззри колико живоносным веселием оно сопутствуемо»; «вещай, не казалося ли тебе, что се конец бывает твоея жизни»; «равномерно, отыми яства от животного и человека, возбуди алчбу и жажду в недрах его, лиша его всего того, что обновляет в нем кровь, дыхание и жизнь, ты скоро узришь страшные признаки смерти, окрест его летающие»; «. . . той точки равновесия, которая воздымая человека от земли, шествие его делает возниченным [46] и вид приятным» и т. д. (кн. 1). Иногда может показаться, что славянизмы здесь явились следствием тяготения автора к некоторой риторичности. Но та же лексика в местах, где нет ничего высокого и торжественного.

Показательно также «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего» (1782 г., опубликовано в 1790 г.). Славянизмы представлены здесь не только в риторическом обращении к Петру, где особенно отчетливо ощущается лирический «восторг», сильная авторская экспрессия, но и в описании самого памятника Петру: «И се явился паки взорам нашим седящ на коне борзом, в древней отцов своих одежде, муж, основание града сего положивший»; «Статуя представляет мощного всадника, на коне борзом стремящегося на гору крутую, коея вершины он уже достиг, раздавив змею в пути лежащую и

---

[45] См. также приведенные в «Очерках по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» В. В. Виноградова (М., 1938, стр. 159) аналогичные примеры из другого перевода М. Попова — поэмы Дора «На феатральное провозглашение».

[46] Слова *возничение* и *возниченный* нигде, кроме как у Радищева, не встретились; нет их и в Словаре АР и в «Аналогических таблицах». Очевидно, это новообразование от *возникать* в значении «вставать»: *возниченный* здесь — «вертикальный»; см. также у Радищева *перпендикулярное шествие*.

жалом своим быстро ристание коня и всадника остановить по кусившуюся. . . Всадник без стремян, в полукафтанье, кушаком перепоясан, облеченный багряницею, имеющ главу, лаврами венчанную, и десницу простертую».

Еще показательнее в этом отношении «Житие Федора Васильевича Ушакова». Стилистическими задачами, желанием создать риторический контекст можно объяснить обращение автора к Кутузову в начале «Жития. . .», обращение к самому Ушакову, даже выспренние увещевания друзей, пытавшихся отвратить его от его предприятия — поездки в Лейпциг («окрест себя узришь не редко согбенные разумы и души и самую мерзость». «Возненавиден будешь ими»; «поженут тебя, да оставишь ристание им свободно» и т. д.); наконец, стилистическими целями объясняется язык публицистических отступлений автора (например: «О вы, управляющие умами и волею народов властители, колико вы бываете часто кратковидцы и близоруки, коликратно упускаете вы случай на пользу общую, утушая заквас, воздымающий сердце юности»; «Глад, жажда, скорбь, темница, узы и самая смерть мало его трогают»; см. здесь же «совлещи покров сей с очей власти, хождая воскрай гибели» и т. д.). Но таким же языком описано и любовное приключение Ушакова, у которого «чувственность была при начале своего возничения: се повесть его», — говорит Радищев и далее рассказывает, что Ушакову снилось, как он «лежал в объятиях прекрасныя жены», а когда «отлетел сон от очей его, зрел отроковицу почти, сидящую подле одра его», которая «зря его пробудившегося» сказала ему «гласом сирены: извините меня, государь мой, что я прервала ваш сон» и т. д., и при этом «проницала вещающая жалким своим взором всю его внутренность». Так же написаны и чисто описательные, биографические части «Жития. . .» и даже комическая история с отцом Павлом, где употреблены слова *посмеялище*, *подвигнуть на смех*, *дабы*, *восколебался*, *отытие* и др. Нет никаких оснований предполагать здесь нарочитое употребление славянизмов с целью создания комического эффекта.

В различных сочинениях Радищева встретим *блуждение*, *возглавие*, *воскрайе*, *воспящать*, *возмогать*, *въемлище*, *выя*, *глагол*, *глаголать*, *горé*, *десная*, *днесь*, *досязать*, *дска*, *елень*, *жадать*, *заклепы*, *зрак*, *избыточество*, *изражение*, *крин*, *лепота*, *лествица*, *ловитва*, *любомщение*, *любочестие*, *мерзить*, *мусикийский*, *мышца* (рука), *обесстудеть*, *отжену*, *ощую*, *праг*, *прещение*, *рамена*, *рещи*, *селитьба*, *сретение*, *тук*, *угобжать*, *чресла* и т. д.; частицы, союзы, наречия *аки*, *амо*, *бо*, *внезапу*, *дондеже*, *егда*, *елико*, *зане*, *коликократно*, *несть*, *николи*, *сице*, *убо*, не говоря уже о таких, как *коликий*, *паки*, *паче*, *яко* и т. д.; формы типа *взалкавый*, *сый*, *родшая*, *даждь*.

§ 10. Исключительно архаичен перевод «Творений велемудрого Платона», осуществленный Иоанном Сидоровским и Матфеем

Пахомовым [47]. Уже в «Предуведомлении от переводивших» находим: «любомудрствователи соделаются царями»; «аки бы прорекательне изреченные [истины]»; «аки бы провозвещая»; «пещися о преложении»; «двакраты. . . зрел в сновидении лебедя, который . . . возлетал горе и воспевал сладостнейшим гласом»; «воинствовал трекратно», «ратовал в Танагре» (в обоих последних примерах *воинствовал* и *ратовал* употреблены в прямом смысле), *прешел к Кратилу* и т. д., не говоря уже о таких словах, как *паче*, *коликий*, *токмо*, *поелику*, *яко*, *тако*, *тамо*, *купно* и т. д. Еще архаичней выглядит язык самого перевода, причем важно заметить, что и здесь это относится не только к важным рассуждениям, но и к совершенно «спокойным» местам — диалогам и даже к предваряющему каждую главу изложению содержания.

Следует обратить внимание и на употребление некоторых архаических форм, например, часты инфинитивы на *-ти* («тщатися о стяжении дружества»), формы глагола 2-го лица на *-ши*, формы с *-л* после согласного в прошедшем времени глаголов (*рекл*, *брегл*, *возмогл* и др.). Вот несколько примеров из диалогов «Лисид или О дружестве» и «Евфидий или Любостязатель»: «вопросил: куда шествуешь и откуду»; «для чего, -рекл Иппофал, — к нам не идеши? Тебе надлежит сие соделать»; «внутрь подвизалища внити, да узришь в нем сущих»; «желал бы я со удовольствием от тебя услышать, чего ради туда внити, и кто суть оные изящные»; «не хощешь возвестити о имени любимого тобою»; «лишитися своей жизни принужден обрящается»; «хощу я тебе открыть свои мысли и просити, ежели обретаешь себя в состоянии, у тебя совета, какими разглагольствиями или какими деяниями возможно преклонити любимых, дабы сии любящего взаимно любили» («Лисид или О дружестве»); «снискивает себе таковую обавательную и обольщательную способность»; «сии обаватели [48]»; «насмевательне просит он лжемудрователей, да прейдут они от глумления к истинным и важным предметам» (этот пример — из пересказа содержания диалога); «желая послушати ваших стязаний не возмогл поняти ясно ни единого слова, когда же возвысившись на перстах ног моих, воззрел я, соперник твой явился мне быти пришлец некий. И так, возвести, Сократ, кто таков был он. . . который будучи от тебя третий, восседал по правую страну твою» («Евфидий или Любостязатель»). Мы найдем здесь такие выражения и слова, как *студное вожделение*, *надмеваться кичением*, *произвождение деяний*, *пагубоносен*, *стыдение*, *обеща-*

---

[47] «Творений велемудрого Платона», ч. 1. Перев. с греч. И. Сидоровского и М. Пахомова. СПб., 1780.

[48] Слово *обавать* Ломоносов относил к тем «неупотребительным и весьма обветшалым» речениям, которые вообще «выключаются» из числа слов русского литературного языка, даже его высокого стиля («Предисловие о пользе книг церковных. . .»). *Обавательный* встречается также в «Освобожденном Иерусалиме» М. Попова, у Радищева.

вать, *соястие* (т. е. общий стол), *мздовосприятие*, формы *рещи*, *взъемлет* и т. д.

Бесспорно, что перевод «Творений велемудрого Платона» — это явление исключительное по обилию славянизмов и по их, так сказать, экзотичности. Но сама возможность появления таких книг характерна и примечательна.

Архаическая установка в языке отчетливо видна в издававшемся Федором Туманским журнале «Российский магазин» [49]. Журнал выходил одновременно с «Московским журналом» Карамзина (1792 г.), но по языку они кажутся отстоящими друг от друга на десятилетия. Вот некоторые примеры из принадлежащего перу самого издателя «Описания Санкт-Петербурга» (ч. I): «собрав все, что обрести мог»; «город возымел начало свое»: «сия неисчетность народа»; «разделил тако»; «но что возглаголют нынешние иноязычники, зря оный» (здесь обращает на себя внимание не только «славянское» *возглаголют*, но и искусственное, едва ли не автором изобретенное *иноязычники*, т. е. «иностранцы», — с использованием архаического значения слова *язык* «народ») [50]; «скорою кончиною в том воспящен» и т. д. Даже в своих «предуведомлениях» к читателю Туманский пишет: «воззывая ко отысканию любопытного»; «паче всего прошу прилежно, если сретит кто ошибки»; «где сретятся важные перемены»; «инако учредить»; «какой ради вины [51] сия история началась писати» и т. д. Так пишутся «спокойные» тексты. В местах риторических, естественно, архаика усиливается: автор пишет о «пристрастии россиан, чуждым млеком воздсенных [52] и за пределами родины своея в мелочах чудеса обретающих, между тем как преданные отечеству, в персях блаженства витая, *о* словесности мало заботятся». В любом тексте предпочитаются здесь старые ссюзы, наречия, частицы: *понеже*, *поелику*, *яко*, *толико*, *паки*, *паче*, *инде*, *тако*,

---

[49] «Российский магазин». Изд. Ф. О. Туманский. СПб., 1792—1794.

[50] Ф. Туманский вообще охотно изобретает слова. Так, написав в одной из статей фразу *векотворить память их*, автор делает сноску: «Сковал я сей глагол в первый раз в предисловии к полному описанию жизни государя императора Петра Великого. . . и некоторые российский язык знающие говорили мне, что употребление оного непротивно». Значение этого вновь «скованного» глагола он поясняет как «предавать в память потомству и будущим векам». Некоторые другие его неологизмы связаны с попытками замен иностранных слов (см. стр. 65).

[51] Т. е. «по какой причине». См. в Словаре АР первое значение слова *вина* — «начало, причина, для чего или от чего что бывает»; слово это имеет помету «славенское», но собственно «славенским», архаичным было употребление слова *вина* только в данном значении, будучи обычно связанным с понятием божества как причины, начала всего сущего (см. стр. 164). Здесь слово употреблено вне такого контекста, и это выглядит особенно архаично и неоправданно. См. также в «Кадме и Гармонии» Хераскова: «Какая вина сего многолюдного собрания» и др.

[52] *Воздоенный* в Словаре АР с пометой «сл[авенское]» — «вскормленный, воспитанный сосцами» (*воспитанный* здесь в его старом значении, как «вскормленный», см. *питать*).

токмо, *колико*. Но помимо этих вообще широко употребительных в книжном языке союзов и наречий встречаются такие редкие, уже совсем «обветшалые», как *аки*, *точию*, например: «показати в народе, яко не точию сами великие государи, но. . .» (ч. II). Любопытны также некоторые исправления опечаток в журнале: исправление предлога *к* на *ко* (*к сведению — ко сведению* и др.), *история* на *гистория* (в авторском тексте), *встретить* на *сретить*, *столбы* на *столпы* (в описании храма). Вкравшиеся в текст просторечные слова заменяются более литературными, например, *куды* на *куда*, трижды в части I слово *зачат* заменено *начат* и под.

Значителен слой славянизмов в «Опыте повествования о России» И. Елагина, написанном в 90-е годы (издан в 1803 г. в Москве, уже после смерти автора), — хотя мы и не увидим здесь тех крайностей, которые характерны для некоторых из сочинений, цитированных выше [53]. Вот некоторые примеры: «восприял я труд повествования»; «поборствуй по нем»; «отрыгнуть. . . зловредные козни» («Приношение премудрости»); «мирских суетностей вожделения»; «деописатели. . . едиными изобразуют красками»; «списки единого писателя с другого без отверстия души действующие особы»; «отверзает тайные тиранства козни»; «удобь возможно учиниться» (*удобь возможно* встречается у Елагина еще несколько раз, с разными глаголами — *полагать*, *учиниться*, *сомневаться* и др.) [54]; «взыскует»; «возмогут»; «да не стужательно [55] рассмотрят побуждения» (Предуведомление); «по сшествии с лица земли общего потопа вод»; «ниспала с очей их стихотворным воображением простертая завеса», «присущность вины первоначальныя» (т. е. существование бога как первопричины) [56]; «хладоносную полночных стран пустыню» (Вступление); «[Скифы). . . редко пешешествовали [57], мягкими одрами сна не привлекали, но утру-

---

[53] Елагин, бесспорно, близок еще к ломоносовским традициям; вспомним, что И. Дмитриев отличает язык Елагина и Фонвизина от их последователей, которые «захотели перещеголять своих учителей».

[54] *Удобь* как синоним к *удобно* (тоже в архаическом употреблении) встречается редко. В Словаре АР оно помечено как «славенское».

[55] Сло́ва *стужательно* нет в первом издании Словаря АР, хотя оно было вместе со стужаю, стужание в «Аналогических таблицах». Во второе издание Словаря АР включено *стужати си* и *стужание* («озлобление, мучение», с примером из церковной литературы). Вообще же слова с основой *студ* в Словаре АР определяются как «славенские» и противопоставлены русской основе *стыд*, например: «*студ* сл[авенское], в обыкновенном же употреблении языка *стыд*; *студный*, сл[авенское], просто же *стыдный*». В «Аналогических таблицах» *стужаю* также помечено как «славенское».

[56] Слова *присущность* нет ни в первом, ни во втором издании Словаря АР, хотя оно было в «Аналогических таблицах» (с пометой «сл[авенское]»).

[57] *Пешешествовать* нет в первом издании Словаря АР (оно появляется во втором издании, без помет, но с примерами из церковной литературы; кроме того, здесь же есть и *пешешествие* с пометой «сл[авенское]»); но это слово было в «Аналогических таблицах», где помечено как «славенское». Наличие слова в «Аналогических таблицах» и отсутствие его в Словаре АР не-

жденные на мураве и листвиях зеленых отдохновение обретали» (I, 2); «Пришедый к простертому телу брат возрыдал в раскаянии и в горести возопил» (III, 1); «Приступая к вещанию важнейшего в повествовании нашем приключения» (там же); «. . . Гориславa, от которой имел Владимир трех сынов. . . и двух дщерей» (III, 3); «медленного облежания [58] и паче кровопролития опасался» (II, 7); «остается токмо Владимиру восприять решительное токмо намерение креститься» (III, 6) и др. Здесь постоянны, если не исключительны, *яко*, *токмо*, *се*, *паче*, *понеже* и *поелику*, *коликий*, *толь*, *коль* (в значении «сколь»), *тако*, *тамо*, *рек*; глагол *хотеть* в настоящем времени постоянно имеет основу *хощ-*. Любопытно, что и здесь нет тяготения к выспренному слогу, к парению и великолепию, к риторическому и высокому синтаксису. Более того, сам автор заявляет в своем «предуведомлении читателю», что он стремится к «легкому и приятному слогу»; «украшение не к месту славянчизною есть зараза творцов несмысленных», — говорит он. Это очень важное замечание: «славенская» лексика, обильно рассыпанная в «Опыте» Елагина, вовсе не рассматривается им как «украшение славянчизною» — это необходимый элемент хорошего книжного языка, не более. Об этом же пишет и М. Попов в предисловии к своему переводу «Рассуждения о благоденствии общенародном» Л. Муратория [59]. Говоря о том, как трудно переводить книги, «наполненные речениями разных наук», и даже «самые слабые винословия несколько красиво написанные», М. Попов замечает, что он «старался паче всего о ясности слога», считая, что «в важной книге. . . ясный смысл предпочитается блестящему слогу, о котором остается думать на досуге». Между тем, книга эта, хотя и написанная намного проще, чем перевод «Освобожденного Иерусалима», пестрит такими словами, как *винословие*, *достодолжно*, *преходить*, *преводить*, *препровести*, *адамли чада*, *бдящее око*, *седмь*, *убо* и т. д. Очевидно, что это никак не связано с поисками «блестящего слога».

§ 11. Многое из того, что приводилось, разумеется, крайности архаического «славяно-русского языка» — и по материалу, и, главное, по степени его концентрации. Я. К. Грот, ссылаясь на записки И. И. Дмитриева, не без основания полагает, что именно переводчиков типа И. Захарова, П. Екимова, М. Пахомова и И. Сидоровского имел в виду Карамзин, когда иронически писал в одной из своих рецензий о «големых претолковниках. . ., иже

редко особенно отчетливо говорит об архаичности или нелитературности слова.

[58] *Облежание* или *облежение* объясняется в Словаре АР как «осада, осаждение» и характеризуется как «славенское»; см. также эту помету при слове *облежу* в «Аналогических таблицах»; во втором издании Словаря АР *облежание* дается без пометы, а в *облежать* пометой «славенское» снабжается только значение «возложену быть, лежать».

[59] «Рассуждение о благоденствии общенародном. Соч. Лудвика Муратория», ч. 1—2. Преложено с франц. М. Поповым. М., 1780.

отревают все, еже есть русское, и блещаются блаженне сиянием славяномудрия» [60]. И. Елагина и Фонвизина (имея в виду такие его переводы, как «Иосиф», «Похвальное слово Марку Аврелию») считают зачинателями процесса архаизации и «славянизации» литературного языка; бесспорно, что об объеме и употребительности архаической лексики у Радищева — в тех отрывках, которые приводились выше — также можно говорить как о явлении чрезвычайном. Авторы произведений, о которых шла речь, уже с самого начала «задавали» себе определенный тип языка. Переводчики «Творений велемудрого Платона», например, понимают, как они пишут в своем «Предуведомлении», что «некоторым явится, может быть, слог, в сем переводе употребительный, неприличен слогу, обыкновенным разговорам свойственному, особливо если он сравнен будет со слогом неких немногих статей, другими из сего писателя переведенных прежде издания сих творений, поелику найдут они множайшие выражения, приличествующие паче ораторическому слогу, нежели разглагольственному»; тем не менее они считают, что особенности слога Платона могут быть переданы на русском языке только в том случае, если переводчик будет несколько «приближаться к свойству языка славянского» [61], а также употреблять «речения, то от древнего славянского языка заимствованные, то вновь соделанные» (эти последние, впрочем, звучали так же архаично, как и заимствованные). Интересно, что одна из песен Иосифа кончается такими словами: «Свободное слово мое возвышенным стихотворства языком вещати будет». Как замечает П. Вяземский, эти слова не принадлежали Битобе — их нет в оригинале, — а являются вставкой переводчика.

Не все писали с такой концентрацией «славенского» элемента, не все «задавали» себе такой язык и слог. Многие произведения художественной, научной, философской литературы писались проще и современнее, ближе к тому, что называлось «средним стилем». Однако для понимания судеб «славенской» лексики и такие произведения, условно говоря, «среднего стиля» оказываются не менее показательными. Тот факт, что и в этой литературе могут употребляться славянизмы и архаизмы разного типа — хотя и не всегда, и не в такой концентрации, как в произведениях, о которых шла речь выше, — с очевидностью демонстрирует тенденцию расширения общелитературных функций «славенской» лексики.

Приведем некоторые примеры. Выше говорилось о том, что «Путешествие. . .» Радищева распадается на контексты, доста-

---

[60] «Московский журнал», 1791, ч. IV, кн. 1, стр. 112.

[61] Под «свойством языка» понимали обычно грамматический строй: переводчики Платона действительно «приближались к славянскому языку» не только в лексике, но и в грамматике.

точно отчетливо воспроизводящие нормы всех трех стилей литературного языка, как их понимал Ломоносов. Надо, однако, оговориться, что в полной мере это относится только к высокому стилю и, может быть, к специфическим «низким» отрывкам, насыщенным просторечием и простонародной лексикой; что касается «средних» контекстов, то они, будучи достаточно четко отграничены от «низких», допускают и такие слова, которые более привычны были в слоге высоком. Речь здесь идет не о том, что в текст, выдержанный в рамках среднего стиля, могут врываться, в связи с характером повествования и сменой авторских эмоций, отдельные куски или фразы высокие — здесь еще нет нарушения традиционных стилистических норм; речь идет также не о тех словах, которые укреплялись в литературном языке под влиянием канцелярского, приказного слога, — а о стилистически немотивированном употреблении «славенской» высокой лексики как нормальных слов книжного языка вообще. Вот, например, несколько фраз из главы «Чудово», представляющей собой (кроме первого абзаца) устный рассказ Ч . . . — приятеля автора:

«Шум весел *единозвучностию* своею возбудил во мне дремоту и *томное зрение* едва ли *воспрядало* от мгновенного блеска падающих капель воды»; «облака, коих черная тяжесть, казалось, *стремила их нам на главу* и падением устрашала»; «*зерцаловидная* поверхность вод»; «*соглядал* величественные черты природы»; «В последний час, когда свет от нас *преходить* начинает и *отверзается* вечность, *ниспадают* тогда все степени, мнением между человеков воздвигнутые» [62].

Ранее на примере рассказа об Анюте мы видели, как Радищев широко пользуется «славенской» лексикой в сентиментальном повествовании. Можно привести еще как пример «чувствительное» описание слепого нищего в главе «Клин». Здесь встретим: *благогласие*, *ирой*, *изрекать* и *изрещи*, *зыбление внутрь глубокое* (т. е. глубокое волнение в душе), *возрыдать*, *прещение*, *вещать* и под.; см. также: «соблагословение чувствительных душ облегчает стезю в шествии и отъемлют терние сомнительности»; « — О! природа, — возопил я паки» и др. Таким образом, признаки того процесса, о котором идет речь, обнаруживаются у Радищева не только в его философских сочинениях, но отчасти и в «Путешествии. . .» — произведении, где старые, традиционные стилистические отношения, хотя и в нетрадиционном жанре, выдерживаются довольно строго.

§ 12. Можно обратиться и к другим писателям, не проявлявшим, подобно Радищеву, крайних склонностей к архаике и высокой славянщине. Одним из ярких предшественников Карамзина

---

[62] В последнем примере можно отметить связь книжно-высокой лексики с переходом от повествования к размышлениям, обобщениям — но это как раз и показательно.

справедливо считают М. Н. Муравьева. Проза Муравьева отличается удивительной для своего времени синтаксической стройностью и простотой; он явно избегает слов специфически приказных. Тем не менее в его статьях, заметках, исторических очерках встретим ряд слов, которые можно отнести к книжно-архаическому фонду языка. Таковы: *благорастворение*, *ваялище*, *возгорение*, *воздохнуть*, *воспящать*, *восхотеть*, *гиблющий*, *глад*, *громление*, *дска и дщица*, *дщерь*, *изникать*, *ловитва*, *недро*, *ниспасть*, *отверзстись*, *отмщеваться*, *посмеиваться*, *простреть*, *разверстый*, *разлиянный*, *седалище*, *сострастие*, *сретать*, *стогна*, *тысяща* и др. (не говоря о более обычных *чело*, *чреда*, *хлад*, *нощь* и т. д.).

Проза Н. И. Новикова — одно из крупнейших достижений литературы и литературного языка второй половины XVIII в.; бесспорны демократические тенденции языка и стиля произведений Новикова и представителей его кружка. Тем не менее, книжный элемент не чужд им. Не будем обращаться к литературе мистической, масонской, где церковнославянский элемент, естественно, очень силен. Но и в близких кружку Новикова журналах в серьезных и важных статьях, написанных без тех крайностей «славянорусского языка», которые демонстрировались выше, употребляется книжно-архаическая лексика, «высокие» слова.

В таких статьях Новикова, как «О достоинстве человека в отношениях к богу и миру», «Нравоучение как практическое наставление», «О главных причинах, относящихся к приращению художеств и наук», «О воспитании и наставлении детей» и др., встречаем *восхотеть* (нередко с основой *восхощ-* в личных формах), *воззреть*, *влечение*, *очи и ушеса*, *возмочь*, *восчувствовать*, *снискать* [63], *возбудить* (от сна), *десница*, *шествовать* («Художества и науки столь медлительно шествуют» — «О главных причинах». . .), *младой*, *отверзтый* («натуральна и сила природы родительского в младых, всяким впечатлениям отверзтых сердцам детей» — «О воспитании. . .»), *совлещи*, *соплести*, *человекодружественный*, *напоминовение*, *окрест*, *предъизбрать*, *возлагать одежду*, *вопросить*, нередкие *коль*, *коликий*, *паки*, *понеже*, особенно частое *яко* и др.

В критических статьях Новикова, написанных просто и в спокойном тоне, в его «Опыте исторического словаря» найдем: *воздыхание*, *глас*, *во младых своих летах*, *восплакать*, *ирой*, *младость*, *отрещи*, *возлагать на рамена*, *седмь*, *внезапу*, *инде*, *купно*, *паки*, *паче*, *яко*; в его же «Пословицах российских» (собрании рассказов, притч, раскрывающих, иногда иронически, смысл русских по-

---

[63] В Словаре АР *снискание* помечено как «славенское», употребительное в высоком слоге, ему противопоставлено простое *сыскание*. В данном случае *снискать* имеет прямое значение; но уже в это время широко известно (и отмечено в Словаре АР) и переносное употребление, сохранившееся и в современном языке в выражениях *снискать уважение* и под.

словиц) — *неизреченная*, *на брегу*, *очи*, *хлад*, *возопиял*, *глас*, *дщерь*, *любочестивый*, *яко*, *понеже*, *ниже́*, *соделать*, *тамо*. Вольтера Новиков называет *прорицалищем* [64] *нашего века* и т. д. Все это представлено неконцентрированно и тонет в общем потоке нейтральной лексики. Но сам факт употребления этих слов без видимых стилистических мотивировок — если не считать такой мотивировкой серьезный характер текста — показателен.

Такие слова может включать любой серьезный текст, даже если он помещен в сатирическом журнале, где предпочитается вообще слог простой, разговорный. Речь идет не о произведениях типа речи епископа Георгия, помещенной в «Живописце» (ч. II, л. 19), или перепечатанного там же (ч. II, л. 3) «Слова на выздоровление. . . великого князя Павла Петровича» Фонвизина: это высокий стиль в его традиционных формах, — но и о таких умеренно книжных, «средних» текстах, как «Письмо из Ярославля» Любомирова об учреждении «общества, старающегося о напечатании книг» (Там же, л. 18) [65] или письмо издателя Е. А. Щербинину «о заведении типографии гражданской при Харьковских училищах» (Там же, л. 20) и др.[66]

§ 13. Те же тенденции выявляются и в деловом языке. Деловой язык этой и предшествующих эпох представлял собою смесь архаики с иностранными заимствованиями. Н. Греч писал о «канцелярском и приказном слоге» как о «верхе странности, дикости», замечая, впрочем, что это не только свойство р у с с к о й деловой письменности. «Во всех языках, — говорит он, — слог деловой и юридический известен варварством и упрямством в сохранении обветшалых, диких форм» [67]. Здесь нет необходимости приводить примеры, они слишком многочисленны. Надо лишь сказать, что помимо широко представленной специфической приказ-

---

[64] *Прорицалище* — «капище или место, где в язычестве по обману жрецов, а суеверию народа, ответы давались» (Словарь АР; в «Аналогических таблицах» — помета «славенское»).

[65] Это письмо некоторые исследователи приписывают Екатерине II. См.: В. П. С е м е н н и к о в. Русские сатирические журналы 1769—1774 годов. СПб., 1914, стр. 51—53. См. также комментарии Г. А. Гуковского в кн.: А. Н. Р а д и щ е в. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 423—425, здесь же см. о гипотезе Д. Кобеко, приписавшего — без достаточных оснований — это письмо Радищеву. Ср. предположение П. Н. Беркова о принадлежности статьи самому издателю Н. И. Новикову (см. комментарии в кн.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова». М.—Л., 1951, стр. 585).

[66] Приведя фразу из «Живописца»: «Естьли какое находит она [Россия] препятство к тому, чтобы нарещися ей за превосходные свои совершенства несравненною под солнцем страною, то другого нет, как сей токмо недостаток», Я. К. Грот замечает, что «подобную неровность и смесь выражений даже в сатирических и шуточных статьях, представляет еще и „Собеседник любителей русского слова“» (Я. К. Г р о т. Карамзин в истории русского литературного языка. «Филол. разыскания», т. I. Изд. 2. СПб., 1876, стр. 65—66).

[67] Н. Г р е ч. Чтения о русском языке, ч. I. СПб., 1840, стр. 150.

ной лексики — слов типа *яко*, *токмо*, *паки*, *колико*, *понеже*, *поелику*, *толико*, *учинить* и т. д., в деловой письменности этого времени можно встретить и слова собственно высокие или примыкающие к ним типа *воззреть*, *отверзтый*, *восхотеть*, *возыметь*, *днесь*, *подвигнуть* и т. д., не говоря уже о большом количестве слов, характерных для книжного языка вообще.

Надо заметить, что архаический элемент присутствует в деловом языке не только в указах, манифестах и других документах официального характера, но и там, где можно было бы ожидать отражения живой речи, например в следственных материалах. Вот некоторые фразы из следственного дела Новикова (1792) — вопросы и комментарии допрашивавшего его С. И. Шешковского, ответы обвиняемого [68].

«Деяния его совсем противны его изречениям» — замечает Шешковский относительно ответов Новикова (*изречение* здесь — отглагольное имя от *изречь*); Новиков несколько раз говорит, что он «паки призывает бога во свидетели»; см. также: «доднесь пребывает в моем сердце»; «по стезям Христианского нравоучения; иметь бодрственную осторожность против иллюминатов; ответствовать [на письмо]»; «употреблять [книги] не для рассевания»; «сие от нас еще было сокрыто»; «практическое откровение сих работ»; «пьянственные пиршества», *подвиг* употребляется здесь несколько раз в значении любого действия, даже намерения, поступка, так, относительно продажи запрещенных книг Шешковский спрашивает, *из какого подвига* Новиков *сие делал*, а отвечая на этот вопрос, Новиков говорит, что «любовь к литературе великое в сем подвиге участие имела».

В газетах и журналах 80—90-х годов в политических статьях, обзорах, информациях, брошюрах, написанных вообще умеренно-книжным, «средним» языком, время от времени без видимых стилистических заданий встречаются такие, например, слова и фразы: *бурные многоглаголания* (о прениях в парламенте) («Московские ведомости», 1790); «толпы баб, кои влекли за собой пушки» («Санктпетербургские ведомости», 1789); «сие отступление остается еще и поднесь непонятною загадкою» (там же, 1792); подъемлют оружие («Иртыш, превращенный в Иппокрену», 1791); с толиким любомудрием (Там же); хлеб нами снедаемый («Чтение для вкуса, разума и чувствований», 1791); Чудовище войны! Глава твоя украшена тридцатью диадемами, *ты, властвуя*, объемлешь много скипетров. . . невзирая на венчанную голову твою и на хвалу соплетаемую тебе стихотворцами я. . . раздираю обнародования, гласящие твою славу (Там же); изъемлет меч («Дело от безделья», 1792); воспеть паки мир («Зритель», 1792); сладкострунными звонами (Там же); отъять чужие венцы, украсить ими чело свое (Там же); Дух гражданина и верного подданного. . . на старости

[68] Цит. по кн.: «Н. И. Новиков и его современники». М., 1961.

злодеяниями французских бунтовщиков воссмятенный (название брошюры А. Волкова, 1794) и т. д. Разумеется, что в местах патетических объем и концентрация «славенских» слов возрастает, но важно отметить употребление этих слов и в не насыщенных архаикой контекстах.

Любопытный материал дают толкования слов в Словаре Академии Российской. Подчеркнуто деловой, спокойный характер толкований и определений исключает всякое предположение о возможном пристрастии составителей к высокому слогу; вообще всякая архаика была бы здесь совершенно неуместна. Между тем в толкованиях Словаря АР мы встречаемся со словами: *ветр* (статьи «поветер», «борей» и др.), *восчувствование* (*до восчувствования боли* — статья «надсед»; см. еще статью «поразительный» и др.), *возженный* и *возжение* (в статьях «освещать», «освещение»), *превыспренность* (статья «небопарный»), *вретище* (статья «плахта»), *нагбение* (статьи «наклонение», «преклонение»), *древо* (статья «мирт» и др.), *отженять* (статья «отвергаться»), *разженять* (статья «расточать»), *нисшествие* (статья «нашествие»), *изрещи* (статья «молвить» и др.), *разверзтие* (статья «пасть»), *скудельный*, *соглядение*, *снабдевание*, *снедный*, *снедать*, *свеща*, *перси*, *осиявать*, *прещение*, *сопрящи* и т. д.; вполне обычны в толкованиях *паки*, *токмо*, *инде*, *вящий*, *яко* [69] и т. д. Любопытно, что большинство этих слов снабжено в самом Словаре пометой «славенское».

---

[69] Примеры таких слов в толкованиях Словаря АР могут быть умножены. В то же время следует заметить, что к этому источнику надо подходить осторожно. Так, говоря об отражении архаической лексики в словотолкованиях, нельзя принимать во внимание по крайней мере три группы случаев. Во-первых, такие случаи употребления архаического слова, когда оно связано с внешним обликом толкуемого слова: например, *брег* в толковании слова *обрежие*; *глава* («лишать жизни усечением главы») в статье «обезглавлять» (впрочем, в той же статье есть и *отсекать голову*); *злато* («быть украшену златом») в статье «озлащаться»; *град* в статье «предградие» (ср., например, *город* в статье «пригород»; впрочем, *город* встречаем и в статье «приградие»); *ратай* при объяснении слова «ратоборец» и др. под. Во всех этих случаях действует своего рода словообразовательная инерция. Во-вторых, архаизмы, появление которых, может быть, объясняется высоким характером толкуемого слова или понятия. В этом случае естественно стремление передать в толковании не только значение слова, но и его стилистическую окраску или употребить слово того же ряда: так, в статье «паникадило» употребляется *свеща*, «озлащаться» объясняется через *осиявать*, «ратоборство» через *брань* и др. В-третьих, наконец, не приняты во внимание случаи, когда слово толкуется при помощи возможно более полного набора синонимов. Тогда в статье «палец» появляется *перст*, в статье «ненасытный» — *алчный*, в статье «небесный» — *горний*, в статье «прах» — *персть*, при «очарование» — *обаванние*, при «плечо» — *рамо*, при «поелику» — *понеже* (и при «понеже» — *поелику*) и т. д. Во всех этих случаях употребление архаического слова может получить специальное толкование, и поэтому слова эти не включены в приведенный выше список; и все же, даже с теми оговорками, которые здесь сделаны, случаи эти тоже не безразличны для характеристики литературного языка. Сама возможность употребления этих слов в таком жанре, как словарь, уже показательна.

Определенный слой книжно-архаических слов встречается и в частных письмах, например, у Радищева — в письмах А. Р. Воронцову, еще архаичнее письма Радищева С. И. Шешковскому, написанные им в Петропавловской крепости. Они насыщены эмоциональными восклицаниями и размышлениями, вроде следующих: «О если бы милосердствовати можно было о несчастном и единственное благодеяние сделать стенящему, и дать мне их видеть в последний раз, какая неизреченная милость!»; «лишаются они. . . в юности воздержателя от погрещностей»; «се рука всесильного отягчается над тобою за твои грехи»; «яко. . . согрешил тьмы крат и бесконечно» (26 июля 1790 г.) [70]; «к кому воззову в моей скорби, кто услышит мое стенание и ущедрится»; «доколе дыхание продлится в груди моей, доколе я жив буду, помышления мои, мысли и чувствования, от плачевного моего семейства отвращены быть не могут»; «от того мое сетование, оттуда мое стужание» (конец июля — начало августа 1790 г.); «воспомяни, что и ты отец и чадолюбив, и простите мне мое стужание»; «душа . . . паче прилепилася» (июль—август 1790 г.). Любопытно, что в этом же письме — просьбы о некоторых хозяйственных делах, вроде того, чтобы получить деньги с жильцов, приобрести дрова и т. д.; написана эта часть, разумеется, совершенно по-другому.

Не только Радищев писал частные письма так книжно. В 90-е годы известный ученый-медик Д. С. Самойлович писал по поводу преследований, которым он подвергался, что он «полагал себя аки умершего, а со мною погребенными безвременно все труды мои, всю дражайшую науку мою, все стяжание знаний моих» и т. д.[71]

§ 14. Употребление книжной лексики «в домашней», по выражению П. Бицилли, литературе этого времени — в записках, мемуарах, письмах — представляет большой интерес. Различие в уровне и характере образованности, вкусе проявляется здесь довольно отчетливо, ср., например, письма Фонвизина, с одной стороны, письма и записки А. Т. Болотова, И. М. Долгорукого, отчасти Державина — с другой. Но здесь есть и много общего. Разговорно-бытовая речь, сильная примесь приказного «подьяческого» слога, заимствования разного рода, также связанные отчасти с разговорной речью, а отчасти с канцелярским слогом, знакомство с книжной литературой — все это создает тот пестрый, действительно смешанный, одновременно и просторечный и несколько претенциозно-книжный слог, слог «полуобразованности»,

---

[70] Не привожу уже прямо почти по-церковнославянски написанное обращение к богу; там встретим *воньми*, *лобжу*, *днесь*, *возмечтав*, *мудрствовати*, *виждь*, аористы *согреших*, *исполнися* и под. Впрочем, некоторые из этих слов, например *днесь*, *возмечтать*, могут встретиться не только в таком контексте.

[71] Д. С. Самойлович. Избранные произведения, вып. II. М., 1952, стр. 388.

который оказался довольно устойчивым и в последующее время, особенно в кругу лиц, не имевших возможности, как говорили, «образовать свой вкус» [72]. Разумеется, все это отражает неразработанность, ненормированность разговорного, «общественного» языка, но нас интересует в данном случае лишь тот факт, что книжная, даже высокая лексика проникает в эту «домашнюю письменность».

Выразительным примером в этом отношении могут служить записки Андрея Болотова. Здесь на фоне широкого слоя просторечно-разговорной лексики (см. стр. 95 и сл.) в нейтральном контексте встречаем: *угобзить* [73], *бдить*, *ринуться* (в значении «упасть»), *наутрие*, *днесь*, *глагол*, *велеречие*, *возопить* («Э! Э! Э! — *возопил* тогда я сам себе»; вообще это слово встречается у Болотова часто), *узрение*, постоянное *ответствовать* и т. п.[74] Вот еще несколько примеров из записок Болотова: «как вострепетало во мне сердце, как я сие услышал»; «а по всему сему и возмечтали зверские злодеи сии, что им ничто не в состоянии будет воспрепятствовать произвесть злодейское свое намерение в действо»; «слух, поразивший всех неизреченным образом»; «переход из прежнего спокойного в такое неизреченное смутное расположение духа»; «неописанное удовольствие восчувствовали» (т. 3, письмо 151); «восприять в том соучастие, к великому обрадованию и удовольствию всех детей» (т. 3, письмо 202); «из единой алчности к прибыткам»; «едучи мимо Арбатской аптеки, восхотелось мне заехать в нее» (т. 3, письмо 204) [75]; «воздух восстенал от лая и воя»; «с приездом его у нас все оживотворилось и все начало дышать псовою охотою и едиными почти разговорами о псах и лошадях смердящих»; «вожделенное прибытие его сиятельства» (т. 3, письмо 206); «раздражать князя на меня всякими коварными и злоухищренными внушениями; будучи напояем внушением»; «его поступка . . . вперила во всех достойную к сему командиру ненависть и отвращение»; «все их злодейские оковы»; «с таким вожделением ждали его отъезда; ему возомнилось . . .»; «восчувствовав всю дурноту содеянного им» (т. 3, письмо 207); «услышали уже вшествие приезжих в сени» (т. 3, письмо 229); «представляли преузорочное зрелище» (т. 3, письмо 227); «я смотрел на них. . .

---

[72] Этот слог нашел отражение и в художественной литературе, например в романах А. Измайлова и В. Т. Нарежного.

[73] *Гобзю* — «сл[авенское]»; «Обильным, избыточествующим делаю» (Словарь АР); как «славенское» это слово помечено в «Аналогических таблицах». См. также *гобзую*, *гобзование* и др.

[74] См.: П. Б у р б а. Особенности лексики «Жизни и приключений» А. Болотова. (Канд. дисс., рукопись). Киев, 1953.

[75] *Восхотеть* вообще встречается у Болотова часто, причем в самых простых описаниях, например: «по беспредельной страсти своей к звериной ловле не восхотел и сего дня потерять» (т. 3, письмо 206); «восхотел ему сделать некое неудовольствие» (т. 3, письмо 159); «восхотелось молодцам пображничать и погулять» (т. 3, письмо 233) и др. под.

с примечательным оком» (т. 3, письмо 225); «не успел я . . . возжелать сыскать больного»; «принужден я воспринимать прибежище свое к единой своей памяти»; «спим, покуда часовой нам не закричит и не предвозвестит, что приближается утро» (т. 3, письмо 154); «в рассуждении некоторых содеянных им пакостей» (т. 3, письмо 252); «доставляет мне неудобь изъяснимое удовольствие и потеху» и мн. др.

Можно привести аналогичные примеры и из начатого Болотовым, но не обработанного продолжения его записок «65-ый год моей жизни. . .» [76]: «Первым долгом я себе почел. . . принесть ему [богу] достодолжное благодарение. . . за все и все, чем я пользовался от него во все дни живота моего»; «отыскав, воспел я оное [стихотворение] с новыми чувствиями благодарности»; «пещись колико можно о том. . ., что касается собственно до меня, яко главной особы»; «единая левая нога начинала только меня приводить в некоторое опасение»; «красе их обиталищ»; «города исторгнуты из прежней их азиатской дикости» и под.[77] Вот еще несколько примеров из его же «Письма к приятелю. . . о петиметрах» [78]: «крик, с которым они всегда свои размашки сопрягают»; «на поклон его весьма приятным и надежду его подавшим образом соответствовала»; «утушить огонь, который каждым еще более возжигаем был» и др.

Особенно любопытны в жизнеописании Болотова случаи, когда книжные слова без всяких стилистических задач смешаны со словами просторечными или простонародными, например: — «Ах, князь! — возопил я с крайним на сие негодованием, — не с ума ли ты рехнулся?» (т. 3, письмо 210); «Сей горе-командир, будучи, так сказать, с ног до головы замаран дерьмом. . . по смешному своему любославию, восхотел еще и тогда покичиться своею потерянною уже надо мною властию» (т. 3, письмо 252); «о Потемкине — о сем великом вельможе тогдашнего времени, ворочавшем всем государством. . . и, как казалось, родившемся на сущий вред оному, о человеке, который ненавидел свое отечество и причинял ему неизреченный вред и несметные убытки алчностью своею к богатству, и который все превозмог. . . и продолжал по-прежнему дурить, обжираться и делать проказы» (т. 3, письмо 235) и др. под.

Очень широко представлены у Болотова имена действия на *-ние*, иногда очень искусственные, как *сгоняние* (лошадей), *найдение*, *напоение*, например: «к предварению сего зла чрез напоение ее своим целебным декоктом» (т. 3, письмо 222), «произведение перемены», «охота к стихотворению» (т. е. к «творению» стихов),

---

[76] «Литературное наследство», т. 9—10. М., 1933, стр. 166.

[77] Но см. несколько неожиданное, типично карамзинское: «нынешний вечер дней моих» («Литературное наследство», т. 9—10, стр. 166).

[78] Там же, стр. 182 и сл.

«рассказал все происхождение» (т. е. все, что произошло)[79], «предприятие езды», «внашивание вещей в горницу», «накупление книг» и т. д.[80]

Как на любопытный образец такого же слога можно сослаться на написанную в 1803 г. автобиографию Василия Пассека[81], офицера, посаженного за различные неблаговидные поступки в тюрьму (автобиография написана в тюрьме). Вот несколько фраз из биографии Пассека: «дядя ухищрениями скопил над моею головою толико ужасную бурю, коея пагубное действие. . . повредило неоцененное основание благосчастия — мое здоровье», «действуя против меня тайными пружинами злобы»; «мне встретилась счастливая мысль. Взяв ее на весы рассудка, решился я произвести оную в действо»; «слезы, пролитые в недра сострадающего, облегчили его»; «ты обязан снискивать милости мои» (и здесь же разговорное *пошел вон*!); «не имя, а достоинство соделывают человеком»; «надев личину политики и кротости» (или «восприяв. . . вид кротости»); «вопросил меня»; «в воспалении ума моего»; «невинное претерпение»; «быть игралищем прихотей вредных начальников»; «ввергнутый в бездну зол»; «любовь, которую благотворная природа влияла в сердце отца к сыну»; «по уловлению оной»; «исторгла меня из челюстей смерти»; «свобода отверзла предо мною врата свои»; «восприял новое бытие»; «вырвать наследство из челюсти алчного к золоту»; «сей гидры главы нашел я уже отсеченными»; «сии коловратные Софья и Анна»[82]; «принужден был взаимствовать семидесяти сделанным ему навещаниям»; см. еще слова *узреть*, *усугубить*, *для завладения*, *обретение*, *вопрошать*, *поднесь*, *любостяжение*, *подкупление*, *дабы*, *яко*, *кольми*, *паче*, *понеже*, а также *физикат* (врач), *апробовать*, *макиавелизм*, *интрига*, *пароксизм*, *абстракция* и под. И все это перемешано с такими словами и выражениями, как «мажет по губам медом», «замарать меня у Петра Богдановича» (т. е. перед ним), «потчуя меня завтраками» (т. е. обещаниями на завтра); «сам на себя пеняй»; «вешалась на шею», «засундучить» (посадить в тюрьму) и под.

Меньше книжной архаики (как, впрочем, и просторечия) в «Записках» И. М. Долгорукого[83]. Но и там без всякого специ-

---

[79] Слова *происшествие* и *происхождение* употреблялись не вполне расчлененно: *происшествие* могло означать также и *происхождение*, и наоборот.

[80] Обращает на себя внимание устойчивость такого словоупотребления в жизнеописании Болотова: приведенные выше примеры взяты из 3-го тома жизнеописания, написанного в 1807—1812 гг., но это тот же язык, каким писались в 70—90-е годы первые части.

[81] «Русский архив», 1863.

[82] *Коловратный* — «в смысле нравственном означает: непостоянный, беспорядочный, переменчивый» (Словарь АР); *коловращаю* в Словаре АР помечено как «славенское»; в «Аналогических таблицах» эта помета и при *коловратно*.

[83] И. М. Долгорукий. Сочинения, т. 1—2. СПб., 1849.

ального стилистического назначения, как обычные «авторские» слова могут встретиться *живот* (в значении «жизнь»), *вотще*, *вельми*, *вежды*, *нощный*, *позорище* (в значении «зрелище»), *возопить*, *отринуть*, *яко*, *паки* и т. д.; см. там же *вожделенный успех*, *сей плачевной отрасли несчастных супругов*, *возжелала постричь ее* (в монахини), *в сущей* [84] *молодости*, *юдоль*, *врачевство*, *мздоприятие*, *надеяние*, *грабить веси и селения*, *сладкоглаголивый*, *царя Давида*, *изрекшего*, *толь благие начинания* и некоторые другие [85]. Любопытный материал представляют и записки Державина, так же, как и «Записки» И. Долгорукого, написанные уже в XIX в., но принадлежащие по языку XVIII веку.

§ 15. Мы видели, что роль, место и функции архаической, «славенской» лексики в литературном языке второй половины XVIII в. были очень значительны и не ограничивались прикрепленностью к традиционным высоким жанрам. Разумеется, степень употребительности этой лексики у разных авторов зависела от разных факторов, в том числе и от индивидуальных пристрастий, приверженности к традиционным стилистическим нормам и т. д. Целесообразно поэтому продемонстрировать отмеченные выше тенденции на примере писателя, язык которого, не отличаясь чрезмерным пристрастием к архаике, отражая развитие литературного языка разносторонне и гармонично, был бы в то же время достаточно типичен для своего времени.

В этом отношении показателен язык произведений Фонвизина. Будучи одним из зачинателей так называемого «елагино-фонвизинского» направления в развитии книжного «славяно-русского» языка, он был в то же время свободен от его крайностей. Образцовый литературный вкус не позволял Фонвизину писать так, как «претолковники» творений Платона. Тем более объективное значение имеют показания, которые можно извлечь из его произведений. Анализ языка Фонвизина приобретает особый интерес еще и потому, что в нем можно видеть зародыши тех процессов, ко-

---

[84] *Сущий* имеет в Словаре АР три значения: 1) «находящийся, пребывающий, существующий» (т. е. причастие от глагола *быть*, синонимично *сый*); 2) «точный, истый, совершенно подобный»; 3) «придается также к означению превосходных добродетелей или пороков». Бесспорно, что стилистическая окраска слова в 1-м значении, с одной стороны, и во 2-м и 3-м значениях (кстати, близких между собой), с другой стороны, совершенно различна, хотя Словарь АР и не фиксирует этого специальными пометами; ср. примеры в Словаре АР: к 1-му значению — только из церковной литературы, ко 2-му и 3-му — бытовые: 2) *сущая правда*, *ложь*; *этот сын сущий отец*; 3) *сущий христианин*; *сущий злодей*, *бездельник*, *мот*, *забияка*. Не случайно, очевидно, во всех этих примерах написание *сущей*, а не *сущий*; ср. в заглавии словарной статьи — *сущий*; об отличиях в написании *-ый*, *-ий*, *ой*, *-ей* в Словаре АР см.: Г. О. Винокур. К истории нормирования русского письменного языка в конце XVIII в. Избр. работы по русск. языку, стр. 183—186.

[85] См.: В. Новицкий. Проза И. М. Долгорукого. (Канд. дисс., рукопись). Харьков, 1952.

торые получат развитие на следующем «карамзинском» этапе развития языка.

Проза Фонвизина в сравнении с прозой других авторов единодушно признается наиболее близкой к карамзинскому прозаическому языку. Вяземский в своем исследовании о Фонвизине говорит о Карамзине как о писателе, которому «суждено было довершить и полнейшим развитием усовершенствовать и установить начатый Фонвизиным переворот в нашей прозе»[86]. Греч также утверждал, что «Фонвизин более всех прочих содействовал успехам русской прозы»[87]. Наконец, и Белинский признавал, что «язык Фонвизина резко отделяется от языка Ломоносовского и близко подходит к языку Карамзинскому»[88]. Бесспорно, что такого рода оценки относятся главным образом к синтаксису прозы Фонвизина и к его «слогу», «складу речей» (по выражению Белинского). Действительно, в стремлении к естественному порядку слов и расположению частей предложения Фонвизин во многом предвосхищает Карамзина. С Карамзиным отчасти сближает Фонвизина и любовь к ритмизованной, «кадансированной» прозе — например, в переводе «Иосифа», «Похвального слова Марку Аврелию», повести «Сидней и Силли». Лексика Фонвизина была более традиционна, обнаруживая в то же время и те тенденции, о которых выше много говорилось. Вообще «новаторство» Фонвизина не следует преувеличивать. Приведенная выше оценка Белинского завершается такими словами: «Но тем не менее Фонвизин относится к писателям Ломоносовского периода русской литературы и нисколько не может считаться преобразователем русского языка». Вяземский писал, что Фонвизин «не умел справиться в согласовании языка церковного с языком общества, когда покушался на такое сочетание», что «неуместная пестрота галлицизмов и славянизмов, встречающаяся в творениях его, не позволяет признать его в отношении искусства как писателя образцового»[89]. Разумеется, в этих словах сказывается недостаток историзма у Вяземского[90], но, независимо от этого, они интересны и показательны как оценка правоверным карамзинистом одного из лучших — если не лучшего — прозаика докарамзинского периода. Очень существенно, что эту пестроту Вяземский видит не только в «Иосифе» или «Похвальном слове Марку Авре-

---

[86] П. А. Вяземский. Фонвизин. СПб., 1848, стр. 291.

[87] Н. Греч. Чтения о русском языке, ч. 1, стр. 118.

[88] В. Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина, статья 2. Полн. собр. соч., т. VII, М., 1955, стр. 134.

[89] П. А. Вяземский. Указ. соч., стр. 18—19.

[90] Хотя вообще Вяземский-критик был одним из самых «историчных» деятелей русской литературы своего времени. См., например, его замечание о том, что «всякого поэта не нашего времени нельзя читать с требованиями и условиями, нам современными» (цит. по статье: Л. Гинзбург. Вяземский-литератор. — Сб. «Русская проза». Под ред. Б. М. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова. Л., 1926, стр. 118).

лию», но и в комедии, сатирических и философских статьях, а также и «в слоге письменном», т. е. в языке писем. Фонвизин, говорит Вяземский, пользовался «помощью славянского языка. . . без размышления», следовательно, не только как сознательно отобранным материалом для создания нужного стилистического эффекта, но и как обычным материалом книжного языка вообще. В этих оценках отражается промежуточный, переходный характер языка Фонвизина (как и многих его современников) между «ломоносовским» и «карамзинским» периодами — и в этом его типичность для второй половины (точнее, 60—70-х годов) XVIII в. В. В. Виноградов писал, что «язык фонвизинской прозы служит типическим примером литературных стилей третьей четверти XVIII в., приспособлявших книжную традицию начала века к европейской системе выражения и к русской народной речи» [91].

Остановимся только на «славенском» лексическом элементе в прозе Фонвизина: она демонстрирует почти все те типы употребления этой лексики, о которых говорилось выше.

У Фонвизина есть произведения, которые можно — если говорить о лексике — безоговорочно отнести к высокому стилю в его традиционных формах. Таковы прежде всего «Слово на выздоровление великого князя Павла Петровича» (1771) и перевод «Похвального слова Марку Аврелию» Тома́ (1777). Вот несколько примеров из «Слова на выздоровление. . .»: «Се Павел. . . является очам нашим, исшедши из опасности жизни своея, ко оживлению нашему»; «матерь чадолюбивая. . . ты купно страдала с Павлом и Россиею и вкушаешь с ними днесь общее веселие»; «о радость неизреченная», «не хотяй верити толь грозной вести»; «подъемля к Екатерине длани своя»; «любезные сограждане! кого мы паки зрим!»; «трепещи, — вопиет ему, — павлова жизнь едва ли не в отчаянии» [92]; «Екатерина хощет утешити сына своего некиими словами»; «позволь, о государь! вещать тебе гласом всех моих сограждан»; «исторгал себя из челюстей смерти» и др.

Традиционность лексики высокого стиля здесь между прочим и в ее умеренности. Эти ближе к высокому слогу Ломоносова, чем к «славяно-русскому» языку крайних архаизаторов типа Екимова, Попова, переводчиков Платона, даже Елагина или Радищева. Здесь почти нет того нагромождения тяжеловесной славянщины, которой переполнены произведения этих последних. В то же время у Фонвизина представлена стилистически вырази-

---

[91] В. В. Виноградов. Очерки. . ., стр. 127. См. также принадлежащий Я. К. Гроту разбор книги П. А. Вяземского «Фонвизин» («СПб. ведомости», 1848, № 281—283), в частности о трех «оттенках» языка Фонвизина.

[92] *Отчаяние* здесь «безнадежное состояние»; такого значения нет в Словаре АР, где *отчаяние* определяется как «состояние души унывшей, потерявшей упование. . .» и т. д.; но см. *отчаянный* — «безнадежный» с примером *отчаянная болезнь*.

тельная высокая лексика, как она сложилась в традициях высокого стиля ломоносовской поры [93], в отношении и своего состава, и умеренной ее концентрированности. Намного больше насыщено славянизмами «Похвальное слово Марку Аврелию». И. И. Дмитриев говорит об этом переводе, а также о переводе «Иосифа», как об образцах того славянизированного «елагино-фонвизинского» слога, который находится у истоков новых тенденций в развитии книжного языка. Вот некоторые примеры из «Похвального слова» . . . «Сопричтите мя лику вашему! — вещал он, — . . . возвысьте мои чувствования, да научусь едино любить истину и творити правду едину»; «позволь тако изрещи тебе старцу, зревшему твое рождение, носившему на руках своих тебя младенца суща»; «остановленное шествие погребения паки путь свой восприяло»; «кротость, воздержание, нежное дружество — се свойства, представившиеся ему исходящу из пелен»; «но что вещаю я? Он исторжен был из Рима и от царского двора» и др. под. Здесь постоянны такие слова, как *десница*, *днесь*, *вопиять*, *воспомянуть*, *возмочь*, *воззреть*, *вещать*, *преходить*, *рещи*, *нарещи*, *изрещи* (например: «хотел он нечто изрещи»; постоянны формы *рек*, *рекли* и т. д.), *почто*, *се*, *тысяща*, *скончевать*, *исходить* (в значении «выходить»), *отвлещи*, *снити* («повелит: сниди»), *брение* [94] («разве можно мне вместо сих златых сосудов продавать брение бедного и хлеб питающий младенцев») и др. Можно указать еще архаическое употребление слова *изумление* в значении, связанном со значением «не постигать умом» (в славенском слове *изумевати*, см. Словарь АР).

Как видим, отбор славянизмов здесь менее тщателен, весь текст звучит намного более книжно и архаично, чем «Слово на выздоровление. . .» Но, говоря о славянском элементе в «Похвальном слове Марку Аврелию», надо отметить, что он представлен не только в текстах риторических — в речи Аполлония или «беседе» Марка Аврелия, но и в рассуждениях Аполлония, и в авторском повествовании, например: «здесь народ возопил»; «множество гласов вдруг восстали»; «шествие паки свой путь восприяло»; «узрел он, что протекла нощь»; «хотел он нечто изрещи, но воздержался» и др.

---

[93] Но если обратить внимание на заметный отход Фонвизина уже в этом произведении от синтаксических норм высокой прозы Ломоносова, то станет ясно, что в целом «Слово на выздоровление. . .» Фонвизина выглядит проще, современнее похвальных слов Ломоносова. Это имел в виду Вяземский, когда писал, что слог «Слова на выздоровление. . .» «не имеет тяжелой плодовитости и академической напыщенности слога Ломоносова. . ., приближается уже несколько к общему слогу» («Фонвизин», стр. 261).

[94] *Брение* — в Словаре АР — с пометой «сл[авенское]»: «глина или смесь сухой земли с влажностью или грязь», с примерами только из церковных книг; здесь, очевидно, «рухлядь». Ср., впрочем, в драме «Юдифь» (XVII в.), в речах комического персонажа Сусакима, в его шутовском монологе: «брения возники» (о возчиках нечистот).

Лексика всех названных выше произведений в общем вполне типична для высокого стиля; и хотя степень насыщенности славянизмами в них неодинакова, важно, что высокий стиль здесь традиционно прикреплен к жанру, что он органически связан с присущей этим произведениям эмоциональностью, ораторским пафосом (если не считать отдельных небольших отрывков в «Похвальном слове Марку Аврелию»).

Легко определить стилистическую функцию славянской лексики и в фонвизинском переводе (с французского) известного произведения древней китайской философской литературы «Та-Гио или Великая наука. . .» (1789). Естественно, что только обращением к высокому слогу можно было передать своеобразие стиля этого произведения с его восточным колоритом и налетом древности: «Миен-Ман садится на древах, стоящих на холме. Увы! — вещал Конфуций, — птичка ведает, где ей должно возгнездиться»; «почто сего не знает человек? Неужель лучи просвещающего его рассудка меньше то ему показуют, нежели птичке ее естественное чувство»; «Уен-Уанг, коль чиста и преизящна была твоя добродетель, о колико она чудесна и сияюща»; «коликое приятство в обращении» и др. См. ещё: «отверстые очи»; «узрит он мудрого, к себе грядуща»; «изрещи решение»; «размышлял день и нощь»; «добродетели, тамо им возращенные и окрест его цветущие»; «погружает ее в слезы, яко в волны» (заметим, что *яко* здесь сравнительное, а не качественное, что встречается вообще относительно редко, см. стр. 84); «внемлет министру тако с ним беседующему»; «сие вещает все века»; «да десница его не разит тех, кого милует шуйца»; «летят на стретение их» и т. д.

Среди произведений, где славянская лексика у Фонвизина связана с заданным для определенного текста стилем, можно назвать и «Каллисфен» (1786), нравоучительную повесть об афинском философе, ученике Аристотеля, жившем при дворе Александра Македонского. Здесь встретим, хотя и не так концентрированно, как в «Иосифе» или «Похвальном слове Марку Аврелию», те же славянизмы: «возрадуйся о моем сердечном удовольствии»; «возжечь любомудрия свещу во всех пределах света»; «надменный пышностью и ложным славолюбием» (здесь следует обратить внимание на слово *надменный* — причастие, воспроизводящее архаическое употребление глагола *надмить*, *надмеваться*, как на прямой перенос к этимологическому значению этого слова — «надувать, надуваться»)[95]: «выйди к ним на стретение»; «обрати к ним человеколюбное око»; «возгнушался сим недостойным подозреньем» и некоторые другие; см. также *возопить*, *воздыхание*, *возмутиться*[96]

---

[95] Ср. в Словаре АР: *дму* — 1) «дую, надуваю что»; 2) [переносно] «гордым делаю, произвожу в ком высокие мысли» — с пометой «старин[ное]».

[96] В Словаре АР это слово не снабжено никакой пометой, но иллюстрируется примерами из библии.

в значении «смутиться, взволноваться», *мещут громы*, *возыметь презрение*, а также *тако*, *понеже*, *толикий*, *толь*, *паче*, *токмо*.

Своеобразие языка этой повести заключается в примеси бытового просторечия — особенно в речи отрицательных персонажей — «придворных тварей», врагов Каллисфена, например: «из какой бишь Аристотелевой книги читаете вы проповедь? — спросил он с насмешкою у Каллисфена». А вот обращенные к Каллисфену слова начальника обоза в войске Александра: «Зачем, старик, тащишься с нами?... здесь и без тебя грузно. Я слышал, что ты философ; дай-ка посмотреть на себя. Мы их при конюшне не видывали; я чаю, полно, есть ли они и при дворце»; «да что ж ты не при лице?... нет, старик коль ты отдан на мои руки, так видно, мода с тебя спала. Ты, я чаю, болтаньем своим досадил многим господам»; «мы тут сами около тридцати лет шатаемся»; «вот на? . . . да для его высокопревосходительства я сам бы рад припрячься»; см. еще несколько неожиданное сочетание *понеже-де*. . . в речи одного из придворных.

Соединение в произведении высоких и просторечных кусков как условный прием воспроизведения одновременно и эпической величавости и безыскусственности, свойственных речи античных персонажей, имеет свою традицию, получившую в дальнейшем развитие в гомеровских переводах (см. переводы Гнедича и Жуковского). Впрочем, разговорные элементы, хотя не так ярко выраженные, встречаются здесь и в авторской речи, например *пособлять*, *приобыкнуть*, *обыкнуть*, *подыск*; см. еще об Александре: «Земной бог спился с кругу». Важно подчеркнуть, что соединение разностильных фактов языка выступает здесь как художественный прием, основанный на ясном представлении об их стилистических качествах.

«Иосиф» написан раньше, чем названные только что произведения, но в некоторых отношениях он представляет собой явление, дальше отстоящее от традиций высокого стиля. Выше цитировалось предисловие Фонвизина к своему переводу, где он говорит о необходимости иметь слог «такой, какового мы еще не имеем». Фонвизин очень точно говорит о том, для какого рода литературы нужен этот слог: он называет «Телемака», «Аргениду», «Иосифа», т. е. произведения, не укладывающиеся в рамки ломоносовских трех стилей. Существующие переводы «Телемака» и «Аргениды», осуществленные Тредьяковским, не удовлетворяют Фонвизина потому, что первый «переведен славенским» языком, а в «Аргениде» он находит «много наших нынешних выражений, не весьма, кажется, сходственных с важностию сея книги». «Итак, главное затруднение состояло в избрании слога», — признается Фонвизин. Надо заметить, что Фонвизин не смог вполне успешно решить эту задачу; в общем, если говорить о лексике, он остался в границах традиционного высокого стиля, не найдя других путей «изобразить важность авторской мысли». Но симптоматичен уже самый

факт поисков такого слога, «какового мы еще не имеем». Высокая лексика, как уже выше отмечалось, оторвана здесь от высокого стиля, если понимать под последним весь комплекс его признаков.

Но язык Фонвизина отразил и тенденцию к распространению книжных, отчасти и «высоких» слов за пределами произведений высокого стиля или хотя бы тематически связанных с высоким стилем.

Мы уже видели, что в сентиментальном повествовании писатели довольно легко обращаются к книжно-архаическому лексическому фонду: чувствительность вообще легко переходит в риторику. «Иосиф» — сентиментальный роман с библейскими героями, поэтому «славенская» лексика употребляется здесь особенно широко. Но и язык другого также переведенного Фонвизиным сентиментального повествования, уже с современными героями, — повести «Сидней и Силли» — также не чужд этого лексического слоя, хотя, разумеется, совсем в иной степени, чем в «Иосифе». Наиболее заметен он в нескольких патетических излияниях героев.

Это было все же произведение художественное, с элементами чувствительной патетики. Но обратимся к произведениям публицистического характера, таким, как «О вольности французского дворянства и о пользе третьего чина», «Торгующее дворянство, противуположенное дворянству военному», «Рассуждение о национальном любочестии» и некоторые другие, отличающимся важностью и серьезностью содержания, но лишенным всякого эмоционального «парения».

Это образцы «среднего», умеренного книжного языка. Но вместе с тем мы встречаемся здесь и с таким употреблением: «сии две противные себе в естестве и существенности вещи противоречат друг другу. . . подобно как здравие и болезнь, . . . существенность и небытие»; «чинить добродеяние»[97]; «любовь к дражайшему отечеству»; «вышняя часть (также: «обучаться вышним наукам», «вышний, средний и нижний»)[98]; «Сии дворяне. . . могут сказать отцу своему: Почто приведены мы в заблуждение? мы совершенно к войне приуготованы»; «какие трудности имели мы к снисканию сего порученского места»; «многие пути отверсты вам к счастью» (но и «открыт будет другой путь»); «опровержение границ, которые положили мы между купечеством и дворян-

---

[97] В Словаре АР *добродеяние* дано без пометы, но *добродеяти* определено как «славенское», об этом же свидетельствует форма инфинитива на *-ти*. Приказное *чинить* встречается у Фонвизина и в других сочетаниях, например: «о учинении помощи»; «злоупотребление. . . учиненное ими без наказания».

[98] *Вышний* в Словаре АР не имеет стилистической пометы, но, судя по примерам, — это форма, близкая к «славенским»; проще было *верхний* и — как сравнительная степень к *высокий — высший* (см. в Словаре АР слово *высокий*).

ством»[99]; «сто тысяч дохода тамо не считаются за редкость»; «Вот плоды купечества, древа неисчерпаемого плодоносия»; «сродники извлекают из вас тяжкие воздыхания»; «для отверстия купечества дворянству»; «отверзло коммерции с чужестранными народами»; «древние взирали на купечество презрительным оком»; «Давид восхотел войти в величия божии, не разумея делати куплю»; «святый Хризостом, держа в деснице громовую стрелу, вещает тако» (здесь, разумеется, сказалось упоминание святого; но и это чрезвычайно характерно для текстов такого рода); «увещевает всех дворян к тому, яко к полезнейшему делу»; «дворянство против сего возопиет»; «но Рим паки меня призывает» и др. («Торгующее дворянство»). «Само у себя отъемлет возможность к соделанию какого-либо зла»; «тамо есть государство, но нет отечества»; «престает всякое различие»; «все свое любочестие полагает в том, чтоб государство неминуемо было жертвою насильств и игралищем прихотей его»; «никто нейдет стезею, себе свойственною»; «алчное корыстолюбие»; «не вхожу я в подробности гибельного состояния дел, исторгнутых им под особенное его начальство»; «отдан на расхищение извергам, себе возлюбленным»[100]; «отверзает. . . слух свой на всякое внушение»; «из рук их себя исторгает»; «вопиет он вне ума»; «пещись о нашем благе»; «возопиют единогласно» («Рассуждение о непременных государственных законах»). В «Рассуждении о национальном любочестии» найдем: «разум и вкус изощрять можно в тысящи вещах»; «в рабской одежде сокрывшись; ревнование к самому же себе»; «при больших пременах вещей человеческих»; «в счастии не надмеваются»; «повиноваться гласу своего предопределения»; «неизреченно нужно» (т. е. «чрезвычайно, очень нужно»); «надлежит во младые еще души вселять любовь к добру»; «проницать сердца их вещающими образцами дел великих»; «обретали всеобщее почтение и иройские добродетели»; «ко благу любовь возгорелась»; «сей будущий низринутель[101] римския свободы»; «впечатлевает в нее. . . благородное славолюбие»; «воскликновениям кровожаждущия войны»; «пример единого человека»; «сей прекрасный огнь»; «возопил к своим согражданам»; «люди, коим победою паки приобретать должно имение свое»; «прехождение от рода

---

[99] *Опровержение* здесь метафора к прямому значению слова (см. в Словаре АР первое значение — «опрокинутье» и третье, переносное — «низложение, разорение»). Бесспорно, что такое употребление уже тогда было подчеркнуто книжным, архаичным. Ср. в Словаре АР второе значение: «возражения на известные положения».

[100] *Возлюбленный* здесь отчетливо обнаруживает свою глагольность; в данном случае это не прилагательное, отчасти потерявшее свою высокую окраску, а причастие от глагола *возлюбить*, *возлюблять*. См. Словарь АР, где этот глагол сопровождается пометой «сл[авенское]».

[101] Этого слова нет ни в Словаре АР, ни в «Аналогических таблицах», но есть *низреяю*, *низреваю* (сов. вид *низринути*), *низринуться*, *низриновение* — со значением «низвергаю» и т. д.

в род»; «тот, кто думал спокойно влачить плуг свой приемлет в руку меч»; «грозно нахмуривают чело свое»; «надмясь ласкательством своих обожателей» и т. д., не говоря уже о постоянных *толь*, *яко*, *паче*, *ответствовать* и т. д.

Умереннее многих других сочинений Фонвизина написана его «Жизнь графа Никиты Ивановича Панина». Это довольно спокойное биографическое описание, где факты преобладают над эмоциями — в нем нет ничего от традиционного жития. Но и здесь можно встретить: «ожидать возгорения войны»; «даже и поднесь»; «преносил он претерпеваемые им отовсюду гонения»; «министерских его деяний» [102]; «изволила писать. . . тако»; «он убегал скоропостижности» [103]; «кротким своим воззрением» [104]; «исторгнуть великую княгиню из несчастного дома, в котором раздавался вопль и стенания» (речь идет о том, что надлежало удалить великую княгиню из дома, где только что умер Панин); «повсюду зрелся образ печали. Сие самое место, в коем накануне того дня на всех лицах сияло удовольствие, учинилось чрез несколько часов позорищем ужаснейшего отчаяния» и т. д.

Можно было бы привести подобные случаи и из других сочинений Фонвизина, например из его «Повествования мнимого глухого и немого», статей для журнала «Друг честных людей, или Стародум», его автобиографии («Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях»), даже из комедий — в речах положительных персонажей. Можно заметить также, что славянизмы архаического типа употребляются — хотя и нечасто — и в его письмах, обычно без всяких специальных стилистических мотивов; таковы: *ветр*, *возлюбить*, *насильство*, *возносить главу*, *возгореть*, *снискивать пропитание*, *вкусить толь разумную беседу*, *отрещись*, *сонмище*, *возмечтание*, *отверстый*, *доднесь*, *предвещание*, *сожегши*, *ненавидствующий*, *тварь* (например, в такой фразе: «Что же надлежит до Сент-Жерменя, то, конечно, он весьма чудная тварь, однако тем не меньше шарлатан». Письмо к родным, 11/22 марта 1778 г.), постоянное *ответствовать* и др. Употребляются также приказные *паче*, *наипаче*, *токмо*, *инде*, *тамо*, *ниже*, *толь* и др.[105]

Такова в самом общем виде употребительность книжной лексики в сочинениях Фонвизина. Разумеется, без анализа разговорно-просторечного элемента и заимствований язык Фонвизина представлен здесь односторонне. Но мы не ставили своей целью

[102] См. в Словаре АР: «*Деяние*, сл[авенское]. Действие, дело, происшествие».

[103] Здесь — «торопливость» (ср. здесь же о том, что это свойство Панина «подавало случай обвинять его в медлительности»). В Словаре АР этого слова нет; есть только *скоропостижно* («внезапу, вдруг нечаянно»), и *скоропостижный*.

[104] См. в Словаре АР: «*Воззрение*. . . сл[авенское]. Обращение, устремление очей» (т. е. как имя действия по глаголу *воззреть* — *взирать*, которое в Словаре АР помечено как «славенское»).

[105] См. также: В. В. Виноградов. Очерки. . ., стр. 126.

дать всестороннюю характеристику лексики Фонвизина: важно было показать на примере Фонвизина роль книжного, «славенского» лексического элемента в прозе второй половины XVIII в.*

§ 16. Широта и многообразие функций и некоторая, так сказать, механичность употребления славянизмов в русском литературном языке рассматриваемого времени хорошо обнаруживают себя в переводах с французского языка — в самом том факте, что язык этих переводов легко подчиняется стилистическим отношениям, сложившимся в русском литературном языке. Известно, что французский язык не обладает таким обилием архаических элементов, которые стилистически отличались бы от их общелитературных синонимов [106]. Рядам русских слов типа *глаза — очи — зеницы*, *лоб — чело*, *волосы — власы*, *рот — уста*, *щеки — ланиты*, *грудь — перси*, *плечи — рамена*, *рука — длань — десница*, *пальцы — персты* во французском языке соответствует каждый раз только одно, нейтральное в стилистическом отношении слово: les yeux, le front, les cheveux, la bouche и т. д. «Высокий стиль во французском языке зависит не столько от употребления высоких слов, сколько от неупотребления слов и конструкций разговорных, снижающих. В этом смысле, как известно, французский «высокий слог» в основном понятие негативное» [107]. Еще Карамзин заметил, что русский язык «представляет более аналогических слов, то есть сообразных с выражаемым действием, чем французский» [108]. Все это ставило перед переводчиками особые задачи. Во всяком случае, почти всегда можно утверждать, что архаическая лексика в русском переводе не вызвана лексическим строем французского оригинала. Следовательно, обилие славянизмов и архаизмов, например, в «Иосифе» Фонвизина или в его «Похвальном слове Марку Аврелию» никак не определяется характером лексики поэмы Битобе или произведения Тома́.

Задача воспроизведения иноязычного колорита вряд ли ставилась переводчиками; в лучшем случае делались попытки найти в системе стилей русского языка слог, наиболее полно и точно соответствующий слогу автора. Вообще же выбор слога при переводе определялся сложившейся в русском языке традицией для данного содержания или данного жанра. Поэтому, когда переводчики имели дело с нейтральным жанром или с таким содержанием, для которого не была выработана традиция, появлялось

* Книга была набрана, когда вышла статья А. И. Горшкова о языке Фонвизина («Уч. зап. Коломенского пед. ин-та», т. VII, 1963).

[106] «В этом отношении стилистическая синонимика французского языка весьма убога. Почти все сохранившиеся архаизмы вошли составной частью в идиомы или фразеологические единства, утратив и первоначальный смысл и эмоциональный свой ореол» (Е. Э т к и н д. Перевод и сопоставительная стилистика. — Сб. «Мастерство перевода». М., 1959, стр. 75).

[107] Там же, стр. 82.

[108] Н. М. К а р а м з и н. О любви к отечеству и народной гордости. Соч., т. 3. СПб., 1848, стр. 474—475.

стремление к слогу, «какого мы еще не имеем». Так, переводчик «Нравоучительных речей» (проповедей) Стерна не мог не почувствовать стоящих перед ним трудностей. Мало того, что он переводил их с французского перевода, — слог самого Стерна показался ему непривычным для проповеди. «Знаю, — писал он, — что трудно простоту слога (чем английские проповедники отличаются), краткость речений и чистоту мыслей Стерновых переложить так, как они суть в подлиннике» [109]. Дело здесь не только в трудности передать на не вполне «выработанном» русском литературном языке присущую Стерну легкость слога. Еще в 1792 г. «Московский журнал» печатал отрывки из «Тристрама Шанди» и «Сентиментального путешествия», переведенные легко и изящно; в 1793 г. вышел осуществленный Алексеем Колмаковым перевод «Сентиментального путешествия» (о котором, кстати, переводчик «Нравоучительных речей» сочувственно упоминает); были и другие удовлетворительные и не насыщенные архаикой переводы Стерна и вообще «чувствительных авторов».

Особая трудность в переводе «Нравоучительных речей» заключалась в необходимости передать легким и простым слогом «важное» содержание, религиозные и нравственные сентенции. И переводчик пошел по естественному пути: он переводит проповеди Стерна на язык русской проповеди, на высокий слог — но без его крайностей. У него обычны *тысяща* («под тысящами разных видов», «обманутый тысящей крат»), *инде*, *хощет*, *отверзать*, *глад*, *злеупотреблять* [110]. См. также: «к мете (т. е. цели) всех моих стремлений»; «на коих счастье председит»; «стяжение оного [речь идет *о злате* и *сребре*] повергает в наивящее заблуждение»; «очарованные прелести могущества и власти» (где *очарованный* и *прелесть* использованы в их архаических, «этимологических» значениях); «*животолюбец* [111], подобно объевшимся проестливцам» [112]; «*истаевать* в бесплодных (т. е. лишенных плодов растительности) пустынях»; «*какую гостиницу отверз* нашим нуждам» [113]; «изящнейшее из всех бытий» (говорится о боге; здесь, помимо старого, но еще широко распространенного значения слова *изящный*, обращает на себя внимание слово *бытие* в значении «существо»); «*восстать* и итти в Сарепту» и др. Здесь же *яко*,

---

[109] «Нравоучительные речи и некоторые нравственные мнения Стерна». Перев. Петр Чичагов. М., 1801.

[110] В Словаре АР — только *злоупотреблять*, но параллельно с наречием *зло* есть *зле* (*зль*) с пометой «сл[авенское]» (во втором издании, а также в «Аналогических таблицах»).

[111] В Словаре АР — только *животолюбие* и *животолюбивый* («любящий жизнь»), без стилистических помет. В «Аналогических таблицах» — также и *животолюбец*, причем все три слова снабжены пометой «сл[авенское]»; *животолюбец* есть также во втором издании Словаря АР.

[112] Это слово не встретилось ни в других текстах, ни в словарях.

[113] *Гостиница* характеризуется в Словаре АР как слово «славенское» — тем более в таком употреблении.

тако, *толь*, *токмо*, *понеже*, *паче*, *коликий*, которые в данном случае служат (может быть, кроме *толь* и *токмо*) созданию возвышенного слога, а также уже совсем архаическое *убо*. Надо добавить, что «предуведомление» переводчика написано намного проще, хотя и здесь в переводе нескольких фраз из французского предисловия в нейтрально-книжном контексте встречаем *понеже* («слог его. . . не связан, понеже не выработанный»). Но цитаты из Стерна и здесь выдержаны в стиле всей книги, например: «умастил душу мою ароматами снисхождения и человеколюбия»; «практическими добродетелями, кои соделовали счастие и несчастие моей жизни»; «не может произвесть, ни питать никакого прозябения ни в физике ни в морали».

Этот же принцип легко проиллюстрировать переводами классических трагедий (причем не только этого времени, но и первых десятилетий XIX в.). Любопытно, например, замечание переводчика отрывков из расиновской «Ифигении в Авлиде», помещенных в «Драматическом вестнике» (1808, ч. I). Переводчик пишет, что он «хотел перевести на наш богатый и стихотворческий язык» одну из трагедий Расина, который «на самом бедном и почти не пиитическом языке умел произвести творения, приносящие честь не только его народу и веку, но даже самому уму человеческому» (стр. 106).

Можно сослаться еще на один пример совсем иного рода — на помещенную в конце главы «Подберезье» «Путешествия. . .» Радищева цитату из «Исторического и критического словаря» французского писателя и философа Пьера Бейля, которую Радищев использует для высмеивания мистических исследований масонов. Здесь оказывается выразительным не только анекдотическое содержание цитаты, но главным образом сочетание этого содержания с высоким слогом: при помощи типичного для русской пародической литературы приема создан стилистический эффект, который во французском тексте — во всяком случае, подобными средствами, — не мог быть осуществлен.

Трудности стилистического характера возникали и при переводе научной, философской литературы, публицистики и т. д. Широкое и свободное употребление «славенской», архаической лексики в этого рода сочинениях приводило к тому, что русские переводы французских мыслителей, как правило, выглядят намного более книжными, чем их французские оригиналы. Большой интерес в этой связи представляет произведенный А. В. Чичериным анализ языка перевода отрывка из «Эмиля» Руссо в рукописном сборнике конца XVIII в. Исследователь отмечает, в частности, в переводе тот «торжественный, отчасти библейский тон, который совершенно чужд оригиналу» и который создается как синтаксисом перевода, так и его лексикой [114].

[114] См.: А. В. Чичерин. К вопросу о формировании русского философского языка в XVIII в. «Вопросы славянского языкознания», кн. 3. Львов, 1953.

Известно, что одной из причин засилья французского языка в дворянском быту была ненормированность «общественного» языка, его пестрота и неустроенность. Неумение освободиться от традиций книжной и приказной речи, несовместимой с содержанием светского или дружеского письма и разговора, играло здесь не последнюю роль. Характерны в этом отношении известные слова Карамзина из его статьи «О любви к отечеству и народной гордости»: «Оставим нашим любезным светским дамам утверждать, что русский язык груб и неприятен, — что charmant и sèduisant, expansion и vapeurs не могут быть на нем выражены». И далее: «Язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности» [115]. Но для того, чтобы реализовать эти возможности, нужно «трудиться над обработыванием собственного языка». Очищение его от славянизмов, от следов учено-схоластического и канцелярского слога, как далее увидим, и составляло главное содержание этого «обработывания» русского литературного языка.

Основные стилистические категории и лексические группы в литературном языке второй половины XVIII в.

§ 17. Вовлечение «славенской» лексики в средние (а отчасти и в примыкающие к простым) жанры, усиление ее роли в литературном языке, развитие так называемого «славяно-русского языка» усиливали процесс формирования книжно-литературной лексики, процесс складывания норм национального литературного языка. Процесс этот, как известно, заключается не только в отказе от церковнославянского языка в пользу народно-разговорной речи, но и в освоении церковнославянских элементов как неотъемлемой принадлежности национального литературного языка. Проблема ассимиляции того, что было связано с книжной традицией, была не менее актуальна, чем проблема вовлечения в литературный язык средств обиходной речи. Это две стороны одного процесса. Не случайно Ломоносова волновал вопрос о «пользе книг церковных в российском языке»: определение места и роли славянизмов составляло одну из важнейших сторон ломоносовской реформы, которая «имела своей задачей концентрацию живых национальных сил русского литературного языка» [116].

Решение этой проблемы Ломоносовым соответствовало определенному уровню развития литературы, шире — письменной куль-

---

[115] Н. М. Карамзин. О любви к отечеству и народной гордости, стр. 474.

[116] В. В. Виноградов. Очерки. . ., стр. 97.

туры вообще. В частности, оно определялось состоянием литературы среднего стиля, ее жанровой ограниченностью, бедностью и однообразием ее содержания. Дальнейшее развитие литературы, художественной и нехудожественной, которое затронуло прежде всего именно средние жанры, поставило под сомнение устойчивость установленных в системе трех стилей границ употребления «славенского» элемента — и прежде всего в лексике. Средний стиль, как и весь литературный язык в целом, не был в достаточной мере подготовлен к тому, чтобы удовлетворить потребности богатейшей переводной и оригинальной литературы, связанной с развитием русского просветительства. «Кодифицированные Ломоносовым три контекста, три стиля литературно-книжного языка не покрывали жанров переводной „европейской“ литературы», — замечает В. В. Виноградов [117]. И дело здесь не столько в резком количественном росте книжной продукции [118], сколько в качественной эволюции этой литературы. Достаточно назвать имена французских просветителей, чьи сочинения получили в это время наибольшее распространение, — Вольтера, Руссо, Дидро, Гельвеция, Мабли, Рейналя, Монтескье [119], — чтобы понять, с каким обилием новых вопросов — философских, этических, политических, социальных, — с каким обилием новых идей и понятий познакомился в этот период русский читатель. Это относится не только к переводам, но и к оригинальной литературе. «Никогда наша литература не трактовала о таких возвышенных и отвлеченных предметах», — писал о литературе екатерининского времени В. О. Ключевский [120].

Все это ставило перед русской культурой и русским литературным языком задачу дальнейшего развития книжной речи, обогащения ее новыми средствами — прежде всего лексическими и фразеологическими — для выражения новых идей и понятий. Важно обратить внимание на то обстоятельство, что заимствование из французского языка не является в этот период главным путем создания отвлеченной лексики, философской терминологии. Более того, «с заимствованиями начинается борьба во имя национальных форм литературного выражения» [121].

В. В. Виноградов говорит о трех основных приемах передачи «западноевропейских понятий» в литературном языке этого вре-

---

[117] Там же, стр. 123.

[118] См., например, статистику роста выпуска книг в исследовании В. В. Сиповского «Из истории русского романа и повести», ч. I (СПб., 1903, стр. 32—43).

[119] См.: «История русской литературы», т. IV. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1947, стр. 12 и сл.; «История русской литературы», т. I. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 456 и сл., а также курсы истории русской литературы XVIII в. Г. А. Гуковского, Д. Д. Благого и др.

[120] В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. V. М., 1937, стр. 197.

[121] В. В. Виноградов. Очерки. . ., стр. 151.

мени: путем описания, определения этого понятия, при помощи калькирования, «морфологически точной съемки» соответствующего французского слова, и посредством «семантического приноравливания общеизвестного русского или церковнославянского слова к непосредственной передаче значений чужого слова» [122].

Надо заметить, что этот напряженный и сложный процесс словопроизводства и семантического преобразования слов нашел очень слабое и случайное отражение в Словаре Академии Российской. Западноевропейский элемент в словаре очень слаб и незначителен; в нем не нашли места даже многие такие заимствования, которые имели широкое хождение в литературе. Любопытно, например, что даже не все заимствованные слова, включавшиеся в «Аналогические таблицы» (а количество таких слов очень незначительно), были перенесены потом в словарь. Так, в словаре отсутствуют зафиксированные в «Аналогических таблицах» слова *аналогия*, *балет*, *батарея*, *дезертир*, *демократия*, *категория*, *кризис*, *приватный*, *сцена* (позднее против этого слова протестовал А. С. Шишков), *фамилия*, *формально*, *характер*, *юрист* и др. В некоторых случаях создается впечатление, что иностранное слово дается только для того, чтобы показать, как можно заменить его русским эквивалентом: так, при слове *антипатия* указано «зри противустрастие, отвращение»; при *антидот* — «зри противуядие»; при *меланхолия* — «см. задумчивость»; при *президент* — «см. председатель»; при *типография* — «см. книгопечатня»; *симпатия* объясняется словами *сообразность*, *единосвойственность* и др. под.

В то же время, однако, составители словаря проявляли большую осторожность и в отношении новшеств, которые возникали на основе русского и церковнославянского языков; это обнаруживается не только в том, что словарь не включал неологизмов этого времени, но и в том, что в толкованиях в подавляющем большинстве случаев не отражены те новые значения или употребления, которые получали в литературе многие старые слова. В целом словарь дает очень одностороннее отражение лексики литературного языка своего времени. Дополнения, которые были сделаны во втором издании словаря, не изменили существенно его характера.

Для выражения новых понятий, следовательно, или создавалось новое слово (или выражение), или производились поиски словесных или фразеологических элементов в существующей книжной традиции, нередко в архаическом фонде языка. Об этих двух путях обогащения словарного состава средствами

---

[122] Там же, стр. 151—153. См. здесь о таких словах и сочетаниях, как *телесное мановение* (*geste*), *потолкновение* (*implusion*), *восклонение*, *посредность*, *преображение*, *ухищрение* (*intrigue*), *естествословствующий* (*naturaliste*), *благоутробие* (*tendresse*) и др. См. также: В. В. Виноградов. О некоторых вопросах русской исторической лексикологии (о слове *влияние* и производных от него — стр. 188—190, о словах *обаятельный* — стр. 209, *опровергнуть* — стр. 204); С. А. Копорский. Из истории лексики русского литературного языка XVIII—XIX вв. «Русский язык в школе», 1955, № 3 (см. здесь об употреблении слов *согнитие*, *извержение*, *исчадие*, *отревать* и некоторых других); А. В. Чичерин. Указ. соч. (см. здесь о передаче в переводе «Эмиля» Руссо слова *les sophismes* — словом *злоухищрения* или сочетанием *хитросплетенные доказательства*, *le scepticisme* — *сомнительство*, *la substance* — *бытность*, *самостоятельность*, *самобытность*).

своего, национального материала говорят и современники. Екатерине II, например, было «благоугодно» чтобы «в сочиняемом Академиею словаре избегать всевозможным образом слов чужеземных, а наипаче речений, заменяя оные словами или древними или вновь составленными» [123]. Известный ученый И. Болтин считал, что при отсутствии в русском языке слов «тождезначущих и равносильных» иностранным, следует искать такое слово «в языках от славенского происходящих. . . или в славенском обветшалые и ныне неупотребительные». Обсуждая эти предложения Болтина, академическое собрание определило «сколько возможно избегать иностранных слов и стараться заменять их: или старинными словами, хотя бы они были и обветшалые, ибо в сем случае частое употребление удобно может паки приучить к оным; или словами, находящимися в языках, от славенского корня происшедших; или же вновь, по свойству славенороссийского языка, составленными» [124].

Автор «Рассуждения о вычищении, удобрении и обогащении российского языка», читанного и изданного в Москве в 1786 г., говорил, что «чужестранные слова должно стараться переменять на российские помощию совершенного понятия вещей, под теми словами разумеемых». В числе слов, которыми предлагалось заменять иностранные заимствования, находим *проповедалище* вместо *кафедра*, *морская сила* вместо *флот*, *благочиние* и *благоучреждение* вместо *полиция*, *верховный начальник* вместо *генерал*, *повеление* (и *приказ*) вместо *ордер* и т. д.[125]

Можно было бы назвать и другие попытки такого же рода. Так, издатель «Российского магазина» Ф. Туманский признается, что ему бы очень хотелось переименовать свой журнал в «Запасницу для познания о России», чтобы избавиться от «чуждого слова *магазин*, которое к тому же еще обратилось в низкое»; его останавливает только неуверенность в том, что нельзя подыскать «лучшее и свойственнейшее выражение» (ч. I, 1792). Назвав одну из своих статей «Известия о службе и прочих обстоятельствах разных родозваний» (там же), Ф. Туманский поясняет,

---

[123] См.: М. И. Сухомлинов. История Российской Академии, вып. 8. СПб., 1888, стр. 129.

[124] Там же, стр. 127—128.

[125] См.: Ф. А. Витберг. Ревнители русского слова прежнего времени. СПб., 1888, стр. 53—55. — Характерно следующее замечание автора «Рассуждения. . .», которым он сопровождает эти свои рекомендации: «Такие слова на первом случае покажутся несколько общими и вещь неограниченно означающими; но для сего потребно только пяти или десяти или уже много двадцати лет, чтобы приучить к ним слух и придавать ограниченный смысл». Другими словами, автора беспокоит вопрос о преодолении слишком «этимологического» восприятия слова там, где оно должно стать терминологически точным обозначением понятия. Причем, как видно из примеров, это относится и к собственно неологизмам, и к случаям терминологического употребления старого слова.

что он употребляет слово *родозвание* «на место чуждого *фамилия*», которое на французском языке «означает не только родозвание, но и семейство».

Уже в начале XIX в. осуществились новые попытки устранения иностранных заимствований. Вот, например, сообщение о заседании Российской Академии 19 марта 1804 г.:

«Его превосходительство г. президент Академии, стараясь изыскать средства к обогащению российского слова, составляющего главный предмет упражнений Академии, предложил на первый случай следующие в российском языке употребительные иностранные слова: *аудиенция*, *акция*, *амфитеатр*, *антипатия*, *арест*, *арестант*, *арсенал*, *артиллерия*, *аспект*, *адрес*, *аманат*, *амнистия*, с тем, чтобы гг. члены приняли на себя труд как сии, так и подобные им слова, каковые в каждое собрание от него, г-на президента, или от гг. членов сообщены будут, заменять старинными российскими, или в случае недостатка оных вновь по правилам языка составленными равносильными словами и сообщать только в Академию, дабы она по утверждении общим согласием, могла вносить их в Словарь свой»[126]. В дальнейшем Академия сообщила о тех заменах, которые было постановлено произвести: вместо *аллея* рекомендуются *прохожь* и *просадь*, *антипатия* заменяется словами *противустрастие* и *отвращение* (как в Словаре АР), *арест — задержание* и даже *нятие* (с примечанием «в старину»), *амнистия — предание забвению*, *всепрощение*, *арматура — всеоружие*, *армия — воинство*, *рать*, *сила*, *ассистент — присущник* и др. Из приведенного списка только *амфитеатр* и *артиллерия* «положено оставить без перевода, поелику равносильных им слов еще не отыскано»[127]. Далее следуют новые замены, например: *слушалище* вместо *аудитория*, *превосходство* и *преимущество* вместо *авторитет*, *сочинитель* и *творец* вместо *автор*, *приобщник* вместо *адъюнкт*, *лицедей* вместо *актер*, *запальчивость* и *задор* вместо *азарт*, *созвучность* вместо *аккорд*[128], *мытня* или *мытница* вместо *акцизна*, *краестишие* вместо *акростих*[129].

Это — крайние проявления языкового пуризма, затрагивающие вполне установившиеся, широко употребительные заимствованные слова. Но если не иметь в виду эти крайние случаи, стремление к выработке эквивалентов для новой отвлеченной, философской, научной лексики знаменовало более высокий этап развития книжного языка и более глубокое и органическое усвоение новых идей и понятий. Естественно, что здесь возникали свои трудности: у разных писателей и переводчиков — и даже

---

[126] «Северный вестник». СПб., 1804, ч. II, стр. 118.
[127] Там же, стр. 250—251.
[128] Там же, ч. IV, стр. 99.
[129] Там же, 1805, ч. VI, стр. 228.

у одного автора в разных случаях — могли появляться разные эквиваленты французскому слову; все это, создавая некоторую пестроту и неустойчивость языка, в то же время указывало на напряженные поиски новых средств выражения.

В нашу задачу не входит исследование процесса становления научной, философской, общественно-политической терминологии в XVIII в. Но важно отметить, что решающую роль в этом процессе в рассматриваемое время играла книжная, церковнославянская традиция. Это относится не только к тем случаям, когда происходит приспособление церковнославянского слова к выражению вполне современных понятий, но и к неологизмам этого времени, которые звучат поэтому нередко так же архаично и искусственно, как самые обветшалые славянизмы. Вот, например, некоторые из слов, признанных в упоминавшейся выше работе Г. Хюттль-Ворт новообразованиями XVIII в.: *безвещественность*, *бескорыствование*, *времяточие*, *единозвучность*, *животолюбивый*, *златожаждущий*, *злоковарственный*, *прибыточество*, *прибытожадный* и др. Ср. также уже упоминавшиеся выше *кратковидец*, *краснословец*, *всевластвование*, *сонмица*, *проестливец*, *внутризрительный*, *удобопресущественный*, *тяжественность*, *возниченный*, *проповедалище*, *въемлище*, *векотворить*, *повсемствование*, *телоразъятельная наука* (так в Словаре АР переводится *анатомия*, например, в статье «Жила», хотя в словаре есть и *анатомия*). Можно привести еще такие слова из рукописного собрания, упоминаемого в «Истории Российской Академии» М. И. Сухомлинова (вып. 8, стр. 9—11): *образосечество* как синоним слова *ваяние* (ср. в Словаре АР: «*ваяние* — вырезывание на дереве или на камне, иссекание из дерева или камня какого изобретения»); *чадохранитель* как синоним слова *опекун*; *размыслие*, *рассловие*, *временщичати*. В «Аналогических таблицах» также находим совершенно искусственное *слововсловный* вместо имевшего хождение в то время *литеральный*.

Если нет прямых указаний, то в большинстве случаев вообще трудно определить, имеем ли мы дело с новым словом или с возрождением старого. Да и современники, очевидно, не ощущали достаточно отчетливо это различие. С одной стороны, неологизмы настолько тесно связаны о известными из церковных книг словообразовательными гнездами, что вряд ли воспринимались читателем как совершенно новые слова; с другой стороны, приспособление «славенского» слова к новым понятиям, отрывая его от присущего слову церковного контекста, нередко изолируя от его словообразовательных связей, придавало ему некоторую новизну. В обоих случаях такое словоупотребление совмещало в себе новизну со стариной, с архаикой; см. в этой связи следующее замечание В. В. Виноградова: «Среди слов, которые и по своему морфологическому облику, и по смысловой структуре, и даже по непосредственному впечатлению напоминают церковнославя-

низмы, — много литературных русских новообразований XVIII и XIX веков» [130].

Из сказанного не следует, что церковнославянизмы в литературном языке этого времени вызваны только потребностью обозначить новые, «западноевропейские» понятия. Обращение литературы к отвлеченным рассуждениям, к моральным и философским проблемам определило вообще актуальность книжного «славенского» элемента. Это была характерная черта литературного языка эпохи. В той или иной степени она нашла отражение и в произведениях дворянских просветителей, и в масонской литературе с ее, как говорил впоследствии Пушкин, «странной смесью мистической набожности и философического вольнодумства», и в революционной публицистике Радищева. «Славенская» стихия в лексике и фразеологии оказывалась господствующей везде, где русский писатель и публицист касался сферы м ы с л и, сферы и д е й.

Следовательно, усиление церковнославянского лексического элемента в литературном языке прежде всего было связано с развитием отвлеченной лексики, с ростом ее состава и употребительности.

Но это не могло не иметь и определенного стилистического значения. Термины вообще тяготеют к тому, чтобы стать стилистически нейтральным обозначением вещи или понятия, — и все же массовая употребительность славянизмов или созданных по их образцу слов не могла не придавать тексту и определенную стилистическую тональность: архаический характер слова должен был в это время еще достаточно ясно ощущаться, тем более, что во многих случаях читатель имел дело с неустоявшимся, незакрепившимся словоупотреблением. Стилистическая окраска слова могла даже оказываться в противоречии с его терминологическим употреблением. Можно привести в этой связи любопытный пример из «Рассуждения двух индийцев Калана и Ибрагима о человеческом познании» Я. Козельского (СПб., 1788). Калан упрекает Ибрагима в употреблении иностранных слов, в частности, слова *натура*, которое «переводится у нас *естеством*». Ибрагим замечает: «Я знаю, что *натура* переводится на индийский (т. е. русский — *В. Л.*) язык *естеством*, но знаю и то, что это слово прилично разве в таком самом важном, как священном стиле, а ежели употребить его в разговоре и вместо этой речи: „Из разных вещей каждая имеет особливую свою натуру“, сказать „особливое свое естество“, то вы подымете хохот»». И далее Козельский, устами Ибрагима, возражает против замен «новопреведенными» таких слов, которые уже иностранным названием затвердились у нас», между прочим учитывая и стилистические

---

[130] В. В. В и н о г р а д о в. История слова *творчество* в русском языке. «Докл. и сообщ. филол. фак-та МГУ», вып. 2, 1947, стр. 6.

особенности этих «новопереведенных слов»: они «и в самых важных речах будут всем неприятны и многим невразумительны, а тем паче в таком нашем дружеском собеседовании уже и весьма некстати». «Натуру называть естеством не смею, — замечает Ибрагим, — чтоб не назвали этого слова преученым ученьем» [131].

Вот еще критическое замечание «Англомана» (М. И. Плещеева) в «Опыте трудов Вольного Российского собрания» (ч. III, 1776): «Мы думаем, что нельзя хорошо писать, не употребляя отменных, надутых и долгих слов и не возвышая свой штиль, от чего он часто весьма принужден бывает» [132]. Заметим, что речь идет здесь не о высоком стиле в его традиционном понимании, а вообще об умении «хорошо писать».

Надо, однако, сказать, что боязнь высоких и «надутых» слов не была характерна для литературы этого времени и употребление архаических славянизмов в средних литературных жанрах редко могло «подымать хохот». Бесспорно, что активизация «славенской», архаической лексики связана не только с ростом рационалистического элемента в литературе. «Философско-моралистическая окраска», которую, по словам В. О. Ключевского, получил «законодательный и литературный язык», выразилась, в частности, в усилении эмоционального, риторического начала, «академического красноречия» [133]. Нравственно-философские проблемы не только излагались, но и эмоционально переживались. «Быть может, никогда культурный русский человек не плакал так хорошо и охотно даже от хороших слов, как во второй половине прошлого [XVIII] века», — замечает В. О. Ключевский, упоминая — несколько иронически — об «эстетических восторгах и стереотипных философических слезах», которым предавался в это время русский читатель [134].

Тяготение к возвышенному, риторическому, «важному» слогу было в высокой степени свойственно письменности этого времени — и публицистике, и философской литературе, и литературе художественной, в том числе и таким ее жанрам, которые не входили традиционно в число «высоких» [135]. Поэтому «славен-

---

[131] «Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века», т. I. Л., 1952, стр. 569—570.

[132] Цит. по кн.: Ф. А. Витберг. Ревнители русского слова прежнего времени. СПб., 1899, стр. 46. — Заслуживает здесь также внимания замечание о «долгих», т. е. об излюбленных книжниками сложных словах. Ср. шутливый совет А. А. Петрова Карамзину — писать на «славяно-русском языке» «долгосложно-протяжно-парящими словами» (см.: «Русский архив», 1863, стр. 481).

[133] В. О. Ключевский. Императрица Екатерина II. «Очерки и речи». Второй сборник статей. Пг., 1918, стр. 358.

[134] В. О. Ключевский. Евгений Онегин и его предки. Там же, стр. 82.

[135] См., например, замечание Ю. М. Лотмана о жанре политического романа XVIII в.: «Хотя он и существовал как прозаический жанр, но по

ский» элемент в литературе среднего стиля этой поры не ограничивается отвлеченной, терминологической лексикой, но, как было показано выше, включает также и лексику собственно высокую, типичную для высоких жанров — оды, трагедии, эпопеи, похвального слова. Это последнее обстоятельство очень существенно для характеристики лексики «славяно-русского» языка и для понимания путей ее дальнейшего развития.

§ 18. Важно осмыслить, в каком отношении находятся описанные выше явления к системе трех стилей, что связывает «славяно-русский язык» с традициями этой системы, что указывает на ее эволюцию. Надо сказать, что как бы ни были значительны изменения в лексическом составе литературного языка, связанные с оживлением церковнославянской лексики, принципиальное и решающее значение для дальнейшей эволюции системы литературного языка имели изменения не столько в материале языка, сколько в функциях этого материала.

Широта и разветвленность письменной практики разрушила строгую соотносительность речевых стилей в их «ломоносовском» смысле, как систем жанровых норм и правил. «Ломоносовская» система не исчезла — она продолжает жить в традиционных (что касается высокого и низкого стилей — преимущественно художественных) жанрах, но она включена в более сложную стилистическую систему. Развитие литературного языка идет по пути выработки более свободной от жанровых ограничений нормы. На примере «славяно-русского языка» мы видим, как на базе высокого стиля и наиболее книжных элементов среднего стиля, ломая жанровые перегородки, формируется книжный литературный язык, нашедший применение в очень разнообразных видах художественной и нехудожественной литературы. «Славяно-русский язык» снимает или ослабляет противопоставление высокого и среднего стилей. Нечто похожее происходит и на стыке среднего и низкого стилей: здесь формируется простой слог литературного языка. Эти две разновидности литературного языка — книжный «славяно-русский язык» и простой слог — противостоят друг другу. Как уже ясно из предыдущего, их не следовало бы отождествлять с высоким и низким (простым) стилями ломоносовской системы. Во-первых, потому, что они лишены строгой регламентации, жанровой и даже тематической прикрепленности; во-вторых, — это касается простого слога — стремление к нормативности приводило к заметному ограничению простонародного пласта, который по существу и был стилеобразующим элементом низкого стиля (см. § 21); наконец, — и это, может

своим задачам он соотносился с эпопеей классицизма». И далее: «Нельзя не заметить и близости стилистических средств. Политический роман тяготеет к „высокому“, „благородному“ слогу» (Ю. М. Лотман. Пути развития русской просветительной прозы XVIII в. «Проблемы русского просвещения в литературе XVIII в.». М.—Л., 1961, стр. 81).

быть, оказывается наиболее существенным, — здесь не осталось места (по крайней мере, если речь идет о лексике) среднему стилю как какой-то самостоятельной разновидности языка. Разумеется, между книжным языком и простым слогом практически можно обнаружить много промежуточных явлений, но они не образуют «стиля», в них нет особой, противопоставленной обоим разновидностям языка нормы. Можно только сказать, что в разных книгах, в зависимости от темы, авторских вкусов и пристрастий, характера выучки и т. д., «славенский» архаический элемент может быть представлен больше или меньше, в большей или меньшей «чистоте». О многих таких произведениях можно по-прежнему говорить, что они писаны средним слогом — в отличие от других, написанных более высоким (или более низким) слогом; но если брать письменность в целом, то становится ясно, что старые стилистические понятия и категории становятся непригодными для характеристики формирующихся в литературном языке отношений.

Можно вообще интерпретировать этот процесс по-иному, как будто прямо противоположным образом: как тенденцию поглощения средним стилем высокого и — отчасти — низкого, включения их в себя. В отношении синтаксиса такая интерпретация выглядит особенно заманчиво: синтаксические традиции среднего стиля оказываются действительно господствующими в это время. Что касается лексики, то при таком понимании надо будет сказать, что в пределах этого единого среднего стиля вырабатываются постепенно две его разновидности — книжная и «простая». Тем самым мы вернемся, по существу, к тем же формулировкам, которые предлагались выше. Вообще, при любой интерпретации описанных явлений важно отметить основное: начавшийся процесс преобразования (и сужения) системы трех стилей.

Таким образом, для последних десятилетий XVIII в. трудно говорить о трех стилях литературного языка как об определяющей стилистические отношения в языке системе. См., например, у Я. К. Грота: «В исходе XVIII столетия наш письменный язык делится как бы на две струи, из которых одна, действительно, более и более освобождалась от чуждого церковнославянского элемента, сближаясь с языком народным, а другая представляла испорченный ломоносовский язык высокого стиля, т. е. язык наружно построенный по началам гениального образца, но лишенный его зиждительного духа» [136]. Можно привести и другие высказывания такого же рода. Вот, например, замечание П. Бицилли: «В XVIII в. в распоряжении русских образованных людей еще было два языка. Один — „славяно-российский“, которым писались ученые, главным образом переводные сочинения

[136] Я. К. Грот. Карамзин в истории русского литературного языка стр. 69.

и произведения „высокой“ поэзии, другой, несравненно более близкий к нашему нынешнему языку, язык частных писем, дневников, мемуаров, всей той „домашней письменности“, которая воздействовала на литературу „среднего стиля“ и оказала . . . громадное влияние и на развитие литературы последующего периода» [137]. Здесь, хотя и не вполне точно, отмечены две основные черты литературного языка конца XVIII в.: во-первых, близость языка ученого и «высокой» поэзии, во-вторых, сближение среднего стиля с низким, простым языком «домашней письменности».

Эти отношения явились результатом развития системы русского литературного языка. Было бы неверным отрицать существование среднего стиля и для более раннего времени. Иногда ссылаются на то, что в «Российской грамматике» Ломоносова формы характеризуются только с точки зрения высокого и низкого стиля. Комментаторы сочинений Ломоносова пишут, что «в период работы над Грамматикой Ломоносов различал не три, а только два стиля — «высокий» и «простой», причем и эти два термина там еще далеко не устойчивы: высокий стиль именуется в Грамматике иногда «важным штилем» или без всякого эпитета «штилем», а простой — «просторечием», «простым слогом» или «простым русским языком» [138]. Это, однако, не означает, что Ломоносов не видел и не различал трех стилей в этот период. Ведь наличие трех речевых стилей как определенным образом организованных типов речевых контекстов не означает, что и сами языковые элементы непременно и всегда распределены по трем стилистическим группам. Есть принципиальное отличие между языковыми приметами высокого и низкого стилей, с одной стороны, и среднего стиля — с другой. Очень редко выстраивается такой синонимический ряд, который включал бы все три стилистически разграниченные единицы, а если это и оказывается возможным, то относящееся к среднему стилю выступает как факт нейтральный, т. е. допустимый и в высоком и низком стилях, — несмотря на наличие в этих стилях своих членов данного синонимического ряда. Все это особенно очевидно применительно к грамматике. Тем единичным формам, которые признаются высокими, употребительными в «штиле», например обороту «дательный самостоятельный», превосходной степени прилагательных, причастиям и др., — всем им противопоставлены формы не низкие, а общелитературные. То же и в тех случаях, когда выделяются формы просторечные, специфичные для низкого стиля — родительный и предложный существительных на *-у*, деепричастия на *-учи*, *-ючи*, глагольные формы типа *глядь*, *хвать*: их синонимы являются не специфически высокими или специфически средними, а общелитературными, нейтральными. Понятие среднего стиля просто оказалось ненужным Ломоносову в его грамматике. Г. О. Винокур был прав, когда говорил, что грамматика Ломоносова вообще «отражает нормы новой книжной речи, как она сложилась в традиции „среднего слога“. . . [139]». На этом фоне требовали характеристики только некоторые формы «высокие» и некоторые формы «низкие».

Бесспорно, что средний стиль не был столь же внутренне замкнутым, как высокий и низкий. В то же время он вполне отчетливо противопостав-

---

[137] П. Бицилли. К вопросу о характере русского языкового и литературного развития в новое время. «Годишникъ на Софийския университетъ». Историко-филологически факултетъ, кн. XXXII, 4. София. 1936 (отд. отт.), стр. 5.

[138] Примечания к «Предисловию о пользе книг церковных в российском языке» (М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. 7, стр. 898).

[139] Г. О. Винокур. Русский язык, стр. 81.

лялся им обоим. Иное дело, что, как уже говорилось, литературная практика с трудом укладывалась в рамки этой системы. Отсюда — те изменения, о которых идет речь.

Таким образом, развитие литературного языка во второй половине XVIII в. шло не только в рамках системы трех стилей, но обнаруживало и чуждые этой системе тенденции. Эти тенденции находят свое отражение не только в случаях, когда происходит стилистически немотивированное смешение языковых элементов, ранее прикрепленных к разным стилям, но и тогда, когда вполне сохраняется стилистическое единство произведения, если, однако, выбор стиля не оказывается с точки зрения норм ломоносовской системы достаточно мотивированным.

Таким образом, степень отхода от старых стилистических норм в разных случаях различна. Здесь существенны и традиционность или нетрадиционность жанра, понимание «высокого содержания», наличие или отсутствие свойственной высокому стилю экспрессии и др. Большинство произведений, о которых можно сказать, что они написаны «славяно-русским языком» в разных его вариантах — такие, как «Иосиф» Фонвизина, перевод «Творений велемудрого Платона», «Опыт повествования о России» И. Елагина, «О человеке» Радищева, переводы И. Захарова и многие другие, — отличаются, как мы видели, выдержанностью своего архаического, необычайно славянизированного облика. Но при сохранении внешнего признака старой системы — стилистического единства на протяжении целого произведения — оказалась разрушенной сама основа этой системы. То, что в оде или похвальном слове объединялось единым и цельным характером авторской эмоции, в большом и тематически разнообразном повествовании выглядело искусственным и немотивированным. Бесспорно, что это дальше от традиций трех стилей, чем, скажем, «Путешествие . . .» Радищева, где сохраняется обычно мотивированное стилистическое единство внутри контекстов, на которое распадается произведение, в целом стилистически разнородное.

Эволюция системы трех стилей сказывается и в усилении индивидуального момента в характере употребления высокой, «славенской» лексики. Это в наименьшей мере касается традиционного высокого стиля — классических высоких жанров: нивелирующее влияние стилистических норм жанра здесь достаточно устойчиво (если не считать явлений, связанных с эволюцией самого жанра, например в одах Державина). Но в литературе, образцы которой выше демонстрировались, индивидуальные отличия проявляются довольно заметно. Однако отличия эти мало касаются самого словарного состава (если не считать узкого круга особо «обветшалых» славянизмов, которые употребляются лишь некоторыми писателями и переводчиками). Намного важнее, что различным оказывается самый принцип «выбора слога», понимание того, какой слог «приличен» данному содержанию. Так, на

основании того, что «Житие Ушакова» Радищева написано намного более книжно и архаично, чем «Жизнь графа Панина» Фонвизина, нельзя делать вывод, что язык Радищева архаичнее языка Фонвизина: «Иосиф» или «Похвальное слово Марку Аврелию» написаны так же архаично, как и произведения Радищева. Но то обстоятельство, что для биографии современника, близкого человека один выбирает умеренно-книжный слог, а другой мобилизует весь запас архаической, «славенской» лексики, — это небезразлично. И в этом кризис старой ломоносовской системы обнаруживается достаточно отчетливо.

Стилистическая окраска фактов языка соотносительна с теми стилистическими категориями, которые существуют в языке, определяется отношением к этим категориям. Поэтому сдвиги, которые происходили в системе трех стилей, развитие новых стилистических отношений должны были найти отражение в изменении стилистической характеристики и стилистической группировки лексики.

Старые квалификации и оценки оказываются в новых условиях если не неверными, то, по крайней мере, недостаточными. Это относится в наибольшей степени к так называемой «высокой, «славенской» лексике, которая рассматривалась традиционно как принадлежность высокого стиля. Употребление этой лексики в жанрах, которые не относились к высоким, свидетельствует о том, что она оказывается не только средством «возвышаться к важному великолепию», создавать высокий эмоциональный подъем, «парение», лирический «восторг», но и выступает нередко как элемент повествования или рассуждения на всякую, «важную» тему, как принадлежность образцового книжного языка вообще. Эти слова сближаются с книжным пластом слов среднего стиля, с архаическими элементами деловой, официальной речи. Вместе с ними они образуют обширный и несколько неустойчивый пласт книжной лексики с очень широкой сферой употребления. Ослабленной оказалась та строгая регламентация употребления высоких слов, которая была установлена ломоносовской теорией и практикой. Поэтому отграничение слов высоких от общекнижных оказывается затруднительным, — особенно если подходить к этой задаче с точки зрения системы трех стилей. Когда Г. О. Винокур говорит, что «неассимилированные общим употреблением славянизмы были признаком именно высокого, а не всякого грамотного, ученого письменного языка» [140], то это вряд ли можно понимать так, что эти слова представляют собой исключительную принадлежность высоких жанров и высокого стиля.

[140] Г. О. Винокур. Русский литературный язык во второй половине XVIII века, стр. 143—144. Ср. замечание составителей Словаря АР (т. II, стр. VI) о трудности «отличать слова в возвышенном и среднем слоге употребляемые».

www.ruslang.ru

В этом легко убедиться, если рассмотреть предложенный Г. О. Винокуром список наиболее типичных слов, «постоянно употреблявшихся в произведениях высокой поэзии разных писателей этого времени», составленный по произведениям Ломоносова, Сумарокова, В. Майкова, А. Петрова, Хераскова, Е. Кострова и других поэтов второй половины XVIII в. [141] Оставив в стороне слова типа *брада*, *нощь*, *елень* и под., представляющие собой церковнославянские параллели к исконно русским словам, отличающимся от них иным звуковым видом того же корня, Г. О. Винокур называет слова *алкать*, *алчный*, *алчба*, *багряница*, *брань*, *брашно*, *весь* (селение), *вертроград*, *внушить* (в значении «услышать», например — позднее — у Жуковского: «внуши мой глас»), *воспящать*, *вотще*, *вперить*, *выспрь*, *выя*, *вещать*, *вящий*, *глагол*, *година*, *гонзать*, *угонзнуть*, *гряду*, *денница*, *дерзать*, *десница*, *длань*, *днесь*, *довлеть*, *живот* (жизнь), *злачный*, *злак*, *зреть*, *кой* (и *кий*), *коль*, *купно*, *ланиты*, *ликовствовать*, *лепота*, *лета* (годы, возраст), *лобзать*, *ложесна*, *мета*, *мечта*, *мечтание* (призрак, видение), *мнить*, *мышца*, *нижé*, *одр*, *око*, *оный*, *отвергнуть*, *паки*, *перси*, *персть*, *перст*, *позор* (зрелище), *помавать*, *претить*, *пря*, *рамена*, *се*, *скудель*, *сретать* — *срести*, *сонм*, *стогна*, *стопы*, *течь* (идти, бежать), *тщиться*, *уста*, *устне*, *угобзить*, *ущедрить*, *хлябь*, *хребет* (спина), *чадо*, *чело*, *чертог*, *чрево*, *чресла*, *яко*. Трудно назвать в этом списке слова, употребительность которых ограничивалась бы высокой поэзией, которые не могли бы быть употреблены с разной степенью стилистической мотивированности, а порой, как мы видели, и без всякой мотивировки в романе, философском рассуждении, публицистике, научном описании. Это можно сказать и относительно многих других слов, характерных для высокой поэзии, например, таких, как *аер*, *блещание*, *велелепие* и *велелепный*, *вои*, *воитель*, *вретище*, *всесый* (вездесущий), *воздоять*, *воскраие*, *виталище*, *воссиять* и *воссияние*, *горний*, *орало*, *обавание*, *блещи*, *отднесь*, *осиявать*, *озреться*, *рыбарь*, *рясны* и др. под.

Л. А. Булаховский писал, что в истории русского литературного языка — главным образом XIX в. — «можно констатировать почти полное соответствие между степенью торжественности избранного писателем слога и количеством употребляемых им церковнославянизмов» [142]; бесспорно, что это справедливо также и для второй половины XVIII в. Стилистическая характеристика текста, насыщенного высокими славянизмами, достаточно отчетлива: примеры такого слога уже демонстрировались выше. И в то же время сами по себе эти славянизмы, представленные в иной концентрации, окруженные менее высокой лексикой,

---

[141] Г. О. Винокур. Указ. соч., стр. 145.

[142] Л. А. Булаховский. Курс русского литературного языка, т. I. Киев, 1952, стр. 58.

в тексте, где отсутствует торжественная риторика или лирический «восторг», легко сливаются с общим языковым фоном. Стилистическая окраска целых контекстов обнаруживается более отчетливо, чем окраска слов. Следовательно, при сохранении расчлененной системы речевых стилей обнаруживается стремление к нивелировке — внутри обширной группы книжной лексики — я з ы к о в ы х стилей, как совокупностей определенным образом окрашенных элементов языка.

Разумеется, это относится к разным словам в разной степени. Стилистическая окраска слов находится в тесной зависимости от сложившихся в языке синонимичных отношений, от степени заполненности синонимического ряда; естественно, что отсутствие у книжного «славенского» слова нейтрального синонима — это обычное явление для целого ряда отвлеченных слов — по существу снимает с этого книжного слова всякий дополнительный стилистический ореол. Но и наличие такого нейтрального синонима не исключает возможности подобного или близкого результата: тяготение к книжной стихии может привести к тому, что именно это «славенское» слово будет предпочитаться не только в высоком, но и в любом книжном тексте. Противопоставленность нейтральному слову д в у х книжных вариантов создавала, естественно, наибольшие возможности их внутреннего разграничения как слов общекнижных и высоких; например: *ответствовать* и *отвещать* (ср. *отвечать*), *великолепие* и *велелепие*, *рубище* и *вретище*, *персть* и *прах* (ср. *пыль*), *ныне* и *днесь*, (ср. *сегодня*, *нынче*), *тщетно* и *вотще* (ср. *напрасно*, *зря*), *вещать* и *рещи* (ср. *сказать*, *говорить* и др.), формы *вонми* и *внемли* и др. [143]

Такие синонимические отношения в отдельных случаях могли, очевидно, возникать искусственно; тенденция к «нейтрализации» употребительных в высоком стиле славянизмов могла способствовать архаизации собственно высокого стиля путем возрождения уже совершенно обветшалых славянизмов. Например, общекнижный характер союза *яко* мог вызвать возрождение в высокой литературе *аки*; закрепленное издавна в книжном языке *токмо* могло вызвать воскрешение *точию*; таковы же *аще*, *егда*, *зане*, *убо*, *дондеже* и некоторые другие слова, искусственно возрожденные склонными к архаике писателями этого времени (см. стр. 88) [144].

[143] Функционирование высокого варианта поддерживало употребительность его синонима как элемента общекнижного языка; это употребление могло оказаться закрепившимся и после того, как высокий славянизм выходил из употребления — как, например, в приведенных только что *тщетно*, *великолепие*, *ныне*, *прах*; но ср. судьбу таких слов, как *ответствовать*, *вещать*.

[144] Любопытно, что в описанном М. И. Сухомлиновым рукописном словарике, составленном в период подготовки Словаря АР, слова *колико* и *почто* отнесены к русским и противопоставлены славянским *елико* и *вскую* (М. И. С у х о м л и н о в. История Российской академии, вып. 8, стр. 14). Между тем *колико* в Словаре АР определяется как «славенское», а *почто*, хотя и дано без стилистических помет, иллюстрируется только примера-

Ослабление стилистических качеств традиционных, «нормальных» элементов высокого стиля обнаруживается, например, в текстах пародийного характера. Вот две пародии Н. И. Новикова. Предисловие («предуведомление») к журналу «Утренний свет» (1777) [145], содержащее серьезное нравственно-философское рассуждение, построено как шутливый рассказ о собрании издателей, в котором с речью выступает «один из наших возлюбленных сочленов». Описывая внешность этого «возлюбленного сочлена», его «проницанием украшенные очи и длинный нос», его манеру говорить, автор нарочито риторичен, пользуется книжной лексикой: «таковый то сочлен наш, выступив вопрошает»; «проговорив сие, садится он паки с важностию и потирает зардевшее чело свое»; «пылающее его желание приобщить что-либо к пользе и благосостоянию своих сограждан разверзло его человекоподобием тронутое сердце, и начал он вещати тако» и т. д. Таково же и начало речи. Пародийность создается здесь соединением книжного языка и шутливого тона. Если снять этот шутливый тон, полностью исчезает комический эффект: лексика и весь язык вполне типичны для всякого серьезного описания и рассуждения. Поэтому переход от шутки к серьезному философскому рассуждению никак не заметен в языке: «удивительно ли, когда с охотою внемлем разговорам о нас, и если беспрестанно алчем знати, что другие о нас рассуждают»; «не можем отрещи, чтоб не было и таких людей, которые всю свою жизнь только в том проводят, что всегда взирают на себя»; «и сие их познание самих себя не то, о коем нам древние египетские и греческие мудрецы толь много превыспренного и полезного обещают»; «обрящем на оном некоторые места пусты и необработанны»; «давать воссчувствовать сие наказание единым токмо порокам, а не особам, поелику они суть человеки»; «весьма униженную на свете добродетель возвести паки на ее величественный престол, а порок яко гнусное и человеческой природе противуречащее вещество, представить свету во всей его наготе»; «важно о таковых свойствах вещати» и под.

Чтобы пародировать действительно «славенский» язык, нужны теперь средства более яркие и резкие. Такова, например, также принадлежащая Новикову переписка «Живописца» с отцом Тарасием (ч. I, л. 21), где найдем *еже*, *аще*, *грешнику сущу*, *егда*, *абие*, *обаче*, *ежеседмицные листы* (т. е. еженедельник), *зде*, *внегда*, *оле* (*но оле безумия нашего*) [146], *аще*, *сый*, *ушеса*, *виждь*, *семо*,

ми из евангелия; вообще книжный характер этого слова бесспорен, это может быть подтверждено огромным количеством примеров; см. также более поздние замечания баснописца А. Измайлова, что оно «в обыкновенном разговоре не может иметь места. Мы говорим *для чего*, *на что*, *зачем*» (см. ниже, стр. 366).

[145] Н. И. Новиков. Избранные сочинения, стр. 381—387.

[146] *Оле* — церковнославянское междометие, встречающееся редко даже в высоком стиле (см. Словарь АР).

идеже, *онде*, *некако*, *нецыи*, *неже* и, разумеется, также *токмо*, *всяк*, *рекут*, *яко*, *николи* и под.

В связи с резкими различиями в словоупотреблении разных лиц при рассмотрении языка этого времени возникает трудная в теоретическом и практическом отношении проблема границ синонимического ряда в пределах литературного языка. Подобозначные слова образуют синонимические пары или ряды только в том случае, если они принадлежат одной языковой системе (вернее — системе систем). Это значит, что в принципе весь синонимический ряд является достоянием одного и того же лица, который может производить отбор среди членов этого ряда в зависимости от условий речи, стилистических задач и т. д. (Разумеется, индивидуальные пристрастия, выражающиеся в приятии или неприятии тех или иных слов, не могут приниматься в расчет; точно так же не имеется в виду возможность сознательного воспроизведения слов, не являющихся для субъекта речи фактом его речевой нормы). Поэтому синхронность, одновременность существования в языке таких слов является обязательным условием их синонимичности, поскольку только в этом случае они способны взаимодействовать. Не во всех случаях такая синхронность может служить достаточным условием. В современном языке это относится, например, к отношениям литературного и диалектного слова. Но в условиях резких сдвигов в области литературных норм, образования глубокой речевой дифференциации такие отношения могут сложиться и в пределах книжного языка. Ведь отличия в понимании норм литературного языка у разных лиц могут сводиться не только к иной оценке стилистических качеств слова или формы, но и в разном ответе на вопрос, является ли данный языковой элемент фактом современного литературного языка. Другими словами, различным оказывается представление о самих пределах литературного языка. Это знаменует вызревание в недрах старой системы литературных норм новой системы, с иными границами, с иным охватом языковых фактов. Поэтому для описываемого времени так затруднительно во многих случаях определить синонимические отношения между словами: не все, что реально встретилось в литературе этого времени, выстраивается в синонимические ряды. Часто это лишь сосуществующие временно в литературе факты разных периодов истории литературного языка, элементы, так сказать, разных систем.

§ 19. Таким образом, происходит некоторая нивелировка разных стилистических пластов книжной лексики. И все же нельзя преувеличивать результаты этого процесса. Тенденция к ассимиляции и частичной «нейтрализации» в книжном языке высокой «славенской» лексики не могла не столкнуться с сопротивлением традиции, которая находила выражение в жанрах литературы, связанных с классицизмом. Бесспорно, что существовали стилистические различия внутри книжной лексики. Одни слова тяготеют к тому, чтобы войти — в пределах книжного языка — в стилистически нейтральный языковой фонд, другие сохраняют свои стилистические свойства как слова высокие, торжественные и, следовательно, сохраняют некоторую стилистическую обособленность. В какой-то степени все славянизмы (если они ощущаются как славянизмы) обладают стилистической значимостью, так как создают определенную стилистическую окраску текста; но у одних это некоторая побочная характеристика, которая может оказаться в конце концов стершейся, неощутимой, для других — это основная функция. В то же время следует помнить, что гра-

ница между этими группами слов оказывается зыбкой, неустойчивой, что относительно многих слов трудно сказать, к какой группе они относятся, что, наконец, в само понятие «высокая лексика» следует вкладывать часто не то содержание, какое вкладывается в него, когда имеется в виду система трех стилей в ее, так сказать, классическом виде [147].

Стилистические свойства «славенских» слов, следовательно, ослаблены в этот период, но не утрачены. Это становится очевидным, если обратиться к дальнейшей судьбе разных лексических пластов. В представленном выше материале обращалось внимание только на те слова, которые не вошли в дальнейшем в литературный язык, архаичность которых для нас очевидна. Но книжно-архаический, «славенский» фонд не ограничивался этими словами. Вот, например, ряд слов из тех, которые помечены в Словаре АР как «славенские»: *бдение*, *безбоязненно*, *бездыханный*, *безмолвствовать*, *безоблачно*, *безрадостный*, *бессердечный* (со значением «глупый»), *битва*, *бич*, *бичевать*, *благо*, *благовоние*, *блаженный*, *блюсти*, *бодрый*, *болезненный*, *бряцать*, *буря*, *бурный*, *бегство*, *бедствовать*, *ваятель*, *великолепие*, *влага*, *властелин*, *внимать*, *водворять*, *возбуждать*, *величие*, *возделывать*, *воинственный*, *восклицать*, *восходить*, *вращаться*, *вспять*, *гад*, *глумиться*, *господство*, *гордыня*, *далече* (ср. *далеко*), *дерзать*, *дубрава*, *долу* (наречие), *девственный*, *деяние*, *едва*, *единожды* (ср. *однажды*), *еле*, *жаждать*, *зияние*, *злак*, *зодчий*, *зрелище*, *иго*, *извне*, *извещать*, *изваяние*, *исконный*, *избиение*, *косноязычный*, *кормчий*, *купля*, *козни*, *мзда*, *нашествие*, *обладать*, *обагрять*, *общение*, *предварять*, *прибежище*, *преддверие*, *прежде*, *развращать*, *соглядатай*, *суша*, *треволнение* и др. под. Этот список можно продолжить, если добавить слова, которые хотя и не помечены в словаре как славянские, но иллюстрируются только цитатами из церковной литературы или од Ломоносова, что доказывает их принадлежность «красному слогу» (см. предисловие составителей к 1-му тому Словаря АР).

В «Аналогических таблицах» пометой «славенское» снабжены, помимо большинства перечисленных слов, и такие, как *бездна*, *воедино*, *чернило*, *злословие*, *злоупотребление*, *изящно* (это слово означало «хорошо, отлично»), *искажение*, *исцеление*, *мгновение*, *маститый*, *многострадальный*, *навет*, *нива*, *ничтожный*, *новшество* (этого слова нет в Словаре АР, есть *новость*), *отчизна*,

---

[147] Значительный и полезный материал и верные замечания относительно разграничения этих двух видов книжной лексики содержатся в кандидатской диссертации А. Т. Кунгуровой «Лексика комедий А. П. Сумарокова» (М., 1954). Но автору явно мешает убеждение, что все писатели строго следуют предписаниям «теории трех стилей», безусловно придерживаясь жанрового принципа; кроме того, слабо учитываются жанры нетрадиционные, где стилистические отношения, как мы видели, выступают в особенно сложном виде и недостаточно упорядоченно.

поприще, *присущий*, *празднество*, *прославление*, *равнодушие*, *рухлядь*, *твердыня*, *тлетворный*, *тыл*, *усугублять*, *юность* и др. Можно назвать еще снабженные той же пометой в одном из рукописных словариков того времени [148] слова *гробокопатель*, *извинение*, *изменник*, *неприкосновенный* (ср. *недотрога*), *общество*, *общий*, *писатель*, *рукоделие* (ср. *ремесло*), *супруга* и др.

Все эти слова составляют принадлежность современного литературного языка, хотя преимущественно книжной его разновидности; следовательно, надо полагать, что их полная ассимиляция литературным языком произошла позже того периода, о котором идет речь. Правда, не следует безусловно доверяться пометам Словаря АР. В некоторых случаях они могли быть вызваны только наличием в слове внешних примет церковнославянского языка, и тогда помета «славенское» указывала не столько на реальную стилистическую окраску слова, сколько на его происхождение [149]. Тем не менее, относительно хотя бы части таких слов можно с уверенностью сказать, что в этот период они ощущались как «славенские» — в стилистическом смысле этого слова. Следовательно, выбирая те слова, которые останавливают внимание своей необычностью, т. е. опираясь на современное восприятие стилистических качеств слова, мы допускаем определенную модернизацию тех отношений, которые существовали в литературном языке того времени. Граница между тем традиционно-книжным фондом, который закрепился впоследствии в литературном языке, и тем, который остался вскоре за его пределами, во второй половине XVIII в. еще не вполне четко обозначилась [150]. И все же дальнейшая судьба тех или иных групп «славенской» лексики имеет объективное значение и для характеристики стилистических свойств слова в рассматриваемый период. Различие в судьбе разных книжных слов, уже в начале XIX в. совершенно очевидное. не могло проявиться сразу, неожиданно; оно должно было корениться в каких-то существовавших ранее свойствах этих слов. Это различие свидетельствует о том, что уже в этот

---

[148] См.: М. И. Сухомлинов. Указ. соч., стр. 9 и сл.

[149] «При выделении славянизмов как особой категории для составителей словаря играли роль не только соображения стилистического, но и историко-этимологического порядка» (Ю. С. Сорокин. Разговорная и народная речь в Словаре Академии Российской. «Мат-лы и исслед. по истории русск. лит. языка», т. I. М.—Л., 1949, стр. 97).

[150] Полезный материал в этом отношении дают разного рода оценки и характеристики слов, принадлежащие современникам, вообще все, что свидетельствует о том, как они воспринимали те или иные слова. Выше (стр. 33), например, упоминалось о словарике слов, заимствованных из старинных книг или вновь составленных, в переводах М. Попова. Любопытно, что среди слов, потребовавших авторского комментария, находим такие, как *водоем* (bassin), *вождь* (chef), *плащ* (cotte d'armes), *отряд* (detachement), *оруженосец*, *твердыня* (fortesse), *полководец* (gènеral), *понятие* (idée), *опытность* (expérience), *соискатель* (concurrent).

период славянизмы не были стилистически однородными: одни активно осваивались литературным языком, преобразуясь постепенно в общекнижный пласт слов (не говоря о тех, которые ранее, еще в ломоносовское и доломоносовское время были вовлечены в средний стиль); другие лишь внешне захватывались этим процессом. Следовательно, говоря о расширении сферы употребления славянских слов и о стилистическом их преобразовании, мы имеем в виду лишь тенденцию развития этой лексики как определенного языкового пласта, тенденцию, на время и до некоторой степени сглаживавшую различия внутри этой лексики, но в конце концов способствовавшую внутренней ее дифференциации. Судьба этих слов в ближайшие десятилетия оказывается реальным, хотя и зыбким признаком, характеризующим две группы славянской лексики второй половины XVIII в. Не следует только делать этот признак безусловным критерием. С одной стороны, отдельные слова могли оказаться вовлеченными в общелитературный язык гораздо позднее этого и непосредственно следующего за ним периода; с другой стороны, как дальше увидим, слова, казалось бы, вполне освоенные общим употреблением, могли все же не удерживаться в языке.

Особенно важно, однако, отметить, что слова, оказавшиеся впоследствии за пределами литературного языка, тоже не были стилистически однородны. Самые причины того, что они не сохранились, в разных случаях были неодинаковы. Замечание Г. О. Винокура о том, что «судьба неассимилированных славянизмов в русском литературном языке стала всецело зависеть от судьбы „высокого" в самой литературе» [151], требует уточнений. Прежде всего надо добавить, что такова была их конечная судьба: в то время, о котором идет речь, как уже говорилось выше, употребление славянизмов этого рода связано не только с высокой литературой классицизма. И главное: даже с такой оговоркой это справедливо только по отношению к части таких слов — тех, которые можно называть «высокими». Их судьба, действительно, в конце концов оказалась связанной с судьбой литературы; в первые десятилетия XIX в. это стало особенно очевидным. Впрочем, надо иметь в виду, что судьба некоторых «высоких» слов могла быть более сложной, и оценка стилистических качеств таких слов на основании их дальнейшей истории может привести к сомнительным или прямо неверным выводам. Так, если судить по употреблению в первой половине XIX в. и по их конечной судьбе, слова *брада*, *вежды*, *ветр*, *воспоминать*, *живот* (в значении «жизнь»), *здравие*, *зреть*, *младой* и *младость*, *могущий* (прилагательное), *очи*, *ответствовать*, *отдохновение*, *пиитический*, *пещись*, *премена* и *применить*, *преселиться*, *соделать* (и особенно *соделывать* или

---

[151] Г. О. Винокур. Русский литературный язык во второй половине XVIII в., стр. 144.

соделовать), *сокрыть*, *сопутник*, *тысяща* стилистически равны таким словам, как *хладный*, *рамена*, *выя*, *блато*, *десница*, *огнь* и т. д. Между тем есть основания полагать, что в рассматриваемый период они приближались к общекнижному лексическому фонду и стали в стилистическом отношении маловыразительны. Возможно, что это относится в той или иной степени и к словам *отверстый*, *нощь*, *древо*, *сретать* (и *сретение*), *позорище* (зрелище)-*снискать*, *восхотеть*, *игралище*, *возмочь*, к глаголам с *-емл-*, в основе (*приемлю*, *внемлю*, *заемлю*, *объемлю* и некоторые другие). Высокие славянизмы вообще могли употребляться нередко и без всякой стилистической мотивировки, но для названных слов такое употребление было массовым. Следовательно, история этих слов временно оказалась отчасти обособленной от судеб высокого стиля. Если это так, то придется признать, что впоследствии в них «оживились» их стилистические качества, и они пережили общую судьбу с другими славянизмами высокого стиля или поэтического языка. Впрочем, некоторые из этих слов даже в первые десятилетия XIX в. воспринимались как слова книжные, но не непременно как высокие или поэтические (см. стр. 325).

В то же время судьба большой группы книжных слов, имевших достаточно широкое распространение в XVIII в., но не закрепившихся впоследствии в литературном языке, вообще не связана с «судьбой „высокого" в литературе». Выход этих слов из литературного употребления был обусловлен только развитием норм самого книжного языка, меняющимися языковыми вкусами. Это те книжные слова, стилистическая функция которых как слов высоких ощущалась очень слабо или совсем не ощущалась. Многие из них вообще ассоциировались не с высоким стилем, а скорее со слогом научных книг или приказным. Так, к лексике, не связанной специально с высоким стилем, можно отнести, например, слова *гобзовать*, *благотворение*, *чадолюбивый*, *любочестие*, *насильство*, *воспящать*, *стяжание*, *любостяжание*, *любомщение*, *любострастие*, *злоухищрение*, *присущность*, *сопрягать*, *обиталище*, *врачевство*, *добльственный*, *прещение*, *приуготовлять*, *неизреченный*, *внезапу*, *преткновение* и *претыкаться*, *неизреченный* (ср. *неизглаголанный*), *презорство*, *тьмочисленный*, *чаятельно*, *изрядство*, *прилепление*, *злочестие*, *продерзость*, *посмеваться*, *разглагольствие*, *осуждение*, *прозябание*, слова с *удобо-* или *неудобо-* в первой части (типа *удобовразумительный*, *удобопреклонный*, *удобозримый*, *удобосклонный*) и многие другие, не говоря уже об обширной научной и философской терминологии, также имеющей ярко выраженный «славянский облик».

Среди архаизмов, употребление которых не было специально связано с высоким стилем, выделяется группа слов служебного и полуслужебного характера — некоторые наречия, местоимения, союзы, частицы: *инде*, *инако*, *коликий* и *колико*, *коль*, *купно* (с кем- или чем-нибудь), *нижé*, *николи*, *отселе*, *паки*, *паче* (и

кольми паче), *поелику*, *понеже*, *почто*, *тако*, *тамо*, *толикий* и *толико*, *толь*, *токмо*, *вящше*, *яко*, *дабы*, *в рассуждении* (чего), *сей*, *оный* и некоторые другие. К ним можно прибавить еще полусвязочный глагол *учинить*. Слова эти в своем большинстве чрезвычайно широко распространены в книжном языке второй половины XVIII в. — в самых разнообразных видах письменности и, как правило, без всяких особых стилистических функций. Возможно, что это не вполне относится к словам *почто*, *коль*, *николи*, *отселе*, которые отличались от остальных перечисленных некоторой стилистической окрашенностью. Для *почто* и *коль* это, очевидно, связано с их смысловыми особенностями: *почто*, часто употребляется в риторическом вопросе, *коль* — обычно в риторически окрашенном восклицании (вариантами его были книжное *колико*, тоже книжное, но менее риторическое *сколь*; ср. *сколько*, *как*) [152]. *Отселе* употреблялось в двух значениях — временно́м («с этого времени») и местном («отсюда, с этого места»). Исконным и более книжным было употребление *отселе* во временно́м значении. Тредьяковский считает такое употребление единственно правильным; он, например, упрекает Сумарокова за то, что тот «пишет. . . *отселе* за *отсюду* не зная, для того что *отселе* значит *отныне*» [153]. Словарь АР, однако, узаконивает оба употребления — и «от сего времени» и «из сего места», но не случайно первое значение иллюстрируется цитатой из евангелия, а второе — вымышленным речением бытового содержания («они отселе скоро уйдут»), что соответствует стилистическому различию этих двух употреблений: одно более книжное, другое нейтральное или «простое». В «Словаре церковнославянского и рус-

---

[152] Надо отличать это *коль* от его омонима, образовавшегося от усечения союза *коли* — «если», «когда». Эти слова различны по своей стилистической окраске и дальнейшей судьбе. Тредьяковский вообще протестовал против усечения простонародного, «подлого» *коли в коль*, потому что это создавало омонимию к книжному *коль*. Так, в своем известном «Письме. . .» относительно од и трагедий Сумарокова он отмечает неправильное употребление этого союза: «*коль* за *когда* полагается от автора ложно, потому что *коль* значит *колико*». Точно так же в ответ на слова Ломоносова, что «*коли* уж стало *коль*», Тредьяковский замечает: «*коль* не за *коли*, но только кладется как и долг — в количестве за *сколько*» (см.: В. К. Тредьяковский. Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном. . . — В кн.: А. Куник. Сборник материалов для истории имп. Академии наук в XVIII веке, ч. II. СПб., 1865, стр. 479; М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 542, а также: Он же. Сочинения. Изд. имп. Академии наук, т. 2. СПб., 1893, стр. 138 [вторая пагинация]). Действительно, *коль* в значении «если», «когда» в книжном языке встречалось чрезвычайно редко; Сумароков в этом отношении представляет исключение: он свободно употребляет это слово в трагедиях, например, в «Хореве», «Димитрии Самозванце». В первом издании Словаря АР тоже нет *коль* вместо *коли*, а только *коль* как «колико»; но во втором издании даются оба *коль* — как два значения одного слова.

[153] В. К. Тредьяковский. Письмо, в котором содержится рассуждение. . ., стр. 479.

ского языка» 1847 г. это различие отмечено уже непосредственно: временно́е значение *отселе* квалифицируется как «церковное».

Николи вообще не относилось к славянизмам; во втором издании Словаря АР оно даже помечено как «простонародное» (в первом издании нет такой пометы, а в «Аналогических таблицах» это наречие вообще не представлено) и встречается в комедиях в речи бытовых персонажей. В то же время оно примыкает у некоторых авторов к книжным словам рассматриваемого типа. Употребительность его, впрочем, не была значительной. Любит это слово Радищев, употребляя его неизменно в самом высоком окружении, например: «Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Ужели сия гордая мачиха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство *николи*?» («Путешествие. . .» — «Обращение к А. М. К.»); «Не дерзай *николи* нарушения ее прикрывати робостию благоразумия» (Там же — «Крестьцы») и др. *Почто*, *коль*, *отселе*, — кажется, наиболее стилистически окрашенные из перечисленных служебных или близких к ним слов, но это все же, как и остальные названные слова, факты общекнижного языка. Впрочем, и остальные слова этого типа не вполне однородны. Так, например, местоимения *сей* и *оный* (особенно первое из них) резко преобладают в книжной речи над их синонимами *этот* и *тот*. Очень широко распространен союз *яко*, правда, чаще как синоним сочетания *в качестве* («в качестве кого- или чего-нибудь»). В таком употреблении преобладание союза *яко* над *как* настолько значительно, что можно говорить о далеко зашедшем процессе нейтрализации этого слова. Такое употребление *яко* оказалось устойчивым в деловом языке даже в первые десятилетия XIX в. См., например: «Выражения *именное повеление*, *высочайшее соизволение*, *быть по сему*, и тому подобные уничтожаются, *я к о* неприличные» (Н. Муравьев. Проект Конституции, X, 21); «Соизволения государя оглашаемы были всегда, *яко* утверждения» (Г. С. Батеньков. Обозрение государственного строя) [154]. См. также у Гоголя в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», в стилизации делового документа — «позове» Ивана Ивановича на Ивана Никифоровича: «И потому прошу оного дворянина Ивана Никифорова сына Довгочхуна, *яко* повинного в зажигательстве. . . ко взысканию штрафа, удовлетворения проторей и убытков присудить и самого, *яко* нарушителя, в кандалы забить. . .». *Яко* в сравнительном значении встречается намного реже. По всей вероятности, близки к нейтральным были *индѐ*, *купно*, *ниже́*,

---

[154] Примеры из Н. Муравьева и Г. С. Батенькова цит. по сборнику «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов», т. I. Л., 1951.

паче, *токмо*, *толь*, *тамо* — о них трудно даже говорить как о словах книжных, настолько широко и неограниченно они употреблялись в самых разнообразных текстах [155]; более отчетливо обнаруживается книжный характер слов *понеже*, *поелику* (первого — в особенности), *колико* и *коликий*, *толико* и *толикий*, *дабы*, *тако*. Относительно наречия *тако* надо еще заметить, что чаще всего оно встречается при прямой речи: *вещал тако*, *отвечал тако* и т. д., но, кажется, исключительно редко в утвердительном значении.

Вся эта группа служебных или близких к служебным слов относится к тому лексическому фонду, который не сохранился в литературном языке, но судьба которого не связана ни с художественной литературой вообще, ни, в частности, с ее высокими жанрами.

Распространение этих слов связано прежде всего с влиянием на литературный книжный язык деловой «приказной» письменности и не находится, очевидно, в связи с той архаизацией литературного языка, о которой выше говорилось. Слова типа *паки*, *понеже*, *поелику*, *инде*, *тако*, *тамо*, *толь* и т. д. широко представлены и в литературе среднего стиля ломоносовского времени, например, в «Описании земли Камчатки» С. П. Крашенинникова, у самого Ломоносова, а также и позднее в таких произведениях, где высокая архаическая лексика никак не была представлена и вообще книжный элемент был незначителен, например, в «Дневных записках» И. Лепехина, записках И. М. Долгорукова, в деловой переписке, официальных документах.

В то же время, однако, они свободно употреблялись и в высоком стиле, сливаясь с собственно высокими словами. Их специфически «приказный» характер ощущался, очевидно, недостаточно остро и далеко не всеми. Отдельные замечания такого рода плохо согласуются с реальным употреблением. Известна, например, эпиграмма Богдановича:

Понеже говорят подьячие в приказе,
Понеже без него не можно им прожить,
Понеже слово то показано в указе,
Понеже в выписке оно имелось быть,
Понеже секретарь им сделался в заразе,
Понеже следует везде его гласить,
Понеже состоит вся сила в их *понеже*,
Затем и не живет у них *понеже* реже [156].

---

[155] *Тамо* иногда встречается в самых простых текстах, например, даже в «Пригожей поварихе» Чулкова.

[156] И. Ф. Богданович. Сочинения, т. 1. СПб., 1848, стр. 352. Близкая по тексту эпиграмма помещена также в «Письмовнике» Н. Курганова (СПб., 1769, стр. 261). См. также в журнале «Свободные часы» (М., 1763, февраль, стр. 107): «[Судья] для тово определение сочинил без *сентенции* и *понежа*».

Сумароков также относил *понеже* к тем словам, которыми «высокомерятся подьячие» [157]. Он же осуждает у Ломоносова *токмо*, считая, что это «слово приказное» [158]. Известен также ответ Сумарокова Тредьяковскому, упрекавшему его за то, что он употребил в трагедии *опять* вместо *паки*: «Прилично ли положить в рот девице семнадцати лет, когда она в крайней с любовником разговаривает страсти, между нежных слов *паки*», — спрашивает Сумароков, иронически добавляя, что «ежели не писать *опять* за *паки*, так и *который*, *которая*, *которое* надобно отставить и вместо того употреблять к великому себе насмешеству неупотребительные ныне слова *иже*, *яже* и *еже*, которые хорошо слышатся в церковных наших книгах, и очень будут дурны не только в любовных, но и в геройских разговорах» [159].

Но все это, как уже говорилось, находится в противоречии с употреблением. *Понеже* употребляется не только в приказных документах, но и в высокой публицистике, например, у Радищева, и в серьезном рассуждении, изредка и в трагедии, а позднее встречалось даже у Гнедича в переводах из Гомера. Еще шире употребляется в самых разнообразных текстах *паки*, кстати говоря, и у самого Сумарокова — и в одах, и в трагедиях (например, в «Хореве», «Семире»).

Таким образом, все эти слова в разной степени были в это время словами общекнижными, общелитературными, их судьба в дальнейшем не обусловлена ни развитием языка художественной литературы, ни изменениями в стилистической системе языка вообще. Любопытно, что даже в периоды самой острой борьбы «архаистов» и «новаторов» эти слова редко фигурировали как типические примеры архаической речи. О них редко спорили, разве только если они попадали в устную речь персонажей литературных произведений: «*Учинить* вместо *сделать* нельзя сказать в разговоре, а особливо молодой девице», — пишет Карамзин в рецензии на комедию «Оптимист» («Московский журнал», 1791, ч. I, кн. 2, стр. 233); то же в разборе перевода «Клариссы»: «В простом слоге лучше сказать *сделаться предметом* чего-нибудь, нежели *учиниться*» (Там же, ч. IV, кн. 1, стр. 113). См. там же: «Девица, имеющая вкус, не может ни сказать, ни написать в письме *колико*». Карамзин неодобрительно отзывался об употреблении в речи героев даже таких распространенных местоимений как *сей* и *оный*. В рецензии на комедию «Граф Ольсбах» он пишет: «Жаль, что г. переводчик употребляет слова *сие* и *оное*,

[157] А. П. Сумароков. К типографским наборщикам. Полн. собр. всех соч., ч. VI. М., 1787, стр. 315. — Комментаторы сочинений Ломоносова отмечают, что Ломоносов, у которого в 40-е годы встречается *понеже*, впоследствии перестал его употреблять (см.: М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 892).

[158] См.: В. В. Виноградов. Очерки. . ., стр. 121.

[159] А. П. Сумароков. Полное собрание всех сочинений, ч. X, стр. 97—98. См. также: В. В. Виноградов. Очерки. . ., стр. 132.

что на театре бывает всегда противно слуху. Употребляем ли мы сии слова в разговорах? Если нет, то и в комедии, которая есть представление общежития, употреблять их не должно» (Там же, ч. I. кн. 3, стр. 357). Та же мысль высказана в рецензии карамзиниста П. Макарова на петербургский перевод «Антеноровых путешествий» («Московский Меркурий», 1803, ч. II, апрель, стр. 62): «Кто в разговоре с приятелем скажет: *сии*?» — замечает Макаров. Значит, эти слова не вообще признаются непригодными, а главным образом в живой речи людей из общества, их переписке и т. д. [160]. Иное дело, что Карамзин, с его острым слухом на всякую «славянщину» и «приказный» слог, не напишет *колико* и в повести, и в статье, и даже, кажется, в «Истории Государства Российского», — но в этом уже отражается его собственный вкус [161]. Поэтому когда А. Ф. Воейков в своей рецензии на книги шишковиста Е. Станевича («Вестник Европы», 1808, № 18), упоминая *колико*, *наипаче*, *поелику*, *купно*, говорит о них, как и о других архаизмах у Станевича, что «сии слова в русской литературе то же, что орлы, драконы, лилии, изображенные на знаменах войск: они показывают, к какой стороне принадлежит автор», — то он прав лишь отчасти. Эти слова, действительно, чужды—и то не абсолютно — речевой практике поколения, активно осваивающего новые нормы словоупотребления, и вполне нормальны для лиц, пишущих «по-старому». Но не эти слова служат «знаменем» архаистов и не они вызывают активную неприязнь новаторов. Надо добавить, впрочем, что здесь названы слова наиболее заметно окрашенные «приказным» колоритом и раньше других, вышедшие из общелитературного употребления [162] (например,

---

[160] См., например, «сии слова» в только что приведенной фразе Карамзина.

[161] Говоря об этих неассимилированных впоследствии литературным языком служебных словах надо заметить, что их употребление вообще больше, чем слов знаменательных, отражает индивидуальные речевые навыки, связанные с характером выучки, манерой письма, «вкусом». Часть этих слов, например, широко представлена у одних авторов и совсем или почти совсем неупотребительна у других. У некоторых писателей и публицистов можно отметить излюбленные служебные слова, например *окрест*, *николи*, *яко* у Радищева, частые *яко* у Новикова, просторечные по происхождению, но вряд ли отчетливо ощущавшиеся такими *инако* (обычно в выражении *не инако как*) и *власно* или *власно как* у Болотова (*власно* означает «точно так же», «точь в точь», «подобно»; в Словаре АР оно помечено как простонародное, но см. это слово в 40-е годы у Ломоносова, в переводе оды Юнкера «Венчанная надежда» — Полн. собр. соч., т. 8, стр. 78). Более точные выводы могло бы дать статистическое исследование употребления этих слов у разных авторов. Служебные слова вообще, как известно, в силу своей массовости служат важным источником для характеристики индивидуальных речевых особенностей (например, в известной работе Н. А. Морозова «Лингвистические спектры» [Пг., 1916], где служебные слова объявляются основным материалом при определении авторства).

[162] См. в «Вестнике Европы» (1802, № 3): «*Понеже*, *в силу*, *поелику* творят довольно в свете зла».

понеже); что же касается таких, как *токмо* или *толь*, то к ним, по всей вероятности, отношение было еще более терпимым; их, например, употребляет в своей направленной против Шишкова книге Д. В. Дашков, встречаются они, особенно *токмо*, намного позднее и у Пушкина [163].

Мы еще остановимся ниже на судьбе этих слов в начале XIX в. Здесь же была сделана попытка показать, что употребительность и дальнейшая судьба архаизмов в литературном языке XVIII—начала XIX в. не всегда связана с судьбой высокого стиля или с развитием художественной литературы. Названная выше группа служебных слов особенно в этом отношении показательна. Когда Сумароков сопоставляет *паки* и *иже*, то это лишь полемический прием. *Паки*, как и *толь*, *токмо*, *понеже* и другие подобные слова, употреблялось в его время широко и свободно. Что же касается *иже*, то оно входило в тот ряд обветшалых славянизмов, к которому относятся слова *аки*, *абие*, *егда*, *точию*, *аще*, *дондеже*, *зде*, *удобь*, в меньшей степени *зане* и *убо* и некоторые другие. Их трудно считать фактом литературного языка второй половины XVIII в., хотя они и встречаются иногда у различных писателей, в том числе некоторые из них — у Радищева. Это анахронизм. Уже в 1747 г. Сумароков писал в своей первой «эпистоле» («О русском языке»), что «*аще*, *точию* обычай истребил» [164]. Но в спорах о языке именно такого рода слова еще долгое время служили у карамзинистов наиболее яркими символами архаической славянщины. Выше приводилось уже замечание Карамзина о «големых претолковниках, иже отревают все, еже есть русское». Макаров писал в одной из своих рецензий («Московский Меркурий», ч. IV, ноябрь, стр. 123), об «антагонистах новой школы, которые без *дондеже* и *бяху* не могут жить, как рыба без воды». Н. Греч вспоминает, как он и его сверстники в начале века «смеялись с негодованием над приверженцами старины, которые вопили, что наш любезный автор (т. е. Карамзин. — *В. Л.*) испортил русский язык, исключив из него:

и *аще*, *абие* и *убо*,
и *сице*, *дондеже*, *сугубо*» [165].

Позднее А. А. Бестужев (Марлинский) в своем споре с П. Катениным, утверждая, что Ломоносов не приближался к «сла-

[163] Но ср. любопытный пример отношения к этому слову Карамзина: рассказывая об истории создания писавшегося Карамзиным, но исправлявшегося и редактировавшегося М. М. Сперанским манифеста по поводу восшествия на престол Николая I, Карамзин, приводя фразу из окончательного текста, после слова *токмо* замечает в скобках: «у меня: *только*». См. там же: *яко законному по праву* вместо Карамзинского *согласно с уставом родителя* («Неизданные сочинения и переписка Н. Карамзина», ч. I. СПб., 1862, стр. 17—20).

[164] А. П. Сумароков. Полное собрание всех сочинений, ч. I, стр. 335.

[165] Н. Греч. Чтения о русском языке, ч. 2, стр. 388.

вянскому языку», а удалялся от него, замечает: «Где вы найдете у Ломоносова: *бяше*, *зряше*, *посмеваxуся*, *дондеже*, *сице* или что подобное?» И далее: «Употребляем звучные слова, например, *вертоград*, *ланиты*, *денница*, но оставляем червям старины *семо* и *овамо*, *говяда* и тому подобные» [166]. Эти замечания важны как показатель отношения к архаическим элементам языка, но выбор самих примеров продиктован чисто полемическими соображениями: не только во времена Бестужева и Макарова, когда вообще никто не писал *сице* и *дондеже* [167], но и в рассматриваемое нами время эти слова, в отличие от слов типа *паки*, *токмо*, *толь* и т. п., имели совершенно ничтожное распространение и не осваивались литературным языком.

§ 20. В истории литературных языков периоды, отличающиеся относительной упорядоченностью стилистических норм и характеристик, чередуются с периодами, когда обнаруживается ослабление этой четкости и упорядоченности. Границы разных языковых стилей становятся тогда зыбкими и неустойчивыми. Это отражает диалектику развития литературного языка, свидетельствует о процессе становления новой стилистической системы. То впечатление как бы попятного движения литературного языка, оживления и возрождения уже преодоленных на предшествующем этапе особенностей, которое вызывается этим процессом, связано лишь с некоторыми внешними его признаками. Рассмотренные ранее явления в истории лексики отчасти повторяют то, что было характерно для доломоносовского периода развития литературного языка, отмеченного отсутствием отчетливых стилистических норм. Но это не означало, разумеется, возврата к старому языку и старым отношениям. Беспорядочность и стилистическая зыбкость литературного языка первых десятилетий XVIII в. отражала процесс окончательного разрушения оставшегося в наследство от средневековья двуязычия, процесс распада церковнославянского языка как системы литературного выражения, его смешения с живой речью и языком деловой письменности. Ло-

[166] «Сын отечества», 1822, № 20.

[167] Даже Шишков говорил, имея в виду слова *аще*, *точию*, *вскую*, *уне*, *поне*, *распудить* и проч., что «таких слов, которые обветшали уже и место их заступили другие, толико же знаменательные, конечно нет никакой нужды употреблять», хотя здесь же он решительно защищает такие слова, как *доблий*, *присно*, *приснотекущий*, *велелепие*, считая, что они принадлежат к тем, которые «составляют силу и красоту языка нашего» (А. С. Шишков. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб., 1803, стр. 47—48), а в ответе А. Х. Востокову защищает *зане*, *купно*, *колико*, *поелику*, *наипаче* («Драматический вестник», 1808, Прибавления). Ср. замечания П. И. Сумарокова в воспоминаниях о Екатерине II о том, что императрица «несколько педантствовала» и употребляла на письме «древние изречения как то: *аще*, *дондеже*, *понеже*, *якобы*» («Русский архив», 1870, стр. 2083). Здесь любопытна оценка этих слов современником, а постановка в один ряд *аще* и *понеже* могла объясняться тем, что воспоминания эти писались уже в 10-е годы XIX в.

моносовская реформа явилась завершением этого периода: был произведен отбор и выработаны относительно устойчивые нормы употребления языка[168]. Языковые процессы второй половины XVIII в. происходили уже на базе этой, условно говоря, ломоносовской системы. Стремление освободиться от ставших стеснительными жанровых ограничений привело к тому, что словоупотребление стало в стилистическом отношении менее упорядоченным, — но это знаменовало не движение вспять, а обнажение тех противоречий существующей системы, в которых заложены тенденции дальнейшего развития. Это был первый этап формирования свободной от жанровых условностей книжно-литературной лексики, когда господствует тенденция к очень широкому охвату всего лексического богатства, представленного книжной традицией. Живое ощущение стилистических качеств слов в таком случае отчасти стирается.

Нельзя не учитывать при этом своеобразия лексики в ряду других сторон языка.

Основное содержание истории русского литературного языка, начиная уже с XVII в., заключается в том, что «понятие к н и ж н о г о языка перестало непременно совпадать с представлением о языке церковнославянском — появился н о в ы й русский книжный язык»[169]. Бесспорно, что это захватывает весь язык в целом, но в разных сторонах языка этот процесс происходит неравномерно, с различной степенью интенсивности и с заметным своеобразием. Лексика представляет собой наименее «структурную» сторону языка и поэтому наименее нормированную. Колебания в употреблении слов в одну и ту же эпоху — у разных авторов или даже у одного и того же автора — могут быть чрезвычайно значительными; грамматика, особенно система форм, не допускает таких резких колебаний. Поэтому если применительно к грамматике можно говорить о достаточно устойчивой и обязательной системе форм, то когда речь идет о лексике, приходится ограничиваться лишь указанием на самую общую тенденцию в ее развитии, в характере и направлении ее нормализации. В лексике легче, чем в грамматике, удерживаются архаизмы, выходы в архаику здесь могут быть очень далекими. Например, из признанных Ломоносовым (в его «Предисловии о пользе книг церков-

---

[168] См., например, очень точную характеристику языка Тредьяковского, данную А. Н. Радищевым в его сатирическом «Памятнике дактилохореическому витязю»: «По несчастью его, он писал русским языком прежде, нежели Ломоносов впечатлел россиянам примером своим вкус и разборчивость в выражении и в сочетании слов и речей сам понесся путем непроложенным, где ему вождало остроумие; словом: прежде, нежели он показал истинное свойство языка российского, нашед оное забыто в книгах церковных; потому Тредьяковскому и невозможно было переучиваться» (А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 215).

[169] Г. О. Винокур. Русский язык, стр. 75.

ных в российском языке») «весьма обветшалыми» и «неупотребительными» слов *обаваю*, *рясны*, *овогда*, *свене* по крайней мере два первых встречаются в ряде произведений второй половины XVIII в. Бытующие в данный период архаические формы, если они не освоены литературным языком как формы нейтральные или общекнижные, отчетливо окрашены, и сфера их употребления строго определена; всякий выход за пределы этого ряда форм или употребление их вне определенной для них сферы всегда остро осознается как смешение разных языков — современного и «старого», или церковнославянского. В лексике это легко воспринимается лишь как использование слова с той или иной степенью мотивированности (смысловой или стилистической). Показательно в этом отношении рассуждение П. А. Вяземского о необходимости различать «сочетание одних слов» и «сочетание форм, оборотов, свойств двух языков» (или одного языка, но старого или нового) [170]: первое признается полезным, его «держались и держатся все писатели наши», второе — «несбыточно и нежелательно» [171].

Складывается впечатление, что при общей тенденции сближения литературного языка с «употреблением» лексика оказалась на время как бы в противоречии с этой тенденцией. Но это, разумеется, лишь кажущееся противоречие. Ведь вовлечение славянской лексики в общекнижную речь отражает попытку ее освоения литературным языком, поэтому правильнее говорить о том, что в складывании лексических норм литературного языка роль старых книжных традиций, в том числе и традиций высокого стиля, была сильнее, чем в грамматике. Предстоял отбор, очищение языка от безнадежно устарелых слов и закрепление наиболее жизнеспособных элементов старого языка. Естественно, что самый состав таких элементов определился не сразу.

§21. Книжной лексике в литературе второй половины XVIII в. противопоставлена лексика низкая. Ее источник — разговорная речь, точнее, те ее пласты, которые квалифицируются в Словаре АР как «просторечие» и «простонародные» слова. Термины «просторечие» и «простонародное», с одной стороны, и «низкое» слово (или слово «низкого», «простого» стиля), с другой стороны, характеризуют лексику с разных точек зрения: первые указывают на ее принадлежность разговорной, бытовой речи (отмечая

[170] Под «свойствами языка» понимали его грамматическую структуру.

[171] П. А. Вяземский. Фонвизин, стр. 55. — Это не значит, что Вяземский готов оправдать употребление в любом тексте «славенских» слов. Признавая, что они «хороши, когда они нужны и необходимы, когда они заменяют недостаток русских», допуская их частично в «языке стихотворном как синонимы, как пособия, допускаемые поэтической вольностью и служащие иногда благозвучию стиха, рифме или стопосложению», Вяземский жалеет о том, что «какая-то почетная именитость, данная славянским словам пред русскими, вытеснила многие из них [русских] из языка стихотворного» (стр. 56). Но это вопрос особый.

при этом и различия внутри этой лексики), второй — на ее функцию в литературе, письменности. И хотя фактически эти понятия совпадают — просторечие и простонародная речь, попадая в литературу, выступают как примета низкого стиля [172], — эти два аспекта при изучении рассматриваемой лексики должны различаться, как должна учитываться и их взаимозависимость.

Выше уже говорилось, что место в литературе высоких, «славенских» и «низких», просторечных или простонародных, элементов языка было принципиально различным. Употребление «низких» слов и форм связано главным образом со специфическими характерологическими задачами тех видов художественной литературы, которые относились к низкому стилю. Называть эти слова литературными можно только в том смысле, что они встречаются в литературе. На самом же деле употребление этих слов определяется именно их нелитературностью, их чуждостью литературному языку. Норма низкого стиля как раз и заключалась в отказе от литературной нормы. Наиболее отчетливо это обнаруживается в комедии, в речи комических или отрицательных, «подлых» персонажей, которая противопоставлена вполне литературной, по существу книжной речи положительных персонажей — резонеров или «любовников». Нелитературные, просторечные и «простонародные» слова свободно употребляются и в другом низком жанре — притче. «Низкая» лексика представлена также и в сатирической и бытописательной литературе, например, в известных «Письмах к Фалалею» Новикова, в отдельных главах радищевского «Путешествия. . .», в «Пересмешнике» и «Пригожей поварихе» Чулкова и др. под. Особое место занимает эта лексика в ирои-комической поэме. Во всех этих и подобных им случаях «низкая» лексика художественно мотивирована содержанием, характером персонажей, а также и композиционно, подменой автора повествователем — рассказчиком или корреспондентом. Это относится не только к названным выше прозаическим произведениям Новикова или Чулкова, но также и к притче (басне); так, говоря о Сумарокове, Г. А. Гуковский отмечает, что он «трактовал притчу как беседу с читателем, наполненную более или менее просторечными отступлениями и написанную заведомо вульгарным языком. . . Введена фикция рассказчика-балагура, не стеснявшегося в выражениях и заигрывающего с читателем» [173].

Имея в виду эту художественную мотивированность включения народной речи, некоторые исследователи говорят об элементах реализма в низких жанрах XVIII столетия. Нельзя, однако,

---

[172] «Делая обзор «просторечной» и «простонародной» лексики, вошедшей в Словарь [Академии Российской], мы вместе с тем знакомимся с основными, характерными языковыми фондами простого или «низкого» стиля» (Ю. С. Сорокин. Указ. соч., стр. 136).

[173] Г. А. Гуковский. Русская поэзия XVIII века. Л., 1927, стр. 155.

забывать, что сама эта мотивированность, связь языка с содержанием и характером персонажей выступает как чистая условность и полностью находится в рамках норм и предписаний классицизма. Прежде всего, это жанровая условность — например, в комедии или притче; но, как это отмечалось и для высокого стиля, традиции классицизма легко обнаруживаются и в нетрадиционных для него жанрах, если сохраняются сами принципы и приемы соединения определенного содержания, «предмета» изображения с определенным языковым материалом. Выше приводились примеры архаической «славенской» лексики в сентиментальном повествовании об Анюте в «Путешествии. . .» Радищева. Но вот как изъясняется в этом рассказе сама Анюта: «часто мы видим таких щелкунов как ты; пожалуй, проходи своей дорогою»; «не подъезжай, пожалуй, рассказы таковые я слыхала»; «кабы батюшка жив был и ето видел, то бы даром что ты господин, нагрел бы тебе шею»; «я состареюсь, а он будет таскаться с чужими»; «как же не так» и т. д. Правда, она говорит иногда и подругому, с несколько неожиданной изысканностью, например: «они [поцелуи] заранее все уж отданы, и я в них не властна»; «высватают за него другую, а я, бедная, умру с горя». Но несмотря на эту слабую дань чувствительности, характер речи Анюты вполне определенен: она говорит по нормам бытового персонажа, и ее речь звучит на фоне речи автора резко контрастно (впрочем, говоря об Анюте, и автор может сказать, что она смотрела «выпяля глаза»). Еще простонароднее говорит кучер — «повозчик», как его называет автор: «Видно, барин, что ты на Анюту нашу призарился. Да уж и девка! Не одному тебе она нос утерла. . . Всем взяла. . . На нашем яму много смазливых, но перед ней все плюнь»; «Иван всех отбоярил»; «Ванюха тотчас и подцепил». В этом повествовании Радищева, следовательно, сохранено типичное для классической комедии разграничение двух типов речи; и по отраженным в нем общественным нормам, и по приемам языковой характеристики персонажей оно вполне традиционно.

Таким образом, вопрос о низкой лексике во второй половине XVIII в. — это прежде всего проблема языка определенных видов художественной литературы. Отличия в характере и степени концентрации такой лексики, которые можно наблюдать у разных авторов, иногда и в разных произведениях одного и того же писателя, или на различных этапах развития жанра в пределах второй половины XVIII в., — не имеют непосредственного отношения к вопросу о нормах литературного языка. Они свидетельствуют лишь о некоторых различиях или об эволюции способов и приемов художественного изображения. Так, в «Недоросле» Фонвизина представлен более высокий образец воплощения в художественном произведении речи «простых» персонажей, чем в комедиях Сумарокова или Лукина, и прежде всего потому, что писатель сумел отчасти преодолеть условно-натуралистические

приемы, свойственные низкому стилю. Простонародная стихия в речи Простаковой, Скотинина и даже Еремеевны представлена менее подчеркнуто и менее концентрированно, чем у некоторых современников Фонвизина. Но, основываясь только на этом, нельзя говорить об ином понимании писателем норм литературного языка. Не свидетельствуют о пересмотре литературной нормы и прямые протесты некоторых драматургов этого времени против чрезмерного насыщения языка комедии просторечием и простонародной речью [174]. Большой интерес в этой связи представляет предисловие («объяснение») драматурга Н. П. Николева к его пьесе «Розана и Любим» (сочинена в 1776 г., предисловие написано к первому изданию пьесы в 1781 г.): «Предприяв сочинить сию драму, — пишет Николев, — почел я за должность не выводить на театр таких лиц, коим бы необходимо надобно мне было дать низкое и подлое речение российской черни; как например, наречие фабришных и степных крестьян; ибо мне казалося, что первых буянское, а вторых слишком дикое наречия не могут иного принести зрителям и читателям вкус имеющим, кроме отвращения. И вот для чего Розана выведена солдатскою дочерью, Любим дворовым, а лесник крестьянином, близ Москвы живущим. Тем я дал наречие московское, а этому московское с крестьянским смешанное; они не говорят *увы*, *бесподобно*, *беспримерно*, *обожаю* и проч., говорят обыкновенно, но просто. Другой, не говоря *взъерепеню*, *взбутетеню*, *припопоню*, *холуй* или вместо *чево*, *цево*, вместо *человек*, *целовек* и проч., говорит как крестьянин просто, иногда странно, смешно, но не отвратительно» [175].

В этом рассуждении замечательно утверждение, что выведение на сцену «фабришных и степных крестьян» с необходимостью влечет за собой «низкое и подлое речение российской черни». Автор не представляет себе другой возможности отказаться от «подлого речения», кроме отказа от самих этих персонажей; такова традиция низкого стиля, традиция изображения крестьян на сцене.

Здесь симптоматично само стремление избежать простонародной речи, признание противоречия между предписаниями низкого стиля и требованиями «вкуса»; слова вроде *взбутетеню* и *припопоню* признаются «отвратительными», не способными вызвать в читателях, «вкус имеющих», ничего, кроме отвращения; но ведь и в традиционных произведениях низкого стиля простонародным языком наделяются только персонажи отрицательные или

[174] См. статью П. Н. Беркова «О языке русской комедии XVIII в.», где, между прочим, отмечается, что «расцвет диалектного изображения языка крестьян падает на середину 1770-х годов. С конца 1770-х годов это явление постепенно исчезает» (стр. 43). См. также: Н. Л. Бродский. История стиля русской комедии XVIII в. М., «Искусство», 1932, № 1; С. И. Ожегов. О языке купеческой комедии П. А. Плавильщикова. «Мат-лы и исслед. по истории русск. лит. языка», т. II, 1951.

[175] Цит. по кн.: «Русская комедия и комическая опера XVIII века». М.—Л., 1950, стр. 172.

комические, отношение к такому языку и там вполне определенное. В высказываниях такого рода, следовательно, речь идет прежде всего о тенденциях развития языка комедии, а не об эволюции норм литературного языка. Они касаются главным образом проблем эстетических, вопроса о границах применения натуралистических подробностей речи при изображении «низких» персонажей и лишь отчасти и косвенно, как далее увидим, судеб самого литературного языка.

§ 22. «Низкая» лексика выполняла в литературе художественно-характерологические функции и не входила в состав литературного языка. Но она теснейшим образом связана с живой речью. ««Разговорный» язык «бытовых персонажей» комедии 1760—1790-х гг. отражал действительно существовавший язык дворянского столичного круга, а также язык деревенских дворян-помещиков», — пишет П. Н. Берков [176]. Это, очевидно, не совсем точно сказано: просторечные и простонародные слова представлены в речи «низких» персонажей в такой концентрации, в таком нарочитом сгущении, какое вряд ли могло существовать в действительности. Но это верно в том смысле, что встречающиеся у этих персонажей слова и выражения брались из живой речи, что они (может быть, за небольшим исключением, касающемся преимущественно слов из узкопрофессиональной сферы) действительно употреблялись или могли употребляться в тех или иных ситуациях в речевом обиходе разных социальных слоев. «Обиходная речь той эпохи не чуждалась мещанского просторечия и свободно включала в себя элементы «простонародного», крестьянского языка. . .», — замечает В. В. Виноградов [177]. Об этом же писал В. И. Чернышев, отмечавший, что «разговорный язык XVIII в. содержал много народных слов, которых мы теперь не употребляем», что у писателей этого времени «можно найти слова, теперь уже непонятные». «Значение этих слов, — говорит далее В. И. Чернышев, — нужно разыскивать по областным словарям. Но очевидно, что такие слова тогда понимались еще в литературных центрах: Москве и Петербурге» [178].

Все это находит подтверждение в большом количестве фактов. Письма, мемуары, дневники этого времени, написанные образованными людьми, даже писателями, пестрят простонародной лексикой. Как на образец указывают обычно на действительно замечательные в этом отношении записки А. Болотова. Г. О. Винокур приводит из записок Болотова такие слова и выражения, как *промолоть* (*всю книгу*) (в Словаре АР: *промолоть* — «скоро

---

[176] П. Н. Берков. О языке русской комедии XVIII века, стр. 48.
[177] В. В. Виноградов. Очерки. . ., стр. 127.
[178] В. И. Чернышев. Заметки о языке басен и сказок В. И. Майкова. «Сборник памяти Л. Н. Майкова». СПб., 1902, стр. 155. См. об этом также: Г. О. Винокур. Русский литературный язык во второй половине XVIII в., стр. 153.

прочитать или проговорить что»); *наблошниться* (в Словаре АР: «*наблошняюсь* — навыкаю, перенимаю, проворным, ухватливым делаюсь»); *оборкаться* («привыкнуть»); *колты* и *хлопоты* (в Словаре АР: колты — «затруднение, трудные обстоятельства»); *суторма* («суета», «кутерьма»); *шильничество* (в Словаре АР: *шильничаю* — «плутую, мошенничаю»); *барабошить* («трогать что-либо»); *шишлять* («возиться», «заниматься чем-нибудь»); *стрякотки-блякотки*; *сшито на чертов клин*; *тазать* («наказывать»); *гузать* («медлить») [179]. Можно привести и множество других подобных слов и оборотов из записок Болотова. Вот некоторые из них: *гребется за книгу* (Словарь АР: *гребусь* — «хватаюсь, берусь»); *вытеблить от нас колико можно больше денег*; *галиться* («смеяться, потешаться»); *ну-ка* (с инфинитивом: «и так, я созвавши своих деревенских соседей, ну-ка вместе с ними сам ходить по всем въездам и выездам», III, 151); *набивать карманы*; *сжить с рук*; *протурить*, *вытурить*; *сущий фалалей*; *жилять* («жалить»); *неоглядкою* («полетели мы из Москвы неоглядкою», III, 171); *скоросый*; *в руки втирать* [пакет]; *вздурить* и *вздуриться*; *так и сяк*; *плюгавый*; *хорохориться*; *руки марать*; *не посмел и кукнуть*; *сущий деревенский ахреян* (в Словаре АР нет этого слова, но есть в «Аналогических таблицах»; встречается оно и в литературе); *молоть*; *нести вздор*; *ерошиться*; *как бабушка отходил* («сие произвело желаемое действие и пономаря моего от воровства, как бабушка, отходило», III, 187); *отбояривать*; *подтибезить* или *подтибизить* («украсть», иногда «поймать»); *прикро* («неприятно», «противно»); *обирала*; *впрах* («завеселиться впрах», «заговорить кого-нибудь впрах», «засудить впрах», «перестращаться впрах» и др.); *прошлец* («пройдоха», «проходимец»); *надсадить со смеху*; *пырь* («пырь к нам. . . сам хозяин»); *напичкать*; *тузить*; *отбрить*; *вылезать из кожи*; *с ума рехнуться*; *деньги ухнули* (а также *дать деньгам уха*); *пересигнуть* («перепрыгнуть»); *окаюмы* (ср. *окаянные*); *оболахтывать* («обманывать», «одурачивать», от *лахтак* — тюлень); *транжирить*; *шваркать*; *ввести в простак* («поставить в глупое положение»); *черкануть* [за реку] (ср. современные просторечные *дернуть*, *дунуть* куда-нибудь); *давать денежкам совершенный карачун*; *волосы ажно вянут*; *съякшаться*; *проваландаться*; *всклепать* (на кого-нибудь); *упнуться*; *слушать разиня рот*, *глаза и уши*; *пронюхать*; *в превеликих пыхах*; *досталось на лапу* и много других подобных.

Неустойчивость границ между дворянским просторечием и простонародной областной речью отчетливо обнаруживается в комедии. Различия в речевой характеристике бытовых персонажей — крестьян и помещиков — очень слабо касаются собственно лексики — если не считать в речи персонажей-крестьян единичных

---

[179] Г. О. Винокур. Русский литературный язык во второй половине XVIII в., стр. 153.

слов типа *баять*, *позагуторитьсяя*, *голчить*, *бачка* (батька), некоторых названий, связанных с крестьянским бытом, отчасти элементами фольклора, особенно в комической опере. Крестьяне в комедии П. Плавильщикова «Бобыль» употребляют, например, такие слова и выражения, как *ахинея*, *балагур*, *рохля*, *разиня рот*, *чваниться*, *пикнуть*, *расхорохорился*, *зафоркал*, *разжихарился*, *казокаться*, *облапошить*, *крюк ввернуть* (т. е. «поддеть, обмануть кого-нибудь»), *кочевряжиться*, *кобениться*, *лясы подпускать*, *наляпал на меня* («наклепал»), *отвешу свинчатку по уху*, *озорник праховой*, *отвесил оплеуху*, *пивца клюнул*, *размурыжил*, *хватить* («ударить»), *подтибрил*, *азадки* («дурные последствия»), *калякать*, словечко *лих* и т. д. Все это — или почти все — встречается и в других произведениях низкого стиля, не обязательно в речи крестьян, но и в речи повествователя — в притче или любом комическом стихотворении.

Повествователь «Пересмешника» Чулкова — хотя и не дворянин, но человек пообтершийся в обществе и читающий книги, — употребляет слова *укоротовать*, *издивился*, *прожора*, *проклажаться*, *объедало*, *присунул*, *раздавал плотные тузы и оплеушины*, *погладил в темя* (т. е. «ударил»), *врютился носом*, *присмаки*, *понабраться довольно винца*, *вскочил благим матом* (см. у Болотова и других — *бежать благим матом*) и мн. др. Вот еще лексика стихотворения П. Плавильщикова «Баталия» (типа ироикомической поэмы), напечатанного в «Собеседнике любителей российского слова» (1784, ч. XV): *яралаш писать*; *лупил свой авантаж*; *денежки лупил*; *купец в ряду хайлит*; *мне тяпать не впервой* («воровать»); *улыбнулось то старанием моим* (*улыбнулось* — здесь «пропало», «оказалось украденным»; словари не фиксируют этого значения); *дока*; *тазать*; *закалякались*; *окрысившись*; *тузить*; *сбеленясь*; *расквасилась*; *шваркнулась* и т. д.

Трудности, связанные с разграничением лексики разных бытовых персонажей (если не считать лексики чисто профессиональной, как, например, у учителей в «Недоросле» или у купцов в «Сидельце» Плавильщикова) [180], привели к тому, что упор при воспроизведении речи крестьян в комедии был сделан на некоторых произносительных особенностях; например, фиксируются цоканье, дзеканье, произношение типа *знашь* (знаешь), *деули* (девули), постоянные *-ста* и *-сте*, *стани* и некоторые другие. Можно сослаться еще на исследованные Г. О. Винокуром «Анекдоты древних пошехонцев» В. Березайского, где речь персонажей, в лексике не отличаясь от речи автора, принявшего облик простонародного рассказчика-балагура, наделена некоторыми специфическими произносительными чертами [181].

[180] См. упоминавшуюся выше статью С. И. Ожегова о языке комедии Плавильщикова.

[181] См.: Г. О. Винокур. Любопытный памятник XVIII века. «Докл. и сообщ. Ин-та русск. языка АН СССР», вып. 2, 1948. — См. еще при-

Привлечение художественной литературы как источника для характеристики реальной речи требует, разумеется, большой осторожности и, прежде всего, учета специфических, эстетических функций языкового материала в художественном произведении. Это особенно важно иметь в виду, когда речь идет, как в данном случае, о материале «внелитературном», социально или диалектно характерологическом. О принципиальных отличиях свойственной той или иной эпохе литературно-художественной «классификации внелитературных форм» от их «лингвистического распределения» см., например, в статье В. В. Виноградова «Язык Зощенки» [182]. Однако, даже учитывая это обстоятельство, историк литературного языка не может пройти мимо того факта, что речевая практика дворянского круга служит источником, откуда черпается материал (по крайней мере, лексический и фразеологический) для характерологического изображения всякого бытового, «низкого» персонажа. Следует добавить, что XVIII в. не выработал еще тех сложных форм художественного совмещения и комбинирования литературных и нелитературных форм речи, какими владеет литература более позднего времени. Здесь сильны еще, так сказать, наивно-натуралистические приемы языковой характеристики, и это повышает ценность этой литературы как собственно лингвистического источника. Во всяком случае, в это время еще не может действовать отмеченная в названной выше статье В. В. Виноградова тенденция к ослаблению внелитературности «жанра». Для рассматриваемого времени характерно, очевидно, прямо противоположное направление развития — отсюда и та концентрированность языкового материала, стремление к «эссенциям» (по выражению Достоевского) при воспроизведении нелитературной речи.

§ 23. Для понимания истории собственно литературного языка важно — в связи со сказанным выше — остановиться на отношении разговорной речи к литературному языку. Те отношения, которые существовали между этими категориями в рассматриваемое время, принципиально отличались от современных. В современной разговорной речи мы выделяем группу элементов — слов, выражений, конструкций, — которые рассматриваются как вполне литературные и противопоставлены, с одной стороны, элементам книжным и нейтральным (в отношении книжности и разговорности), а с другой стороны — нелитературному просторечию; разговорная речь выступает здесь как разновидность литературной речи. В XVIII веке разговорная речь даже образованных людей не рассматривалась и не оценивалась с точки зрения литературности; сама необходимость нормализации бытовой речи осознавалась, очевидно, еще очень смутно. Вопрос о литературности вставал только тогда, когда дело касалось книги, литературы. С точки зрения пригодности в книжном языке оказывалась дифференцированной и разговорная речь. Литературным в ней было только нейтральное, все же специфически разговорное оказывалось вне пределов литературности и вообще письменности — кроме низкого стиля, где нелитературность была нормой стиля.

веденный в «Очерках. . .» В. В. Виноградова (стр. 128) отрывок из «Записок» С. А. Порошина, где последний, имитируя «мужичье наречье», ограничивается чисто произносительными пометами: *штобы*, *Петровиць*, *свово*, *Алексеевица*. См. об этом также: П. Б и ц и л л и. Указ. соч., стр. 6.

[182] Сб. «Мастера современной литературы», I. Михаил Зощенко. Л., 1928, стр. 70—73.

Именно такое понимание литературности отражает Словарь Академии Российской. Словарь в целом ряде случаев противопоставляет «славенскому» слову слово русское; отмечается его «простое», «общее», «обыкновенное» употребление. Это такие слова, как *ночь* (ср. *нощь*), *корова* (ср. *крава*), *насаженный* (ср. *насажденный*), *молот* (ср. *млат*), *осень* (ср. *есень*), *хожу* (ср. *хожду*) и др. под.[183] В упоминавшемся выше рукописном словаре, описанном М. И. Сухомлиновым, пометой «русское» снабжены такие слова, как *голодать* (ср. *алкать*), *осилить* (ср. *одолеть*), *разговаривать* (ср. *разглагольствовать*), *который* (ср. *иже*), *отсюда* (ср. *отселе*), *побитие* (ср. *избиение*), *лень* (ср. *леность*), *разница* (ср. *разнь*), *двадцать* (ср. *двадесят*), *выкупить* (ср. *искупить*), *дважды* (ср. *двоекратно*), *нежели* (ср. *неже*) и т. д.[184]

Все это, разумеется, слова разговорного языка, но они не являются специфически разговорными; это нейтральный слой лексики, вполне употребительный в самых разнообразных видах литературы, где он противопоставлен только словам специфически книжным, высоким.

Этого рода лексика служит основой якобы разговорной, а на самом деле искусственной, нейтрализованной речи положительных персонажей комедии или романа — резонеров, «любовников», «благородных». Все же собственно разговорное, такое, чему можно противопоставить не только книжное, но и нейтральное, определяется как просторечие и простонародное и тем самым выключается из литературного языка, хотя признается нормальным (теоретически — только просторечие, но не простонародное) для устно-бытовой речи, для дружеского письма. Именно эта лексика и послужила характерологической приметой низкого стиля.

Г. О. Винокур справедливо заметил, что «От исследователя художественных свойств языка в произведениях низких жанров во всяком случае требуется очень большой такт для того, чтобы не принять общеупотребительное за сознательно отобранное» [185]. Это указание требует, однако, уточнения и ограничения. Оно полностью относится к тем случаям, когда дело касается слов, которые мы воспринимаем как просторечные только на основании наших современных представлений. Таковы, например, *полюбиться* (в значении «понравиться»), *горница*, *брюхо* и *брюхатая*, *потчевать*, *худой* (в значении «плохой»), *всякий* (например, *всякий день*, вместо современного *каждый день*), *вчерась*, *вечор*, *вперед* (в значении «впредь»), *поутру*, *ввечеру*, *нынче*, *ежели*, *нежели*, *подле*, *давеча*, *стращать*, *пужать*, *завтре*, *пригорюниться*, *наскучить* (ср. «простонародное» *надоесть*) и др. под.

---

[183] См.: Ю. С. Сорокин. Указ. соч., стр. 98—99.

[184] См.; М. И. Сухомлинов. Указ. соч., стр. 12—19.

[185] Г. О. Винокур. Русский литературный язык во второй половине XVIII в., стр. 152.

Эти слова не только были обычны в живой речи, но они носили нейтральный и вполне литературный характер; их передвижение на периферию литературного языка произошло значительно позднее [186]. Надо заметить, что это касается и некоторых слов оценочно-экспрессивных. Ю. С. Сорокин справедливо считает, что отсутствие в Словаре АР стилистических помет при словах *паршивый*, *харкать*, *сопли*, *дурь*, *одурелый*, *похрапывать* и некоторых других — не случайность или результат непоследовательности стилистических оценок (как это бывает в Словаре АР в других случаях), а отражение особенностей живого словоупотребления. «Нет сомнения, — пишет он, — что эти ныне ,,просторечные'' или грубо ,,разговорные'' формы для конца XVIII в. — еще простые (иногда не сопряженные с резкой экспрессией) наименования тех или иных предметов, явлений и качеств» [187]. Возможно, что сюда следует отнести даже такое слово, как *рожа*; в Словаре АР оно отмечается как «уничижительное», но ему не дается никакой стилистической квалификации, и это согласуется с его употреблением: см., например, даже в «Детском чтении» (1785, ч. I, стр. 20) — «скверную его рожу» в словах благовоспитанного мальчика; см. также в «Путешествии. . .» Радищева, в разговоре с начальником — «окончать не мог моея речи, плюнул почти ему в рожу и вышел вон» («Чудово»), где весь текст звучит экспрессивно, но не просторечно (ср. далее: «Сто делал расположений, как отмстить сему зверскому начальнику не за себя, но за человечество. Но, опомнясь, убедился воспоминанием многих примеров, что мое мщение будет бесплодно» и т. д.).

В то же время замечание относительно опасности «принять общеупотребительное за специально отобранное» вряд ли следует относить к собственно просторечию. Трудно согласиться, что художественное, характерологическое назначение имели лишь те языковые факты, которые не совпадали с живым употреблением. Если учесть при этом, что, как уже говорилось, «обиходная речь тогдашнего дворянства. . . не отделилась еще во второй половине XVIII в. окончательно от крестьянских диалектов» [188], то придется признать, что «сознательно отобранное» в низком стиле занимает ничтожное место, ограничиваясь в общем отражением диалектного произношения и почти не касаясь лексики. Разумеется, слабая литературная нормированность разговорной речи отражается и в том, что какие-то слова из просторечия у того или иного автора могут оказаться употребленными совершенно ме-

---

[186] О некоторых из этих слов см.: В. Д. Левин. Наблюдения над стилистическими изменениями в лексике русского литературного языка в первой половине XIX века. «Мат-лы и исслед. по истории русск. лит. языка», т. IV, 1957.

[187] Ю. С. Сорокин. Указ. соч., стр. 153.

[188] Г. О. Винокур. Русский литературный язык во второй половине XVIII в., стр. 153.

ханически, без всякого специального отбора и стилистического задания — и в этом отношении предостережение Г. О. Винокура имеет большое методологическое и методическое значение. Но если говорить о просторечной и простонародной лексике в целом, ее характерологичность в речи «низких» персонажей комедии, как и в других специфически «низких» контекстах, очевидна: тот факт, что слово или выражение употребительно в живой речи, еще не лишает его способности выполнять специальные, художественно-характерологические функции. Достаточно, если оно воспринимается говорящими как подчеркнуто разговорное, просторечное, такое, которое не полагается употреблять не только в книжном языке, но даже и в серьезном разговоре. Ведь возможность употреблять те или иные просторечные слова не означает, что они произносятся в любых условиях. Разграничение речи бытовых персонажей и резонеров или «любовников» в комедии — не только чистая художественная условность (хотя в значительной степени это, разумеется, так), и не только свидетельство дифференцированности речи разных социальных групп, но также и отражение — правда, приблизительное, преобразованное чисто художественными задачами, — двух типов устной речи вообще. Образованный, читающий книги человек стремился в нужных условиях приближаться к речи Стародума или Правдина (хотя, наверное, он и не мог говорить так книжно и искусственно), во всяком случае избегая резкого просторечия или простонародности; но в его словарном запасе существовал как вполне нормальный при соответствующих речевых ситуациях и почти весь лексикон Скотинина и Простаковой — в этом и проявлялась ненормализованность бытовой речи в XVIII в., ее нелитературность. Все, что приводилось выше из записок Болотова, было, разумеется, в его живой речи и не имело в данном случае никакого художественного назначения. Но это не значит, что употребление этой лексики было совершенно механично и бездумно, лишено всякого стилистического смысла. Болотов сознательно обращается к разговорному «простому» слогу для своих записок. Замечательно, что самый выбор для жизнеописания формы писем вымышленному «любезному приятелю» продиктован, по признанию самого автора, соображениями стилистического характера: он разъясняет, что «учинил» это для того, чтобы можно было «рассказать иногда что-нибудь и смешное»; другими словами, форма писем давала ему возможность свободно и естественно пользоваться элементами непринужденной бытовой речи.

Понимание стилистической ограниченности специфических средств разговорной речи и их резкая противопоставленность книжному языку представляют собой одно из тех противоречий, которые таят в себе источник дальнейшего развития. По мере развития нового книжного языка на национальной основе, по мере его сближения с разговорной речью все более и более осознава-

лись литературные права не только нейтральных, но и собственно разговорных элементов. Но это было связано с вопросом о нормах самой разговорной речи, о степени ее литературности.

Во второй половине XVIII в. резко усиливается культурная дифференциация общества. «Да — чудно, дивно было это время, но еще чуднее и дивнее было это общество, — писал Белинский. — Какая смесь, пестрота, разнообразие!. . . Безбожие и изуверство, грубость и утонченность, материализм и набожность, страсть к новизне и упорный фанатизм к старине, пиры и победы, роскошь и довольство, забавы и геркулесовские подвиги, великие умы, великие характеры всех цветов и образцов и, между ними, Недоросли, Простаковы, Тарасы Скотинины и Бригадиры; дворянство, удивляющее французский двор своею светскою образованностию, дворянство, выходившее с холопями на разбой» [189]. Можно привести еще замечательную характеристику екатерининской эпохи, принадлежащую В. О. Ключевскому: «Наш XVIII в. гораздо труднее своих предшественников для изучения. Главная причина тому — большая сложность жизни. Общество заметно пестреет. Вместе с социальным разделением увеличивается в нем и разнообразие культурных слоев, типов. Люди становятся менее похожи друг на друга по мере того, как делаются неравноправнее. Воспроизвести процесс этого нравственного разделения гораздо труднее, чем разделения политического. С половины века выступают рядом образчики типов разнохарактерного и разновременного происхождения. Чем далее, тем классификация их становится труднее» [190]. Среди этих культурных типов Ключевский особенно выделяет один — «это русский человек, который вырос в убеждении, что он родился не европейцем, но обязан стать им. . . Около него сосредоточиваются, иногда от него исходят самые важные умственные, а подчас и политические движения» [191].

---

[189] В. Г. Белинский. Литературные мечтания. Полн. собр. соч., т. 1. М., 1953, стр. 47.

[190] В. О. Ключевский. Речь, произнесенная в Торжественном собрании Московского университета. . . в день открытия памятника Пушкину. «Очерки и речи», стр. 59—60. См. у него же: «Русский просвещенный человек того века. . . был очень сложным умственным и нравственным составом, в который входили разные культурные элементы, притом в разнообразных сочетаниях» («И. Н. Болтин». Там же, стр. 171). В другой своей работе В. О. Ключевский характеризует общество этой поры как такое, «где встречались носители всех перебывавших в России миросозерцаний от *Голубиной книги* до *Системы природы* Гольбаха и где на одном и том же пиру за менуэтом иногда следовал доморощенный трепак» («Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени». Там же, стр. 259). См. еще у Горького в набросках плана к разделу о литературе второй половины XVIII в. в его материалах по истории русской литературы замечание о «психической физиономии слагавшихся в ту пору общественных групп» (М. Горький. История русской литературы. М., 1939, стр. 6).

[191] В. О. Ключевский. Речь, произнесенная в Торжественном собрании Московского университета. . ., стр. 60.

Именно в этой среде дворянской и отчасти разночинной, условно говоря, интеллигенции обнаружилось тяготение к более «культурным» и литературно-нормализованным формам устного бытового общения.

Тредьяковский еще в 30—40-е годы попытался разграничить хорошее и плохое употребление, объявляя образцовой не всякую разговорную речь, а язык «изрядной компании», речь, которой пользовался двор, «в слове учтивейший и великолепнейший богатством и сиянием», речевую практику «знатнейшего и искуснейшего благородных сословия» [192]. Это была лишь не опирающаяся на живые языковые отношения попытка приспособить к русской действительности теории западноевропейских законодателей языка, в первую очередь французского теоретика Вожла [193]. Но во второй половине XVIII в. тенденция к речевому расслоению в обществе принимала все более очевидные формы. Засвидетельствованные в произведениях низкого стиля различия в речи персонажей, принадлежащих к разным социальным и культурным слоям, как уже говорилось, выше, — не только чисто жанровая условность, но отчасти — и отражение реальных отличий в разговорной речи. «Вторая половина XVIII в. в истории русской литературной речи проходит под знаком борьбы с диалектическими, вульгарными элементами. В эту эпоху происходит в разных направлениях и у разных поколений, у разных типов речи по разным принципам процесс чистки разговорного языка образованных классов общества. Разговорный язык приспособляется к светскому обиходу столицы» [194]. Это нашло свое выражение, в частности, в углублении различий между теми двумя типами устной речи, о которых говорилось выше. Невозможность пользоваться в светском обиходе, в серьезной беседе средствами, типичными для фамильярно-бытового просторечия, его несоответствие вкусам и культурным навыкам образованной, европеизирующейся верхушки дворянского общества стали ощущаться очень остро. «Между. . . ,,домашней'', фамильярной функцией [разговорного языка] и общественно-светской устанавливаются резкие грани» [195]. Но по существу это означало обращение — вне этой «домашней» сферы — к языку книжному или сглаженно-нейтральному, языку того типа, который отражен в речи положительных персонажей из образованных классов в комедии или ро-

---

[192] В. К. Тредьяковский. О чистоте российского языка. (Речь в СПб. имп. Академии наук, 1735). — См.: С. П. Обнорский и С. Г. Баркударов. Хрестоматия по истории русского языка, ч. II, вып. 2. М., 1948, стр. 161.

[193] См.: Б. В. Томашевский. Стилистика и стихосложение. Л., 1959, стр. 31—33, 44.

[194] В. В. Виноградов. О слове «ахинея» в русском литературном языке. «Русская речь». Новая серия, III. Л., 1928, стр. 43—44.

[195] Там же, стр. 44; см. также: «Очерки. . .», стр. 128—129.

мане. Очевидно, что дальнейшая эволюция разговорного языка должна была развиваться в направлении поисков таких форм выражения, которые были бы свободны от крайностей бытовой речи, ее «простонародности», и, одновременно, сохраняли бы — и в лексике, и в синтаксисе — приметы разговорности. Этот процесс захватывал разные социальные и культурные группы в разной степени, способствуя все более глубокой речевой дифференциации общества. Различна степень органичности этих поисков у разных лиц, разных «культурных типов» этого времени. Частная переписка, мемуарная, а отчасти и художественная литература демонстрируют иногда очень причудливую, неорганическую смесь книжного языка, западноевропейских заимствований разного типа, слов и выражений светского обихода и непреодоленной простонародной речи с ее вульгаризмами. Образцом такого рода языка могут служить неоднократно упоминавшиеся выше записки А. Болотова. Но бесспорно, что уже в 70—80-е годы XVIII в. в кругу европейски образованных и «обладающих вкусом» людей — этот круг был очень еще узок и ограничен — формируются некоторые признаки и черты национального литературно-разговорного языка, в той или иной мере отграниченного и от архаически-книжной, и от простонародной стихий. Например, письма Фонвизина из Франции могут служить в этом отношении важным свидетельством, демонстрируя одновременно и сложность этого процесса [196]. Наличие такой, пусть малочисленной еще, дворянской интеллигенции, тяготеющей к литературно-нормированным формам устного общения (по-видимому, первоначально только в светском обиходе; в сфере фамильярно-бытовой просторечная струя была, естественно, более устойчивой), явилось базой для тех преобразований в области литературного языка, которые характеризуют самый конец века и связываются с именем Карамзина.

§ 24. Процессы, связанные с попытками нормализации разговорной речи, знаменовали развитие самой системы литературного языка — и не только в сфере устной речи, где эти процессы отразились непосредственно.

---

[196] Вот, приблизительно, круг просторечной лексики и фразеологии в письмах Фонвизина: *самодуром* (наречие), *збалмошный*, *поплестись*, *шпынять*, *таращиться*, *скотиноват*, *ротозея*, *зазеваться*, *отымалка*, *всклепать*, *присоседиться*, *бренчать* (на клавикордах), *бестолковица*, *цидуля*, *шататься*, *скаредный* (и *скаред*, *скаредство*; впрочем, возможно, что это было слово стилистически нейтральное: в Словаре АР оно не снабжено какой-либо пометой); *убраться* (откуда-нибудь), *шильник* (см. еще в «Друге честных людей» фамилию *Шильников* в ряду таких, как *Взяткин*, *Криводушин*, *Плутягин*, *Неспускалов*, *Воров*, *Простофилин* и др.); *плешак*, *помирать со смеху*, [так] *что треснуть надобно*, *ни уха ни рыла*, *врать что на ум ни набрело* и некоторые другие. Легко увидеть, что подавляющее большинство этих слов и в дальнейшем сохранилось в разговорной речи, отчасти закрепившись в литературном языке, отчасти оставшись на его периферии.

Развитие и широкая экспансия «славяно-русского языка», в значительной степени, как мы видели, снявшего противоположность высокого и среднего стилей, поставили на очередь проблему формирования противопоставленного ему простого стиля литературного языка. Выражение «простой стиль» в XVIII в. употреблялось как синоним термина «низкий стиль», но в настоящем очерке эти наименования различаются в целях разграничения явлений, для одного из которых в научной литературе нет терминологического обозначения. Простой стиль литературного языка, в том смысле, какой придается ему в данной работе, соотносителен с тем тяготеющим к литературной нормализованности разговорным языком, о котором говорилось выше, и взаимодействует с ним. Необходимо поэтому отличать его от собственно низкого стиля, который все более замыкался в рамках художественной литературы определенного типа. Простой стиль можно было бы назвать традиционно «средним», если бы стилистические отношения в последние десятилетия XVIII в. сохраняли жанрово-стилевую дифференциацию, свойственную системе трех стилей. Безусловно, что по своему материалу простой стиль, действительно, ближе всего к тому, что называют «средним стилем». Однако от среднего стиля его отличает бóльшая связь с живой речью, с разговорным употреблением. Было бы затруднительным дать более или менее отчетливую характеристику этой разновидности литературного языка, но можно говорить о направлении и тенденциях ее развития.

Простой стиль противопоставлен книжному языку. Он находит выражение в той литературе, художественной и нехудожественной, которая не связана ни с высокой поэзий, ни с областью науки, теории [197]. Простым стилем написаны многие романы второй половины XVIII в. Одно из наиболее очевидных проявлений этой развивающейся разновидности литературного языка — сатирическая журналистика. Надо только оговориться, что это относится не к помещенным в сатирических журналах произведениям типа «Писем к Фалалею»: это традиционный низкий стиль, просторечие и простонародная лексика здесь выполняют те же характерологические функции, что и в других произведениях низкого стиля. Степень насыщенности произведения этим языковым материалом является хотя и существенным, но не решающим при-

[197] Но стремление к более простым, близким к разговорному языку формам выражения могло захватывать отчасти и эту литературу, тяготевшую к книжному, «славяно-русскому языку»; можно привести в этой связи, например, следующие слова автора «Душеньки» И. Богдановича из предисловия к его труду «Историческое изображение России» (1777 г.): «Что надлежит до слога в моей книге, то хотя я стараюсь дать ему древнего нашего языка важность, свойственную лицам и вещам, представляющимся в Российской Истории, но не вовсе убегаю употребления слов нынешних: ибо, почитая высокое славяно-россиийское витийство умерших, не ставлю за маловажное соглашаться с простонаречием живых людей» (Соч., т. II, стр. 154).

знаком. Стремление к литературно-нормированной речи должно было усилить характерологические функции просторечия и простонародных слов и, казалось бы, способствовать употребительности их в низком стиле. Но та же тенденция к нормированности обостряла отрицательное отношение к этого рода лексике как несоответствующей «образованному вкусу». Поэтому вместе с процессом «олитературивания» разговорной речи практически ослаблялась просторечная и простонародная струя и в низком слоге. Но это не имеет принципиального значения. Главное — что здесь сохраняется чисто художественное, характерологическое назначение элементов народной речи. Признаком формирования новой стилистической категории литературного языка является стремление освободить употребление разговорной лексики — той ее части, которая приемлема не только в бытовом, но и в светском, «культурном» обиходе, — от каких бы то ни было эстетических, художественных задач или ограничить эти задачи колоритом разговорности, но не простонародности. Таким образом, и в «простом стиле», как и в книжном языке, особую роль играет ф у н к ц и я языкового материала (хотя самый этот материал может быть еще очень неустойчив). Простой стиль находит свое выражение там, где появляется потребность в простом, но не подчеркнуто просторечном или простонародном описании, там, где есть необходимость — в рамках литературного языка — преодолеть книжность или бесцветную нейтральность текста. Так, при помощи простого стиля переводчики пытаются передать — обычно неудачно, впадая иногда в архаическую книжность, или, напротив, простонародность, — непринужденно-разговорный слог некоторых произведений Вольтера; см., например, перевод «Повести о Велизарии» и др.[198]

Ярким образцом этих стилистических тенденций — и в лексике, и, особенно, в синтаксисе — может служить проза Крылова: его «Почта духов», «Ночи», «Мысли философа по моде» и др. См., например, характер употребления здесь слов *барахтаться*, *беситься* (и *взбеситься*), *бешеный*, *болтать*, *бранчивый*, *бредни*, *бухнуть*, *верченый* (*верченая щеголиха* — «Ночи», II), *вздорный*, *втираться*, *вцепляться*, *выдраться*, *вытаращить*, *денежки*, *жеманиться*, *женишок*, *загладить* (например: «загладить свою скуку каким-нибудь веселым препровождением времени» — «Почта духов», IX), *зазеваться*, *зевать* (над чем-нибудь), *клеиться* («этот торг начинает у нее плохо клеиться» — «Ночи»), *коверкать*, *коверкаться*, *коверканье*, *краснобай* («Между тем г. Припрыжкин кончил торг с сидельцем моего краснобая» — «Почта духов», XVII; в Словаре АР *краснобай* имеет помету «простонародное»),

---

[198] См.: В о л ь т е р. Полное собрание всех доныне переводимых на российский язык . . . сочинений (собранное И. Рахманиновым), Изд. 2. Козлов, 1791.

кривляться, *ябеднические крючки*, *ладить*, *ломаться*, *малый* (существительное), *миллионщик*, *набредить*, *навязываться на шею*, *невежа*, *невесть что*, *обрыскать*, *оглушить*, *околесить*, *околеть с голоду*, *остолбенеть*, *отбрыниваться*, *отвязаться* («ничего нет легче в здешних маскарадах, как дочке отвязаться от матушки, которая часто сама только того и метит, чтоб увернуться от дочки»; см. здесь же *метит увернуться*), *плутни*, *подлипала*, *подцепить* («графиня купила ток, кокетка подцепила покоевый чепчик» — «Почта духов», XIV), *подслужиться*, *потеть* и *попотеть* («ты уже довольно потрудился и попотел» — Там же, XXI; «потеет над продажными похвалами» — «Ночи»), *проболтаться*, *пустословь*, *расквасить нос*, *тароватый* и др.[199]

Простой стиль, следовательно, формируется как стилистическая разновидность, противопоставленная книжному, «славянорусскому» языку в пределах литературной нормы. Его развитие непосредственно связано с изменениями, которые происходили в разговорной речи образованных классов общества, ее «олитературиванием». В то же время простой стиль выступал как один из факторов, способствующих этим процессам.

§ 25. Те процессы, о которых выше говорилось, должны были найти отражение в изменениях стилистической характеристики бытующей в живой речи народно-разговорной лексики. Дифференциация в кругу говорящих должна была сопровождаться и дифференциацией самих языковых средств: какие-то элементы разговорной речи оказывались более приемлемыми, чем другие. Составители Словаря Академии Российской, например, в приложенном ко второму тому Словаря «Кратком начертании трудов имп. Российской Академии» уже прямо говорят о необходимости «отделять слова, в сообществе благородных людей слышанные, от слов, между простонародием токмо употребительных»[200]. В связи с этим и производится в Словаре АР разграничение просторечия и простонародной лексики. Но именно этот материал с особой очевидностью демонстрирует неустойчивость и неупорядоченность употребления этого рода лексики в рассматриваемое время. Было бы, например, естественно предполагать, что как «просторечные» окажутся отмеченными в основном те слова, которые впоследствии закрепились в литературном употреблении, а как «простонародные» — те, которые остались за его пределами. Между тем, это не так. В упоминавшемся уже исследовании Ю. С. Сорокина[201] внутри просторечной и простонародной лексики вы-

---

[199] См.: Е. Ф. Петрищева. Лексика и фразеология сатирической прозы И. А. Крылова. (Канд. дисс., рукопись). Л., 1952.

[200] Словарь АР, ч. II, стр. VI.

[201] Ю. С. Сорокин. Разговорная и народная речь в Словаре Академии Российской. — Наличие этого тщательного исследования делает ненужным в настоящей работе анализ разных групп зафиксированной в Словаре АР просторечной и простонародной лексики.

деляются группы слов в зависимости от их дальнейшей судьбы — и все такие группы повторяются дважды: для просторечия и для простонародных слов. В обоих случаях выделяются слова, которые уже вскоре «прочно вошли в литературный оборот, потеряли свою специфическую окраску». Таковы среди просторечия: *быт*, *вполне*, *дельно*, *жадный*, *жара* (вместо нейтрального *жар*), *заносчивый*, *лакомый*, *молодиться*, *огласка*, *плутать*, *тотчас*, *удача*, *чопорный* и др. — всего выделено 25 таких слов, которые, впрочем, не исчерпывают всего списка, см., например, *богач* и некоторые другие (стр. 101—102); среди слов, помеченных как простонародные: *барахтаться*, *белобрысый*, *взбалмошный*, *впервые*, *вычуры*, *ерошить*, *жеманный*, *задушевный*, *затея*, *ластиться*, *лачуга*, *малютка*, *пачкать*, *рухнуть*, *тормошить*, *юркнуть*, *этот* (ср. *сей*) и др. — всего названо 43 слова (стр. 130—132). В обоих случаях выделяются слова, которые также вошли впоследствии в литературный язык, но сохраняют при этом «характер известной разговорной непринужденности», «составляют основу . . . бытовых, простых и непринужденных стилей выражения» в литературном языке. Таковы в просторечии: *бочениться (подбочениться, избочениться)*, *бурчать*, *вздор*, *коверкать*, *ковырять*, *неженка*, *недотрога*, *попусту*, *понукать*, *ребячиться*, *тараторить*, *тупица* и др. — всего приводится 30 слов (стр. 103—104); в простонародной лексике: *ахинея*, *балагурить*, *белоручка*, *ветрогон*, *дрязги*, *дребедень*, *зариться*, *зубоскал*, *кляузы*, *корпеть*, *приструнить*, *соня*, *такать* и др. — всего 31 слово (стр. 132). Далее, и в просторечии и в простонародном слое выделяются слова, и в дальнейшем сохранившие свой нелитературный (или «окололитературный») колорит. Таковы: *бурда*, *головорез*, *жрать*, *издохнуть*, *околеть*, *пройдоха*, *пустомеля*, *рехнуться*, *хват*, *шашни* и др. — в просторечии всего выделено 34 таких слова (стр. 105—107); в лексике, помеченной как простонародная, как слова с аналогичной судьбой отмечены: *авось*, *валандаться*, *втюрить*, *вякать*, *дрыхнуть*, *канючить*, *маячить*, *наяривать*, *хапать*, *шушера* и т. д. — всего 26 слов (стр. 134—135). Наконец, в обеих группах названы слова, которые в дальнейшем вообще перестали употребляться. Сюда отнесено 32 слова, помеченных в Словаре АР как просторечные, например *брязги*, *вараксать*, *вдругорядь*, *насуслиться*, *ономедни*, *ономнясь*, *очестливый*, *сбить*, *шильничать* и др. (стр. 108—112), и 46 слов, имеющих помету «простонародное», например *бахарь*, *балабон*, *булдырь*, *врютить*, *голомя* («давно»), *зобать*, *колты*, *лабзиться*, *наян* и *наянливый*, *мазать*, *щечить* и др. (стр. 136—142). Автор при этом оговаривается, что названными 46 словами этот последний список не ограничивается; следовательно, среди слов, охарактеризованных как простонародные, действительно, больше вышедших из употребления, чем среди тех, которые определены как просторечные; но, как видно из приведенного материала, в большинстве случаев деление слов

на просторечные и простонародные не указывает на различную судьбу слов.

О неустойчивости и нечеткости границ между просторечием и простонародными словами свидетельствуют и различия в пометах, которыми снабжены слова в Словаре АР и «Аналогических таблицах». Обычно в таких случаях Словарь оказывается более разборчивым: некоторые слова, которые в «Аналогических таблицах» характеризуются как просторечные, в Словаре объявляются простонародными. Таковы, например, *блажь*, *бородач*, *бедокур*, *вякаю*, *глазеть*, *гольтепа*, *горемыка*, *дрыхну*, *забубённый* и некоторые другие; слова *лытаю*, *мастерю*, *пузо*, *богач*, *щечусь* и некоторые другие в «Аналогических таблицах» вообще не снабжены стилистическими пометами, а в Словаре они характеризуются как просторечные (*богач*, *мастерю*) или как простонародные. Встречаются — реже — и обратные случаи; так, *шмякаю*, *недотыка*, *неуч* в Словаре даны без всяких помет, хотя в «Аналогических таблицах» они квалифицируются как просторечные (*шмякаю*) или простонародные (*недотыка*, *неуч*). Надо еще заметить, что самый состав разговорной лексики совпадает в Словаре и «Аналогических таблицах» не полностью. Но если отсутствие в «Аналогических таблицах» слова, включенного в Словарь, может объясняться случайностью, недосмотром, неполнотой материалов, то обратные случаи — результат сознательного отбора: ведь «Аналогические таблицы» служили для составителей Словаря предварительным словником. В Словаре не помещены зафиксированные в «Аналогических таблицах» и помеченные там в подавляющем большинстве случаев как просторечные или простонародные слова: *абалдуй*, *бабенка*, *бабик*, *блудень*, *болесть*, *бухвощенье*, *врюченье*, *вяка*, *драпаю*, *забиячу* (в Словаре *забияка* и *забиячество*), *забобониваю* (в Словаре — *забобоны*, *забобонщина*), *корячусь*, *каверзю* (в Словаре только *каверза* и *каверзничаю*) *зюзя*, *кудачу*, *лафа*, *лизоблюд*, *маракую*, *мастак*, *мастачу*, *махонький*, *мозгую*, *молодушка*, *мямлю*, *на карачках*, *налопываюсь*, *наотмашь*, *нахлупываю*, *оземь* (т. е. «об землю»), *ошурки*, *подлиза*, *потаскуха* (в Словаре есть *потаскушка*, которое толкуется как «человек, который без разбору часто в низких непристойных местах бывает»), *промашка*, *терпеж*, *тетюй*, *толстосум*, *убироха*, *хабарю* (в Словаре есть только *хабар*), *хапун* (объясняется как «побродяга») и некоторые другие; в глаголе *тешу* приводится значение, которое не отмечено в Словаре: «прямо без разбора иду». Из фразеологии, зафиксированной в «Аналогических таблицах» и не вошедшей в Словарь, отметим выражения *гачи распустить*, которое объясняется как «неопрятну быть» с пометой «просторечие» (в Словаре есть *гачи*, простонародное: «концы у порток»; приводится как иллюстрация и *распустить гачи*, но как свободное сочетание); *завтраками кормить* — в Словаре в этом значении — «волочить дело, откладывая всегда до завтра» — есть *проводить завтраками*.

Вряд ли можно утверждать, что в Словарь оказались не включенными только слова, наиболее далекие от живого употребления и реже других встречающиеся в литературе. Почти все перечисленные слова встречаются в низком стиле не реже, чем многие разговорные, зафиксированные в Словаре; многие из них и впоследствии были широко употребительны в просторечии, а некоторые проникли и в литературный язык [202].

Определенный субъективизм составителей Словаря АР в разграничении разговорной лексики на просторечную и простонародную, а также и в самом отборе этой лексики отчетливо обнаруживается при анализе текстов, непосредственно отражающих разговорную речь. Так, в приведенном выше очень неполном списке слов, извлеченных из записок Болотова, многие помечены в Словаре как простонародные, — следовательно, по мнению составителей, «между простонародием токмо употребительные»; таковы, например, *колты*, *барабошу*, *гребусь*, *турю* (см. *протурю* и др.), *тазаю*, *тузю*, *валандаюсь*; *бренчу* дано в Словаре без помет, но еще Сумароков утверждал, что это слово «самое подлое»; многих слов, употребляемых Болотовым, вообще нет в Словаре, например *оборкаюсь*, *суторма*, *шишляю*, *хорохорюсь*, *ахреян*, *прикро*, *впрах*, *сигаю*, *транжирю* и некоторых других. Нет в Словаре слова *фалалей* (но есть *фаля*: «непроворный, бестолковый», с примером *эдакой фаля* и пометой «простонародное»); не приводится в Словаре и глагол *галюсь*, который несколько раз встречается у Болотова; это слово употреблено в комедии Лукина «Щепетильник», в нарочито «простонародном» диалоге недавно приехавших в город из Галича работников. Не зафиксированы в Словаре отмеченные выше у Болотова значения глаголов *ухнуть* (*деньги ухнут*; ср. в Словаре: *ухнуть* — «изъявить состояние свое междометием *ух*»), *черкануть* («черканул за реку»; ср. в Словаре: *черкаю* — «пишу размашисто и скоро»; в литературе встречается еще *черкаться* в значении «чертыхаться, поминать черта», например в комедии Плавильщикова «Бобыль»).

Можно было бы привести множество и других примеров расхождения оценок составителей Словаря с реальным словоупотреблением. Так, например, в Словаре совсем нет просторечного *подтибрить*, которое, судя по литературе, имело в бытовом просторечии довольно широкое распространение: оно встречается даже у Радищева в «Путешествии. . .», в контексте совсем не просторечном, в авторских словах, обращенных к читателю: «Не обличи меня, любезный читатель в моем воровстве; с таким условием я и тебе сообщу, что я *подтибрил*» («Подберезье»). См. позднее у Гоголя в «Вие» («Богослов уже успел *подтибрить* с воза целого карася») и в «Мертвых душах» — в разговоре Плюшкина с Маврой («по глазам вижу, что *подтибрила*», ч. 1, гл. VI).

---

[202] Часть этих слов была включена во 2-е издание Словаря АР.

На оценках разговорных слов лежит печать субъективизма, случайности; они далеко не всегда подтверждаются реальными фактами.

Выше приводились, например, слова Николева из его предисловия к драме «Розана и Любим». Но любопытно, что из четырех названных Николевым слов, отмеченных, как ему кажется, крайней степенью просторечности, *холуй* и *взъерепенить* (обычно — *взъерепениться*) стали широко употребительными словами, а *взбутетенить*, судя по свидетельству Гоголя, было известно в чиновничьем арго (см. в «Мертвых душах»: «пойдут переборки, распеканья, *взбутетениванья*» [ч. 1, гл. IX]). Заметим также, что признавая «отвратительными» перечисленные выше слова, Николев разрешает своим героям говорить *анамнясь*, *нишни (нишкни)*, *эк-те блохи-та кусают*, *эк дуванют в рога-то*, *баишь*, *подтибрил*, *так те отдубасят*, *с похмелюги*, *в загулке*, *евоси и старый хрыч критащился*, *спроворил*, частые *тововано* — из соединения *тово* (того) и *воно* (оно) [203].

Неустойчивость стилистической характеристики слов отразилась и на шаткости норм того простого стиля, о котором выше говорилось. Очевидно, вообще здесь трудно говорить о каких-либо нормах; осторожнее было бы ограничиться указанием на тенденции развития этой разновидности литературного языка, нарушаемые то пуристической робостью по отношению к разговорным элементам языка, то влиянием непреодоленной простонародности речи.

Можно было бы привести большое количество примеров из самой разнообразной литературы (например, из произведений Фонвизина, «Дневных записок» И. Лепехина, многочисленных романов этого времени и т. д.), иллюстрирующих эту неустойчивость норм простого стиля. Любопытный материал такого рода представляют критические заметки Болотова — его «Мысли о романах» [204].

Здесь нет той нарочитой просторечности и шутливости тона, которыми отличаются многие места в его «Записках»; само содержание и назначение этих заметок не оправдывало бы этого тона. В то же время, оценивая прочитанные романы, Болотов не всегда удерживается в рамках «средней» литературной нормы: «инде был г. сочинитель слишком уж многоглаголив, вдавался в нравоучения скупые, бестолковые, поплетенные некстати»; «глупое и пустое каляканье»; «восхотелось ему пошпынять хорошенько над законами»; «ни к селу, ни к городу и ни малехонько некстати»; «сделал героев повести своей сущими авантуриерами и проходимцами сквозь огнь и воду» (см. также *прошлец*); «глупая и вздорная

---

[203] См. об этом слове в упоминавшейся статье П. Н. Беркова «О языке русской комедии XVIII в.», стр. 44.

[204] См. «Литературное наследство», т. 9—10, стр. 194—218.

галиматья»; «врать и завираться»; «завирания и пустозвяки»; «раздабарывания»; «таскался всюду»; «слог . . . изгажен многими излишностями и посторонностями»; «сатиры его . . . довольно едки и куражисты»; «слюбился он с одною немкою . . . и волочился с нею по всей Польше»; «свинчена уже слишком на шурупах» (о приписке, обращенной одним из авторов к княгине Трубецкой); «на безлюдье и сидни в честь бывают», постоянные у Болотова *власно как* и др.; см. еще любопытное в стилистическом отношении «пролагавшим, так сказать, новую стезю и тропу» (переносно, о писателях-новаторах).

Очень характерны как признание трудностей, стоящих перед авторами при обращении к простому литературному стилю, замечания переводчика «Неистового Роланда» Ариосто (переведен прозой; СПб., 1791). «Сочинения, писанные простым и красноречивым слогом, весьма трудно хорошо перевесть», — пишет переводчик. Трудность эта, как видно из дальнейшего рассуждения, заключается в необходимости одновременно сохранить и простоту выражения и «благопристойность». Переводчик старался, по его признанию, «следовать разнообразному слогу» Ариосто, однако «кроме тех мест, где оный не совсем бы приятен был ушам нашим». «Все, что низко, нам не нравится», — замечает он; поэтому он позволил себе нарушить точность перевода там, где «Ариост, следуя веселому своему нраву, часто употребляет такие слова, которые показались бы нам слишком простыми»; он также «убавил силу вольности в тех словах, кои бы нынешнего света людям и того менее понравились, если б слово до слова они переведены были; благопристойность любящие особы не могли бы их читать». «Благопристойность в словах», которая «введена в наш язык во время возрождения наук» и «с того времени . . . беспрестанно сохранялась, а теперь утверждается более и более», — предмет особых забот переводчика: свой перевод он считает более «благопристойным», чем перевод Ариосто на французский язык, где сохранена «низкость слога». В то же время переводчик и против того, чтобы эту осторожность по отношению к разговорному языку «слишком далеко простирать». Он сетует, что «мы говорим с такою осторожностью, что речь наша нередко бывает принужденна, и она бы совсем сделалась маловажною, если б мы слушали некоторых особ». Выход из этого противоречия переводчик видит в том, чтобы употреблять «обороты и выражения честных людей» — т. е. людей образованных, представителей хорошего общества. При той ненормированности речи «честных людей», которая была в это время, — это была задача трудная.

Естественно, переводчик считает, что «мысли важные, благородные, великие, даже и высокие удобнее изобразить, нежели простые». Действительно, книжный архаический язык открывал широкий простор для всякого рода высокой, торжественной риторики, все средства такого рода лежат, так сказать, на поверх-

ности. Чтобы писать просто, но не низко, — нужно было пролагать новые пути [205].

§ 26. Говоря об особенностях разговорной речи и ее отражении в литературе, надо коснуться также и вопроса о месте в ней иноязычной лексики. Получивший особенно широкое развитие с петровского времени процесс культурного и литературного сближения с западом отразился не только в книжном языке, но и в разговорной речи. Впрочем, иноязычные заимствования разговорной речи по характеру своему ближе не к книжному языку с его научной и философской терминологией, а к приказному слогу. Вот, например, несколько отрывков из писем М. Л. Воронцова к И. И. Шувалову, написанных в 50-е и 60-е годы XVIII в. [206]: «к высочайшей ее величества *апробации*»; «будет вечным *монументом* ее щедроты»; «*акордовать* мне свою великую милость»; «быть *гарантом* бескорыстных моих *сентиментов*»; «изображенные в вашем письме *сентименты* вашего правосудия и честности»; «без всякой *парцияльности*»; «в дружеской *конфиденции*»; «*персонально* (т. е. лично.— *В. Л.*) вас уверить о моем искреннем высоком почитании»; «вы, как старожил парижской, многим *ресурсом* находитесь русским *вояжирам*» и т. д. Насыщены такого рода иностранными словами «Записки» Семена Порошина [207]. Болотов постоянно употребляет слова *ордер*, *ордировать* («приказывать»), *акредитоваться*, «*прошпективический* вид», «*формальный* выезд на охоту» (т. е. «по всей форме»), *авантуриер* и мн. др. Злоупотребление иностранными словами высмеивалось в сатирической литературе как принадлежность речи щеголей и щеголих [208]. Но, как известно, слова эти имели в обществе очень широкое хождение, и совсем не только у петиметров. Фонвизин, в «Бригадире» зло высмеявший галломанов, сам употребляет в своих письмах огромное количество иностранных слов. Вот некоторые из них: *фавер*, *негоциация*, *визитация*, *апробовать*, *революция*, *афишировать*, *пароксизм*, *ридикюль*, *импозировать*, *интегральный*, *дубль*, *инвитация*, *артифициальный*, *репродукция*, *индижестия*, *репрезентация*, *эстимать*, *кредитив*, *дефиниция*, *апелляция*, *коллация*, *конверсация*, *претект*, *постскрипт*, *градус*, *кредит* (в переносном смысле), *агремент*, *офрировать*, *аттенция*, *вояжер*, *оберж*, *ресурс*, *авантажный* и др. под. Легко заметить, что большинство этих слов не закрепилось в русском языке, некоторые были позднее снова усвоены, уже в других значениях. Судьба этой лексики связана не с историей книжно-литературного языка, а с теми процессами в области разговорного языка общества, о которых выше говорилось, и отчасти с изменениями в официальном, канцелярском слоге. Но подробное рассмотрение вопроса о судьбе иноязычной лексики этого типа не входит в задачу настоящей работы [209].

---

[205] Надо заметить, что сам переводчик сравнительно успешно справился со своей задачей, поскольку это касалось «славенского» слоя и простонародной лексики. Карамзин в своей рецензии на этот перевод («Московский журнал», ч. II, кн. 3) нашел его язык «довольно чистым» и «не надутым славянщиной» (см. ниже, стр. 202), отметив только некоторые «приказные» выражения (*вследствие чего*, *дабы*) и шероховатости слога. В то же время переводчику совсем не удалось передать свойственную поэме Ариосто разговорность и естественность интонации — и это типично и характерно.

[206] «Русский архив», 1864, стр. 344.

[207] См.: В. В. Виноградов. Очерки. . ., стр. 150—151.

[208] См. замечание П. Бицилли по поводу известных слов Тредиаковского о том, что «мерой чистоты» русского языка не может быть ни язык «щегольков, ниже и грубый деревенский»: «В сущности, оба эти . . . языка были одним и тем же языком: «щегольской» отличался от «деревенского» только примесью „варваризмов“» (П. Бицилли. Указ. соч., стр. 6).

[209] Большой материал о галлицизмах в языке второй половины XVIII в. представлен в «Очерках. . .» В. В. Виноградова.

Таким образом, для простого стиля, как и для книжного языка, стояла проблема отбора, проблема дальнейшего отграничения лексики литературной от нелитературной. Особая сложность этой задачи заключалась в ее зависимости от состояния самого разговорного, «общественного» языка. Очищение разговорной речи от простонародности и закрепление в литературном языке элементов этой разговорной речи — две стороны одного и того же процесса. И дело здесь не только в том, что какие-то слова, выражения, конструкции из разговорного языка закрепляются в письменной литературе на правах вполне «нормальных» средств литературного языка, но и в том, чтобы сама разговорная речь рассматривалась с точки зрения норм литературности. Но эта задача, имеющая не только собственно литературное, но и общекультурное значение, не была решена в этот период; она была только поставлена. Ее решение осуществилось на следующих этапах развития русского общества, русской литературы и русского литературного языка.

Стилистические изменения в лексике литературного языка конца XVIII в.
(«Карамзинский» период)

Теоретические основы «нового слога»

§ 27. Обнаружившиеся уже в середине второй половины XVIII в. процессы получили в 90-е годы такое мощное развитие и своеобразие, что последнее десятилетие XVIII в. закономерно рассматривается как начало нового периода в истории русского литературного языка. В задачи настоящего очерка не входит рассмотрение вопроса о том, насколько справедливо наименование этого нового периода «карамзинским», и вообще анализ места и роли Карамзина в формировании «нового слога». По всей вероятности, одинаково ошибочны и страдают односторонностью как оценка новых явлений в истории языка этого времени чуть ли не как следствия единоличной деятельности Карамзина, так и попытки отказать Карамзину в каком-либо влиянии на судьбы литературного языка [1]. Бесспорно, что Карамзин имел предшественников; среди них надо назвать и Фонвизина, и Новикова, и группирующихся вокруг Новикова переводчиков, особенно А. А. Петрова, и многих профессоров Московского Университета [2]. В то же время мы не знаем другого писателя, у которого новые

---

[1] См. критический разбор обеих крайних точек зрения в книге В. В. Виноградова «Проблема авторства и теория стилей», стр. 221 и сл.

[2] Среди лиц, язык которых уже в то время отличался чистотой слога, надо назвать М. М. Сперанского; написанный им в 1792 г. курс «Правил высшего красноречия» поражает близостью к языку Карамзина и его «школы». Издатель этой книги (впервые опубликована в 1844 г.) писал в своем предисловии, что «едва ли этот автор не был *первый* и между всеми нашими литературными знаменитостями, трудившимися над положением краеугольного камня зданию *нового* русского слова» (М. Сперанский. Правила высшего красноречия. СПб., 1844, стр. III).

устремления в области литературного языка нашли бы такое законченное выражение, приняли бы характер такой стройной системы, как в произведениях Карамзина.

Во всяком случае, как бы ни оценивать роль Карамзина в формировании новых норм литературного языка, нельзя не признать, что язык Карамзина представлялся современникам и ближайшим преемникам наиболее типичным и последовательным воплощением этих норм и тенденций (что связано отчасти с исключительной популярностью Карамзина как писателя). Уже это одно вполне оправдывает обращение прежде всего к языку Карамзина при рассмотрении истории русского литературного языка этого времени. Есть и еще одно обстоятельство, оправдывающее такое решение, — тот факт, что высказывания Карамзина составляют относительно законченную систему взглядов по вопросам литературного языка; и хотя изложение этих взглядов Карамзиным и «карамзинистами» относится преимущественно к началу XIX в., надо полагать, что они сложились в определенную систему уже в начале 90-х годов XVIII в. Можно согласиться с И. И. Дмитриевым, утверждавшим, что когда Карамзин «выступил на авторское поприще . . . обдуманная система уже предшествовала его почину» [3]. Об этом же говорил позднее Я. К. Грот в речи, посвященной памяти Карамзина: «Карамзин первый разрабатывал литературный язык с полным сознанием того, к чему стремился» [4]. Кроме высказываний самого Карамзина, особенного внимания заслуживает известный разбор «Рассуждения о старом и новом слоге» Шишкова, принадлежащий издателю «Московского Меркурия» П. Макарову [5]. Вместе с написанной семью годами позднее книгой Д. В. Дашкова «О легчайшем способе возражать на критики» (СПб., 1811) он представляет собой наиболее последовательное и блистательное отражение нападок «архаистов». Полемическая направленность этой статьи, потребность ответить на все основные обвинения Шишкова определили бóльшую систематичность и полноту изложения основных принципов «нового слога», чем это находим в выступлениях Карамзина; статья эта является подлинным манифестом «новой школы».

Взгляды Карамзина и карамзинистов проникнуты идеей исторического развития литературного языка, изменчивости его состава и норм. Даже выступая с речью в Российской Академии, деятельность которой отличалась необыкновенной консервативностью, и говоря о двух основных трудах Академии — Словаре и

---

[3] И. И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь, стр. 86.

[4] «Торжественное собрание имп. Академии наук 1 декабря 1866 года, в память столетней годовщины рождения Н. М. Карамзина». СПб., 1867, стр. 18.

[5] П. Макаров. Критика на книгу под названием «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. . .». — «Московский Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь.

Грамматике, Карамзин демонстративно подчеркивает, что книги эти «всегда богаты, так сказать, белыми листами для дополнения, для перемен необходимых по естественному, беспрестанному движению живого слова к дальнейшему совершенству, движению, которое пресекается только в языке мертвом» [6]. Наиболее полно, отчетливо и полемически остро выражена эта мысль в статье П. Макарова: «Язык следует всегда за науками, за художествами, за просвещением, за нравами, за обычаями»; «удержать язык в одном состоянии невозможно: такого чуда не бывало от начала света»; «придет время, когда и нынешний язык будет стар» (стр. 162—163); если книжный язык «не последует за переменами в обычаях, во нравах и понятиях, то весьма скоро сделается темным» (стр. 182).

Исторический подход определяет оценки слога писателей прошлого. Симеон Полоцкий «говорил и писал для современников, следственно не для нас», — замечает Карамзин [7]. Последователен в этом отношении в своих оценках и характеристиках П. А. Вяземский; развитие и совершенствование языка выражается, по его мнению, и в том, что многие, даже посредственные по своим дарованиям, современники пишут лучше своих более одаренных предшественников, например, Эмина или Княжнина [8]. «Должно ли винить писателей века Людовика XIV за то, что они не подражали писателям времен Франциска I или Генриха IV? Должно ли винить Феофана, Кантемира и Ломоносова, что они первые удалились от своих предшественников, которых сочинитель рассуждения о слоге предлагает нам теперь за образец?» — говорит Макаров (стр. 163). Здесь нельзя не обратить внимания на то, как умело использовал критик имена Феофана Прокоповича, Кантемира и Ломоносова, писателей, которых Шишков высоко ценил и ставил в образец [9], против самого Шишкова — «сочинителя рассуждения о слоге». Они представлены здесь как новаторы, которые «удалились от своих предшественников». Особенно важно отметить, как оценивается здесь место Ломоносова в истории литературного

---

[6] Н. М. Карамзин. Речь, произнесенная в Торжественном собрании имп. Российской Академии 5 декабря 1818 года. Соч., т. 3. СПб., 1848, стр. 643—644.

[7] Н. М. Карамзин. Пантеон российских авторов [1801]. Там же, т. 1, стр. 571.

[8] П. А. Вяземский. Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева [1823]. Полн. собр. соч., т. 1. СПб., 1878, стр. 125.

[9] В приложенном к «Рассуждению. . .» письме от вымышленного своего единомышленника Шишков приводит — как образцовые — и произведения названных писателей. В примечаниях к этому письму Шишков, например, пишет, что если в речах Феофана Прокоповича и архимандрита Платона «не будем мы находить достаточных к подражанию примеров красноречия, то я уже не знаю, какие нам образцы и примеры надобны» («Рассуждение. . .», стр. 397); он говорит о «прекрасных выражениях» у Кантемира (стр. 414). Что касается Ломоносова, то примеры из его сочинений рассыпаны по всей книге.

языка. Ломоносов для Макарова прежде всего реформатор, человек, который «отважился на образование нового языка». «Он собственным примером доказал обожателям древности, что *старинное* не всегда есть *лучшее*». Ломоносов, Сумароков и Тредьяковский — «сии три писателя («хотя весьма не равных достоинств», — замечает Макаров) сделали важную эпоху в нашей словесности. Дорога проложена: оставалось только следовать по ней, то есть очищать, обогащать язык по числу новых понятий» (стр. 160—161). В Ломоносове Макарова привлекает то, что отличает его от предшественников и связывает с новым, современным Макарову этапом в развитии языка. Само употребление слов «очищать язык», выражающих главное содержание деятельности новой, «карамзинской школы», в связи с оценкой деятельности Ломоносова — характерно и выразительно [10]. Такое именно понимание ломоносовской реформы характерно для «карамзинского» направления в целом. И. И. Дмитриев, например, видит главную заслугу Ломоносова в том, что он «очистил книжный язык от многих слов, обветшалых и неприятных для слуха, . . . и хотя советовал пользоваться чтением церковных книг, но сам начал писать чистым русским языком, понятным каждому». Дмитриев называет Ломоносова в числе тех писателей, кто хотел «приблизить книжный язык к употребляемому в обществах» [11]. Для Д. Дашкова основное содержание «Предисловия о пользе книг церковных в российском языке» заключается в «разделении» русского и «славянского» языков. [12] Ломоносовскую реформу «архаисты» и «новаторы» и позднее толковали в прямо противоположном смысле, зачисляя его — и те и другие — в свои союзники. Известна, например, полемика между Катениным и А. А. Бестужевым-Марлинским. Катенин призывает «не сбиваться с пути, проложенного Ломоносовым», главный смысл деятельности которого он видит в «приближении русского языка к славянскому» («Сын Отечества», 1822, кн. 76); Бестужев, напротив, видит главное дело Ломоносова в ограничении «славенской» стихии: «Где вы найдете у Ломоносова *бяше*, *зряше*, *посмевахуся*, *дондеже*, *сице* или что подобное?» — спрашивает он (Там же, кн. 77) [13].

Историзм при оценке деятельности Ломоносова давал возможность, признавая его выдающуюся роль в развитии литературы и

---

[10] См. еще замечание Греча, что если в сочинениях Ломоносова «останавливают нас слова, ныне неупотребительные или одичавшие, то не ему ли [Ломоносову] мы обязаны этим исправлением и утончением нашего вкуса» (Н. И. Греч. Чтения о русском языке, ч. 1, стр. 109).

[11] См.: И. И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь, стр. 84—85 (мемуары Дмитриева написаны в 20-е годы).

[12] Д. В. Дашков. О легчайшем способе возражать на критики, стр. 18—19.

[13] См. анализ отношения разных литературных школ к «историческому делу Ломоносова» в кн.: В. В. Виноградов. Язык Пушкина. М.—Л., 1935, гл. III.

языка, в то же время отказываться от самого языка Ломоносова как нормы; уже к концу века, говорит Макаров, «язык Ломоносова так же сделался недостаточным, как просвещение россиян при Елисавете было недостаточно для славного века Екатерины». «Из наших старинных писателей ни один не может служить примером, ни сам Ломоносов, для сочинения прозою». «Языком Ломоносова мы не можем и не должны говорить, хотя бы умели: вышедшие из употребления слова покажутся странными» [14].

Карамзин, называя Ломоносова «первым образователем нашего языка» и «отцом российского красноречия», в то же время утверждал, что «проза Ломоносова вообще не может служить для нас образцом; длинные периоды его утомительны, расположение слов не всегда сообразно с течением мыслей, не всегда приятно для слуха» [15]. Г. Каменев, вспоминая о своей встрече с Карамзиным, приводит его слова о том, что начиная свою творческую деятельность, он (Карамзин) «не мог сыскать ни одного из русских сочинителей, который бы был достоин подражания», не исключая и Ломоносова, язык которого он считает «несвойственным нашему веку» [16].

Из других высказываний такого же рода можно привести еще слова А. Ф. Воейкова из его статьи, направленной против архаиста Е. Станевича [17]: «Может быть, никто более меня не уважает ве-

---

[14] Явно имея в виду эти и подобные им высказывания Макарова, Шишков писал в своем «Рассуждении о красноречии священного писания» (1810): «Как можно самопроизвольные, без всякого рассмотрения и рассуждения перемены в языке называть установлением оного? Может ли стена быть тверда от беспрестанного вынимания из оной старых и вкладывания новых камней? Давно ли писали Ломоносов, Херасков? Уже находим в них множество обветшалых слов! Через десять лет состареются те, которые ныне почитаются новыми. Через десять других лет опять новое суждение о словесности, новая браковка словам. Это называется вкусом, установлением языка!» (Собр. соч. и переводов, ч. 4. СПб., 1825, стр. 75).

[15] Н. М. Карамзин. Пантеон российских авторов, стр. 591. Намного благосклоннее отзыв Карамзина об одах Ломоносова: «Оды его всегда будут драгоценностью российской музы», — говорит он, отмечая, впрочем, что и в них «есть, конечно, слабые места, излишности, падения». Нельзя не отметить сходства оценок Карамзина и Пушкина: «единообразные и стеснительные формы, в кои отливает он свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый», — писал Пушкин в 1834 г. в статье «Путешествие из Москвы в Петербург» (Полн. собр. соч., т. 11, стр. 249); в этой же статье Пушкин говорит и о недостатках од Ломоносова, считая, что они лишены «народности и оригинальности», имея в виду, очевидно, оды официальные, торжественные; но еще в 1825 г. Пушкин писал, что ломоносовские «подражания высокой поэзии священных книг останутся вечными памятниками русской словесности», по которым «долго еще должны мы будем изучаться стихотворному языку нашему». «Но странно жаловаться, — замечает далее Пушкин, — что светские люди не читают Ломоносова, и требовать, чтоб человек, умерший 70 лет тому назад, оставался и ныне любимцем публики» («О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова». Там же, стр. 33).

[16] См.: М. Погодин. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, ч. I. М., 1866, стр. 73.

[17] «Вестник Европы», 1808, № 18, сентябрь, стр. 115—124.

ликого Ломоносова, — писал Воейков, — но я весьма далек от того, чтобы признать его непогрешительным: он человек, он жил в такое время, когда нельзя было не ошибаться». И далее: «Державин, Карамзин, Дмитриев, Мерзляков, Жуковский также недюжинные писатели, однако и у них можно найти слова несобственные, выражения или слишком обветшалые, или несвойственные (то есть галлицизмы), хотя они начали писать полвека после российского Пиндара».

Историческая точка зрения при подходе к литературному языку служит для карамзинистов, таким образом, основанием для отказа от «старинного языка», от обветшалых литературных норм. Старый язык признается недостаточным. Ведь «в отношении к обычаям и понятиям мы теперь совсем не тот народ, который составляли наши предки; следственно, хотим сочинять фразы и произносить слова по *своим* понятиям, *нынешним*, умствуя как французы, как немцы, как все нынешние просвещенные народы», — говорит Макаров (стр. 169—170). Возражая тем, кто полагает, будто бы «нашим древним языком можно и ныне выразить каждую мысль», он перечисляет недостатки этого языка: в нем не хватает многих слов для того, чтобы «выражать отвлеченные понятия наук, изъяснять тонкости политики государственной и частной, показывать в живописных картинах общество и людей»; он непригоден для того, чтобы «украшать все подробности блеском остроумия, цветами чувства, огнем воображения»: появляется «надобность в словах и фразах, которых за сто лет не было». Наконец, «наши старинные книги не сообщают красок для роскошных будуаров Аспазий, для картин Вилландовых, Мейснеровых или Доратовых». Макаров готов признать отчасти значение старинного языка для высокой лирической поэзии: «Громкая лира может иногда подражать Давидовой арфе», но язык этот не способен удовлетворить «веселое, нежное, романтическое воображение»; оно «пугается темных пещер, в которых добродетель укрывалась от прелестей мира» (стр. 175—176). Критик предлагает защитникам старого слога назвать переведенные на этот старый слог романы, которые «наполнены разговорами людей большого света», или легкие, «замысловатые» сочинения Вольтера: «тогда, — говорит Макаров, — читатели уверились бы, что старинный наш язык достаточен для выражения каждой мысли» (стр. 178—179). Критик «совершенно уверен в преимуществах нынешнего слога» над прежним. Чтобы убедиться в этом, говорит он, достаточно сравнить переводы одного и того же произведения, осуществленные представителями старого и нового слога; в качестве такого примера для сравнения он называет разные переводы Бюффона [18].

---

[18] См. ниже, стр. 182—189.

Уже из этих суждений Макарова становится ясно, что он видит развитие языка не только в его обогащении в связи с развитием «понятий», в связи с тем, что старый язык становится «недостаточным» («язык самый богатый беднеет, если не приобретает»), но и в изменении его н о р м, в том что он перестает удовлетворять новым в к у с а м, новым представлениям о хорошем языке и о хорошем слоге («цветы слога вянут подобно всем другим цветам», — говорит Макаров, не различая, как и большинство критиков в то время, «язык» и «слог»). Дело, следовательно, не только в том, что со времен Ломоносова «мы узнали тысячи новых вещей», что «чужестранные обычаи родили в уме нашем тысячи новых понятий», но и в том, что «вкус очистился», что «читатели не хотят, не терпят выражений противных слуху». В истории языка и слога, следовательно, есть две стороны: обогащение языка и его очищение, и вторая сторона нисколько не менее важна, чем первая. «Более двух третей русского словаря остается без употребления» — это прежде всего результат именно того, что «вкус очистился».

И раньше, до Карамзина, оценивая язык и слог литературных произведений, критики обращались к «вкусу» [19]; у представителей «новой» школы это понятие наполняется новым содержанием и становится центральной, важнейшей категорией, охватывающей как «слог» художественной литературы, так и нормы литературного языка вообще. Критерий вкуса, «общего употребления» в «карамзинской» теории и практике является самодовлеющим, не поддающимся рационалистическому толкованию [20]. «Судя о произведениях чувства и воображения, — говорил Карамзин в своей речи в Российской Академии, — не забудем, что приговоры наши основываются единственно на вкусе, неизъяснимом для ума; . . . что вкус изменяется и в людях и в народах» [21]. В этих словах

---

[19] Можно вспомнить хотя бы предисловие Сумарокова к трагедии «Димитрий Самозванец», где с позиций «людей знающих и вкус имущих» критикуется «скаредный вкус» любителей мещанской драмы. Сумароков говорит здесь и о самом этом понятии: «Если бы я писал о вкусе диссертацию, я бы сказал то, что такое вкус, и изъяснил бы оное» (Полн. собр. всех соч., ч. 4, стр. 61).

[20] О таком понимании «вкуса» как эстетической категории может свидетельствовать, например, опубликованный в 1803 г. в февральской книжке «Московского Меркурия» перевод отрывка из Сегюра «Об уме и вкусе». Вот некоторые мысли из этого отрывка: «Начиная от щегольской разборчивости в уборах до правильности слога . . . все блистают посредством вкуса или заблуждаются без него»; «все отвлеченное находится вне его [вкуса] империи; все непременное (т. е. не изменяющееся. — *В. Л.*) противно ему, потому что его свойство есть очищать и выбирать»; «Ум производит, а вкус совершенствует»; «в общежитии ум полезен, а вкус необходим» и т. д.

[21] Н. М. К а р а м з и н. Речь, произнесенная в Торжественном собрании имп. Российской Академии, стр. 646. Ср. у Шишкова в его «Рассуждении о красноречии священного писания» (стр. 86—88), где в диалоге «русского» и «славенина», в ответ на замечание первого, что «употребление тиран: оно делает вкус, а против вкуса никто не пойдет», «славенин» замечает: «Мы последовали употреблению там, где рассудок одобрял его или по край-

нельзя не почувствовать глубокого недовольства Карамзина критической деятельностью Академии, основанной на устарелых понятиях, на обветшалом вкусе. «Тонкий вкус», наряду с образованностью, — необходимое условие литературной деятельности (и не только в области художественного творчества); более того, он важнее, нужнее для писателя, чем ученость. «Не только дарование, но и самый вкус не приобретается: и самый вкус есть дарование. Учение образует, но не производит автора» [22]. Недостаток среди писателей людей, обладающих вкусом, по мнению Карамзина, — одна из главных причин того, «отчего в России мало авторских талантов».

Старый язык находится в резком противоречии с требованиями вкуса, — а требования эти в понимании «карамзинской школы» состояли в том, чтобы писать не только понятно, «вразумительно» (к чему стремился еще Ломоносов), но и п р и я т н о. Наши писатели «не показали, как надобно выражать приятно некоторые даже обыкновенные мысли»; поэтому, замечает Карамзин, светские женщины «не имеют терпения слушать или читать их, — находя, что так не говорят люди со вкусом» (при этом Карамзин признает, что «если спросите у них: как же говорить должно? то всякая из них отвечает: „не знаю, но это грубо, несносно“») [23]. В объявлении на второй год «Вестника Европы» издатель выражает надежду, что чтение переводов иностранной литературы будет «с некоторою пользою для языка и вкуса»; он хочет «занимать публику приятным образом, не оскорбляя вкуса ни грубым невежеством, ни варварством слога» [24]. Любопытно, что, говоря о своей работе над «Историей Государства Российского», произведением, в котором, как считают (без достаточных оснований), автор во многом отошел от правил и норм своего прежнего языка, Карамзин заявляет о своем стремлении писать ее «слогом не сла-

---

ней мере не противился оному. Употребление и вкус должны зависеть от ума, а не ум от них; ибо ежели употребление и вкус станут управлять умом, так кто же будет управлять ими?». И далее разъясняется, что есть у п о т р е б л е н и е о б щ е е и у п о т р е б л е н и е ч а с т н о е: «Общее объемлет весь язык и все времена; частное относится к некоторому времени и наречию»; «частное употребление должно почерпаться из общего или, иначе сказать, язык должен быть основанием наречию, а не наречие языку». И далее: «От первого случая происходит хорошее употребление, от которого наречие процветает; от второго худое употребление, от которого оно, не питаясь природными соками своими, скудеет и сохнет. Первое из сих употреблений есть плод труда и откровения, второе плод лености и заблуждения. Первое защищает ум и рассудок, второму покровительствуют подражание и навык. Часто сии последние на некоторое время преодолевают, но владычество их недолго продолжается». Таким образом, Шишков настаивает здесь по существу на неизменности норм употребления и вкуса.

[22] Н. М. К а р а м з и н. Пантеон российских авторов, стр. 583.

[23] Н. М. К а р а м з и н. Отчего в России мало авторских талантов. Соч., т. 3. СПб., 1848, стр. 27—29.

[24] «Вестник Европы», 1802, № 23.

бым, и по возможности приятным»[25], т. е. языком несколько приподнятым и в то же время сохраняющим свою «приятность». И деловая проза должна отличаться приятностью: «Витовтов сказывал мне, — пишет Карамзин Дмитриеву, — что ты. . . и приказный слог знакомишь с ясною краткостью, чистотою, приятностью»[26]. Ссылки на «вкус» и на «приятность слога» постоянны в критических замечаниях Карамзина. По поводу од П. Николева и Д. Хвостова он пишет иронически Дмитриеву: «То-то поэзия! то-то вкус! то-то язык! Боже! умилосердися над нами!»[27] «Девушка, имеющая вкус, не может ни сказать, ни написать в письме *колико*», — замечает он в рецензии по поводу перевода «Клариссы» Ричардсона[28]. Такой же характер носят некоторые его критические замечания о языке комедии «Оптимист», о переводе «Неистового Роланда» и др.[29]

Постоянно обращается к «вкусу» в своих разборах Макаров, причем и у него, как и у Карамзина, апелляция к вкусу не требует доказательств и рассуждений: отсутствие вкуса обнаруживается само собой. Макаров пишет о Шишкове, что «вместо *влияния* он велит писать *наитствование*, вместо *развития* — *прозябение* понятий» (стр. 168). С точки зрения Макарова, нет необходимости доказывать бессмысленность этих рекомендаций Шишкова; достаточно заметить, что «писатель обязан иметь некоторое уважение к общему вкусу». Шишков приводит в своей книге многочисленные отрывки из разных авторов, снабжая их восторженными комментариями, восхищаясь «плавностью слога», «многозначительностью и ясностью в выражениях». Эти куски должны доказать преимущество «старого» слога перед «новым». Макаров повторяет некоторые из этих отрывков в своей статье — но уже с обратной

---

[25] Н. М. Карамзин. Письмо Новосильцеву, 1808 г. См.: М. Погодин. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, ч. 2, стр. 44—45.

[26] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, письмо от 27 июля 1798 г.

[27] Там же, письмо от 1 июня 1791 г.

[28] «Московский журнал», ч. IV, кн. I., стр. 112.

[29] См. приложение II к статье Я. Грота «Карамзин в истории русского литературного языка» (стр. 119—123). Вообще требование «приятности слога» было очень распространено в это время. Издатели журналов любили обещать читателям, что их журнал будет читаться не только с пользой, но и с «приятностью». Так, не только близкий к карамзинскому направлению В. Подшивалов говорит, что его журнал «Чтение для вкуса, разума и чувствований» (само это название уже очень характерно) будет пользоваться «чистым и приятным слогом» (1791, ч. I), но, например, и издатели «Политического журнала» хотят, чтобы их журнал отличался «приятностью слога» (1790, ч. I). Впрочем, редактора «Политического журнала» П. А. Сохацкого Н. И. Греч называет одним из тех, кто, наряду с Подшиваловым, «значительно содействовал к очищению и исправлению русского языка» (Н. И. Греч. Чтения о русском языке, ч. 1, стр. 119—120). Такого рода заявления и обещания важны как свидетельство развития и совершенствования читательских вкусов.

целью; при этом он не подвергает обычно эти отрывки разбору, полагая — и не без основания, — что даже простая демонстрация в этих случаях достаточно выразительна. Так, процитировав один из таких отрывков, в котором встретились слова *отревать*, *прелюбы творцы*, *яко*, *аки*, *приснотекущий*, *ущедрять* и др. под., Макаров иронически замечает: «сомнительно, чтобы такие красоты обратили читателей к прежнему слогу» [30].

В резко отрицательной рецензии на перевод «Антеноровых путешествий» (см. ниже, стр. 205), Макаров, перечислив некоторые не понравившиеся ему слова и выражения, вместо разбора просто «отсылает» их «к трибуналу вкуса». В рецензии на перевод «одного из лучших английских романов женского рукоделья» — «Дети аббатства» критик находит «такие слова, которые прихотливый нынешний вкус желал бы исключить» [31]. Замечания такого рода в критике того времени встречаются очень часто [32].

Критерий «вкуса» применялся ранее почти исключительно к случаям злоупотребления простонародным элементом в литературе (см., например, приводившееся выше замечание Николева в предисловии к драме «Розана и Любим»). Известные слова Тредьяковского о том, что «язык славенский ныне жесток моим ушам слышится», стоят в общем одиноко в критической литературе «докарамзинского» периода. Теперь же наиболее ожесточенным атакам с позиций вкуса подвергается, как это отчасти видно уже из приведенных примеров, архаический, «славенский» и приказный элемент: «Слог церковных книг не имеет никакого сходства с тем, которого требуют от писателей светских», — говорит Макаров [33]. Но и новообразования разного рода подчинены этому критерию. Так, например, с этой точки зрения критикует Макаров

---

[30] П. Макаров. Критика на . . . «Рассуждение о старом и новом слоге. . .», стр. 172.

[31] «Московский Меркурий», ч. I, март, стр. 212.

[32] Шишков не преминул воспользоваться этой особенностью критических выступлений своих противников, противопоставив их вкусу свой вкус (хотя само слово «вкус» его раздражало и сердило). Так, защищая Станевича от критики Воейкова, утверждавшего, что «вкус не велит употреблять» те или иные слова, Шишков замечает, что Станевич вправе сказать: «мой вкус лучше вашего» (см. «Драматический вестник», Прибавление, стр. 73 и сл.). Ср. замечание Воейкова о том, что «г. Станевич напрасно сердится на издателя „Вестника Европы“ за то, что он, выставив косыми буквами (т. е. курсивом. — *В. Л.*) стихи его, не говорит ни слова об ошибках; есть стихи и слова, которые сами о себе говорят, что они неправильны» («Вестник Европы», 1808, № 18, сентябрь, стр. 120).

[33] П. Макаров. Критика на. . . «Рассуждение о старом и новом слоге. . .», стр. 175. Ср. ироническое замечание Шишкова о сторонниках «нового слога»: «Вот беда для них, когда кто в писаниях своих употребляет слова: *брашно*, *требище*, *рясна*, *зодчество*, *доблесть*, *прозябать*, *наитствовать* и тому подобные, которых они сроду не слыхивали и потому о таковом писателе с гордым презрением говорят: он педант, провонял славенщиною и не знает французского в штиле элегансу» (А. С. Шишков. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, стр. 28—29).

неологизмы, встречающиеся в «Корифее» Я. Галинковского [34]. Призывая писателей «выдумывать, сочинять выражения; давать старым словам некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи», Карамзин предупреждает, что делать это надо «столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения» [35].

«Вкус», «приятность слога» нужны и при употреблении иноязычных заимствований; отстаивая право на употребление иностранных слов, Макаров готов согласиться, что «неудачно взятое» иностранное слово портит язык, что плохо, когда при этом «забывают границы, определяемые рассудком и вкусом»; впрочем, тут же он добавляет, что еще хуже — «потерять счастливую мысль или выразить ее слабо для некоторой лишней чистоты языка»; это, — говорит он, — «будет непростительное педантство». Само же чтение иностранных авторов признается благотворным именно для развития вкуса, так как вкус «приобретается единственно через сравнение» [36].

§ 28. Таким образом, понятие в к у с а является центральной и всеобъемлющей категорией в «карамзинской» теории и практике. Это находит отражение и в том, как решается вопрос об отношениях книжной и разговорной речи. В принципе то, что представляется «неприятным» в разговоре, должно так же восприниматься и в книге (исключения из этого принципа, как далее увидим, незначительны, охватывая лишь некоторые устойчивые книжные слова и формы). «Так не говорят люди со вкусом» — типичная для карамзинистов формула при оценке языка и слога произведения, и не только речи персонажей. В приближении книжного языка к разговорной речи современники видели, как известно, главный смысл «карамзинской реформы». Ведь опора на «вкус» собственно и означает опору на «общее употребление», на речевую практику образованного общества.

Роль разговорной речи людей, обладающих «вкусом», в установлении норм литературного языка постоянно подчеркивалась карамзинистами. «Русский кандидат авторства, — говорит Карамзин, — недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык»; не вращаясь в светском обществе, не зная света, «трудно писателю образовать вкус свой, как бы он учен ни был»; «хорошие авторы» появятся в России тогда, когда «увидим между светскими людьми более ученых, или между учеными более светских людей»; ведь и «все французские писатели, служащие образцом тонкости и приятности в слоге, переправляли, так сказать, школьную свою

[34] «Московский Меркурий», ч. III, июль, стр. 45.

[35] Н. М. К а р а м з и н. Отчего в России мало авторских талантов, стр. 528.

[36] П. М а к а р о в. Критика на. . . «Рассуждение о старом и новом слоге. . .», стр. 166—167.

реторику в свете, наблюдая, что ему нравится и почему» [37]. В этих словах Карамзина обычно видят прежде всего пристрастие к языку света, языку салона, пренебрежение к народной речи. Но главное в высказывании Карамзина — в том, что речь светского человека оценивается как средство преодоления в литературе «школьной реторики», как средство борьбы со старым книжным языком. Еще резче (и несколько прямолинейно) выражена эта мысль у Макарова, для которого идеалом языка является «тот, который стараются образовать нынешние писатели равно для книг и для общества, чтобы писать как говорят, и говорить как пишут, чтобы совершенно уничтожить язык книжный». «И на что сей последний? — восклицает Макаров, — . . .ныне уже нельзя блистать одним набором громких слов» [38].

Выражение «писать как говорят» восходит к формуле Карамзина, который, ставя в пример французский литературный язык, заметил, что «французы пишут, как говорят» [39], и к его же стихотворной строке: «кто пишет так, как говорит». Вряд ли можно понимать эту формулу буквально. Представление о слиянии, о тождестве разговорной и книжной речи в карамзинской системе сильно преувеличено. Нельзя не учитывать, что высказывания Карамзина, Макарова и других на эту тему делались в условиях острой полемики, острой борьбы против засилья архаики и «ученого» слога, против предположения, что нужен «особливый язык книжный, которому надобно учиться как чужестранному». Позднее, когда острота борьбы спала, Вяземский вообще пытался отрицать, что такое требование когда-либо выдвигалось Карамзиным, утверждая, что стих «кто пишет так, как говорит» — лишь шутка, и заявляя, что Карамзин «не ответчик» за Макарова. Действительно, правильнее было бы говорить о сближении разговорного и книжного, а не об их тождестве.

Сближение книжного языка с разговорной речью, с языком общества означало для карамзинистов опору на этот язык общества как на некоторый регулятор, приведение книжного языка в соответствие с теми нормами вкуса и с теми эстетическими пред-

---

[37] Н. М. Карамзин. Отчего в России мало авторских талантов, стр. 528—531.

[38] П. Макаров. Критика на . . . «Рассуждение о старом и новом слоге. . .», стр. 180.

[39] Н. М. Карамзин. Отчего в России мало авторских талантов, стр. 529. См., впрочем, еще у Тредьяковского о том, что немцам и французам «нравен тот язык, кой с общим самым схож». См. ироническое замечание М. И. (Н. И. Бахтина) о том, что «открытие тайны писать, как говорят, не принадлежит нашему веку. Еще прежде, чем Карамзин наставлял сему кандидатов авторства, профессор елоквенции Тредьяковский уже давно проповедывал оную» (цит. по кн.: Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. Л., 1929, стр. 127). М. И. ссылается при этом на предисловие Тредьяковского к своему переводу «Езды в остров любви», где утверждается, что книга переведена «почти самым простым русским словом, то есть каковым мы меж собой говорим».

ставлениями, которые существовали (или которые нужно было развить) в обществе. Как далее будет показано, это особенно верно в отношении лексики.

Требование приблизить книжный язык к разговорной речи сталкивается, однако, с большими трудностями, и главная из них — неупорядоченность, неустойчивость самого этого разговорного языка. «Русский кандидат авторства . . . должен слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык», — писал Карамзин; но «тут новая беда, — продолжает он, — в лучших домах говорят у нас более по-французски. Милые дамы, которых надлежало бы только подслушивать, чтобы украсить роман или комедию любезными, счастливыми выражениями, пленяют нас не русскими фразами» [40]; они утверждают, что «русский язык груб и неприятен, что charmant и séduisant, expansion и vapeurs не могут быть на нем выражены». Карамзин готов согласиться, что мы «не умеем изъяснять им некоторых тонкостей в разговоре», но происходит это от того, что «мы все хотим говорить по-французски, и не думаем трудиться над обработыванием собственного языка» [41]. Следовательно, стремясь приблизить книжный язык к разговорной речи, писатель не может просто перенести в книгу, узаконить в качестве литературной нормы то, что реально существует в широком светском обиходе. Разговорный язык еще сам нуждается в обработке и нормализации; и здесь роль «кандидата авторства» оказывается особенно важной. Русский писатель должен, по мысли Карамзина, развив свой вкус, чувство изящного, поняв, какой язык нужен обществу, «что ему нравится и почему», создать такой язык, который смог бы быть приятен в обществе и вытеснить из обихода французский. Таким образом, в литературе должна осуществиться не только нормализация письменного языка, но и выработка норм устного на основе лучших образцов обиходной речи. Писатель, следовательно, не только должен «переправлять школьную свою реторику в свете», но и одновременно научить, «как надобно выражать приятно некоторые даже обыкновенные мысли», показать, что «язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности» [42]. «Французский язык весь в книгах. . ., — писал Карамзин, — а русский только отчасти; французы пишут как говорят, а русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом» [43]. Другими словами, писатель

[40] Н. М. Карамзин. Отчего в России мало авторских талантов, стр. 528.

[41] Н. М. Карамзин. О любви к отечеству и народной гордости, стр. 474—475.

[42] Там же, стр. 474.

[43] Н. М. Карамзин. Отчего в России мало авторских талантов, стр. 529. Ср. ироническое замечание А. С. Шишкова: «Бедные русские! Они должны молчать до тех пор, покуда родится человек с талантом, кото-

учится языку в обществе, но само общество ждет от писателя образцов хорошего употребления языка — и не только для книги, но и для разговора. Эта мысль особенно отчетливо выражена в рецензии Макарова на перевод романа Жанлис «Матери-соперницы или Клевета» («Московский Меркурий», ч. IV, ноябрь). Макаров одобряет здесь старание переводчика «применяться к языку, употребительному в обыкновенном разговоре». При этом, однако, он замечает: «Только надлежало бы ему подражать людям, которые говорят хорошо, а не тем, которые говорят дурно. Выражения простонародные не должны писателю служить правилом» (стр. 121—122). И далее: «У нас язык общества еще не образовался, потому что люди, которые могли бы образовать его, а особливо женщины, занимаются предпочтительно языками иностранными. И для того надобно иногда писать так как должны бы говорить, а не так как говорят» (стр. 122). И в приводившихся ранее словах Макарова из его разбора книги Шишкова речь идет о языке, «который стараются образовать нынешние писатели равно для книг и для общества, чтобы писать как говорят, и говорить как пишут» (разрядка везде моя. — *В. Л.*).

Двусторонний характер формулы Макарова хорошо разъяснил впоследствии С. П. Шевырев в своей известной статье «Взгляд на современное направление русской литературы. Статья вторая. Сторона светлая. Состояние русского языка и слога» («Москвитянин», 1842, № 3). Шевырев настойчиво подчеркивает, что нельзя ограничивать эту формулу только первой ее частью: «писать как говорят»; вторая часть («говорят как пишут») нужна для «ограждения языка литературного от всякой порчи». «Язык литературный почерпает жизнь и материал из языка разговорного, но сам в свою очередь сообщает вкус, красоту и мысль последнему. Язык разговорный принадлежит всем и каждому, язык литературный — собственность людей избранных» — писателей. Заслугу Карамзина Шевырев и видит прежде всего в том, что он избежал «вредной односторонности»: он установил, что не только разговорный язык влияет на литературный, но и «литературный язык должен действовать также на разговорный». При этом Шевырев полагает, что это «второе правило» наиболее важно: «Язык избранный, лучший у нас скорее от литераторов налагается на общество, нежели от сего последнего на литературу». При всей терминологической нечеткости в этих словах Шевырева верно схвачена суть карамзинского решения вопроса о соотношении книжной и разговорной речи. Надо признать, что в принципе это был наиболее прогрессивный и, может быть, единственно возможный в то время путь развития литературного языка. Это было естественное продолже-

---

рый напишет, как им говорить должно!» («Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», стр. 164).

ние и развитие процесса создания национального литературного языка, устранения разрыва между языком книги и живым языком общества, языком обиходным, языком быта; это была борьба с остатками средневекового двуязычия, с изолированностью книжно-литературного языка. Именно это стремление и было выражено в формуле «писать как говорят», «совершенно уничтожить язык книжный». В то же время здесь отчетливо обнаруживалась специфика процесса, связанная с тем, что «карамзинская реформа», как мы видели, имела своей целью не только нормализацию языка литературы, но и формирование норм самой устно-литературной речи, языка общества. На путях синтеза наиболее устойчивых элементов книжной традиции и освобожденной от простонародности разговорной речи общества должно было произойти сближение русского литературного языка — по своей синтаксической структуре, словарному, семантическому и фразеологическому богатству, по своим эстетическим качествам — с наиболее культурными и развитыми языками Запада, и только такой язык мог вытеснить французский язык из устного и письменного обихода светского общества. Надо поэтому иметь в виду, что особую остроту и полемичность тезису о языке, едином «для книг и для общества», придает то обстоятельство, что борьба с книжным языком рассматривалась не только с точки зрения развития языка, но и как проблема общенациональная, как одна из задач, стоящих перед русской культурой, русским просвещением вообще. Там, где книжный язык «сделался некоторым родом священного таинства», там «словесность досталась в руки малого числа людей», — говорит Макаров. Если книжный язык и далее останется отделенным от языка общества, он будет делаться все более «темным», люди, которые не могут или не хотят посвящать свою жизнь науке, не будут читать книги, просвещение «ограничится теснейшим кругом» ученых людей, и «тогда пропадет уже вся надежда сделать для нас русский язык приятнее других языков» [44]. «Язык важен для патриота», — писал Карамзин в статье, которая носит название «О любви к отечеству и народной гордости» [45]. Вот что писал в 1804 г. о причинах успеха «нового слога» известный в то время писатель-карамзинист В. Измайлов: «Недоставало только языка, ближайшего к тону разговора и общества, к новым понятиям века, к новой вежливости нравов, которого легкая приятность могла бы победить в светских людях, а особливо в женщинах, непростительное предубеждение против языка русского, который, наконец, мог бы себе усвоить достоинства лучших языков Европы».

Карамзинисты отводили большую, может быть, даже решающую роль в вырабатывании норм литературного языка светским

[44] П. Макаров. Критика на... «Рассуждение о старом и новом слоге...», стр. 181—182.

[45] Н. М. Карамзин. О любви к отечеству и народной гордости, стр. 477.

женщинам. В цитированной выше рецензии на перевод романа Жанлис Макаров жалуется, что женщины «занимаются предпочтительно языками иностранными», а между тем именно они могли бы «образовать» язык. Макаров здесь почти буквально пересказывает Карамзина, который сетовал, что «милые женщины, которых надлежало бы только подслушивать, чтобы украсить роман или комедию любезными, счастливыми выражениями, пленяют нас не русскими фразами» [46]. Еще более выразительно пишет Макаров о роли женщин в открывающей первую книжку «Московского Меркурия» статье «Некоторые мысли издателей Меркурия»: «Для истребления педантства, напротив того для соглашения книжного языка с языком хорошего общества — мы хотели бы, чтобы женщины занимались литературой; от тонкого их вкуса, от живого их воображения, от нежной их души ожидаем хороших авторов». «Овладев единожды полем литературы, — пишет он в той же статье,— они пошли бы самыми скорыми шагами, повлекли бы всех за собою и в короткое время сделались бы нашими учительницами». В этой установке на язык и вкус «милой дамы» видят обычно только смешную сторону «карамзинизма». Между тем она во многом естественна и оправданна. Светская женщина не была, подобно мужчине, заражена в своем языке тем «педантством», которое шло от старой литературы — ученой прозы, канцелярской письменности (впрочем, Макаров говорит, что педантство «равно несносно и в мужчине»). Она, как правило, не читала старинных книг, не занималась наукой, не вела деловой переписки [47]. По всей вероятности, и низкий, простонародный элемент был в меньшей степени свойствен разговорной речи женщины. Светские женщины, следовательно, быстрее и органичнее, чем мужчины, усваивали те новые нормы литературного языка и стилистики, которые вырабатывались в новой литературе; об этом свидетельствуют, между прочим, и письма, которые писались женщинами [48].

---

[46] Н. М. Карамзин. Отчего в России мало авторских талантов, стр. 528.

[47] См. замечание Н. Греча в его «Чтениях о русском языке»: «Слог канцелярский, форменный, темный и тяжелый имел значительно вредное влияние и на многих литераторов наших; большая их часть, состоя в гражданской службе, невольно принимала обороты и выражения приказные, и, сами того не зная, портили тем язык книжный» (ч. 1, стр. 152). Ср. также замечание А. Бестужева-Марлинского, что только женщины «умеют избрать средину между школьным и слишком обыкновенным тоном» (А. Бестужев-Марлинский. Взгляд на старую и новую словесность в России. Соч., т. 2, стр. 534).

[48] Шишков отрицательно относится к этим ссылкам на вкус светских дам. Разбирая в своем «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» известную статью Карамзина «Отчего в России мало авторских талантов», по поводу приведенных выше слов о «милых дамах» Шишков иронически замечает: «Милые *дамы*, или по нашему грубому языку *женщины*, *барыни*, *барышни*, редко бывают сочинительницами, итак пусть их гово-

Таким образом, в стремлении опереться в установлении норм литературного языка на речевую практику образованного общества нет не только ничего реакционного и антинародного, но это был единственно возможный путь борьбы со старым книжным языком. Исторически оправдана и тенденция к очищению литературного языка от простонародного элемента. Однако именно в отношении к просторечию и простонародной речи таилась главная опасность для развития «нового слога». Рассматривая разговорную речь как главный регулятор и в сфере книжного языка, карамзинисты, естественно, тяготели к нейтральному языковому фонду, отбрасывая то, что несло на себе отпечаток специфически разговорной, просторечный, подчеркнуто некнижный — и в синтаксисе, и в лексике, и во фразеологии.

Карамзинский пуризм по отношению к просторечию полностью отразился в письменном языке новой школы. Следовательно, близость «нового слога» к разговорной речи носит, так сказать, негативный характер: в нем обнаруживается стремление не употреблять того, что чуждо разговорной речи (впрочем, как далее увидим, это положение нуждается в целом ряде оговорок), но он в то же время лишен характерных, специфических примет разговорной речи, «чисто русских оборотов или руссизмов», по выражению Белинского [49].

Важно заметить, что это относится не только к тем видам письменной литературы, где разговорность была бы неуместна, но и к тем, где она, казалось бы, должна предполагаться, например в речи персонажей в повествовательной художественной прозе. Таков же язык писем Карамзина и некоторых карамзинистов; своей строгой «нейтральностью» он отличается и от языка писем предшественников Карамзина, где просторечие и простонародность отражали неупорядоченность бытовой речи их авторов, и от писем прошедших уже «карамзинскую» выучку представителей

рят, как хотят» («Рассуждение...», стр. 155—157, 164). Но вот неожиданные для Шишкова слова, сказанные им девять-десять лет спустя, в речи при открытии «Беседы любителей русского слова»: «Особливо же рвенье сие возбуждается в нем [в писателе], когда он еще при жизни своей слышит, что облеченные им в красоту слога превосходные мысли повторяются нежнейшими устами прекраснейшего пола. Какая превеликая происходит из сего польза для словесности!» Женщин Шишков называет здесь «любезными учительницами, внушающими в нас язык ласки и вежливости». Он говорит далее, что «язык, проходя чрез уста их, становится яснее, глаже, приятнее, слаще». «Таким образом возрастает словесность, гремит стихотворная труба и раздаются сладкие звуки свирелей» (А. С. Шишков. Собрание сочинений и переводов, ч. 4. СПб., 1825, стр. 143—144).

[49] В. Г. Белинский. Николай Алексеевич Полевой. Полн. собр. соч., т. IX, стр. 676. См. также следующее замечание Белинского: «Карамзин начал писать языком общества, тем самым, которым все говорили; но, разумеется, идеализировал его, потому что письменный язык — искусственный, как бы ни был он естественен, прост, жив и свободен» («Русская литература в 1841 г.» Там же, т. V, стр. 539).

следующего поколения, со свойственной им непринужденно-разговорной интонацией. Но это связано уже с тем, как понималась в «карамзинской школе» внутренняя стилистическая структура литературного языка.

§ 29. Карамзинская реформа означала «уравнение» или, лучше, сближение книжной и разговорной речи. Но она вела также к унификации внутри самого книжного языка. Язык, единый «для книг и для общества», должен был быть в принципе единым и для разных книг, для «всякого рода писаний». Это естественно вытекает из самих принципов «нового слога», в частности его важнейшего критерия — вкуса. Само понятие «вкус» полемически направлено у карамзинистов против системы трех стилей. Вкус противостоит жанрово-стилистическому критерию. Если писатели-классики и говорили о вкусе, то видели его прежде всего в соответствии языка жанровым нормам; одни и те же слова, выражения, конструкции и т. д. признавались нормальными для одного «штиля» и неправильными для другого. Для карамзиниста в понятие «вкус» тоже, разумеется, входит соответствие, «приличность» данных языковых средств данному содержанию: допустимое в одних условиях может оказаться неприемлемым в других, но то, что признается не соответствующим «вкусу», эстетическим нормам, должно быть признано неприемлемым в любом жанре, в любом стиле, в любой ситуации. Все возможные варианты и колебания остаются в пределах допустимого вкусом. Принадлежность произведения, вообще любого текста, тому или иному из старых «штилей» может определить до некоторой степени его языковое своеобразие, но не может служить оправданием для употребления слов или выражений, «противных слуху». Это особенно хорошо можно видеть на примере эволюции языка традиционных «низких» жанров — комедии и басни. «Правило комика есть забавлять и приносить пользу, — пишет автор статьи «О русских комедиях» В. В. (И. И. Дмитриев), — какое же удовольствие найдет благовоспитанная девица, слушая ссору однодворца с его женою, брань дурака с дурою, которых каждое слово несносно для нежного слуха»; в числе достоинств комедии автор называет и «чистый разговор» [50]. Разумеется, здесь проявляется принципиально новый подход к языку (и самому содержанию) комедии.

Точно так же употребление не соответствующих представлению о хорошем вкусе архаических «славенских» элементов языка не может быть оправдано нормами высокого стиля. Вообще эти традиционные понятия — «высокий стиль», «низкий стиль» — наполняются новым смыслом. Макаров формулирует принципиально новое понимание высокого слога: «Высокий слог должен

[50] «Вестник Европы», 1802, № 7, апрель.

отличаться не словами или фразами, но содержанием, мыслями, чувствованиями, картинами, цветами поэзии» [51]. Очевидно, что само выражение «высокий слог» здесь надо понимать нетрадиционно. Речь идет не о старых, традиционных высоких жанрах, а о том — условно говоря — высоком стиле, который укладывается в рамки «нового слога». Как и в некоторых других случаях у Макарова, здесь есть некоторая полемическая заостренность; как мы увидим, «высокий» слог «карамзинской» литературы допускал и некоторые такие лексические архаизмы, которые вообще не были типичны для нее; но выраженное здесь стремление перенести центр тяжести с собственно языковых отличий на отличия в слоге, в «цветах поэзии» отражает живую тенденцию развития литературного языка. «Различию трех стилей, которое архаисты сознавали как языковое, диалектическое, карамзинисты противопоставляли другое различие — стилистическое» [52].

Шишков чутко реагировал на такой подход к языку литературы: «Они не о том рассуждают, — пишет Шишков о своих противниках, — что такое-то слово в таком-то слоге высоко или низко; таковое суждение было бы справедливо; но нет, они о каждом слове особенно, не в составе речи, говорят: это славенское, а это русское. Сие неудобовозможное разделение основывают они на том мечтательном правиле, что которое слово употребляется в обыкновенных разговорах, так то русское, а которое не употребляется, так то славенское». И далее: «Утверждаясь на сем мнении, проповедуют они, что все славенские слова надобно исключить из нынешнего языка и писать, как говорим». «Им довольно поставить некстати *аще* и *абие*, дабы возненавидеть весь славенский язык, как будто он и виновен в том, что они употреблять его не умеют». Шишков сравнивает своих оппонентов с женщиной, которая «доказывала бы худость алмазов тем, что они, повешенные у нее на носу и на губах, безобразят ее». «Итак, — говорит Шишков, — не славенский язык, отделяя от русского, презирать; не слова оного на славенские и русские разделять; но какое слово какому

---

[51] П. Макаров. Критика на. . . «Рассуждение о старом и новом слоге. . .», стр. 181. Еще в 1792 г. в примечаниях к переводу очерка «Жизнь Клопштока» («Московский журнал», ч. VI, кн. 1) Карамзин замечает, что «высокое парение мыслей, вместе с жарким палящим чувством составляет душу лирической поэзии» и далее: «У нас по большей части ищут в одах пустого грома слов, — ищут и находят».

[52] Ю. Тынянов. Указ. соч., стр. 96. Надо заметить, что новое понимание отличий между стилями обнаруживается уже в «Сокращенном курсе российского слога» В. С. Подшивалова (издан в 1796 г. как принадлежащий ученику Подшивалова А. Скворцову), на что обратил внимание и Я. Грот в своей статье о Карамзине. Однако бесспорно, что формулировка Подшивалова выглядит все же более традиционно: Подшивалов относит к свойствам высокого слога не только «мысли важные и острые, страсти великие и благородные, фигуры для возбуждения оных пристойные», но также и «слова отборные» (стр. 96).

слогу прилично знать надлежит» [53]. Тот же принцип и применительно к простонародному элементу: «Низкое слово, помещенное прилично, не есть уже там низкое, иначе не было бы оно прилично помещено» [54].

Вот еще типичное для Шишкова рассуждение: «Можно сказать: *препояши чресла твоя и возьми жезл в руце твои* и можно также сказать: *подпояшься и возьми дубину в руки*; то и другое, в своем роде и в своем месте, может прилично быть; но начав словами: *препояши чресла твоя*, кончить: и *возьми дубину в руки*, было бы смешно и странно. Вот что наблюдают хорошие писатели; а не то, чтобы кричать: *чресла*, *жезл*, *препояши*, *безлучный*, *огнезарный*, *безлестный*, *всезлобный*, *плотоядный*, *воссоздать*, *бдение*, *стыдение*, *воздоенный* и проч. это славенские — сохрани нас бог от них! — а *подпоясаться*, *дубина*, *горшок*, *лапти*, *кочерга*, *блины*, *помело*, *огурцы*, *квашня* — вот это наши русские слова» [55]. Шишкову чужд самый этот способ характеристики слов «не в составе речи» (впрочем, желая отстоять право на употребление тех или иных слов, признаваемых его противниками обветшавшими, он нередко ссылается на их наличие у писателей, «заслуживших себе имя», без всякого внимания к характеру употребления этих слов «в составе речи», как, например, в упоминавшемся выше ответе Воейкову по поводу книг Станевича).

На первый взгляд может показаться, что позиция Шишкова более прогрессивна и исторически перспективна, чем карамзинская: действительно, при оценке фактов языка естественно учитывать контекст, стилистические условия, содержание высказывания и т. д. Но надо иметь в виду, что для Шишкова эти условия сводятся к традиционным «штилям», лишь с теми изменениями, которые внесло в эту традиционную систему развитие «славянорусского языка»; следовательно, его требование рассматривать языковые факты «в составе речи» направлено на узаконение архаики в книжном языке, на закрепление разрыва между книжной и разговорной речью и, соответственно, между высоким и низким стилями. Полемически заостренное отрицание карамзинистами существенных языковых различий между разными видами художественной и нехудожественной литературы, напротив, направлено на преодоление этого разрыва, на утверждение единой, общенациональной нормы. Сами недостатки карамзинской теории и практики — пуризм, излишняя унификация и отсюда экспрессивная бедность языка, особенно когда дело касалось употреб-

---

[53] А. С. Шишков. Рассуждение о красноречии священного писания, Собр. соч. и переводов, ч. IV. СПб., 1825, стр. 58—61, 71—72.

[54] А. С. Шишков. Прибавление к сочинению, называемому «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» или Собрание критик, изданных на сию книгу, с примечаниями на оные. СПб., 1804, стр. 28.

[55] А. С. Шишков. Присовокупление к «Рассуждению о красноречии священного писания». Собр. соч. и переводов, ч. IV, стр. 102—103.

ления элементов народно-разговорной речи, — связаны с прогрессивным характером позиции карамзинистов, исторически обусловлены состоянием литературного языка в конце XVIII в.

Во второй половине XVIII в. письменность концентрировалась на двух полюсах языковой системы: в книжном «славяно-русском языке», унаследовавшем традиции высокого стиля и распространившем сферу своего употребления далеко за пределы собственно высоких жанров, и в низком стиле, охватывающем некоторые жанры художественной литературы и специфические контексты. Понятие среднего стиля как особой категории становилось постепенно бессодержательным и неактуальным, сливаясь со «славяно-русским языком». Формирование в последние десятилетия XVIII в. «простого стиля» литературного языка в том смысле, в каком этот термин употреблен в настоящей работе (см. выше, § 24), свидетельствует о тенденции к возрождению на новой основе актуальности средней литературной нормы, противопоставленной как архаическому, книжному «славяно-русскому языку» и старому высокому стилю, так и простонародной речи и ее воплощению в низком стиле. Может показаться, что происходит возрождение и утверждение системы трех стилей. Но есть принципиальное отличие между стилистическими отношениями в ломоносовской системе и теми, которые складывались в последние десятилетия XVIII в. В системе трех стилей господствует стремление, практически не осуществленное полностью, к регламентации, к распределению стилей по разным сферам художественной и нехудожественной литературы; «штили» призваны сосуществовать, дополнять один другой, образуя в своей совокупности стройную систему. Само формирование трех стилей литературного языка в 30—50-е годы XVIII в. было связано с преодолением той неупорядоченности и зыбкости литературных норм, которыми характеризовался язык конца XVII и начала XVIII в. и которые явились следствием распада системы двуязычия.

Принципиально иные отношения складывались между книжным «славяно-русским языком» и «простым стилем» литературного языка в рассматриваемую нами эпоху [56]. Можно, разумеется, определить, в каких случаях, в какой литературе господствовал язык книжный и когда обращались обычно к «простому стилю», но в принципе трудно говорить о регламентации или кодификации сфер употребления этих двух разновидностей языка. Каждая из них обнаруживала тенденцию к универсальности, к возможно

[56] «Низкий стиль» вообще можно не принимать во внимание в данном случае, так как он все более замыкался в узких рамках некоторых видов художественной литературы. Вообще, как ранее уже говорилось, хотя стилистическая эволюция во второй половине XVIII в. не означает полного разрушения старых жанрово-стилистических отношений, они утрачивали в это время ведущее положение.

более широкому употреблению в различных видах письменности; они не дополняют друг друга, а скорее противопоставлены друг другу как два направления, две тенденции развития литературного языка. Они еще очень неравноправны, занимая различное место в литературной практике: «славяно-русский язык» опирается на давние книжные традиции, «простой стиль» не имеет таких традиций, будучи связан с бытовой речью. Притязания на литературность и этой разновидности письменного языка определили стремление к ограничению в ней простонародного и просторечного элемента.

«Новый слог» развивал и углублял те тенденции, которые были заложены в этом «простом стиле» — стремление к средней литературной норме, враждебной одновременно и книжному «славяно-русскому языку», и низкому стилю. Ю. Тынянов, — не вполне точно, как далее увидим, — замечает, что «младшие современники Карамзина сознавали свой период как период господства среднего штиля, канонизированного, занявшего место высокого и низкого» [57]. Напротив того, традиционные представления о нормах литературного языка вели к утверждению архаического, «славяно-русского языка» как общелитературной нормы книжного языка. Ф. Вигель писал в своих воспоминаниях, что до Карамзина «не было у нас иного слога, кроме высокопарного или площадного; он избрал новый, благородный и простой» [58]. Об этом еще раньше писал П. Макаров, формулируя расхождение между позицией Шишкова и взглядами новой литературной школы. Макаров говорил, что Шишков «различает [книжный язык] только от низкого, простонародного», между тем как тот язык, «который стараются образовать современные писатели», — это «язык средний» [59]. Несмотря на некоторую схематизацию и упрощение, здесь верно схвачено существо различия между «старым» и «новым» слогом. Макаров, в частности, очень точно определил главное в архаистической концепции Шишкова — и это тем более поразительно, что она была ясно высказана только в поздних книгах Шишкова, которые Макаров не мог знать. Действительно, понятие книжного языка (или высокого слога) совпадает для Шишкова с понятием языка «славенского», противопоставленного разговорной речи — языку «русскому», «простонародному». «Хорошие писатели, — говорит Шишков, — конечно, не смешивают славенского языка с русским; но под сими словами разумеется различие высокого слога с простонародным» [60]. Сами примеры, которые демонстрируются Шишковым для доказательства раз-

---

[57] Ю. Тынянов. Указ. соч., стр. 96.

[58] Там же.

[59] П. Макаров. Критика на. . . «Рассуждение о старом и новом слоге. . .», стр. 180.

[60] А. С. Шишков. Присовокупление к «Рассуждению о красноречии священного писания», стр. 102.

личий этих языков (они отчасти выше уже приводились), составляются при помощи искусственного соединения слов высоких и подчеркнуто простонародных, например: «препояши чресла своя и возьми дубину в руки» (ср: «возьми жезл в руце твои»); «несомый быстрыми конями рыцарь внезапу низвергся с колесницы и расквасил себе рожу»; «я, братец, велегласно зову тебя на чашку чаю» [61].

Настаивая на своем мнении, что церковнославянский и русский языки — это лишь разные стили одного языка, Шишков иллюстрирует это положение такими словами из разговорного языка, которые чужды «важным сочинениям»: *калякать*, *кобениться*, *задориться*, *пригорюниться*, *ошеломить*, *треснуть в рожу* [62]. «Если славенский язык отделить от российского, то из чего же сей последний состоять будет? — говорит Шишков, отвечая своим критикам. — Разве из одних татарских слов, как-то: *лошадь*, *кушак*, *колпак*, *сарай* и проч.; да из площадных и низких, как-то: *калякать*, *чечениться*, *хохлиться* и тому подобных; да из чужестранных, как-то: *гармония*, *элоквенция*, *сериозно*, *авантажно* и проч.» [63]. Отказ новых писателей от архаической «славянщины» Шишков воспринимает как уход в простонародность, третьего пути он не видит: «они не из книг, писанных учеными знающими силу языка людьми, хотят учиться оному, но из простонародных разговоров» [64]. Попытки перевода библии с церковнославянского на русский литературный язык он называет «перекладкой священных писаний с высокого и важного языка на простонародное наречие» [65]; его возмущает, что «церковные книги для того, чтоб уронить важность их, будут с высокого языка, сделавшегося для нас священным, переводиться неведомо кем и как на простонародный язык, каким мы говорим между собою и на театре»; такие переводы, — говорит он, — нужны только для того, «чтоб со временем не разуметь церковной службы или чтоб и обедни служить на том языке, на каком пишутся комедии» [66]. Понятия «простонародный» и «разговорный» совпадают для Шишкова; ср. только что приведенные его слова со следующими: «переводы священного писания с высокого языка (называемого славенским) на простой, в общежитии употребляемый язык (называемый русским)» [67]. См. здесь также и такие сопоставления,

[61] А. С. Шишков. Рассуждение о красноречии священного писания, стр. 61.

[62] Там же, стр. 57.

[63] А. С. Шишков. Прибавление к сочинению, называемому «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». . ., стр. 4.

[64] А. С. Шишков. Рассуждение о красноречии священного писания, стр. 60.

[65] Записки адмирала А. С. Шишкова, т. 1, стр. 50.

[66] Там же, стр. 24.

[67] Там же, стр. 59; см. еще замечание Шишкова о переводе священных книг «с высокого церковного языка на простой, театральный» (стр. 90).

как «рече безумец в сердце своем: несть бога» и сочиненное им «дурак говорит: нет бога» [68] и др.

В своих рассуждениях, как видим, Шишков внешне следует ломоносовской теории и пользуется его терминологией [69]. Но он далек от существа и смысла этой теории и — главное — от заложенных в ней тенденций развития.

В этом отношении типична характеристика стилей литературного языка, данная Шишковым в его речи при открытии Беседы любителей русского слова (1811): «Словесность нашу можно разделить на три рода. Одна из них давно процветает, и сколько древностию своею, столько же изяществом и высотою всякое новейших языков витийство превосходит. Но оная посвящена была одним духовным умствованиям и размышлениям. Отсюду нынешнее наше наречие или слог получил, и может еще получить, недосягаемую другими высоту и крепость. Вторая словесность наша состоит в народном языке, не столь высоком, как священный язык, однако же весьма приятном, и который в простоте своей сокрывает самое сладкое для сердца и чувств красноречие... Третия словесность наша, составляющая те роды сочинений, которых мы не имели, процветает не более одного века. Мы взяли ее от чужих народов, но, заимствуя от них хорошее, может быть, слишком рабственно им подражали и, гоняясь за образом мыслей и свойствами языков их, много отклонили себя от собственных своих понятий» [70].

Вместо ломоносовских трех стилей, составляющих цельную систему, здесь выдвигаются две главные «словесности» — высокая, которая составляет или должна составлять основу «нынешнего нашего наречия или слога», и «народная», связанная с фольклором, а также и с «низким слогом»; третья «словесность», собственно средняя, признается чужеродной, заимствованной, создание ее, — говорит Шишков, — «от самого начала необдуманно избранный нами путь, отчасу далее отводящий нас от двух богатейших в языке нашем источников» [71]. Традиционная терминология не должна вводить здесь в заблуждение: говоря о «высоком стиле», Шишков говорит здесь по существу о книжном языке вообще. Очевидно, что Шишков ближе к той стилистической системе, которая складывалась в связи с развитием книжного, «славяно-русского языка», чем собственно к ломоносовской системе, центром которой, ее «душой», был средний стиль. Г. О. Винокур писал о ломоносовской системе трех стилей, что

---

[68] Там же, стр. 61.

[69] См., например, в «Прибавлении к сочинению, называемому „Рассуждение о старом и новом слоге российского языка“. . .»: «Книги пишутся простым, средним и высоким слогом» (стр. 47).

[70] А. С. Шишков. Собрание сочинений и переводов, ч. IV, стр. 139—141.

[71] Там же, стр. 141.

«создание высокого и низкого слогов. . . оставляло свободный путь для развития так называемого среднего слога. . ., где особенно успешно мог продолжаться процесс скрещения книжной и обиходной речи в единый и цельный общеписьменный русский язык» [72]. Но тенденция развития литературного языка во второй половине XVIII в. как раз в том и заключалась, что высокий стиль, вернее, «славяно-русский язык» не оставлял «свободного пути» для развития среднего слога, поглощая его и «захватывая» его функции. В этой связи отношение «старого» и «нового» слога к «историческому делу» Ломоносова оказывается не таким прямолинейным, как это часто представляется. Господство средней литературной нормы (выражаясь традиционными терминами — «среднего стиля») означало возрождение некоторых черт и особенностей ломоносовской системы. Приведенное только что высказывание Г. О. Винокура может быть перефразировано: именно наличие в ломоносовской системе среднего стиля определяло возможность функционирования высокого и низкого стилей. Карамзинский «новый слог», как это далее будет показано на материале, не столько заступил место высокого стиля (поэтому приведенное выше замечание Ю. Тынянова выглядит несколько схематичным), сколько оттеснил и изолировал его, в то время как поглощение среднего стиля архаическим «славяно-русским языком» одновременно означало и ослабление специфики высокого стиля.

§ 30. Необходимо рассмотреть, в связи со сказанным, как отражается принципиальное различие архаистической и карамзинской концепции на оценке л е к с и к и литературного языка, на понимании норм словоупотребления в разных стилях литературного языка.

Когда мы говорим, что «старый слог» не знал собственно среднего стиля, то это означает, как мы уже видели, более широкое и свободное, чем ранее, употребление «славенской» лексики за пределами высокого стиля, ослабление ее стилистической исключительности, ослабление стилистических границ между словами «высокими» и общекнижными, утверждение лексики «славяно-русского языка» в качестве общекнижной литературной нормы.

Шишков как будто отрицает, что он считает высокий слог и вообще книжный язык тождественным «славенскому языку»: «Простой, средний и даже высокий слог российский, конечно, не должен быть точный славенский, однакож сей есть истинное основание его, без которого он не может быть ни силен, ни важен» [73]; «. . . я не то утверждаю, что должно писать точно славенским слогом, но говорю, что славенский язык есть корень и осно-

---

[72] Г. О. В и н о к у р. Русский язык, стр. 78.

[73] А. С. Ш и ш к о в. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, стр. 72.

вание российского языка; он сообщает ему богатство, разум, силу, красоту. Итак в нем упражняться и из него почерпать должно искусство красноречия, а не из Бонетов, Вольтеров, Юнгов, Томсонов и других иностранных сочинителей» [74]. Шишков отвергает упреки рецензента «Северного вестника», будто бы он «хочет, кажется, обратить нас к древнему нашему наречию», заставить объяснять мысли свои «на языке славянском» [75], — и снова говорит, что даже высокий слог не есть «точный славенский». Но это остается декларацией: на самом же деле, особенно в своих поздних книгах Шишков обычно подменяет понятия «славенский язык» и «высокий слог» (или просто «книжный язык») одно другим; а если и различает их между собой, как, например, отвечая Дашкову в «Присовокуплении к „Рассуждению о красноречии священного писания“» то, для того, чтобы сказать, что «не всякая славенская речь есть высокая»; «мы не что иное под славенским языком разумеем, как тот язык, который выше разговорного и которому следственно не можем иначе научиться, как из чтения книг. . . Он есть высокий, ученый, книжный язык» [76]. «Нет! не сближение с славенским языком, но удаление от оного ведет нас к истинному упадку ума и словесности»[77].

Легко заметить, что рассуждения Шишкова не замыкаются в генетических вопросах о родстве русского языка с церковнославянским: они имеют вполне практическую направленность — на утверждение «славенского языка» как нормы современной книжной речи, не только как ее «корня», но и как ее «основания» [78]. «Священные наши книги могут нам служить образцами для наставления нас в искусстве нынешней нашей словесности, подобно как служили они образцами Ломоносову», — утверждает Шишков, считая, что, в отличие от французского языка, который «процветал под пером светских писателей», книжный русский язык процветает только «под пером духовных» [79]. Поэтому, отри-

---

[74] А. С. Шишков. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, стр. 92.

[75] См. «Рассмотрение книги „Рассуждение о старом и новом слоге российского языка“» («Северный вестник», 1804, ч. I) и ответ Шишкова в брошюре «Прибавление к сочинению, называемому „Рассуждение о старом и новом слоге российского языка“», стр. 1 (в этой брошюре содержится также и ответ на рецензию П. Макарова в «Московском Меркурии»).

[76] А. С. Шишков. Рассуждение о красноречии священного писания, стр. 71, 103.

[77] Там же, стр. 76.

[78] См. в связи с этим замечание Дашкова, готового согласиться, чтобы русский литературный язык называли «славено-российским, варягоросским или как бы то ни было. . . если бы г. переводчик Лагарпа (т. е. Шишков. — *В. Л.*) и его последователи довольствовались сими названиями и не выводили из оных весьма пагубных следствий» (Д. В. Дашков. О легчайшем способе возражать на критики, стр. 14—15).

[79] А. С. Шишков. Прибавление к сочинению, называемому «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». ., стр. 93, 108.

цательно оценивая «третью словесность», Шишков зовет и в «светских сочинениях» обратиться к примеру «знаменитых наших витий», которые «громко и приятно умеют бряцать на лирах». Шишков готов отказаться в книжном языке от некоторых церковнославянских грамматических форм, но он не видит основания для отказа от «славенских» слов, как бы они ни казались обветшавшими и неупотребительными (кроме единичных, типа *уне*, *поне*, *вскую*, *аще*, *точию* — и то очень непоследовательно). Так, например, устами «славенина» в диалоге последнего с «русским» он замечает, что не требует употреблять славянское «наречие», а говорит только о словах: «Ежели б я вам сказал: говорите точно *в он же день отдоися*, тогда бы я говорил о наречии. Но я не принуждаю вас говорить *он* вместо *оный* или *отдоися* вместо *отдоился*» [80]; но употребление самого этого слова *отдоить* в таких фразах, как «Мать отдоила своего младенца», он считает правильным и нормальным. В приложенном к «Рассуждению о старом и новом слоге российского языка» списке слов, выписанных из церковного языка, как говорит Шишков, «для показания знаменования оных», а по существу для утверждения их в литературном языке [81], находим такие, как *благоязычие* (красноречие), *брашно*, *вадить* (клеветать, доносить и др.), *верт* (сад, вертоград), *вертотленный*, предлог *в* в архаическом употреблении (типа «будите в сыны сильны», «грех царствует в смерть» и др.), *гобзование* (а также *угобзить*, *угобзиться*), *гонзать*, *детель*, *женуть* (гнать), *капать* (в употреблении типа «уста каплют премудрость»), *любопрение*, *мышца* (в архаическом употреблении), *неищевать*, *низвратить*, местоимения *ов* и *ово*, *персть*, *прелесть* в значении «обман, соблазн, коварство, хитрость» (например, «сатанина прелесть» и под.), *прещение*, *прозябать* в значении «произрастать» и даже «делать землю плодотворной», *углебать* (утопать, погрязать), *уне* (и *унее*, *унший*, т. е. «хорошо, лучше», «лучший» — хотя ранее Шишков сам включал это слово в число обветшалых), *уханье* и др.

Выше упоминалось уже о той борьбе, которую вел Шишков в 20-е годы, в бытность свою министром народного просвещения, против попыток переложения библии и других церковных книг на современный русский язык. Шишков категорически отметает главный аргумент сторонников такого переложения — будто бы «многие славенского языка не разумеют». «Как! сказал я с жаром, — рассказывает Шишков о своем разговоре с митрополитом, защищавшим перевод священного писания на русский язык, —

[80] Там же, стр. 81.

[81] Эта «выписка», говорит Шишков, нужна «для показания, что вместо нелепых новостей, за которыми мы, читая иностранные книги, гоняемся, можно чрез прилежное чтение книг своих почерпать из оных истинное красноречие, обогатить ум свой знанием силы слога» («Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», стр. 172).

кто из нас не разумеет церковной службы? Разве тот один, кто, отрекшись от отечества своего, забыл и язык свой? Можно ли с рассудком поверить, что *верую во единого бога* мы не понимаем, а *верую в одного бога* понимаем? Что *отче наш иже еси на небесех* — есть чуждый нам славенский, а *отче наш сущий на небесах* — собственный наш русский язык? И нужно ли нам на сем, да позволено сказать, толь неосновательном мнении основывать надобность разделения языка церкви с языком народным?» [82]. Еще более решительно говорит об этом Шишков в своей записке «О переводе священных писаний», представленной им императору: «Если скажем, что многие слова вышли из употребления и никто их не понимает, так это неправда: они употребляются в священных писаниях, в церковной службе, во всех высоких светских творениях, в летописях и законах. Не знать их есть утверждать отпадение свое от веры, от языка и от наук». И далее сопоставляются «се жених грядет в полунощи» и «вон жених идет в полночь», «рече безумец в сердце своем: несть бога» и «дурак говорит: нет бога», «аз есмь господь бог твой» и «я господин бог твой» [83].

Наличие слова у Ломоносова, вообще у кого-либо из старых поэтов, или включение его в Словарь Академии Российской служит для Шишкова вполне достаточным доказательством жизненности и актуальности этого слова. Так, в полемике с Воейковым, критиковавшим архаиста Станевича за употребление обветшалых славянизмов, Шишков замечает: «Он (Станевич. — *В. Л.*) приемлет за русские слова все те, которые внесены в Словарь Российской Академии и которые найдутся, еще в книгах, достаточными для того, чтобы быть внесенными в оный; а вы под словом *язык* разумеете, по-видимому, одно только некоторое наречие, употребляемое в простых разговорах. Вы соумещаете язык свой в тесном и малом круге, а г. Станевич в обширном и великом». Перечисляя слова, за употребление которых Воейков упрекает Станевича, Шишков пишет: «Вы не можете сказать, чтоб слов сих не было в языке; ибо они есть. Вы не можете сказать, что слова сии не употребляются, обветшали; ибо он (Станевич). . . покажет и в Ломоносове и Сумарокове, и в Державине, и в Хераскове и во многих других писателях, заслуживших себе имя» [84].

---

[82] «Записки адмирала А. С. Шишкова», т. 1, стр. 52.

[83] Там же, стр. 60—62; в последнем примере Шишков готов признать местоимение *аз* неупотребительным, но считает, что заменять его словом *я* не следует, так как «когда одному позволено переменить *аз* в *я* по неупотребительности местоимения *аз*, то другой по той же самой причине переменит слово *господь* в *господин*» (стр. 62).

[84] «Драматический вестник», Прибавления (статья подписана псевдонимом «Правдолюб»). См. также в «Присовокуплении к „Рассуждению о красноречии священного писания“»: «Все те имена, какими лучшие наши творения и высокий язык священных книг преисполнен, все то, что в Ака-

При защите прав на литературность обветшалых славянизмов Шишков охотно пользуется этимологическим (или словообразовательным) критерием, органически чуждым карамзинистам, когда речь идет о стилистической оценке слов. Шишкову должны казаться бессмысленными и противоречивыми рассуждения вроде следующего, принадлежащего Дашкову: «Хотят уверить нас, — пишет Дашков, — что мы непременно должны употреблять славенское слово *доилица*, и что мы совсем не знаем прилагательного *воздоенный*, между тем, как все говорят у нас: *Юпитер воздоенный на горе Иде* — или в стихах: *Поэт в объятиях фортуны воздоенный*» [85]. В диалоге «славенина» и «русского» в «Рассуждении о красноречии священного писания» Шишкова настойчиво доказывается, что признание употребительности какого-либо слова механически должно влечь признание и всех остальных слов этого корня: «Вы видите, что все сии слова, наподобие ветвей дерева, произошли от одного корня. Каким же образом в одном и том же дереве одни ветви называете вы березовыми, а другие сосновыми»; поскольку есть в языке *доить*, *отдоить корову*, *подойник*, *удой* и под., не могут считаться устарелыми *доить* в значении «кормить», *воздоить*, *воздоенный*, *доилица*; нельзя признать обветшавшим глагол *бавить*, если употребительны *прибавить*, *убавить*, *забава* и проч. [86] Вот еще образец рассуждения Шишкова: «Если скажем, что *лепота* есть славенское, а *красота* русское слово, то к какому же языку причислим слово *великолепие*? Буде к славенскому, так по правилу сих проповедников в нынешнем наречии употреблять его не должно, а буде к русскому, то каким образом, не знав, что *лепота*, будем мы знать, что *великолепие*? Ежели скажем, что глагол *делаю* есть русский, а *дею* славенский, так зачем же говорим *злодеяние*, *злодей*?» [87]

Шишков критикует иногда применение некстати высокого слога; так, он замечает, что монолог Тамиры в трагедии Ломоносова «Селим и Тамира» не подходит «устам любовницы»: «Слыша ее звучащу таким величавым слогом, не паче ли она воображается нам Гомером или Демосфеном, нежели младою, страстною царевною?» [88] Он находит «надутым», «напыщенным» перевод «Освобожденного Иерусалима» Тасса: «Высокопарность хороша у места, — учит он. — В переводе классического стихотворца должно не только соблюдать смысл, но и те самые краски употреблять, ка-

---

демический словарь включено. . . все то, говорю, сии судьи и стихотворцы отмещут» (стр. 102).

[85] Д. В. Дашков. О легчайшем способе возражать на критики, стр. 22.

[86] А. С. Шишков. Рассуждение о красноречии священного писания, стр. 76—86.

[87] Там же, стр. 59—60.

[88] А. С. Шишков. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, стр. 151.

кие он употреблял»; «напрягать и возвышать мысли свои там, где течение их должно быть простое и естественное, не есть красноречие» и т. д. [89] Но легко заметить, что эта критика редко касается собственно языка (например: «здесь никакой нет нужды выражать простую мысль сию отборными словами: *восстали*, *стремятся*» [90]), а чаще всего самого характера образности; вот несколько примеров: «Хотя в переводе сей строфы смысл подлинника довольно сохранен, — говорит Шишков об одной из строф „Освобожденного Иерусалима“, — однакож многими надутыми выражениями весьма удалился от той приятной простоты, с какою повествует Тасс, в котором нет ничего напыщенного: ни *холмов разноцветных*, ни глагола *дарить*, ни хартии *тайной*, ни странствия *жестокого*, ни *дня румяного востекшего высоко*, ни восклицания *се дар*»!; *на зыби лона влажна* — цитирует он перевод и замечает: «в подлиннике нет *зыбей*»; «*И се*! *их ставит вал на холм песка прибрежный*. Какой *вал*? какой *холм песка прибрежный*? откуда они взялися? У Тасса их нет. . . Тасс говорит: *зрят малую ладию*, переводчик прибавляет к сему: *уже оснащена*». «В сей строфе нет даже и тени тассовых мыслей, или по крайней мере они так переиначены, что их узнать невозможно. Простое выражение: *она имела власы кудрявые* похоже ли на то, что *волосы у нее льются с чела и свиваются с какими-то другими кудрявыми волосами*» и т. д. [91]

Любопытно, что в раскритикованных местах перевода внимание Шишкова не привлекают слова *днесь*, *рек*, *се*, *мышцы дебелы*, *седяща на корме*, *дхновение*, *вещать*, *выя*, *выспрь*. И в собственном его прозаическом переводе «Освобожденного Иерусалима» (отрывки из 15-й песни этого перевода Шишков приводит в своей критической статье, противопоставляя их переводу Мерзлякова), хотя и написанном намного проще (ср. здесь *шея* вместо *выя*, *сказал* вместо *рек*, *вот* вместо *се* и т. д.), найдем «глубокое недро», «зрят они обещанного проводника», «тако рекла жена», «се достигают они туда», «имела власы кудрявые». Можно привести примеры и из других мест перевода Шишкова: «согроможденные для сего воинские снаряды»; «тако с почтенною вещает. . . ему важностью»; «потом шел Готфред, аки верховный вождь» (песнь XI); «храбрая ратоборица, алчущая чести и славы»; «тако рекла»; «восприяв прежнюю веселость, вещает ему»; «зрак ее просиявал радостью» (песнь XII); «покивал главою и усмехаясь рек»; «Тако сие твердое, никаким зраком смерти не возмущаемое, но в единой токмо любви слабое сердце, обмануто было тщетным привидением и ложными жалобами. Между тем сильный вихрь

[89] А. С. Шишков. О переводе классических стихотворцев. Собр. соч. и переводов, ч. IV, стр. 363, 364 и др. Шишков не называет имя переводчика — им был А. Ф. Мерзляков.

[90] Там же, стр. 365.

[91] Там же, стр. 363—371.

подхватя падший меч его унес из леса. Сим образом пошел он побежденный, и уже на пути обрел его и паки препоясал»; «тако рекши, помавал главою»; «се несутся облаки» (песнь XIII) и т. д. [92] Любопытен еще следующий пример из «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка». Шишков высоко оценивает умение Ломоносова «в высоком слоге помещать низкие мысли и слова»; он приводит ряд таких слов из его поэмы «Петр Великий»; среди них — *тащить за волосы, удалая голова*. Шишков как бы забывает при этом, что у Ломоносова здесь не *тащить за волосы*, а *за власы влекут*, не *удалая голова*, а *удалая глава* («удалых глав печаль») — как и сам он приводит эти места в сноске [93]; ясно, что Шишков думает здесь о низких мыслях, но не о низких словах. Таким образом, роль книжного «славенского» языка не ограничивается у Шишкова собственно высоким слогом — и здесь он снова ближе к «славяно-русскому языку», чем к ломоносовской системе. Подобно карамзинисту Макарову, он видит своеобразие высокого слога также и в самой образной структуре произведения, в характере метафор, в «цветах поэзии» [94]. Но Макарову это необходимо для утверждения средней литературной нормы как базы даже для высоких по своему содержанию произведений; у Шишкова это служит средством узаконения «славенского» элемента не только в собственно высоких произведениях, но в книжном языке вообще [95].

Признанию «славенского» языка — во всем его объеме, представленном традицией книжного языка второй половины XVIII в. и церковной письменности (по крайней мере, поскольку дело касается лексики), — живой и продуктивной основой литературного языка карамзинисты противопоставили о т б о р жизнеспособных элементов старого книжного языка с точки зрения «вкуса», оценку их с позиций «средней» литературной нормы, установление которой воспринималось ими как главная задача. Применительно к славянизмам стали актуальны такие оценки, как «обветшалое» или «необветшалое», «свойственное» и «несвойственное» и т. д. Для представителей «нового слога» «славянский» язык, по выражению В. В. Виноградова, «не представлял структурного

---

[92] А. С. Ш и ш к о в. Собрание сочинений и переводов, ч. IX.

[93] А. С. Ш и ш к о в. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, стр. 15—16.

[94] Сам Шишков, впрочем, плохо различал эти разные явления; см. замечание М. Дмитриева о том, что для Шишкова «слово, оборот речи и самая метафора, все это, и фигуры и тропы, принадлежали самому языку» (М. А. Д м и т р и е в. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, стр. 73).

[95] См., например, замечание Шишкова в «Присовокуплении к „Рассуждению о красноречии священного писания“»: «Неужели всякая славенская речь есть высокая? Неужели *хощеши ли, дам ти подзатыльницу* есть такой же высокий язык, как *трепетна бысть земля и основание гор смятошася*?» (стр. 103).

единства» [96]. Большой интерес в этом отношении представляют рассуждения Д. В. Дашкова — автора остро критической рецензии на сделанный Шишковым перевод двух статей из Лагарпа («Цветник», 1810, № 11—12) и книжки «О легчайшем способе возражать на критики» (1811), написанной в ответ на «Присовокупление к „Рассуждению о красноречии священного писания“», где Шишков возражает на критику Дашкова. Дашков последовательно развивает враждебный концепции Шишкова взгляд на русский и «славенский» как на разные языки, а не разные «слоги» одного языка. Поэтому и высокий стиль для Дашкова — это русский язык, лишь пользующийся «помощью славенского языка»; заслуга Ломоносова, с точки зрения Дашкова, в том и заключается, что он «разделял» эти языки. Дашков, как видно, отчетливо различает понятия «славенский язык» (даже если иметь в виду только словарный его состав) и «славенские слова» в русском языке. Дашков не согласен с «напыщенной похвалой славенского языка» как языка будто бы «чистого» и «великолепного» и противопоставляет этой точке зрения свидетельство синода, признавшего — в предисловии к изданию библии, — что «древние слоги речей *стропотни* и речения грубы». Верно, что «славенские слова» способны обогащать и украшать русский язык; важно, однако, что в сочинениях образцовых писателей «язык наш, хотя наполненный великолепием славенского, не престает однако ж быть русским» [97]. Для того, чтобы почерпнутые из славенского языка слова так органически были усвоены, надо соблюдать условие, «чтоб выражения и обороты, заимствованные нами, не были противны собственному языку нашему» [98]. Отклоняя от себя обвинение в презрении к «славенскому языку», Дашков повторяет эту мысль: «Я сказал только, что не должно употреблять в русском языке несвойственных ему славенских выражений и оборотов, что совсем не значит презирать славенский язык, корень нашего» [99]. Защищая свое выражение «русский язык сам по себе», которое Шишков считает бессмысленным, Дашков разъясняет, что «сам по себе» не означает «без славенского», но «представляет русский язык обогатившимся от оного и уже отделенным, представляет его, как он теперь есть, как ныне употребляют его Державины, Дмитриевы, Карамзины, без излишней при-

---

[96] В. В. Виноградов. Язык Пушкина, стр. 45. См. здесь же (стр. 45—76) анализ взглядов «славянофилов» и «западников» по вопросу о церковнославянизмах.

[97] «Цветник», 1810, № 11 (ср. замечание А. С. Шишкова на эти слова: «Ежели язык наш, наполненный великолепием славенского, не престает быть русским, так по той же причине, наполненный простотою русского, не престает быть славенским». — «Присовокупление к „Рассуждению о красноречии священного писания“», стр. 101—102).

[98] Там же.

[99] Д. В. Дашков. О легчайшем способе возражать на критики, стр. 24.

меси обветшалых, славенских слов» [100]. Таким образом, лексический состав церковнославянского языка Дашков, как и другие представители карамзинского направления, оценивает дифференцированно, принимая одни слова и отвергая другие. Так, по поводу перечисленных Шишковым двенадцати слов, которые он защищает от нападок сторонников «нового слога», Дашков замечает, что шесть из них — *чресла*, *жезл*, *препояши*, *плотоядный*, *бдение*, *воздоенный* — «употребляются, хотя и с осторожностью, в высоком слоге нашего языка», остальные же шесть — *безлучный*, *огнезарный*, *безлестный*, *всезлобный*, *воссоздать*, *стыдение* — «действительно, либо неупотребительны, либо употребляются неправильно — например, *огнезарный взор*, *безлестный зрак*» [101]. Можно отметить здесь традиционность терминологии у Дашкова (его способ изложения вообще находится в большой зависимости от старых понятий и категорий), можно заметить, что конкретные характеристики отдельных этих слов спорны и субъективны, но главное здесь то, что характерно для всего нового направления — самый факт отбора, дифференцированного подхода к традиционной, «славенской» лексике.

Это обстоятельство имеет важное и принципиальное значение. Выработка независимого от жанровых правил нормативного критерия, отражающая тенденцию развития единой общенациональной литературной нормы, стремление к разрушению языковых перегородок между стилями литературного языка — все это явилось развитием и продолжением тех процессов, которые характеризовали историю литературного языка во второй половине XVIII в. Однако надо иметь в виду, что, как выше было показано, подтачивая и разрушая постепенно систему трех стилей, эти процессы слабо затрагивали самый язык (по крайней мере, поскольку это касается лексики). Только в «карамзинском» направлении, как это естественно следует из сказанного выше, выдвигается вопрос о пересмотре и переоценке самого материала литературного языка.

§ 31. Уже говорилось, что предшествующий период в развитии литературного языка характеризовался стиранием или ослаблением стилистических характеристик, стилистических границ внутри книжной лексики. «Карамзинский» период, напротив, обострил эти характеристики, выявил и резко обозначил эти границы, и в этом нашел свое выражение тот отбор в обширной и нерасчлененной области книжной лексики, осуществление которого было одной из основных проблем русского литературного языка конца XVIII в. Яснее стала граница между лексикой высокой и общекнижной; четче обозначились различия и внутри самой общекнижной лексики; определился фонд нейтральной лек-

[100] Там же, стр. 59.
[101] Там же.

сики, отграниченной не только от слов книжных, но и от просторечия.

В соответствии с этим можно назвать следующие основные процессы в развитии лексики литературного языка, нашедшие отражение в «карамзинском» направлении, в «новом слоге».

1. Выход из употребления значительного слоя книжных «обветшалых» слов, не несших в пределах книжного языка каких-либо дополнительных стилистических функций. Эти слова оказались отграниченными, с одной стороны, от тех славянизмов, которые сохранились в языке как слова высокие, торжественные или «поэтические» (о них ниже), и, с другой стороны, от той книжной лексики, которая обнаруживала тенденцию к ассимиляции в литературном языке, приближаясь (хотя и не смыкаясь с ним, по всей вероятности, полностью) к нейтральному языковому фонду. В этом процессе с наибольшей последовательностью отразилось развитие языка в сторону очищения его от тех элементов, на которых лежит печать схоластической учености и приказного слога, печать, как говорили, «педантства». Развитый «вкус» отвергал эти архаизмы, где бы они ни были — в любом жанре, в любом контексте. Естественно, что самый объем этой лексики установился не сразу: сказывалось различие в понимании норм языка у представителей разных поколений, людей разных пристрастий и разной выучки и т. д. Тем не менее само направление процесса, тенденция развития языка были выражены вполне отчетливо.

2. Сложнее обстоит дело со словами, не утратившими своего высокого, риторического характера, связанными с традициями высокого стиля. Наличие в этих словах определенной стилистической выразительности делало их более живым и устойчивым элементом литературного языка, чем архаизмы общекнижные. Но употребление этого рода лексики в рассматриваемый нами период становится более ограниченным и упорядоченным. Отчетливо обнаруживается стремление освободиться от такого употребления этих слов, которое не было бы как-либо стилистически мотивировано, т. е. от их употребления как «нейтральных» элементов книжного языка, что было характерно для «славяно-русского языка». В этом случае они так же нежелательны, как те архаизмы, о которых сказано выше: они тоже создают «надутость» слога и изобличают в авторе «педанта». Но в отличие от этих последних, они вполне приемлемы в определенных стилистических условиях. Характеристика этих условий, однако, представляет значительные трудности, которые связаны, в частности, с тем обстоятельством, что приметы новой, «карамзинской» стилистической системы сосуществуют в этот период с системой традиционной, основанной на жанрово-стилистических критериях, — особенно в области художественной литературы. Тенденции развития «нового слога» были таковы, что возвышенный слог должен

был быть ограничен некоторыми специфическими контекстами, связан с конкретным стилистическим заданием, но независим от жанра произведения. В то же время традиции старого высокого стиля были еще настолько актуальны, что даже карамзинисты, если им приходилось обращаться к высоким жанрам (например, к оде), оказывались в плену этих традиций. Однако и здесь скажется различие в понимании границ высокой лексики у представителей старого и нового литературных направлений (ср., например, лексику од Державина и высокой лирики Карамзина и Дмитриева в конце XVIII и начале XIX в.; см. стр. 255 и сл.).

3. Один из важнейших процессов «карамзинского» времени — формирование на базе старой высокой лексики, тщательно отобранной и ограниченной, так называемой поэтической лексики, составившей своеобразие поэтического языка большого периода в истории русской литературы и русского литературного языка. Признаки этого явления можно было обнаружить еще в средних стихотворных жанрах классического периода, но только для конца XVIII и начала XIX в. можно говорить о поэтической лексике как о стилистической группе, категории литературного языка. Этот процесс, заключающийся в изменении ф у н к ц и и традиционного материала, разъяснен в работах Г. О. Винокура и Г. А. Гуковского. «Старым словам, обладавшим в прошлом разного рода «высокой» экспрессией — то эмоциональной «громкости» и «пышности», то рассудочной отвлеченности, то гражданственности, — писал Г. О. Винокур, — теперь . . . была сообщена экспрессия «сладостности», нежности, пластичности и музыкальности» [102].

Важно заметить, что изменение в ы с о к о г о в п о э т и ч е с к о е выходит за рамки обычного изменения стилистической окраски языковых элементов. В данном случае мы имеем дело с принципиально иным стилистическим планом, с категорией иной стилистической системы. В принципе она враждебна высокому стилю — в его старом смысле — как определенной жанровой условности. Само соотношение языка и темы, содержания здесь иное. В высоком стиле выбор слов связан с высоким содержанием, определившим и выбор жанра (или, как, например, у Радищева, ориентацию на слог этого жанра). Возможное здесь соединение высоких слов с «невысокими» предметами или явлениями (например, *за власы влекут* у Ломоносова, *огнь в пещи возжечь* у Сумарокова или *персть под копытами коня* у В. Петрова) оправдано тем, что эти обычные, простые предметы «включены» в высокую тему, представляют собой лишь элемент высокого содержания. Когда

---

[102] Г. О. В и н о к у р. Наследство XVIII в. в стихотворном языке Пушкина. Избр. работы по русск. языку, стр. 337; см. также: Г. А. Г у к о в с к и й. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII в. Л., 1939, стр. 277 и сл.

Тредьяковский упрекает Сумарокова в том, что его героиня говорит *опять* вместо *паки*, то он исходит не из содержания данной речи или характера персонажа, а просто из того, что в «красном слоге» нельзя употреблять простых слов. Автор, по существу, обязан употреблять высокие слова, если он заранее связал себя темой и жанром, стилистический отбор заранее предопределен.

Принципы употребления «поэтической» лексики прямо противоположны. Стилистическая окраска слова здесь не определяется предметом, а накладывается на предмет, поэтизирует его — и нередко чем ближе предмет к бытовой жизни, чем менее поэтичен он сам по себе, тем необходимей оказывается поэтизация его при помощи отобранного слова; ср., например, *вретено*, *крава*, *класы* у поэтов «карамзинского» направления [103] или изысканные перифразы типа *нимфы радости* для обозначения женщин легкого поведения. Употребление поэтической лексики в литературе карамзинской школы трудно прикрепить к каким-либо определенным темам или контекстам, тем более — к жанрам. Принципиально эти слова уместны в любом описании или повествовании, в речи большинства персонажей, в любом рассуждении, и, разумеется, не только в поэзии, но и в прозе (поэтому понятие «поэтическая лексика» не означает, что речь идет только о лексике стихотворной речи), и не только в художественной прозе.

Поэтическая лексика может оказаться обусловленной специальными стилистическими задачами, связанными с данным конкретным текстом, но чаще это примета хорошей «поэтической», украшенной речи вообще — и она не нуждается каждый раз в стилистической мотивировке, если не считать такой мотивировкой создание общего «поэтического» колорита повествования в целом [104].

Названные три процесса в области лексики тесно связаны между собой: это разные стороны и грани одного общеязыкового процесса складывания средней общелитературной нормы. В то же время, однако, они до некоторой степени и автономны. Особенно ясно это по отношению к истории высокой лексики, которая, в отличие от двух других процессов, представляет собой вполне традиционную проблему, тесно связанную с судьбой старой «высокой» литературы и в определенном смысле не зависимую от развития норм общелитературного книжного языка. Произведения, относящиеся к традиционным жанрам классицизма, напри-

---

[103] См.: Р. М. Цейтлин. Употребление полногласных и неполногласных вариантов в русском литературном языке конца XVIII—начала XIX в. (Канд. дисс., рукопись). М., 1946.

[104] Разумеется, принципиальная возможность употреблять «поэтические» слова в любом тексте не означает, что практически ею пользуются бездумно и механически. Впрочем, в стихотворной речи условный характер этой лексики более заметен, но это связано во многом с такими факторами, как ритм и рифма.

мер оды, которые изредка писали Карамзин или Дмитриев, остаются во многом фактом старой литературы, хотя и принадлежащим представителям «новой школы» (см., например, «На разбитие Костюшки» Дмитриева — произведение, которое современники даже приписывали Державину, или оду Карамзина «Освобождение Европы»). Даже бесспорный факт более умеренного употребления высокой лексики и ограничения ее состава в этой литературе не имеет принципиального значения для истории литературного языка в целом, хотя очень важен для определения судьбы высокого стиля. Иное дело, что отказ «карамзинской школы» от архаики общекнижного языка распространялся и на произведения высокого стиля и, с другой стороны, стилистическая ограниченность употребления высокой лексики отразилась на составе норм «нового слога». В этом смысле можно говорить о тесной взаимосвязи тех процессов, о которых шла выше речь.

Надо заметить еще, что эти процессы отчетливо демонстрируют и своеобразие развития лексики в отличие от истории грамматики литературного языка. Бесспорно, что стремление к нейтральной норме общелитературного выражения отразилось на всех сторонах языка, но наиболее полно оно осуществилось только в грамматическом строе, в том числе и в синтаксисе. Здесь борьба с традициями высокого стиля была вполне последовательной (что облегчалось отчасти и некоторыми тенденциями развития синтаксиса литературного языка еще в докарамзинский период). Нормы порядка слов, структуры сложного предложения, связи и расположения частей предложения распространились на всю литературу. Стилистические варианты и разновидности обнаружить здесь чрезвычайно затруднительно. Самый ритмический рисунок карамзинской прозы воспринимается как нейтральный и обязательный элемент. В лексике стилистическое выравнивание осуществилось более или менее полно только применительно к просторечию; что же касается лексики книжной, то она определенными своими слоями вошла и в «новый слог» — и не только как его нейтральный элемент, но и как стилистически значимый. Новое, «карамзинское» выразилось здесь в преобразовании стилистических функций разных слоев лексики, в определении их границ и сферы употребления. Карамзин говорил, что он старается писать «чище и живее». П. И. Макаров, определяя заслуги Карамзина, сказал, что он «очистил и украсил» язык. Это сказано очень точно: не только очистил, т. е. стремился освободить от «славянщины», от архаики, от приказного слога и примет «педантства», от простонародности, но и украсил; бесспорно, что этой украшенностью, поэтичностью «карамзинский» слог обязан — если говорить собственно о языке, а не о художественных приемах — прежде всего лексическим и фразеологическим средствам.

В связи со сказанным, прежде чем обратиться к самому материалу, иллюстрирующему названные выше процессы, следует снова остановиться на вопросе о том, в каком отношении находится «карамзинская реформа» к предшествующим этапам в развитии литературного языка, в частности, к ломоносовскому периоду.

Бесспорно, что в принципе она враждебна системе Ломоносова: вместо трех «штилей» — стремление, условно говоря, к одному стилю, к единой общелитературной норме. В этом отношении «карамзинская реформа» продолжает, укрепляет и развивает те процессы второй половины XVIII в., которые разрушали ломоносовскую систему, ломали перегородки между «штилями».

Но мы уже видели на других примерах, что новые периоды в истории языка могут отчасти повторять отдельные черты и особенности языка, как будто уже снятые или ослабленные непосредственными предшественниками. Так, как уже отмечалось, явления второй половины XVIII в. кое в чем перекликаются с доломоносовскими традициями; точно так же «карамзинизм», находясь в сложных отношениях к предшествующему периоду в развитии литературного языка, отчасти повторяет и возрождает некоторые существенные признаки ломоносовской системы. Выше уже говорилось, что опора на «средний язык», на нейтральную норму как структурную основу литературного языка возрождала, хотя и совсем по-новому, актуальность важнейшей категории ломоносовской системы. Обострение ощутимости стилистических свойств слов означало, что границы между разными стилистическими группами слов стали резче и определеннее, сами эти стилистические группы стали более четко противопоставляться друг другу. Очищение «среднего» литературного языка от «славенского», книжно-архаического и высокого элемента способствовало более четкому обособлению этого последнего: сфера его употребления резко сузилась, применение его стало более упорядоченным — отчасти в пределах самого «нового слога», но главным образом за его пределами, в некоторых областях художественного творчества. Действительно, трудно говорить, что «карамзинская реформа» у н и ч т о ж и л а высокий стиль; вернее сказать, что она и з о л и р о в а л а его, точно так же, как «карамзинская литература» не уничтожила еще старую литературу. Традиции высокого стиля еще довольно долго, как далее увидим, мирно уживались, сосуществовали с «новым слогом». В связи с этим возникали совершенно новые отношения между общелитературным языком и языком художественной литературы — как одной из его разновидностей.

«Карамзинская реформа» укрепила принцип стилистической равности, стилистического единства контекста, — правда, гипертрофировав этот принцип; и в этом также можно увидеть

связь с одним из существенных признаков ломоносовской системы [105].

Известно, что современники не только противопоставляли Карамзина и Ломоносова, но нередко и сопоставляли их [106] — и это происходило не только потому, что в них видели реформаторов, начинающих новые этапы в развитии языка (см. например, периодизацию истории языка в мемуарах И. И. Дмитриева), но и потому, что существовали признаки, объединяющие их: стройность системы, ясность стилистических отношений в языке, стремление ограничить функции славянизмов. Любопытно, например, что и в деятельности Ломоносова и в деятельности Карамзина видели борьбу с пестротой в языке [107]. Н. Полевой говорил, что Карамзин «шел с того места, на котором Ломоносов остановился, кончил то, что Ломоносов начал» [108]. Но для того, чтобы идти «с того места, на котором Ломоносов остановился», надо было вернуться к этому месту, раскрыть заложенные в системе Ломоносова возможности развития, отчасти заглушенные архаистическими тенденциями «славяно-русского языка». Но это не был, разумеется, возврат к Ломоносову: «карамзинская реформа» вобрала в себя многое из того, что нашло отражение в развитии языка во второй половине века — и в этом ее сложность.

Говоря о чертах преемственности Карамзина по отношению к ломоносовской реформе, надо строго отличать некоторые структурные принципы от самого языка. Возрождение актуальности, общелитературной значимости «среднего» языка не означает возрождения норм ломоносовского «среднего стиля». «Новый слог» Карамзина является «средним» в том смысле, что он не высокий и не низкий: но это не предполагает непосредственной преемственности между ним и старым «средним стилем». Он вырос на иной почве, его отношение к тому языковому материалу, который был представлен в литературном языке «докарамзинской» поры, сложнее и противоречивее.

---

[105] Шишков в этом отношении проявлял удивительную непоследовательность. Он выступает против смешения славянских и простонародных слов и в то же время видит силу Ломоносова и других писателей в умении соединять высокое с низким. Очевидно, что Шишков не различал соединения «славенского» и русского языков как принцип, определяющий структуру литературного языка (см. у Ломоносова об «употреблении сродного нам коренного славенского языка купно с российским») и смешения этих элементов в конкретных контекстах, что было чуждо системе трех стилей.

[106] См.: В. В. Виноградов. Язык Пушкина, гл. III.

[107] Ср., например, замечание Н. Греча о том, что Ломоносов «изгнал из нашего языка ту неприятную, комическую пестроту, которая безобразила все наши писания от начала XVIII века до его времени» («Чтения о русском языке», ч. 1, стр. 109), и слова А. Бестужева-Марлинского о Карамзине: он «отбросил чуждую пестроту в словах» («Взгляд на старую и новую словесность в России», стр. 527).

[108] Н. Полевой. Очерки русской литературы, ч. 2. СПб., 1839, стр. 6—7.

Начальный период развития «нового слога» (80-е годы)

§ 32. Развитие «нового слога» — в лексике особенно — происходит неравномерно в разных сферах письменности; намечающаяся реформа литературного языка не сразу обнаруживает себя всеми своими сторонами. Наиболее отчетливо сказывается стремление к установлению «средней нормы», к освобождению ее от архаического, «славенского» элемента — как от архаики общего книжного языка вообще, так и от примет высокого стиля. Утверждается литературная роль и уточняются нормы того «простого слога» литературного языка, который противопоставлялся и книжному «славяно-русскому языку», и простонародной речи или ее отражению в произведениях низкого стиля. Именно здесь в наибольшей степени проявляется влияние «употребления», стремление к языку, общему для книг и для разговоров. Но собственно высокого стиля это коснулось еще слабо: «славенский» элемент здесь представлен довольно широко (и это относится не только к старым традиционным высоким жанрам, но к высоким контекстам вообще: к последним десятилетиям XVIII в. жанровый критерий уже вполне обнаружил свою недостаточность). Однако и в высоком стиле наметилось стремление отграничить элементы собственно высокие, стилистически выразительные, от архаики ученого и приказного слога, хотя, как далее увидим, границы эти определились не сразу. Легко заметить, что критическое отношение к нормам книжного «славяно-русского языка» на этом этапе развития «нового слога» особенно заметно принимает форму частичного возрождения — но на иной основе — тех стилистических отношений, которые характеризуют ломоносовскую систему.

Переводы Карамзина этого времени и выходивший в 1785—1789 гг. журнал «Детское чтение для сердца и разума», редактором и основным автором которого был А. Петров, а с 1787 г. также и Карамзин, могут служить хорошей иллюстрацией к сказанному выше. «Детское чтение. . .» в этом отношении особенно интересно и показательно. Само назначение журнала — быть книгой для чтения в кругу «благородного российского юношества» — диктовало необходимость поисков слога простого, доступного, не слишком книжного и не простонародного. Обращаясь к своим юным читателям, издатели говорят о своем стремлении «писать так, чтобы вы все могли понять» (ч. I, стр. 42). Вместе с тем важно заметить, что издатели и авторы журнала не обедняли и не упрощали язык в угоду своим педагогическим установкам, не пытались писать нарочито примитивно: в этом отношении язык «Детского чтения. . .» решительно отличается от языка «Детской библиотеки» Шишкова, простота которого граничит с подчеркнутой элементарностью и примитивностью рассказа.

О «Детском чтении. . .» можно говорить как о своеобразной лаборатории, где вырабатывались основы «нового слога». С. П. Шевырев позднее называл этот журнал «детской школою Карамзина, где он первоначально вырабатывал свой слог» [109]. Вообще издатели журнала придавали ему важное значение как средству приучить русского читателя с детства к чтению на родном языке. Открывая первый номер журнала, издатели говорят о том, что «несправедливо оставлять собственный свой язык, или еще и презирать его». «Всякому, кто любит свое отечество, — пишут они далее, — весьма прискорбно видеть многих из вас, которые лучше знают по-французски, нежели по-русски, и которые вместо того, чтобы, как говорится, с материм млеком всасывать в себя любовь к отечеству, всасывают, питают, возрощают и укрепляют в себе разные предубеждения против всего, что токмо отечественным называется».

В «Детском чтении. . .» уже явственно ощущается стремление очистить язык даже вполне серьезного и «важного» повествования или рассуждения от архаики, от излишеств книжного «славяно-русского языка». Удивляет общность языка в самых различных по содержанию, по теме статьях и художественных произведениях (если не считать некоторых особых случаев, о которых речь будет ниже). Так, например, в диалоге Диогена и Критона (ч. VIII), несмотря на то, что участниками его являются древние греки, нет ни одного высокого или подчеркнуто книжного слова; здесь постоянны: *там* (ср. *тамо*), *только* (ср. *токмо*), *опять* (ср. *паки*), *сделаться* (ср. *соделаться*), *для чего* („почему“, „зачем“, ср. *почто*), *сегодня*, *сегодни* (ср. *днесь*, *ныне*), *здоровье* (ср. *здравие*), *ночь* (ср. *нощь*), *отвечать* (ср. *отвещать* или *ответствовать*), даже *этот* вместо *сей* («не говори этова» и др.); см. здесь также *расстройка здоровья*, *столь неразумно* (ср. *толь*), *как я тобою обязан* (ср. *коль*) и др. Надо полагать, что некоторые особенности этого отрывка, прежде всего, отсутствие местоимения *сей*, связаны с тем, что перед нами диалог, живой разговор: это обстоятельство оказалось важнее, чем характер героев. Но в общем такова же по своей стилистической окраске лексика и других произведений — таких различных по содержанию, как, например, отрывок из древней истории (ч. II), «Повесть о Селеме и Ксамире» (ч. I), статья «О птичьей ловле в Норвегии» (ч. II), «Переписка отца с сыном», «Чувствования после грому» (см. здесь, например, даже в выспренном восклицании о боге: «О *как* он славен! *как* всемогущ! *Как* он милосерд!»), обращение издателей к «благородному российскому юношеству» (ч. I) и т. д. Встречающиеся здесь отдельные устарелые слова свидетельствуют лишь о неизжитых колебаниях в употреблении книжной лексики.

---

[109] М. Погодин. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, ч. 1, стр. 56.

Это некоторые служебные и полуслужебные слова, стилистическая характеристика которых не отличалась яркостью и определенностью: единичные *токмо* (например, в обращении издателей: «. . . против всего, что *токмо* отечественным называется»; в «Деревенских вечерах», ч. XI), *купно* (например, в «Восточной сказке»; но это слово и позднее встречается у писателей «карамзинской школы» и у самого Карамзина), *в рассуждении чего*, *чрез*, *дабы*, *дотоле* и некоторые другие, местоимение *сей* (которое в письменном языке, как известно, сохранялось еще очень долго; впрочем и местоимение *этот* встречается в «Детском чтении. . .» часто, может быть, чаще, чем в произведениях Карамзина 90-х годов и начала XIX в.); некоторые не сохранившиеся впоследствии слова типа *вперить* (например, «правила, которые он желал *вперить* своим детям» «Повесть о Селеме и Ксамире»); иногда это те славянизмы или архаизмы, которые, как уже говорилось выше (см. стр. 81), приближались или даже смыкались с нейтральным языковым фондом, например «во *младых* сердцах» (но чаще *молодой*), *ответствовать*, *ветр*, *здравие*, *тысяща* (например, «тысящу разных голосов» в переводе повести «Альфонс и Далинда», написанной несколько более книжно и риторично, чем другие произведения) и некоторые другие.

Случаи такого рода единичны в «Детском чтении. . .» и не нарушают общего представления о языке журнала [110]. Бесспорно, что язык повестей и рассказов в «Детском чтении. . .» чище и свободнее от архаики, чем более ранние переводы Карамзина такого же рода, например, его прозаический перевод «швейцарской идиллии» Геснера «Деревянная нога» (СПб., 1783). Этот перевод тоже свидетельствует о стремлении избавиться в «чувствительном» повествовании от чрезмерной книжности; см., например, здесь: «молодой пастух», «русые волосы извивались круг его румяного лица, и жаром наполненные глаза в оном блистали», «опять» и т. д. Но представление о «среднем» языке в это время было у Карамзина, очевидно, намного менее отчетливым, чем в период сотрудничества в «Детском чтении. . .». См., например: «с толикою поспешностию»; «ниспадшие дерева»; «повсюду распространились

---

[110] Прогрессивный характер языка Петрова и Карамзина хорошо виден в сравнении не только с языком явных приверженцев славянщины, но и с языком И. И. Дмитриева, в будущем — друга и соратника Карамзина. В его переводе повести Мерсье «Философ, живущий у хлебного рынку» (СПб., 1786), написанном также с явной тягой к среднелитературному слогу, тем не менее встречаем: «подавало причину к толикой радости»; «ты учинишься владетелем пространныя державы»; «порабощен будешь паче других несчастным обыкновениям»; «восхощет»; «наблюдать бдение» (т. е. не спать); «паче нежели другой»; «дабы учиниться великим и милосердным»; «таковые же учинить примечания»; «преходит молчанием»; «с единыя токмо стороны»; «похваловещатели»; «любовью, паче же дружеством»; «преступи за праг»; «понеже», «поелику» и т. д.

вопли»; «восплатить его благодеяние»; «потеряние некоторых из вас своих отцов», очень частые *оный*, например: размышляла о оном три дня»; «глаза в оном (т. е. в его лице. — *В. Л.*) блистали» и др., местоимение *сей* даже в устной речи героев (впоследствии Карамзин осуждал такое употребление); встречается, и тоже в прямой речи персонажа, *понеже* («я теперь стерегу, понеже он был беден, за малую цену сих коз») (ср. в «Детском чтении. . .» *понеже* в изложении судебного приговора [ч. I, стр. 106]).

Таким образом, в 80-е годы — в «Детском чтении. . .», а отчасти и в более ранних переводах Карамзина — происходят плодотворные поиски средней литературно-языковой нормы. Но эти поиски легко уживаются еще у Карамзина с довольно традиционным представлением о высоком стиле литературного языка. Иллюстрацией могли бы служить переведенные Карамзиным в течение 1786—1789 годов поэма Галлера «О происхождении зла»[111], «Юлий Цезарь» Шекспира[112] и отчасти «Эмилия Галотти» Лессинга[113], отрывки из поэмы Томсона «Времена года»[114], оригинальное произведение Карамзина «Прогулка»[115] и некоторые другие[116].

В поэме Галлера «О происхождении зла» в переводе Карамзина (1786) встречаются выражения и слова типа *собор счастливых тварей* (см. примечание переводчика к этим словам: «под сими счастливыми тварями разумеет Галлер альпийских пастухов»), *почто* («Размышление о сих счастливцах часто побуждало меня восклицать: О смертные! *почто* уклонились вы от начальной невинности своей! *почто* гордитесь мнимым просвещением своим!). *Почто* как слово высокое, риторическое встречается в это время у Карамзина довольно часто; М. Погодин сопоставляет это примечание Карамзина с близким по смыслу и общей тональности местом в «Письмах русского путешественника», где вместо *почто* —

---

[111] «О происхождении зла, поэма великого Галлера». [Перев. с нем. Н. М. Карамзина]. М., 1786.

[112] «Юлий Цезарь. Трагедия Виллиама Шекспира». [Перев. Н. М. Карамзина]. М., 1787.

[113] «Эмилия Галотти. Трагедия в 5-и действиях Г. Э. Лессинга». [Перев. Н. М. Карамзина]. М., 1788.

[114] «Детское чтение. . .», ч. IX—XII.

[115] Там же, ч. XVIII.

[116] Возможно, что Карамзин переводил еще некоторые части многотомного сочинения Штурма «Размышления о делах божиих». Однако степень участия Карамзина в переводе «Размышлений. . .» Штурма не определена. И. И. Дмитриев утверждал, что Карамзину принадлежит перевод двух или трех частей (из двенадцати); это предположение поддерживает М. Н. Погодин. Об участии Карамзина в этом переводе может свидетельствовать ответ Новикова на вопросы Московской управы благочиния (см.: Н. И. Новиков. Избранные сочинения, стр. 585). А. Галахов склонен отрицать (между прочим и на основании языка этого перевода, очень архаического) какое-либо участие в нем Карамзина.

для чего [117]. Впрочем, в риторических контекстах *почто* встречается у Карамзина и в 90-е годы, например, в его переводах из Оссиана. См. еще в карамзинском переводе поэмы Галлера: «разве божественный ум не обретал чертежа современнейшего»; «око наше претыкается о наружность»; «в дальнейшем отстоянии от них»; «воспалят огнь, которым ирои пылают»; «чрез тысящу врат»; «воззван к действительности», «позорище», «измождить» и т. д.

О переводе «Юлия Цезаря» и «Эмилии Галотти» Л. Поливанов писал, что они по слогу ниже работ Карамзина в «Детском чтении. . .» [118]. Но это вещи несравнимые. «Юлий Цезарь» (относительно «Эмилии Галотти» Поливанов не совсем прав) — это тот род литературы, которого новые принципы и новые тенденции в середине 80-х годов еще не коснулись или коснулись очень слабо; традиции языка классической трагедии свободно переносились и на драмы Шекспира. Герои Шекспира выражаются в переводе Карамзина следующим образом: «да откроешь мне . . . почто ты так задумчив и какие люди в сию нощь у тебя были»; «лица свои и от самой мрачности сокрывали»; «Разве я твоею соделалась, дабы [119] только вкушать с тобою пищу, услаждать твое ложе. . . Разве обретаюсь я только в предместиях твоея благосклонности? Я, жена. . . которую удостоили боги быть дщерию Катоновою»; «на мрачном челе моем»; «рамена наши, укрепленные сим убийством»; «после скажем тебе причину, почто я, любивший Цезаря, поразил его»; «Честь моя зыблется»; «дух твой от горних мест взирает на нас, о изящнейший» (в англ. тексте — most noble); «О елень благородный» (в обращении к мертвому Цезарю); «О мир! Ты был паствою еленя сего»; «се суть слезы ради дружбы»; «Брут болен, а восстал с здравого ложа своего для того, чтобы предаться вредной мокроте нощи»; «открой мне вину печали твоей» (где *вина* в значении «причина»); «пребудьте до конца спокойны» и др. под. (см. также ниже, § 34). В предисловии к «Юлию Цезарю» Карамзин пишет о Шекспире, что «дух его парил яко орел»; здесь же, впрочем, разговорное *вот* в таких выражениях, как: *вот муж*, *вот характер* [120].

---

[117] См.: М. Погодин. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, стр. 50. О переводе поэмы Галлера Погодин писал, что здесь видно «как еще труден был Карамзину язык, и как робко он следовал по ломоносовскому направлению» (Там же, стр. 48).

[118] Н. М. Карамзин. Избранные сочинения, ч. 1, период 1-й. М., 1884, стр. 21.

[119] Ср. позднее в рецензии Карамзина на перевод «Неистового Роланда» о том, что *дабы*, как и *вследствие чего*, — «это слишком по-приказному и очень противно в устах такой женщины, которая, по описанию Ариостову, была прекраснее Венеры» («Московский журнал», ч. II, кн. 3, стр. 325).

[120] В «Юлии Цезаре» представлено также и просторечие, например, в речи башмачника («правда сказать, против каждого хорошего ремесленника я кропач» и др.), но и это вполне традиционно. Необычно здесь соедине-

Таким образом, слой «славенской», архаической лексики в «высоких» произведениях Карамзина 80-х годов весьма значителен [121].

Можно, однако, заметить, что и в этого рода литературе обнаруживается тенденция к освобождению от слов, «противных слуху», от архаики приказного слога или ученого языка — в отличие от лексики собственно высокой, «громкой», торжественной. Но дело в том, что граница между этими группами еще неустойчива и неопределенна, и поэтому „высокая" карамзинская литература 80-х годов оказывается более традиционной и в отношении употребления архаизмов общекнижного языка, приказного слога.

В связи с этим представляет интерес судьба слов типа *токмо*, *толь*, *паки*, *понеже* и т. д. Как уже говорилось, их трудно причислять к словам собственно высоким, но в «высокой» литературе Карамзина этого периода они употребляются намного свободнее, чем в произведениях «средних», о которых речь была выше. Вот несколько примеров из переводов поэмы Галлера: «коль приятно между древами сими раздающееся эхо»; «тако сотворен был мир духовный»; «токмо нежная сила любви»; «толь сильно к добру не влечется»; «они стремились к богу, яко отечеству своему» и т. д.; см. еще примечание переводчика: «свободная воля причинила падение человека, свободная воля токмо может и паки восставить падшего»; из перевода «Юлия Цезаря»: «почто ты так задумчив; колико подобен ты теперь... дикому зверю»; «толико презрителен»; «токмо» (и чаще *только*); «паки вдруг хладен делается» и др. См. также *толь* в переводе «Гимна» Томсона (из его «Четырех времен года»): «кто вас толь грозно разъяряет»; «толь чудно испещряет» — но и «столь мудро», «все так стройно». В этом переводе находим: «возвысьте все свой глас к превыспренному небу»; «гряди витийственно вникать» и т. д.

Такое употребление этих слов легко объяснить общей эволюцией литературного языка, как она отражалась у Карамзина и его единомышленников: заметно сокращаясь в общелитературном употреблении, эти слова, чуждые разговорному языку, могли

ние высоких и просторечно-бытовых диалогов в одном произведении, но это связано со своеобразием самого жанра. В предисловии к своему переводу (оно представляет собой, как выяснено А. Галаховым, переложение или почти дословный перевод иностранных источников) Карамзин пишет о своем несогласии с Вольтером, осуждавшим в Шекспире «неприятную смесь высокого и низкого»: «Каждая степень людей, каждый возраст, каждая страсть, каждый характер говорит у него собственным своим языком». Разумеется, русский перевод ни в коей мере не передает этого разнообразия шекспировского языка; но здесь есть такая попытка, выполненная средствами традиционной драматургии классицизма с ее высоким и низким стилями.

[121] Кроме упоминавшихся выше слов, в различных произведениях этого времени встретим слова *лествица*, *рамо*, *сретение*, *орало*, *се*, *велелепный* и др; об этом см. в кандидатских диссертациях: В. П. Уткина. Лексика ранних повестей Н. М. Карамзина, 1948; Е. Г. Ковалевская. Борьба вокруг карамзинской реформы в конце XVIII — нач. XIX в., 1955.

тяготеть некоторое время к высокому лексическому фонду; впоследствии тенденция к очищению и высокого стиля от слов книжных, приказных, «ученых», от языка «педантов» и развитие поэтической лексики, послужившей своеобразным регулятором и внутри лексики собственно высокой, способствовали тому, что слова эти перестали восприниматься и как выразительные приметы возвышенного, риторического слога. Но процесс этот шел медленно, противоречиво и неравномерно для разных слов этой группы. Так, если судить по словоупотреблению Карамзина в 80-е и отчасти 90-е годы, слово *паки* оказалось в этом отношении в ином положении, чем, например, *токмо*, *толико*, *тамо* и некоторые другие. Будучи более, чем эти последние, чуждо нарождающейся норме общелитературного «среднего» языка, оно тем устойчивее могло сохраняться как элемент высокого стиля. Это, очевидно, в той или иной степени относится также к таким словам, как *почто*, *понеже*, *коль*, может быть, *толь*, *тако*. Во всяком случае, в разное время или одновременно, но у разных людей, даже у одного и того же лица в разных текстах эти слова занимают разное место в языке. Их употребление может быть связано с архаическими устремлениями автора; оно может отражать устарелое, но еще не исчезнувшее представление о нормальном литературном языке вообще; наконец, эти слова могут примыкать к лексике высокой, риторической, рассматриваться как стилистически выразительные средства языка. Словоупотребление Карамзина в 80-е годы и, может быть, в начале 90-х гг. ближе всего к этому третьему типу.

Большое значение для уяснения пределов лексических вариантов в языке Карамзина периода «Детского чтения. . .» имеют произведения типа его «Прогулки» (ч. XVIII, 1789). Написанное гладким, очень чистым и умеренным языком, в местах патетических — в авторском размышлении, в обращении старца к солнцу — это произведение демонстрирует карамзинский «высокий слог»: «сколько тысящелетий питаешь его [наш мир] животворными своими влияниями» [122], «глаза мои не совращались

[122] Здесь обращает на себя внимание слово *влияние* в архаическом и высоком употреблении. Любопытно, что, цитируя это место в своем примечании к переводу отрывка из Гарве, помещенному в «Московском журнале» (ч. VI, кн. 2, стр. 174), Карамзин пишет здесь *излияниями*: очевидно, к этому времени новым и обиходным значением слова *влияние* затруднялось такое его архаическое употребление. Впрочем, уже и в «Детском чтении. . .» (ч. X, 1787) в переводе отрывка «Лето» из поэмы Томсона Карамзин рядом с *без твоего оживляющего влияния* пишет *излиянием твоея силы*; ср. в переводе Д. Дмитревского поэмы Томсона «Четыре времени года» (М., 1798), где это место читается: *дышат твоим влиянием жизни*. Об эволюции значения и употребления слова *влияние* в XVIII в. см.: В. В. Виноградов. О некоторых вопросах русской исторической лексикологии, стр. 188—189; G. Hüttl-Worth. Die Bereicherung des russischen Wortschatzes, стр. 86—87; см. также: М. П. Мишин. Несколько справок из истории лексики русского литературного языка. «Уч. зап. Пермского гос. пед. ин-та», вып. 17, стр. 93.

с солнца; Куда же сокрылось ты, пышное светило? Ах! почто не всегда освещаешь ты нас?. . . Теки, теки, куда влекут тебя вечные законы твоего движения» [123]; «ручьев, стремившихся по зеленому лугу» [124]; «и се растекается сие животворное чувство по всей внутренности моей»; «гласом творческим» [125]; «сия скромная царица нощного неба» (о луне); «О дабы ты, прекрасная Цинтия, вливая в меня. . . сновидения»; «О, дабы мечты мои уподобились некогда мечтам Омировым и Оссияновым» [126]; «возмогу сносить свет, окружающий престол твой»; «бальзамический сон ниспустился на мои зеницы»; «я встал и восшел на самую вершину холма»; «возгласили птицы громкую песнь»; «нервы духовного зрения его чувствуют легкие сладостные впечатления духовных предметов» [127]; «провождал я глазами велелепное солнце» и некоторые другие.

Легко увидеть, что архаический «славенский» элемент представлен здесь очень умеренно, в довольно слабой концентрации, и при этом надо помнить, что так написаны только наиболее риторические места «Прогулки». Остальной текст намного проще, и даже в тех местах, откуда взяты приведенные фразы, находим постоянно: *глаза* («глаза мои не совращались с солнца»; «благодетельный сон начинал закрывать глаза мои»; «открыл я глаза свои», даже «провождал глазами велелепное солнце»), *встретить* («встретят тебя с радостию», ср. *сретать*), *ночь* (наряду с *нощь*), *разбудить* («вестник утра разбудил меня раннею своею песнию», ср. *возбудить*), *встать* («я встал и восшел», ср. *восстал*); *вкупе* (ср. *купно*); см. также слово *теперешний*: «человек, в теперешнем его состоянии» [128] и др. Самый состав «славенской» лексики ограничен

---

[123] *Влекут* здесь в прямом значении, поэтому оно звучит как слово архаическое и высокое, ср. переносное значение этого слова; в Словаре АР первым значением для *влеку* дано: «Употребляя силу, тащу, тяну».

[124] *Стремиться* — в первоначальном значении «двигаться в каком-либо направлении»; см. Словарь АР.

[125] См. в Словаре АР: *творческий* — «принадлежащий или свойственный богу, яко творцу в сем мире вещей».

[126] О таком употреблении слова *дабы* см. выше, стр. 28.

[127] *Впечатление* здесь в его исконном значении (хотя и в переносном употреблении) как имя действия от *впечатлеть, впечатлевать*; см. Словарь АР; см. также ниже, стр. 170.

[128] Шишков критикует употребление Дашковым в его рецензии на перевод «двух статей из Лагарпа» слова *теперешний* («большая часть наших теперешних выражений»), считая, что здесь правильнее было бы *нынешний*, так как оно «возвышеннее» («обстоятельство, принадлежащее до слога», — разъясняет Шишков) и «обозначает большее количество» («обстоятельство, относящееся к разбору смысла слов»): «весьма бы странно было вместо *который теперь час* спросить: *который ныне час*? или вместо *мы в нынешнем посту говели*, сказать *мы в теперешнем посту говели*» (А. С. Шишков. Присовокупление к «Рассуждению о красноречии священного писания», стр. 98). Дашков соглашается, что *нынешние выражения* было бы «здесь приличнее», чем *теперешние*, «хотя, — добавляет он, — мое *Рассмотрение* писано не возвышенным, а средним слогом» (Д. Дашков. О легчайшем спо-

действительно «высокими», стилистически выразительными словами; тяжелый ученый и приказной слог не нашел здесь отражения. Но среди этой высокой лексики находим трижды *паки* — в наиболее выспренных местах: «Мало-помалу *паки* ниспадал дух мой от сфер небесных к земному жилищу своему»; «обновленная натура в торжественном молчании готовит приять огненного царя своего, *паки* на наш горизонт шедшего»; «Се *паки*, боже! посылаешь к нам вестника щедрот своих» (последний пример — из перевода «Гимна» Томсона); см. также «коликое число мудрых. . . воспевали силу твою»; «колико ты для меня драгоценно!»; «толь сильно» (наряду, впрочем, со *сколь*, *столь*, *столько*). *Паки* встречаем также в переводе отрывков из «Созерцания природы» Бонне («Детское чтение. . .», ч. XVIII) и тоже, очевидно, как принадлежность возвышенного стиля; здесь же несколько раз *понеже* и единичные *толь* и *толикий* (при обычных *столь*, *такой*) [129]. Единственный, кажется, случай употребления *паки* в «Письмах русского путешественника» падает на переложение отрывка из философского рассуждения Гердера «Бог»: «Она [лилия] *паки* пробудится от зимнего сна своего и восстанет в новой весенней красоте подле милых дщерей бытия своего» (Веймар, июля 20) [130].

Особого внимания заслуживают напечатанные в частях IX, X, XI и XII «Детского чтения. . .» лирические монологи «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», представляющие собой прозаический перевод некоторых мест из поэмы Томсона «Четыре времени года». Отрывок «Лето» (ч. X) сопровождается следующим примечанием: «Напечатанное в конце IX части сочинение под названием „Весна“ и сие предложено читателям нашим для того, чтобы познакомить их со слогом поэзии» (в издании 1818 г.: «с стихотворческим слогом»). Уже, следовательно, для 80-х годов можно говорить о попытках выделить поэтическую речь как особый «слог», не соотносительный с классическими «штилями». Но в это время особенно отчетливо видна зависимость этой поэтической речи от традиций высокого стиля; во всяком случае, трудно отграничить ее от того представления о высоком стиле, которое воплощено в упоминавшихся выше произведениях и переводах Карамзина. В лексике это особенно очевидно. Здесь найдем не только: *древа распускаются*, *южный ветр*, *наступает тихая нощь*, *глас любви*, *глас невинного веселия*, *младые птички*, *солнце позлащает горы*, *любящий грозу вран*, *вечный огнь*, *чадо солнца* и под., но также: *налагает цепи мраза* (*мраз* встречается еще несколько раз), *отверзаются облака*, *сие таинственное сокровище здравия*, *достоин воззрения*, *совокупляются птицы в хоры*, *сладкопение*, *буди благо-*

собе возражать на критики, стр. 35). Ясно, что употребление этого слова в «Прогулке» Карамзина не совпадает с позднейшими рекомендациями Шишкова ни с точки зрения «смысла», ни с точки зрения «слога».

[129] О языке этого перевода подробно см. ниже, § 33.

[130] См. ниже, стр. 236—237.

словенна, соплетает венок, кто восстал рано, тысящию теней, горы воздымают к небесам зеленеющиеся главы свои, нудит искать, оку моему открывается, пребыть, низверглось бы солнце купно со всеми угасшими звездами; встречается здесь и *яко, толь* (например: «древо сие, толь долгое время могущество времени презиравшее»).

Таким образом, эти отрывки, как и произведения, рассмотренные выше, свидетельствуют о том, что традиционная высокая лексика довольно устойчива в 80-е годы в произведениях Карамзина — как собственно «высоких», так и «поэтических» [131]. В то же время здесь отражен, пусть не вполне еще последовательно, процесс очищения не только общелитературного «среднего» языка, но и высокого слога от обветшавших, «противных слуху» элементов книжного языка.

§ 33. Наглядно демонстрирует, с одной стороны, важные сдвиги в понимании норм литературного языка и, с другой стороны, связь этих представлений с традицией помещенный в XVIII—XIX частях «Детского чтения. . .» перевод отрывков из «Рассматривания природы» («Contemplation de la nature») Бонне.

Принадлежность этого перевода Карамзину признается, кажется, всеми исследователями его творчества (например, М. Погодиным, А. Галаховым, Л. Поливановым). Это подтверждается, между прочим, и буквальным совпадением замечания переводчика относительно ошибки в немецком переводе сочинения Бонне и аналогичным замечанием Карамзина в его беседе с автором («Письма русского путешественника». Женева, январь, 1790). И. Дмитриев прямо указывает на Карамзина как на переводчика этих отрывков. Некоторые обстоятельства, однако, могут вызвать сомнение в справедливости этого утверждения. В упомянутой беседе с Бонне Карамзин говорит о своем намерении переводить его сочинение, не упоминая об уже осуществленном переводе; об этом же говорится в письмах, которыми обменялись Карамзин и Бонне («Письма русского путешественника», Женева, января 23, 1790). Впрочем, умолчание Карамзина относительно опубликованных в «Детском чтении. . .» глав может объясняться и боязнью вызвать недовольство автора, который в самом начале разговора выразил возмущение тем, что немецкий и английский переводы его сочинения были опубликованы без его разрешения. Другое обстоятельство — письмо А. Петрова Карамзину после опубликования последним своей переписки с Бонне. Петров расценивает опубликование этих писем как намерение Карамзина издать перевод сочинения Бонне и всячески поощряет его «сделать это доброе и общеполезное дело», ни словом не упоминая о переведенных и опубликованных уже частях. Кстати говоря, в своем письме Бонне Карамзин упоминает о своем «приятеле, живущем в Москве», который будет его «сотрудником» в работе над переводом сочинений Бонне. Этим приятелем мог быть только Петров, который, возможно, и является переводчиком помещенных в «Детском чтении. . .» отрывков. М. Погодин в письме А. М. Дмитриеву рассказывает, как И. И. Дмитриев говорил ему, что неверно, будто бы «Виноградов переводил Боннета раньше Карамзина, что Карамзин гораздо раньше переводил с Петровым». В таком случае отсутствие упоминания о переводе «Детского чтения. . .» в письме Петрова может быть объяснено авторской скромностью.

Учитывая все эти обстоятельства, мы не можем с несомненностью приписывать этот перевод Карамзину или одному Карамзину и будем называть его переводом «Детского чтения. . .».

[131] Еще заметнее это в стихах Карамзина; об этом см. ниже, § 47.

Перевод отрывков из «Contemplation de la nature» Бонне в «Детском чтении. . .» — один из наиболее книжных по языку текстов в этом журнале. Здесь особенно ясно видно, что это еще не новый слог. Некоторые места этого перевода выглядят довольно традиционно. Однако, если сравнить его с опубликованным четыре года спустя, в 1792 г., полным переводом сочинения Бонне, осуществленным И. Виноградовым [132], станет ясно, что даже этот, один из относительно ранних переводов Карамзина (или Петрова) по языку заметно опережает свое время. В своем «предуведомлении» Виноградов употребляет такие фразы, как «тонкость его рассуждения. . ., требующая верного изражения»; «сам автор употребил оное [слово] тут не яко термин»; «мой перевод не изъят от погрешностей» и т. д. Предисловие автора переводится им в таких выражениях: «исследование о том, к чему служат на прозябениях листы»; «пакибытие философское» (имеется в виду название одного из произведений Бонне, которое переводчик приводит и в другом виде: «Палингенесия»); «для почерпнутия из него»; «писал с большею ясностию и учаственностию». Переводчик часто употребляет слова *токмо*, *яко*, *наипаче*, *колико*, *толико*, *толикий*; слова *удобно*, *удобный* — излюбленные у переводчика, причем употребляет он их в широком смысле — «легко, легко исполнимый», например: «исследование толико же неудобное, колико важное»; «удобно можно возбудить удивление»; «воображение удобно восстанавливается сими приятными новостями, но не очень удобно предостеречься, чтобы воображение всегда было просвещено». Такое употребление этого слова не является, разумеется, индивидуальной особенностью переводчика [133]; но оно, очевидно, было книжным и смыкалось с архаическим фондом языка; см., например, многочисленную группу слов с *удобо-* в первой части, типа *удобопреклонный*, *удобопленный*, *удобопреложный* и др. под.

Наиболее отчетливо различие языка двух текстов обнаруживается, естественно, при сопоставлении перевода одних и тех же мест оригинала.

Вот несколько примеров. В переводе Виноградова: «И тако да речем, что поелику вселенная существует, то вне вселенныя находится Вечная Вина [134] бытия оныя» — в «Детском чтении. . .»: «И так скажем: когда вселенная существует, то есть вне вселенной Вечная причина ее существования» (ср. здесь *тако* — *так*, *да*

---

[132] «Созерцание природы. Соч. г. Боннета». Перев. Ивана Виноградова, кн. 1—2. СПб., 1792.

[133] См., например, в Словаре АР примеры к словам *удобно*, *удобный*: «он удобно сие сделать сможет»; «его к сему склонить весьма удобно»; «удобное дело».

[134] В переводе И. Виноградова постоянно о боге как первопричине сущего — «Вечная Вина», «Первая вина»; в «Детском чтении. . .» последовательно — *причина* (во французском тексте Cause).

речем — скажем, поелику — когда, вина — причина, бытия оныя — ее существования). Ср. еще: «Бог хощет, дабы была Вселенная, и бысть Вселенная» — «бог хочет, чтобы Вселенная была: Вселенная существует»; «Но вознесемся превыше и паря на величественных крилиях откровения, минуем сии тьмы тем миров и приближимся к небеси, где обитает бог» — «Но воспарим выше, и несяся на величественных крылах откровения, пролетим сии мириады миров и приближимся к небу, где обитает бог»; «камень под его перстами умягчается» — «камень размягчается в его пальцах»; «Прейди со стремлением от жестокого человекоядца к обходительному французу» — «От жестокого людоеда перейди поскорее к человеколюбивому французу»; «когда тихая нощь распростирает свою завесу» — «когда темная ночь расстилает свое покрывало»; «седалище души» — «столица души».

Эти и подобные им параллели весьма показательны, но они не должны наводить на мысль, что в переводе «Детского чтения. . .» не употребляются высокие архаические слова. Более того, в некоторых, правда, редких, местах этот перевод «выше», риторичнее перевода Виноградова; см., например: «Человек шествует по отверзстому для него пути славы и се берет уже венец жизни и возлагает его на бессмертное чело свое»; в переводе Виноградова здесь не *шествует*, а *в течении своем приближается*, вместо *и се — и тогда*, вместо *возлагает — налагает*. Ср. еще: *воззывающее в бытие* (у Виноградова — *вызывающее*); *возможет* (*может*); в описании человека в карамзинском переводе говорится: *сие отверзстое и возвышенное чело*; у Виноградова: *сие открытое и возвышенное чело*. Там, где Виноградов переводит *воплощенное, первородное слово*, в «Детском чтении. . .» — *глагол*; в обоих переводах находим *воспевает. . . гласом* и т. д. Но в переводе «Детского чтения. . .» это отдельные куски, выделяющиеся из общего сравнительно спокойного и ровного повествования как куски высокие, торжественные, в то время как в переводе Виноградова, в соответствии с традициями «славяно-русского языка», таков весь тон книги. Но дело даже не в более широком и свободном употреблении высокой лексики: в конце концов, одно и то же содержание можно передать и как более высокое, торжественное, и в более спокойном, умеренном тоне; в тех главах сочинения Бонне, которые здесь рассматриваются (например, глава «О боге и о вселенной вообще»), употребление высокой лексики не выглядит уместным [135]. Различие переводов «Детского чтения. . .» и В ноградова — если бы дело шло только о словах собственно высоких — можно было бы объяснить разной степенью пристрастия к высокому стилю, разными инди-

[135] См. в предисловии Бонне к его книге (привожу в переводе И. Виноградова): «Слог у меня несколько украшен, наипаче там, где сего требовало величество предметов. Украшения сами собою проистекли из самих предметов».

видуальными манерами. Но сравнение двух переводов показывает и разное представление о составе книжного языка вообще.

В переводе И. Виноградова много книжных, иногда очень искусственно звучащих или канцелярских слов и оборотов; перевод «Детского чтения. . .» проще. Ср., например: «бесконечное преемствие существ, имеющих конец» — «бесконечный порядок существ конечных»; «соплетения возможностей» — «связи возможностей»; «всеобщее соцепление» — «всеобщее сцепление»; «первое звено цепи совокупляется с последним» — «первое кольцо цепи связано с самим последним»; «соотношения, совокупляющие между собой все миры» — «отношения, связующие все миры»; «коловращающиеся миры» — «вертящиеся»; «быть чувствительными нашему зрению» — «приметны»; «повсемственная цепь» — «всеобщая связь»; «цепь вашея разумительныя жизни» — «цепь твоей разумной жизни»; «существо прозябения» — «сущность растения»; «удивительности» — «чудеса»; «совокупляет посредством мореплавания две крайности земли» — «чрез мореплавание соединяет оба конца земли»; «творца, когда он учредил Сирия и когда он устроил сферы» — «создателя, когда он поставил Сириуса и мерил его сферы»; «веки соделалися чрез тебя» — «веки были сотворены тобою». Одна из глав книги в переводе И. Виноградова называется: «Человек, принятый в рассуждение яко существо телесное»; ср. в «Детском чтении. . .»: «Человек, рассматриваемый как существо телесное». Можно выделить в этих переводах параллели, проведенные вполне последовательно: *тако — так; такожде — также; яко — как; токмо — только; толикий, толико — такой, столь; коль, колико — сколь, как; таковой — такой; тамо — там.* Например: «всемогущество, вызывающее вещи несуществующие яко существующие» — «могущество, воззывающее в бытие несуществующие вещи, подобно как бы они существовали»; «сотовариществуют они яко их спутники» — «следуют как спутники»; «мышцы суть яко толикие же пружины отправляющие свои действия» — «мускулы, так как пружины, производят свое действие»; «на толиком расстоянии» — «в таком ужасном отдалении»; см. еще: «не доведена до толикого совершенства» — «не так еще совершенна»; «толико обширна» — «столь пространна» и др. В переводе «Детского чтения. . .» нет *поелику*, которое было у Виноградова, реже и в более ограниченных условиях употребляется местоимение *оный* (см., например, в переводе Виноградова: «Оное ищет в оной землю и более ее не обретает»; ср. в «Детском чтении. . .»: «Оно ищет землю и не примечает ее». Можно еще отметить такие параллели, как *вопрошать — спрашивать, пременять — переменять, престать — перестать*, приводившееся уже выше *прейти — перейти, предуготовить — готовить* и под.

Это не значит, что такие слова, как *толь, толикий, коль* и другие подобные, в это время (и даже несколько позднее) п о л-

ностью отсутствуют в языке Карамзина и его сотрудников. Например, в рассматриваемом переводе есть случай употребления *толикий*, а также единичное *толь* («изъясняющийся толь величественно»); но употребительность этих слов падает очень резко. Отдельно надо сказать о словах *паки* и *понеже*. В рассматриваемом переводе *паки* встречается дважды, причем оба раза в переводе И. Виноградова ему соответствует *вновь* (это один из тех редчайших случаев, когда текст «Детского чтения. . .» звучит более книжно, чем у Виноградова); союзу *поелику*, который обычен у Виноградова, в переводе «Детского чтения. . .» несколько раз соответствует *понеже*. Подтверждается предположение, сделанное выше на основании других произведений Карамзина этого времени, что слова эти для переводчика «Детского чтения. . .» не являются обычными элементами книжного языка, а сближаются с теми славянизмами, которые сохраняются еще как средство высокого стиля.

Это еще раз свидетельствует о том, что нормализация общекнижного языка шла быстрее и последовательнее, чем установление границ славянской лексики в литературе, сохранившей связь с высоким стилем. Слова, чуждые уже Карамзину и его сотрудникам как элементы книжного языка вообще, могли сохраняться и жить еще в их «высокой» литературе. В дальнейшем фонд высокой лексики все более и более сужается, и прежде всего под сомнение ставится способность именно слов рассматриваемого типа быть стилистически выразительными средствами высокого слога. Тем не менее, как увидим, и в дальнейшем эти слова в ряду других средств высокого слога употребляются такими писателями, как Гнедич, Катенин, Кюхельбекер и др.

Выразительность и показательность тех параллелей, которые приводились выше, усиливается тем обстоятельством, что, с одной стороны, перевод И. Виноградова не представляет собой какой-либо крайности в употреблении книжного, архаического элемента — это довольно типичный язык философского рассуждения [136]; с другой стороны, как уже говорилось, перевод «Детского чтения. . .» еще заметно связан с традицией. См. в этом переводе такие, например, фразы: «Сия огромная система тварей событствующих и последственных есть одно как в следствии, так и в соустроении или связи» (у И. Виноградова здесь «распорядок сопребывающих и преемствующих существ»; «как в преемствии, так и в порядке их»); «червь есть самый малый двигатель, содействующий с другими двигателями»; «сии живые и проницательные глаза, служащие велеречивыми толкователями душевных чув-

[136] Вообще перевод И. Виноградова оценивался, очевидно, довольно высоко и был заметным явлением в литературе; его ценили и знали и в последующие годы. См., например, примечание к напечатанному в журнале «Драматический вестник» (ч. II) стихотворному посланию И. И. Дмитриеву: «сии стихи писаны покойным переводчиком „Созерцания природы“».

ствований» (у Виноградова здесь проще: «красноречивые истолкователи чуствований души»). И все же переводы эти — пусть недостаточно ярко и выразительно — представляют разные этапы в развитии литературного языка. Перевод Виноградова — весь в традиции; язык перевода «Детского чтения. . .» обращен в будущее.

Это хорошо иллюстрируется, помимо приведенных выше примеров, и употреблением научно-естественной терминологии. Искусственным, отличающимся архаизированным, «славенским» обликом словам в переводе И. Виноградова противостоит свободно употребляемая — хотя и не вполне еще точная — интернациональная терминология в «Детском чтении. . .». Можно привести такие, например, параллели, как «философическое око» в «Детском чтении» и «мудролюбное око» у И. Виноградова, «философы» и «мудролюбцы», «всеобщая иерархия» и «всеобщее священноначалие», «новая астрономия» и «звездозаконие наших времен», «астроном» и «звездомерятель», «периодическое течение» или «периодическое обращение» и «равновременное обращение» или «круготечное обращение», «всеобщая теория нашего мира» и «всеобщее умозрение нашего земного шара», «анатомические сравнения» и «сравнительное членораздробление», «страны метафизические» и «заестественные страны», «детерминации» и «отличительности», «тел политических» и «гражданств», широко употребительное в этот период *средоточие* переводчик «Детского чтения. . .» заменил словом *центр* и мн. др. «Тамо родятся стихотворцы, витии, дееписатели и богословы» — так переводит И. Виноградов; а в переводе «Детского чтения. . .» это переведено словами: «Там родятся поэты, ораторы, историки, медики, юристы, философы, теологи». Слову система, которое часто встречается в переводе «Детского чтения. . .», у Виноградова соответствуют *состав*, *распорядок*, *мирораспоряжение* (ср., например: «сия огромная система тварей» и «сей неизмеримый распорядок. . . существ»; ср. также: «приведен в систематический порядок» — «расположено порядочно», т. е. в определенном порядке). Слову *идея* (или *понятие*) в переводе Виноградова соответствует *умоначертание* («облекает свои понятия в термины» — «свои умоначертания одевает в слова»); *нервы* он переводит сочетанием *чувственные жилы* (например, *чувственные жилы зрения*, *зрительная жила* вместо *нервы зрения*, *оптическая нерва)* [137]; *психология* переводится им как *душесловие* (в переводе предисловия Бонне Виноградов употребляет

[137] Хотя слово *нервы* было известно уже давно— оно, например, встречается у Ломоносова, Радищева и др., — в Словаре АР оно не зафиксировано, и в этом значении употребляется *чувственные жилы* (см., например, в словарной статье «Жила»: «*Жила чувственная*. Nervus. Так называются в теле животного мягкие, беловатые, наподобие нитей от головного и позвоночного мозга распростертые по всему телу разной толщины части. . .» и т. д.).

такие слова, как *умословие*, *мирословие*, *чудолюбие* и под.). В переводе «Детского чтения. . .» можно отметить и некоторое увлечение заимствованиями терминологического характера. Здесь встречаются, например, *блестящие пункты* [138] (у Виноградова — *сияющие точки*), *глобусы* — о планетах (у Виноградова *миры*), *принципия*, *аппликация* (отношение, у Виноградова — *приноровление. . . умоначертаний*). Дело, однако, не в удачности или неудачности того или иного термина, а в общем направлении развития терминологической лексики [139]. Надо добавить при этом, что Виноградов вовсе не выступает как пурист, отрицающий любые заимствования: употребляемая им терминология не носит характера протеста против иноязычной лексики. Это видно хотя бы из того, что и сам он пишет не только *звездозаконие*, но и *астрономия*, знает он и *систему* (например, *разные системы или мирораспоряжения*; в «Детском чтении» — *системы*), и *идею* (и даже ставит это слово в скобках после слова *умоначертание*); сочетание *наука зрения* он сопровождает пояснением: *оптика* (в переводе «Детского чтения. . .» — только *оптика*); наряду с *равновременным обращением* и *круготечным движением* он может употребить и *периодическое обращение*; как и переводчик «Детского чтения. . .», он пишет *гармония* (но может написать и *согласие*), *перспектива*, *сфера* [140]; он пишет *план* там, где в «Детском чтении. . .» стоит *чертеж*. Назвав в «Предуведомлении» одно из сочинений Бонне «Опыт душесловия», Виноградов добавляет в скобках: *психологии* и т. д. Дело, следовательно не в том, что И. Виноградов не знает или принципиально не употребляет иноязычных терминов, а в зыбкости и неупорядоченности его словоупотребления, его зависимости от книжно-архаических традиций. Перевод «Детского чтения. . .» и в этом отношении ближе к нормам 90-х годов и начала XIX в. [141]

---

[138] *Пункты* встречается также в «Прогулке»: «звезд представляющихся мне в виде пунктов» (но есть и *точка*); это может служить подкреплением предположения о принадлежности перевода Бонне Карамзину; см. также в «Прогулке» *нервы духовного зрения*.

[139] Вообще термины в переводе «Детского чтения. . .» интересуют нас в данном случае не в плане развития научной терминологии, а как одно из средств отталкивания от искусственной, книжно-архаической лексики.

[140] Но в «Детском чтении. . .» это слово употреблено в тексте, а у Виноградова в скобках, как вариант, ср.: «*сфера* сей деятельности» — «деятельность, коея распространяемость (*сфера*)».

[141] Любопытна еще такая параллель: *не выходя из своей горницы* (Виноградов) и *в своем кабинете* («Детское чтение. . .»); речь идет о Ньютоне, создавшем свою теорию *единственно силою разума* (так в «Детском чтении. . .», в переводе Виноградова — *токмо единою силою своего ума*). См. еще *мозг есть горница души* (Виноградов) и *жилище души* («Детское чтение. . .»). В обоих случаях отчетливо проступает более тонкое и точное понимание стилистических качеств слова в переводе «Детского чтения. . .». О различной степени овладения интернациональной лексикой свидетельствует и такая параллель: «желудок и разного рода кишки суть магазины и лаборато-

Также более упорядоченной и ближе к тому, что установилось впоследствии в литературном языке, выглядит в переводе «Детского чтения. . .» и собственно русская терминология и вообще отвлеченная лексика. Так, вполне терминологичны в этом переводе такие слова, как *понятие*, *представление*, *ощущение* (относительно к двум последним это подчеркивается и присоединением в скобках их иностранных источников — perception и sensation). В переводе И. Виноградова вместо *понятие* употребляется (правда, непоследовательно) *умоначертание*, вместо *представление — понятие*, вместо *ощущение — чувствование* (слово, которое имеет в переводе и другие употребления); то, что в «Детском чтении. . .» переводится как *роды и единицы* (последнее с отсылкой к individus), у Виноградова передается словами *виды* и *особливости*; в «Детском чтении. . .» терминологически употребляются и такие слова, как *изменения* (с отсылкой к modification), *одинаковость* (identité, ср. впоследствии *тождество*) и некоторые другие. Слову *впечатление*, которое переводчик «Детского чтения. . .» знает в его новом, переносном употреблении, в переводе И. Виноградова соответствует архаическое *напечатление*. Важно заметить, что в переводе «Детского чтения. . .» уже свободно употребляется в его новом значении слово *влияние*: «сии причины имеют влияние»; «распространяет повсюду счастливое влияние своего правления»; у Виноградова в обоих случаях — *натечение*.

Таким образом, перевод Бонне в «Детском чтении. . .» демонстрирует уже в 80-х годах прогрессивные искания в области терминологии и отвлеченной лексики, во всяком случае, более перспективные, чем в вышедшем на четыре года позже переводе И. Виноградова [142]. В то же время полезно отметить и совпадения — очевидно, вполне независимые: И. Виноградов утверждает, что он не видел еще на русском языке сочинений Бонне. Помимо отмеченных уже выше совпадений в употреблении некоторых заимствованных слов, можно назвать также и некоторые одинаковые переводы. Например, в обоих текстах употребляется слово

рии, где приуготовляются материи для нужных замен или поправок» («Детское чтение. . .»); в переводе Виноградова на месте *магазины* и *лаборатории — запасные к работе места*.

[142] И. Виноградов прекрасно осознавал стоявшие перед ним трудности. В своем «Предуведомлении» он признается, что «множество речений, собственно употребляемых в науках, кои мне должно было изображать равносильными русскими речениями, очень часто останавливали меня в течении своем», вследствие чего он сам считает, что его «перевод не изъят от погрешностей». О трудностях, связанных с переводом на русский язык сочинений такого рода, писал и Карамзин в своем письме Бонне («Письма русского путешественника», Женева, 23 января 1790 г.): «. . . язык наш, хотя и богат, однакож не так обработан, как другие, и по сие время еще весьма немногие философические и физические книги переведены на русский. Надобно будет составлять или выдумывать новые слова. . .» И далее: «Может быть, трудно будет мне выражать ясно на русском языке то, что на французском весьма понятно для всякого, кто хотя немного знает сей язык».

отдельное («нет ничего отдельного»), причем в «Детском чтении. . .» оно сопровождается французским d'isolé. Оба перевода знают слово *личность* в значении «индивидуальность» (см. в «Детском чтении. . .» отсылку при этом слове к франц. personnalité) [143]. В обоих текстах употребляется слово *черты* — как «отличительные особенности, свойства кого-либо или чего-либо», причем в переводе одного и того же места (речь идет о «чертах», которые отличают между собой разные миры).

Есть отдельные совпадения и в употреблении слов терминологического или полутерминологического характера, которые не сохранились впоследствии, в частности, слов «славенских». Например, оба переводчика, говоря о месте различных живых существ в общей системе мира, употребляют слово *лествица*: «место на лествице мыслящих существ»; «наверху лествицы нашего мира поставлен человек»; «трудность устроения лествицы животных» и др.

§ 34. Несмотря на новаторские устремления, в 80-е годы Карамзин не только не достиг еще тех результатов, которые в полную силу обнаружились в 90-е годы, но, возможно, уступал в этом отношении некоторым другим литераторам из кружка Н. И. Новикова.

Выше упоминалось уже имя А. А. Петрова — рано умершего друга Карамзина, активного участника этого кружка. И. И. Дмитриев, говоря о «молодых любословах», которых «Новиков употреблял для перевода книг с разных языков», писал, что «между ними по всей справедливости почитался отличнейшим Александр Андреевич Петров» [144]. Г. Каменев вспоминает, как Карамзин говорил ему, что Петров «имел вкус моего свежее и чище; поправлял мои маранья, показывал красоты авторов, и я начал чувствовать силу и нежность выражений» [145]. Сам Карам-

---

[143] Такое употребление этого слова, впоследствии ставшее основным и даже единственным, еще в середине XIX в., очевидно, не всеми безоговорочно принималось. Можно привести, например, любопытное свидетельство Д. А. Смирнова о его разговоре в 1858 г. с известным в свое время литератором, другом Грибоедова, А. А. Жандром: «В отношении к языку он, как сам признавался, пурист. Например, я спрашиваю о Завадовском: — Скажите, пожалуйста, что это была за личность? — Ради бога не убивайте меня. Я вытаращил глаза. — Не говорите *личность*, у нас под этим словом разумеется совершенно другое понятие. — Да ведь это прямой перевод слова *personnalité*. — То-то, что не прямой: personnalité — особа. Старик, видимо, ошибается. — Особа l'individu, — замечаю я. — И personnalité. Ну бог с ним» («А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников». М., 1929, стр. 271—272).

[144] И. И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь, стр. 42.

[145] См.: М. Погодин. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, ч. 1, стр. 73. См. еще следующее замечание Я. Грота: «Впоследствии Карамзин называл Петрова своим учителем в знании русского языка, и нет сомнения, что последний, действительно, имел участие в установлении понятий своего друга по этому пред-

зин писал о Петрове, что «слог его был превосходен» («Цветок на гроб моего Агатона»).

Некоторые мысли в письмах Петрова к Карамзину свидетельствуют о том, что понимание Петровым задач литературного языка очень близко к тому, что мы условно называем «карамзинской реформой». Так, он шутливо советует Карамзину писать свое сочинение «на русско-славянском языке долгосложно-протяжно-парящими словами»; он говорит — как впоследствии любили повторять карамзинисты, например В. Подшивалов, П. Макаров и другие — о «педантстве». Любопытно в этом отношении его замечание в письме 1787 г. о том, что «можно писать крестьянским наречием: *што*, *поди-ко*, *эвося*, *вот вишь ты*, и вместе с тем педантствовать» [146]. Уже здесь обнаруживается типичное для карамзиниста отрицательное отношение и к книжному языку «педантов», и к «просторечной» стихии речи, и даже сближение их в каком-то смысле. Самый язык Петрова в 80-е годы был ближе к языку Карамзина 90-х годов, чем язык самого Карамзина. Вот характерный пример. В 1789 г. вышел в переводе Петрова первый том книги «Учитель или Всеобщая система воспитания». Среди образцов для чтения юношества находим там сцену из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». Любопытно, что Петров не воспользовался существующим уже и опубликованным за два года до этого переводом Карамзина, хотя вряд ли можно сомневаться в том, что Петров знал этот перевод: Карамзин и Петров находились в это время в самых дружеских отношениях. Знакомство Петрова с переводом Карамзина подтверждается и текстуальными совпадениями некоторых мест в обоих переводах. Сопоставление этих переводов свидетельствует о большей чистоте языка Петрова. Это сказывается и в синтаксисе и в лексике. Вот несколько примеров. У Карамзина: «ты ведаешь, что сие говорит Брут» — у Петрова: «ты знаешь, что Брут это говорит». Ср. также: «я не смогу сносить сего» — «я не стерплю того»; «храни безопасность свою» — «береги жизнь свою»; «удались, пороков исполненный человек» — «прочь, презренный человек»; «Внимай мне, ибо я говорить намерен. Разве должен я уступить воспылавшему гневу твоему?» — «Слушай, что я говорить буду. Неужели должен я уступить твоей ярости?»; «покажи. . ., сколь ты гневен» — «покажи, как ты сердит»; «яд желчи своея пожрешь [147]

мету» («Торжественное собрание имп. Академии наук 1 декабря 1866 г. в память. . . годовщины рождения Н. М. Карамзина». стр. 18). О влиянии Петрова на Карамзина писал также А. Галахов: «Урокам Петрова, его эстетическому вкусу Карамзин обязан развитием своего чувства изящного» (А. Галахов. Н. М. Карамзин. Статья вторая. «Современник», 1853, т. XLII, отд. III, стр. 11).

[146] «Русский архив», 1863, стр. 483.

[147] Переходный глагол *пожрать* как совершенный к *пожирать* был высоким; ср. *сожрать*, непереходное *пожрать*. В Словаре АР это показа-

ты сам» — «пусть кипит в тебе яд твоей досады»; «буду я употреблять тебя к своей забаве, к своему увеселению» — «будешь ты служить мне шутом, посмешищем»; «покажи себя таковым» — «яви то на деле»; «от великих мужей научиться» — «учиться у великих людей» (впрочем, и в переводе Петрова о Цезаре говорится, как о «величайшем муже»); «Умолкни! ты не дерзнул бы так раздражить его» — «Молчи! И ты не смел бы так раздражить его»; «посылал. . . за некоторою суммою злата» — «просить некоторой суммы денег» (ср. еще *злата — золота*); «ответствовал ли бы я так Кассию?» — «так ли бы я отвечал Кайю Кассию?»; «поруган яко раб» — «разруган как невольник»; «дабы выставлять их [пороки] перед глаза его» — «чтобы всегда упрекать меня ими». См. еще особенно риторическое восклицание Кассия: «Иди, Антоний, иди, младой Октавий! Отмстите Кассию единому, ибо Кассию мир тягостен» (Карамзин) — «Прийди, Антоний, и ты молодой Октавий! Прийдите, отмстите одному Кассию. Мир сей постыл Кассию» (Петров). Вот еще пример, характерный тем, что отличия касаются здесь не только лексики и фразеологии, но и всего строя речи; многословию и тяжеловесности фразы Карамзина противостоит лаконичность и логическая стройность у Петрова: «Ты зришь пред собою агнца, который не иначе питает в себе гнев, как кремень огонь издает: доколе делают ему величайшее насилие, выбрасывает он искры, и паки вдруг хладен делается» (Карамзин) — «Ты имеешь дело с таким человеком, в котором гнев так же, как в кремне огонь: от частых ударов выбрасывает он искру, но тотчас потом простывает». Единственный случай, где Петров архаичней, — это *толь сребролюбивый* вместо *столь гнусен* у Карамзина, — случай маловыразительный.

Разумеется, не надо думать, что Петров не мог написать в это время *младой*, *единый*, *сие*, или даже *паки*. Приведенные сопоставления важны как показатель т е н д е н ц и й развития литературного языка, направления его эволюции и стилистических устремлений, которые обнаруживались у переводчиков, группировавшихся вокруг Новикова, где воспитывался и «вкус» Карамзина, вскоре опередившего своих «воспитателей».

Основные лексико-стилистические группы в языке «карамзинской школы» (90-е годы)

§ 35. В 80-е годы XVIII в. закладывались основы «нового слога»: в полную же меру новые пути и тенденции развития литературного языка обнаружили себя в 90-е годы. Ярким сви-

---

но не совсем точно; см. также у Шишкова о стилистических отличиях разных употреблений глагола *пожирать* (А. С. Ш и ш к о в. Собрание сочинений и переводов, ч. 2, стр. 340).

детельством этого процесса был «Московский журнал» Карамзина (1791—1792), в котором впервые были опубликованы такие его произведения, как большая часть текста «Писем русского путешественника», повести «Бедная Лиза», «Фрол Силин», «Наталья боярская дочь», «Прекрасная царевна и счастливый Карла», «Лиодор», драматический отрывок «София», своеобразные лирические монологи и элегии в прозе — например, «Деревня», «Новый год», «Ночь», «Невинность» и другие, много переводов в самых различных жанрах, рецензий, заметок, стихотворений и т. д. В «Московском журнале», кроме известных уже в то время писателей — Державина, Хераскова, Хвостова, Нелединского-Мелецкого и др., участвовали и такие авторы, как И. И. Дмитриев, В. Подшивалов[148], А. Петров — лица, близкие Карамзину, разделявшие его взгляды на литературу и язык, те, кто «соучаствовал» в его преобразованиях.

Сохранилось много свидетельств о том, что язык и слог «Московского журнала» были восприняты читателями как нечто новое и необычное. Греч писал, что в «Московском журнале» русская публика «услышала в первый раз простой, ясный, благородный, правильный русский язык»[149]. Известный библиограф, исследователь русской периодической печати XVIII в. А. Н. Неустроев отмечал, что журнал Карамзина «представлял совершенно новое явление в русской журналистике и на некоторую часть публики произвел сильное впечатление, тем более, что здесь она услышала как будто новый язык»[150]. М. Н. Погодин, касаясь первого письма «Русского путешественника» (оно помещено в 1-й книжке «Московского журнала») писал: «. . . вы слышите в нем совершенно новый язык сравнительно с тем, который слышался в предшествовавших опытах Карамзина, сравнительно с тем, который употреблялся современными его писателями». «Это письмо составляет эпоху в истории русского слова»[151]. Можно было бы привести и другие оценки такого же рода. Разумеется, новизна и необычность языка «Московского журнала» здесь сильно преувеличены: можно назвать произведения Н. Новикова и его сотрудников, журналы В. Подшивалова или «Политический журнал» В. Сохацкого, произведения М. Н. Муравьева и другие литературные явления этого и предшествующих одного-двух десятилетий, близкие к языку и слогу Карамзина 90-х годов; тем не менее такие свидетельства не должны игнорироваться.

---

[148] Редактор журналов «Чтение для вкуса, разума и чувствований» (М., 1791—1793) и «Приятное и полезное препровождение времени» (М., 1794—1798).

[149] Н. Греч. Чтения о русском языке, ч. II, стр. 385.

[150] А. Н. Неустроев. Историческое розыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703—1802 гг. СПб., 1874, стр. 701.

[151] М. Н. Погодин. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, ч. 1, стр. 72.

Кроме «Московского журнала» важными источниками, характеризующими развитие «нового слога» в 90-е годы, являются сменивший «Московский журнал» альманах «Аглая» (1794—1795), в котором публиковалось продолжение «Писем русского путешественника», повести Карамзина «Остров Борнгольм», «Сиерра Морена», его «Цветок на гроб моего Агатона», статьи «Нечто о науках, искусствах и просвещении», «Что нужно автору?» и др.; отдел «Смесь» в «Московских ведомостях», который в 1795 г. вел — без постороннего участия — Карамзин; переводы Карамзина, собранные в «Пантеоне иностранной словесности» 1798 г.; его же переводы из Мармонтеля («Новые мармонтелевы повести», ч. I—II. 1794—1798; частично печатались ранее в «Московском журнале»).

Как и в 80-е годы, в это время сохраняют свою относительную «автономию», с одной стороны, процесс складывания норм общелитературного языка и, с другой стороны, явления, связанные с отбором из высокой «славенской» лексики стилистически выразительных языковых средств, с уточнением их границ и стилистических функций. Как и ранее, разрыв с традицией в области общелитературной, общекнижной лексики происходит интенсивнее и последовательнее, чем в области лексики собственно «высокой» (хотя и объем ее и — что особенно важно — сфера применения резко ограничиваются). С этим связаны и стилистические различия разных видов литературы в пределах «нового слога». Естественно, что тексты «средние», не обремененные какими-либо специальными стилистическими задачами, отражают нормы «нового слога» в более чистом виде, чем те, в которых ставились такие задачи, но эти последние произведения, в свою очередь, более выразительно демонстрируют процесс постепенного сужения, ограничения в «карамзинской» литературе традиций высокого стиля. Исходя из сказанного, мы и далее рассматриваем эти процессы раздельно.

В то же время надо иметь в виду, что два названных выше процесса становятся более взаимозависимыми, чем ранее. Критерий «вкуса», стремление освободиться от обветшалых славянизмов все более захватывают и контексты стилистически приподнятые, украшенные; поэтому на материале такого рода литературы процесс складывания обязательной литературной нормы может быть также иллюстрирован с большой убедительностью. С другой стороны, становится ясно, что поэтичность, украшенность, приподнятость речи может в принципе присутствовать в любом описании или рассуждении, в любом тексте. Любое содержание может быть представлено как предмет «пиитический» — все зависит от авторской точки зрения на это содержание. В этом находит свое выражение карамзинский принцип единства, общности литературной нормы, сближение языка различной по своему характеру, по содержанию литературы, единства, которое, однако,

не означает абсолютного отсутствия — в пределах этой общей нормы — стилистических вариантов.

Хотя язык и стиль Карамзина-художника и не изучен еще в достаточной мере, тем не менее в этой области уже сделаны многие полезные наблюдения и выводы [152]. Меньше подвергалась исследованию нехудожественная проза Карамзина и его сотрудников 90-х годов XVIII и начала XIX в. — многочисленные статьи, рецензии, переводы философских и исторических сочинений и т. п. [153] Между тем, для характеристики установившихся в «школе Карамзина» языковых норм анализ этой литературы имеет огромное значение; можно даже утверждать, что она дает более объективное представление о состоянии лексики литературного языка, чем литература художественная. Правда, не будучи связана с собственно художественными задачами, она не показывает в достаточной мере объем «поэтической» лексики, принятой в «карамзинском» художественном творчестве. Но в то же время сама норма общелитературного языка, система синонимических средств в пределах этой нормы представлена здесь полнее. Объем книжной лексики здесь значительней, чем в художественной литературе (с той оговоркой, которая сделана выше относительно поэтической лексики), и в этом отношении такого рода письменность у Карамзина, может быть, не так ярко демонстрирует отказ от книжного языка, как «Бедная Лиза» или «Фрол Силин» («Письма русского путешественника» представляют собой явление более сложное), но направление развития литературного языка обнаруживается при этом с особенной убедительностью.

Г. О. Винокур писал, что главная задача, стоявшая перед литературным языком в конце XVIII в. и нашедшая свое разрешение в карамзинских преобразованиях, состояла в том, «чтобы язык, сложившийся на почве среднего слога, сделать языком не только деловым и теоретическим, но также и художественным» [154]. Это очень важное замечание, чрезвычайно существенное для понимания путей развития языка художественной литературы в «карамзинский» и последующий периоды. Но здесь требуются и некоторые уточнения. Г. О. Винокур, кажется, не принимает во внимание того обстоятельства, что «теоретический» язык второй половины XVIII в. оказался насыщенным архаикой и «славенским» элементом. «Простой слог» был формой борьбы против этого процесса, но он не создал до 90-х годов каких-либо

[152] См. работы В. В. Виноградова «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.», «Язык Пушкина», работы Г. О. Винокура, Л. А. Булаховского, канд. дисс. В. П. Уткиной и Е. Г. Ковалевской.

[153] Анализ языка и стиля сочинений Карамзина «Разные отрывки (Из записок одного молодого россиянина)» и «Сельский праздник и свадьба» см. в книге В. В. Виноградова «Проблема авторства и теория стилей» (особенно стр. 295—323 и 362—365).

[154] Г. О. Винокур. Русский язык, стр. 85.

устойчивых традиций. Поэтому деятельность «карамзинской школы» в области самого «теоретического» языка была не менее новаторской, чем в области языка художественного. Деятельность Карамзина и его «школы» имела такое важное значение для развития литературного языка именно потому, что она заключалась в реформе и возрождении «среднего» стиля — той стилистической разновидности, которая обслуживает самые насущные культурно-языковые потребности (ср. новаторство Державина, которое было направлено на высокий стиль). Таким образом, для истории собственно литературного языка особенно важно показать процесс освобождения от славянщины и архаики именно языка «теории» — публицистики, философии, критики. Верно, что нормы этого языка совпадали в принципе с нормами языка литературы, но вряд ли это было простое приспособление готового языка к задачам художественного творчества — он сам еще требовал установления и нормализации[155]. Сам Карамзин придавал своей переводческой деятельности большое значение и с точки зрения развития языка, «слога». Так, относительно своих переводов западноевропейских и античных писателей и мыслителей, собранных в трех книгах «Пантеона иностранной словесности» (М., 1798), он писал И. И. Дмитриеву: «Я работаю, — то есть перевожу лучшие места из лучших иностранных авторов, древних и новых: иное для идей, и н о е д л я с л о г а». И далее: «Посмотрим, каково будет Цицероново, Бюффоново, Жан-Жаково красноречие на русском языке» [156]. Здесь, между прочим, показателен и подбор авторов; речь идет в первую очередь не о художественной литературе, а о философских сочинениях, и, следовательно, не о слоге художественных произведений, а о нормах литературного языка вообще.

Карамзин скорее выразил свои надежды и мечты, чем констатировал действительное положение дела, когда говорил в 1803 г., что язык науки, «прежде трудный и мистический, сделался легким и ясным» [157]. Особенно «по-карамзински» звучат его слова относительно тех «великих гениев», которые «старались и стараются заманить людей в богатые области наук, сообщая им важные истины и сведения н е т о л ь к о п о н я т н ы м, н о и

---

[155] Сложность и трудность этого процесса сказались, в частности, в том, что и в первой половине XIX в. именно язык «теории» оказался наиболее консервативным, что проблема «метафизического языка» вновь встала во всей своей остроте в пушкинскую эпоху (см. Л. А. Б у л а х о в с к и й. Русский литературный язык первой половины XIX в. Лексика, стр.20—21 и 200—201).

[156] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, письмо от 1 марта 1798 г. (разрядка моя. — *В. Л.*). См. также в письме от 18 августа того же года, где Карамзин говорит о своих переводах, «писанных не совсем обыкновенным русским, то есть не совсем пакостным слогом».

[157] Н. М. К а р а м з и н. О публичном преподавании наук в Московском университете. Соч., т. 3. СПб., 1848, стр. 611.

приятным образом, и ведут их к сокровищам ума путем, усеянным цветами» [158].

Действительно, философские, исторические, научные, публицистические сочинения и переводы Карамзина и его сотрудников показывают стремление писать о вещах важных, серьезных просто и «приятно», без «педантства», без архаики, без высокого слога. В «карамзинской» литературе такого характера поражает отсутствие или незначительность типичного для этого рода литературы церковнославянского, книжно-архаического элемента.

В этом отношении язык теоретических сочинений Карамзина очень заметно выделяется на фоне обычной для этого и предшествующего (а отчасти и последующего) времени ученой, философской, публицистической литературы. Разумеется, похожие тексты, тоже свободные от архаики и не насыщенные славянизмами, можно найти и у авторов, далеких от карамзинского понимания норм литературного языка, и даже у писателей предшествующей поры. Но важно, что у Карамзина и представителей его «школы» этот отказ от целых рядов и серий книжно-архаической лексики осуществляется систематически, последовательно, определяя карамзинские представления о литературной норме.

Отсюда ощущение единства «нового слога» в произведениях, различных по своему жанру, теме, содержанию, о чем говорили многие современники Карамзина, нередко осуждающе или иронически [159]. Действительно, серьезное философское рассуждение, политическая статья, светский анекдот, художественное описание, даже устное повествование отражают в общем единое представление о норме литературного выражения [160]. Это разрушало привычные догмы. Карамзин переводил, например, письма Руссо (в «Пантеоне иностранной словесности») тем языком, которым он писал и свои собственные письма; см., например, в письмах

---

[158] Н. М. Карамзин. О публичном преподавании наук в Московском университете, стр. 611 (разрядка моя. — *В. Л.*).

[159] См., например, кроме широко известных замечаний Шишкова, Катенина, Кюхельбекера и др., в повести «Любовники-соперники в авторстве или Наставление писателям XIX века» в «Журнале приятного, любопытного и забавного чтения», № 1 (М., 1802).

[160] Большой интерес представляют оригинальные и переводные отрывки, помещенные Карамзиным в «Московских Ведомостях», где он редактировал в 1795 г. отдел «Смесь». Опубликовавший впоследствии весь этот материал в журнале «Москвитянин» С. П. Шевырев пишет, что «вся „Смесь" в „Московских Ведомостях" на 1795 г. носит на себе яркую печать мыслей и слога Карамзина»; касаясь объявления издателей «Московских Ведомостей» о том, что «почтенный издатель Аглаи» не будет в новом, 1796 г. продолжать свою работу в журнале и что «другой взял на себя сей труд», Шевырев замечает, что «и без этого объявления читатель несколько опытный в слоге мог бы догадаться по первым строкам „Смеси" 1796 года, что перо Карамзина уже в ней не участвовало более» («Москвитянин», 1854, № 3 и 4, кн. 1 и 2, отдел IV [Исторические материалы], стр. 44—45).

Руссо к Мальзербу: «Я столько привязан ко многому, что не могу быть очень привязан к мнению публики»; «чтобы отвечать на это возражение» (ср. *дабы*, *ответствовать*); «следы всех моих дурачеств»; «прежде тех лет, в которые сердце может брать участие в романах»; «голова моя пошла вкруг»; «критика бумагомарателей. . . завела меня в эту сферу»; «писал только для имени писателя» и т. д.

Как далее будет показано, представление о стилистической однотонности языка Карамзина сильно преувеличено — особенно если иметь в виду лексику. Но оно имеет все же объективное основание. Последовательно осуществленный отказ от многих широко употребительных ранее слов приводит к разрушению привычных синонимических пар и рядов. Дело, следовательно, не только в том, что можно привести много примеров употребления у Карамзина в самых «важных» и даже «высоких» сочинениях таких слов, как *сколь*, *столь*, *потому что*, *только*, *снова* или *опять*, *столько*, *сколько*, *так*, *там* и др. под., а в том, что они — если не считать совершенно единичных исключений — стали е д и н с т в е н н ы м и у Карамзина, что разрушались такие синонимические ряды, как *сколь — коль*, *потому что — поелику — понеже — зане*, *только — токмо*, *так — тако* и т. д.

Разумеется, это относится не только к словам служебным или полузнаменательным, но и ко многим другим. П. И. Макаров писал, что вследствие изгнания из литературного языка всего, что могло показаться «противным слуху», не соответствующим представлению о чистом «вкусе», «более двух третей русского словаря остается без употребления» [161]. В этом утверждении нельзя не увидеть полемического преувеличения [162], но оно, тем не менее, чрезвычайно выразительно рисует отношение «новой школы» к традиционному книжному языку. Можно назвать много слов, распространенных в различных стилях литературного языка второй половины XVIII в., неупотребительных или резко снизивших свою употребительность в языке Карамзина и наиболее последовательных его единомышленников. Как уже говорилось, в этом отразились два факта, тесно между собой связанные: во-первых, выход из литературного языка обветшалых славянизмов книжного языка и высокого стиля и, во-вторых, ограничение определенными стилистическими условиями употребительности тех высоких славянизмов, которые сохраняются в литературном языке. Такое разграничение окажется чрезвычайно важным,

[161] П. И. М а к а р о в. Критика на . . . «Рассуждение о старом и новом слоге. . .», стр. 162.

[162] Если иметь в виду реально употребляемый словарный состав; если же учитывать то, что зафиксировано в Словаре АР, или даже только то, что встречается в сочинениях наиболее архаизирующих литераторов типа М. Пахомова или И. Сидоровского, то замечание Макарова не покажется слишком преувеличенным.

когда будут рассматриваться эти стилистические условия; но пока речь идет о норме самого общелитературного, «среднего» языка, оно малосущественно. Действительно, нормам «нового слога» в общем чужды не только такие слова, как *воспящать*, *добльственный*, *прещение*, *обавать* и *обавательный*, *посмеваться*, *посмеяние*, *напоминовение*, *вождать*, *внити*, *возмощи* (*возмогу* и т. д.), *подвигнуть*, *отвещати*, *любомщение*, *немотствовать*, *толикократно*, *вперять* (в кого-нибудь мысли, знания и т. д.), *презорный* и *презорство*, *утушить*, *осиявать*, *произвождение*, *восприять* (рождение, участие, путь, прибежище, власть и т. д.), *поженуть*, *внезапу*, *поднесь*, *восхотеть* (тем более с основой *восхощ-*), *восшествовать*, *насильство*, *приятство*, *надмеваться*, *прехождение*, *воззрение* на кого- или что-либо (в значении «взор», «взгляд»), *возжелать*, *неудобь*, *досязать*, *соглядать*, *уповательно*, *учинить*, *коликий*, *паче*, *яко*, *понеже*, *поелику* и т. д., не говоря уже о таких, как *убо*, *дондеже*, *абие*, *зане* и под., но также и *произрещи* (*произрек* и т. д.), *стрещи*, *ловитва*, *велелепие*, *снискать*, *воззреть*, *сретение*, *сретать*, *прейти*, *восстать* (в значении «встать»), *алчба*, *днесь*, *шествовать*, *рещи*, *вещать*, *отверзать*, *десница*, *глагол* («слово»), *стогны*, *елень*, *праг*, *дщерь*, *вретище* и даже *мраз*, *чело*, *ланиты*, *нощь* и под., — если их рассматривать как факты общелитературного книжного языка и употреблять без дополнительных (и очень четких) стилистических мотивировок. Поэтому наше внимание в произведениях Карамзина остановит не только удивительная свобода от учено-схоластического, приказного элемента, вообще от книжной архаики, но и то, например, что Аристотель в рассуждении Цицерона о боге *говорит* (а не *вещает*, *речет* или *глаголет*), так же, как и сам Цицерон в переводе философского сочинения Гарве «О досуге» («Московский журнал», ч. VI, кн. 2, стр. 172), что в речи Аристотеля упоминаются *великолепные* дома (а не *велелепные*), люди, которые «*никогда* не *выходили* из своей темницы» (ср. *николи*, *исходили*) и т. д.

§ 36. Сделанные выше выводы приобретут убедительность при сравнении языка Карамзина и его единомышленников с языком его предшественников или тех из его современников, которые писали по-старому — и не только потому, что были принципиальными противниками «нового слога», но просто потому, что таковы были их представления о норме книжного литературного выражения. Естественно, что чем ближе сопоставляемые тексты по содержанию, тем убедительнее выглядит такое сравнение. Большую ценность в этом отношении представляет сопоставление разных переводов одних и тех же произведений, осуществленных разными лицами. Чтобы такого рода сопоставления носили вполне объективный характер, необходимо, однако, учитывать целый ряд дополнительных обстоятельств. Так, надо иметь в виду, что различие двух переводов может быть обусловлено отчасти тем, что переводчики относят произведение к разным стилям: один воспри-

нимает его как произведение высокого стиля, другой относит его к среднему, «простому» стилю. Такого рода факты небезразличны для истории литературного языка: важно отметить, что те темы и то содержание, которые ранее могли выражаться в литературе только при помощи средств высокого стиля, стали предметом «простого описания»; это свидетельствует об эволюции самой стилистической системы литературного языка. Но различие конкретных языковых норм при таком сопоставлении выявляется слабо. В этих случаях полезнее было бы сопоставить тексты пусть разные, но стилистически однородные. Так, например, сопоставление переведенного Карамзиным отрывка из шестой книги Илиады «Гектор и Андромаха» с соответствующими переводами не только Екимова или Кострова, но даже Гнедича очень выразительно, но нельзя забывать, что сама тема решена здесь совсем в ином стилистическом ключе; поэтому для понимания отличий карамзинского, условно говоря, «высокого слога» от старого высокого слога полезнее было бы сопоставить перевод Екимова с таким произведением Карамзина, как «Опытная Соломонова мудрость» или др. под. Таким образом, при сопоставлении одинаковых переводов следует строго разграничивать различия, связанные с иной стилистической оценкой произведения, или даже с иным пониманием самой системы стилей языка и границ применения того или иного стиля, — и различное представление о составе норм литературного языка и отдельных его стилей, разновидностей.

Далее, недостаточно убедительны сопоставления таких текстов, которые принадлежат лицам с резко враждебными, резко противопоставленными взглядами на литературный язык: нельзя опираться при оценке литературного языка только на крайние проявления тех или иных тенденций развития. Например, внешне эффектным, но малосодержательным выглядело бы сравнение языка Карамзина с языком такого архаиста, как Ф. Туманский. Полемика Туманского с Подшиваловым в «Московском журнале» (относительно осуществленного Туманским перевода «Палефата») любопытна не только разницей взглядов и позиций, но и различием в языке; ответ Туманского по своему языку и слогу выглядит на страницах «Московского журнала» (ч. V, кн. 2, стр. 277—290) странным анахронизмом. Наконец, следует остерегаться случайности и односторонности при демонстрации примеров из разных переводов; сравнение должно быть по возможности исчерпывающим в пределах отобранного текста, т. е. охватывать все случаи расхождений, имеющих стилистическое значение, даже если они отчасти и противоречивы. Только в таком случае выявится вполне объективная картина различий сравниваемых текстов.

Названные выше условия существенны при сопоставлении текстов любой эпохи; но в рассматриваемое нами время, отличающе-

еся резкой ломкой норм, сосуществованием очень различных, противопоставленных друг другу стилистических тенденций и норм, сложностью и противоречивостью литературно-языковых процессов, — они приобретают особенно важное значение.

Выразительный материал для сравнения представляют переводы «Естественной истории» Бюффона. За время с 1789 г. по 1808 г. вышло 10 томов перевода этого труда известного французского естествоиспытателя [163]. Перевод «Естественной истории» характеризуется со стороны языка умеренностью в употреблении архаического, специфически книжного элемента. Карамзин находит в нем даже «ясность и гладкость слога». В своей рецензии на вышедшие к этому времени тома Карамзин замечает, что это «один из лучших переводов, когда-либо вышедших на русском языке» (хотя он и не считает его «совсем совершенным»; см. «Московский журнал», 1791, ч. I, кн. 2, стр. 236—247). Возможно, что здесь сказалось в какой-то степени подчеркнутое всем тоном отзыва уважение рецензента к выдающимся ученым, академикам Лепехину и Румовскому, переводившим первые книги Бюффона; но бесспорно, что язык перевода, действительно, отличается от многих других книг такого рода чистотой и правильностью. Здесь невозможно говорить о пристрастии переводчиков к славянщине, высокому слогу, как, например, это можно утверждать о «големых претолковниках» творений Платона.

Это достаточно умеренный, «средний» слог научного описания, лишь кое-где обнаруживающий уклон к риторике и живописности, тоже, впрочем, весьма умеренной [164]. Тем самым встречающиеся в переводе элементы «славяно-русского языка» приобретают более объективный характер, могут рассматриваться как вполне типичные. Поскольку мы не ставим задачи дать анализ лексики этого перевода, ограничимся лишь демонстрацией нескольких примеров из разных томов. «Властительство человека над животными есть властительство законное, каковое никакая перемена испровергнуть не может»; «сего горделивого и скоротечного животного»; «он мещется в среду звучащего оружия. . . тем одушевляется жаром, каковой кипит в сердце всадника его»; «он. . . не токмо повинуется деснице своего правителя, но. . .»; «конь есть создание отрящшееся от самого себя и существующее токмо для исполнения воли другого»; «воззри на диких коней»; «г. Гарольд предлагает другое средство к соделанию ручными

[163] Ж. Л. Б ю ф ф о н. Всеобщая и частная естественная история, преложенная с французского на российский [И. Лепехиным, С. Румовским и др.]. ч. 1—10. СПб., 1789—1808.

[164] Этот уклон в живописность, «художественность» связан и с особенностями стиля самого Бюффона, которого Пушкин называл «великим живописцем природы», отмечая его «цветущий, полный слог», который всегда будет «образцом описательной прозы». И. И. Лепехин в «предуведомлении» к шестому тому «Естественной истории» говорит о своем стремлении «сохранить мысли и выражения сего красноречивого писателя».

диких лошадей»; «делая толикие разыскания»; «взимая вообще все существа, зрим все целое количество жизни всегда то же. Сила ее (смерти. — *В. Л.*). . . простирается токмо на одиначки, касается токмо внешности, разрушает единый наружный вид, но нимало не возмогает над самым веществом»; «природа составляет из мира, возраждая и возобновляя существа, всегда наполненное позорище и всегда новое явление»; «вещь, которая быть может и паки не быть»; «поелику опасаюсь, что я не могу высокий сей предмет объять во всем его пространстве»; «мужалость сопровождает младость»; «великий любомудрец»; «естество слов»; «для снискания всеобщих начал»; «изъясняли его образование и разверзание» и др.

Это не только язык перевода, но и язык авторских примечаний, предисловий и т. д. Вот несколько примеров из «предуведомления от трудившегося в преложении» (т. е. предисловия переводчика) к шестому тому: «предприятый труд»; «содержат в себе токмо всеобщее введение»; «он умозрение свое инде на зыблемом полагал основании»; «средства нужные к снисканию их пропитания»; «заключая все прибавлением размера в частях наружных, яко нужного к точному различению животных, а наипаче таких, которые. . .»; «наконец сие токмо сказать остается, что. . .»; «мнил я быть в состоянии начатый продолжать труд» и др. Вот еще сноска переводчика к приводившемуся выше рассуждению автора о сохранении «целого количества жизни» и о возрождении существ: «Но свыше всякого прекословия (т. е. вне всякого сомнения, не вызывает возражений. — *В. Л.*) делает наибольшее в нас впечатление неизмеримое количество жизни, коего вся исполнена вселенная. Как велико множество творений. . . сколь различны суть их виды. . .! коликий жар в их темпераментах! Какая живость в их поступках. . ., какая ненасытная алчба истреблять друг друга». Переводчик ссылается при этом на английскую книгу, название которой «Philosophical Surview of the animal creation» он переводит: «Любомудрственные рассуждения о миротворении».

Легко увидеть, что и по составу лексики и по структуре фразы все это довольно далеко от крайних проявлений архаического «славяно-русского языка»; и в то же время здесь отражены стилистические нормы «докарамзинского» языка. Достаточно свободно употребляются здесь стилистически «нейтральные» или близкие к ним элементы делового и вообще книжного языка: не только типа *поелику*, *понеже*, *паки*, *толикий*, *инако*, *токмо* и т. д., но и такие, как *прекословие*, *скоротечный*, *властительство*, *воззреть*, *предприятый* труд, *испровергнуть*, *умозрение*, *снискать* и т. д. Из приведенных выше примеров останавливают еще внимание *отрящшееся*, *взимая* — в значении «принимая во внимание, беря как предмет рассмотрения» («взимая вообще все существа, зрим»), *возмогает*, *мнит быть*, неуклюжее *любомудрственный* и *любомуд-*

рец и некоторые другие. Далее, как многократно отмечалось выше для различных произведений литературы этой поры, и здесь встречаемся с употреблением слов и выражений, отличающихся высокой окраской, но вне специальных условий высокого слога, как фактов общекнижных. Уже некоторые из названных выше слов, такие, как *воззреть*, *испровергнуть*, *отрящшееся*, стоят на границе общекнижной, «славяно-русской» и собственно высокой, «славенской» лексики. Но здесь есть и конь, который «мещется в среду звучащего оружия» и «повинуется деснице» всадника, мир как «всегда исполненное позорище», «ненасытная алчба» людей истреблять друг друга [165].

Можно отметить еще одну группу «славенских» слов, употребление которых также указывает на устойчивость архаических традиций в языке научного описания. Речь идет о давнишнем пристрастии к славянизмам как научным терминам при обозначении частей тела человека или животного [166]. Переднюю часть груди у лошади переводчик называет *перси*, объясняя этот термин через франц. *poitrail*; описываются «кости бедер, будылок и *рамен*», а также «кости, служащие незыблемым основанием *перстам* и пальцам»; говорится о коже «на *вежднх*» и т. д. Такое употребление этой и подобной лексики довольно обычно в научной и учебной литературе, а также и в Словаре АР. Эти и подобные славянизмы в таком употреблении не играют, разумеется, никакой стилистической роли, свидетельствуя лишь о направлении поисков в естественно-научной терминологии (см., например, в одном из приведенных примеров чисто смысловое разграничение слов *персты* и *пальцы*: *персты* — это пальцы рук). Тем не менее, для характеристики языка перевода Бюффона в его отношении к старой традиции и новому, «карамзинскому» этапу в развитии литературного языка эти случаи не безразличны.

При всем том, как уже отмечалось, язык этого перевода отличается от многих других книг такого рода относительной «чистотой». Стоит, однако, сопоставить его с карамзинским переводом, как станет ясно, что перед нами представители разных периодов в истории литературного языка, хотя и в переводе Карамзина, естественно, употребляются слова книжные, отвлеченные. Наибо-

---

[165] Сюда вряд ли можно отнести слово *младость*, употребление которого, как и других слов этого гнезда, в неполногласной форме было чрезвычайно распространенным.

[166] Вопрос о терминологии, необходимой при описании животных, их образа жизни и т. д., беспокоил переводчиков Бюффона. В «предуведомлении» к шестому тому И. И. Лепехин говорит о том, что Бюффон «все сие выражал речениями, на заводах конских, в скотоводстве, в охоте в промыслах употребляемыми», что необходимо и в русских книгах использовать опыт людей, «помянутыми упражнениями занимающихся». Переводчик не уверен, что собранные им «некоторые речения в природном языке нашем» употребляются им вполне правильно, и просит «любителей российского слога» «вразумить» его в случае ошибок.

лее показательным окажется сопоставление переводов одних и тех же мест подлинника. Выше упоминалась рецензия Карамзина — чрезвычайно положительная и почтительная — на перевод Лепехина и Румовского, напечатанная еще в 1791 г. в «Московском журнале». Здесь почти нет замечаний стилистического порядка; отдельные упреки переводчикам касаются лишь точности некоторых фраз; при этом рецензент предлагает свой перевод. Сличение этих фраз оказывается выразительным и с точки зрения стилистической. Так, считая недостаточно точно выражающей мысль автора следующую фразу из перевода: «есть такожде влиянная склонность к люблению оных [произведений природы], превозмогающая стремление к частным каковым-либо ее предметам», Карамзин поясняет, что речь здесь идет о том, что «любовь к ним показывает уже в человеке некоторый вкус, и что сей вкус превосходнее такого вкуса, который имеет предметом какие-нибудь частные вещи». Как видим, в переводе Карамзина нет слов *такожде*, *любление*, *влиянная склонность*, *каковой-либо*, но есть *любовь*, *вкус*, *какие-нибудь*. Вместо фразы «. . . малое прилепление, трудолюбным побуждением произведенное, обращаемое токмо на один предмет», Карамзин предлагает: «. . . мелочные примечания трудолюбивого духа, прилепляющегося только к одному предмету». Очевидно, что и эти два перевода отличаются друг от друга не только оттенком смысла, но и стилистически: ср. *трудолюбный — трудолюбивый*, *токмо — только*, *малое прилепление — прилепляющийся*, не говоря уже о синтаксическом строении фразы.

Еще более показательно сравнение карамзинского перевода текста Бюффона в «Пантеоне иностранной словесности» («Идеи первого человека при развитии его чувств») с соответствующим отрывком из перевода Лепехина. На поучительность сравнения именно этих отрывков (с присоединением перевода В. Ф. Малиновского — книги «Дух Бюффона», 1783) указывал еще П. Макаров в своем ответе Шишкову. Сравнив «два хороших сочинения одного рода, старое и новое, двух писателей одной степени, — говорит Макаров, — . . . увидели бы, которому слогу должно отдать преимущество» [167]. Самый факт безоговорочного отнесения карамзинистом Макаровым перевода Лепехина к «старому слогу», разумеется, чрезвычайно показателен. Очевидно, под влиянием замечания Макарова, Я. Грот приложил к своей статье о Карамзине сопоставление одного абзаца из трех названных Макаровым переводов [168]. Продолжим это сопоставление на материале двух

---

[167] П. Макаров. Критика на . . . «Рассуждение о старом и новом слоге. . .», стр. 178.

[168] Я. К. Грот. Карамзин в истории русского литературного языка, стр. 126—127. Сопоставление этих переводов вообще, очевидно, считалось в карамзинской среде весьма показательным; так, И. Дмитриев пишет в своих записках, что он «имел терпение нарочно сличать» карамзинский пере-

переводов, оставив в стороне перевод Малиновского. Интерес такого сравнения увеличивается еще от того, что, как можно предполагать, переводя, Карамзин держал перед глазами перевод Лепехина. Это можно предположить не только на основании того непреложного факта, что перевод Лепехина был известен Карамзину, но и вследствие наличия в обоих текстах таких совпадений, которые вряд ли возникли в результате самостоятельных переводов. Если это предположение верно, то последовательно проведенные отличия двух переводов приобретают характер вполне осознанного отказа Карамзина от языка лепехинского перевода. Отметим прежде всего последовательный отказ Карамзина от архаизмов официально-канцелярской речи, ученого слога, вообще от устаревающих элементов книжного языка.

Вот некоторые параллели. У Лепехина: «видеть себя паки обладателем толиких блестящих предметов»; у Карамзина: «все блестящие предметы опять мои». Ср. также: «приметил, что оные (вещи, предметы, окружающие меня. — *В. Л.*) могу терять из виду и паки находить оные, и что могу, по желанию моему, истреблять и паки созидать сию прекрасную часть самого себя» [169] — «примечаю, что могу терять и находить их; что имею власть разрушать и снова производить сию любезную часть самого себя» (здесь устранены оба *паки* — один раз без всякой замены, второй раз ему соответствует *снова*; нет также обоих *оные*; ср.: «терять и находить *их*»); «я паки привел себя в движение» — «иду снова»; «отверзлись уста мои, дабы выдохнуть оный, вскоре потом паки растворилися для вбирания оного» — «растворяю рот, чтобы выдохнуть ароматы; снова растворяю его, чтобы снова ими наполниться» (ср. здесь: *отверзлися — растворяю*, *уста — рот*, *дабы — чтобы*, *паки — снова*); «старался паки познать себя» — «стараюсь снова узнать себя»; «толико совершенным» — «так совершенно»; «объемля взором все мое тело, казалося оно мне толь чрезмерной величины» — «взирая на тело свое, думаю, что оно беспримерной величины» (в переводе Лепехина, помимо *толь*, *объемля взором*, обращает на себя внимание также и слово *чрезмерный*, которое не означает здесь «слишком большой», а только «очень большой», «большой сверх всякой меры»; впрочем, такое употребление этого слова встречается и у Карамзина, например в переводах Мармонтеля и др.); «быть токмо светящимися точками» — «одними светлыми точками»; «ясно усмотрел, что рука моя токмо малая часть тела моего» — «видел ясно, что рука составляет только малую часть тела» (ср. здесь *токмо — только*, а также *усмотрел* в устаревшем употреблении — «видел»); «я то токмо чувствовал, что. . .» — «я знаю только, что. . .»;

вод Бюффона с двумя предшествующими (И. И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь, стр. 87).

[169] Здесь и далее первым приводится пример из перевода Лепехина, вторым — из перевода Карамзина.

«не токмо ничего не лишился, но паче усугублен был» — «не только не потерял себя, но еще удвоился» [170]; «коль приятный вкус» — «какая сладость» и др. под.

Любопытен еще такой пример в переводе Лепехина: «Я пребыл в глубоком сне. . . Продолжение его было неизвестно, поелику я никакого не имел понятия о времени». Наше внимание останавливают не только *пребыл* и *поелику*, но и *продолжение*, которое означает здесь *длительность*, непосредственно соотносясь с глаголом *продолжиться — продолжаться* [171]; ср. у Карамзина: «Сон мой был глубок. . . сколько он продолжался, не знаю, ибо не имею еще понятия о времени».

О различном понимании норм книжного языка свидетельствуют и такие параллели, как «мнил я быти почти лишенным бытия моего» — «кажется мне, что я лишился почти всего бытия моего» (в другом месте слову *мнил* соответствует в переводе Карамзина *думал*) [172]; «вперив все свое внимание и весь будучи занят сим новым родом бытия» — «занимаюсь таким новым родом бытия»; «провождая руку мою взором» — «следую глазом за движением руки»; «привел себя в движение» — «иду»; «соделала меня неподвижным» — «остановила меня»; «сие прешедшее мое ничтожество» — «сие временное уничтожение»; «я почел оный за второго себя» — «сперва думаю, что оно другой я» и т. д. Вот еще фраза из перевода Карамзина: «Глаза мои, уже бесполезные, закрываются; голова, не поддерживаемая силою мускулов, опускается на траву». А вот как тяжело и громоздко это выглядит в переводе Лепехина: «Глаза мои соделалися мне бесполезными и сомкнулися, и глава моя, не будучи поддерживаема силою мышц, наклонилася, дабы на траве получить подпору».

Как и в других случаях, Карамзин свободнее и в употреблении иностранных слов; вместо *понятие* он пишет *идея* (ср.: «производило в душе моей сугубое понятие» — «рождало в душе моей двоякую идею»); употребленным у Карамзина словам *концерт* и *гармония* в переводе Лепехина соответствует *согласие*, ср.: «Пение птиц, журчание воды, дыхание ветерка составляют концерт, которого нежное впечатление проницает во глубину души моей.

---

[170] Кроме *токмо* и *паче*, здесь заслуживает внимания и *усугублен* в значении «удвоен». В Словаре АР для глагода *сугубить* даются значения «удвоить» и «умножать», «увеличиваться»; см. еще *сугубый* — «двоякий, двойной, вдвое больший». Эта параллель также встречается в рассматриваемых текстах. Ср. у Лепехина: «каждое прикосновение производило в душе моей сугубое понятие» — у Карамзина: «всякое прикосновение рождает в душе моей двоякую идею». Такое употребление, очевидно, уже в конце XVIII—начале XIX в. было архаичным.

[171] В Словаре АР одно из значений слова *продолжение* определяется как «долгое чего пребывание, существование». Любопытно, что Карамзин, употребив это слово в таком значении в одной из повестей Мармонтеля, впоследствии устранил его при переиздании этих повестей (см. ниже, стр. 215).

[172] О слове *мнить* см. стр. 193.

Слушаю — слушаю долго и полагаю, что сия гармония есть я» (Карамзин) [173] и: «Пение птиц, жужжание колеблемого воздуха составляли согласие, коего приятное впечатление проницало до глубины души моея; я долго оное вкушал, и вскоре уверился, что сие согласие составлял я сам собою» (Лепехин). В этом последнем примере обращают на себя внимание также *дыхание ветерка* и *колеблемый воздух*, *слушаю* и *вкушал оное*; в то же время соответствие *которого* и *коего* мало показательно.

Приведенные примеры свидетельствуют о глубоком перевороте в характере и составе книжного языка, произведенном «школой Карамзина». Надо заметить, что цитируемый текст у Лепехина отличается большей концентрацией книжного элемента, чем большинство других мест перевода, что легко объясняется его содержанием: это — вложенный в уста первого человека предполагаемый рассказ о его первоначальных ощущениях. Обращение к такой «важной материи» почти механически вызвало усиление книжности, «славяно-русского» элемента как в лексике, так и во фразеологии и синтаксисе. Это не высокий стиль в его классическом понимании: для высокого стиля здесь не хватает «парения», «выспренности», да и сами эти книжные элементы недостаточно выразительны как приметы высокого стиля. Но в данных условиях они и с точки зрения стилистической представляют собой наиболее подходящий языковой пласт. Для Карамзина эти элементы в подавляющем большинстве своем лишены всякого стилистического значения; они нетерпимы для него в любом тексте, а в поэтическом, может быть, менее приемлемы, чем где бы то ни было. Этот тот язык, от которого он активно и сознательно отказывается.

Но Карамзин оказался в этом переводе умереннее своих предшественников и в употреблении той книжной и архаической лексики, которая вообще не чужда языку Карамзина, когда он касается высоких предметов, — и не только как дань высокому стилю, но, отчасти, и как поэтический элемент «нового слога» вообще. Уже в приведенных выше примерах можно было заметить, что там, где у Лепехина *отверзать*, *уста*, *глава*, — в переводе Карамзина *растворить*, *рот*, *голова*. Можно привести и другие параллели: «блеска его (солнца. — *В. Л.*) не мог я понести и закрывал принужденно мои вежди, чувствуя легкую болезнь» — «смыкаю глаза от яркого блеска его, чувствую легкую боль» (здесь показательно не только сопоставление *вежди — глаза*, но также и *болезнь — боль* [174]; см. также *принужденно*, отсутствую-

---

[173] Во втором издании «Пантеона иностранной словесности» (1818) слово *концерт* заменено на *гармония*.

[174] Ср. замечание Шишкова: «*Болезненно* тоже славянское; ибо мы в просторечии не говорим: *мне болезненно*, а говорим *мне больно*, *тяжко*, *досадно* или тому подобное» (А. С. Шишков. Собрание сочинений и переводов, ч. IV, стр. 67).

щее в переводе Карамзина); «восстал я вдруг» — «встаю»; «я возложил руку мою на голову, касался чела моего» — «поднимаю руку, осязаю голову, лоб»; «я паки привел себя в движение и шествовал подняв главу вверх и слегка задел за пальмовое древо» — «иду снова — подняв голову к небу — и прямо нахожу на пальмовое дерево»; «легкий ветр, меня прохлаждающий» — «легкий свежий ветерок».

Это параллели особого рода, на основании их нельзя делать вывода о неупотребительности у Карамзина слов *чело*, *глава*, *ветр*, *отверзать* и др. под. (ниже будут приведены примеры употребления такого рода слов в произведениях Карамзина); но такие сопоставления помогают судить об ограниченности сферы употребления этой лексики.

Бесспорно, что перевод Карамзина звучит не только более современно, но и более поэтично, несмотря на отсутствие здесь «поэтических» слов. Это результат отказа, отталкивания от архаического — канцелярского и «ученого» — элемента. В некоторых случаях карамзинский перевод выглядит изысканно, а порой и «кудряво»; см., например: «вкус дает мне чувство роскоши» (у Лепехина: «вкус возродил во мне сладость»); «лучезарное солнце погашает светильник свой» (у Лепехина: «дневное светило. . . угасило свое сияние») и др. под.

Может быть, единственный случай, где Карамзин употребил слово более книжное, чем Лепехин, — это «воспоминает мне», слово вообще излюбленное у Карамзина (у Лепехина: «приводила на память»). Надо, однако, заметить, что *воспоминать* в языке второй половины XVIII в. вообще было близко к словам нейтральным (см. стр. 81).

Вот еще один выразительный пример — переведенная Карамзиным обширная рецензия на «Путешествие младшего [в переводе Карамзина — *младого*] Анахарсиса по Греции» аббата Бартелеми («Московский журнал», ч. III, кн. 1, 2 и 3). Рецензия пестра по своему составу — здесь и ученые рассуждения рецензента, и отрывки из самого «Путешествия», и цитаты из исторических источников, — но не по языку, сохраняющему свою ровность и строгую нормативность. Показательны сопоставления приведенных в рецензии отрывков из рецензируемой книги с переводом «Путешествия Анахарсиса», изданным позднее, в начале XIX в., и осуществленным группой членов Российской Академии: Нартовым, А. Никольским, Севастьяновым, В. Севергиным и др. [175]

Там, где переводчики «Путешествия . . .» писали «предпринимаю описывать сражения» (т. I, стр. 153), Карамзин ранее переводит «решиться описывать сражения» («Московский журнал»,

---

[175] «Путешествие младшего Анахарсиса по Греции. . .», т. I—VI. СПб., 1804—1809.

ч. III, кн. 1, стр. 102); где в «Путешествии . . .»: «нельзя предать его молчанию» (Там же) — у Карамзина: «умолчать о нем невозможно» (стр. 103). Ср. еще: «Перикл . . . опроверг [176] власть Ареопага, сильно противоборствовавшего необузданности нравов и новостей» («Путешествие . . .», т. I, стр. 287) — «отнял Перикл власть у Ареопага, который сильно противился развращению нравов и новым обычаям» («Московский журнал», ч. III, кн. 1, стр. 104); «[афиняне] имея чувствования весьма скоропреходные» (т. II, стр. 254) — «[народ] переменчивый в своих чувствованиях» («Московский журнал», ч. III, кн. 1, стр. 109); «преходящим наподобие молнии от ярости к состраданию» (т. II, стр. 255) — «вдруг переходит из ярости в жалость» («Московский журнал», ч. III, кн. 1, стр. 110). Рассказ о комическом эпизоде в Афинском собрании Карамзин переводит: «целое собрание вскочило и бросилось за маленькою птичкою» («Московский журнал», ч. III, кн. 1, стр. 111); ср. в переводе А. Никольского: «восстало некогда почти все собрание» и др. под. Приведенные сопоставления, может быть, за исключением последнего (*вскочить — восстать*), не поражают резкими стилистическими различиями, и это понятно: ведь перевод Нартова, Никольского и др. отнюдь не отличается пристрастием к риторике и высокому слогу; напротив, он довольно умерен в этом отношении, отражая языковые нормы обычного среднего научного описания у представителей «старой школы». Но такие неяркие, неброские параллели тем более показательно демонстрируют глубокое отличие «нового слога», нового «вкуса» от старых литературных норм. Представители новой «карамзинской» школы уже просто не могли писать так, как даже спустя 10—15 лет переводчики «Путешествия . . . »: «вошли неприятели паки в Аттику», «таковый род вбожения» (т. е. обожествления. — *В. Л.*), «толико учинились грубы», «тогда усугубляются удары», «вперять высокое о самих себе мнение», «тайна присовокупляет толико прелестей к любовным внезапностям», «пристрастны к музыке, вперяющей сильную любовь к добродетели» и т. д., — или, подобно переводчикам, употреблять без всяких стилистических оправданий вполне нейтрально: *ловитва кабанов, в нощное время, томимые гладом, возжечь общую войну, при воззрении на него* и т. д. [177]

---

[176] *Опроверг* в переводе Российской Академии в архаическом употреблении. Ср. у Карамзина в этой же рецензии: «опровержение распространенного слуха» (стр. 217).

[177] В первые десятилетия XIX в. был опубликован еще один перевод «Путешествия младшего Анахарсиса. . .» (т. 1—9. СПб., 1809—1818), принадлежащий Н. И. Страхову и А. Рудольскому. Несмотря на некоторые погрешности, язык этого перевода вполне современен и заметно отличается от предшествующего. Сопоставление этих двух переводов дало бы выразительный материал для суждения о различии старых и новых норм литературного языка.

Сопоставим более обширные куски текста. Карамзин перевел из «Путешествия . . .» два отрывка — «О Сократе» (опубликован в «Пантеоне иностранной словесности») и «Платон или О происхождении мира» (впервые опубликован еще в «Московском журнале», 1792, ч. VIII, декабрь). Вот несколько параллелей из рассказа «О Сократе» [178]: «[учения], кои служат только к удовольствованию беспокойного любопытства» — «питают одно беспокойное любопытство»; «умозрения, кои служат токмо к затруднению или заблуждению ума» — «теориями, в которых ум наш только заблуждается» (впрочем, в переводе Карамзина встречается и *умозрение*); «вводили вольность сумневаться в истинах» — «подвергали дерзкому сомнению те великие истины»; «законов, кои напечатлены в его сердце» — «законов, начертанных ими в сердце его»; «о естестве божества» — «существа божественного»; «знал добро и зло, соделывающие благополучие и злосчастие человеков» — «знал благо и зло, от которых происходит счастье и несчастье людей»; «множество испроверженных предприятий к достижению счастья» — «пустые системы счастья» [179]; «многотрудное и опасное попечение» — «трудную и опасную должность»; «сему достохвальному служению» — «сему священному делу»; «усугубляю услуги, коими я обязан моему отечеству» [180] — «я более служу моему отечеству». См. еще: «рыданья их усугубились» — «умножил общее рыдание»; «иметь с ним сообщества» — «знать его»; «ласкатели народа усугубляли в нем неудовольствие» — «льстецы народа умножали его страх»; «сделал усилие к преклонению судей» — «постарался тронуть судей»; «Сократ препроводил тридесять дней в темнице» — «провел 30 дней»; «я присовокуплю к сему, что они приуготовили мне некое пособие» — «скажу еще, что они предлагали мне способ облегчить мой жребий» (последний пример интересен еще и тем, что это прямая речь Сократа); «бдящих над исполнением казни» — «которым поручено исполнять уголовные решения»; «испускала жалобные вопли» — «стенала»; «восприял намерение», «вознамерился» — «решился»; «сказать необиновенно» — «громогласно» (в переводе А. Рудольского «всенародно»); «прилагали рачение к собиранию» — «собирали»; «изящный вид, каковый приемлет мрамор от резца» — «правильные формы мрамора, образуемого искусством» и др. Можно на-

[178] Первым приводится текст из пятого тома «Путешествия. . .» (СПб., 1808. Перев. Вас. Севергина, стр. 397—459); вторым — из «Пантеона иностранной словесности» (кн. III, стр. 93—198).

[179] Выражение *система счастья* употреблено Карамзиным также в переводе статьи «Виланд» («Московский журнал», 1792, ч. VIII, декабрь, стр. 225): «сей роман содержит в себе наилучшую систему счастья».

[180] Помимо *усугубляю услуги, коими. . .* наше внимание останавливает здесь *обязан услугами отечеству* в значении «обязан оказывать услуги отечеству». В это время *обязан чем чему* или *кому* означало уже обычно, как в современном языке, «получил, достиг чего-либо благодаря кому или чему-нибудь». Ср. франц. etre obligé, redevable.

звать некоторые регулярно повторяющиеся параллели в рассматриваемых текстах. Так, например, в переводе Карамзина при прямой речи постоянно глагол *отвечать* — в том числе при изложении поучений Сократа, его ответов на суде и т. д.; в переводе Севергина — только *ответствовать*, даже когда речь идет о тюремном служителе; см., например: «Сократ вопросил, что ему должно делать. Выпив яд, ходить, ответствовал сей служитель» (у Карамзина здесь — *спросил*, *отвечал*). См. еще в этих переводах последовательно проведенные такие отличия, как *поелику — потому что*, *коего* и т. п. — *которого*, а также *яко — как* («преследуя его яко́ развратителя юношества» — «обвиняя его как развратителя молодых людей»), *токмо — только* («почему вы токмо ныне начали плакать» — «для чего вы только теперь начали плакать»); ср. здесь также *ныне — теперь*, *толь — так*, *буде — если* («буде есть еще время»), *ниже́ — ни*.

Как видно, все или почти все приведенные параллели свидетельствуют о заметном различии в понимании норм книжного языка. Иной характер (как это отмечалось и при сравнении переводов Бюффона) носят такие параллели, как «феатр» — «театр», «возвестить час смерти» — «объявить»; «вскричала гласом прерывающимся рыданиями» — «зарыдала»; «восслав молитвы к богам» — «принеся моление богам»; «воздают богам наилучшее благоволение» — «служат богам наилучшим образом»; «возопил юный Аполлодор в жестоком своем прискорбии» — «воскликнул пораженный горестью Аполлодор»; «исторг его [раненого Алкивиада] из рук неприятеля» — «вырвал его из рук неприятеля»; «младого Ксенофонта» — «юного Ксенофонта», — где обнаруживается разное отношение и к употреблению в такого рода литературе слов собственно высоких, в том числе таких, которые вообще могут встретиться в определенных условиях и у Карамзина. Ср. еще «десницею его сотворенных» и «образованных его рукою» [181].

Остановлюсь еще на трех параллелях, связанных с уточнением и ограничением значений некоторых слов. Литературный язык освобождается от употребления слова *отречься* (*отрещись*) в значении «отказаться от какого-нибудь действия, намерения, отвергнуть чью-либо просьбу или предложение». Ср. в рассматриваемом переводе «Путешествия. . .»: «Он [Сократ] и от того отрекся» (от предложения царя Архелая жить при его дворе. — *В. Л.*); «вознамерился отречься от рассмотрения первых причин»; «отрещися от жизни»; в переводе Карамзина им соответствует «отказался», «решился не думать» (третий случай не имеет в переводе Карамзина параллели) [182].

---

[181] Слово *десница*, очевидно, было чуждо карамзинскому языку даже в составе обычных фразеологических сочетаний, связанных с «божьей десницей» (см. ниже).

[182] В XVIII в. употребление *отречься*, *отрещись*, *отрицаться* в указанном значении было обычным и стилистически нейтральным. Оно встре-

Глагол *мнить* в книжном языке XVIII в. часто употреблялся как синоним к *думать*, см. в рассматриваемом переводе Севергина: [ученик Сократа] «мнил, что он видит его в последний раз». Впоследствии такое употребление начинает восприниматься как архаическое, в слове закреплялось более узкое его значение — «предполагать, надеяться, рассчитывать»; в приведенной выше фразе у Карамзина *думая*. В своих выписках, сделанных при чтении библии и других церковных книг, Карамзин замечает: «Можно сказать: мнил или думал делать то-то» [183]. Очевидно, практике Карамзина было чуждо такое употребление, но любопытно, что его внимание остановила синонимичность этих слов в церковных памятниках [184].

Устранялось в течение конца XVIII — нач. XIX в. употребление слова *возмездие* в значении «воздаяние, награда, плата» без оттенка «наказание за причиненное зло». См., например, в рассматриваемых переводах: «без всякого возмездия преподавал учения» — «не требовал никакой платы» [185]. В переводе «Путешествия. . .» встречаем также старое употребление слова *удобно* (см. выше, стр. 164): «На сие ответствовать было удобно» (речь идет об ответе Сократа на обвинения); в переводе Карамзина «нетрудно было отвечать на сие». В переводе отрывка «Платон

чается у Сумарокова, Лукина (например, «он его уговаривал убраться отсюда, однако он отрекся»; «Никак Клеопатра ехать со мной отреклася» — «Мот, любовию исправленный»), Княжнина, Державина, Болотова и др., причем в самых разных жанрах и текстах, в том числе и в письмах (например, у Державина), а также в деловых документах. В начале XIX в. оно встречается часто у Нарежного (например, «не отреклись исполнить его просьбу», «не отрекусь оказать ему помощь» — «Аристион»; «Отрекаюсь занять прелестную должность», «решительно отрекся видеть Никодима» — «Бурсак») и др. Встречается оно изредка и у Карамзина в «Истории Государства Российского» (например, «отрекся исполнить волю Димитриеву». [V, 1] и некоторые другие). Но живым и активным в это время было употребление *отречься* только в значениях «не признаться в чем-нибудь», «отказаться от прав на что-нибудь» и под. В старом же значении оно вытеснялось словом *отказаться*: так обычно у Жуковского, Батюшкова, Пушкина (единственный случай старого употребления у Пушкина — в несколько измененной цитате из книги Рычкова «Осада Оренбурга», причем в прямой речи Пугачева: «Вы несколько дней сряду меня упрашивали принять не себя имя покойного великого государя; я долго отрицался». — А. С. П у ш к и н. История Пугачева. Полн. собр. соч., т. 9, стр. 77). Не касаюсь здесь вопроса о соотношении слов *отречься* и *отрещись*; надо только заметить, что в XVIII в. между ними не было такого резкого стилистического различия, как это может показаться на первый взгляд: *отрещись*, как и *пещись* и некоторые другие, входило в состав общекнижной лексики.

[183] «Неизданные сочинения и переписка Николая Михайловича Карамзина», ч. 1, стр. 219.

[184] Пережиточно такое употребление *мнить*, очевидно, как не вполне нейтральное встречается и позднее, например у Пушкина: «что же об нем вы мните?» («Вам объяснять правления начала. . .»); см. также «На выздоровление Лукулла».

[185] Ср., впрочем, позднее у Тютчева: «Мне песнь сама возмездие» («Певец»).

или О происхождении мира» («Московский журнал», 1792, ч. VIII, декабрь, стр. 185) Карамзин писал еще «вечности. . . к которой видимый мир неудобен»; но впоследствии он заменил *неудобен* на *неспособен* (см. второе издание «Пантеона иностранной словесности», 1918; в первом издании этот отрывок не публиковался). Впрочем, такое употребление, очевидно, не стало для Карамзина устойчивым: во всех изданиях повестей Мармонтеля он сохранит устаревшее «сын мой неудобен ни к какой подлости»; сохранена также при переизданиях «Пантеона иностранной словесности» фраза из перевода «Гилас и Филоноус»: «материя по существу своему неудобна к мысленности» (впервые — в «Московском журнале», ч. VII, кн. 3, стр. 321). См. также в «Наталии, боярской дочери», в обращении автора к вымышленной «бабушке моего дедушки»: «Ты неудобна к такому делу» — в значении «неспособна» («Московский журнал», ч. VIII, октябрь, стр. 15). Так и во всех остальных изданиях.

Особо можно отметить при сопоставлении двух переводов рассказа о Сократе иноязычные заимствования в переводе Карамзина: *приятные формы мрамора* (ср. *изящный вид*, *каковый приемлет мрамор*); *общая гармония* (*общее согласие*); *мораль* (*нравственность*); *теории* (*умозрения*); *системы* (*учения*); *идея* (*понятие*); ср. еще: *математика* и *мафематические науки* [186]. Надо выделить глагол *развить* во фразе: *чтобы развить сии первые мысли* (ср. *для распространения сих первых понятий*); впоследствии при переиздании «Пантеона иностранной словесности» *развить* заменено словом *изъяснить*, но вряд ли эта замена означает отказ от слов *развить* и *развитие*; скорее всего, она связана с потребностью уточнить смысл фразы.

Сопоставление перевода отрывка «Платон или О происхождении мира» с соответствующей главой в книге «Путешествие младшего Анахарсиса. . .» (т. V, стр. 38) вызывает дополнительные трудности, связанные с тем, что перевод этот демонстрирует не столько средний «карамзинский» слог, сколько его «высокий», риторический вариант. К таким текстам мы обратимся ниже (см. § 42 и сл.), но и сейчас можно отметить те различия, которые свидетельствуют о разном понимании самой литературной нормы. Ср., например: «прах. . . еще дражайший ее сердцу» («Путешествие. . .») — «любезный его сердцу» («Московский журнал»); «бог вознамерился образовать вещество» — «решился устроить материю»; «вещественною частью сей души» — «материальным свойством» (или в другом месте — «материальная часть»); «всевышнее существо воззрело благоприятным оком на свое творение» — «высочайший воззрел на небо с благоволением»; «в сем зерцале» — «зеркале»; «воспящало ей в ее действиях» — «приводило в заме-

[186] Некоторые из этих заимствований в последующем издании «Пантеона иностранной словесности» устранялись (см. ниже).

шательство»; «предбудущее» — «грядущее» (или «будущее»), а также *тако*, *токмо* — *так*, *только* и др. Ср. еще: «ибо низшие боги, долженствовавшие сообщить нам все совершенства, каковые только восприять могли, восхотели, чтобы. . .» — «ибо нижние боги, обязанные сообщать нам все возможные совершенства, хотели, чтобы. . .» (ср. здесь *долженствовавшие* и *обязанные*, *восхотели* и *хотели*, а также см. *каковые*, *восприять*); «буря понесла свои свирепства в знойные климаты африканские» — «бурная тьма удалилась к пламенным странам Африки» (здесь помимо *свирепства* обращает на себя внимание употребление *климат* во множественном числе, как «страны», «края») [187]. Надо еще обратить внимание на такие слова в переводе Карамзина, как *план* («в сем первом плане»; в «Путешествии. . .» — «в сем первом чертеже»); впоследствии Карамзин заменил здесь *в плане* на *в замысле*; *феномены натуры* (ср. *явления природы*), *материя* (*вещество*), *в копии* (*в подобии*), *форма* (*вид*; эта параллель представлена и в «Сократе»); новое употребление слова *образ* («время, сей подвижный образ неподвижной вечности»; ср. *недвижное подобие*), *черта* («в ней не было одной черты — вечности»; ср. *единого только свойства*).

§ 37. При сравнении различных переводов художественных произведений возникают дополнительные проблемы, связанные собственно со слогом произведения, с характером и принципами стилистического использования тех или иных слоев лексики. Но если отвлечься от этих дополнительных вопросов, то и сопоставление произведений художественной литературы может дать материал для суждения о развитии норм общелитературного языка.

Можно сопоставить, например, помещенный в «Письмах русского путешественника» [188] отрывок из «Новой Элоизы» Руссо с более ранним переводом этого романа, принадлежащим Павлу Потемкину [189]. В этом последнем находим: «всхожу на пригорки с горячностью»; «повсюду на предметах нахожу равный ужас тому, который владычествует сердцем моим»; «все естество так умерло в глазах моих, как надежда в моем сердце»; «с тысячу разных мер употреблял я, чтобы распознать точно жилище твое, но чрезмерная дальность делала оные все тщетными»; «с тех пор уже я препровождаю в сем убежище целые дни»; «листочки и несколько сухих сучьев, которые я сожигаю при многой ходьбе, согревают меня от жестокой стужи». В переводе Карамзина эти

---

[187] См., впрочем, и у Карамзина: «Все прочие животные, будучи привязаны к некоторым климатам. . .; но человек, силою могущественной воли, шагает из климата в климат. . .» («Письма русского путешественника», Стразбург, 6 августа 1789 г.), где видно близкое, хотя и не вполне тождественное употребление.

[188] «Московский журнал», ч. VI, кн. 1, стр. 38—40 («Лозанна»).

[189] «Новая Елоиза или Письма двух любовников. . .» Перев. Павел Потемкин. М., 1769, стр. 116—117.

места выглядят так: «с усилием взбираюсь на высоты»; «вижу во всех предметах тот самый ужас, который царствует в моей внутренности»; «Натура мертва в глазах моих, подобно надежде в моем сердце»; «я всячески старался найти глазами дом твой; но от чрезмерной отдаленности все мои усилия оставались тщетными»; «с того времени целые дни провожу в сем убежище»; «листья, сухие ветви, мною зажигаемые, и беспрестанное движение защищают меня от чрезвычайного холода». Можно увидеть, что перевод Карамзина свободен от присущих более раннему переводу книжных или «приказных» слов и выражений типа *с горячностью*, *естество* (в значении «природа и натура»), *употреблял с тысячу разных мер*, *делать тщетными*, *сожигаю*, *при многой ходьбе*. Любопытны и такие параллели, как «древа обнажились от листов» (у Потемкина) — «дерева стоят без листьев» (у Карамзина); «ветр северовосточный с хладным вихрем наносит кучами снег и лед» — «холодный ветер надувает сугробы»; «невзирая на хладное время» — «невзирая на погоду». Вообще *древо* и *хладный* в других случаях употребляются Карамзиным довольно свободно, но ему было чуждо употребление подобных слов как простых книжных эквивалентов соответствующих нейтральных слов: они должны были получить поддержку в общей стилистической тональности текста или иметь какое-либо иное стилистическое оправдание.

При сопоставлении языка Карамзина и близких ему писателей с языком произведений такого рода, как перевод Потемкина (т. е. представляющих собой явление, вполне типичное для своего времени, и не отличающихся особой, нарочитой архаичностью), развитие литературных норм в 80—90-е годы обнаруживается особенно отчетливо [190].

Вот еще отрывок из «Исповеди» Руссо в переводе Карамзина, помещенный в «Письмах русского путешественника» (Лозанна, сентябрь 1889): «Я представлял себе любовь и дружбу (двух идолов моего сердца) в самых восхитительнейших образах; украсил их всеми прелестями нежного пола, всегда мною любимого. . . Чтобы поселить моих любовников в пристойной для них стране, я проходил в памяти своей все лучшие места, виденные мною в путешествиях; но не мог найти ни одного совершенно хорошего. Долины Фессалийские могли меня удовлетворить, если бы я видел их; но воображение мое, утомленное выдумками, хотело

---

[190] Существовал еще один перевод «Новой Элоизы», принадлежащий А. Палицыну (СПб., 1803—1804), литератору, высказывавшему отрицательные суждения и о «славянщине» Шишкова, и о пристрастии Карамзина к иностранным заимствованиям. Анализ языка этого перевода и его сопоставление с переводом П. Потемкина могли бы продемонстрировать одновременно и эволюцию литературного языка, как она отразилась даже у лиц, относительно далеких от Карамзина, и устойчивость старых, отживающих норм.

какого-нибудь существенного места, которое могло бы служить ему основанием. Наконец, я выбрал берег того озера, вокруг которого сердце мое не переставало носиться».

К сожалению, у нас нет возможности сравнить этот отрывок с аналогичным текстом в другом, близком по времени переводе: эта часть «Исповеди» не вошла в опубликованный в 1797 г. перевод Дмитрия Болтина. Но можно привести из этого, написанного в общем сравнительно гладко, без явных излишеств в отношении славянизмов, перевода отдельные примеры из других мест: «каждый из них повергнул сердце свое в другое, готовое для его приятия» (т. е. они полюбили друг друга. — *В. Л.*); «юный любовник, не возмогший получить руки возлюбленной своей, снедался горестью»; «происшествие мое на свет»; «сей ток воспитания прервался приключением, которого следствия соделались влиянием на остаток бытия моего» (в последнем примере заслуживает, между прочим, внимания новое для этого времени *влияние на*, однако в необычном употреблении: «соделалось влиянием»); «по силе узаконения» (т. е. закона. — *В. Л.*); «не возмогши получить удовлетворение, предпочел паче выехать из Женевы»; «толико-то благосклонность мною владычествует»; «сии впечатления воспитания, способные остановить первые возгорания сложения жаркого, укреплены были еще отвлечением меня к начальному ощущению моего сладострастия» (см. здесь *возгорание*, *сложение* в значении «темперамент», *ощущение* — как имя действия и др.); «вспомоществовался воображением о женском поле»; «я содрогнулся от сего забвенного почти имени»; «при узрении его лица»; «ежели остальные [впечатления] впечатлеются, внидут в память мою»; «соделалось сие приключение, устремленное на убиение тела моего»; «снабдевал их пищею» и др. под.; см. также *поелику*, *токмо*, *простерть*, *предприять намерение*, *единожды*, (как *однажды*) и т. д. Важно еще раз подчеркнуть, что все это — образцы обычного для автора «среднего» книжного языка, отнюдь не претендующего на высокость, поэтическую выразительность, риторичность [191].

Обратимся еще к одному примеру. Вот как переводит Карамзин отрывок из «Освобожденного Иерусалима» Тасса [192]: «Там, за пределами глубоких снегов, в мирной области красного лета, находят они пространную равнину, где вечно дышат, благоухают зефиры; где солнце в своем течении не усыпляет и не пробуждает их; где нет ни зноя, ни мразов, ни облаков, ни переменной ясности; где небо, одеянное чистейшим сиянием, никогда не пылает,

[191] И в этом и в других сопоставлениях, приводимых выше, отличия разных текстов отражают иногда совершенно разную степень владения «слогом», разную, несравнимую степень дарования авторов; в данном случае важно отвлечься от этого обстоятельства.

[192] «Армидин сад». — «Пантеон иностранной словесности», кн. 1, 1798, стр. 229—252.

никогда не хладеет, питая вечно на лугах зелень, на зелени цветы, в цветах ароматы, и прохладу в древесной сени». Надо заметить, что это одно из наиболее патетических мест перевода (ср. здесь *мразы*, *одеянный*, *хладеть*). Приведу еще один отрывок: «Среди огромного армидина дворца адские духи посадили цветущий сад, который удивительными красотами своими превосходит все творения человеческого искусства. Он окружен был бесчисленными зданиями и аллеями, столь хитро расположенными, что никто из смертных не мог проникнуть во внутренность сего запутанного лабиринта». Но вот несколько сопоставлений этого перевода с соответствующими местами из перевода «Освобожденного Иерусалима», осуществленного много позднее Шишковым [193]. Там, где Карамзин писал: «Язык ее [птицы] походит на человеческий, голос также», Шишков переводит: «Она языком своим дебелым умела исходящий из гортани глас свой уподоблять человеческой речи»; вместо «душа Ринальдова в глубоких вздохах вылетает, кажется, из его тела или в страстную любовницу преселяется» (Карамзин), у Шишкова: «он в сие время испускал толь глубокие воздыхания, что, казалось, душа его, исходящая из него, преселялась в ее душу» (см., однако, здесь и у Карамзина — *преселяется*). Ср. еще: «семейство растений» в переводе Карамзина и «сенно-лиственная порода» у Шишкова; «прекрасный гордый павлин в ярком сиянии перьев своих» и «никогда гордый павлин многоочитыми [194] перьями своими толико не величался»; «ему не позволено выходить из сего места» и «не имея позволения ни на единую минуту куда-либо исходить»; «вот источник смеха» и «вот источник смеяния» и некоторые другие.

Перевод Шишкова «Освобожденного Иерусалима» вовсе не отличается особой риторичностью и высоким слогом. Напротив, видно стремление — особенно там, где речь идет не о битвах и не о геройских подвигах, — писать по возможности «нежно» и приятно (вспомним в этой связи суждения Шишкова о переводе Мерзлякова). Вот, например, строки из 15-й и 16-й песен, где описывается путешествие героев в сады Армиды для освобождения Ринальди: «Взгляните, пела она, взгляните на младую, нежную розу, когда она из пучка своего выступает, и до половины открытая, до половины скрытая, чем меньше показывается, тем прекраснее»; «Посреди сего объявшего всех сладострастного таяния и стольких размягчающих сердце соблазнительных прелестей, воины, твердые и строгие, идут, скрепясь и не увлекаясь приманчивостью утех»; «Сладким полем сражения будет вам зеленый

---

[193] А. С. Шишков. Собрание сочинений и переводов, ч. 9, стр. 126—138.

[194] См. в Словаре АР: *многоочитый* — «слав[енское], имеющий много очей», с примером *многоочитые херувимы*. См. также примеры из церковной литературы «в «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского.

дерн и мягкая на лугах трава. Мы отведем вас пред царское лицо той, которая подданных своих творит благополучными; она примет вас в число избранных своих, наслаждающихся непрерывными радостями»; «Сорвем розу в утреннем ее блеске, покуда она не отцвела. Сорвем розу любви: станем любить, покуда любя можем быть любимы» и т. д.

Собственно по лексике все это недалеко от языка Карамзина; кроме слова *прелести*, употребленного в устарелом значении, и приказного *творит благополучными*, здесь нет, кажется, слов, которые не могли бы оказаться и в карамзинском переводе этого отрывка (иное дело, что Карамзин не написал бы *сладострастное таяние* или *приманчивость утех*; но это уже относится к художественной стороне перевода). Но дело в том, что в этом же описании Шишков может писать и так, как Карамзин уже просто не мог выражать своих мыслей — тем более в таком тексте: «се зрят они возбуждающий в засохших устах их жажду светлый источник» (ср. у Карамзина: «видят светлый ручей, который обещает приятно освежить засохшие уста их»); «тако рекла жена, и по холмистой пучине мчала их к западу, и потом обратилась к югу»; «сотоварищ его вопиет к нему: что делаешь? что предприемлешь?»; «победоносная чета воинов достигает, без всякого препятствия, до хребта горы, кроме токмо, что лед и трудная крутизна пути не позволяла им с желаемою скоростию преходить оный»; «тако водою и власами покровенная обращается она к ним»; «тако одна пела, другая телодвижения свои и взоры соглашала с ее убеждениями» (ср. у Карамзина: «так говорила одна; другая смысл ее речей выражала своими взорами и движениями»); «здесь. . . зрелся с прялкою в руках пустословящий с ними Алкид» и т. д. [195]

Приведенные выше параллели отчетливо демонстрируют отличие «нового» и «старого» слога. Но, разумеется, на основании таких сопоставлений не всегда можно утверждать, что такое-то слово или выражение вообще не может быть употреблено Карамзиным. С этой точки зрения, как показывает материал произведений Карамзина, эти параллели образуют три группы случаев.

---

[195] Такая же пестрота и в другом переводе Шишкова из Тасса — его «Бдений» (А. С. Ш и ш к о в. Тассовы бдения. Собр. соч. и переводов, ч. 10), например: «О ты, которую я не смею назвать, ах! Когда узнаешь ты, какой пресильный пожар рука твоя в сердце моем воспалила» (стр. 56); «имею слишком мало для удовольствования кипящей любви моей» (стр. 60); «ты одна удерживаешь меня, о сладкое души моей мучение! и ты главная причина толикого усердия моего к обладающему над нами» (стр. 65); «о пресильнейшая и пренесчастнейшая страсть! на что ж я снедаюсь» (стр. 75); «почто упоенный против меня ядом желчи, о злодей, не пронзил ты кинжалом сердца моего, когда преисполненный дружелюбных чувствований, был я один с тобою» (стр. 80); «Лукавые соглядатели! может быть один ее вздох подал вам причину к низвержению меня в несчастие. Но она хитрость вашу превозможет: уйдет от соглядания ваших» (стр. 101) и др.

Во-первых, те, которые, действительно, указывают на чуждость Карамзину целого ряда книжных, архаических слов. Таковы, например, среди упоминавшихся выше — *тако*, *такожде*, *любление*, *усугубить* (в значении «удвоить»), *возмогать*, *смеяние*, *испроверженные предприятия*, *предприять сделать что-либо*, *скоропреходный*, *надмеваться* и др. под.

Другая группа включает слова, достаточно свободно употребляемые в произведениях Карамзина и его последователей, но только в специальных стилистических условиях. В этих случаях отличие между текстами свидетельствует не о чуждости слова, а об ином понимании его места и роли в системе литературного языка. Сюда можно отнести такие слова, как *отверзать*, *снискать*, *глава*, *чело*, *вежды*, *восстать*, *глад*, *древо*, *воззреть* и под.; близки к ним *вопрошать*, *ответствовать* и др.

Наконец, в ряде случаев — и их большинство — отличия двух текстов выглядят до некоторой степени случайными. Так, употребление слов *чтобы*, *отдых*, *боль*, *противиться*, *теперь*, *объявить*, *быть обязанным* на месте *дабы*, *отдохновение*, *болезнь*, *противоборствовать*, *ныне*, *возвестить*, *долженствовать* не означает, что эти последние не могли бы здесь быть; эти и подобные им слова встречаются у Карамзина в разных его произведениях, в частности и в таких же стилистических условиях (см. еще упоминавшиеся выше *неудобный*, *отречься* и др.). Но все же и такие параллели небезразличны; в своей совокупности они свидетельствуют об иной степени употребительности этих слов в новой литературе сравнительно со старой, о заметном ограничении в «новом слоге» специфически книжного элемента. Здесь важно уже то, что в книжных, «важных» контекстах нейтральная общелитературная лексика оказывается господствующей. В этом отношении чрезвычайно поучительно выглядело бы сопоставление не только отдельных фраз, но целых текстов.

§ 38. Большое значение для определения той лексики, от которой отказывается «новый слог», имеют и критические замечания Карамзина о языке и слоге, разбросанные в его рецензиях. Во второй части «Московского журнала» Карамзин рецензирует вышедшую в 1790 г. книгу, само название которой — «Театр чрезвычайных происшествий истекающего века, открыт и представлен очам света в следующих созерцаниях. . .» — вызывает его иронические замечания. Далее «для забавы наших читателей» приводятся большие отрывки из этой книги, в которых встречаются такие, например, фразы: «Тень знания зыблется в уме его [человека] аки сон. Преклонность на многие при созерцании окружающих предметов со светильником ума блудит аки слепец. . ., претыкается аки во мраке. . ., расстроивает пружины ума и поражает аки молниеносный удар. Что ж при сих преткновениях является?» («Пусть читатель сам себе отвечает, что является *при сих преткновениях*», — замечает Карамзин). Это были отрывки, которые демонстрировали,

как автор «рассуждает». Вот как он «пишет любовные письма»: «Жизнь жизни моей! Но любовь, сей божественный огнь, вожгла во мне светильник света»; «извлещи тебя, о дражайшая моя! из недр гибели»; «внемли»; «в оном гробе жизненности» и др. под. А вот образцы того, как автор «рассказывает»: «Начало самого действия созерцаемо было в Пруссии в Мекленбургском округе. При пиршестве, среди сладострастий, среди утех, среди блесков пышностей, среди окураженной многими напитками компании, се внезапно предстал пред начальника Мекленбургского гарнизона совсем никому неизвестный благообразнейший юноша». Рецензент считает, что появление этой книги «есть редкое явление» («несмотря на множество карикатурных книг, выходящих на языке нашем»); но надо заметить, что собственно по лексике, если не считать союза *аки* и некоторых искусственных образований, эта книга — не такое уж «редкое явление» в литературе 80-х и даже 90-х годов.

В приведенных примерах из «Театра чрезвычайных происшествий. . .» обращает на себя внимание употребление некоторых отвлеченных слов во множественном числе: «среди сладострастий, среди утех, среди блесков пышностей». Карамзин, по-видимому, осуждает это довольно обычное для старого языка, в особенности для высокого стиля, словоупотребление; так, в рецензии на роман Хераскова «Кадм и Гармония», где Карамзин явно уклоняется от критики маститого писателя (хотя, разумеется, язык романа дает обильную пищу для такой критики с позиций «нового слога»), он все же неодобрительно отмечает множественное число *поведения*, *роскоши* и проч.[196] Из других критических замечаний Карамзина можно отметить указание на неудачные новообразования: *умоключения* вместо *мысли* и *рассуждения*, *понурности* вместо *скат* или *свес* у Хераскова [197]; *проповедцы* (jurisconsultes) в переводе «Естественной истории» Бюффона [198]; *возделываются* во фразе из «Опыта состояния Швейцарии»: «все части учености возделываются там с успехом» («Лучше бы было в сем смысле сказать по-русски *обработываются*», — пишет Карамзин) [199].

Особенно нетерпимой признается книжно-архаическая лексика и вообще всякое проявление «педантства» (как, впрочем, и простонародности) при воспроизведении живой речи, особенно речи женщин. Можно заметить, например, что значительная часть критических высказываний Карамзина в его рецензиях относится к речи персонажей-женщин: «Кажется, чувствую как бы новую сладость жизни», — цитирует Карамзин реплику героини из перевода комедии «Оптимист» и замечает: «но говорят ли так молодые женщины? *как бы* здесь очень противно. . .»; «*учинить* вместо *сделать* нельзя

[196] «Московский журнал», ч. I, кн. 1, стр. 100.
[197] Там же.
[198] Там же, кн. 2, стр. 245.
[199] Там же, ч. III, кн. 2, стр. 222.

сказать в разговоре, а особливо молодой девице», — утверждает Карамзин, имея в виду фразу: «Оно [воспоминание] ничего произвесть не может, разве учинить навсегда меня несчастною» [200]. Из этого же перевода Карамзин неодобрительно цитирует выражение «производить вопли» [201]. В известной рецензии на перевод «Неистового Роланда» отмечены *вследствие чего* и *дабы*: «Это слишком по-приказному и очень противно в устах такой женщины, которая, по описанию Ариостову, была прекраснее Венеры» [202]; см. еще: «Девушка, имеющая вкус, не может ни сказать, ни написать в письме *колико*» [203].

Надо заметить, что оценка языка персонажа, особенно «женского языка», включает в себя не только собственно я з ы к — слова, строение фразы и т. д., — но и всю манеру, самый способ выражения и даже содержание. Так, в рецензии на одну французскую пьесу отмечается «важный порок», который заключается в том, что «автор заставляет женщину говорить против дуэлей, и притом не языком чувства, ей свойственным, но вводя ее в метафизические отвлеченности, противные ее полу и положению» [204]. В «Письмах русского путешественника» Карамзин, рассказывая о чтении в одном из парижских салонов «Мыслей о любви», сочиненных маркизой Л., говорит о том, как он оценивал про себя отдельные места из этих «Мыслей». Вот эти оценки: *хорошо*, *изрядно*, *высокопарно*, *темно и совсем не женский язык* [205]; совершенно очевидно из приведенных в книге отрывков, что оценки эти относятся прежде всего к слишком серьезной, ученой манере рассуждений о любви, самому «тону сочинения», как замечает Карамзин.

§ 39. Традиции «Московского журнала» в области критики продолжены и развиты в «Московском Меркурии» П. Макарова (1803). Издатель систематически разбирает оригинальную и переводную литературу, причем вопросы языка («слога») занимают в этих раз-

---

[200] «Московский журнал», ч. I, кн. 2, стр. 232—233. См. еще в рецензии на перевод «Клариссы»: «В простом слоге лучше сказать *сделаться предметом* чего-нибудь, нежели *учиниться*» (Там же, ч. IV, кн. 1, стр. 113). Впрочем, как видно, *учинить* и *учиниться* было чуждо Карамзину в любом слоге. Для карамзинского понимания стилистической системы литературного языка очень показательно отнесение языка таких книг, как перевод Ричардсона, к «простому слогу». Ясно, что это совсем не тот «простой слог» (или стиль), который ранее понимался как «низкий», противополагаясь не только «высокому», но и «среднему».

[201] Там же, ч. I, кн. 2, стр. 233.

[202] Там же, ч. II, кн. 3, стр. 325.

[203] Там же, ч. IV, кн. 1, стр. 112.

[204] Там же, ч. II, кн. 3, стр. 319.

[205] «Письма русского путешественника. Париж, июня. . . 1790». Вот еще пример такого же рода. Переводя повесть Флориана «Валерия» («Московский журнал», ч. VII, кн. 3), Карамзин делает такое примечание к одному месту в рассказе героини: «Мне кажется, что это не есть язык женщины» (стр. 299), где речь идет, разумеется, не о языке — ведь Карамзин мог перевести это место так, как он считал нужным, — а о самом содержании, отличающемся отвлеченностью и излишним глубокомыслием.

борах заметное место. «Карамзинская» направленность этой критики очевидна [206]. Макаров осуждает тяжеловесные «славенские» или официально-канцелярские слова и выражения, все «противное употреблению». Так, выписывая цитату из книги Победоносцева «Старинный друг, возвратившийся из путешествия. . .»: «все зрители, восчувствовавшие прелести сей пиесы», — критик делает примечание к слову *восчувствовавшие:* «устанешь, произнося это слово». Затем высмеивается приписываемая Вольтеру фраза: «Я был публично поцелован, как Ален принцессою Маргаритою, но он спал, а я был очень бодр» [207]. Здесь «не свойственным нашему языку» и «противным употреблению» признается страдательное причастие *поцелован*, а слово *бодр* оценивается следующим образом: «Бодр! Вольтер хотел только сказать, что он очень чувствовал себя не сонным». Критикуется, следовательно, архаическое употребление *бодрый* (тем более в краткой форме) в значении «бодрствующий, не спящий». Очевидно, живым в это время было только значение «полный сил, бодрости» [208].

Свои разборы издатель «Московского Меркурия» часто сопровождает цитированием больших отрывков из рецензируемых книг, высказывая при этом свое отношение — чаще всего отрицательное или ироническое — к их слогу. В некоторых случаях рецензент выделяет курсивом слова или выражения, обратившие на себя его внимание. Так, в переводе романа «Полночный колокол или Таинства Когенбургского замка» Макаров иронически цитирует «дедикацию г. переводчика друзьям своим», в которой выделяет, например, «тайну *немотствующих* моих чувствований» и др. под. В рецензии на другую повесть выделяются, среди других, слова: «часть бесчеловечия содеянных во время правления ужаса».

Часто рецензент, отрицательно оценивая язык книги и приводя в доказательство целые отрывки, никак не выделяет слова или выражения, на которые следовало бы обратить внимание. В этих случаях, естественно, неясно, что именно осуждается — возможно, что не только отдельное слово или выражение, но и вся фраза в целом, а может быть и весь текст, причем не только со стороны языка,

---

[206] В статье, рассматривающей состояние русской критики («Северный вестник», 1805), автор, отдавая должное достоинствам рецензий «Московского Меркурия», отмечает слишком явный «дух партии».

[207] Фраза эта встретилась еще в «Жизнеописании Вольтера», которым открывается перевод «Сочинений» Вольтера, осуществленный И. Рахманиновым; отсюда, очевидно, она и заимствована Победоносцевым.

[208] В Словаре АР первым значением слова *бодрый* дается «бдительный» (а само *бдительный* объясняется как «бодрственный»). Краткая форма *бодр* дана отдельным значением и только одним: «еще в силах, еще крепок силами», хотя, как видно из приведенного и других примеров, и краткая форма могла быть употреблена в значении «бодрствующий». Говоря об архаичности такого употребления — и полной и краткой формы — надо, однако, заметить, что оно довольно долго встречается еще метафорически в значении «неусыпный»; ср., например, у Пушкина: «как бодрый вождь» («Пир во время чумы»); «Он бодро, честно правит нами» («Друзьям»).

но и с точки зрения художественности. Тем не менее, можно предполагать, что архаическая, книжная лексика останавливает и в в этих случаях внимание рецензента.

Вот некоторые приведенные в журнале фразы из произведений, язык и слог которых оценивается отрицательно: «толикого почтения достойных человеков»; «Лизандр Лакедемонянин при воззрении на этот сад воскликнул: О мир! колико счастливо должны тебя превозносить все человеки»; «Монарх, быв купно и сельский хозяин, необходимо долженствует быть человек добродетельный; по меньшей мере выражение это относится к тому, что, быв хорошим домостроителем, долженствует иметь вкус в вещах полезных и невинных упражнениях» (все эти примеры — в рецензии на «Ручную книгу сельского хозяйства», М., 1802). «Излечился от любочестия»; «дабы через то мне услужить»; «соделало счастие» (из перевода романа г-жи Жанлис). «Сие бесчеловечие умножает свирепство и силы Лаберто: он ниспровергает дверь, дает влещи себя крикам старика» (из перевода английского романа «Разбойники в подземелье Кутанского замка»; приведя эту и другие цитаты из книги, критик восклицает: «Возможно ли тут замечать ошибки!»). «Сокрывать делаемое»; «чтобы к приятию меня разверзлись объятия отца моего» (из перевода французского романа «Дети аббатства»). «Хозяйка и дети, в предшествии хозяина. . .»; «жаждал глазами найти начальника дому»; «располагаемся на несколько времени утружденным своим членам дать отдохновение» (из «Путешествия в Казань, Вятку и Оренбург» М. Невзорова). В уничтожающей рецензии на первую и вторую части (1802 и 1803 гг.) периодического издания «Корифей или Ключ литературы» [209], — где, говорит Макаров, «нет ничего, кроме номенклатуры, совершенно бесполезной, дефиниций большею частью неправильных, дурного слога и бесчисленных ошибок против языка», — критик приводит, между другими, такие места этой книги, как «сожечь кости тирана», «нет между ними живого поревнования; нет любочестия» и др.[210] Даже язык сентиментального «Путешествия в Малороссию» П. Шаликова кажется Макарову «не довольно очищенным»; в частности, Макаров замечает, что «автор сыплет местоимения без всякой бережливости» [211] (речь, вероятно, идет о союзах в сложноподчиненных предложениях, которые воспринимались как элемент книжного языка, создавали ощущение тяжеловесности). Любопытна реакция Шаликова на это замечание: в опубликованном в 3-й части «Московского Меркурия» «Новом путешествии в Малороссию», ссылаясь на рецензию Макарова, Шаликов добродушно замечает: «Даю слово исправиться, и бережливость моя

[209] Автором этого издания (в рецензии Макарова он не назван) был Яков Галинковский, известный рядом сочинений и переводов, в частности, книги «Красоты Стерна».

[210] «Московский Меркурий», ч. III, июль, стр. 49, 52.

[211] Там же, ч. II, май, стр. 124.

будет иметь или лучше сказать имеет перед собой практику. К тому же я сам не люблю местоимений, особливо наших, таких многосложных. . .; по чести не понимаю, как это случилось со мной» [212].

Подобно Карамзину, Макаров обращает особое внимание на речь персонажей. Действительно, книжность, «педантство» при передаче разговорной речи вызывали у издателя «Московского Меркурия» и вообще у представителей «карамзинской школы» особенное раздражение. От «слога разговора» требовалось, чтобы он был «естественнее и согласнее с употреблением» [213]; «слог разговора, — говорит Макаров, — есть у нас пробный оселок авторов и камень преткновения большей части переводчиков» [214].

Внимание к «слогу разговора» связано у Макарова не только с заботой о художественности, но и с пониманием актуальности вопроса о «тоне общежития», о языке общества вообще. Сами неудачи авторов и переводчиков в передаче речи персонажей объяснялись тем, что «у нас язык общества еще не образовался». Как истинный карамзинист Макаров ждет от писателей образцов хорошего языка. Хороший язык не терпит ни «педантства», которое выражается в тяготении к книжности, к ученому слогу, ни простонародности, ни излишней кудрявости выражения. Эти разные вещи оказываются — с точки зрения норм «нового слога» — явлениями одного порядка. Вот, например, замечание о речи героини романа «Несчастная Маргарита»: «Маргарита рассуждает иногда как физик, иногда как философ, потом рисует великолепные поэтические портреты и вдруг — конечно, для приятной перемены — начинает говорить языком няни своей — языком, который не всякому будет понятен; например, она всегда употребляет слово *покорились* вместо слова *поссорились*; иногда, как будто наполняясь внезапным вдохновлением, возвышает тон свой и говорит: „Иссяк и сей смягчающий горести ручей“, „Раздвинулись туманные облака на челе няни“» [215]. И далее в списке слов и выражений, которые, как насмешливо говорит Макаров, «довольно часто украшают сей роман», оказываются в одном ряду *люблю непокорнейше*, *дескать*, *воодушевляли уборы мои*, *проблескивал*, *возобладало*.

Большой материал для суждения о стилистической позиции «Московского Меркурия» — особенно применительно к речи персонажей — дает рецензия на перевод «Антенорова Путешествия» Лантье, опубликованный в 1803 г. в Петербурге [216]. Особый интерес придает этой рецензии и то обстоятельство, что, кроме рецензируемого перевода, одновременно с ним в Москве появился перевод «Антеноровых путешествий», осуществленный самим из-

[212] Там же, ч. III, сентябрь, стр. 180.
[213] «Московский Меркурий», ч. I, январь, стр. 69.
[214] Там же, февраль, стр. 156.
[215] «Московский Меркурий», ч. II, июнь, стр. 196.
[216] См. там же, апрель, стр. 45—71.

дателем «Московского Меркурия» Макаровым (совместно с Яценко). Для демонстрации стилистических отличий двух переводов рецензент приводит большие отрывки в обоих вариантах, подвергая при этом критике отдельные места в петербургском переводе. К словам «воспринимает и свое движение и свою жизнь» (в московском переводе здесь одно слово: «оживает») Макаров делает такое замечание: «Воспринимает движение! И такое слово употреблено Аристиппом в разговоре с друзьями!» В риторическом обращении героя к возлюбленной: «Дражайшая Ласфения,. . . для чего убегаешь меня?. . . Ты, заставившая меня толико мучиться? убежавшая от меня» Макаров особо выделяет слова *дражайшая*, *толико мучиться*; сам он переводит здесь по-иному: «любезная. . . Ласфения, за что убегаешь меня?. . . Так-то вы меня покинули? И вам не совестно?» [217] Относительно слов героини «трата времени есть превыше всех расходов» Макаров говорит: «Пусть укажут мне хотя одну женщину, которая так сказала, говоря с другом! — Трата превыше расходов» (в московском переводе здесь: «самая важная потеря есть потеря времени»). Встретившиеся в петербургском переводе выражения: «прорастающая трава», «неведомый огнь пожирал меня», «умоляла ее сердоболие» — Макаров «отсылает», по его выражению, к «трибуналу вкуса» (ср. в московском переводе: «молодая трава», «огонь сладострастия пролился по всем моим жилам», «молила ее сжалиться надо мною»). Относительно слов Сафо: «дерзай, если можешь прекословить», «се ли награда за благосклонность» — рецензент восклицает: «Сафо так не говорила!» Сам он переводит эти места по-иному: «осмелься сказать, что это неправда», «того-ли Сафо должна была надеяться». Выписывая некоторые места из петербургского перевода, Макаров снабжает их выразительными восклицательными знаками, выделяя при этом курсивом слова, обратившие на себя его внимание, например,такие, как «не могла унизить себя *быть подозрительною*»; «может быть *предуспеешь* и еще обольстить меня» (ср. в его собственном переводе: «стыдилась подозревать», «может быть тебе удастся обмануть меня еще»).

В замечаниях такого рода надо различать явления разного порядка. Недовольство речью персонажей может объясняться иногда только тем, что критик считает то или иное употребление художественно немотивированным. Такая критика имеет лишь кос-

---

[217] Макаров обращает внимание также на слова *убежавшая от меня* и замечает: «Как будто он гнался за нею!!!» Таким образом, он различает *убежать кого* и *убежать от кого* и упрекает петербургского переводчика в безразличном употреблении этих конструкций как равноправных. Однако и в дальнейшем, очевидно, прежде чем *убежать кого* (или *чего*) вообще вышло из употребления, такое безразличное употребление обеих конструкций было закономерным; ср., например, у Пушкина: «душа в заветной лире Мой прах переживет и тленья убежит» («Я памятник себе воздвиг нерукотворный. . .») и «душа, от тленья убежав» («Надеждой сладостной младенчески дыша. . .»).

венное отношение к вопросам литературного языка. В других случаях критика направлена на непонимание своеобразия разговорной речи в отличие от книжного языка. Выше уже говорилось, что признание тождества книжной и разговорной речи, важное как принципиальное требование карамзинской школы, нельзя понимать абсолютно. При общей и принципиальной близости этих двух стихий сохраняются и некоторые отличия, в частности, и в лексике (см. стр. 221 и сл.). Однако в большинстве случаев обращение к «трибуналу вкуса» в приведенных выше примерах указывает на отрицание соответствующих слов и выражений или, по крайней мере, такого их употребления вообще, независимо от того, являются ли они принадлежностью авторского языка или речи персонажа.

Можно сравнить, например, такие два перевода одного и того же места: «между многочисленным стечением учеников, которых имел в Ликии, где считали их до двух тысяч. . .» (петербургский перевод) и «из двух тысяч учеников, которые были у него в лицее. . .» (московский перевод); выделив особо слова *между многочисленным стечением*, Макаров замечает: «Это не по-русски».

Вот несколько случаев, когда рецензент ограничивается выделением с помощью курсива не понравившихся ему слов: «*истощевал* для меня свои советы» (в московском переводе: «посвятил мне предпочтительно свои старания»); «*малозначащею* философиею своею» (ср.: «имел несколько философического рассудка»); «я возвратилась домой в *помешательстве*, вне себя» («я пришла домой в жару, в исступлении, в беспамятстве»); «*он был нем*» («продолжал молчать»).

Наконец, можно привести некоторые фразы в рецензируемом переводе, которые никак не отмечены критиком и, возможно, вообще не остановили его внимания, но которые все же включают слова и выражения чуждые, несвойственные ему; здесь показательным оказывается само по себе сопоставление переводов. Так, в приведенных отрывках из московского перевода нет слов *толь*, *толикий*, которые встречаются в петербургском переводе; ср.: «не имели *толь* пленяющих прелестей» — «не имели прелестей столь опасных»; «*толь* скоропостижно» — «в несколько часов»; «сердце успокоилось от *толиких* волнений» — «сердце мое отдохнуло». Как уже отмечалось, слова такого типа, очевидно, редко вызывали активную неприязнь к себе, прямое их осуждение [218];

---

[218] Так, приведенная выше фраза: «сердце успокоилось от толиких волнений» вообще осуждается Макаровым, но не в связи со словом *толикий*. Фраза из «Рассуждения» Шишкова: «колико цветник сей сладким сим веществом . . . непстощаем» вызывает у Макарова сомнение из-за формы *неистощаем* вместо *неистощим*, а также из-за логически неправильного сочетания *колико неистощаем* (эта «речь так же неправильная, как, например, *колико вечен*»); но само слово *колико* остается никак не отмеченным. Вообще надо иметь в виду, что, отмечая в слоге Шишкова просторечие, вульгарные выражения и т. д., Макаров никак не реагирует на его архаизмы, кото-

но важно, что многие авторы не употребляют этих слов. Вот еще две параллели из обоих переводов, не отмеченные рецензентом, но достаточно характерные: «достоин *посмеяния*» — «изволят забавляться»; «сколь *презрительны пронырства* твои» — «какое жалкое, какое низкое употребил ты лукавство».

Вообще, как уже замечено выше, нельзя быть уверенным, что все приводимые выше образчики языка (в тех случаях, когда отсутствует комментарий критика) неприемлены для Макарова именно из-за тех слов (или только из-за тех слов), которые мы выделили в этих цитатах, тем более, что примеры эти далеко небезупречны и в других отношениях. Вместе с тем, нельзя не отметить, что все эти слова, как и некоторые другие, как правило, не употребляются в произведениях, опубликованных в «Московском Меркурии», что они встречаются исключительно или преимущественно в выдержках из рецензируемых в журнале книг. Так, в отрывке из романа А. Радклиф «Монах или Пагубные следствия пылких страстей», рецензия на который помещена в мартовской книжке журнала, находим такие фразы: «соперничествующих проповедников, которые изощряли уже на оную (проповедь. — *В. Л.*) жало критики и готовились, ежели возможно, учинить оную посмеяния достойною»; «им не токмо что не было ни малейшей нужды в достоинстве проповеди» и т. п. Рецензент никак не выделяет здесь слов *учинить*, *посмеяние*, *токмо* — вообще слог романа не кажется ему неудовлетворительным, но сам Макаров и его сотрудники не употребляют этих слов; см., например: «*сделались* бы нашими учительницами» (а не *учинились*); «умы частных людей *сделались*, так сказать, имением общим»; «науки *сделались* модою»; «*сделал* счастливыми», даже «*сделала* путешествие» и т. д.; примеры употребления слова *только* настолько многочисленны, что нет смысла их приводить.

§ 40. Значительный интерес для оценки стилистических устремлений «нового слога» может представить анализ тех правок и изменений, которые вносит Карамзин, переиздавая свои произведения. Правки эти были двух видов [219]. Одни направлены на устранение некоторой непоследовательности в осуществлении новых

рые, кстати говоря, не имеют у Шишкова никакого стилистического значения. Слог Шишкова Макаров считает не столько «дурным», сколько «жестким» (например, по поводу слов Шишкова: «Хотя уже и прежде вас большею частью нынешних писателей, в рассуждении странного слога их, был я недоволен», — Макаров насмешливо замечает: «Нынешние писатели сказали бы это как-нибудь яснее»).

[219] Имеются в виду только те исправления, которые носят стилистический характер. Не принимаются поэтому во внимание изменения, связанные только с содержанием текста, его составом и т. д. Оставлены в стороне и те многочисленные поправки, которые означают лишь исправление ошибок, поиски более точного выражения и под.; такие явления тоже называют обычно с т и л и с т и ч е с к и м и, но совсем в другом смысле — в смысле улучшения «стиля».

литературных норм и, следовательно, демонстрируют не изменение этих норм, а, напротив, их закрепление, утверждение. Другая группа поправок, напротив, имеет целью устранение или ослабление некоторых новшеств. Эта вторая группа касается, очевидно, лишь небольшого количества иностранных заимствований; сейчас же нас интересуют те изменения в текстах Карамзина, которые свидетельствуют об устойчивости основных требований «нового слога».

Изменения связаны, как правило, с устранением тех слов или выражений, которые не соответствуют представлению о средней литературной норме, — слов книжно-архаических и просторечных. Они касались, в первую очередь, случаев невольного отклонения в ранних публикациях от установок и норм «нового слога». Однако некоторые замены могут свидетельствовать и об изменении отношения к тем или иным словам, об изменении их стилистической оценки, иначе говоря — о развитии самой литературной нормы. Но важно, что это развитие осуществляется в том же русле, в том же направлении. Такие замены и поправки демонстрируют, следовательно, не только утверждение новых принципов словоупотребления, но и их углубление.

Важно сделать еще одно замечание. Было бы, очевидно, наивным видеть в каждой такой лексической замене отказ от того или иного слова вообще. Ведь, исключив слово в одном случае, автор нередко сохраняет его в других случаях, причем даже в стилистически близком контексте. Здесь редко можно обнаружить полную последовательность. К тому же на выбор того или иного слова могут оказывать влияние многие факторы, не всегда поддающиеся точному учету исследователя. Тем не менее, и такие исправления, даже если они не проводятся абсолютно последовательно, чрезвычайно существенны, так как они дают возможность выявить общие тенденции, общие принципы языковой эволюции писателя и литературного языка в целом.

Само собой разумеется, что изменения, имеющие целью устранение книжных и просторечных слов, в произведениях Карамзина не могут быть ни чересчур многочисленны, ни особенно выразительны. Норма литературного словоупотребления была найдена в «карамзинской школе» рано; во всяком случае, уже в языке Карамзина периода «Московского журнала» не только принципы «нового слога», но и самый состав лексики литературного языка определился с достаточной ясностью; это с еще большей очевидностью относится ко второй половине десятилетия, ко времени работы Карамзина над «смесью» в «Московских ведомостях» (1795), над новыми переводами для «Пантеона иностранной словесности» и др. В. В. Сиповский в своем исследовании о «Письмах русского путешественника» отметил, что наибольшее количество правок падает на ту часть «Писем. . .», которая публиковалась впервые в 1791—1794 годах, т. е. в «Московском журнале» и «Аг-

лае», в то время как части, опубликованные позднее, дальнейшему исправлению почти не подвергались [220]. Это подкрепляется и историей текста других сочинений Карамзина. Так, наиболее существенные стилистические изменения в текстах повестей, напечатанных в «Московском журнале», осуществлены Карамзиным уже в сборнике «Мои безделки» (1795 и 1797 гг.); уже в первом отдельном издании «Новых Мармонтелевых повестей» (т. I, 1794) установился во всем основном текст карамзинского перевода «Вечеров» Мармонтеля, впервые публиковавшихся в «Московском журнале»; в дальнейших изданиях повестей можно отметить лишь единичные правки [221].

Остановимся только на тех стилистических правках, которые имеют целью еще большее освобождение от книжного и риторического элемента, достижение еще большей чистоты и гладкости слога. Вот несколько примеров из «Писем русского путешественника». Первоначальное «Фуллона, влачимый по улице» («Московский журнал», ч. VI, кн. 1, стр. 52) заменено в издании 1797 г. на «терзаемый на улице»; В. Сиповский полагает, что эта правка связана только с «желанием усилить невыгодное впечатление от революции» [222], но эта замена, безусловно, имеет и стилистический смысл — устранение устарелого и высокого употребления слова *влачить* как обозначения конкретного физического действия (ср. в переводе из Анахарсиса «Платон или О происхождении мира»: о «влекомых» солнцем планетах, где *влекомые* тоже в прямом значении, но применительно совсем к другому объекту и в тексте, написанном в иной стилистической «тональности»); «Довольно пространен» («Московский журнал», ч. I, кн. 1, стр. 44) заменено на «велик»; «по обширности города» на «по величине»; «вероятность не есть уверение» — на «не есть очевидность»; «расстилалась тучная зелень, цветами испещренная» изменено в 1803 г. на «расстилались зеленые ковры, усеянные цветами» (ср. издание 1797 г., ч. II, стр. 277 и «Сочинения», 1803, т. 2, стр. 191). Известно отмеченное Сиповским двукратное изменение фразы «жители сего го-

---

[220] См.: В. В. Сиповский. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899, стр. 229.

[221] Это не находится в противоречии с тем фактом, что стиль Карамзина в XIX в. испытывал определенную эволюцию, в частности и в отношении употребления славянизмов. Дело в том, что эта эволюция слабо касается собственно представления о составе среднелитературной нормы (см. ниже, § 54).

[222] Тщательная фиксация разночтений в «Письмах русского путешественника» принадлежит В. Сиповскому. К сожалению, эти разночтения сгруппированы им не по стилистическому, а по чисто внешнему признаку (например, «замена одного слова другим», «замена одного оборота речи другим», «выпуск одного слова», «выпуск выражений» и т. д.), причем существенные и случайные, малосущественные замены представлены недифференцированно; некоторые важные, носящие стилистический характер изменения вообще не приведены, а спрятаны в длинных списках шифров. Кроме того, у Сиповского встречаются отдельные неточности, есть пропуски.

рода, воздыхая от всего сердца, взывают» («Московский журнал», 1791) на «воздыхая из глубины сердца» (1797) и «в глубоком унынии взывают» (1803) [223]. Фраза «Сей вид возбудил в душе его глубокое чувство благоговения» из рассказа «Самоубийца» («Московский журнал», ч. I, кн. 1, стр. 59) при перенесении этого рассказа в «Письма русского путешественника» (2 февраля, 1790) изменилась в «почувствовал благоговение» [224]. Отмечу еще перестройку фразы, которая привела к устранению слова *твари* в нейтральном значении «живые существа»: «казались мне блаженными тварями» («Московский журнал», ч. II, кн. 3, стр. 289) заменено уже в издании 1797 г. на «изображали для меня веселие и беспечность» (ч. II, стр. 3). Ср. сохранение в этом издании «принудили сих презренных тварей разбежаться» (ч. I, стр. 246), впоследствии, в издании 1803 г. замененное, впрочем, на «принудили их разбежаться»; ср. также восстановление в издании 1803 г. «но что за твари эти комедианты», как это было в «Московском журнале», вместо более разговорного «знал эту дрянь» в издании 1797 г. В. Сиповский отмечает также повторяющиеся несколько раз (но не исчерпывающие всех случаев) замены *почитать* на *считать*, *тщетно — напрасно*, *ужели — неужели* и некоторые другие [225].

Приведу еще некоторые замены из других произведений Карамзина: «с покровенною головою не пройду я мимо сего места» — «с покрытою головою» («Фрол Силин»; поправка внесена уже в сборнике «Мои безделки»; в обоих изданиях «Московского журнала» — *покровенною*); «гневливая часть души» — «гневная» («Платон или О происхождении мира»; ср. «Московский журнал», ч. VIII, декабрь, стр. 189 и «Пантеон иностранной словесности», изд. 2, 1818, стр. 59); «вечности. . . к которой видимый мир неудобен» — «неспособен» (Там же, соответственно стр. 185 и 50; выше уже отмечалось, впрочем, что *неудобный* в этом бесспорно устаревающем употреблении сохранено у Карамзина в ряде других случаев); «я приметил в лице его нечто превышающее его состояние» — «лицо его показалось мне гораздо благороднее его состояния» («Мария», отрывок из «Тристама Шанди» Л. Стерна; ср. «Московский журнал», 1791, ч. II, кн. 1, стр. 53 и второе издание журнала, 1801, а также и все последующие публикации этого отрывка в изданиях переводов Карамзина) [226]; «хотела написать его

---

[223] В книге В. Сиповского (стр. 212) эти примеры очень неудачно сокращены: «города, воздыхая» и т. д., где *города* можно принять за именительный падеж множественного числа, — и в таком виде цитируются в литературе.

[224] С. Пономарев («Материалы для библиографии литературы о Н. М. Карамзине». СПб., 1883, стр. 7) ошибочно отнес «Самоубийцу» к числу переводов Карамзина, не зная, что этот очерк совпадает с текстом «Писем».

[225] См.: В. Сиповский. Указ. соч., стр. 176, 217.

[226] В литературе о Карамзине можно встретить утверждение, что второе издание «Московского журнала» представляет собой точное повторение пер-

таковым, каков он должен быть со временем» — «таким, каков» (перевод отрывка из драмы Шиллера «Юлиана»; ср. первое издание «Московского журнала», ч. VII, кн. 2, стр. 124 и второе издание, ч. VII); «напыщенное понятие о чести» — «высокое» (рецензия на спектакль «Эмилия Галотти»; ср. первое и второе издания «Московского журнала», ч. I, кн. 1; эта правка связана с тем, что нейтральное в оценочном отношении употребление слов типа *напыщенный*, *велеречивый*, *высокопарный* и некоторых других становится архаическим, и слова такого типа сохраняются преимущественно в отрицательном или ироническом употреблении). В переводе повести Флориана «Валерия» из фразы «никто не хотел блистать своим разумом преимущественно перед прочими» («Московский журнал», ч. VII, кн. 3, стр. 282) выброшены впоследствии слова «преимущественно перед прочими», делавшие фразу книжной и тяжеловесной. Приведу еще случай разночтения в переведенном В. Подшиваловым отрывке «Нравственное удовольствие», опубликованном в «Московском журнале» (ч. III): во фразе «неразрывными узами сопряг с тобою естество человеческое, сопряг приятными узами нравственного удовольствия» — *сопряг* оба раза заменено во втором издании «Московского журнала» словом *соединил*.

Представляют интерес исправления, которые были внесены Карамзиным при переизданиях драматического отрывка «София». Стиль этих сцен выдержан в крайне мелодраматическом тоне, отчасти даже несколько неожиданном для Карамзина с его тягой к украшенному, но не столь напряженному языку. Ср., например,

---

вого издания. Так, например, этим предположением надо объяснять некоторые ошибки в «Избранных сочинениях» Н. М. Карамзина, изданных Л. Поливановым (М., 1884), который пользовался, как видно из текстов, вторым изданием. Между тем издания эти не совпадают, причем несовпадение заключается не только в исключении некоторых произведений (см., например, кроме исследованных В. В. Виноградовым «Разных отрывков», также полемику Подшивалова и Ф. Туманского по поводу перевода «Палефата», некоторые стихотворения и др.), но также и в отдельных заменах слов и выражений. В то же время текст некоторых произведений второго издания «Московского журнала» не во всем совпадает с теми публикациями этих произведений, которые осуществлялись между первым и вторым изданиями «Московского журнала» (например, сборник «Мои безделки», издание «Писем русского путешественника» в 1797 г., «Новые Мармонтелевы повести») и легли в основу всех более поздних изданий сочинений Карамзина. Создается впечатление, что исправления во втором издании «Московского журнала» производились, хотя бы отчасти, непосредственно по первому его изданию, причем они редко принимались во внимание при издании «Сочинений» Карамзина в 1803 г. и далее. Поэтому в истории некоторых текстов Карамзина, помимо прямой, последовательной линии — от первого издания «Московского журнала» через последующие публикации в сборниках или отдельными изданиями к собраниям сочинений 1803, 1814 и 1820 гг., — приходится брать в расчет еще, так сказать, боковую линию в виде текста второго издания «Московского журнала». Это обстоятельство часто не учитывается исследователями.

в монологах героев такие отрывки: «Мщение! мщение! В ад низвергнет вас рука моя — вас, гнусные души, — тебя, стыд своего пола, и злобного, подлого, неблагодарного, адского выродка! Трепещи, развратная женщина! И там, в безднах ада, там увенчается любовь нежной четы! Там змииный свист будет музыкою брачного торжества! Там фурии осветят брачное ложе ваше!» «Бурные ветры! разорвите черные облака неба, чтобы моря пролились на землю и смыли с меня огненную кровь! Все во мне перегорело! В жилах моих течет пламя!»; «Смейся! Скоро сам ты будешь посмеянием ада! Злодей! ты почувствуешь силу руки моей! Затрепещет внутренность твоя, затрепещет, и зверское сердце твое распадется от удара моего!» и др. Такие мелодраматические сцены перемежаются в «Софии» с кусками сентиментальными, включающими специфическую «чувствительную» лексику и фразеологию, например: «Это час обыкновенной прогулки нашей — час удовольствия и прошлой радости. С какою нежностью прижималась ты к моей груди, когда я, в приятный вечер, будучи до слез тронут своим счастием, благодарил бога за все дары его — за изобилие — за сердце, которое и в самой старости чувствительно к красотам его творения — и за нежную супругу, подругу и утешение слабых дней моих, снисходительную к моим недостаткам, милую, любезную». См. далее: «бродя одна по рощам и лугам» [227]; «повсюду носил я в душе меланхолию»; «сердце мое было темницею всех чувств моих»; «обнимаясь в объятиях натуры» и т. д.

Замены в тексте «Софии» немногочисленны, но их направление очевидно: так, «о веселись, ликуй» заменяется в «Моих безделках» на «о веселись, радуйся»; «слезы, прах окропляющие» изменено на «орошающие»; вместо «изъяснить тебе свои чувства, которые возбудило в сердце моем твое письмо», начиная с «Моих безделок», — «изъяснить тебе, как тронуло меня письмо твое». Выразительна следующая замена, осуществленная во втором издании «Московского журнала»: «когда бы я не могла уже возбуждать в тебе сладострастных вожделений, ты бы оставил меня» (первое издание) — «когда бы я уже не могла тебе нравиться» (второе издание) [228].

В словах умирающего Доброва, обращенных к племяннику: «видя такой конец старца, совершившего свое течение и простирающего нетерпеливые свои объятия к вечности» — исключены (уже в «Моих безделках», изд. 2, 1797) слова «совершившего свое течение». Таким образом, и здесь, несмотря на общий риторический

[227] Ср. начало «Бедной Лизы».

[228] Это же выражение («для возбуждения сладострастных вожделений») встретилось еще в переводе биографии Калиостро «Жизнь и дела Иосифа Бальзамо», публиковавшейся в «Московском журнале» (см. ч. IV, кн. 2, стр. 218). Так как это произведение не включалось ни в одно издание сочинений Карамзина, М. Лонгинов лишь предположительно включает его в число переводов Карамзина (см. «Русский архив», 1864, стр. 855); совпадения вроде приведенного выше, не будучи бесспорным доказательством, могут все же подкрепить это предположение.

тон диалогов, налицо стремление избавиться от выражений чересчур книжных [229].

Естественно, что это стремление намного заметнее обнаруживается в тех случаях, когда речь героев носит более спокойный характер. В этом отношении представляют интерес до сих пор, кажется, не привлекшие внимания исследователей правки Карамзина в переводе цикла повестей Мармонтеля «Вечера». Каждая из таких повестей представляет собой повествование от лица рассказчика. Этот цикл публиковался первоначально в «Московском журнале» — в течение всех двух лет его существования, а затем вошел под названием «Приятный вечер» в первый том издания «Новые Мармонтелевы повести» (1794). Приведем соответствующие изменения в тексте «Вечеров»: «Я стал уединен среди множества соучеников своих; игры их сделались для меня скучны» — «Я полюбил уединение; игры соучеников моих стали для меня скучны» [230] (здесь устранено несколько искусственное, особенно для устной речи, «стал уединен»; ср. далее: «я был предпочтен всем моим соученикам» — «меня предпочли всем другим ученикам»; «украшен будучи» — «украшенный»; ср. также: «сделались скучны» — «стали скучны»); «эта мечта усугубляла силы мои» — «такие мечты оживляли дух мой»; «поверхность, какой не имел я никогда» — «успех, какого не имел я никогда» (устранено слово *поверхность* в значении «превосходство»); «к нему со всех сторон приступали просители» — «всякий день являлись новые просители»; «напрасно мы к нему приступали» — «мы стояли перед ним на коленях»; «после сих слов следовало молчание» — «она замолчала»; «позволь мне вступить в переговоры» — «позволь мне вступиться в это дело»; «возвратился в недра своего семейства» — «в объятия своего семейства»; «он должен знать наше обоюдное положение» — «свое положение»; «изощрять свое пастырское красноречие» — «говорить с пастырским красноречием»; «воздали они долг чистосердечному дружеству» — «вспомнили и друга своего»; «я имел случай примерить, как чувствование благодеяний возвышает и украшает добрую душу» — «я был тронут до глубины сердца»; «споспешествовала этой перемене» — «способствовала» и некоторые другие [231]. В некоторых случаях правка заключалась в исключении

---

[229] История текста «Софии» неясна. Поправки, внесенные во второе издание «Московского журнала», как правило, не отразились в поздних изданиях этого драматического отрывка. В то же время эти издания не повторяют полностью и текст «Моих безделок».

[230] Далее первым примером приводится текст «Московского журнала», вторым — издания «Новых Мармонтелевых повестей» 1794 г.

[231] Неясно, принадлежит ли перевод этой (шестой) повести Карамзину. Публикуя ее в «Московском журнале», издатель указывает в примечании: «Этим переводом обязан я одной даме». Тем не менее, в отдельном издании «Новых Мармонтелевых повестей» она помещена без всяких оговорок. Можно, однако, заметить, что эта повесть подверглась большей правке, чем другие повести этого цикла.

отдельных слов или фраз, например: «да будет он счастлив» — в прямой речи персонажа, «он препоручал себя мне», «вознамерился» (в речи персонажа: «будучи горяч и скор, он мог в гневе своем вознамериться лишить наследства племянника, ему любезного» — «Московский журнал», ч. IV, кн. 2, стр. 162). Из фразы «мщение, которого жестокость и продолжение столько меня огорчают» выброшено *продолжение* в устарелом или устаревающем для него употреблении — как «длительность чего-либо» (см. об этом слове выше, стр. 187).

В некоторых случаях правка осуществлялась не в первом издании «Новых Мармонтелевых повестей», а в более поздних. Так, «при плесках и гласе труб схожу я с театра» заменено позднее «при плесках и звуке труб»; из фразы «эта минута была счастливейшею минутою прошедшей жизни моей и неистощимым источником приятностей для дней будущих» выброшены последние слова (после «жизни моей»). Можно назвать еще замену слов «закон привлекательности или аттракция» словами «закон влечения или аттракция» (ср. во втором издании Словаря АР пример на слово *привлекательный*: «магнит и электрическое вещество имеют привлекательную силу»).

Все приведенные выше правки не кажутся особенно выразительными: ведь и первоначальный вариант, как правило, не выглядел слишком книжно или архаично. Но тем убедительней выступает общее направление развития литературного языка в «карамзинской школе», характерная для нее нетерпимость даже к слабым проявлениям «педантства», приказного слога, старой книжности [232].

Можно выделить особо некоторые исправления в «Новых Мармонтелевых повестях», имеющие целью устранение отдельных неточностей, отчасти также связанных со старым словоупотреблением. Так, «любила сказки» заменяется на «всякие анекдоты и повести», «набожно любимый» исправлено на «страстно любимый», *почитать* несколько раз заменено словом *уважать*, вместо «прельщала еще своею красотою» — в издании 1794 г. и далее «пленяла»; см. также замену слов *заплата* на *отплата*, *одиначество* на *одиночество* (последнее — в более поздних изданиях). Уточняется употребление слов *вольный* и *свободный*: выражения «изъяснялся вольно», «с вольным духом», где речь идет собственно не о вольности, а о непринужденности и свободе в обращении, заменены впоследствии на «искренно и свободно», «с веселым духом» (ср. в «Письмах русского путешественника»: «Платнер говорит так

[232] Единственный, кажется, в рассматриваемых повестях и не вполне понятный случай правки прямо противоположного характера — замена «почувствовать стыд» на «восчувствовать стыд». См. также в повести «Сиерра-Морена»: «. . . живо восчувствовал я суету всего подлунного» («Аглая», кн. II, стр. 17). Есть, правда, в одной из повестей еще замена «в глазах провидения» на «в очах провидения», но это случай особого рода (см. ниже, стр. 228).

свободно, как бы в своем кабинете» — запись от 16 июля 1789 г., «Московский журнал», ч. II, кн. 3, стр. 314) [233].

Мы приводили примеры исключения в текстах Карамзина книжных слов и выражений. Случаи такого рода, однако, не ограничиваются приведенным материалом. Так, не даны наиболее выразительные, казалось бы, изменения типа *дщерь — дочь*. Но они связаны не с пониманием норм литературного языка, а с вопросом о границах и функциях «высокой» лексики в особых стилистических условиях, в специфических контекстах.

§ 41. Приведенный выше материал свидетельствует о резком ограничении в языке Карамзина архаического, книжного элемента, о стремлении к установлению единой «средней» общелитературной нормы. Но надо признать преувеличенным представление об абсолютной стилистической нейтральности лексики «нового слога».

В пределах единой общелитературной нормы у Карамзина есть свои стилистические варианты, свои синонимические ряды. Прежде всего, серьезность, «важность» тематики в философских или публицистических рассуждениях — в любом литературном жанре — влекли за собой применение таких слов, которым не находилось места в сентиментальном повествовании или в светском анекдоте. И хотя это связано непосредственно с самим содержанием текста, этот факт не может не отразиться и на его стилистической характеристике, усиливая книжный элемент — употребление отвлеченной лексики, философской и научной терминологии и т. д. См., например, в упоминавшихся текстах: «деятельность есть наше определение» [234]; «нет никакой соразмерности между радостями и горестями, между наслаждением и страданием» и т. д. Ср. также: «материя по существу своему неудобна к мысленности» («Гилас и Филоноус» — «Московский журнал», ч. VII, кн. 3, стр. 321; относительно слова *неудобный* см. выше, стр. 164); «всякий смелый дух, который с самонадежностью [235] входит в храм изящного новым путем» и под.

---

[233] Возможно, однако, что эти поправки связаны с официально выраженным неодобрением слов *вольность*, *вольный*; впрочем, в переводах из Мармонтеля сохранилось и «с прежнею вольностью».

[234] *Определение* — здесь «назначение», см. также в другом месте «Писем русского путешественника», в изложении мыслей маркизы Л. о любви (Париж, июнь 1790): «На диком паросском мраморе нарастает иногда довольно приятная зелень; но можно ли сравнить ее с видом того мрамора, который представляет Фидиасову Венеру? Вот его истинное *определение* (курсив Карамзина. — *В. Л.*), подобно как определение сердца есть любовь». К слову *определение* Карамзин дает французское толкование — destination (т. е. «назначение»). Такое употребление этого слова связано, бесспорно, с его старым значением «предопределение», «предназначение», см., например, в «Письмах русского путешественника» (28 августа 1789): «Здесь смертный чувствует свое высокое определение».

[235] Слово *самонадежность* в обоих изданиях Словаря АР не зафиксировано; возможно, что это новообразование Карамзина.

В. В. Виноградов указывает на связь словоупотребления Карамзина с языком масонской литературы [236]. См., например, такие слова, как *сочеловек* (которое встречается у Карамзина в «Письмах русского путешественника» — «угнетенные своими сочеловеками», запись от 31 июля 1789 г.; в его «Разных отрывках» — «старшим братом всех братьев сочеловеков моих»), *засмертие* и *предсмертие* (о состояниях после смерти и перед смертью; В. В. Виноградов считает, что эти слова образованы самим Карамзиным «в духе масонского словотворчества» [237]), *общественность* (например, «мудрая связь общественности» — «Письма русского путешественника» и др.)[238], *мироздание*, *чаяние* — с религиозно-философским содержанием, как представление о «будущей жизни» [239], выражение *великий дух* в значении «гений» [240] и некоторые другие. Но можно заметить, что «важное» содержание могло определить и выбор более книжного, иногда стилистически приподнятого слова; ср. примеры из произведений, которые выше назывались: «сообщает нам познание всего того. . .»; «натура плодотворна в своих произведениях»; «неизмеримые моря»; «влекомый неусыпною склонностью к познаниям»; «помышляя о тех услаждениях»; «моральным законом, начертанным у меня на сердце»; «философ часто принимает призрак истины за существо ее»; «содержание своих творений» (ср. здесь же: «авторы, уже известные по другим. . . сочинениям»); «душа моя воспламеняется ревностью»; «взирать на небо и землю»; «необозримость веков»; «земля разверзается»; «лучезарное солнце»; «творческая сила духа»; «покрыты священным мраком»; «противиться быстрому течению лет». См. также: «самоизбранной. . . деятельностью» (ср.

[236] См.: В. В. Виноградов. Проблема авторства и теория стилей, стр. 297—311.

[237] Там же, стр. 300.

[238] В дополнение к примерам, приведенным в книге В. В. Виноградова, отмечу еще в «Историческом похвальном слове императрице Екатерине Второй» Карамзина: «Такое состояние конечно не благоприятствовало духу общественности и патриотизма» (Н. М. Карамзин. Сочинения, т. 1. СПб., 1848, стр. 337).

[239] В. В. Виноградов приводит пример из «Писем русского путешественника»: «Он [Виланд] полагает различие между чаянием и уверением». См. еще в статье «Нечто о науках. . .»: «Из темной сени невежества должно итти к светозарной истине сумрачным путем сомнения, чаяния и заблуждения» (Н. М. Карамзин. Сочинения, т. 3, стр. 394); здесь же и *уверение* в пересказе слов Бонне: «. . . заря наших смелейших предчувствий будет некогда солнцем уверения» (стр. 382); см. также в «Письмах русского путешественника»: «Вероятность не есть уверение» — с позднейшей заменой на *очевидность*. Несколько раз слово *уверение* — в религиозном смысле, как «вера», «отсутствие сомнений» — в переписке Беля и Шафтсбури («Московский журнал», ч. III, затем в «Пантеоне иностранной словесности», изд. 2 и далее): «наслаждаться счастием своего уверения», «искру от света вашего счастливого уверения» и др.

[240] Ср. ироническое замечание А. С. Шишкова относительно у кого-то вычитанной им «негде» фразы: «Туссень был великий дух среди негров» («Рассуждение о старом и новом слоге российского языка»).

несколькими строками ниже: «по собственному избранию», где, впрочем, тоже книжное *избрание*); «разной силы действующего духа»; «дела, которые одного человека к земле пригнетают» (при переиздании заменено на «угнетают человека»); «когда же деятельность беспрестанно обращена будет к общеполезной цели, тогда может она высоко вознести человека»; «наблюдать ее сокровенную деятельность»; «возноситься до высочайших умозрений»; «отдохновение» («О досуге»); «я чту великие твои дарования, красноречивый Руссо! Уважаю истины, открытые тобою современникам и потомству, истины, отныне неизгладимые на дсках нашего познания»; «Науки суть не что иное, как познание натуры и человека, или система сведений и умствований, относящихся к сим двум предметам»; «И кто имеет более алчности к богатству, просвещенный человек или невежда?»; «Осыпанный вашими благами, дерзаю презирать блеск тщеславия и суетности»; «в туманной области небытия»; «величественным образом беспредельности»; «проницают взором своим во глубину нравственности»; «животворною своею кистию изобразил одно из сих страшных происшествий древности»; «сердца их отверзались впечатлениям изящного» («Нечто о науках. . .»); «невинность, не чающая спасения, повергласъ в дружеские объятия религии»; «благодетельный энтузиазм народа»; «сердце ее снова отверзлось кротким ощущениям»; «без соучаствующей горести»; «сокровенная печаль терзает твое сердце»; «Мария Сальмон была шестою жертвою слепого правосудия, исторгнутою им из рук палача»; «с жаром благодарной любви облобызала первого юношу в своей жизни» («Мария Сальмон». — «Московский журнал», ч. IV, кн. 1); «в пространной области творения» («Лиодор». — «Московский журнал», ч. V, кн. 3); «твари, которые в лестнице творения занимают место между человеком и скотом» («Белые арабы». — «Московский журнал», ч. VII, кн. 2; в переводе из Бонне в «Детском чтении. . .» в этом значении *лествица*); «взоры наши носились по неизмеримостям моря» («Платон») и т. д.

Особую группу стилистически приподнятой лексики составляют некоторые архаические слова, употребленные метафорически. Таковы среди приведенных уже отчасти примеров: «*повергласъ* в дружеские объятия религии»; «сердце ее *отверзлось* кротким ощущением»; «*исторгнутою* им из рук палача»; «*воспалять* ревность»; «*возноситься* до высочайших умозрений»; «*влекомый* склонностью к познаниям». См. также: «*утвердил* революцию» («Последний час Иакова II». — «Московский журнал», ч. V, кн. 3); «С каким рвением видим его, *текущего* к своей великой цели, которая есть благо человечества» («Письма русского путешественника», 16 июля 1789 г. — в пересказе «эстетической лекции» Платнера); «Готшед *изливал* яд и желчь» [241]; «Вся сила любви

[241] *Изливать яд* — в переносном употреблении — было ходячим лите-

возбуждается (т. е. пробуждается) в сердце Химены» (Рец. на спектакль «Сид». — «Московский журнал», ч. III, кн. 1); «Гений Германии *возбудил* Берншторфа, сего великого мыслящего мужа» («Жизнь Клопштока». — «Московский журнал», ч. VI, кн. 1): ср. «идеи, *возбужденные* чтением Руссова творения» («Нечто о науках. . .»; но здесь же: «*пробуждается* в ней та сила или способность, которую называем мы разумом»); «верною *стезею* ведет его к добродетели» (Там же) и др. (курсив мой.—*В. Л.*).

Прямые употребления этих слов воспринимались как явление архаическое и не были свойственны Карамзину, по крайней мере, без таких особых стилистических мотивировок, которые выводили текст за пределы рассматриваемого типа речи (поэтому такие примеры из рассказа о Марии Сальмон, как «уже приготовлен был костер и зажжен факел, которым подлежало *воспалить* его», «вторично *воспылал* факел», — не характерны для Карамзина): ср., например: Мария «*исторгнутая* из рук палача» усилиями адвоката, доказавшего ее невиновность, и раненый Алкивиад, которого Сократ «*вырвал* из рук неприятелей» на поле брани (см. выше, стр. 192; заметим, что в соответствующем месте перевода Российской Академии — *исторг*). Слова этого типа составляли все же наиболее архаичный пласт в языке Карамзина, связи этих метафорических употреблений с прямыми были еще очень тесными; можно заметить поэтому, что объем такого рода лексики у Карамзина относительно незначителен и применяется она в его прозе чрезвычайно умеренно [242].

Таким образом, и в карамзинском языке — даже если оставить в стороне особые, «высокие» контексты — есть свои более простые и более книжные, стилистически приподнятые варианты. Их употребление не безразлично, оно связано с характером текста, его содержанием. Та правка, которую вносил Карамзин в свои сочинения, не всегда, как мы видели, означает, что то или иное книжное слово неприемлемо для Карамзина, чуждо ему, а может быть также вызвана ощущением несоответствия слова ситуации, характеру описания или просто стремлением ослабить книжный характер текста; не случайно, например, значительное количество таких исправлений падает на речь персонажей, где применение

ратурным штампом; см. позднее иронически у Пушкина: «Презренный зоил, коего неусыпная зависть изливает усилительный свой яд на лавры русского Парнаса» (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 11, стр. 181).

[242] Группа эта неоднородна; выделяются те слова, у которых создавались — на базе метафорического употребления или параллельно с ним — новые переносные значения; таковы, например: *возбудить*, *влечь*, *утверждать*, *течение* (*течение лет*, *времени*) и др. Это, естественно, могло ослаблять стилистическую приподнятость и тех употреблений, которые выше приводились. Однако надо заметить, что в приведенных выше случаях *возбудить*, *влекомый* соотнесены все же не с этими переносными значениями, а с архаическим прямым употреблением; более того, в этих условиях сами эти переносные значения не вполне еще оторвались от прямых.

специфически книжных элементов требует особой осторожности, хотя и не исключается.

Более тщательный анализ лексики Карамзина мог бы выявить, следовательно, устойчивые ряды синонимических отношений в пределах норм «нового слога» как системы общелитературного выражения типа: *отдых — отдохновение*; *отвечать — ответствовать* (но не *отвещать*); *приказывать — повелевать*; *думать — помышлять* [243]; *осмелиться — дерзнуть*; *знать, узнать — познать*; *сочинитель, автор — творец*; *напрасно — тщетно* (но *вотще*, особенно если не иметь в виду поэзию, кажется, не свойственно Карамзину); *теперь — ныне*; *ожидать — чаять*; *жадный — алчный*; *скрывать, прятать — таить* и др.[244]

Но легко увидеть, что все эти стилистические различия легко укладываются в рамки «нового слога», не противоречат его требованиям и нормам [245]. Они в общем не нарушают и представления о единстве языка в разных видах и жанрах письменности, так как употребление книжных вариантов не носит жанровых

---

[243] *Помышлять* означало не только «мечтать, думать, надеясь на что-нибудь, замышлять», но и просто «думать, иметь в мыслях». См., например, у Карамзина: «помышляя, что он отец Химены» (Рец. на спектакль «Сид».— «Московский журнал», ч. III, кн. 1); «с отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства» («Бедная Лиза»); последний пример особенно показателен: *помышлять с отвращением* о чем-нибудь в современном языке невозможно). См. также в повести «Сиерра-Морена»: «помышляя о жизни и смерти народов. . .» («Аглая», кн. II, стр. 17). Ср. еще у Пушкина: «Но в свете мало ль что творится. О чем у нас не помышлял, Быть может, ни один журнал!» (Варианты к гл. VIII «Евгения Онегина». Полн. собр. соч., т. 6, стр. 627); «мрачная туча висела над Горюхиным, а никто об ней и не помышлял» («История села Горюхина»).

[244] Стилистически значимые синонимические пары надо отличать от стилистически безразличных вариантов, отражающих лишь некоторые колебания в словоупотреблении. По всей вероятности, к ним относятся еще в этот период такие, как *спутник — сопутник*, *вспоминать — воспоминать*, *скрыть — сокрыть*, возможно, и *сделать — соделать*, *сжигать — сожигать* и некоторые другие.

[245] Любопытно, например, что в названии книги Бонне — «Contemplation de la nature» — Карамзин переводит в «Письмах русского путешественника» и в Смеси «Московских Ведомостей» Contemplation словом *рассматривание*, а не *созерцание*, как И. Виноградов (в «Детском чтении» заглавие вообще не переведено). Точно так же и подпись под письмом Бонне — «Contemplateur de la nature» — переводится как *рассматриватель натуры* (см. «Письма русского путешественника», Женева, после 1 декабря 1789 г. и 23 января 1790 г.). Очевидно слово *созерцание* казалось Карамзину слишком высоким, хотя Словарь АР, характеризуя его как «славянское», в то же время не толкует его просто как высокий синоним к *рассматривание* или *разглядывание*, а отмечает свойственное лишь этому слову значение «умственного зрения», «вперения мыслей и умственных сил на предмет, чтобы обнять его отвсюду», приводя в качестве иллюстрации выражение *созерцание природы*. Лишь в более поздних изданиях «Писем русского путешественника», начиная с 1814 г., *рассматривание* и *рассматриватель* заменяются словами *созерцание* и *созерцатель*, полностью утратившими в таком употреблении свой высокий, «славенский» колорит, закрепившимися в общекнижном языке.

ограничений. Мы видели их выше преимущественно в литературе «теоретической», публицистической, но вот, например, отрывок из «Бедной Лизы»: «Внизу расстилаются тучные, густозеленые луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом» [246].

Эта лексика не нарушает и принципа единства книжной и разговорной речи, так как не противоречит, в отличие от тех архаических слов, которые упоминались ранее, представлению о хорошем вкусе. В принципе она возможна в живой речи и в ее отражениях в литературе, например в речи рассказчиков в «Вечерах» Мармонтеля. Если Карамзин и отмечал иногда, что героиня какого-либо произведения говорит «не женским языком», то имел в виду не столько сами слова и вообще не самый язык, а содержание, манеру рассуждений и т. д. (см., например, приводившийся уже выше упрек автору, который заставляет женщину говорить «не языком чувства, ей свойственным, вводя ее в метафизические отвлеченности, противные ее полу и положению»; см. также замечание Макарова о героине художественного произведения, которая «рассуждает иногда как физик, иногда как философ»).

Отдельно надо сказать о тех синонимических парах, которые стоят особняком в «новом слоге», по существу противореча его принципам. Речь идет о таких словах, которые признаются вполне нормальными для книжного языка в любом его проявлении (и поэтому могут считаться в пределах книжного языка нейтральными), но которые принципиально чужды живой речи. Такие слова насчитываются единицами, причем их даже меньше, чем это можно предположить, основываясь на высказываниях Карамзина или Макарова. Так, из приводившихся уже выше протестов против употребления героями литературного произведения, особенно женщинами, слов *учинить* и *колико* можно сделать вывод, что их использование в книжном языке Карамзин считает вполне нормальным; но, как показывает материал, такие слова вообще чужды языку Карамзина; в этом отношении отличаются от них слова *дабы*, *ибо*, *вследствие чего*, *в рассуждении чего*, *купно* и не-

[246] Важно добавить, что, с другой стороны, в произведениях «теоретического» характера, даже если они насыщены такого рода книжной лексикой, легко умещаются и совсем иные, чисто «карамзинские», сентиментальные описания. Выше приводилось некоторое количество книжных слов из наиболее риторического по тону оригинального сочинения Карамзина — его рассуждения «Нечто о науках, искусствах и просвещении», заключающего страстную полемику с Руссо. Но вот отрывок из этого сочинения: «Напротив того горестный друг, горестный любовник, потеряв милую половину души своей, любит думать и говорить о своей печали, изливать, описывать свои чувства; избирает всю природу в поверенные грусти своей; ему кажется, что журчащая речка и шумящее дерево соболезнуют о его утрате» и т. д.

которые другие, которые, по-видимому, признаются неуместными только в живой речи. С наибольшей очевидностью это применимо к местоимениям *сей* и *оный*. В рецензии на комедию «Граф Ольсбах» Карамзин писал: «Жаль, что г. переводчик употребляет слова *сие* и *оное*, что на театре всегда бывает противно слуху. Употребляем ли мы сии слова в разговоре? Если нет, то и в комедии, которая есть представление общежития, употреблять их не должно» («Московский журнал», ч. I, кн. 3). То же писал и Макаров: «Кто в разговоре с приятелем скажет сии?», — замечает он, рецензируя перевод «Антенорова путешествия» («Московский Меркурий», 1803, ч. II, апрель).

У самого Карамзина *сей* и *оный* встречаются часто в его авторской речи, причем (особенно *сей*) без всяких стилистических ограничений, но редко — в речи персонажей, даже в речи рассказчиков. Можно было бы привести много примеров такого именно распределения местоимений *сей*, *оный*, *этот*, *тот* в произведениях Карамзина. Любопытно, что некоторые случаи употребления *сей* в речи персонажей впоследствии устраняются автором. Так, в «Письмах русского путешественника», даже в несколько выспренной речи «лифляндского дворянина» о поэте Ленце слово «тучи помрачили сию прекрасную зарю» уже в издании 1797 г. заменены на «эту прекрасную зарю». В «Вечерах» Мармонтеля фраза рассказчицы одной из повестей «Юлия была тронута сею картиною. Когда она мне описала ее. . .» исправлена в отдельном издании 1794 г. следующим образом: «Юлия была тронута: и когда описала мне эту картину. . .»; сочетание *при сих словах* автор заменяет *тут*. При переиздании повести Мармонтеля «Ларчик» в речи персонажа несколько раз заменено *сей* на *этот* (например, в словах «скрыть сию слабость», «в сей ссылке»), хотя в риторической речи героя, во фразе «сии приманчивые и развратные люди» книжное местоимение сохранено.

Надо, однако, заметить, что употребление местоимения *сей* вообще очень неустойчиво и в авторской речи Карамзина. Так, сличая текст «Писем русского путешественника» в «Московском журнале» и «Аглае» с изданием 1797 г., Сиповский отмечает 35 случаев замены *сей* на *этот* и 23 случая устранения *сей* без всякой замены, причем при проверке выяснилось, что большинство замен — в авторской речи. В следующем издании (1803 г.) встречаем новые замены *сей* на *этот*, но в то же время кое-где восстановлен текст «Московского журнала». Трудно установить принципы, которыми руководствовался Карамзин в этих случаях, хотя можно заметить, что чаще других устраняется форма среднего рода *сие* (например, «произвели сие», «по сие время», «все сие вместе» и др.); любопытно, например, что слова «сии исключительные права» («Московский журнал») были заменены на «это исключительное право», где *это* вместо предполагаемого *сие*, но в издании 1803 г. снова читаем «сии. . . права». Можно заметить также,

что *сей* иногда устраняется, если это местоимение выполняет функцию подчеркнутого выделения предмета, отличения его от других. Впрочем, все это требует более тщательной проверки. Но важно, что в целом употребление местоимения *сей* сокращается у Карамзина 90-х годов не только в речи персонажей, но и в авторском языке. Еще очевиднее это в отношении местоимения *оный*. *Оный* встречается у Карамзина в авторской речи часто, но даже в 80-е годы реже, умеренней, чем у большинства его современников; отчасти это было видно и при тех сопоставлениях, которые делались выше. Впоследствии мы замечаем не вполне последовательную, но все же достаточно заметную тенденцию устранять это местоимение. Ср., например, в «Письмах русского путешественника»: «упомянув об афоризмах, хотел просить у него объяснения на некоторые места из оных» («Московский журнал», ч. III, кн. 1, стр. 47) — «некоторые в них места» (1797), впоследствии снова изменено на «некоторые места из них»; «затушить огонь при первом воспылании оного» («Московский журнал», ч. I, кн. 3, стр. 348) — «его воспылании» (1797) и др. Даже воспроизводя публичную «эстетическую лекцию» доктора Платнера (запись от 16 июля 1789 г.), Карамзин уже в издании 1797 г. исключает *оный*, которое дважды употреблено в первоначальном тексте: «видя оскорбляемые права человечества, с каким жаром берется он быть ходатаем оного» («Московский журнал», ч. II, кн. 3, стр. 313) — «его ходатаем» (1797); «оживляемые оным (т. е. духом ревности. — *В. Л.*) возвышают они души читателя» — «оживляемые им»; впоследствии вся фраза была изменена, появилось «одушевляемые сим огнем». Вот еще пример из «Бедной Лизы»: «иногда вхожу я в кельи и представляю себе тех, которые жили в оных» («Московский журнал», ч. VI, кн. 1, стр. 24) — «жили в них» («Мои безделки», также второе издание «Московского журнала») и др. Заслуживает внимания тот факт, что наиболее последовательно устраняется *оный* в тех конструкциях, в которых указание относится не к ранее упоминавшемуся предмету, а к тому, которое будет названо далее — иногда в этих условиях *оный* означает *этот*, в конструкции *оный, который*. Так, в переводе из Бартелеми «Платон или О происхождении мира» дважды исключено *оный*: «носился душею своею над онымы безднами», «в оный океан материи» (ср. тексты в «Московском журнале», ч. VIII, декабрь, и в «Пантеоне иностранной словесности», изд. 2, 1818, кн. 1). См. еще в биографии Геснера: «От сего происходит оная наружная леность, которая. . .» («Московский журнал», ч. VI, кн. 3, стр. 285) — «его наружная леность» (второе издание «Московского журнала»); в статье «Нечто о науках. . .»: «пробуждается в ней оная удивительная сила или способность, которую называем мы разумом» («Аглая», кн. I, стр. 39) — «та удивительная сила» (начиная с «Сочинений» Карамзина, 1803); в этой же статье исключено впоследствии (в поздних изданиях

оный во фразе: «так оный источник, едва-едва журчащий под сенью ветвистого дуба, мало по малу расширяется, шумит и, наконец, образует величественную Волгу», — где ранее нет упоминаний об источнике; исключено также *оный* в статье «О досуге»: «Оные герои, оные мудрецы времен протекших» («Московский журнал», ч. VI, кн. 2, стр. 173; ср. в «Пантеоне иностранной словесности»); в «Деревне»: «младенцы человечества, чада дикой природы, оные простодушные народы древности» (ср. «Московский журнал» и «Мои безделки»); в переводе «Саконталы»: «смотри как оные серны гуляют по злаку»; «оный луг перед садом, где рассеяна жертвенная трава»; «под оными древами»; здесь же «в оной беседке» изменено на «в сей беседке» (ср. тексты «Московского журнала» и «Пантеона иностранной словесности», изд. 2); см. также «Остров Борнгольм» — во фразе «сей унылый шум и вид необозримых вод начинали склонять меня к оной дремоте, к оному сладостному бездействию души, в котором все идеи и все чувства останавливаются и цепенеют» («Аглая», кн. I, стр. 94) заменены оба *оный*: «к той дремоте, к тому сладостному бездействию души» (начиная с издания «Сочинений» Карамзина, 1803). Несколько раз произведены такие замены в «Наталье, боярской дочери», например: «во святилище оных красот, оного рельефа, которому являются в изваянном образе Медицейской Никофоры» («Московский журнал», ч. VIII) — «тех красот, того рельефа» («Мои безделки»).

По всей вероятности, такое употребление местоимения *оный* постепенно перестает быть для Карамзина нормой — оно исключается или сохраняется в единичных случаях в специфически высоких контекстах [247].

Вопрос о границах книжного элемента в языке Карамзина, вообще в «новом слоге» — один из центральных в истории русского литературного языка конца XVIII—начала XIX в. Жизнеспособность «нового слога» была обусловлена не только тем, что им устанавливалась средняя литературная норма, свободная от архаики, но и тем, что в нем определился фонд книжной лексики, не являющейся стилистически нейтральной, но и не выходящей за пределы этой общелитературной нормы.

Можно считать, что проблема отбора из традиционного книжного языка, проблема отграничения в этом языке слов обветшалых от жизнеспособных, ассимилированных в литературном языке, в основном решена в «карамзинское» время. Разумеется, можно обнаружить такие слова книжного характера, которые употреблялись еще Карамзиным и представителями его «школы», но впоследствии вышли из употребления. Но это отражает лишь

[247] Об употреблении указательных местоимений в «карамзинское» время и позднее см. в статье А. Д. Григорьевой «К истории местоимений *сей* и *оный* в русск. лит. языке начала XIX в.» («Труды Ин-та языкознания АН СССР», т. II, 1953).

дальнейшее развитие языка в том же направлении, по тому же пути; при этом такого рода слова не будут складываться в какие-либо отчетливо выраженные группы или серии. Это особенно очевидно для первых трех-четырех десятилетий XIX в., включая язык Пушкина. Иногда говорят о недооценке Карамзиным книжного элемента, о том, что в последующий период происходил процесс реставрации части славянизмов, не принятых Карамзиным. Это очевидная ошибка, основанная на смешении вопросов развития литературного языка и языка некоторых видов литературы. Верно, впрочем, что в отношении отдельных слов могли обнаруживаться колебания в их употреблении, но в целом, в главном — карамзинское решение этого вопроса оказалось чрезвычайно устойчивым.

По существу, в «новом слоге» — если понимать его широко, а не только как язык нескольких сентиментальных повестей — в отношении лексики определились границы книжной разновидности литературного языка первых десятилетий XIX в.

Мы сравнивали тексты Карамзина с текстами его предшественников или тех из его современников, кто тяготел к старым, «докарамзинским» нормам словоупотребления. Но новаторство Карамзина обнаружится и при сопоставлении его языка с языком более позднего времени — 20—30-х годов XIX в.: станет очевидным, насколько тесно связан «карамзинский» период в развитии литературного языка с последующим. Сравнение переводов одного и того же текста было бы здесь, разумеется, особенно показательным. У нас есть возможность произвести такого рода сопоставление текстов Карамзина и Пушкина — рассказа о железной маске (перевод из Вольтера). Этот рассказ помещен у Карамзина среди парижских записей в «Письмах русского путешественника». Пушкинский перевод, не печатавшийся при его жизни, датируют 1836 г.

Вот начало этого текста в двух переводах. У Карамзина: «Через несколько месяцев по смерти кардинала Мазарина случилось происшествие, которое можно назвать беспримерным и которого (что также удивительно) совсем не знали историки. С величайшею тайною послан был на остров святой Маргариты неизвестный арестант, молодой человек, высокий ростом и благородный видом. Он носил маску с железною пружиною, которая не мешала ему есть. Офицер имел повеление убить его, если бы он снял ее» — у Пушкина: «Несколько времени после смерти кардинала Мазарини. . . случилось происшествие беспримерное, и, что еще удивительнее, неизвестное ни одному историку. Некто, высокого росту, молодых лет, благородной и прекрасной наружности, с величайшей тайною послан был в заточение на остров св. Маргариты. Дорогою невольник носил маску, коей нижняя часть была на пружинах, так что он мог есть, не сымая ее с лица. Приказано было, в случае, если б он открылся,

его убить». Сопоставим еще два отрывка: «Министр Лувуа был у него на острове св. Маргариты, говорил с ним стоя и с великим почтением. В Бастилии отвели ему самые лучшие комнаты, и ни в чем не отказывали. Всего более любил он тонкое белье и кружева, знал музыку, играл на гитаре, имел самый изобильный стол, и губернатор редко перед ним садился. Старый бастильский доктор никогда не видал его лица. Он был, по словам сего медика, чрезвычайно странен, имел трогательный голос, говорил приятно, никогда не жаловался на заключение и таил свое имя»; «Рыбак, хозяин лодки, поднял тарелку и принес губернатору, который с великим беспокойством спросил: видел ли он надпись и не показывал ли кому-нибудь тарелки. Я только что нашел ее, а сам не умею читать, отвечал рыбак» (Карамзин) — «Перед сим маркиз де Лувоа посетил его на сем острове и говорил с ним стоя, с видом уважения. Неизвестный посажен был в Бастилью, где всевозможные удобности были ему доставляемы. Ему ни в чем не отказывали. Он любил самое тонкое белье и кружева. Он играл на гитаре. Стол его был самый отличный. Губернатор редко садился перед ним. Старый лекарь, часто его лечивший в различных болезнях, сказывал, что никогда не видывал его лица, хотя и осматривал его язык и другие части тела. По словам лекаря, он был прекрасно сложен; цветом довольно смугл. Голос его был трогателен; он никогда не жаловался и не намекал о своем состоянии»; «Рыбак поднял тарелку на берегу моря и принес ее губернатору. Сей изумился. — Читал ли ты, что тут написано, — спросил он у рыбака, — и видел ли кто у тебя эту тарелку? — Я не умею читать, — отвечал рыбак, — я сейчас ее нашел, никто ее не видал» (Пушкин). Нельзя не отметить, что текст Карамзина — по крайней мере, что касается лексики, — не звучит более архаично, чем пушкинский, а в отношении употребления союзов *который — кой* и местоимения *сей* выглядит даже современнее. Ср. также: «Шамиляр отвечал, что он клялся хранить государственную тайну» (Карамзин) — «Шамильяр ответствовал, что это государственная тайна и что он клялся ее не открывать» (Пушкин) [248].

Разумеется, из такого рода сопоставлений не следует делать слишком далеко идущих выводов — об отсутствии качественных отличий между «карамзинскими» и «пушкинскими» этапами в развитии литературного языка. Но что касается судьбы книжно-архаического наследия XVIII в., то, бесспорно, — мы говорим пока только о нормах общелитературного языка, не касаясь специальных проблем поэтической и вообще художественной речи, — она определилась уже в «карамзинском» периоде. Даль-

[248] Существует еще третий перевод «Железной маски» — А. Ф. Воейкова, в переведенной им книге Вольтера «Век Людовика XIV и Людовика XV», т. II (М., 1809, стр. 40—43).

нейшие изменения в этом отношении не имели принципиального значения.

§ 42. Приведенным ранее материалом не ограничивается состав книжной лексики у Карамзина и представителей его «школы». Как много раз подчеркивалось, речь шла о представленной в «новом слоге» норме общелитературного языка — с теми стилистическими вариантами, которые укладывались в пределы этой нормы. Но есть в «карамзинской» литературе и другие контексты, отличающиеся от рассмотренных выше прежде всего тем, что они свободно допускают употребление славянизмов, тесно связанных с традициями высокого слога.

При анализе этой лексики в произведениях Карамзина, Дмитриева, вообще представителей «нового слога» возникают два вопроса: во-первых, о составе этой лексики, о степени усвоения традиционного «высокого» лексического фонда; во-вторых, о стилистических условиях ее употребления. Вопросы эти взаимосвязаны: различные стилистические условия определяют и различный состав (и частоту употребления) традиционной «славенской» лексики. Выявление условий функционирования интересующей нас лексики дает возможность выявить и ее внутреннюю группировку, а также обособить ее от той, которая закрепилась, ассимилировалась в общелитературном языке как его нейтральный или книжный пласт. Тем самым определяется своеобразие лексико-стилистической системы литературного языка как она представлена в литературе карамзинской «школы».

Говоря об употреблении высокой «славенской» лексики у Карамзина и карамзинистов, нужно с самого начала выделить случаи, когда такое употребление связано с традиционной прикрепленностью слова к определенным предметам — прежде всего, в размышлениях о боге, обращении к нему и т. д. Стилистическая роль таких слов в этих условиях резко снижена, слова эти превратились в условные и обязательные «знаки», по существу устранив возможность выбора. Различие литературных школ и направлений в этих случаях нивелируется. Когда Карамзин пишет в «Письмах русского путешественника», обращаясь к «мудрому провидению»: «теперь, погружаясь в чувство твоей благости, лобызаю невидимую руку твою, меня ведущую» (Базель, 9 августа 1789) — это, разумеется, стилистически выразительно; но не поиски стилистической выразительности лежали здесь в основе отбора: вряд ли можно *целовать* руку провидения; здесь скорее можно с удивлением отметить *руку* вместо *десницы* или *длани*, но не *лобызаю*. Вот еще запись от 12 июля: «Ныне поутру вошел я в придворную католическую церковь во время обедни. Великолепие [249] храма, громкое и приятное пение, сопровождаемое со-

[249] Первоначально в «Московском журнале» (ч. II, кн. 2, стр. 171) — *огромность*; *великолепие* — в издании 1797 г. (ч. I, стр. 290).

гласными звуками органа; благоговение молящихся, к небу воздетые руки священников — все сие вместе произвело во мне некоторый восхитительный трепет. Мне казалось, что я вступил в мир ангельский, и слышу гласы блаженных духов, славословящих неизреченного. Ноги мои подогнулись, я стал на колени и молился от всего сердца». Яркие славянизмы прикреплены здесь непосредственно к описанию «божественных» предметов — см. *славословить*, *неизреченный*, *гласы блаженных духов*, *воздетые руки священников* (снова *руки*), но высокость предмета не влекла за собой непременно высокой лексики для всего отрывка в целом: см., например, *ныне*, а не *днесь*, даже *великолепие* храма, а не *велелепие*, *молился*, а не *воссылал молитвы* (хотя все это вообще встречается у Карамзина). Таковы же восклицания автора в «Острове Борнгольме»: «и здесь десница твоя напечатлела живые знаки творческой любви и благости» (но и «творение руки твоей восхищает дух и сердце»); «творец, почто даровал ты людям гибельную власть делать несчастными друг друга»; см. здесь же слова старика: «за что небо излияло всю чашу гнева своего на сего слабого, седого старца»; слова затворницы: «я лобызаю руку, которая меня наказывает» и др. В переводе отрывка «Платон или О происхождении мира» (из «Путешествия. . . Анахарсиса»): «творец *воззрел* на сотворенный им мир — свое *чадо*», «он *возжег* солнце и повернул его в мир», «он *рек*» и т. д.

Любопытно, что в таких случаях правка текста может приводить не к ослаблению книжности, как это обычно у Карамзина, а к ее усилению. Так, например, в «Платоне» при изложении того, что бог «положил в совете своем», первоначальное «в сражении с злыми страстями» заменено «в борении», а «превращены будут в женщин» исправлено: «в жен» (ср. «Московский журнал» и «Пантеон иностранной словесности», изд. 2). В «Вечерах» Мармонтеля «в глазах провидения» заменено впоследствии: «в очах провидения» (ср. «Московский журнал» и «Новые Мармонтелевы повести», 1794). Известна переделка эпитафии Галлера, впервые помещенной Карамзиным в «Детском чтении. . .» (ч. X, стр. 50), а затем в «Письмах русского путешественника» (Берн, 10 сентября 1789 г.): вместо «я слышу глас трубный» стало «се трубный глас», появились слова «спеши во сретение твоему искупителю» (но в то же время вместо «свергни с себя тленный покров» стало «сложи с себя тленность») [250]. Считая эту надпись «слишком плодовитой», Карамзин полагает, что лучше было бы: «Трубный глас. . . Пробудись, сын мой! се Спаситель!».

Высокая лексика часто встречается в пейзажах. Описания природы могут быть окрашены у Карамзина по-разному. Иногда они характеризуются чувствительным колоритом — и тогда перед

[250] Вряд ли здесь можно говорить о переделке текста. Очевидно, что мы имеем дело с двумя переводами, произведенными в разное время.

нами типичное сентиментальное описание. Но часто такие картины природы вызывают мысль о присутствии божества, о разлитой в «натуре» божественной силе, о приобщении человека к этой силе посредством слияния своего с природой. И тогда заметно усиливается в лексике таких описаний роль риторического высокого элемента. См., например, в «Письмах русского путешественника» в цитированной выше записи от 9 августа: «я со слезою любви упал бы во всеобъемлющее лоно Природы, с полным уверением, что она зовет меня к новому счастию»; «сердце мое отверзается впечатлениям красот Природы» (в последнем примере, кроме *отверзается*, заслуживает также внимания и «этимологическое», хотя и метафорическое употребление слова *впечатление* в значении «отпечаток»). Характерны в этом отношении следующие строки в описании Рейнского водопада, включенные, правда, только в издание 1820 г.: «Воображение мое одушевляло хладную стихию: давало ей чувство и голос: она вещала мне о чем-то неизглаголанном» [251]. В другом месте (Страсбург, 6 августа 1789 г.) изображается, как «роскошная Природа в садах и в полях изливает весь тук [252] своего плодородия, и в пенящейся чаше подает смертному нектар вдохновения и сладкой радости», говорится о радости быть «любимым гостем Природы, повсюду отверзающей для него новые источники удовольствия», о том, как человек «везде радуется бытием [253] своим и благословляет свое человечество».

В записи от 12 июля 1789 г. созерцание природы вызвало у автора такое восклицание: «Любезная природа, нежная мать наша! какими несказанными радостями питаешь ты сердца чад своих, когда они к тебе прибегают и в объятиях твоих ищут отрады» (впоследствии от всего этого монолога остались только два первых слова: «Я смотрел и наслаждался: смотрел, радовался и — даже

---

[251] *Неизглаголанный* и позже встречается у Карамзина в высоком, риторическом окружении; так, в проекте манифеста о восшествии на престол Николая Павловича он писал: «Можем только, как христиане, смиряться духом пред всевышним и молить его, да пославъ намъ скорбь неизглаголанную. . .» (после изменений, внесенных Сперанским, это слово исчезло, стало: «среди всеобщей горести . . . отечество наше объявшей»; см. «Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина», ч. I, стр. 17 и сл.). Слово *неизглаголанное* употреблялось в философской литературе XVIII—начала XIX в., в том числе в произведениях масонов, например: «сие *неизглаголанное* нечто назовем мы бездонностью, вечносамостоящею единицею» («Пастырское послание к. . . свободным каменщикам». Цит. по кн.: В. В. Виноградов. Проблема авторства и теория стилей, стр. 297). Как уже сказано, в текст «Писем русского путешественника» приведенная фраза включена только в последнем прижизненном издании сочинений Карамзина — в 1820 г. Можно, однако, предполагать, что она уже раньше находилась в его записной книжке.

[252] См. Словарь АР: *тук* — «славенское» «жир», а также «все, что утучняет, удобряет землю садовую и пахотную» (ср. *тучная* земля, зелень и т. д.).

[253] *Бытием своим*, т. е. своим существованием; см. в Словаре АР: *бытие* — «существование, действительность того, что есть или находится».

плакал. . . Вынул бумагу, карандаш; написал: любезная Природа! и более ни слова!»).

Высоким колоритом окрашено описание восхождения в Альпах (28 августа): «Я преклонил колена, устремил взор свой на небо и принес жертву сердечного моления тому, кто в сих гранитах и снегах напечатлел столь явственно свое всемогущество, свое величие, свою вечность! Друзья мои! я стоял на высочайшей ступени, на которую смертные восходить могут для поклонения всевышнему. . . Здесь в благоговейном ужасе трепещет сердце его [смертного], когда он помышляет о той всемогущей руке, которая вознесла к небесам сии громады и повергнет их некогда в бездну морскую» («Московский журнал», ч. V, кн. 1, стр. 41—44).

Наиболее высокие места в полемической статье Карамзина «Нечто о науках. . .», написанной вообще несколько приподнято, также относятся к такого рода рассуждениям о божестве, проявляющем себя в природе: «Кто чрез мириады блестящих сфер, кружащихся в голубом небесном пространстве, умеет возноситься духом своим к престолу невидимого божества, кто внимает гласу его и в громах и в зефирах, в шуме морей — собственном сердце своем; кто в атоме видит мир и в мире атому (в последующих изданиях *атом. — В. Л.*) беспредельного творения; кто в каждом цветочке, в каждом движении и действии Природы чувствует дыхание вышней благости, и в алых небесных молниях лобызает край Саваофовой ризы; тот не может быть злодеем». Вот еще пример из повести «Сиерра-Морена»: «величественная натура из недр бесчувствия прияла меня в свои объятия и включила в систему эфемерного бытия».

Та же тема и тот же язык в своеобразных лирических монологах, своего рода «элегиях в прозе» — оригинальных и переводных, которые Карамзин и его последователи культивировали в 90-е годы. Вот, например, лексика элегии «Ночь и день», где, помимо слов автора, находим также диалог *ночи* и *дня*: «огромная покровенная ночь»; «приемлю все рожденное мною. . . на лоно мое»; «сама я покровенна, но оку, никогда не дерзавшему при твоих солнечных лучах смотреть на небо, открываю бесчисленные строи солнц»; «день. . . пал на всеобъемлющее лоно»; «главу свою склоняет» [254].

См. еще в элегии «Невинность» («Московский журнал», ч. II, кн. 1): «Когда смертные повиновались гласу благодетельной При-

[254] Все библиографы (А. Неустроев, М. Лонгинов, С. Пономарев) называют Карамзина автором этого произведения, хотя в сочинениях или переводах Карамзина оно, кажется, никогда не помещалось. Языковые и стилистические данные полностью подтверждают такое предположение; см., например, одно из любимых слов Карамзина *покровенный* (но во «Фроле Силине» *с покровенною головою* заменено уже в «Моих безделках» на *с покрытою головою* — см. выше, стр. 211). Есть и прямое совпадение: *пасть на всеобъемлющее лоно* встретилось также в «Письмах русского путешественника», в приведенной выше записи от 9 августа.

роды»; «редко бывает видима оку смертного»; «когда человек в гибельный час заблуждения восхотел быть мудрее Природы».

В произведении Карамзина «Деревня» чувствительный, элегический тон чередуется с высоким, риторическим, также вызванным изображением и переживанием «феноменов натуры»: «сии торжественные часы утра, когда белые облака на позлащенных хребтах своих из бездны океана выносят светозарного жениха натуры, приветствуемого громкими хорами живого творения»; «по светлому небу катится вечернее солнце, в тихом велелепии и в кротком величестве. Уже достигает оно до врат запада — мерцает за тонким златоволнистым облаком» и т. д.; см. далее сравнение заходящего солнца с «мудрым и добродетельным мужем», «которого жизнь была благотворным [255] светилом для нравственных существ, собратий его» и который «тихо и великолепно приближается к цели своего течения»; «спокойное величество блистает на челе мудрого и в самое то время, когда мрачная [256] могила перед ним разверзается».

Может быть, одно из наиболее насыщенных высокой лексикой произведений Карамзина в прозе такого рода — это лирический монолог «Ночь», в котором переплетены мотивы «пантеистические» и эротические. Вот несколько фраз из этого произведения: «да не боится она ни зверя хищного, коварно стрегущего своей добычи, ни терния колючего, таящегося во мраке»; «будь веселым вождем [257] любезной Хлои»; «волшебные трели твои да привлекут ее в мои отверстые объятия»; «Диана узрела. . . нежного Эндимиона, в сладком сне погруженного»; «Там седой старец, небу любезный, провождает счастливые дни свои»; «теперь покойный сон смыкает его вежди, и в светлой душе его, от чувственных уз освобожденной, созерцаются поля Елисейские, поля блаженства со всеми радостями, которые некогда да будут наградою правоты его»; «бог любви. . . ниспустился и светильником своим возжег во внутренности нашей потухший огонь жизни»; «Купидон улыбнулся и воспарил на вершину Олимпа»; «мирты осыпают нас млечным цветом своим»; «благословляю любовь всемогущую» и т. д.

Приведенные выше тексты представляют собой в творчестве Карамзина тематически и стилистически обособленную группу. Это не означает, разумеется, что употребление традиционной высокой лексики ею ограничивается. Можно привести и другие случаи, с другими стилистическими мотивировками. Так, в элегическом монологе «Посвящение кущи» (впервые опубликовано в «Московском журнале», ч. III, кн. 3) размышления автора, уда-

---

[255] *Благотворный* здесь — в прямом первоначальном смысле — «творящий благо».

[256] Т. е. темная, скрытая во мраке.

[257] В обращении к ручейку: *вождь* — здесь «вожак, проводник» (см. Словарь АР); слово это высокое, «славенское».

лившегося «от всего мира» в «сию мрачную, уединенную, безмолвную кущу», обращены к богине фантазии. Отсюда и тот высокий колорит, который характерен для этого произведения. См., например: «кущу, окропляемую пенистым ручьем с гранитного утеса ниспадающим»; «медленно ниспустимся в гроб моего Агатона, . . . и опершись на хладный камень, луною освещаемый, воззришь на меня очами слезящими»; «прикосновением розовых перстов своих»; «пред повелительным взором его преклоняешь выю целых народов». Сама богиня изображается «одеянной покровом златоцветным», «с власами распущенными, с лицом бледным, с очами огненными» (но «с обнаженною грудью»: слово *перси*, кажется, Карамзин употреблять не любит). См. еще в переводе отрывка «Надежда» («Московский журнал», ч. VIII, декабрь) [258]: «Надежда! ты дщерь неба, сопутница горестных. . . Но се приближается угрюмая существенность и привидения скрываются».

Значителен слой такого рода лексики в отрывке «Наводнение» («Московский журнал», ч. IV, кн. 2), где изображается полная «пиитического ужаса» картина разбушевавшейся стихии и трогательная встреча пастуха со спасенными им возлюбленной и ее отцом. См. здесь: «из тучных брегов своих»; «влажная смерть стремится. . ., подобно алчному волку, с отверстым зевом, гоняющемуся за агнцами»; «скрывается в бурном их лоне»; «от восхитительного соосязания сердец своих»; «объемлются они с отчаянием, объемлются в последний раз»; «жаром своих лобзаний воскрешает розовую жизнь на бледных устах ее»; «багряноцветная заря»; «воссияло солнце» и др.[259] См. также *воззреть*, *он рек*, *мещет громы* и др. в упоминавшемся уже переводе отрывка «Платон или О происхождении мира».

Одним из наиболее книжных и риторических текстов Карамзина 90-х годов можно считать перевод из Энгеля «Галилеева сновидения» («Московский журнал», ч. VII, кн. 3); язык этого перевода мог бы вызвать даже сомнение в принадлежности его Карамзину, если бы он не помещался впоследствии в собрании его переводов [260]. Здесь найдем: «с какою ревностию. . . преходим мы все лавиринфы ложной мудрости»; «сколь часто дрожал ты от хлада»; «утучнялись в роскошном изобилии»; «облако паки ниспустилось на землю»; «чело вождя моего помрачилось священною важностию»; «да седеют власы его в темнице»; «лобызают прах» и т. д. Весь этот отрывок представляет собой риторический

---

[258] М. Лонгинов считает, что этот перевод принадлежит Карамзину (см. «Русский архив», 1864, стр. 855).

[259] М. Лонгинов и С. Пономарев безоговорочно приписывают этот отрывок Карамзину, хотя впоследствии он, кажется, никогда не публиковался в собраниях его сочинений. Надо заметить, что наряду с привычными для Карамзина словами здесь встречаются и такие, которые вызывают сомнение в авторстве Карамзина.

[260] См. «Пантеон иностранной словесности», ч. 2, изд. 2, 1818.

рассказ Галилея своему ученику о приснившемся ему в темнице чудесным сне, во время которого он вместе с «вождем» своим Коперником летал на облаке и созерцал вселенную. Не может вызвать удивления архаическая лексика в тексте эпитафии на гробе Истины — в аллегории «Погребенная истина»: «дщерь царя царей»; «солнце паки меня узрит»; «буди благословенно потомство»; «в нечистоте лжей» («Московский журнал», ч. II, кн. 3).

Так же отчетлива функция высокой лексики в тех случаях, когда примешиваются элементы стилизации, например, в переводе сцен из индийской драмы «Саконтала», где переводчик хотел познакомить читателей с «благовонными цветами азиатской литературы» («Московский журнал», ч. IV, кн. 2), в повести «Наталья, боярская дочь» (впервые — «Московский журнал», ч. VIII), в которой обнаруживаются связи с лексикой и фразеологией народно-эпического характера [261], позднее — в «Марфе Посаднице» и некоторых других.

Специфична мотивировка славянизмов в повестях «Остров Борнгольм» и «Сиерра-Морена» (впервые — в «Аглае», 1794 г.). Эти произведения по своей стилистике отличаются от повестей типа «Бедной Лизы», «Лиодора», «Юлии», а также «Писем русского путешественника», демонстрируя приметы «преромантизма». Отсюда и несколько возросшая роль высокого элемента в языке этих повестей. В «Острове Борнгольм» это тем очевиднее, что сюжетно повесть связана с «Письмами русского путешественника» (см.: «Вы знаете, что я странствовал в чужих землях, далеко, далеко от моего отечества, далеко от вас, любезных моему сердцу; видел много чудного, слышал много удивительного; многое вам рассказывал. . .», и далее: «Англия была крайним пределом моего путешествия») [262].

§ 43. Многие слова, встретившиеся в приведенных выше произведениях, не были свойственны тем текстам Карамзина, которые демонстрировались ранее как типичные образцы «нового слога». Связь этой лексики с традициями высокого стиля и «славяно-русского языка» очевидна. Важно подчеркнуть, что стилистическая функция этих слов отчетливо выражена в произведе-

[261] См. обстоятельный анализ этого материала: А. И. Ефимов. Фразеологический состав повести Карамзина «Наталья, боярская дочь». — «Мат-лы и исслед. по истории русск. лит. языка», т. I, 1949.

[262] Из «высокой» лексики этой повести остановлюсь на слове *жезл*: «Там сказал я самому себе: отечество и друзья ожидают тебя, время успокоиться в их объятиях, время посвятить страннический жезл твой сыну Манну, время повесить его на густейшую ветвь того дерева» и т. д.; и сноска: «Во время древности странники, возвращаясь в отечество, посвящали жезлы свои Меркурию». Заметим, что в «Письмах русского путешественника» — «страннический посох». Слово *жезл* в значении «посох, трость» (Словарь АР) не было, разумеется, так же стилистически безразлично, как в значении «скипетр». Вспомним, что, полемизируя с Шишковым, Дашков признавал это слово в числе тех, которые употребляются в высоком слоге (см. выше, стр. 147).

ниях Карамзина. Стилистически безразличное употребление таких слов или их применение как фактов общекнижного языка чуждо Карамзину и его «школе». Происходит их обособление в рамках особых, стилистически мотивированных контекстов, о б о с т р е н и е стилистических качеств слов, отчасти стертых или ослабленных в докарамзинский период. В этом принципиальное отличие новой прозы от книжного языка предшествующей поры, перекличка с традициями ломоносовской системы. Однако легко заметить, что самый характер мотивировок здесь принципиально иной, чем в этой системе: собственно жанровый критерий оказывается неактуальным для карамзинской литературы — во всяком случае, для прозы.

Стилистическая мотивированность применения высокой лексики — если отбросить случаи прямого прикрепления таких слов к определенным «предметам», типа *лобызать руку* (или *десницу*) *творца* — становится более индивидуальной, более тесно связанной с конкретными художественными задачами писателя (хотя и сохраняет свою традиционную условность, см. ниже, стр. 255). Это сказывается не только в том, что обычным «средним» языком могут писаться такие тексты, для которых традиция требовала высокого слога, но и в том, что там, где употреблена эта высокая лексика, она, как правило, представлена чрезвычайно неконцентрированно. Выбор возвышенного, приподнятого слога в том или ином конкретном случае не означает у Карамзина, что в данном описании или рассуждении должны, при возможности выбора, непременно преобладать наиболее высокие синонимы; применение такого слова должно найти более конкретную мотивировку. Так, в переводе отрывка «Катон в Ливии» («Пантеон иностранной словесности», 1798, кн. III) Катон перед походом «вещает своему воинству», но в самой этой речи, кроме «солнце излиет на меня свой пламень», нет специфически высоких слов или выражений: «приготовьте душу свою к великим подвигам» (ср. возможное *приуготовить*, которое вообще встречается у Карамзина, но в сочетании «приуготовление к смерти»), «итти чрез пустыни», «только им можно итти за мною» (ср. вполне возможное для такого текста «токмо они возмогут шествовать за мною»), «не хочу никого обманывать» (ср. *хощу*, *обольщать*), «пусть всякий откажется (ср. *отречется*) итти пешком, если поеду на коне пред моими когортами» и т. д. Но см. здесь же в авторской речи: «Ливия, где тесный гроб для него отверзается» и др., и даже в речи Катона, но в особом случае: «О чем велишь мне вопрошать богов?»

В монологе «Ночь», примеры из которого приводились выше, несмотря на общий высокий колорит произведения, встретим и такие строки: «Увяла несчастная Филида, и пастух, бросая цветок на ее могилу, сказал: на что цвела она? Засверкали слезы в глазах, он вздохнул и тихими шагами пошел от сего места, преклоня голову к стесненной груди своей», хотя здесь, разумеется,

могло бы быть и *в очах*, *воздохнул*, *тихими стопами*, *главу* и т. д. Примеров такого рода можно было бы привести очень много.

Вот еще характерный пример. В записи от 9 августа «русский путешественник» восклицает: «Счастливые швейцары! всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастие, живучи в объятиях прелестной натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов, пред одним богом наклоняя гордую свою выю». Очевидно, что высокое слово *выя* вызвано здесь упоминанием бога; но *гордая выя* швейцарских крестьян, даже если она наклонена перед богом, — предмет явно не высокий, и общий высокий колорит отрывка не может спасти здесь положения. Не случайно уже в издании 1797 г. последние слова фразы заменены словами: «служа одному богу»; но ср., например, в «Посвящении кущи»: «преклоняешь выю целых народов» [263].

§ 44. Мы говорили об условиях функционирования рассматриваемой лексики. Но важно выяснить, в каком отношении находится она к традиционной «славенской» лексике по своему составу. Прежде всего бросается в глаза, что она не включает всего того, что исключено из «средней» литературы как несоответствующее представлению о хорошем вкусе: следы приказного слога или ученого языка «педантов» — все это исключается и из, условно говоря, «высокого слога» карамзинистов. Поэтому, если сопоставить язык этих текстов с языком первой трети (или даже, может быть, первой половины) XIX в., он почти никогда не звучит а р х а и ч н о, а только в ы с о к о, р и т о р и ч н о, как многие другие произведения первых десятилетий XIX в. Впрочем, об отдельных словах можно говорить и как об архаизмах литературного языка. Если не иметь в виду слов, примененных в целях стилизации [264], то это те случаи, которые отражают некоторую еще

[263] Выразительны в этой связи представленные в упоминавшейся ранее работе Р. М. Цейтлин цифры, характеризующие употребление неполногласной лексики у разных авторов конца XVIII и начала XIX в. Так, по наблюдениям Р. М. Цейтлин, в «Полидоре» Хераскова, при наличии неполногласных *бразда* (6 случаев употребления), *вран* (5), *глава* (47), *глад* (15), *древо* (25), *злато* (16), *младой* (21) и некоторых других, вообще не встречаются их полногласные параллели, а соотношение других синонимических пар дает абсолютное преобладание неполногласных вариантов (например, *град* — *город* дают отношение 35 : 1, *брег* — *берег* — 25 : 4, *влас* — *волос* — 15 : 7 и т. д.). В таких случаях трудно говорит о конкретной стилистической мотивировке употребления «славенской» лексики: оно мотивировано здесь лишь «заданностью» стиля для всего этого произведения в целом. Поэтому неполногласные слова такого типа составляют для романов Хераскова н о р м у и не требуют объяснения; скорее требуют объяснений немногочисленные случаи употребления их полногласных вариантов: например, 7 случаев употребления *волос* здесь удивительней, чем 15 случаев применения *влас*. См. также примеры из произведений Хераскова, приведенные выше, стр. 26—28.

[264] См., например, в сценах из «Саконталы»: «провождаемый учеником своим»; «уязвлять» (в значении «ранить», «наносить язвы»); «коль силен лук твой, и коль слаба нежная кожа юной антилопы; сокрой стрелу. . .». В «Га-

зыбкость границ между лексикой книжного, общелитературного языка и стилистически выразительной «высокой» лексикой, принятой в новой литературе. Судьба обветшалых славянизмов определилась не сразу. Выше, например, говорилось, что в языке Карамзина 80-х годов такие архаические слова, как *паки* и *понеже*, наряду с некоторыми другими, сохранялись еще как элементы высокого слога. К 90-м годам *понеже*, очевидно, бесследно исчезло из языка Карамзина — не только как факт «общего» языка, но и как стилистически выразительный его элемент. Что же касается слова *паки*, то оно задержалось дольше. Этого слова нет в самых серьезных, «важных» сочинениях Карамзина 90-х годов — в его публицистике, философских рассуждениях и т. д. — при обычных *снова* или *опять*; но оно встретилось несколько раз в тех его произведениях, язык которых можно назвать «высоким». Так, оно употреблено однажды в отрывке «Платон или О происхождении мира» — в обращенных к «младшим богам» словах бога о том, что человеческим душам, поселенным в разных животных, со временем «паки возвращен будет прежний сан их»; дважды встречается оно в одном из наиболее книжных и архаичных текстов Карамзина — в «Галилеевом сновидении» («облако паки ниспустилось на землю»; «тут я пробудился, увидел себя паки заключенного в мрачной темнице»); в стилизованной эпитафии из «Погребенной истины» («солнце паки меня узрит»; ср. в самом тексте этой аллегории: «святую истину. . . *снова* погребли под оным [камнем]»). Но любопытно, что *паки* ни разу не встретилось в тех лирических монологах, элегиях в прозе, о которых говорилось выше. Это вполне понятно: слово это могло еще оказаться в контексте нарочито «громком», сугубо риторичном, но не таком, где «высокость» сочетается с «чувствительностью», с «поэтичностью». Впрочем, *паки* встретилось однажды и в контексте собственно «поэтическом» — но в данном случае исключение лишь подтверждает правило. Речь идет о приведенном в «Письмах русского путешественника» (Веймар, 20 июля 1789 г.) переводе из сочинения Гердера «Бог», где встречается следующая строка: «сила корня ее [лилии] существует; она паки пробудится от зимнего сна своего и восстанет в новой весенней красоте, подле милых дщерей бытия своего». Так напечатано в «Московском журнале» (ч. III, кн. 1, стр. 71). Но эта строка трижды подвергается исправлению. При переиздании «Московского журнала» в 1801—1803 гг. Карамзин выбрасывает *паки* без всякой замены; еще раньше, в отдельном издании «Писем русского путешественника» в 1797 г. вместо *паки* — *вновь* (следовательно, Карамзин дважды, в разное время, редактируя текст писем, остановился на этом слове). Последнее чтение сохранилось и в последующих изданиях, но начиная с

лилеевом сновидении» один раз употреблено совершенно не свойственное уже Карамзину *толикий* («бог, сотворивший меня для толикого блаженства»).

«Сочинений» 1803 г. заменено также и *дщерей* — на *дочерей*; следовательно, вместо «паки пробудится. . . и восстанет подле милых дщерей бытия своего» стало «вновь пробудится. . . и восстанет подле милых дочерей бытия своего».

Таким образом, отношение «карамзинской школы» к старой норме книжного языка сохраняется и в тех сочинениях и контекстах, которые можно назвать для Карамзина «высокими». Высокая лексика обособилась в новой литературе не только благодаря своей более строгой мотивированности, но и потому, что оказалась отграниченной от архаики общекнижного языка, стала стилистически более однородной, отчетливо выделяясь на фоне норм общелитературного выражения.

Но состав рассматриваемой лексики, употребленной в прозе Карамзина и его последователей, ограничен и с точки зрения традиций собственно высокого стиля, а не только книжного языка. Круг этой лексики у Карамзина чрезвычайно узок. Это станет очевидным, если просмотреть приведенные выше отрывки, наиболее «традиционные» для прозы Карамзина 90-х годов (здесь, следовательно, не учтены «Марфа Посадница», «Историческое похвальное слово императрице Екатерине Второй», «История Государства Российского», написанные позднее и отличающиеся в этом отношении некоторым своеобразием).

Отмеченная уже ранее слабая концентрация этой лексики в «высоких» текстах Карамзина связана не только с более строгими условиями ее применения, но также и с ограниченностью самого ее состава. Исключительно важную роль играло здесь то обстоятельство, что в «новом слоге», как уже говорилось, сложился довольно устойчивый слой книжной, стилистически приподнятой лексики, не выходящей при этом за пределы норм общелитературного языка. То ощущение «высокости», которое создается при чтении приведенных ранее текстов, определяется не только наличием некоторго круга высокой лексики, но во многом заметным увеличением места и роли именно этого книжного пласта лексики «нового слога». В этом заключается еще одна причина того поразительного факта, что и «высокие» тексты Карамзина не кажутся резко противопоставленными другим его сочинениям, легко укладываются в рамки новых литературных норм [265].

Ограниченность употребления принятой в прозе «карамзинской школы» высокой лексики обнаруживается еще более отчетливо, если обратить внимание на ее внутреннюю дифференциацию. Действительно, хотя в определенных условиях вся эта лексика может быть охарактеризована как высокая, так как ее объединяет общая стилистическая функция, она в то же время не является однородной. Ее неоднородность очевидна при сопоставле-

[265] В еще большей степени это единство языка связано с синтаксисом «нового слога».

нии произведений и кусков собственно высоких, риторических с текстами, которые можно назвать поэтическими.

Высокая и поэтическая лексика отчасти совпадают — хотя бы уже потому, что они имеют общий источник; точнее, вся поэтическая лексика может быть воспринята в соответствующем контексте как высокая. Но не всякий славянизм, сохранившийся в языке как элемент высокого слога, может быть причислен к лексике поэтической. Разумеется, трудно провести здесь вполне строгую границу, но все же можно сказать, что *ланиты*, *уста*, *лоно*, *воссиять*, *ниспасть*, *власы*, *лобзать*, *очи*, *глас*, *зреть*, *хладный*, *младой*, *агнец* и другие — это слова, которые могут звучать в различных условиях и как высокие и как поэтические. Этим они заметно отличаются от таких, как *неизглаголанный*, *неизреченный*, *рещи*, *сретение*, *десница*, *выя*, *око* (в отличие от *очи*), *восхотеть*, *велелепие*, *вещать*, *тук*, *се*, *покровенный*, *жезл* (вместо *посох*, *трость*), *един*, *вождь*, *грясти*, *шествовать* и прочие, которые, очевидно, могут быть отнесены только к лексике высокой. Отдельно надо выделить группу слов, для стилистической характеристики которых существенным оказываются не только внешние, но и внутренние условия и особенности их употребления. Так, например, *дщерь*, *чадо*, *лоно*, *праг*, *отверзать*, *воспылать*, *повергнуть*, *напечатлеть*, *игралище*, *алчный*, *стезя* и другие, употребленные в своем прямом значении (что в прозе карамзинистов почти не отмечается), могут быть отнесены к лексике высокой, в то время как в разного рода метафорических употреблениях или в составе перифраз они сближаются с поэтическим или, отчасти, с общелитературным фондом языка; ср., например, у Карамзина в различных произведениях: *чада дикой природы*; *черная риза осени*; *ветерок лобзал юных красавиц*; *лунные лучи лобызают их нежную округлость* [гор.]; *прохладное лобызание зефира*; *на праге славы*; *на праге смерти*; *лоно природы*; *алчная смерть* (ср. *алчный волк* — «Наводнение»); *сердце мое отверзто*; *стезя его в мире* и др. под. Все это еще более ограничивает состав собственно высокой «славенской» лексики в произведениях Карамзина. Надо заметить, что и в пределах самой высокой лексики стилистически не вполне однородны случаи типа *Катон вещал* и *природа вещает*, *герой шествует* и *светило шествует* и др. под. См. еще о Монблане, который *возносит к небесам главу свою и вопрошает* («Письма русского путешественника») и т. д.

Выше уже говорилось о принципиальном отличии этих двух стилистических категорий: высокое требует мотивированности содержанием, образами, иногда традиционно жанром; поэтическое в принципе применимо к любому содержанию и возможно в любом жанре; поэтичность изображаемого определяется в первую очередь субъективным авторским отношением, восприятием действительности. Естественно, что возможности и частота употреб-

ления этих двух групп лексики совершенно различны в «карамзинской литературе».

Тематическая ограниченность высокой лексики оказывается намного более заметной, чем лексики поэтической. Это хорошо видно и в тех текстах, где риторическая и сентиментально-поэтическая тональности сменяют одна другую, например, в элегии «Ночь», в «Деревне» и других произведениях. В отрывке «Невинность» олицетворенный образ невинности дается в поэтических тонах: «веселие сияет в очах ее»; «неувядаемые розы и лилии цветут на ее ланитах»; «резвые зефиры. . . распущенными власами ее играют» и т. д.; но ср. далее уже упоминавшиеся: «когда человек, в гибельный час заблуждения восхотел быть мудрее природы»; «оку смертного». Обращение поэта к «любезной Аглае» в отрывке «Новый год» выдержано в чувствительном элегическом тоне: «напечатлеть огненный поцелуй на устах твоих»; «белый флер [266] подымается на груди твоей»; «пушистая зима осыпала снегами своими хладную землю»; «сладкогласный соловей. . . воспоет тебе нежную утешительную песнь»; «мысль о душе воссияет в душе твоей» и др. В первоначальной редакции («Московский журнал», ч. V, кн. 1) этот отрывок начинался и завершался фразой: «Гряди, юный сын вечности, гряди к нам с миром», которая звучала высоко и риторично, находилась в противоречии с тоном, характером произведения; уже в «Моих безделках» эта фраза отсутствует. В «Сценах из Саконталы» речь пустынника и некоторых других героев звучит высоко, торжественно, а речь девушек — Саконталы и ее подруг — проще, хотя и несколько искусственно; поэтому закономерно выглядит замена первоначального «*возрастила* сии растения» в речи одной из девушек на *воспитала* (ср. текст «Московского журнала» и «Пантеона иностранной словесности»); того же характера и упоминавшиеся уже отчасти ранее устранение высокого *выя* в «Письмах русского путешественника», замена *с покровенной головой* на *покрытой* во «Фроле Силине», *беловласый юноша* на *милый* в «Наталье, боярской дочери».

Применение слов собственно высоких, таким образом, изолируется в новой литературе в очень узких тематических и экспрессивных рамках [267]. Употребление такого слова в нейтральном

---

[266] *Флер* — одно из любимейших слов Карамзина.

[267] Карамзина называли «патетическим» писателем; но под этим определением понималась именно поэтичность слога, его чувствительность — и в этом смысле он противопоставляется слогу высокому, «громкому», риторическому; так еще у Тредьяковского, который переводил слово *pathétique* через *сладостное* и *умилительное*, *пристрастное* (см.: В. В. Виноградов. Очерки. . ., стр. 151). П. Шаликов писал в своей статье «О слоге г-на Карамзина»: «Почти ни в одном сочинении не находим сей трогательной, неизъяснимой, очаровательной прелести слога, называемого патетическим, прелести, которая царствует в сочинениях г-на Карамзина!» («Аглая», 1808, ч. II, кн. 2). Так же определяется *патетический* в «Корифее» Галин-

окружении должно найти конкретное объяснение — обычно в обязательной или широко распространенной прикрепленности слова к данному предмету. Для поэтического слова такое объяснение не требуется; но это слово всегда заставляет нас определенным образом воспринимать окружающее. «Воссияло солнце» — это выражение мы встретили не только в отрывке «Наводнение», выдержанном целиком в поэтической тональности, но, например, и в «Бедной Лизе»: «Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил ее — она упала — стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее и наконец скрылся — воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти». См. еще: «солнце наук воссияло» («Мелодор к Филалету») и др.

Олицетворенный образ невинности рисуется при помощи таких слов, как *ланиты*, *чело*, *власы*, *очи*, а образ красавицы, которую встретил «русский путешественник», — при помощи слов *щеки*, *губы*, *глаза*. Но это не значит, что поэтические слова принципиально неприменимы к изображению «земной», реальной женщины: «магазин пиитических уподоблений красоты» был достаточно богат. Естественно, что *хладная вечность* или *хладная дружба* или даже *хладная могила* обычней в поэтической прозе, чем *хладный мрамор* или *хладная земля*: первое представляет уже само по себе поэтический образ; но принципиально возможно и второе (см., например, в монологе «Ночь»). *Златой луч надежды* или *златую осень* легче встретить, чем *златой* применительно к конкретным предметам, но и это не исключается. Иное дело, что такого рода случаи связаны с опасностью перейти на высокий слог — особенно в прозе; поэтому здесь проявляется большая осторожность (см., например, в «Наталье, боярской дочери» изменение первоначального *светлее нежели на злате* — в *на золоте*). Вообще принципиальная возможность употребления поэтического слова в любом описании не означает, что такая возможность — в прозе особенно — практически легко реализуется.

ковского — в изложении «Оснований словесности» (Elements de Litterature) Мармонтеля: «Pathétique — патетический, страстный, нежный, умильный, привлекающий, трогающий, чувствительный» («Корифей», 1803, ч. I, кн. 2; ср. здесь же объяснение слова sublime — «высокость, выспренность, говорится о предметах великих, когда чувства и мысли воспаряют до возможной дальности»).

Но см. совершенно иное, прямо противоположное понимание этого слова Белинским в 1845 г. В ответ на слова «Северный Пчелы» о школе Гоголя, «которая стыдится чувствительного, патетического», Белинский замечает: «Что эта школа стыдится чувствительного — правда, потому что чувствительное или сантиментальное теперь — то же, что пошлое. . . Но чтобы основанная Гоголем школа стыдилась патетического, это решительно ложь. Где больше патетического, как не в сочинениях Гоголя: „Тарас Бульба“, „Старосветские помещики“, „Невский проспект“ и „Шинель“?» («„Северная Пчела“ — защитница правды и чистоты русского языка». Полн. собр. соч., т. IX, стр. 375).

Надо еще иметь в виду, что субъективный характер сентименталистской поэтики принимает на деле форму чрезвычайно условную: в «карамзинской» литературе вырабатывается некоторый штамп, определяются типичные образы, картины, ситуации, чувства, которые рассматриваются как поэтические, вырабатывается своя условная поэтическая фразеология [268].

Более подробное рассмотрение условий и приемов употребления поэтической лексики у Карамзина завело бы нас в область исследования самой поэтики «карамзинизма», что не входит в задачи настоящей работы. Важно лишь подчеркнуть, что в творчестве Карамзина и его «школы» произошла изоляция собственно традиционно-высокой лексики и формирование принципиально новой, связанной с новой стилистической системой литературного языка категории — поэтической лексики.

§ 45. Итак, лексика, восходящая к традициям высокого стиля, употребительная в прозе Карамзина, характеризуется относительной ограниченностью своего состава, более строгой, чем ранее, стилистической мотивированностью, внутренней дифференцированностью. В этом легко убедиться, если сопоставить даже самые «высокие» тексты Карамзина 90-х годов с теми, которые приводились ранее, при рассмотрении предшествующего, «докарамзинского» этапа в развитии литературного языка и языка художественной литературы. Но показательными оказываются сопоставления даже с произведениями, по своему характеру близкими новой литературе, в том числе и помещенными в «Московском журнале». Таков, например, переведенный с польского «Праздник старца», представляющий собой монолог старца, сидящего у порога своего жилища. Переводчиком был Ф. П. Ключарев, московский почт-директор, масон, автор сочинений разного рода, высоко ценимый Карамзиным [269]. Вот образцы языка этого перевода (приведу лишь отдельные фразы или части фраз):

«Предвестница златого солнца, розовая заря уже коснулась багряными отражениями света своего окон моего жилища»; «взираю сквозь младые ветви зелеными листами обильных орешин»; «утро, возбудившее тебя от тонкого сна твоего»; «все твари восстают от глухого сна»; «мне кажется, что и мои седины младеют»; «Жезл мой, верная подпора старости моей! препроводи меня»; «Леса, горы, поля, необъемлемые оком! сколь дивным позорищем питаете вы мысль мою»; «все сие есть глас счастия, глас благодарности»; «пастырь на холме»; «сия радость сердечная, которую едва может выражать претыкающийся язык»; «сии потоки слез, лию-

[268] См., например, несколько неожиданное в рецензии на «Эмилию Галотти»: «И хладное железо пронзает Эмилиину грудь, и Эмилия издыхает в объятиях убийцы» («Московский журнал», ч. I, кн. 1).

[269] В первом издании «Московского журнала» перевод подписан буквой Р.; во втором издании Карамзин раскрыл имя переводчика, поставив под переводом подпись: Ф. Ключ.

щиеся на лоно мое»; «знаю колико суть слабы»; «излейтесь очи мои»; «Прожил я толико лет, коих воспоминание приятно. Колико дней, толико утех»; «таким тучам, которые, будучи несомы вихрями, скоро упражняются от громов и молний своих»; «никогда жестокий мраз не погублял прививков моих и летораслей»; «Никогда язва не заражала дойных крав моих. Никогда терзатель волк, палимый жаром алчбы, не влезал в хлевы мои, и не губил тучных овец моих»; «Препровождая одного из них [детей своих] за слабую младенческую руку, научал я его безопасно утверждать стопы свои. И в то же время другой легким махом вспрыгивал на мои колени, и с усмешкою утешал меня своим немотствованием»; «о младые отрасли мои!» (о детях); «возрасли и принесли неложный плод»; «теперь когда они расширили рамена свои. . .»; «ты пресекла постоянное течение непрерываемых радостей, сокрывшись на века от очей моих» (об умершей жене); «Помню, ах! помню, когда при последнем издыхании положила ты голову на лоно мое, когда я дрожащею рукою смежал очи твои и умирал купно с тобою. Уже двенадцатая весна прошла по сем приключении»; «сокрушенная старостию ладья моя станет при бреге»; «младый может, а старый непременно должен умереть»; «Сия мягкая волна власов, сей блеск млековидной брады»; «един приял богатства, другой славное имя получил со здравием»; «Ветерок, легкий, здесь пролетающий ветерок! ты одни растения колеблешь, другие лобызаешь: не презри сей седой брады, и чрез приятное свое дыхание дай ей целование свое, паче меда сладкое»; «соберу окрест себя своих детей у прага жилища моего»; «сединами покрытое чело мое»; «воспоем песнь благодарности; «вкусим жертвы и испием старого вина»; «сие изрекши, старец возвратился в дом, возбудить на общий праздник еще спящих детей своих» [270].

Бесспорно, что подавляющее большинство употребленных здесь славянизмов могло бы встретиться и встречается у Карамзина в произведениях того типа, о котором шла выше речь. В то же время некоторые из этих слов, по-видимому, чужды Карамзину, особенно в прозе, отражая отчасти иное понимание самой литературной нормы, а отчасти иную степень использования высокой лексики. Так, вызывают сомнение слова *алчба*, *младеть*, *кравы*, *претыкающийся* язык [271], *колико* и *толико* (последнее, впрочем, в единичных случаях встречается у Карамзина, например, в «Галилеевом сновидении», в переводе из Оссиана), *излиться*, *упражняться* (в значении «опорожняться», «освобождаться»: «тучи упражняются от громов и молний своих»), *леторасли*, *терзатель*,

[270] «Московский журнал», ч. III, кн. 3.

[271] *Претыкание*, впрочем, встретилось и у Карамзина, например в «Письмах русского путешественника»: *претыкание бурь* (о дубе; «Московский журнал», ч. I, кн. 2, стр. 184), а также и в его публицистике. У многих авторов встречается выражение *камень претыкания*.

немотствование, неложный плод [272], *приключение* (в значении «событие, то, что приключилось»), *млековидная брада, паче, окрест себя, сие изрекши*. Далее, обратим здесь внимание на прямое употребление слов *возбудить* (пробудить), *лоно* (например: «сии потоки слез, лиющихся на лоно мое», «положила ты голову на лоно мое»), *утверждать* стопы свои, *праг*; совсем не по-карамзински звучит «пресекла постоянное течение непрерывных радостей», «чрез приятное свое дыхание дай ей целование свое» и др. Но дело не только в том, что здесь есть слова, чуждые Карамзину или редкие у него. Самая концентрация высокой лексики, ощущение ее заданности для всего текста независимо от конкретных условий (см., например: «сия мягкая волна власов, сей блеск млековидной брады» — о внешности самого говорящего) — все это отличает перевод Ключарева от произведений Карамзина. Характерно и то, что заключительная фраза, не входящая в монолог старца, не отличается по языку от этого монолога (*сие изрекши, возбудить детей*).

Даже в явно написанных под карамзинским влиянием и принадлежащих к тому же жанру элегий в прозе «Нравственном удовольствии» и «Мыслях в день моего рождения» В. Подшивалова («Московский журнал», ч. I, кн. 3) внимательный читатель почувствует иную, чем у Карамзина, степень употребительности и, так сказать, степень органичности этой лексики для данного содержания, хотя самый ее состав в общем в пределах карамзинского «высокого» и поэтического языка: *глас всемогущего, вещает глас добродетели, вкусить нектар удовольствия, воздымает грудь героя, почто, радостно объемлю, гряди, любезный день, милости, тобою на него излиянные, чело мое помрачится злобою, алчущим бессмертной пищи, резвясь как агнец, всемощный гром твой, там зрю я юношу* и др. под. Останавливают внимание такие выражения и фразы, как «глас всемогущего, хотящего, да человек, совершеннейшее из его творений, будет добродетелен»; «предмет непорочных его побуждений есть для него купно и ревностный, проницательный, скромный друг»; «основание всякого неложного блаженства»; «Природа, чадолюбивая мать и наставница, удостой благоприятного воззрения лепетание твоего младенца»; слово *сопряг*, дважды примененное в «Нравственном удовольствии», как уже отмечалось, заменено было во 2-м издании «Московского журнала» словом *соединил*.

Резче ощущается отличие от карамзинской нормы в переведенной Павлом Львовым «Фиалке» — произведении, относящемся к тому же жанру элегий в прозе («Московский журнал», ч. VI, кн. 3). См. здесь, например, наряду с такими словами и выражениями, как *дщерь весны; младая пастушка; орошать его бледные ланиты; нисходить; благотворною десницею; надменную*

[272] См. Словарь АР: *неложный* — «истинный, справедливый».

главу, — и такие, как *преклонщийся к земле примечатель едва обретает тебя в густом злаке*; *растений, вокруг корня ее прозябающих*; *дуновением любострастных зефиров*; *токмо*; *коликократ*; *нисходяща яко ангела мироносна*; *драгие добродетели*; *слезами Авроры воспоенная, паки расцветшая фиалка*; *живое и неложное изображение мужа смиренномудрого*. В другой прозаической элегии — присланном «неизвестной особой» и опубликованном в части I «Московского журнала» (кн. 3) переводе из Гердера «Лилия и Роза», где почти нет высокой и поэтической лексики (см., например: *дочери* земли; Венера *сказала*; нежными *пальцами*; в *холодной* траве; ср.: *дщери, вещала, перстами, хладной*), найдем: *толь многообразно; успех толь счастливый*; *тщетно-томящимся оком*; *многоразличными образами*, и др.

§ 46. Карамзинские принципы употребления высокой и поэтической лексики, их новаторский характер хорошо видны при сравнении принадлежащих Карамзину переводов из Оссиана с предшествующими переводами оссиановских поэм.

В статье «Оссиан», опубликованной в «Пантеоне иностранной словесности» [273], Карамзин говорит об этих поэмах как об элегиях, которые «трогают душу и настроивают на меланхолию». «Неудивительно, — говорит он, — что нежные, чувствительные сердца пленились такими печальными гимнами». Таким образом, по своему характеру эти произведения представляются Карамзину ближе к «чувствительной» элегической литературе, чем к высокой, эпической. К тому же в этих поэмах, говорит он, «нет идеи о религии» — и это тоже не дает возможности причислять их к высоким жанрам. В то же время, однако, здесь есть и описание «геройства», и эта «смесь геройства с нежными сценами, всегдашний переход от сражений к любви, от любви к сражениям» составляет, по мнению Карамзина, своеобразие оссиановских поэм.

Язык карамзинских переводов из Оссиана («Картон» — «Московский журнал», ч. II, кн. 2; «Сельмские песни» — там же, ч. III, кн. 2) соответствует такому именно пониманию характера этих произведений. Здесь широко представлены поэтические слова, типичные и для рассмотренных выше карамзинских элегий в прозе: *глава, златой, злато, древо, власы, глас, вран, млад, брег, огнь, хладный, дева, ветр* [274], *очи, врата* («при вратах запада»), *светило, струи* («клужские струи приняли мрачнотрудный корабль мой»; «я бросился в струи Клуты»). К ним примыкают и такие довольно распространенные, как мы видели, в «поэтических» произведениях Карамзина слова, как *воссиять* и *воссияние* («солнце воссияло над океаном», «радость воссияла» и др.), *зреть, взирать, ниспускаться*

---

[273] «Пантеон иностранной словесности», 1798, кн. 1, стр. 200—201.

[274] Впрочем, слово *ветр*, как уже говорилось, все еще находилось на грани нейтральной лексики; так, оно употреблено и в предисловии переводчика к поэме «Картон», вообще написанном совершенно просто.

(о ночи), *воздыхать*. Но наряду с ними в некоторых местах, именно там, где в повествовании господствует не «нежность», а «геройства», встречаем слова, сближающиеся с лексикой высокого стиля. Случаи эти очень немногочисленны и охватывают, как правило, слова, хотя и несущие экспрессию приподнятости, но далекие от крайностей высокого слога: это слова *почто* (встречается несколько раз и относится к наиболее устойчивым элементам карамзинской прозы «высшего настроения» — по определению Я. К. Грота), *приять*, *ответствовать*, *вопросить*, *восстать* (в значении «встать»: «восстали вокруг герои»), *воспеть* (в значении «запеть»: «воспел песнь мира»), *препоясать* меч, *провождать*, *возлюбить*, *возложить* узы, *непокровенный*, *могущий*.

Надо заметить, что у некоторых из этих слов, таких, например, как *вопросить*, *ответствовать*, *приять*, — стилистическая выразительность была ослаблена, многие вообще употребляли их нейтрально или, в крайнем случае, как слова общекнижного языка. Вызывает также сомнение слово *могущий*. Можно предполагать, что оно в конце XVIII—начале XIX в. не было словом высоким; ср. закрепившееся в языке *могущественный*. Наиболее «высокими» из встретившихся в оссиановских поэмах слов надо признать: довольно частое у Карамзина *един* (например, в «Сельмских песнях»: «Осталась Кольма едина на холме, едина с своею песнию»; «ходит она всегда едина»; «едина на холме сидела»; «оставила тебя единого»; «един от царей могущих»; «шествуешь едина» и проч.), единичные *вещать* — при большом количестве случаев употребления *говорить*, *сказать*; *течь* (в значении «бежать, двигаться») и производные *востечь*, *течение* (например.: «видел героя текущего», «сразил воина посреди его течения»); *шествовать* и *шествие*; *двигнуться* («двигнулся в громе своего оружия»); *дщерь* (при преобладании *дочь*, см. ниже), *чадо*; сюда же можно отнести и менее яркие *престать*, *стрежет*. Выделяются совсем архаические *возглавие* в значении «подушка, изголовие» («их [мертвецов] пыльное возглавие») и *седалище* в значении «сидение» («наклонились вперед от седалищ своих внимать гласу цареву» [275]; но, очевидно, эти слова можно отнести к числу тех немногочисленных элементов сознательной стилизации, которые встречаются в этом переводе Карамзина [276]; к этим стилизующим средствам можно отнести и такие сложные слова, как *мрачноволнистое* и *мрачносинее* море, *мрачногрудый* корабль, *красновласый* Фингал, выражение *око гордости* и некоторые другие.

---

[275] Тредьяковский, как известно, считал такое употребление этого слова ошибочным («Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном . . .». — В кн.: А. К у н и к. Сборник материалов для истории имп. Академии наук в XVIII веке, ч. II. СПб., 1865, стр. 479).

[276] В предисловии к переводу песен о Картоне («Московский журнал», ч. II, кн. 2) Карамзин писал: «Я старался, сколько можно, удержать в переводе оригинальность Оссианова языка».

Как видим, славянизмы разного рода встречаются в этом переводе Карамзина довольно часто, причем это не только поэтизмы типа *младой* или *златой*. Но чтобы понять, как далек здесь Карамзин от традиций такого рода литературы, насколько умеренно (и по составу и по степени концентрации) выглядит в переводе Карамзина «славенский» элемент и насколько устойчивы здесь те черты и нормы «нового слога», которые мы обнаруживаем в его «средней» прозе, — для этого достаточно сопоставить эти переводы Карамзина с другими переводами тех же произведений.

Песни Оссиана переводили и до Карамзина, и почти одновременно с ним. Так, в 1788 г. вышел перевод некоторых песен, осуществленный А. И. Дмитриевым, братом знаменитого поэта [277]; в 1792 г. опубликован обширный, в двух томах, перевод Е. Кострова [278].

Вот некоторые образцы перевода А. Дмитриева: «Еленица. . . вдруг подъемлет свою голову и приложа уши, окрест себя озирается; потом уверясь в безопасности, паки голову свою уклоняет»; «Путник. . . страшится, чтоб не препнули пути его горы или блаты, трепещет, воображая нощные привидения»; «древа, соударяясь, с ужасным треском лопаются»; «Слышишь ли ты вопль? Се он кончает жизнь»; «Ловец в уединенной хижине вдруг отрясает сон от веждей своих; он возжигает последние искры утушающего жару на очаге своем»; «хижина опровержена»; «старец хощет осязати их своими руками, и радость разливается по челу его»; «сделаем приятным остаток нощи, дондеже заря не осветит наших чертогов»; «нахожу его седяща посреде оружий»; «сыне мой, он рек, и тяжкий вздох восколебал его перси»; «колеблющимися стопами я протекал мое жилище»; «бывшу клевретом ему в сражениях»; «празднество паки начинается»; «из сражений исходил я победителем»; «он не обратил плещ своих неприятелю»; «грядущего к нам косвенными стопами»; «оба ее узрели и влюбились»; «ниспошли меня во гроб» (т. е. убей меня. — *В. Л.*); «коего меч блистал в сражениях, яко молния»; «протекайте надо мною, печальные годы, и поелику не приносите вы мне ни радости ни утешения, то отверзите мне скорее гробницу» (в переводе Кострова здесь: «и когда уже не изливаете вы радости в мое сердце, пусть отверзется гроб»); «зрит он изменника, утекающего по брегу»; «яко дыхание зефира исчезает в листвиях древесных» (ср. у Кострова: «как дыхание зефира, умирающего в листвиях»); «се родитель Мораров» и т. д.

Легко заметить, что здесь вполне традиционно не только понимание границ высокого стиля (см., например., еще: *во бранех*,

---

[277] «Поэмы древних бардов». Перев. А. Д., СПб., 1788.

[278] «Оссиан, сын Фингалов. . .» Перев. с франц. Е. Кострова. М., 1792, (изд. 2 — СПб., 1818).

противостати), но отчасти и представление о норме книжной речи вообще. «Славенские» слова могут, как мы это видели и в других случаях, находиться здесь в «спокойном» повествовании или диалоге, см., например: «Он хощет обольстить ее вымыслом» (здесь: «обмануть, не сказав причины своего беспокойства». — *В. Л.*); «Я недоволен собой, вещает ей, тамо подле источника я повесил на древе щит храброго Гомара, убиенного мною» и т. д. Или еще пример: «Армин, рек ему Алпин, почто сей тяжкий вздох. Возмогут ли песни мои толико тронуть твою чувствительность. Я хотел гласом моим токмо влиять нежную томность в твою душу» и др. Костров не только в тексте песен, но и в своем «Предуведомлении» свободно употребляет книжно-архаические и «приказные» слова, например: «толь долгое время не радили ископать сокровище, сокрытое природою в их отечестве»; «почести . . . учинили наконец общество сие весьма многочисленным»; «учинилось жестоким бичом общества»; «для разумения некоторых темных мест, сретающихся в Оссиане»; «изъяснение имен, сретающихся в Оссиановых поэмах»; «в его поэмах повсюду сретаются нам приятности» (в двух последних примерах *сретающихся* и *сретаются* заменены во втором издании 1818 г. на *встречающихся* и *встречаются*); «мерное стопосложение и согласие способствуют впечатлению его повествований в мысли и понятия слушателей» (здесь заслуживает внимания и архаическое употребление слова *согласие* как «созвучие» и *впечатление* во что-н. как имя действия); «не дерзнул подъять их [руки] на барда» и т. д. В самих песнях встретим *тысяща*, *тако*, *тамо*, *убо*, *коль*, *толико*, *рещи*, *востекший*, *ратоборец*, *елень*, *зане*, *возъемлется* и т. д. Надо тем не менее заметить, что оба перевода, особенно перевод Кострова, нельзя считать чрезмерно архаичными для своего времени, они довольно чисты, в них мало элементов тяжелого, приказного слога. Что касается перевода Кострова, то он обладает и большими художественными достоинствами, напоминая временами слог лучших представителей поэзии начала XIX в. Относительная умеренность архаических элементов у Кострова легко обнаруживается, если сравнить один и тот же отрывок в его переводе и в переводе И. Захарова, напечатанном в июле 1792 г. в журнале «Зритель»: «при них» у Кострова соответствует «с ними вкупе» у Захарова; «это Фортуна» — «сие Фортуна»; «убегает» — «вдалась бегству»; «ветры не дозволяют кораблям твоим пристать к желанному брегу Эты» — «ветры отрицают кораблям твоим этский вожделенный брег»; «видимые тобою горы» — «зримые тобою»; «посреди» — «посреде»; «холмы возвысились в приближение своего владыки» — «холмы подъяли чела свои. . . сретая царя их приближение» и т. д.

И все же и перевод Кострова и, тем более, перевод А. Дмитриева принадлежат по своей лексике, так сказать, «докарамзинскому» периоду. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить

переводы одних и тех же песен у разных авторов. «Картон» переводили Карамзин и Костров, а «Сельмские песни» (под другим названием) представлены также у А. Дмитриева. Встречающийся у Оссиана зачин к некоторым песням звучит у Кострова так: «Случаи времен претекших [279], деяния преждебывших героев»; Карамзин переводит: «Повесть времен старых, дела минувших лет»; в другом месте вместо «преждебывшие герои» — у Карамзина «герои древности»; фразы с наречием *тако* у Кострова («тако пели Барды», «тако пел Фингал», «тако вещал Фингал», «тако говорил Картон» и т. д.) у Карамзина последовательно строятся со словами *таков был* («таковы были слова бардов», «такова была песнь Фингалова», «таковы были слова царевы», «таковы были слова его» и т. д.). См. еще у Кострова: «буря не тако ужасна как ты» — и у Карамзина: «гнев твой был буря». Обычным у Кострова и А. Дмитриева *рещи* (*рек*, *рекла* и т. д.) и *вещать* как вводящим словам в прямой речи у Карамзина, как правило, соответствует *сказать*, *говорить* (например: «рек Фингал» — «сказал красновласый Фингал» и др. под.); вместо *ответствовать* у Карамзина также чаще *сказать*, *отвечать*, *возразить*. Из других наиболее последовательно проводимых соответствий [280] можно назвать: *тамо — там* (например: «тамо Армар ожидает любезную свою Дауру» — «там Армар ожидал Дауры»), *тысяща — тысяча* (например: «окружен тысящию своих сильных» — «окруженный своими тысячами»; «возжигаются тысяща светильников» — «тысячи светильников. . . засветились»; «тени врагов наших носятся тысящами» — «духи врагов наших носятся тысячами» и др.; надо еще заметить, что во втором издании перевода Кострова *тамо* и *тысяща* во многих случаях исправлено на *там* и *тысяча*); *дщерь — дочь* (например: «ты не лишился любезной дщери» [«не лишился дщери» и у А. Дмитриева] — «не потерял дочери прекрасной»); *десница — рука* («блистать в моей деснице» — «сверкать в моей руке» [о мече]; «десница моя знаменита во бранех» — «билась в битвах рука моя»; «слаба десница его» — «слаба рука его»; «десница моя крепка» — «рука моя сражала воинов»; см. также: «тяжелое копие не для моей уже десницы» — «не могу поднять копья тяжелого»; см. также в переводе Дмитриева: «Они не ощутили ослабления победной своей десницы» и др.); *чуждый — чужой* (например: «из земли чуждых» — «из чужой земли»). Костров постоянно употребляет слово *сопостаты*, Карамзин — только *враги*; нет в переводе Карамзина обычного для Кострова и А. Дмитриева *усмотреть* в значении «увидеть» (ср., например, «один Фингал усмотрел грозное сие чудовище» — «видел сие видение»; «наших ратоборцев усматриваю я лежащих на сем поле» —

---

[279] Во втором издании *претекших* изменено на *протекших*.

[280] Ниже сопоставляются переводы Кострова и Карамзина; особо оговариваются примеры из перевода А. Дмитриева.

«кто лежит там в кустарнике»). В переводе Кострова *усмехаться* и *усмешка* употребляются, как это нередко встречается в литературе XVIII и начала XIX в., в значении «улыбаться», «улыбка» без всякого оценочного момента; так, например, в обращении к солнцу: «Ты с нежною усмешкою преклоняешься на края горизонта» (ср. у Карамзина: «Ты улыбаешься и заходишь»), о море: «царствует усмешка» и «улыбалось». Вместо искусственного *звероловец* («охотник», «зверолов») Карамзин постоянно употребляет в этом переводе *ловец* (см. особенно «указуют оку звероловца» и «указывают ловцу», где обращает на себя внимание и *око*, и *указуют*). Костров употребляет слово *вина* в значении «причина»: «вина моего сетования справедлива»; ср. у Карамзина «не мала причина скорби моей» [281].

Приведу еще несколько сопоставлений из переводов Кострова и Карамзина: «почто так долго не зрим тебя в Сельме» — «почто не был так давно на Сельме»; «поле брани тебя уже не узрит» (*узрит* здесь и у А. Дмитриева) — «поле уже не увидит тебя»; «стрегущего сие место» — «там стоящего»; «на лице его не зрятся уже свирепые черты брани» — «лицо его после битв успокоилось»; «пиршество уготовано» — «пир начинается»; «провождает он жизнь свою» — «проводит он дни свои»; «от браней своей младости» — «в битвах его юности»; «три дня пребыл я в чертогах Рютамира» — «три дня пробыл я в Рьютамировых чертогах»; «очи мои занимались прелестями его дщери» — «и видел дочь его»; «толико дерзостен» — «так дерзостен»; «тебя толико страшного» — «был столь велик» (у А. Дмитриева: «тебя бывша толико великим»; (*толико*, впрочем, один раз встречается и в переводе Карамзина: «толико славный»); «престань говорить» — «не говори более»; «брега Клуты возгремели его падением» — «брега Клуты услышали его падение»; «я противоборствую, но сыни чуждые преодолели» — «мы сражались — иноплеменные одолели»; «прешли лета отрочества» — «прошли лета моего юношества»; «чада Морвена» — «сыны Морвенские»; (см. еще: «чадо согласий музикийских» — «сын песни»); «шествует Фингал» — «пошел герой»; «зане славою нашего имени исполнена вселенная» — «ибо имена наши слышны в странах отдаленных»; «коль много. . . пали» — «многие пали»; «ныне коль тесно и мрачно твое жилище» (так же у А. Дмитриева) — «темно теперь жилище твое»; «гряди к бессильным» — «иди к слабым в оружии»; «возвысь копие» — «устремляй копие»; «теку с холма» — «устремлюсь»; «воздвигся» — «восстал» (в другом месте «двигнулся»); «Картон воспящал копию своему поражать старца» — «уклонял копие свое»; «океан возъемлется и упадает» — «прибывает и убывает»; «веселися убо, о солнце» — «веселись же, о солнце» (также: «для чего убо толикая мрачная печаль» — «почто печален ты?»); «воссяду одна с моею грустию» — «сижу

[281] О слове *вина* см. выше, стр. 158, 164

в горести»; «воссядет на гробе твоем и восплачет» — «сетующий будет сидеть на твоей могиле» (у А. Дмитриева — «воссядет на твою гробницу»); «волны радостно стекаются окрест тебя» — «волны с радостью окружают тебя»; «Уллин исшел с своею арфою» — «Уллин пришел с арфою»; «я коснулся арфы купно с Уллином» — «я играл на арфе с Уллином»; «псов, которые бы предтекли ему» — «не бегут перед ним псы его»; «твой лук пребудет ненапряжен в твоих чертогах» — «лук твой будет лежать в чертогах твоих ненатянутый»; «как елень посреди серн» — «подобно оленю среди стада»; «равен был еленю холма» — «подобно серне пустыни»; «пусть отверзется гроб» — «откройте гроб»; «цветут отрасли твоего племени» — «цветут ветви дому твоего»; «когда возбудишься ты» — «пробудишься»; «нисходит» — «пришел»; «корыстями ловитвы» — «добычею ловли» (у А. Дмитриева — «корыстьми счастливой ловитвы»); «Армир притек» — «пришел»; «вожди текли с холма» — «приходили»; «восстаньте, осенние ветры, воздвигнитесь, дохните» (у А. Дмитриева: «восстаните, ветры осенние») — «бушуйте. . . шумите» и др. Нет у Карамзина «снискать любовь Дауры», как у А. Дмитриева и Кострова; вместо «он обременяет ветры своим воплем и стенаниями» (у Кострова) или «обременяет ветры свирепым его рыканием» (у А. Дмитриева) Карамзин переводит: «стенаниями наполнял он воздух». Любопытно еще следующее сопоставление: «Луна! . . . то скройся, то паки представь нашему взору унылый твой образ» (А. Дмитриев) — «являй попременно задумчивое и бледное чело твое» (Костров) — «являй многократно лицо твое» (Карамзин).

Можно привести и такие примеры, когда эти стилистические различия представлены особенно концентрированно; такие случаи, естественно, еще более показательны. Вот несколько таких примеров: «Он повелел бардам воспеть и вдруг тысяща гласов возвысилась» — «велит, и громкие гласы раздаются»; «возжигаются тысяща светильников, отъятых Фингалом у иноплеменных» — «тысячи светильников из чужой земли засветились среди народа»; «повеждь нам, вещает Фингал, случаи твоей младости» — «расскажи нам, сказал могущественный Фингал, расскажи повесть юношеских дней твоих» (ср. здесь: *повеждь — расскажи, вещает — сказал, младости — юношеских дней*); «как страшный облак, предтекущий целой связи облаков, отягченных огнями небесными» — «подобно облаку пред огнями воздушными»; «Гряди, Уллин, рек Фингал, гряди к сему иноплеменнику и вещай ему словеса мира. Скажи, что мы страшны в бранех, что тени врагов наших носятся тысящами» — «Поди с песнию мира, сказал Фингал, поди, Уллин. . . Поведай ему, что мы в битвах крепки и что духи врагов наших носятся тысячами» (ср.: *гряди — поди, рек — сказал, в бранех — в битвах, тысящами — тысячами, вещает словеса мира — с песнию мира*); «во едино из сих торжеств зрели мы нежную Минону, грядущую в полном сиянии преслети

своей» — «выступала Минона в красоте своей»; «восстань луна, изыди из горных недр» — «явись месяц»; «когда ночь востечет на холм, я пренесусь на крилах ветров» — «когда ночь сойдет на холм. . ., тогда дух мой будет носиться в ветре».

Особо можно было бы указать те различия, которые связаны с пониманием стиля произведения в более узком смысле этого слова. Высокий слог, принятый Костровым в его переводе, допускал любой архаизм, который мог бы встретиться в оде, поэме, трагедии. В этом выражалась, так сказать, абстрактность и безликость выбранного поэтом слога. Для Карамзина язык и слог более тесно связаны с характером произведения, они требуют большей конкретности и индивидуальности. Карамзин не мог бы, подобно Кострову, написать в Оссиановской поэме *сопостаты*, *сотрудники* (ср.: «Я вижу бардов, моих сотрудников» — у Карамзина: «Я вижу умерших друзей моих»). Это слова из лексикона других произведений, с другой тематикой. Точно так же «очи мои занимались прелестями его дщери» не могло быть приемлемо для Карамзина: «очи занимались прелестями» не годилось для данного произведения, хотя выражение это «карамзинское». Не случайно, возможно, и такое соответствие, как *зефиры* у Кострова и *ветерок* у Карамзина («подобно веселым зефирам» — «подобно ветеркам весенним», «при дыхании зефира» — «в дыхании ветерка»; см. также: «как дыхание зефира», у А. Дмитриева даже «яко дыхание зефира»), хотя вообще *зефиры* встречаются у Карамзина довольно часто. Еще более странно звучит в переводе Кострова слово *особа* в плаче Миноны над гробом брата и жениха («я хочу успокоиться с любезными мне особами» — у Карамзина: «здесь буду покоиться с друзьями моими»).

Стилистические отличия в лексике этих переводов очевидны, и каждая из приведенных выше параллелей достаточно выразительна. Но они не однородны. В переводах А. Дмитриева и Кострова есть такие слова, которые Карамзин не употреблял, так как они не соответствовали его представлению о нормах литературного языка вообще: никакие стилистические условия не могли бы их оправдать. Это, как мы видели, такие слова, как *тако*, *тамо*, *прейти* и *прешедший*, *зане*, *убо*, *яко*, *толико*, *воспящать*, *пребыть*, *претекший*, *исходить* (ср.: «исшел с арфою»), *корысти* (во множественном числе) и под. Естественно, что в переводе Карамзина им соответствуют другие слова (единичные и случайные примеры употребления некоторых таких слов, например, *коль* и *толико*, не меняют этого положения). Сличение переводов показывает и различное понимание не только нормы общелитературного языка, но и лексики «высокого» стиля. Но в некоторых случаях Карамзин избегает здесь и таких слов, которые, как это видно из ранее приведенного материала, вообще встречаются у него в это время, например: *тысяща*, *рещи* (*рече*, *реша* и т. д.), *грясти*, *востекать*, *возжечь*, *паки* и некоторые другие.

Но и эти отличия, особенно если иметь в виду, что многие из них проведены последовательно, не случайны. Они свидетельствуют о более строгом и ограниченном выборе условий и контекстов, в которых могут быть употреблены такие слова.

Большое значение для оценки различий в языке рассмотренных выше переводов имеет количественный момент. Тот факт, например, что во многих случаях слову *вещал* у Кострова соответствует у Карамзина *сказал* или *отвечал*, выразителен, несмотря на то, что и Карамзин в этом переводе дважды употребил *вещал*; точно так же то, что Карамзин систематически пишет *дочь* там, где Костров употребляет *дщерь*, более значимо и существенно для характеристики языка карамзинского перевода, чем тот единичный случай, где и у Карамзина — *дщерь*, хотя это и небезразлично, так как отграничивает такие слова, с одной стороны, от слов типа *тако*, *воспящать*, *зане* и т. д., а с другой стороны — от слов типа *глава*, *златой*, *власы*, *очи* и под., которые могут в определенных контекстах употребляться широко, свободно, с большой концентрированностью.

Но редкость употребления тех или иных слов в рассматриваемых переводах Карамзина может скрывать за собой и наличие тех дополнительных ограничений, дополнительных условий функционирования слова, о которых выше говорилось. Дело не только в том, что у Кострова *дщерь* встречается часто, а у Карамзина редко, но и в том, что у Карамзина слово это употреблено только в выражении «дщери морвенские» (т. е. морвенские девушки, девы); в тех же случаях, когда речь идет действительно о чьей-нибудь дочери, например, даже в патетическом рассказе Армина о гибели его дочери Дауры, — у Карамзина только *дочь*, а у Кострова только *дщерь*; ср. также: «Нет уже Моргланової дщери» — «пала дочь Морглана» и др.

Шествовать в переводе Карамзина — только в обращении к светилу: «шествуешь величественно по холму», «ты шествуешь едино»; но оссиановские герои, например Фингал, Уллин, *идут*, а не *шествуют*; у Кострова во всех этих случаях — *шествовать*. *Вещать* и *рещи* Костров, как уже отмечалось выше, свободно использует как вводящие прямую речь и при этом применительно ко всем героям; у Карамзина такое употребление *вещать* — только один раз, в подчеркнуто риторическом окружении: «Сыны морвенские — вещает царь. . .»; второй случай употребления этого глагола — «вещал речи мирные» — отличается уже тем, что глагол здесь не вводит чужую речь. Что касается *рещи*, то оно вообще ни разу не употреблено в этом переводе Карамзина.

В напечатанном Карамзиным в «Пантеоне иностранной словесности» (1798) небольшом переводе из так называемых «новых оссиановских поэм», собранных и опубликованных Смитом, архаических элементов еще меньше. Мы находим здесь несколько раз *глас* (например: «Барды воспели радость, и глас их отдался в долинах отдаленных», но: «мы внимали его тихому го-

лосу», сказал «слабым голосом»); *хлад* («укрылся от хлада ночного», «до зимнего хлада»), *власы* (и *волосы*), *млеко* («питался млеком стад своих» — в песне старца), *брег*, *брада*, *очи*, *возвеселиться* — и это все. В то же время в этом переводе видим такие места, как «дверь Фингалова всегда отворена» (ср. *отверзта*), «на бледных щеках», «мы встали» (ср. обычные в таких случаях *восстали*), *пришел*, *смотреть* (ср. *зреть*, *усматривать*), «бард поскользнулся и упал», постоянные *там* (ср. *тамо*) и др. Любопытно сравнить этот перевод с более полным переводом «Новых оссиановых поэм», вышедшим через двенадцать лет после карамзинского («Стихотворения эрские или ирландские», перевел с французского Семен Филатов, ч. 2. СПб., 1810). Здесь постоянны *нощь*, *звероловец*, *ловитва* (переводчик называет пса «юным любителем утомительныя ловитвы»), *злато*, *днесь*, *рещи*, *преяти*, *елень*, *зане*, *тамо*, *тако*, *толикий*, *яко*, *паки*, *сретать*, *се*, *виталище* и т. д. Вот некоторые примеры из этого перевода: «О, солнце, бреги лучи твои. . . Бреги убо о! солнце лучезарное, светильники, кои ты возжигаешь тысящами»; «тени вопия претекали кустарник»; «так, се вопль Огала, оставленна в челне»; «я мню зреть»; «Зде, кажется, вещает он (орел. — *В. Л.*), совью я гнездо»; «буря, рек Комгал, сугубит мрак нощи»; «рать его грядет во сретение»; «подобный черному еленю, предходящу Морвенску стаду»; «объемлюсь днесь смертным зраком»; «кто сия дщерь красоты, грядуща во сретение вождю»; «Где сей младый орле, рек наконец Фингал, где сей орле»; «он встретил тамо токмо юное чадо»; «сниди от места покоя твоего» и т. д. Даже в предпосыласмом каждой поэме изложении ее содержания, которое пишется обычно гораздо проще, спокойнее, чем сами поэмы, переводчик пишет «нощию», «она находит его изнемогша и тщится перевесть его в Стрюмолу, место жилища своего», «памяти Гаула, яко славнейшего из воинов его» и др.

§ 47. Мы говорили до сих пор о прозе Карамзина. В стихотворном его языке состав лексики, восходящей к традиции высокого слога, более обширен, «славенский» элемент там более значителен.

В то же время замечательно, что и в стихотворной речи 90-х годов в общем выдерживается норма общелитературного языка, которая нашла свое выражение в карамзинской прозе. Архаические, приказные, учено-схоластические элементы общекнижного языка, которые исключены из прозы Карамзина, признаются нежелательными и в стихах. Явные отклонения от этого принципа единичны. Так, в стихотворении «Кладбище» (1792) дважды встретилось совершенно необычное для Карамзина *тамо*: «Сырость со мглою, густо мешаясь, Плавают тамо в воздухе душном» и «Тамо струится в воздухе светлом Пар благовонный синих фиалок» [282]. Не может быть сомнения, что это отклонение от нормы, вызванное чисто версификационными условиями. Наречие *там* встречается в стихотворениях Карамзина десятки раз, в том числе трижды и в названном стихотворении. В стихотворении «Счастье истинно хранится. . .» (1787) — совершенно необычное для Карамзина *яко*: «Яко роза в жаркий день» [283]. *Толь* встречается, ка-

[282] Стихотворения Карамзина цитируются по изданию: «Сочинения Карамзина, т. 1. Стихотворения» (Пг., 1917). Здесь даны и имеющиеся в стихотворениях Карамзина разночтения в прижизненных изданиях.

[283] Это стихотворение при жизни Карамзина нигде не публиковалось; сохранилось лишь в рукописи — в письме к И. И. Дмитриеву.

жется, только в произведениях, написанных в 80-е годы: в переводе «Гимна» Томсона и в еще более раннем стихотворении «Поэзия» (1787), например: «Толь живо ощутил Величие творца» [284]. *Толико* употреблено однажды в стихотворении 1788 или 1789 г. «Анакреонтические стихи А. А. Петрову»: «Что Ньютонову душу Толико занимало» [285].

Надо заметить, что оба последних слова — *толь* и *толико* (или *толикий*) — принадлежали к тем из рассмотренных ранее служебных или вспомогательных слов, которые сохранились в литературном языке дольше большинства других: так, и у самого Карамзина *толикий* однажды встретилось в «Картоне», а *толь* несколько раз в «Историческом похвальном слове императрице Екатерине Второй» (см. ниже), хотя, бесспорно, их нейтральный синоним *столь* (или даже более разговорные *так*, *такой*) абсолютно преобладает как в прозе, так и в поэзии Карамзина, в том числе и в «высокой». Другие единичные отклонения от общелитературной нормы в стихотворениях Карамзина относятся к тем словам, которые стоят на грани общекнижных архаизмов и славянизмов высокого стиля, отражая, как это отмечалось и ранее для некоторых слов, колебания в этом отношении. Совершенно очевидно, что употребление этих слов в поэзии связано с ритмом стиха; не случайно это, как правило, слова, отличающиеся от своих синонимов количеством слогов, например: *пребыть* — «Доколе злоба, дщерь Тифона, Пребудет в мрак удалена От светлозолотого трона» (стихотворение «К милости») [286]; *возмочь* — «Какая песнь возможет славить ужасность гнева твоего» («Волга»), см. также в раннем стихотворении «Часто здесь в юдоли мрачной» (1787) — «сколь возможешь утешаться»; *брещись* — «любовию брежется» («К милости»). Выдержанность общелитературной нормы в стихах Карамзина удивительна [287]. Здесь трудно найти отличия между прозой и поэзией Карамзина.

---

[284] Второе из этих стихотворений, впрочем, напечатано впервые в 1792 г. («Московский журнал», ч. VII, кн. 3) и перепечатано в 1803 г. («Московский журнал», ч. VII, кн. 3, изд. 2). «Гимн» напечатан в «Детском чтении. . .» (1789) и его переизданиях (1803 и 1819 гг.). *Толь* сохранилось во всех этих изданиях. В прижизненные собрания сочинений Карамзина, а также и издание 1848 г. эти стихотворения не включались.

[285] Печаталось, как и «Гимн», только в «Детском чтении. . .».

[286] Надо, впрочем, заметить, что *пребудет* здесь соотнесено с *пребывать* (см. в Словаре АР: «находиться, обретаться, присутствовать где»), и это ставит его в особые отношения с *будет*, делает его менее архаичным, чем в свободных сочетаниях *пребыть кем или чем-нибудь*. Если это так, то замена в этом же стихотворении первоначального «Доколе милостью пребудешь» на «милостию будешь» оказывается стилистически значимой (если эта правка не связана с желанием освободиться от -*ью* в *милостью*).

[287] Ср. в его же пародических «Стихах от де Мазюра»: *хощу* (это, кажется, единственный пример у Карамзина; см., например, несколько раз *захочет* — а не *восхощет* и даже не *восхочет*), *коль*, *несть* (в значении «нет»), а также инфинитивы *сказати*, *похвалять*.

В то же время употребительность высокой лексики в стихах Карамзина шире, чем в его прозе. Надо, однако, с самого начала выделить те произведения, которые относятся к традиционным «высоким» жанрам классицизма. Естественно, что традиционная высокая лексика в этих произведениях представлена шире, чем в других его стихотворениях. Вот примеры из «Оды на случай присяги. . . Павлу Первому. . .» (1796): «Се Россы добрые клянутся»; «восшел на царский трон»; «с подъятыми руками»; «око проницает»; «дщери неба»; «отверста. . . дверь» (но и «дверь в темницах отворилась»); «свобода. . . рекла»; «от стада пастырь удаленный», «гряди»; «на злачном бреге»; «Россы. . . рекут»; «слезами речь запечатлеют»; «[Россы] текут». Из од «Александру I. . . на восшествие его на престол» и «На торжественное коронование Александра I» (1801): «вещала милость»; «се твой обет»; «се юный царь, бреги ты громы для врагов»; «разврат, стыдом запечатленный»; «приял венец»; «гремите, радостные лики»; «восстань, ликуй, народ великий»; «воссев на велелепный трон»; «сей велелепный храм»; «вертограды»; «древле»; «воззри»; «приимут в дар венец», — не считая таких, как *класы*, *грады*, *врата*, *хлад*, *злато*, *младые лета*, *воспарить*, *уста* и т. д. В «Песне воинов» (1806) найдем: «в селениях горних»; *мышца* (в значении «рука»: «Рим пал, их мышцей сокрушенный»); *се*, *юдоль*, *полунощь*. См. также в стихотворении «К милости», обращенном к Екатерине»: «дщерь благих небес»; «речешь — и громы онемеют»; «любовь твои стопы лобзает. . . И скиптр в десницу подает»; «текут, текут земные роды»; «для чад твоих» и др. В короткой «Надгробной надписи Боннету» (1793): «гремящим гласом»; «затмился зрак его священный». Назову еще проникнутую высоким религиозным пафосом «Песнь божеству» (1793), где встречаются традиционные для таких произведений *всевечный*, *руку всеблагую*, *рекут: есть бог*, *всюду сущий*. Как видим, традиционная лексика высокого стиля занимает в стихотворениях этого рода значительное место.

В приведенных примерах как наиболее высокие выделяются *се*, *рещи*, *грясти*, *вещать*, *воссесть*, *древле*, *мышца*, *дщерь*, *десница*, *чадо*, *всевечный*, *сущий*. Сюда можно добавить еще из других произведений Карамзина: *возженный*, *всещедрый*, *кровоглавый*, *матерь*, *выя* и, может быть, некоторые другие.

В то же время совершенно очевидно, что самый состав этой лексики чрезвычайно ограничен. Это станет ясно, если сравнить его с лексикой высокого слога непосредственных предшественников и даже современников Карамзина.

Вот, например, далеко не полный перечень слов, которые можно встретить в одах и других произведениях Державина (даже без произведений последнего десятилетия его творчества, отличающихся особенной архаичностью), но чуждых Карамзину: *аер*, *алчба*, *буй*, *великомощно*, *зело*, *зельный*, *надзрение*, *неблазный*, *облещи*, *персть*, *продерзость*, *содетель*, *угобзить*, *уныть*, *овен*,

елень, *трость* (в значении «перо»), *десный*, *женуть* и др.; см. также формы типа *крыле*, *очеса* и под.[288]

Следовательно, высокий стиль в поэзии Карамзина — это тоже результат отбора из старого, традиционного лексического фонда[289]. Этот отбор, как видим, коснулся и архаики общекнижного языка; это связано с карамзинским представлением о границах общелитературной нормы, а также и состава самой собственно высокой лексики. Это заметно отразилось в эволюции стихотворного языка самого Карамзина. Так, в 80-е годы мы встретим еще у него *истечь* («мир истек из воли божества» — «Поэзия»), *лепота*, *лавиринф*, *витийственно* («гряди витийственно вникать» — «Гимн»), *долгоотзывный глас* (Там же), *превыспрений* («превыспренних орлов» — «Поэзия»), *нощи мгла* и некоторые другие, хотя, как видим, и это уже достаточно далеко от одического языка Державина. Надо заметить, что отличия языка Карамзина этого времени от 90-х годов касаются не только состава лексики; они заключаются и в большей свободе, меньшей мотивированности употребления таких слов, которые сохранились и в дальнейшем (например *се*, *течь* и некоторые другие). Правка Карамзина при переиздании его стихотворений (в общем очень незначительная) также, как правило, имеет целью сокращение высокого или искусственно-книжного элемента[290]. Таковы, например, замена *таинственностям рока* на *тайнам рока* («Поэзия»), *горé стремился дух* на *к нему летел наш дух* («На разлуку с П.»), *пребудешь — будешь* «К милости»), *святочтимым — другом чтимым* («Послание к Дмитриеву»), *Но се — уже* («Послание к женщинам») и др. В результате различных перестроек текста устранены *снегобелыми руками* (стало: *его крылья обвивая* — «Песнь мира»), *«чтоб лествицей уму в познаниях служить»* («Протей или Несогласия стихотворца»).

Высокий слог Карамзина, таким образом, по своему лексическому составу отличается от традиционного высокого стиля — несмотря на их очевидную преемственность. Г. О. Винокур говорит о наличии в этот период двух вариантов высокого стиля (как и низкого) в старых жанрах классицизма: один более традицион-

---

[288] См.: Л. А. Воинова. Лексика поэзии Г. Р. Державина. (Канд. дисс., рукопись). Л., 1954; В. Н. Айдарова. Лексико-фразеологический состав одического слога Г. Р. Державина. (Канд. дисс., рукопись). Тбилиси, 1953.

[289] Среди стихотворений этого рода выделяется наибольшей традиционностью позднейшее произведение Карамзина «Освобождение Европы и Слава Александру» (1814), где встретим: «преходит тьма»; «жены простирают Десницу к вышнему»; «утучнять землю»; «его ужасны легионы как огнь и бурный дух текли»; «сокрылось нощи провиденье»; «и бысть!» и под.

[290] Правки в стихотворных произведениях Карамзина представлены в упоминавшемся томе 1 его сочинений (Пг., 1917). См. также: В. В. Виноградов. Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева. «Мат-лы и исслед. по истории русск. лит. языка», т. I. М., 1949, стр. 248—260.

ный, другой — приближающийся к нормам «нового слога»[291]. Жизненность и устойчивость этого нового варианта высокого слога бросается в глаза даже при самом беглом сопоставлении поэзии Карамзина с поэзией по крайней мере первой трети XIX в. Очень трудно обнаружить в карамзинском высоком слоге слова (если не считать индивидуальных образований типа *кровоглавый*), которые не сохранились бы в высокой лирике начала XIX в., причем не только у крайних архаистов типа Катенина или Кюхельбекера.

Мы ограничиваемся материалом из произведений Карамзина, но бесспорно, что этот язык отражает принципы и нормы, типичные для всей его «школы». Иное дело, что степень последовательности в применении этих норм может быть различной у разных авторов. Так, даже наиболее последовательный соратник Карамзина И. И. Дмитриев уступает ему в этом отношении. Это относится и к чистоте общелитературных норм[292] и, особенно, к пониманию границ высокого стиля. Так, например, в стихах Дмитриева (особенно до 1794—1795 гг.) время от времени встречаются *толь*, *коль*, *паки*, *толикий*, *каковой*, *таковой*, *паче*, *николи*, *колико*, *тамо*, *купно* (впрочем, оно встречается и у Карамзина); но нельзя не обратить внимания на то, что при переизданиях эти слова часто — хотя и не всегда — исключаются или заменяются другими. См., например, замены *колико* в разных произведениях на *сколь много* и *сколь часто* («Счет поцелуев») или *ах*, *сколько* («Модная жена»), *о коль* на *ах как* («Отъезд»), *толикую* на *такую* («Счет поцелуев»), *каковой*, *таковой* на *какой*, *такой* («Причудница») устранение в результате различных перестроек *толикия отрады*, в сказке «Картина», *о коль* в «Песни на смерть князя Потемкина»[293]. Надо все же заметить, что как элемент высокого слога часть этих слов сохраняется у Дмитриева дольше, чем у Карамзина (см., например, стихотворения «Весна», «К текущему столетию»); см. также изредка у Дмитриева, кроме названных выше, несвойственные Карамзину *хощу*, *внезапу*, *нижé*, *учинить* и некоторые другие.

---

[291] См.: Г. О. Винокур. Наследство XVIII в. в стихотворном языке Пушкина, стр. 334.

[292] См. замечание В. В. Виноградова о том, что «И. И. Дмитриев был консервативнее Карамзина. . . в своих отношениях к традиции делового слога XVIII в.» («Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева», стр. 160).

[293] Неожиданное появление *токмо* в заключительной строфе стихотворения «К Волге» в издании «Стихотворений» И. И. Дмитриева 1823 г. и далее в издании 1895 г. — результат опечатки. И в издании сочинений Дмитриева 1818 г., где сложился окончательный текст этой строфы, и в хранящейся в рукописном отделе Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина рукописи, послужившей оригиналом для издания 1823 г., — *только* (см.: Н. Карамзин, И. Дмитриев. Избранные стихотворения. Л., 1953, стр. 494).

Вообще, как уже замечено, в стихотворениях Дмитриева шире и объем собственно высокой лексики. Это неотделимо от характера самого творчества Дмитриева. Обращение к высокой религиозной поэзии («Гимн богу», «Преложение 49 псалма», «Размышления по случаю грома») вызвало употребление таких библеизмов и славянизмов, как *трисвятый*, *всемощный*, *сый*, *сын персти*, *длань*, *дхнуть*, *молниецветная риза*, *в десной*, *в шуйце*, *гласить* (т. е. «возглашать»), *вострепещите яко прах* и т. д. В таком произведении, как «На разбитие Костюшки (Глас Патриота)», которое, как известно, приписывалось современниками Державину, найдем *днесь*, *двигнется*, *полсвета*, *обрящутся преграды*, *седмь морей*, *пророцы* (повелительное наклонение), *матерь*. Карамзин, как известно, не одобрял опытов Дмитриева в жанре официальной оды: «Оставь, мой друг, писать такие пиесы нашим стихокропателям. Не унижай муз и Аполлона» [294]. В то же время он сочувственно относился к тем «средне-высоким» жанрам, которые разрабатывались в творчестве Дмитриева. Однако и здесь состав высокой лексики шире карамзинского и употребляется она свободней; см., например, в «Ермаке»: «Единый млад, другий с брадой Седою и до чресл висящей»; «склонясь на длань главой»; «возмятенный прах»; «всемощны», «вящим жаром возгоря»; «трикратно»; «они вдоль брега потекли»; «но что я рек»; «сладку песнь гласит над ним» и др. Еще больше таких слов в «Освобождении Москвы»: «седящу на холмах высоких»; «спящи веки воззову»; «перуном возблистал булат»; «да воззрю»; «стогны ратными сперлись»; «трикраты день воссиявал»; здесь же форма *очес* и др. См. еще в «Песни на смерть князя Потемкина»: *восстани*, *днесь*, *помавание*, *внезапу*. Но, как отмечает В. В. Виноградов, «высокий лирический слог в творчестве И. И. Дмитриева почти не эволюционирует», а «средне-высокий слог стихотворного языка И. И. Дмитриева не имел значительного, существенного развития в дальнейшем творчестве этого поэта» [295]. В дальнейшем Дмитриев активно разрабатывает «средний лирический» и «стихотворный повествовательный» стили, что не могло не привести к снижению в его творчестве высокого лексического материала. В этой связи представляют интерес и изменения, которые вносил Дмитриев при переизданиях своих сочинений. Они направлены на сокращение высокого «славенского» элемента, особенно если его употребление было недостаточно стилистически мотивировано [296]. См., напри-

---

[294] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, стр. 50.

[295] В. В. Виноградов. Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева, стр. 209, 216.

[296] Важно заметить, что книжный, высокий элемент у Дмитриева не только обширней, но употребление его не обладает той же степенью мотивированности, стилистической оправданности, как у Карамзина; см., например, известное замечание последнего относительно слов *персты* и *сокрушу* у Дмитриева («Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», стр. 42).

мер, такие замены, как *тебя уж нет* вместо *ты персть уже* («Причудница»); *тысячей* вместо *тысящей* («Чужой толк»); замену *ревет, гласит Селиму* на *ревет вослух Селиму* и исключение *днесь* в «Песни на смерть князя Потемкина»; замены *мати — матерь, прешла — прошла, тысящ — тысяч, нощь — ночь* в «Ермаке»; *пиита — поэт, глас — пение, пресиля — пересиля* и устранение *днесь* в «Письме к Прелесте»; *воспети — петь*, а также исключение слова *днесь* в стихотворении «К Хлое» и т. д.[297]

§ 48. Говоря об о б ъ е м е высокой лексики в поэзии Карамзина, надо также заметить, что здесь, как и в прозе, проявились новые принципы ее употребления. Эти слова редко бывают у Карамзина оправданы только жанром. Даже в тех произведениях, которые относятся к традиционным классическим высоким жанрам, они могут быть объяснены, как правило, и более конкретными условиями контекста. Поэтому, с одной стороны, так значительна в этих высоких произведениях нейтральная лексика (см., например, даже *что вижу* вместо традиционного *что зрю* [298] в «Оде на случай присяги. . . Павлу Первому. . .», а также обычные *хочу, захочет, теперь* и т. д.), и, с другой стороны, высокие слова употребляются в соответствующем контексте и вне этой традиционной литературы. Следовательно, условия и нормы использования этой лексики в принципе те же, что в прозе. *Рещи* и *изрещи*, например, встречаются в таких случаях: в «Оде на случай присяги. . . Павлу Первому. . .» — «Свобода. . . рекла, и узы разрешились»; «Рекут [Россы, восхваляющие Павла] — в восторге онемеют»; в «Песне божеству» — «Рекут: есть бог: мир божий храм»; в стихотворении «К милости» — «Речешь — и громы онемеют»; см. также в других стихотворениях: «Творец изрек спасенье» («Волга»); «Он [вышний] исполнение с любовью изречет» («Протей или Несогласия стихотворца»); «Судьбы рекли: да будет свет» («Послание к Л. А. Плещееву») и т. д. Слово *велелепный* встречается в сочетаниях «велелепный храм» («К самому себе»); «Создан мир огромный, велелепный» («Поэзия»); «Ты царь на велелепном троне» («К бедному поэту») и некоторых других. Слово *дщерь* постоянно в перифразах: *дщерь небес* (о поэзии); *ада дщерь*; *злоба, дщерь Тифона*; *Милость, дщерь благих небес* и т. д. Можно привести примеры такого же рода и для других слов этого ряда (впрочем, надо добавить, что различные версификационные условия могут иногда приводить и к наруше-

[297] Лексика сочинений И. И. Дмитриева на разных этапах его творчества, изменения, внесенные им при переизданиях его произведений, а также оценки языка и слога Дмитриева, принадлежащие Карамзину, — все это тщательно анализируется в упоминавшейся работе В. В. Виноградова «Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева».

[298] См., например, ироническое замечание Вяземского о том, что «язык лирический составлен из райских кринов, из безответных вопросов: что зрю? какой восторг! куда парю?» (П. А. В я з е м с к и й. Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева, стр. 128).

ниям строгой мотивированности употребления рассматриваемых слов).

Из сказанного очевидно, что и в поэзии «Карамзинской школы» (особенно последовательно у самого Карамзина) сохраняется — и в материале, и в принципах его употребления — различие высокой и поэтической лексики. От рассматриваемых выше слов заметно отличаются такие, как *агнец*, *брег*, *взор*, *младой*, *воссиять*, *ниспуститься*, *ланиты*, *власы*, *злато*, *глас*, *очи*, *младость* и т. д. Нельзя, однако, не заметить, что место этой поэтической лексики в прозе и стихах Карамзина совершенно различно. И в прозе, как уже говорилось, в принципе любое содержание можно выразить как поэтическое, используя соответствующие языковые средства; но практически эта возможность реализуется в сравнительно ограниченном круге тем, контекстов, образов. В поэзии же нет ничего, что препятствовало бы применению поэтического слова, которое становится по существу условностью стихотворной речи вообще с резко ослабленной стилистической характеристикой.

Однако сама граница между высокой и поэтической лексикой оказалась в поэтической речи Карамзина, Дмитриева и поэтов их школы иной, чем в прозе. Дело в том, что кроме тех двух групп слов, о которых выше говорилось и окраска которых очевидна, существовала и наиболее многочисленная третья, промежуточная группа, стилистическая характеристика которой вызывает трудности. Это такие слова, как *зреть* (смотреть), *зрак*, *враг*, *глад*, *глас*, *мраз*, *отверзать*, *пастырь* (в прямом значении «пастух»), *позорище*, *блато*, *кров*, *восчувствовать*, *вотще*, *стопы*, *покровенный*, *откровенный* (открытый), *почто*, *рубище*, *запечатлеть*, и др. В прозе все они или подавляющее их большинство были бы отнесены к высокой лексике, их применение потребовало бы достаточно отчетливых мотивировок. В поэзии с особой очевидностью обнаруживается их двойственная природа: в соответствующем контексте они выполняют функции высокого элемента, но в то же время они относительно легко употребляются в стихах «средних». Они в меньшей степени, чем слова типа *младость* или *очи*, могут быть названы простой условностью стихотворного языка, так как их стилистическая окраска не стерта в такой степени, как у этих последних: в любом тексте, где они употреблены, они способствуют созданию стилистической приподнятости.

Это особенно хорошо обнаруживается в стихах, выражающих философские или этические размышления, поэтическую медитацию. Таковы, среди произведений Карамзина, «Волга», «Послание к Дмитриеву», «Послание к А. А. Плещееву», «Послание к женщинам», «Протей или Несогласия стихотворца», «Дарования» и некоторые другие.

Таким образом, в поэзии Карамзина и — менее последовательно — Дмитриева произведен отбор из традиционного «сла-

венского» лексического фонда, определены наиболее жизнеспособные элементы этой лексики, оформилась новая стилистическая категория поэтической лексики в разных ее вариантах.

Творчество Карамзина и поэтов «карамзинского» направления определило нормы и особенности поэтической речи первых десятилетий XIX в., и в этом отношении его роль и значение в развитии русского литературного языка и языка русской литературы трудно переоценить. «Карамзин разрабатывал тот условный поэтический язык, значение которого для развития русской литературы было огромно, — пишет Н. И. Мордовченко. — Именно карамзинский поэтический язык стал достоянием школы Жуковского и Батюшкова и дожил до пушкинских времен»[299]. Действительно, поэтический язык карамзинистов многим казался недостаточным, но трудно найти в нем такие слова или формы, которые были бы признаны в первые десятилетия XIX в. отжившими, устарелыми. Язык «карамзинской» поэзии кладет грань между старой, классической и новой поэзией.

§ 49. Решение проблемы отбора из книжного языка в «карамзинской школе», следовательно, происходило не так прямолинейно, как это может показаться, если исходить только из деклараций Карамзина и его единомышленников; впрочем, и декларации эти не следует понимать чересчур упрощенно. Стремление к языку, общему «для книг и для общества» и для разных «писаний», нашло свое выражение в решительном отказе от обветшалых славянизмов и от употребления в общелитературном обиходе лексики высокого стиля. Норма общелитературного выражения стала действительно единой и обязательной и действительно близкой разговорной речи образованного человека. Но это, как мы видели, не означало абсолютной нейтрализации сохранившихся в литературном языке книжных элементов. В пределах общелитературной нормы, примыкая к этому нейтрально-языковому фонду, существовал слой отвлеченно-книжной и стилистически приподнятой лексики, необходимой для выражения отвлеченных понятий, для рассуждения о «важных» предметах и т. д. Но важно, что границы этого лексического слоя регулировались общим представлением о «средней» литературной норме, не противоречили принципам «нового слога». Те же нормы и принципы определяли и структуру «высокого» карамзинского слога, но здесь, как мы видели, сохранился небольшой и тщательно отобранный, с точки зрения новых эстетических норм, фонд высокой «славенской» лексики. Отчетливые художественно-стилистические функции и приемы употребления четко обособляли этот традиционный высокий лексический слой.

Наконец, специфические художественные (а отчасти и шире — общестилистические) задачи новой литературной школы опреде-

[299] Н. И. Мордовченко. Русская критика первой четверти XIX в. Л., 1959, стр. 42.

лили формирование на базе лексики высокого стиля так называемой «поэтической лексики», ставшей важным элементом «карамзинской» стилистики.

Таким образом, карамзинское решение проблемы книжного языка наметило контуры той стилистической системы и — более того — границы самого языкового материала, которые определили во всем основном нормы литературного языка и, отчасти, языка художественной литературы первых двух-трех десятилетий XIX в.

Менее плодотворно (исторически это вполне объяснимо) была решена проблема отбора в литературный язык из разговорной речи, из просторечия.

О близости языка Карамзина разговорной речи одни и те же лица высказывали иногда прямо противоположные мнения.

Так, Белинский, утверждал, что «Карамзин начал писать языком общества» [300], что он «из торной, ухабистой и каменистой дороги латино-немецкой конструкции, славяно-церковных речений и оборотов и схоластической надутости выражения вывел русский язык на настоящий и естественный ему путь, заговорил с обществом языком общества» [301], приблизил язык «к живой, естественной, разговорной русской речи» [302]. И в то же время Белинский писал, что «этот язык совершенно лишен национального колорита» [303], что Карамзин «презрел идиомами русского языка, не прислушивался к языку простолюдинов и не изучал вообще родных источников» [304]. Даже такой «апологет» Карамзина, как Я. Грот, который считал одной из главных заслуг Карамзина то, что он «принял в руководство. . . русский разговорный язык, развивая и обогащая его по возможности из собственных его начал» [305], отмечал, что Карамзин не воспользовался народной речью, «смотрел с некоторым пренебрежением на эту область языка» [306].

Но здесь нет противоречия. Приближение литературного языка к разговорной речи осуществлялось уже благодаря тому, что резко сократился в литературном обиходе книжно-архаический элемент. Там, где ранее предпочиталось книжное, чуждое живой речи слово, стали употреблять как норму слово или выражение разговорное — разговорное в том смысле, что оно было свойственно

---

[300] В. Г. Белинский. Русская литература в 1841 году. Полн. собр. соч., т. V, стр. 539.

[301] В. Г. Белинский. Мысли и заметки о русской литературе. Полн. собр. соч., т. IX, стр. 444.

[302] В. Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина. Статья 1. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 122.

[303] В. Г. Белинский. Русская грамматика Александра Востокова. Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 254.

[304] В. Г. Белинский. Литературные мечтания. Полн. собр. соч., т. I, стр. 57.

[305] Я. К. Грот. Карамзин в истории русск. лит. языка, стр. 115.

[306] Я. К. Грот. Толковый словарь. . . В. И. Даля, стр. 5.

и живой речи. Читателя, воспитанного на старой литературе, не могла не поразить эта «некнижность», «обыкновенность» карамзинского языка и в характере лексики и, особенно, в синтаксической структуре, как говорили, «слоге». То, что было принадлежностью преимущественно простого (но не обязательно низкого) стиля, стало основным, господствующим в литературном языке вообще. Но это не создавало разговорности как специфической стилистической окраски, не только противопоставленной книжному языку, но и отличной от нейтральной нормы.

Сравнивая Карамзина с Крыловым, язык которого он называет «до nec plus ultra» русским, Белинский замечает (имея, правда, в виду прежде всего синтаксис, словорасположение): «Язык Карамзина только в „Истории Государства Российского" обнаружил стремление быть языком русским, а до тех пор обнаруживал стремление только не быть славяно-латинско-немецким или ломоносовским языком» («что и было со стороны Карамзина, — добавляет Белинский, — великою заслугою») [307].

Говоря об отношении «карамзинской школы» к разговорной речи, нельзя забывать о внутренней разнородности, неустойчивости и неупорядоченности самой этой категории в тот период. «Тут были, — пишет В. В. Виноградов — и общеразговорные слова, обороты и формы, лишенные книжного колорита, и те элементы бытовой речи, которые носили экспрессивный отпечаток демократической непринужденности, фамильярности, а иногда и грубости, даже вульгарности, а также диалектные или жаргонные выражения. К «просторечию» подходила, отчасти с ним сливаясь, струя «простонародной речи» [308].

Нужно было разобраться в этом разнообразном и разнородном материале с точки зрения его нормативности, пригодности для общелитературного употребления. Естественно, что все простонародное или резко просторечное, все, что не соответствовало представлению о нормах самой разговорной, устной речи, не могло войти и в литературный язык. Здесь нет ничего принципиально нового: и старый язык не признавал эти слова и выражения фактом литературного языка, они допускались только в низкий слог; существующие в словарях пометы тоже квалифицируют их определенным образом. Другое дело, что наличие таких слов в речевой практике образованного общества приводило к их проникновению и в письменную речь — в записки, письма и т. д. — чаще невольно, а иногда и сознательно. Более строгая нормализация устной речи, развитие более культурных форм речевого общения, естественно, делали строже и отбор этих слов в письменную речь. Но дело в том, что пуризм по отношению к просторечию распро-

[307] В. Г. Белинский. Грамматические разыскания В. А. Васильева. Полн. собр. соч., т. IX, стр. 223.

[308] В. В. Виноградов. Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева, стр. 168.

странился у Карамзина и на те факты устной речи — лексические, фразеологические, синтаксические — которые, бесспорно, сохранились и далее в живой речи. Трудно предположить, чтобы светские люди говорили тем ровным, лишенным колорита народности и разговорности языком, который выдавался в «карамзинской школе» за норму литературного выражения.

Принцип нейтрализации по отношению к разговорной речи сказался в «новом слоге»» неизмеримо более заметно, чем по отношению к традиции книжного языка. Сближение книжной и разговорной речи, создание на этой основе общенациональной нормы литературного выражения, как мы видели, означало отказ от тех слов и форм книжного языка, которые резко противоречили разговорной практике; исключения типа *сей*, *оный*, *дабы*, *ибо* и некоторые другие ничтожны. Но этот же процесс приводил к неприятию в письменном языке всего, что отражало специфику разговорной речи, было связано с экспрессией разговорности. Поэтому если язык рассуждения, описания, повествования в «карамзинской» литературе поражал — особенно на фоне старой письменности — своей близостью к разговорному языку, то везде, где можно было бы ожидать непринужденности, естественности, разговорности, он, напротив, поражал книжностью и бесцветностью. Рассказчики в повестях и переводах Карамзина (например, в «Вечерах», Мармонтеля) говорят так же, как и автор; даже реплики героев — если это образованные, светские люди — ничем не отличаются от авторской речи, разве только чисто негативно: отсутствием тех немногих слов или выражений, которые ограничены книжной речью. Даже письма Карамзина и его ближайших сотрудников отличаются удивительной ровностью и нейтральностью. Мы говорили выше, что письмо Руссо Карамзин переводил тем же языком, каким писал и свои собственные письма. Но это значит, что свои письма он писал так же, как переводил письма Руссо или Бейля. Если можно, следовательно, при всех оговорках и ограничениях в лексике «нового слога» выделить ее книжную разновидность, то само понятие разговорной разновидности литературного языка, которая противопоставлялась бы нейтральной норме выражения, оказывается принципиально чуждым новой стилистической системе.

Степень пуризма Карамзина по отношению к бытовому просторечию и разговорной речи хорошо видна в его собственных оценках и высказываниях, а также в тех исправлениях, которые он производил при перепздании своих сочинений.

Исправления, имеющие целью устранение элементов просторечия, немногочисленны, но это объясняется тем, что уже с самого начала такого рода факты — редкость у Карамзина.

В книге В. Сиповского приводились уже такие замены в «Письмах русского путешественника», как «шатающимися актерами» — «странствующими актерами», «бранилась с краснорожим мужем» —

«с пьяным мужем», «отбило мне бока» — «растрясло», «налегаем на кофе» — «пьем в день чашек по девяти кофе» и некоторые другие; таковы же: «ревущее браво» — «шумящее браво», «накрапал дождь» — «небо покрылось со всех сторон тучами» (последнее изменение, разумеется, выходит за рамки стиля, затрагивая и самый смысл высказывания; см. также замену сравнения «муз, скрывающихся во мрак», с «дворовыми собачонками», которые «поджав хвост, убегают под навес» [«Московский журнал»] сравнением их с «бедными синичками и малиновками», которые «по кустам прячутся»). Все приведенные правки зафиксированы Сиповским (но затеряны среди множества других изменений) [309]. Приведу также не выделенную у Сиповского замену *разругал* («Мориц в ссоре с Кампе. . . который публично в Ведомостях разругал его» — «Московский журнал», ч. II, кн. 1, стр. 45) на *разбранил* (ср. «Письма русского путешественника», 1797, ч. I, стр. 240).

Можно было бы привести некоторое количество таких замен и из других произведений. Вот несколько примеров из «Вечеров» Мармонтеля, где заботливо устраняются слова, отличающиеся хотя бы в незначительной степени оттенком непринужденной разговорности. Так, «ничего нам не спускал» заменено на «не прощал ничего»; «в состоянии был прибить тебя» — «с тобой драться»; «во всю ночь у меня глаз с глазом не сходился» — «не мог закрыть глаз»; «малость, которой оно мне стоило» — «которое мне ничего не стоило»; «усовеститься» заменено более нейтральным «одуматься»; ср. еще: «вы бы скоро довели его до того, что он сказал бы мне. . . » — в более поздних изданиях (но не в издании 1794 г.): «вы скоро заставили бы его сказать». Возможно, к этому роду правок надо отнести замену «скучась рассуждать о настоящем и будущем» на «после горестных размышлений о состоянии бедной Франции», с устранением *скучась* [310].

Прямых высказываний Карамзина по поводу тех или иных просторечных слов мы знаем немного, и все они приводились в научной литературе. Приведу лишь пример из его мало известного построчного разбора стихотворения «К лире» Н. Львова («Московский журнал», ч. VI, кн. 3). Наряду с замечаниями, касающимися некоторых «образов» [311] стихотворения, эпитетов и т. д., Карамзин говорит о стихе «Считая знатность за полуду»: «Не низко ли сие слово в стихах?» [312].

---

[309] См.: В. Сиповский. Указ. соч., стр. 172, 196—197, 199—200.

[310] Надо заметить, что во французском тексте «Вечеров» нет *состояния бедной Франции*. Очевидно, это одна из тех вставок Карамзина, которая связана с его желанием подчеркнуть свое отрицательное отношение к революции.

[311] Слово *образ* Карамзин разъясняет здесь французским *image*.

[312] В Словаре АР (изд. 2): *Полуда* — «олово, которым покрывается. . . медная или железная посуда»; слово не снабжено никакими пометами стилистического характера.

Больше замечаний такого рода в рецензиях П. Макарова в «Московском Меркурии». Так, в рецензии на «российское сочинение» под названием «Дон Коррадо де Геррера или Дух мщения и варварства гишпанцев» иронически комментируются фразы типа: «О если бы это было от желудка» (перед этим герой говорит, что «кровь его волновалась, внутренность горела»), «суя ему в рот палку», «раздавливать ногой», «не давал ни малейшей поблажки» и т. д. («Московский Меркурий», ч. IV, октябрь, стр. 54—55). Судя по выделенным Макаровым в этих фразах словам, отказ от бытового просторечия охватывает довольно широкий круг слов. В «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» А. С. Шишкова его не удовлетворяют не только такие слова и выражения, как *врать*, *бред*, *гиль*, *похуляя*, *фу пропасть*, *пронюхал*, *что у них на уме*, но и *навоз* — в цитате из Сумарокова (так как это слово «представляет воображению нечто весьма неприятное»), а также книжные, церковные *блудница*, *растлить*; это те слова, «которые нельзя сказать в хорошем обществе»; эти слова, как и *навоз*, Макаров даже не считает возможным приводить в своей рецензии: он лишь стыдливо отсылает читателя к соответствующим страницам в книге Шишкова. Макаров сожалеет, что Шишков приводит в своей книге известные стихи Ломоносова на слово *нетронутая* [313].

Выше уже приводились слова Макарова о том, что писатель должен «иногда писать так, как должны бы говорить, а не так, как говорят», что подражать надо людям, «которые говорят хорошо, а не тем, которые говорят дурно». Эта мысль высказана в связи с тем, что рецензент нашел в переводе сочинения г-жи Жанлис «Матери-соперницы» «множество слов и выражений весьма низких и неправильных», таких, как *шельма*, *точить балы*, *покалякать*, *держать ухо востро*, *попасться впросак*, *ужалобить*, *прибранить* («Московский Меркурий», ч. IV, ноябрь, стр. 121—122) [314].

Особое внимание уделяет Макаров критике речи персонажей, отмечая отступления от языка и тона хорошего общества. Так, в рецензии на повесть Н. Остолопова «Евгения или Нынешнее воспитание» он замечает, что «язык и тон» героев «похожи на язык и тон самых смешных провинциалок». Макаров выделяет здесь выражения «вскочила как бешеная», «малой! чесаться!» (Там же, ч. II, апрель, стр. 31—32). В другой рецензии — на перевод немецкой повести Крамера «Жизнь, многие и странные приключе-

---

[313] П. Макаров. Критика на. . . «Рассуждение о старом и новом слоге. . .», стр. 193.

[314] См. еще в этой рецензии такое ироническое замечание в адрес переводчика: «Написав в одном месте «люди, не знающие хорошего тона», он прибавил оговорку: «так сказать, хорошего тона». Может быть, г. переводчик думал, что сие слово не столь известно, как *покалякать* и *точить балы*. В некотором смысле он прав». Впрочем, и в самом журнале (например, в мартовском и майском номерах за 1803 г.) слова *хорошего тона* выделены курсивом.

ния Эразма Шлейхера» Макаров говорит: «Виланд умел и *девок* представить любезными, умел дать и *девкам* нежность и разборчивость *порядочных женщин*; Крамер, напротив того, знатнейшим придворным госпожам дал *тон* распутных *девок*» (Там же, ч. I, февраль, стр. 150). Далее он рекомендует переводить такого рода книги так, чтобы «оставить одну канву и вышивать на ней самому», т. е. не следовать рабски за языком автора, так как, говорит Макаров, «наш тон общежития совсем не похож на немецкий». Любопытны еще в рецензии на сочинения и переводы Н. Б. (Брусилова) иронические замечания о диалоге Сократа и петиметра, которые выражаются следующим образом: «Что это за чучело?» «Que diable. Или ты пьян, дружок, или с ума сошел, ты врешь такие пустяки». В другом разборе Макаров обращает внимание на слова кокетки, которая хочет перевоспитать Демокрита: «Я стану облизывать этого медведя» (Там же, ч. II, май, стр. 134) [315].

Как видим, пуристические тенденции относительно разговорно-просторечной лексики в «карамзинской школе» чрезвычайно сильны. Противоречием может показаться употребление в произведениях Карамзина, вообще в «новом слоге», причем явно как вполне нейтральных, таких слов, которые мы привыкли считать просторечными. Таковы, например: *наскучить*, *потчевать*, *вчерась*, *вечор*, *всякий* (в количественном значении, например «всякий день»), *вперед* (в значении «впредь»), *поутру*, *ввечеру*, *подле*, *полюбиться*, (в значении «понравиться»), *нежели*, *ежели*, *подгорюниться* [316], *худой* (в значении «плохой»), *надобно* и др. Но надо иметь в виду, что в рассматриваемое время слова эти входили в нейтральный языковой фонд. Закрепившиеся впоследствии их синонимы воспринимались в то время отчасти как более книжные, отчасти и как просторечные или простонародные (например *надо*, *надоесть*). Следовательно, переход перечисленных слов в разряд разговорных (или разговорно-устарелых) произошел позднее, для некоторых из них лишь к середине или во второй половине XIX века [317].

---

[315] Любопытно, что самого Макарова упрекает в употреблении «низких слов» рецензент «Северного Вестника» (по всей вероятности, сам издатель журнала И. Мартынов); осуждаются такие слова, как *чепуха*, *волочиться*, *любиться*, *девки*, *площадная мораль* (см. «Рассмотрение всех рецензий, помещенных в. . . «Московском Меркурии». — «Северный вестник», 1804, ч. III). «Ничто так не обезображивает язык, как низкие слова», — говорит рецензент, ссылаясь на Буало. Впрочем, критик не принимает во внимание, что в большинстве случаев слова такого рода применяются в рецензиях Макарова иронически, нарочито, при пересказе содержания рецензируемых произведений.

[316] Это одно из любимых слов Карамзина. Оно встречается в самых разнообразных текстах и применительно к разным людям. См., например: «окно, под которым сиживал я подгорюнившись в припадках своей меланхолии» («Письма русского путешественника», Тверь, 18 мая 1789 г.).

[317] См.: В. Д. Левин. Наблюдения над стилистическими изменениями в лексике русского литературного языка в первой половине XIX в. «Мат-лы и исслед. по истории русск. лит. языка», т. IV. М., 1957.

Надо вообще заметить, что некоторые следы неупорядоченности или стилистических колебаний устной речи должны были в какой-то мере отражаться и в речи Карамзина и людей его круга. Их устная речь тоже эволюционировала, освобождаясь постепенно от следов былого стилистического безразличия. Развитие «нового слога» шло в направлении все более строгой оценки фактов живой речи с точки зрения норм литературности. Поэтому те правки, которые выше приводились, могут отчасти означать не то, что Карамзин был раньше снисходительней к просторечью, а уточнение стилистической характеристики некоторых слов, изменение оценки этих слов. Этим, возможно, вызвано устранение слов *краснорожий* или *разругать*. Выше уже говорилось, что слово *рожа* не звучало в XVIII в. так вульгарно и простонародно, как впоследствии; к приведенным примерам можно было бы добавить и использование этого слова в переводе «Неистового Роланда» и др.

Есть, однако, случаи, когда в «карамзинской» литературе встречаются и такие слова, которые или помечены в Словаре АР как просторечные или простонародные, или, как показывает материал, относились к разговорной речи. Таковы *авось* (например в «Письмах русского путешественника»), *быт*, *жадный*, *богач*, *браниться*, *крыша*, *вздор*, *остолбенеть* (например во «Фроле Силине»), *лачуга* и некоторые другие. Однако для большинства таких слов пометы Словаря кажутся сомнительными. При этом вряд ли можно утверждать, что слова эти именно под пером карамзинистов меняли свою стилистическую характеристику; по всей вероятности, уже в «докарамзинский» период они потеряли или теряли окраску просторечности или простонародности [318]; оценка их в Словаре, очевидно, уже не отражала их действительного места

[318] См., например, у Сумарокова, в комедии «Нарцисс», в речи Клариссы: «недостойный богач величается богатством» (д. 1, яв. 20; «Российский феатр», ч. VIII); «скупой богач есть убог: ибо не он златом, но злато им владеет», «злой и глупый богач одним путем ходят» (Ломоносов; примеры заимствованы из картотеки Словарного сектора Института русского языка АН СССР в Ленинграде); «казаться богачем, а жить на счет других» (Державин. Модное остроумие) и др. У Карамзина *богач* встретилось несколько раз, также в совершенно нейтральном или даже книжном окружении (даже в «Историческом похвальном слове императрице Екатерине Второй»). Заметим еще, что в «Аналогических таблицах» *богач* не имеет стилистической пометы, а слово *толстосум* даже объясняется через *богач* (в экземпляре Гос. Библиотеки СССР им. В. И. Ленина к этому слову чернилами приписано Richard). Слово *быт*, очевидно, было просторечным только в отмеченном в Словаре АР значении: «*бытие* или состояние чего». В «Аналогических таблицах» *быт* также без помет, как и большинство других перечисленных слов, в том числе и сохранившее до сих пор разговорный характер *авось*. Встречаются у Карамзина и другие слова, которые можно связать с разговорной речью, хотя они в словарях и не снабжаются пометами, например единичные *шататься*, *умничать*, *враль*, *дурачить*, *продраться в залу* и некоторые другие; но круг таких слов чрезвычайно ограничен; вообще же степень их разговорности трудно определить.

в языке, но употребление этих слов в литературе «карамзинского» направления должно было способствовать их закреплению в литературном языке.

Впрочем, возможны случаи, когда такое слово не закрепилось в литературном употреблении. Таково, например, слово *нахлучить*, которое в Словаре АР оценивается как простонародное (в «Аналогических таблицах» его вообще нет, есть *нахлобучить*), но которое свободно и нейтрально употребляется Карамзиным (*нахлучить шляпу*), например, в «Письмах русского путешественника», в повестях Мармонтеля. См. также у И. И. Дмитриева в его сказке «Картина»: «князь вышел в шлафроке, нахлучен колпаком». Показательно, что несмотря на то, что при переизданиях стихотворение это заметно очищалось от просторечия, *нахлучен* сохранилось во всех редакциях. Дальнейшая судьба слова, следовательно, не всегда является безошибочным критерием для его стилистической характеристики.

Как это делалось применительно к славянизмам, так и для просторечно-разговорного элемента в карамзинском языке следовало бы разграничить два вопроса: о норме литературного языка и о приемах стилистического использования этого языкового пласта в художественных целях. Казалось бы, здесь это особенно уместно: ведь чисто художественные, характерологические функции просторечия и ранее выделялись более четко и выразительно, чем у слов книжных, «славенских». Но такое разграничение оказывается чрезвычайно затруднительным. Карамзинский пуризм в отношении к просторечию и простонародной речи не только определял понимание общелитературной нормы, но распространялся и на способы и приемы художественного изображения. Выше уже говорилось, что принадлежность произведения к жанрам, которые определялись традицией как низкие, не могла с точки зрения карамзинской системы служить оправданием употреблению слов и выражений просторечных и простонародных. Можно вспомнить в этой связи упоминавшуюся ранее статью И. Дмитриева в «Вестнике Европы», где он выступал против простонародного языка комедии («О русских комедиях»; см. выше, стр. 132). Н. Греч, принадлежавший к следующему поколению карамзинистов, утверждал, что «язык комедии есть разговорный слог благородного общества» [319]. Разумеется, в этих словах отражено понимание языка комедии, не имеющее ничего общего с тем, которое было свойственно классицизму. Ведь и советы и замечания Карамзина, адресованные Дмитриеву, в том числе и известное замечание относительно слова *парень*, относились к таким литературным жанрам и таким ситуациям, для которых широкий ввод просторечия был традиционным. Типична в этом отношении

[319] Н. И. Греч. Учебная книга российской словесности, ч. 4. Изд. 2, СПб., 1830, стр. 65.

также рецензия Макарова на собрание стихотворений И. М. Долгорукого «Бытие моего сердца» («Московский Меркурий», ч. III, август). При общей высокой оценке сборника Макаров осуждает простонародный тон некоторых стихов. Стихи «Разиня рот я любовался При Селимене там на все» Макаров считает испорченными «словом очень неприятным» — *разиня рот* (впрочем, у Карамзина в «Письмах русского путешественника» тоже однажды встретилось *разинув рот*). В стихах: «Хозяйка подходя смеется Всегда на чей-нибудь *да* счет. Вот в ней-то подлинно ведется *И лисий хвост и волчий рот*» — рецензент отмечает выделенные слова и восклицает: «Говоря о женщине!!!». В других стихах осуждается слово *глазеть* («Мне сердцем жить в тот день хотелось, А не на золото глазеть)»: «Лучше бы, кажется, *глядеть* или *смотреть*, — замечает Макаров, добавляя впрочем: «Но что значит одно слово в сравнении с прекрасною мыслию и счастливым выражением последних двух стихов». Курсивом выделены — явно как неудачные — такие еще выражения: *Все дрянь — да что-то все на нрав; Другим дано лишь только слышать*; *И скука сердца не замай* и др.[320]

В художественном произведении не только язык образованных персонажей, но и речь простых героев не должна, по мысли Карамзина, выходить далеко за пределы средней литературной нормы и нарушать предписания «вкуса». Неприятное, чуждое эстетическим нормам светского общества не может быть ничем оправдано. В одной из повестей цикла «Вечера» Мармонтеля, переведенной Карамзиным, речь крестьянки в передаче рассказчицы звучит настолько изысканно, что это даже вызывает насмешки одного из слушателей, и рассказчица поясняет, что она передает не слова, а лишь содержание речи своей кормилицы. Это очень типично и для карамзинской стилистики. Отдельные характерологические элементы в речи крестьян у Карамзина представляют собой чрезвычайно ограниченный набор слов и выражений, имитирующих мнимо-народный речевой колорит. Таковы, например, в очерке «Нежность дружбы в низком состоянии» выражения типа: «суди бог тех людей», «смирна как овечка», «рады белому свету», «бог нас прокормит» и под.; см. также: «мне было без тебя очень тошно», «ей все казалось чудно».

Вот еще несколько фраз из построенного по такому же способу диалога слуг в драматическом отрывке «София»: «да и у меня руки корчатся, так что чулок мой не спорится»; «холод не на шутку»; «плачься богу, а слезы вода»; «куда как ты нежен»; «у барина было мне не таково жить»; «коли бы я не боялся греха»; «посулил мне, старику, триста лозонов»; «она развеся уши его

---

[320] См. такую же оценку языка этого стихотворения и с выделением отчасти тех же слов и фраз в книге М. А. Дмитриева «Князь И. М. Долгорукий и его сочинения» (М., 1863).

слушала»; «уж не приворожил ли он ее к себе какими-нибудь кореньями»; «лихо раз поддаться сатане, а то не увидишь, как очутишься в аду»; «меня по коже подирает»; «пойти было посмотреть» (сцена IV).

Вообще же отличие речи простых персонажей от авторской чаще негативное; оно заключается в отсутствии тех элементов книжности, которые в авторском языке почти неизбежны. Маша и Анюта, персонажи очерка «Нежность дружбы», не могли бы сказать так, как говорит автор: «тут обнялись они в восторге, в жарком излиянии сердец своих». Решающим здесь оказывается, впрочем, само содержание речи, не соответствующее уровню «понятия» лиц, находящихся «в низком состоянии».

В рецензии на стихотворную комедию «Баловень», опубликованной в «Московском журнале» (ч. IV, кн. 2), Карамзин иронизирует по поводу того, что слуга говорит «мудрый атеист», «живи пустым лишь мнением», «на разум вечно спор не опирался» («Не всякому стихотворцу, — пишет рецензент, — пришла бы на мысль такая смелая метафора»). Но еще более раздражают его такие «пошлые выражения» героев, как «такой кусочек, брат, не для зубов Приседа», где речь идет о невесте, которая сама выражается следующим образом: «Вы правы; мною бы и он не подавился».

Очевидно, пределом просторечности в речи персонажей для Карамзина надо признать резко ироническое воспроизведение бытового диалога поручика и хозяйки прусской корчмы в «Письмах русского путешественника» («Корчма в миле за Тильзитом», 17 июня 1789 г.): «Барон фон М* писал ко мне, что у них комедианты: Приезжай, брат, приезжай! Чорт меня возьми! Если бы я знал, что за твари эти комедианты, ни из чего бы не поехал» [321]; «И, ваше благородие! Разве вы не жалуете комедии?»; «Иной кричал, другой кривлялся, третий таращил глаза, а нужного ничего не вышло»; «Толстобрюхий дурак зевал, а чванная супруга его беспрестанно терла себе глаза платком, как будто бы попал в них табак, и толкала его под бок, чтобы он не заснул и перестал пялить рот»; «То-то насмешник!»; «Чорт меня возьми, если я не по уши влюбился в свою Анюту»; «Мне сказали, что у старика фон Т* золотые горы. Девка добра, думал я: дай женимся»; «скажу вам смех, г. поручик»; «То-то баба! сказал он, — ха! ха! ха!» и т. д. Этот диалог резко выделяется в «Письмах русского путешественника», его сатирическая направленность, бытовой колорит всей этой сцены нарочито подчеркнуты; сам автор говорит далее, что «словоохотливый поручик до девяти ча-

[321] Так в издании «Московского журнала» и в собрании сочинений 1803 г. и дальнейших; в издании 1797 г.: «если бы я знал эту дрянь, ни за что бы не поехал». Очевидно, это показалось все же слишком низким. Любопытно, что «черт возьми» здесь и далее в этом диалоге обозначалось в первом издании «ч*. . . возьми».

сов наговорил с три короба, которых я, жалея Габриелевых лошадей, не возьму с собой» (см. здесь оправдание разговорного *с три короба* путем шутливой деметафоризации этого выражения: *которых я . . . не возьму с собой*).

Любопытно в связи с этим сопоставить написанные в форме писем и близкие по содержанию «Сельский праздник и свадьба» Карамзина («Московский журнал», ч. I, кн. 3) и описание праздника, принадлежащее Н. Львову («Письмо от Н. А. Л. и П. Л. В.» Там же, ч. IV, кн. 1). Вот несколько строк из письма Н. А. Л.: «Чур не отпираться! Как тебе, братец, не стыдно мешать такую дрянь»; «пучеглазое позлащение витиеватых крючков»; «в дурацком моем фаетоне»; «Под песенку-то как мой добрый дядя всплакнет»; «Быть делу так, ребята»; «И опять за песни — давай плясать» и т. д. Все это, разумеется, совершенно чуждо Карамзину [322].

Как в отношении книжного языка, так и в употреблении разговорно-просторечного элемента творчество И. Дмитриева отличается бо́льшей свободой, чем Карамзина. Но и это связано с большей традиционностью Дмитриева: В. В. Виноградов отмечает, что он консервативнее не только в отношении к традиции делового слога и высокого (или средне-высокого) стиля, но и в литературном отборе форм живой разговорной речи [323]. Однако бесспорно, что это определяется в общем не иным представлением о пределах просторечия в общелитературном языке (в этом отношении Дмитриев был, может быть, пуристичнее самого Карамзина, особенно в последние годы жизни), но иным характером творчества. «Высокая» и даже «средне-высокая» лирика Дмитриева, и даже его послания, не обнаруживают заметных отличий от лирики Карамзина в этом отношении [324]. Но в сатире, басне, сказке, песне объем разговорной лексики, естественно, намного шире, чем это допускалось в средней норме «нового слога». Вот, например, слова из различных произведений этого типа: *сапун*, *зевака*, *плакса*, *брюзга*, *шарк ногою*, *живчик*, *пучит в нас*, *ужасть* [325], *скаредная рожа*, *кряхтеть*, *ахти* (см. впрочем, это слово в «На-

---

[322] Анализ языка «Сельского праздника и свадьбы» Карамзина см. в книге В. В. Виноградова «Проблема авторства и теория стилей» (стр. 360—365).

[323] См.: В. В. Виноградов. Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева, стр. 180.

[324] Замечания Карамзина о нежелательности таких слов, как *пот*, *барабан*, *сломал*, *вскричал* в «Ермаке», указывают все же на более «изысканный» слух Карамзина; впрочем, они касаются отчасти не самих слов, а упоминаемых в высокой поэзии вещей («Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», стр. 50).

[325] К слову *ужасть* в «Причудинце» автор делает примечание, что оно употребляется «в губерниях»; *ужасть* есть еще в «Модной жене», причем в обоих изданиях «Московского журнала» (ч. V, кн. 2) написано *ужесть*, как это часто писалось в XVIII в. (например, в сатирических журналах Новикова); но во втором издании *ужесть* исправлено на *ужасть* в списке исправлений (опечаток).

талье, боярской дочери», в восклицании няни), *чур уж не жужу*, *вздор какой мелю*, *изрядненький доход*, *две сотни зашибу* и др. Легко заметить, что это все же очень далеко от традиций низкого слога. А если учесть еще и ту правку, которую производил Дмитриев при переизданиях своих произведений (например, «бряк под сеть» — «запутался в сети»; «пырь» — «попал», «хоть капелькой похож» — «несколько похож», «лих дорога́» — «слишком», «нада» — «нужно» и др.[326]), это станет еще очевидней. Блудов заметил, что Дмитриев первым показал, «что есть разница между выражениями простыми и низкими» [327]. Это очень точно характеризует тот вариант «нового слога», который отражен в этого рода произведениях Дмитриева и в котором делается попытка очертить круг разговорно-просторечной лексики, отграниченной, с одной стороны, от традиционной лексики низкого слога и, с другой стороны, от нейтрального лексического фонда. Дальнейшее развитие и уточнение этой группы имело важное значение для истории литературного языка.

§ 50. Рассмотренные выше вопросы — о судьбе книжного элемента и о разговорно-просторечной лексике — центральные в «карамзинской реформе», с ними связано формирование новой стилистической системы литературного языка. В сравнении с ними вопрос об иностранных заимствованиях имеет второстепенное значение, хотя в свое время он вызывал наибольшие разногласия и споры. В настоящей работе, посвященной исключительно явлениям стилистического характера, не рассматривается специально иноязычная лексика в произведениях Карамзина и его современников, тем более, что она уже была предметом достаточно тщательных исследований [328]. Следует лишь обратить внимание на стилистическое значение заимствований, получивших в языке Карамзина и карамзинистов широкое распространение. С этой точки зрения особенно важны заимствования, относящиеся к сфере светского общежития. Они особенно выразительны как еще одно средство ухода от тяжеловесной книжности и, отчасти, от просторечия, средство сближения книжного, литературного языка с разговорной речью светского общества. Действительно, иноязычная лексика, распространенная в произведениях Карамзина и других писателей этого времени, имеет своим источником не книжность, а разговорную практику. Есть много фактов, свидетельствующих о широком распространении этой лексики и фразеологии в устной речи светского общества. Сам Карамзин, как

---

[326] См. в указанной выше работе В. В. Виноградова «Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева».

[327] Там же, стр. 167.

[328] См. называвшиеся ранее работы В. В. Виноградова, Л. А. Булаховского, А. И. Ефимова и др. Из работ последних лет наиболее полно рассматривается этот вопрос в также упоминавшихся ранее книге Г. Хюттль-Ворт и в кандидатской диссертации Е. Г. Ковалевской.

свидетельствует Г. Каменев [329], широко пользовался заимствованными словами в своей речи.

Надо еще иметь в виду, что в устной практике могло бытовать большое количество окказиональных заимствований: человек, привыкший говорить по-французски, легко мог вставлять и в русскую речь французские слова, переиначивая их, в случае нужды, на русский лад. То, что заимствования воспринимались не только с точки зрения их практической надобности для выражения тех или иных понятий, но также и с точки зрения стилистической, эстетической, нашло свое отражение в том, что старые заимствования, известные еще с первой половины или середины XVIII в., подвергаются отбору. Принято говорить только о том, что карамзинисты вводили в обиход иноязычную лексику, но важно заметить, что одновременно с этим в «школе» Карамзина прекратила свое существование имевшая ранее широкое хождение, но, видимо, не вполне свойственная светским людям конца века иноязычная приказная лексика, в частности, многие из упоминавшихся ранее слов (см. стр. 113) [330]. Внутри иноязычной лексики, следовательно, есть свои стилистические различия, слова эти обладают разной эмоциональной окраской, имеют хождение в разных кругах общества. Это ощущали и карамзинисты и их противники. Шишков, например, называя в числе слов, которыми писатели «безобразили язык», *моральный*, *эстетический*, *эпоха*, *сцена*, *гармония*, *акция*, *энтузиазм*, *катастрофа*, разъясняет в сноске: «Сии суть самые новомодные слова, и для того в нынешних книгах повторяются они почти на каждой странице; впрочем, в языке нашем имеются и обветшалые иностранные слова, как например, *авантажиться*, *манериться*, *компанию водить*, *куры строить*, *комедь играть* и проч. Сии прогнаны уже из большого света и переселились к купцам и купчихам» [331].

Иностранные заимствования активно участвуют у Карамзина и его последователей в создании того, что называют «слогом» Карамзина в узком смысле этого слова, как определенной экспрессивно-художественной манеры, в создании того колорита утонченной чувствительности и аристократической манерности, которые составляют своеобразие этого слога. Исследователи обнаружили, что большинство заимствований и неологизмов-ка́лек, приписываемых Карамзину, существовали до него. Делается, правда, оговорка, что широкое распространение многих из таких известных уже ранее слов связано все же с Карамзиным и его «школой». Дело, однако, не только в этом. Важно сказать, что эти слова

---

[329] «Вчера и сегодня», кн. 1. Ред.-изд. В. А. Соллогуб. СПб., 1845, стр. 49.

[330] См. замечание Я. Грота о том, что Карамзин отвергал обычные для Фонвизина *резон*, *эстима*, *консидерация*, *апробация* («Карамзин в истории русск. лит. языка», стр. 109).

[331] А. С. Шишков. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, стр. 24.

стали существенным элементом новой стилистики, приобрели несвойственную им ранее экспрессивную значимость. Отсюда, отчасти, и резкий рост их употребительности, и расширение их фразеологических связей, и бóльшая, чем ранее, семантическая емкость.

Слова *меланхолия* и *меланхолический*, например, были известны до Карамзина. *Меланхолия* есть и в Словаре АР и в «Аналогических таблицах». Можно привести и примеры употребления этого слова из разных авторов, далеких от «карамзинской школы». Но типично «карамзинскими» надо признать такие сочетания, как «носил в душе меланхолию» («София»), «наслаждаться меланхолическою осенью» («Лиодор»), «мои меланхолические минуты» («Письма русского путешественника»); см. также: «приметные знаки меланхолии в лице добродетельного Кошуа» («Мария Сальмон»), «в объятиях меланхолии» и т. д. Очень широко и разнообразно употреблялись слова *интерес*, *интересный* и их производные (кстати говоря, и в начале XIX в. многими отвергаемые). См., например, у Карамзина, помимо таких употреблений, как «пьеса холодна и неинтересна» [332], «разговор становится для меня интереснее» («Письма русского путешественника») и под., также и «при равной интересности предметов», «беспрестанное возвышение *интереса*» («Парижские спектакли». — «Московский журнал», ч. I, кн. 2, стр. 207—208) и, особенно, «я увижу некоторых *интересных* людей» («Письма русского путешественника», 16 июля 1789 г.; здесь курсив Карамзина). См. также: «я начинаю вами интересоваться» («Письма русского путешественника», 21 июля 1789 г.) [333]. Широко употребляются у Карамзина в составе различ-

---

[332] Рецензия на спектакль «Сид». «Московский журнал», ч. III, кн. 1. Здесь это перевод из письма д'Аламбера, где sans interêt. Кстати, *холодна* здесь прямой перевод *froide* из того же письма.

[333] Это относится также и к калькам, и вообще к русским словам. См., например, необыкновенное расширение сочетаемости слова *предмет* — типа «любезный предмет глаз моих», «предмет прогулок» (как «место прогулок»); см. также *чувствительный*, *чувствительность*. Особенно любопытно в этом отношении распространение употребительности слова *чувствовать* без дополнения, например, в диалоге «Русского путешественника» с незнакомкой в театре: на вопрос незнакомки, почему он не аплодировал музыкантам, автор отвечает: «Я чувствовал, сударыня» («Письма русского путешественника». Оперное знакомство. Париж, мая [1789]); см. еще замечание Карамзина о тех, кто способен «столь нежно чувствовать» («Московский журнал», ч. V, кн. 2, стр. 233). См. ироническое употребление этого слова в «Мертвых душах» Гоголя — в письме одной из дам Чичикову: «Что свет? Толпа людей, которые не чувствуют». Об экспрессивном наполнении в «карамзинском» слоге слова *чувствительный* свидетельствует следующая запись Пушкина: «Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие *спасительной пользы самодержавия*, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, *ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностию*, конечно, были очень смешны» (А. С. П у ш к и н. «Из автобиографических записок». Полн. собр. соч., т. 12, стр. 306).

ных сочетаний и перифраз также слова *сцена*, *флер*, *гений*, *монумент* и др. [334] Разумеется, все это стилистически значимо, как и всякого рода изысканные перифразы и фразеологические кальки типа «*Он был на розах*, как говорят французы» [335].

Известно, что постепенно количество иноязычной лексики у Карамзина заметно сократилось, и даже переиздавая свои старые произведения, Карамзин освобождался от многих таких слов, заменяя их русскими. Большой материал в этом отношении дают разные издания «Писем русского путешественника» [336]. Правки такого рода коснулись и других произведений Карамзина. Можно заметить, что наиболее последовательно — но не абсолютно — заменяются *натуральный* (обычно на *простой*), *интересный* (на *занимательный* или *любопытный*), *моральный* (на *нравственный*), *национальный* (на *народный*), *энтузиазм* (на *жар*). См. также замену *энтузиастический жар* на *огненную пылкость* в «Цветке на гроб моего Агатона». В «Вечерах» Мармонтеля первоначальное *трогательные сцены* исправлено на *трогательные повести*, *моральный мир* на *нравственный мир*, *дисциплина* на *служба*, *натуральные краски* на *живые краски*, *отпарировать его шпагу* на *отразить* и некоторые другие.

Бесспорно, что сокращение заимствований в языке Карамзина связано не только с соображениями собственно языковыми — в частности, с необходимостью уточнить употребление некоторых слов, которые первоначально принимались со всем объемом своих значений, свойственных иностранному слову (см., например, употребление *моральный* как «духовный, умственный» [ср. франц. *moral*] или *климат* как «страна, область»), — но и собственно стилистическими.

§ 51. Таким образом, «карамзинская реформа» охватила многие стороны литературного языка. Для истории национального литературного языка важнейшим было здесь установление единой средней, «нейтральной» нормы общелитературного выражения, определение самой структуры литературного языка. В наибольшей степени это сказалось в грамматике, в частности в синтаксисе. В лексике этот процесс оказался более противоречивым и сложным, но общая тенденция развития языка и здесь была выражена достаточно отчетливо.

Было бы, однако, неверным предполагать, что нормы «нового слога» определились в 90-е годы как вполне устойчивые, что

---

[334] См. в упоминавшейся выше статье А. И. Ефимова «Фразеологический состав повести Карамзина «Наталья, боярская дочь», где представлен также материал и из других произведений Карамзина.

[335] См.: Н. М. Карамзин. О Богдановиче и его сочинениях. Соч., т. 1. СПб., 1848, стр. 640. — Это выражение встретилось и у П. Шаликова.

[336] См.: В. Сиповский. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника», стр. 174—176, 216—217, 237.

они последовательно выдерживались представителями «карамзинской школы». Чистота слога Карамзина — явление, очевидно, исключительное даже для его круга. Достаточно сравнить прозу Карамзина с прозой даже таких близких к нему литераторов, как И. Дмитриев и В. Подшивалов, чтобы почувствовать разницу — не в самом понимании норм, не в общих тенденциях, а в выдержанности этих норм, в последовательности осуществления этих тенденций. Даже А. Петров, который был, так сказать, «карамзинистом» раньше Карамзина, не так последователен в этом отношении, как Карамзин. Это можно увидеть на примере таких переводов Петрова в «Московском журнале», как «Прогулка арабского философа Ал-Рашида» (ч. VI, кн. 1) и в меньшей степени — «Барух или Ученик мудрости» (ч. II, кн. 3). См. в «Прогулке. . .» «Жизнь их продолжается токмо несколько часов»; «коль немногие твари нашего рода достигают сея цели»; «с толикими заботами»; «находим себе самое лучшее сообщество» и др. — хотя в общем это все написано превосходным «карамзинским» языком.

Надо еще раз напомнить, что речь идет сейчас не о приемах стилистического использования различных лексических групп, а именно о норме общелитературного выражения как она вырабатывалась в 90-е годы в «карамзинской школе».

Как трудно давались новые нормы книжного языка лицам, привыкшим к старому языку, к устоявшимся нормам, можно видеть на примере многих литераторов, явно тяготеющих к карамзинской стилистике, к его принципам стилистического отбора слов. Так, Карамзин высоко оценил в «Московском журнале» (ч. II) перевод «Неистового Роланда», опубликованный в 1791 г. «Слог нашего переводчика можно назвать изрядным, — пишет Карамзин в своей рецензии, — он не надут славянщизной и довольно чист». И в то же время он отмечает здесь как неудачные слова *вследствие чего*, *дабы*: «Это слишком по-приказному и очень противно в устах такой женщины, которая, по описанию Ариостову, была прекраснее Венеры». Но в переводе «Неистового Роланда», действительно, довольно гладком и «не надутом славянщизной», встретим: «ненависть и гнев воскипали в ее сердце»; «Баярд опровергает и истребляет все, что на пути ему попадается» [337]; «приуготовляли хорошее воинство»; «свирепство»; «погрести свою измену»; «мешать ей в чаропроизводстве»; «учинял Италию непобедимой»; «толикие страдания»; «сей закон яко неестественный»; «насладился самомалейшим на нее воззрением»; «не человек, но демон, исшедший из Тартара и единый образ на себя имеющий»; «он предприял покорить сих двух верных лю-

---

[337] *Опровергать* здесь в близком первоначальному, прямому значению слова. См. в Словаре АР: 1-е значение — «опрокидывать», переносным употреблением к которому является данное 2-м значением «низлагать, разорять»; ср. 3-е значение — «возражать».

бовников»; «достижение предполагаемой мечты»; «за мою к нему горячность»; «на что ответствовано ему» и т. д.

Именно в литературе, условно говоря, «среднего стиля» эти трудности были особенно ощутимы; выше уже приводилось замечание переводчика «Неистового Роланда», который писал, что «сочинения, писанные простым и красноречивым слогом, весьма трудно хорошо перевесть. . . Мысли важные, благородные, великие, даже и высокие удобнее изобразить, нежели простые». Об этом же писал в «Московском журнале» Карамзин, который замечает, что «легче сочинить эпическую поэму в двадцать песен, нежели перевести хорошо десять песней Генриады», потому что «здесь надобно не только выразить мысли поэтовы, но и выразить их с такою же точностию, с такою же чистотою и приятностию, как в подлиннике» [338]. Позднее эту же мысль высказал Н. Остолопов в своем словаре. Писать высоким стилем легче, говорит он, потому что он устойчив, «означен хорошими писателями и не зависит от прихотливости обычаев». И далее (со ссылкой на Мармонтеля): «Самое трудное наречие есть среднее, называемое языком хороших обществ, большого света, ибо оно более всех подвержено изменениям» [339].

«Московский журнал» интересен поэтому не только как источник для суждения о нормах «нового слога», как они воплотились в творчестве Карамзина, но и как показатель противоречий в развитии языка, степени усвоения этих новых норм. Среди авторов журнала были и литераторы, хотя и близкие «карамзинскому» направлению, но недостаточно последовательные в этом отношении, и «словесники», совсем чуждые новым веяниям (например, И. Захаров), и такие маститые писатели, как Державин и Херасков.

В отношении языка, следовательно, журнал представлял заметную пестроту, и это, по-видимому, не удовлетворяло Карамзина. В своем обращении к читателям в последней книжке журнала, сообщая о прекращении его издания, Карамзин обещает, что «Аглая», которая «заступит место Московского журнала. . ., должна отличаться от сего последнего строжайшим выбором пьес и вообще чистейшим, то есть более *выработанным* слогом» [340]. Отчасти, очевидно, эта неудовлетворенность относится и к его собственному слогу. В первой книжке «Аглаи», в предисловии «от сочинителя», Карамзин говорит, что он «желал бы писать не так, как у нас по большей части пишут, но силы и способности

---

[338] «Московский журнал», ч. II, кн. 2, стр. 207—208.

[339] Н. Остолопов. Словарь древней и новой поэзии, ч. 3. СПб., 1821, стр. 33.

[340] «Московский журнал», ч. VIII, декабрь, стр. 336. Само слово *выработанный* в применении к языку, кажется, новшество Карамзина — он выделил его курсивом. Карамзин употребляет выражение *выработанный язык* еще в одной из своих статей в отделе «Смесь» «Московских Ведомостей».

не всегда соответствуют желанию». Не случайно при переиздании своих сочинений — например, в сборнике «Мои безделки», в отдельном издании «Писем русского путешественника», во втором издании «Московского журнала» — Карамзин вносит в текст стилистические исправления. Относительно «Писем русского путешественника» он прямо замечает, что они должны быть «исправлены в слоге» [341]. Но главным образом замечания Карамзина о «более выработанном слоге» относятся к произведениям других авторов. Любопытно, что в следующих своих изданиях 90-х годов — «Аглае», «Аонидах», «Пантеоне иностранной словесности» — Карамзин вообще обходится без сотрудников. Это журналы одного автора (в «Аглае» всего два стихотворения принадлежат не издателю, а в остальных названных нет ни одного такого сочинения).

§ 52. Чтобы показать, как различна была степень овладения «новым слогом» даже у писателей, тяготеющих к нему, полезно остановиться на некоторых переводах Стерна, писателя, чтимого «карамзинской школой». В 1793 г. вышел перевод «Сентиментального путешествия», осуществленный Алексеем Колмаковым [342]. Влияние Карамзина на Колмакова бесспорно. В частности, переводчик подражает — не всегда удачно — перифрастическому слогу Карамзина, например: «Возгорелся огонь — и сердца всего города как сердце одного человека отворили врата любви» (ср. это же место в другом переводе «Сентиментального путешествия», опубликованном в 1803 г. и сделанном, очевидно, П. Домогацким [343]: «Огонь запылал по всему городу, и целая Абдера предалась любви»); «сынов и дщерей нищеты» (в переводе 1803 г. — «нищих»); «[лицо] было трогательно» и др. под. См. также очень неудачные и манерные: «[лицо] имело в себе черты овдовевшего взора» (ср. в переводе 1803 г.: «[она] казалась вдовою»); «я отрыгну чувствие моего сердца» и др.

В переводе Колмакова можно найти целые куски, написанные гладкой, «карамзинской» прозой. Вообще архаические слова, особенно слова «высокие», «громкие», в этом переводе встречаются редко и случайно. И вместе с тем Колмаков пишет так, как Карамзин уже не мог писать. Вот несколько примеров: «пришествие сей мысли» (в переводе 1803 г. — «таковое размышление») [344]; «монах сделал благоговейное покивание главою» («кивнул головою»); «снискивают оный хлеб своим трудом» («достают хлеб трудами своими»); «со всевозможным учтивством» («учтивым образом»); «эти пилюли точно сделаны были по моему предписанию: для того я не мог удержаться, чтобы не принять оных» («Делать нечего! надобно было проглотить пилюлю»; речь идет о том, что

[341] Там же, ч. VIII, декабрь, стр. 337.

[342] «Стерново путешествие по Франции и Италии», ч. 1—3. Перев. с англ. Алексея Колмакова. СПб., 1793.

[343] «Чувственное путешествие Стерна по Франции», ч. 1—2. М., 1803.

[344] Далее в скобках даны соответствия из перевода 1803 г.

рассказчик был вынужден стерпеть колкий ответ своего собеседника); «от нежного чувствования в моей ладони я должен был сделать малые покушения к теснейшему сжатию ее руки» («пальцы мои сжимали механически ее руку»); «загладить худые впечатления противу меня, которые. . . разговор с монахом мог начертать в ее сердце» («каким бы образом себя оправдать»); «Лоренца — так называется толь частоупомянутый францисканский монах»; «она принадлежала к лучшему роду тварей» («существо наилюбезнейшее» — о спутнице Иорика); «по отворении дверей сарая»; «я ничего не вижу, сказал я, что бы могло воспрепятствовать сему так статься»; «я сретился с Смельфунгом на большом крыльце Панфеона» («я повстречался с ним в большом подъезде Пантеона»); «стоял в бездыханном ожидании»; «в случае рогоношения»; «коль великое утешение. . ., сидя чрез всю ночь подле ее, отирать оные [слезы] с ланит первыя и прекраснейшия из жен» («и то будет немалое благополучие, когда во весь вечер буду отирать платком слезы с румяных ее щечек»); «сделал мне помешательство своим поступком»; «в учтивом комплименте женщина. . . сделавши мне небольшую и скромную присядку» («присела»); «событие приключения» [345]; «род полневинного приятного румянца»; «для своего безопасия»; «кто имеет познание о сердце человеческом?» («кто знает человеческое сердце?»); «вшел в горницу» («вошел»; эта параллель встречается несколько раз); «упоминовение» («объявление») и др. Заметим еще, что Колмаков свободно, как вполне нейтральные, в соответствии с нормами старого книжного языка, употребляет *ответствовать*, *толь*, *понеже*, *поелику*, *ниже́*, *толикий* и *толико*, изредка *коль*, *токмо* — разумеется, наряду со *столь*, *потому что*, *такой*, *только* и т. д. См., например: «И понеже пакетбот отправлялся следующего утра в девять часов»; «понеже я решился не умствовать в моем сочинении»; «понеже очень было темно» (*понеже* вообще в переводе Колмакова часто, чаще, чем *поелику*); «монарху толь просвещенного и учтивого народа» («такого честного»; *честный* здесь в устарелом значении «почтенный, достойный»); «держал оную [руку] толь долго, что. . .»; «толь добросердечно» («так дружественно»); «толикого стоило труда»; «коль много легче пера самый тяжелый металл в руках его»; «коль великое утешение»; «совокупный сей крик и плеск не мог родить не токмо равного, но ниже половинного почтения к нему»; «не мог сделать и ниже́ подумать об оном» («не только сделать, но даже подумать»); «я могу ответствовать только за себя одного, — сказал я» («отвечать»); «И что ты можешь ответствовать, Йорик! Сердцу толь наполненному правотою и доверенностью — сердцу толь доброму, толь нежному и толико кроткому» («И тогда, Йорик! что будешь отвечать ты на жалобы сердца, преисполненного к тебе доверенности, сердца доброго, нежного?») и др.

---

[345] *Событие* здесь как имя действия от *событься* (событие чего).

Специальных разъяснений требует описанная в «Сентиментальном путешествии» Стерна история Марии. Исследователи, изучавшие состав «Московского журнала», не обратили внимания на то, что текст напечатанного в журнале отрывка о Марии (ч. II, кн. 2) почти полностью, если не считать единичных и незначительных расхождений, совпадает с переводом Колмакова.

Естественнее всего, следовательно, предположить, что этот отрывок Карамзин получил от Колмакова за два года до выхода перевода всей книги. В таком случае приписывание этого перевода Карамзину (например, А. Неустроевым) надо будет признать ошибочным, тем более, что отрывок этот не включался впоследствии в собрание переводов Карамзина. Можно еще отметить, что рассказ имеет подзаголовок: «Отрывок из Стернова путешествия» — т. е. с тем названием книги, которое дал своему переводу Колмаков (ср. «Чувственное путешествие» в переводе 1803 г., «Чувствительное путешествие» — в книге Я. Галинковского «Красоты Стерна»; см. английское название: «Sentimental journey»). В то же время есть и некоторые основания сомневаться в авторстве Колмакова. Удивляет отсутствие какой-либо подписи под переводом или благодарности издателя лицу, приславшему ему этот перевод: в таких случаях, как правило, помещенное в журнале сочинение принадлежит самому издателю. Заметим еще, что сделанная в тексте перевода сноска, разъясняющая происхождение одной из фраз, подписана буквой К., как всегда подписывал в журнале свои примечания Карамзин. В предшествующем номере «Московского журнала» Карамзин поместил и другой рассказ о Марии — свой перевод (он включался впоследствии в собрание его сочинений) из «Тристрама Шанди» Стерна. В примечании к этому отрывку он писал, что «издатель в следующем месяце сообщит и то, что автор говорит об ней (т. е. о Марии. — *В. Л.*) в другом своем сочинении, «Sentimental journey». Само выражение «издатель сообщит» должно, кажется, свидетельствовать о принадлежности и этого перевода, как и отрывка из «Тристрама Шанди», самому издателю, тем более, что Карамзин не ссылается на какого-либо иного переводчика. Отпадает и сомнение, вызванное названием книги: в примечании к одному из мест в «Письмах русского путешественника» Карамзин также называет эту книгу «Стерново путешествие» («Sentimental journey, Стерново путешествие»); и хотя это написано после выхода в свет книги Колмакова (см. «Аглая», 1794, кн. I, стр. 121), Карамзин не видел ее, о чем свидетельствует его примечание: «Я слышал, что оно переведено на русский и напечатано» (ср. в издании 1797 г., ч. VI, стр. 43, где сняты слова: «я слышал, что»). В этом нет ничего удивительного, если иметь в виду, что перевод Колмакова напечатан в Петербурге. Кстати говоря, тот факт, что Карамзин знает о переводе Колмакова только понаслышке, тоже свидетельствует скорей о том, что он сам переводил рассказ о Марии. Если признать Карамзина переводчиком этого отрывка, то придется допустить, что Колмаков просто включил в свою книгу текст «Московского журнала», сознательно или по недосмотру допустив единичные отклонения от него, например: «бродит около деревни» вместо «бродит кругом деревни», «мать Марии» вместо «мать». Более существенно следующее разночтение: «Он [платок] завернут был очень порядочно в виноградные листы, обвитые виноградным стебельком» («Московский журнал») — «Он завернут был очень искусно в виноградные листы и обвит листовыми жилками» (Колмаков). См. также *через* в «Московском журнале» и *чрез* у Колмакова; отмечу еще разное написание имени *Элизы* — так в «Московском журнале», у Колмакова — *Елиза*. Кстати говоря, одно из разночтений также может свидетельствовать о том, что текст в книге Колмакова списан из «Московского журнала»: в «Московском журнале» название селения, близ которого живет Мария, транскрибируется как *Мулень*; в переводе Колмакова, как правило, *Мулин*; так и в названии главы. Но несколько раз, в тех местах, которые совпадают с текстом «Московского журнала», встречаем и написание *Мулень*, которое могло попасть сюда только в результате механического списывания с другого текста.

Но наиболее любопытные свидетельства связаны с анализом языка этого отрывка. Трудность решения вопроса об авторстве обусловлена тем, что Колмаков стремился писать «по-карамзински». Поэтому любое «карамзинское» слово могло быть и у Колмакова. Таково, например, обычное у Карамзина в «Письмах русского путешественника» и употребленное в обоих переводах из Стерна (из «Тристрама Шанди» и «Сентиментального путешествия») *постиллион*; но оно встречается и в других местах перевода Колмакова, который мог заимствовать его и из «Писем русского путешественника» (см. уже в «Московском журнале», ч. I, кн. 3: «О грубости прусских постиллионов»). Вот еще типичные для Карамзина слова и выражения из «Марии»: «ищущим меланхолические приключения»; «от некоторого соединения материи с движением»; «фимиам сокрушенного сердца»; «Мария пришла в себя»; «сей образ горести был жив в душе моей» (у Колмакова, возможно, по недосмотру, без слова *горести*); «затронуть струну всех ее горестей» (у Колмакова, очевидно, опечатка: *страну*); «любезная чувствительность, неистощимый источник живейших удовольствий и горестей наших»[346]; «пульс мой бьется так томно» и т. д. Можно назвать еще частые у Карамзина слова *внутренность* («вся внутренность моя была в движении»), *подгорюнившись* («сидела она подгорюнившись»). См. еще типичный для Карамзина синтаксический оборот: «потом я свои [слезы] обтер — потом опять ее — потом свои»; ср. в переводе из «Тристрама Шанди»: «Томно посмотрела на меня, потом на свою козу, потом опять на меня, и опять на свою козу». Все это могло бы служить доказательством принадлежности перевода Карамзину, если бы было невозможно для Колмакова. В таких случаях важную роль играет анализ степени последовательности в употреблении тех или иных слов или выражений. Естественно, что такие слова, как *столь*, *только*, *потому что*, *этот*, *который* не могут быть чуждыми Колмакову; но в книге Колмакова встречаются, наряду с названными словами, и *толь*, *понеже*, *поелику*, *токмо* — и то, что в рассматриваемом отрывке такие слова не встречаются ни разу, может свидетельствовать против авторства Колмакова.

И так во всем. Здесь нет ничего, что не могло бы быть у Колмакова, и это как будто не дает права считать автором Карамзина. Но настораживает то, что эта глава написана слишком чисто, отличаясь этим от книги в целом. Заметим еще (это уже не относится к лексике), что в рассказе о Марии нет очень частых у Колмакова, хотя и не исключительных, деепричастий на *-вши*; см., например, в разных местах книги: «приехавши в Париж», «протянувши свою руку», «вставши», «скончавши», «прослушавши», «сказавши», «отсчитавши ей деньги», «перервавши сам себя» и т. д.; ср. в «Марии»: «сказав сие», «не сказав ни слова», «велев», «развернув», «скончав», как это обычно у Карамзина.

Язык рассказа о Марии, следовательно, обладает некоторыми отличиями от языка перевода Колмакова, но не наличием чуждых ему слов или форм, а последовательностью, выдержанностью новых форм словоупотребления — а это, как видно из предыдущего, обстоятельство для того времени очень существенное.

Надо заметить еще, что славянизмы, вообще книжные и высокие слова, встречающиеся в рассказе о Марии, принадлежат к тем, которые не чужды Карамзину в определенных стилистических условиях; таковы *агнец*, *воссылал к богу свою молитву*, *елей и вино*, *изливаемые*, не говоря уже о таких, как *на самых хладных горах*, *ветр*; единственное, кажется, слово, способное вызвать сомнение в этом контексте, — это *дражайший* («дражайший Евгений»), вместо которого Карамзин предпочитал (но не исключительно) *любезный*.

Таким образом, в этом отрывке есть многое, что типично для Карамзина, и нет ничего, что было бы ему несвойственно. По всей вероятности, этого

---

[346] См. у Карамзина в переводе «Вечеров» Мармонтеля: «живейшим источником приятностей», впоследствии выброшенное.

достаточно, чтобы признать рассказ переводом Карамзина. Отсутствие этого отрывка в числе собрания переводов Карамзина может быть объяснено именно появлением его в составе книги Колмакова, вообще существованием этой книги.

Как мы видели, несмотря на явное влияние новой литературной школы, следы старых «докарамзинских» норм книжного языка в переводе Колмакова «Стерново путешествие» довольно значительны; приведенные выше сопоставления с переводом Домогацкого говорят о том, что последний дальше от этих старых норм, но это скорее лишь отражение десятилетнего промежутка между этими двумя переводами, чем свидетельство разных стилистических устремлений. Более того, если брать язык и стиль перевода 1803 г. в целом, то он окажется даже кое в чем дальше от Карамзина, чем язык Колмакова. Здесь менее освоена, как мы уже видели, перифрастическая фразеология «нового слога». В отличие от перевода Колмакова, явно стремившегося выдержать среднюю литературную норму и избегать просторечия даже в местах шутливых, Домогацкий свободно обращается иногда к просторечию и простонародной лексике и фразеологии. Вот некоторые примеры: «рыская по всему свету»; «меня всегда бесит, когда. . .»; «здравствуйте, земляки, куда вас бог несет»; «эдакую коляску»; «я не слишком мастеровато управлял шпагою»; «увидел барыню, которую монах подцепил на дворе»; «чорт возьми эти проклятые ключи! — кричал г. Досейн»; «провал его побери»; «пересказал все до крошки»; «все эти выгоды чаще обращаются навыворот»; «вы напеваете о любви своей»; «я старался всячески выкарабкаться из сего ненавистного положения»; «вот сюда-то и прикатит пригоженькая графская сестричка»; «Лафлер стал в пень» [347]; «что ни писал, все была такая нескладица, такая чепуха»; «умер со смеху»; «Лафлер прибежал ко мне благим матом»; «я вытаращил на нее глаза» и др. под. Во всех этих случаях в переводе Колмакова — нейтральная литературная лексика. См. еще такие параллели: «она так тихо от меня уплелась, что я и не слыхал того» (в переводе Колмакова: «она между тем неприметно вышла на улицу»); «сердце мое надрывается с досады, когда вспомню. . .» («но скорбь объемлет мое сердце»); «в дураки записал» («сделал помешательство»); «вот и на нашей улице праздник» («тогда будет моя очередь»); «какого рода любовницу подцепил ты в такое короткое время» («какую ты любовницу. . . мог найти в Париже в толь короткое время»); «намалевать» («срисовать») и др.

В то же время перевод 1803 г. не свободен и от слов архаичных, книжных: «раждают толикие между ними распри»; «поелику причины их путешествия не одинаковы с причинами других путешественников»; «провождая ее»; «Правосудный боже! коль

[347] Это выражение встречается у разных авторов: в частной переписке, мемуарах и других текстах, отражающих живую разговорную речь (например, у Болотова, Державина).

непостижимо соединил ты нищету с обходительством»; «вопияло мое сердце»; «толь бесстыдное выражение»; «толь прекрасная земля»; «при воззрении на Лизавету» и др. См. еще такие неуклюжие фразы, как «отнятие руки таким постоянным образом терзало мою душу»; «она [подаренная монахом табакерка] воспомоществует моему разуму возвышаться превыше всего бренного» и под. Вместе с тем, как и у Колмакова, многие места написаны здесь чисто и гладко, а отдельные выражения и слова прямо указывают на влияние «нового слога», например: «сделалась общей участью всех земных владык»; «проглотить пилюлю» [348], «она была главным предметом всех разговоров»; «разделить мою нежность с другой» и под. См. еще такие выражения: «встреча моя с нею возобновила во мне прежнее впечатление»; «оставляю на догадку чувствительным»; «жизнь его была сцепление различных горестей».

Очень любопытны как показатель противоречий, связанных с развитием «нового слога», переводы произведений Стерна, осуществленные Я. Галинковским и собранные им в книге «Красоты Стерна» (М., 1801). В переводах Галинковского, довольно известного в свое время писателя и журналиста (он издавал журнал «Корифей или Ключ литературы»), видно — правда, как в кривом зеркале — влияние стилистики новой литературной школы. Вот, например, несколько фраз из его предисловия к книге: «В Англии все знают Стерна — все удивляются его *характеристике* (курсив везде принадлежит Галинковскому. — *В. Л.*) — сему особливому некоторому роду изображать малейшие движения сердца в обращении, в домашнем быту — сей неподражаемой, беспритворной *чувствительности*, любви к человечеству — сей *волшебной точке зрения*, из которой описывает он все предметы. . . Он стоит наряду с Попом, Свифтом, Юмом, Томсоном и другими как *жени* [349],

---

[348] Впрочем, здесь это непосредственно вызвано оригиналом.

[349] *Жени* — точная передача франц. genié — слово, излюбленное у Галинковского. Он его употребляет также в приложенной к его книге биографии Стерна: «превосходный жени» (и объясняет значение этого слова как «писатель с необыкновенными дарованиями»); «здесь лежит жени и ум и нежность с Стерном» — перевод эпитафии Гаррика (англ. genius, wid and humour; «слово *гюмор* не выразимо на нашем языке», — замечает Галинковский). *Жени* встречается несколько раз в его «Корифее», и даже сопровождается специальным объяснением: «Genié — жени, гений, лично-особенное дарование, дух великий, недостигаемый творец оригинальный», — и далее автор пишет: «Оставляю знатокам и любителям языка своего придумать на русском сие слово и сообщить оное, когда угодно будет, в журнал» («Корифей или Ключ литературы», кн. 2. СПб., 1803, стр. 15). Рецензент «Северного вестника» неодобрительно отмечает пристрастие Галинковского к этому слову. Слово это не новое, его упоминает еще Сумароков в статье «О истреблении чужих слов из русского языка» (Белинский заметил, что «под *жени* Сумароков понимал *остроумие*» — В. Г. Белинский. «Речь о критике» А. Никитенко. Статья II. Полн. собр. соч., т. VI, стр. 316). *Жени* в 80-е годы употребляли, очевидно, в кругу Новикова; оно, например, встре-

как превосходный писатель; но как сантименталист (в сноске поясняется, что «сантиментальность значит: тонкая нежность и подлинная чувствительность». — *В. Л.*) — он первый, или лучше начальник своей секты. . . Одно число изданий заключить может параграф всей этой похвалы о красотах Стерна» и т. д.

В произведениях Галинковского легко обнаружить пристрастие к «чувствительному» содержанию и отсюда — к соответствующей лексике и фразеологии. В предисловии к другой своей книге, «Часы задумчивости» (М., 1799), он пишет: «Если читатели не найдут в сочинении моем той нежности, того выражения, той привлекательности, которыми прославились новейшие наши сочинители, то пускай припишут рассеянности и образу моего состояния, которое слишком удалено от спокойствия кабинетной музы». В самом тексте этой книги найдем такие места: «О! коль приятно взирать на кротость сияния твоего, когда, востекая на горизонте верху высоких древес, осеняющих священное место ограды Н. Н., переломляешь ты сребристые лучи свои в зыблющихся волнах канала» и т. д.; «красные и опухлые ресницы еще были влажны от моих слез — а когда мужчина плачет, то надобно думать, что он чрезвычайно тронут» и др. под. (хотя в предисловии к «Красотам Стерна» Галинковский иронически отзывается о тех, кто «слишком пристрастился проповедовать свою *чувствительность* при всяком кусточке», и ставит им в пример Стерна, который «глядит на сцену света не одними заплаканными глазами, но изливая свои чувствования к пользе отчужденного суетами мира сего *ближнего нашего*») [350].

Галинковский довольно свободно — как это отчасти видно и из приведенных фраз — пользуется иностранными заимствованиями, получившими хождение в последнее десятилетие; можно даже сказать, что он несколько демонстративно щеголяет этими словами; вот некоторые примеры из книги «Красоты Стерна»:

чается в письмах А. Петрова и Карамзина, в предисловии Карамзина к его переводу «Юлия Цезаря». Встретилось оно и в первой публикации «Писем русского путешественника» — в рассказе об «Эстетической лекции» Платнера (Лейпциг, 16 июля 1789): «Он говорил о великом духе или о *жени*. Жени, сказал он, не может заниматься ничем, кроме важного и великого» («Московский журнал», ч. II, кн. 3, стр. 312). Однако позднее, уже в 90-е годы, оно полностью вытеснено в языке Карамзина словами *гений* и *великий дух* (grand esprit). Внесена была поправка и в текст «Писем русского путешественника»: уже в первом отдельном издании — в 1797 г. — *жени* заменено словом *гений*.

[350] Не касаюсь подражания самой художественной манере Карамзина, например, приему резкого обрыва лирических «чувствительных» контекстов прозаическими концовками, который часто встречается в «Письмах русского путешественника». Например, у Галинковского в рассказе «Шлюбка» («Часы задумчивости») после такого чувствительного излияния («сладкий сон под звездою Ореяд увенчает главу вашу благотворительными своими маками») следует концовка: «Я поклонился им — и ушел домой».

«глядя на *сцену* света» (см. резкие выражения Шишкова против употребления этого слова); «все *генерально сожалели* в полку» (ср. в «Московском журнале» перевод этой же фразы «. . . были *предметом сожаления* всего полку»); «по *интриге* сельского пастора» (ср. в «Московском журнале»: «*происками* своими»); «музыка *дает такт трудолюбию*» (ср.: «поселяне *по музыке работают*»); «прочее в его абрисе может быть легко окончено несколькими *штрихами*», причем последнее слово поясняется в скобках: «чертами» (в переводе Колмакова проще: «прочая его внешность изображена быть может в немногих строках»); «я имею в голове проект» (в «Московском журнале»: «у меня в голове предприятие»); к слову *связь* переводчик приписывает ligament. Употребляя слово *самолюбление*, Галинковский поясняет его через *эгоизм*. В книге «Часы задумчивости» Галинковский часто поясняет русские слова французскими, например: *подножие* (piedestal), *притяжательный камень* (l'aimant), *чувствия* (sentiments; см. еще в переводе из Стерна: «великое хранилище чувствий [sensorium]»); *черты* (esqusie), *беседа* (compagnie), *общество* (public), *сестра* (cousine); к выражению «тайное влечение» дается в сноске *симпатия* и т. д.

Следы влияния «нового слога», как видим, здесь довольно значительны. И вместе с тем отчетливо видны отличия языка переводов и сочинений этого «карамзиниста» от языка Карамзина. И дело не в том, что даже самые «чувствительные» места звучат здесь нередко тяжело, неуклюже, без той легкости и естественности, которая свойственна Карамзину, — сказывались здесь разница в даровании и в уровне развития вкуса. (См., например, в переводе из «Тристрама Шанди»: «с таким голосом, с таким взглядом, сообразным чувствительному сердцу» — ср. в «Московском журнале»: «таким трогательным голосом и с таким жалким видом»; в переводе из «Сентиментального путешествия»: «струна, до которой я дотронулся, отозвалась всеми ее злополучиями» — ср. в «Московском журнале»: «тронул я струну всех ее горестей»; в переводе 1803 г. эта фраза переведена очень плохо: «я коснулся до той струны, к которой прицеплялись все ее горести»). Но переводы Галинковского демонстрируют и тот факт, что стремление овладеть стилистикой «нового слога» и новшествами в самом языке не означает еще усвоения новых н о р м словоупотребления, в частности — понимания пределов употребления архаических слов, понимания границ и состава самой этой лексики. В этом отношении язык в переводах Галинковского из Стерна заметно уступает переводам Колмакова и Домогацкого, не говоря уже о переводах Карамзина [351]. Вот некоторые примеры: «одно напы-

---

[351] Удивительное отсутствие вкуса и пестрота слога вызывали резко отрицательное отношение к языку Галинковского со стороны карамзинистов; см., например, уничтожающую критику языка издаваемого Галинковским журнала «Корифей или Ключ литературы» в «Московском Мерку-

щение слов!» (в «Московском журнале», в рассказе о Марии, это же место выглядит так: «пышные, пышные слова»; в книге Колмакова — «какие пышные слова!»); «когда единый влас с главы упадет» (в «Московском журнале»: «волос с головы нашей падет на землю»); «взирающего на него» («смотрящего»); «мир тебе, великодушный пастырь» («пастух великодушный»; так же и в переводе 1803 г.); «удаляется с воздыханием» («с горестью»); прими вино и елей, кои сострадательный иноземец. . . низлиет на раны твои» («да облегчат скорбь твою елей и вино, изливаемые сожалением странника на раны твои»); «существо, двоекратно поразившее тебя, единое токмо может уврачевать сии язвы в вечности» (ср. в «Московском журнале»: «тот, кто дважды поразил тебя, может один исцелить оные навсегда»; ср. здесь *единое токмо — одно*, *уврачевать — исцелить*, *в вечности — навсегда*. Но в переводе 1803 г. еще проще: «существо, тебя создавшее, в силах и исцелить тебя») [352], «никогда не чувствовал я такой болезни [353] сердца» («сострадательной любви»). Вот еще некоторые параллели из разных переводов «Сентиментального путешествия»: у Галинковского — «щедролюбив» (у Колмакова — «щедр»); «потупляющего взоры долу» («потупляющего глаза свои в землю»); «из очей его» («глаз»); «простирал очи свои горé» («глаза его смотрели вперед»); «будто бы соглядали они нечто долее [предметов] мира сего» («смотрели»); «в сей позитуре» («положение тела», в переводе 1803 г. — «фигура»); «положив шуицу свою на грудь (в правой у него была палочка)» («левую руку», так же и в переводе 1803 г.); «вопиющих и стужающих нам» («прошаков»; в переводе 1803 г. — «попрошаек»). Ср. также несколько примеров из рассказа о Лефевре из «Тристрама Шанди» (этот отрывок переводился неизвестно кем в свое время и в «Московском журнале»): «в рассуждении раненого капралова колена. . . дядя мой. . . никогда не позволял стоять капралу» (ср. в «Московском журнале»: «из уважения к изувеченной ноге его») [354]; «это причиняло между ними большие размолвки» («от чего происходили между ими размолвки»); «рука смерти отяготела на веждях их» («рука смерти уже давила

рии» П. И. Макарова (ч. III, июль) и его защиту — впрочем, весьма умеренную — в «Северном вестнике», 1804, ч. II.

[352] Любопытен следующий пример, свидетельствующий об упадке церковнокнижной традиции в обществе: фразу «виждь, яко раб твой есмь аз», Галинковский сам разъясняет по-русски: «подумай, что я твой слуга».

[353] См. замечание Шишкова: «*Болезненно* тоже славенское; ибо мы в просторечии не говорим: *мне болезненно*, а говорим *больно*, *тяжело*, *досадно* или тому подобное» («Рассуждение о красноречии священного писания», стр. 67).

[354] *В рассуждении* (чего или кого) употребляет и Карамзин, но более строго — в значении «относительно чего или кого-нибудь; что касается чего или кого-нибудь», например: «помнить должности свои (т. е. свои обязанности, свой долг. — *В. Л.*) в рассуждении меня» (перевод «Вечеров» Мармонтеля).

его вежди»; эта часть отрывка выдержана в полушутливом тоне); «изъявляла всю доброту его сердца» («показывала») и др.[355]

Произведения типа переводов Колмакова скорее говорят о влиянии «нового слога», чем о противодействии ему. Не говоря уже об усвоении некоторых слов, выражений и отчасти стилистической манеры «карамзинской» прозы, они демонстрируют стремление к освобождению как от тяжеловесной архаики ученого и приказного слога, так и от стилистически неоправданного употребления слов высокого стиля — наиболее типичных черт старого книжного «славяно-русского» языка. В то же время здесь ясно видны трудности и противоречия развития литературного языка, особенно связанные с употреблением тех «нейтральных» элементов книжного языка, которые постепенно вытеснялись из литературного обихода. Эти трудности и противоречия будут ощущаться еще довольно долго, всю первую четверть XIX в.; но важно подчеркнуть, что отражение «нового слога» надо видеть в 90-е годы XVIII в. (да и далее) не только в таких совершенных произведениях, как повести и статьи Карамзина, но и в произведениях тех авторов, которые не обнаруживают в своем языке такой последовательности в овладении новыми нормами.

§ 53. Уже переводы Галинковского показывают серьезные различия в понимании норм литературного языка — даже среди литераторов, не враждебных «новому слогу» и новому направлению в развитии литературы, но освоивших и принявших эти нормы в разной степени. Но если сопоставить эти несовершенные и непоследовательные подражания с произведениями представителей «старой школы», то станет ясно, что, несмотря на непоследовательность и заметное влияние традиции, литераторы типа Колмакова, Домогацкого или даже Галинковского все же ближе к «новому слогу», чем к старому книжному языку, что между «старым» и «новым» слогом (как этот последний представлен у Карамзина или у писателей его круга) существуют, так сказать, промежуточные, переходные «разновидности», значение которых особенно важно как показатель движения, развития литературного языка, как свидетельство тех сдвигов, которые происходят в литературе.

Особенно убедительны такие сравнения при сопоставлении текстов, близких по содержанию. Бесспорно, что карамзинские преобразования языка и слога тесно связаны с его литературной позицией, его художественной практикой. Но не следует представлять себе дело так, что сентиментальное содержание произведений Стерна или других представителей сентиментализма механически влекли за собой отказ от «славяно-русского языка», от

---

[355] Некоторые переводы Галинковского ранее печатались в журнале «Иппокрена» и выглядели еще более архаично. Переводчик сообщает, что, издавая книгу, он улучшил свои старые переводы. Характер этих исправлений тоже заслуживает внимания.

влияния высокого стиля. Мы уже видели ранее — на примере Фонвизина, Радищева, Хераскова, что «чувствительное» содержание можно было передавать очень архаичным языком и торжественным слогом: патетика вообще не чужда литературе сентиментализма.

В этом отношении любопытные результаты дает сопоставление двух переводов переписки Иорика (Стерна) и Элизы Драпер: Г. Апухтина (1789) [356] и А. Колмакова (1793) [357]. Как мы видели, недостаточная последовательность, а может быть и просто отсутствие вполне развитого вкуса, наконец, весьма посредственные литературные способности переводчика — все это не делает перевод Колмакова таким ярким образцом «нового слога», как произведения Карамзина. Поэтому сравнение переводов Апухтина и Колмакова будет не столь разительным, но, может быть, поэтому еще более показательным [358].

В переводе Колмакова встречаются порой очень неуклюжие, тяжелые, совсем «некарамзинские» куски, например, вроде таких: «сколь достоин тебя этот план жизни, который ты к препровождению твоего времени начертала»; «проповеди проистекли пламенной рекою из моего сердца»; «наилучшее врачевство»; «приращение скорбей»; «учинись достойною такого супруга»; «крепость к понесению всех опытов» и мн. др. См. также: «он не чувствует всей цены толь милого творения, как ты»; «того существа, которое мы толь разумно избрали вечным твоим другом»; «коль ужасна» и т. д. Приметы старой традиции здесь, следовательно, достаточно ощутительны. Но если сопоставить этот перевод с переводом Апухтина, то станет ясно, что это разные тенденции и разные периоды развития литературного языка. Сравним, например, приведенное выше: «проповеди проистекли пламенной рекою. . .» и: «проповеди исшли с жаром из моего сердца» (и далее: «принятие оных равнодушнее для меня будет»; ср. у Колмакова: «я равнодушнее к их приему»); «наилучшему врачевству» соответствует у Апухтина «целительнейшее из крепительных врачеваний»; «толь милое творение» — «толиких приятств исполненное творение». Нежные излияния Элизы и Иорика звучат у Апухтина так: «я не знаю, как учинилось сие, но чувствую, что совсем почти объят любовью к тебе»; «мои слезы были удовольственные»; «сердце мое. . . изливалось вкупе с ручьями»; «воспомяни, дра-

---

[356] «Письма Иорика к Елизе и Елизы к Иорику». Перев. с франц. Гавриила Апухтин. М., 1789.

[357] В кн.: «Стерново путешествие по Франции и Италии», в 3-х частях, ч. 3. СПб., 1793.

[358] Важно еще заметить, что Колмаков, по всей вероятности, пользовался переводом Апухтина и справлялся с ним; об этом свидетельствуют многочисленные совпадения такого рода, которые трудно объяснить как независимый перевод. Если это так, то различия перевода Колмакова и Апухтина приобретают еще большее значение.

жайшая Елиза»; «скорби, могущие воспящать благоденствию Елизы»; «о признательная и добродушная девица»; «да не замедлит румяность роз расстилаться по лицу твоему и да украсятся паки уста твои цветом яхонта»; «вящшая горячность»; «слепая горячность [к кому-либо]»; «о совокуплении на лице твоем всех прелестей, коими обладаешь»; «красы твои не усугубятся вспомоществованиями шелкового червя и алмазика»; «позволь мне, яко предмету любезному, обворожать воображение твое во время сна» (в последнем примере любопытно соединение относительно новой для русской литературы фразеологии с архаикой и канцелярским слогом, см.: *яко предмету любезному*); «такою небесною тварию, какова ты» и под.

Колмаков, пусть даже не вполне усвоивший нормы «карамзинской школы», так все же писать уже не может. Вот соответствующие параллели к приведенным фразам из его перевода: «Не знаю, как это сделалось, только я почти влюблен в мою Элизу» (ср. *учинилось — сделалось, объят любовью — влюблен*); «то были слезы удовольствия»; «сердце мое. . . выливалось из глаз моих»; «припомни, любезная Элиза» (ср. *дражайшая* и *любезная*); «скорби, прерывающие блаженство дней Элизы» (ср. здесь канцелярское и архаическое *воспящать* и несинонимичное ему *прерывать*; замена *благоденствия* сочетанием *блаженство дней* тоже весьма характерна); «признательная добрая дочь»; «скоро да возвратятся розы на твои ланиты и цвет рубина на твои уста»; «становилась горячее»; «слепое пристрастие»; «собрать на лице твоем все прелести, коими ты обладаешь»; «не получишь никакой выгоды ни от шелкового червя, ни от руки ювелира»; «дай мне, как милой тени, посещать воображение твое»; «таким небесным творением как ты».

В переводе Колмакова, таким образом, менее свободно и, главное, обычно (хотя и не всегда) более мотивированно употребляется высокая «славенская» лексика. Кроме приведенных примеров, можно назвать еще такие соответствия, как: «при восстании твоем» — «при пробуждении твоем»; «прииди навестить Елизу» — «приди навестить Елизу» (если это не орфография); «О дщерь моя!» — «О дочь моя» (см. еще: «принятую дщерь твою» — «усыновленной дочери»); «учинили бы ее [старость] наивожделеннейшим возрастом всей жизни» — «сделали б ее желательнейшим периодом жизни»; «отженилось бы от меня опасение бурной стихии» — «не было бы для меня страха»; «отжени от меня, о боже, грех роптания» — «о сохрани, боже, от греха роптания»; «почто желаю я» — «зачем желать мне»; «рука моя так содрагается» — «дрожит»; «возлюбить» — «любить»; «Елиза хощет обращаться» — «может обратиться»; «начертай для ежедневного твоего утешения на скрыжалех сердечных сию истину» — «впечатляй глубоко в сердце свое»; «преоборать пучину» — «бороться с волнами»; «призри на сокрушения несчастной отро-

ковицы» — «призри на скорби бедной Елизы»; «обратить зрак» и «устремить зрак» — «глядеть»; «восхочешь. . . совокупиться с ветреным и молодым сластолюбцем» — «захочешь. . . соединиться с молодым и распутным ветреником»; «душа. . . пребудет всегда во младости» — «всегда молода»; «отверзает сердце свое» — «раскрывает»; сердце «без покрова, в совершенной откровенности» — «без покрышки, во всей его открытности» и др. Особого замечания заслуживает выражение «бог внушил мнение мое», где *внушить* вместо *услышать* (как это и находим в переводе Колмакова).

Перевод Колмакова, далее, менее насыщен свойственной языку Апухтина приказной лексикой. Ср., например, кроме упоминавшихся выше: «возыметь мнение» — «мыслить», «мнить себя неспособною» — «считать», «в таких углубленных летах» — «в такие лета», «страдание, претерпенное мною» — «мучения, которые я сносил», «сотовариществовала в путешествии» — «была спутницей», «благорассуждение» — «здравый рассудок», «мое незабвение» — «мое напоминание», «приятство» — «приятности», «влиять в тебя часть сего тщеславия» — «уделить тебе частицу той гордости», «восприять худое мнение, не будучи подвигнута на то основательными причинами» — «думать худо, не имея на то причины» (ср. здесь: *восприять худое мнение — худо думать*; *подвигнут причинами — имея причины*), «раболепствовать подозрению» — «быть рабом подозрения», «размышления, кои вперит в меня задумчивость» — «рассуждения, которые вдохнет мне моя меланхолия», «препоручила исправление нужд» — «поручила комиссии», «пребыть уверительным» — «быть уверенным», «потщусь» — «постараюсь», «с учтивством» — «вежливо», «веселонравие» — «веселость», «достопочтенные свойства» — «достойные качества» и под. Приведу еще выразительный пример из письма Элизы. В переводе Апухтина это место звучит так: «Лестнейшие похвалы, каких токмо писатель надеяться может, суть воздыхания и слезы его читателей. Великое же число таковых похвал воздавала я тебе». А вот как переводит эту фразу Колмаков: «Величайшая похвала для автора — вздохи и слезы читателей; сколько ж похвал сего рода надавала я вам».

Постоянны в переводе Апухтина слова *учиниться* [359] и *соделаться* (у Колмакова обычно, но не всегда, им соответствует *сделаться*), *доколе* (пока), *токмо*, *коликий*, *пребыть*, *яко*, *таковой* — в переводе Колмакова слова эти встречаются намного реже, а некоторые и совсем не употребляются (но вполне обычно *толь*).

Перевод Колмакова отличается от апухтинского также и более свободным владением европейскими заимствованиями. Апухтин употребляет слово *поднебесность*, вместо которого у Колма-

---

[359] См. даже в предисловии к переводу: «Все выгоды Елизы учинились ему столь же драгоценными».

кова *климат* (ср. «непостоянство поднебесностей» — «переменчивость климатов»; в другом месте «грозной поднебесности» соответствует «бурное небо»); Апухтин пишет *оклад лица* там, где у Колмакова *овальность*; *согласные звуки* (фортепьяно) вместо *гармония*, как у Колмакова; выражением *обряды общежития* передается у Апухтина то понятие, которое в переводе Колмакова передано словом *этикет* (см. чисто «карамзинское» сочетание «хладные предписания» применительно к этикету; у Апухтина — «спи чудные правила»).

Еще более показательно, естественно, сопоставление переведенного Апухтиным и приложенного им к переписке Иорика и Элизы жизнеописания корреспондентки Стерна Элизы Драпер, принадлежащего аббату Рейналю [360], с переводом этого же жизнеописания в «Московском журнале», подписанным буквой И (этой буквой подписывался обычно в «Московском журнале» И. И. Дмитриев) [361].

Отличия этих двух переводов разительны: тяжеловесный, архаичный, насыщенный славянщиной и элементами канцелярского слога перевод Апухтина и «карамзинский» текст «Московского журнала» кажутся написанными в разные эпохи. Здесь демонстрируется совершенно различное представление о литературной норме, о характере книжного языка (и это несмотря на то, что проза Дмитриева никогда не достигала той чистоты и свободы от архаических элементов, как проза Карамзина). Там, где в «Московском журнале» написано «трогал иногда», Апухтин пишет «подвизал ко умилению» (ср. еще «трогательные страницы» и «жалостнейшие строки»); «Она-то воспламеняла тебя в сочинениях твоих» — так в переводе «Московского журнала» автор обращается к Стерну, а в переводе Апухтина это звучит: «Елиза вперяла тебе сочинения твои». Об Элизе в переводе Апухтина говорится, что она была одарена «женскими приятствами»; в «Московском журнале» — что она «приятней всех женщин на свете» (и в других местах этих переводов встречается параллель *приятства — приятности*). Сравним еще такие места в этих переводах (первым приводится перевод Апухтина): «подвизала к общему участию» — «привлекала»; «ее ко мне горячность» — «нежность ее ко мне»; «Елиза оставила отечество, родственников, друзей, дабы воссесть подле меня и жить с моими» — «чтобы жить со мною и между моими» и т. д. В переводе Апухтина встречаем *всеконечно*, *возмогло*, *токмо* (и *только*), *восплакала* — чему в «Московском журнале» соответствует *конечно*, *могло*, *только*, *про-*

[360] «Похвальное слово Елизе Драпер». — В кн.: «Письма Иорика к Елизе и Елизы к Иорику».

[361] «Похвала Элизе Драпер. . .» («Московский журнал», ч. VI, кн. 1, 1792). См. в письме Карамзина Дмитриеву, где он благодарит последнего за присылку перевода жизнеописания Элизы Драпер («Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», стр. 16).

ливала слезы. Апухтин может употребить такое сочетание как *учинить впечатление* («впечатление сие учинила она в Индии, и впечатление сие сопутствовало ее и в Европу»; ср. в переводе «Московского журнала» — «пленяла в Индии, пленяла и в Европе»); *усовершить потерю* («усовершил бы я потерю оного» [рассудка]; в «Московском журнале»: «совсем бы его лишился»); *восприять бытие* (например: «в тебе [городе] Елиза восприяла бытие»; в «Московском журнале» просто — «Элиза родилась в тебе»). Любопытна такая фраза из перевода Апухтина: «Всеконечно, влиянию счастливой твоей поднебесности обязана она [Элиза] почти несовместным согласием роскоши и благочиния; каменосечец принял бы ее образцом для изваяния роскоши». В переводе, помещенном в «Московском журнале», не *всеконечно*, а *конечно*, вместо *влияния поднебесности — влияние климата* (как и в переводе Колмакова), *согласие роскоши и благочиния* передано словами *соединение чувственного жара и благопристойности*, второй раз слову *роскошь* соответствует *сладострастие*; нет здесь, разумеется, и искусственного *каменосечец*, вместо которого — *ваятель*; вместо *принять образцом* в переводе «Московского журнала» более современное *взять за образец*. Из других особенностей перевода Апухтина можно еще отметить *витийство* — в положительном смысле, о качествах слога Элизы — в «Московском журнале» здесь *красота*, *отречься* в значении «отказаться (сделать что-либо)»; например: «не отреклась прославить имя твое»; *обретаться* в риторическом восклицании, выражающем горесть по поводу смерти Элизы: «Но где обретается та. . .» и т. д. — в «Московском журнале» здесь «Но где та. . .». И в переводе «Московского журнала» есть некоторые элементы риторического, высокого слога, они призваны передать высокие и благочестивые размышления автора и касаются предметов возвышенных: «се знамение вовеки живущего творческого духа»; «сии образы да поощряют тебя непрестанно быть защитником человечества»; «зри сего бессмертного феникса» и некоторые другие. Стилистическая окраска (и стилистическая роль) таких отрывков вполне определенна, они не сливаются с остальным повествованием. В переводе Апухтина, как мы видели это и в других случаях, они выдержаны в том же книжно-архаическом тоне с сильным налетом канцелярского слога: «оный есть» (в «Московском журнале» — *се*), «да подвигнут тебя изображения сии сделаться защитником человечества» и т. д.

Некоторые стилистические процессы первых десятилетий XIX в.
(предпушкинский период)

Судьба книжного элемента в литературном языке начала XIX в.

§ 54. В «карамзинских преобразованиях» надо различать, с одной стороны, я з ы к и, с другой — с л о г в узком смысле этого слова, как своеобразную стилистическую манеру, тесно слитую с сентиментализмом как литературным направлением. На необходимость различения этих двух сторон языковой реформы конца XVIII в. указывал еще Я. Грот в своей известной работе о Карамзине. Он же отметил, что в спорах карамзинистов и шишковистов это не было осознано, что сами спорящие «говорят о слоге вообще, то есть в обширном смысле, разумея и слог собственно и язык» [1]. В настоящей работе вопросы «собственно слога» оставлены в стороне. Это может стать предметом специального исследования, целью которого явится изучение развития стилистики художественной речи XVIII — начала XIX в. Впрочем, здесь есть и точки соприкосновения с проблемами самого языка: перифрастический слог, изысканная салонная фразеология Карамзина отражены не только в художественной литературе, но наложили отпечаток на весь строй карамзинской речи. Именно здесь стилистическая ограниченность и недемократичность «карамзинской реформы» сказались с особенной отчетливостью. Тем не менее, эти вопросы имеют свою специфику, выводящую их за пределы задач, поставленных в настоящей работе. Есть, однако, область, где слог писателя неотделим от его языка. Ведь в понятие слога входили не только художественные приемы и способы изображения и даже не только принципы применения языкового материала в художественной литературе, но и самый этот я з ы к о в о й м а т е р и а л, е г о с о с т а в, е г о г р а н и ц ы.

---

[1] Я. Г р о т. Карамзин в истории русск. лит. языка, стр. 99.

Это связано со спецификой языка художественной литературы в рассматриваемое время, отражает его положение в системе литературного языка. Об этом далее будет сказано подробнее, сейчас важно лишь подчеркнуть, что это «языковое» содержание понятия с л о г неотделимо от характера литературного языка в целом. Необходимость различать в «преобразованиях» Карамзина проблемы языка и слога означает в этом смысле — применительно к лексике — отграничение литературной лексики как нормы общенационального словоупотребления (учитывая и стилистические варианты и разновидности в пределах этой нормы) от лексики, выполняющей специальные художественные функции. И хотя в принципе и то и другое подчинено у Карамзина и карамзинистов единому общему критерию, первое оказывается величиной более постоянной, чем второе. Обращение к новым видам литературы или возврат к некоторым традиционным жанрам, слабо отражаясь на общем характере литературной нормы, могли д о н е к о т о р о й с т е п е н и влиять на состав и способы употребления стилистически выразительных средств языка.

С этой точки зрения надо рассматривать некоторое усиление «славенского» элемента в произведениях Карамзина первых десятилетий XIX в. Сентиментализм начала века, развиваясь в некоторых своих ответвлениях в сторону национально-исторической, «героической» тематики, испытал влияние «неоклассических» тенденций, о существовании которых в александровскую эпоху не без основания говорят современные литературоведы [2]. «Идеи сентиментализма, поднятые на уровень героики, — писал Н. И. Мордовченко, — действительно, вели к возрождению классицизма, но в тех новых формах, которыми характеризуется неоклассицизм александровского времени» [3]. Кроме таких произведений Карамзина, как его «Марфа Посадница», «История Государства Российского» и некоторые другие, выразительным показателем этих сдвигов в литературе «карамзинского» направления могут служить исторические элегии Жуковского, Батюшкова, юного Пушкина и другие литературные явления этого времени. Естественно, что этот процесс отразился на словарном составе произведений этого рода. Некоторые современники (например, Вяземский, Греч) отмечали, что в «Истории Государства Российского» Карамзин преодолел свойственную ему ранее недооценку книжной, церковнославянской и древнерусской стихии; противники Карамзина утверждали даже, что он отказался здесь от своего языка, от своих принципов. Впоследствии Белинский, явно преувеличивая, считал слог «Истории Государства

---

[2] Из новейшей литературы можно указать книги: Н. И. М о р д о в ч е н к о. Русская критика первой четверти XIX в.; Б. В. Т о м а ш е в с к и й. Пушкин и Франция. Л., 1960.

[3] Н. И. М о р д о в ч е н к о. Указ. соч., стр. 53.

Российского» Карамзина настолько архаичным и искусственным, что признавал его годным только для «эпических поэм в прозе, которые были в ходу в прошлом столетии» [4].

Признаком отхода Карамзина от его стилистических установок или доказательством того, что он и не думал пренебрегать «красотами славянского языка», считали также его «Историческое похвальное слово императрице Екатерине Второй» (1802). Приведу в связи с этим свидетельство пастора Гейдеке, чрезвычайно расположенного к Карамзину издателя журнала «Русский Меркурий» («Russischer Merkur»), выходившего в Риге на немецком языке. Защищая Карамзина от критики, впрочем, весьма умеренной, «Северного Вестника» и его издателя И. Мартынова, Гейдеке в статье «Karamsin» писал: «С мужеством древнего римлянина и настоящего свободного гражданина и патриота он не переставал совершенствовать русский язык и обогащать его слово». «Между прочим, упрекали его в том, — пишет он далее, — что он изменяет русский язык и ослабляет силу его выражений, что он вводит в него несвойственные ему обороты речи и новые слова, отчего русский язык так же мало походить будет на свой коренной, славянский, как нынешний изнеженный итальянский язык мало походит на латинский Цицерона, Ливия и Тацита. На все эти обвинения Карамзин не отвечал ничего и похвальным словом Екатерине II доказал, что он не нуждается в оправданиях» [5].

Между тем, более тщательный анализ показал бы, что эволюция Карамзина относится только к объему и особенно концентрированности той лексики, которая привлекалась им и ранее для выполнения определенных художественных задач, а не к составу общелитературной лексики. В связи с этим рассмотрим «Историческое похвальное слово императрице Екатерине Второй» — одно из наиболее близких по языку к старой традиции высокого стиля произведений Карамзина, которое уже по самому жанру относится к старой литературе.

Прежде всего отметим: то новое, что характерно для словарного состава и стилистики Карамзина, то, что нашло отражение в его повестях, статьях, «Письмах русского путешественника» и других

---

[4] В. Г. Белинский. Русская грамматика Александра Востокова, стр. 254.

[5] Нам не удалось найти этот журнал, поэтому передаем содержание статьи Гейдеке в изложении С. П. Жихарева. Он очень высоко оценивает это выступление «Русского Меркурия». «Есть чему порадоваться — и о чем попечалиться, — пишет Жихарев. — Порадоваться, потому что нашлись в числе иностранцев люди, которые умели оценить нашего гениального писателя, а попечалиться о том, что не нашлось ни одного человека из русских, который бы вооружился за него против его недоброжелателей» (С. П. Жихарев. Дневник студента [записи от 31 января и 2 февраля 1806 г.]. «Записки современника». М.—Л., 1955, стр. 172—175).

произведениях, — все это свободно употребляется и в «Историческом похвальном слове императрице Екатерине Второй». Это тот же язык, здесь отражено то же представление о норме литературного языка [6]. Здесь найдет место типичная для нового слога лексика, например слово *предмет* в таких контекстах: «нравственные скромные достоинства нежного пола были единственным предметом родителей при ее воспитании»; «все дела, все законы его. . . были предметом ее живейшего любопытства»; «Польша была также предметом ее внимания» и др.; слово *влияние*, управляющее существительным с предлогом *на*, например: «открылись новые способы для торговли, всегда имеющей влияние на хлебопашество»; заимствования типа *атмосфера*, *система*, *монументы*, *гармонический*, *элементы* и т. д.: «сильные порывы благодетельного ветра волнуют весеннюю атмосферу»; «знал своих неприятелей и систему войны образовал по их свойству»; «все прежние его установления. . . не образовали полной системы»; «постепенно образовала полную государственную систему монархической России»; «система государственного просвещения»; «элементы нации»; «монархия желала, чтобы они исследовали все исторические монументы в нашей империи»; «приняла вид гармонического размера», а также см.: «ежемесячными сочинениями, которые будут монументом исторических и других любопытных сведений»; «мы не боимся ужаснейшей эпохи в физическом бытии нашем»; «определив сферу действия [среднего состояния]» и др. Можно указать также целый ряд свойственных Карамзину выражений и оборотов, особенностей словоупотребления (хотя они и носят отчасти печать индивидуально-стилистического своеобразия фразеологии Карамзина и его «школы»), например: «Сердце Екатерины содрогнулось. Державная рука ее бросила в урну сей недостойной республики жребий уничтожения, и Суворов, подобно ангелу грозному, обнажил меч истребления»; «вливает

---

[6] Это станет особенно очевидно, если привлечь к анализу также и синтаксическую структуру «Исторического похвального слова. . .» Типичные для «карамзинской» прозы способы организации предложений и периодов, характерные для него синтаксический параллелизм и анафорические конструкции встречаются в «Историческом похвальном слове. . .» очень часто. Например: «Сограждане! не только в тени древних отдаленных времен, не только среди песчаных морей Африки, на полях Маратонских, под орлами древнего Рима видим таких избранных и великих смертных». Подобные примеры многочисленны. См., например, в первой части описание подвигов Румянцева с целой серией однотипно построенных простых предложений, или в конце первой части перечисление побед России при Екатерине с анафорически организованными предложениями со словом *уже* и придаточным предложением («когда всемогущая судьба пресекла дни монархини»), объединяющим все эти предложения в один период. См. также такие типичные для Карамзина конструкции: «Некоторые считали его жестоким — несправедливо: он любил побежденных неприятелей, ибо они были живыми его трофеями»; «Им торжественно объявили волю монархини — и самоед удивился, слыша, что нужны законы людям».

в грудь чувство изящного»; «герой. . ., на которого еще взирает изумленная Европа, хотя мы уже осыпали цветами гроб его — цветами, не кипарисами: ибо смерть великого воина, который полвека жил для славы, есть торжество бессмертия, и не представляет душе ничего горестного»; «Богданович своими цветами осыпал Лафонтенову сказку, и в легком слоге играл воображением» — и очень много других подобных примеров. См. также типичное для Карамзина своеобразное употребление отвлеченных существительных типа «бежали с полей открытых, милых *геройству*, страшных *робости*»; «*праздность* одевается рубищем *бедности*, чтобы обмануть *жалость* и *сострадание*»; «дети *бедности* и *трудолюбия*» и под. Обычным для Карамзина является употребление субстантивированных прилагательных, например, постоянная замена имени Екатерины словом *великая*: «все обожали Великую»; см. еще: «жезл бессмертного», «в душе чувствительного».

Но принципы «нового» слога сохранились в «Историческом похвальном слове. . .» и в отношении к старому книжному языку. Легко увидеть, что те элементы приказного слога и архаического ученого языка, которые не свойственны были Карамзину и представителям его «школы» в 90-е годы, отсутствуют и в «Историческом похвальном слове. . .» Так, встретим здесь слова *запретить* и *запрещение*, но не *претить* и *прещение*; *приготовить*, но не *приуготовить*; *внезапно*, *внезапный*, а не *незапно*, *незапу*, *незапный*; *снабдить*, а не *снабдевать* и т. д. Как всегда, показательны массовые факты — употребление служебных слов и наречий; в соответствии с прочно установившейся уже у Карамзина нормой находим в «Историческом похвальном слове. . .» исключительно *так*, *там*, *только*, *такой*, *какой*, *сколь* (или *как*), *снова*, и ни разу не употреблены *яко*, *тако*, *тамо*, *токмо* [7], *толикий*, *коликий*, *коль*, *паки*, *поелику*, *понеже* (в «Историческом похвальном слове. . .» постоянно *ибо*), не говоря уже об *убо*, *дондеже* и др. под., — причем не только в «спокойных», повествовательных местах, но и в самых высоких и риторических: слова эти окончательно утратили для Карамзина не только право на общелитературное употребление, но и всякую способность обладать стилистической выразительностью. См., например: «как сладостно было сердцу монархини»; «сколь часто поэзия, красноречие и мнимая философия гремят против словолюбия завоевателей»; «только россияне могут быть предметом сравнения для россиян»; «так думала и великая Екатерина» и др. Исключение составляет, кажется, лишь слово *толь*, которое встретилось в «Историческом похвальном слове. . .» несколько раз («никогда еще отечество наше не заключало толь блестящего мира с Портою»; «провидение. . . толь скоро лишило наше отечество матери и толь внезапно»), при по-

[7] Вспомним, что говоря об отличиях своего текста Манифеста о восшествии на престол Николая I от текста М. Сперанского, Карамзин отдельно отмечал, что у последнего *токмо* там, где у него было *только* (см. стр. 88).

стоянном, очень частом *столь*. Из других примет архаической книжности, не имеющих в данном случае стилистического характера, можно назвать несколько раз употребленное *престать* (например: «берега Дуная не преставали обагряться кровью неверных»; «отечество не престает нам благодетельствовать»; «преставая быть монархиней»), *применить* («применило Россию как в умах, так и во нравах»), *приять* (например «приняв начальство», «Россия приняла вид гармонического размера»), *предприять*, *предуготовить* («чтобы предуготовить славу кроткой, человеколюбивой, просвещенной Екатерины, долженствовал царствовать Петр»), *сокрыть* и *сокрытие*, *здравие* и *здравый* (например: «кроткое небо южной Европы обещает нам лучшее здравие»; «простая, здравая пища»), *совместник*, *градской* и, может быть, еще некоторые. Легко заметить, что все это очень маловыразительные следы колебаний в употреблении некоторых слов; так, при наличии *применить* в «Историческом похвальном слове. . .» постоянно *перемена*, а не *премена*. Почти все эти слова встречаются в нейтральном употреблении и позднее, отчасти в составе разного рода сочетаний, формул, названий (см., например, *здравие*, *здравый*, *градской*). Очевидно не было специфически высоким также и *предрать* (Екатерина «предрала бумагу, ею подписанную»), которое встречается и у других авторов в нейтральном или близком к нейтральному употреблению.

Стремление избежать и в этом сочинении архаики книжного языка и приказного слога, а также неоправданного применения слов высоких отчетливо проявилось при включении в текст документов екатерининской поры, в частности «Наказа». Обращение Карамзина с этим материалом очень свободное: текст «Наказа» подвергается изменениям и сокращениям. Это относится не только к тем случаям, где автор лишь пересказывает пункты «Наказа», но и к тем, где предполагается прямое цитирование (что подчеркивается наличием кавычек). И в этих случаях Карамзин сближает фразы из разных мест «Наказа», иногда составляет из них новые фразы и производит другие композиционные изменения. Так, например, даже цитата из «Манифеста» Екатерины о собрании депутатов, представленная как сплошной связный текст, составлена из трех предложений, расположенных в разных частях манифеста, причем самостоятельное предложение превращено в деепричастный оборот другого предложения, с которым оно даже и не соседствовало.

Для нас важно отметить те лексические замены, которые допускает Карамзин при цитировании «Наказа» (впрочем, вычленение таких замен в большинстве случаев оказывается затруднительным, так как они часто сопровождаются изменением всего строя предложения). Легко увидеть, что «Наказ» и другие исторические источники нисколько не контрастируют у Карамзина по языку с его собственным повествованием. Они, так сказать,

«переведены» на карамзинский слог. Особенно последовательно устраняются всякие проявления канцелярского слога с его архаическими конструкциями, своеобразной фразеологией и «приказными» словами. Вот несколько примеров. Приписанное Карамзиным Екатерине следующее определение свободы: «она есть ничто иное, как спокойствие духа, происходящее от безопасности, и право делать все дозволяемое законами» [8] имеет своим источником следующие фразы из п. 38 и 39 «Наказа»: «Что есть вольность? Вольность есть право все то делать, что законы дозволяют»; «Государственная вольность в гражданине есть спокойство духа, происходящее от мнения, что всяк из них собственною наслаждается безопасностию». Здесь можно заметить и замену *спокойство* на *спокойствие*, и устранение выражения *всяк из них*, и исключение слова *мнение* в несвойственном Карамзину употреблении — как отглагольного имени от *мнить*, и синтаксическую перестройку всей фразы [9]. В п. 43 «Наказа» находим: «Надлежало бы, чтоб они [законы] были так хороши и так наполнены всеми способами, к достижению самого большего для людей блага ведущими, чтобы всяк несомненно был уверен, что он ради собственной своей пользы стараться должен сохранить нерушимыми сии законы». А вот как это выглядит в переложении Карамзина: «Они должны быть столь изящны, столь ясны, чтобы всякий мог чувствовать их необходимость для всех граждан» (ср. здесь *всяк* и *всякий*, *наполнен способами*, архаическое употребление слова *несомненно*, не говоря уже о порядке слов).

Слова «Наказа»: «Законоположение должно применять к народному умствованию» (п. 57) переделаны Карамзиным в «законодатель сообразуется с духом народа». И далее в «Наказе»: «Ибо если умы к тому еще не приуготовлены, так примите на себя труд приуготовить оные»; у Карамзина: «Когда умы для лучших законов не готовы, то приготовьте их» (см. в последнем примере *приуготовлена*, *приуготовить оные — готовы*, *приготовьте их*); см. также в п. 348: «Правила воспитания суть первые основания, приуготовляющие нас быть гражданами» — и у Карамзина: «Просвещение требует хорошего воспитания».

---

[8] Эту фразу Карамзин предваряет замечанием: «монархиня. . . определяет ее [свободу] следующим образом. . .»

[9] Обращает на себя внимание также замена слова *вольность* словом *свобода*; см. и далее при передаче п. 321, где выражение *вольность торговли* передано словом *свобода*. Слово *вольность*, как известно, относилось к словам запретным, во всяком случае подозрительным. Когда цензор (Прокопович-Антонский) не хотел разрешить печатание «Марфы Посадницы» Карамзина, видя в этой повести чуть ли не призыв к бунту, Карамзин ограничился заменой кое-где слова *вольность* на *свобода*, и это, очевидно, удовлетворило цензора, который пропустил повесть в печать (см.: «Торжественное собрание имп. Академии наук 1 декабря 1866 г. в память столетней годовщины рождения Н. М. Карамзина», стр. 38, прим. 41).

Вот еще отрывок из «Исторического похвального слова. . .»: «В странах, где человечество угнетено, суд прост и решителен: гордый паша выслушивает распрю, и судимый оправдан или наказан. Но в государстве просвещенном, где жизнь, честь и собственность гражданина священны, требуется основательного разыскания истины». Источником этого отрывка, данного Карамзиным как цитата из «Наказа», служат п. 113—114, где, между прочим, находим: «В турецких странах, где очень мало смотрят на стяжания, на жизнь и на честь подданных, оканчивают скоро все распри таким или иным образом. . . Паша, незапно ставши просвященным, велит по своему мечтанию. . .» и т. д.; и дальше: «. . . А в государствах, умеренность наблюдающих, где и самого меньшего гражданина жизнь, имение и честь во уважение принимается, не отъемлет ни у кого чести, ниже имения прежде, нежели учинено будет долгое и строгое изыскание истины». Ср. здесь вместо *стяжание* или *имение — собственность*, отсутствие таких слов и выражений, как *незапно*, по своему *мечтанию*, *наблюдать умеренность*, *принимать во уважение*, *ниже́*. Приведу еще некоторые параллели. В «Наказе»: «направити к получению самого большого ото всех добра» (п. 13) — у Карамзина: «действия их направить к величайшему благу». В «Наказе»: «Законы сии, правительством дозволяющие представлять, что такий то указ противен уложению, что он вреден, темен, что нельзя по оному исполнить» (п. 21); «имеют право представлять, когда в них сыщут, что они противны уложению и прочая» (п. 24) — у Карамзина: «но может [сенат] представлять ему [государю], если найдет в них что-нибудь вредное, темное или противное уложению». В «Наказе»: «вещи между добрыми и злыми средние по своему естеству не подлежат законам» (п. 63) — у Карамзина: «законам подлежит только явное зло». В «Наказе»: «рассуждение отца о чадах и домашних своих пекущегося» — у Карамзина: «суждение отца, пекущегося о детях и домашних своих» (см. здесь, помимо замены в нейтральном употреблении *о чадах — о детях*, также и порядок слов). в «Наказе»: «так как же им можно воспитывать твари, находящиеся в беспрерывной болезни, то есть во младенчестве?» (п. 276) — у Карамзина: «могут ли иметь хороший присмотр за слабыми существами, находящимися в беспрестанной болезни, то есть в младенчестве?» (ср. здесь особо: *твари — существа*). В «Наказе»: «Торговля оттуда удаляется, где ей делают притеснение, и водворяется тамо, где ее спокойствие не нарушают» (п. 31) — у Карамзина: «Торговля бежит от притеснений и царствует там, где она свободна» (ср. *тамо — там*, *делать притеснение*). В «Наказе»: «восхотели всем беспосредственно управлять» (п. 510) — у Карамзина: «хотели управлять всем непосредственно» (кроме очень выразительных лексических замен, здесь заслуживает внимания и изменение порядка слов). Словами «изменяется дух правления» Карамзин передает то, что в «Наказе» изложено

так: «погасает то умоначертание государственное, законом во всяком . . . впечатленное», а фразе: «люди захотят личного равенства, несогласного с духом законного повиновения» в «Наказе» соответствуют слова: «вкоренится умствование равенства до самой крайности дошедшего» (п. 503). Вместо «когда он [государь] больше прилепится к мечтаниям своим, нежели к своим благоизволениям» (п. 511) Карамзин пишет: «когда они собственные мечты уважают более законов». Пункт 517 «Наказа» Карамзин передает следующим образом: «Несчастливо то государство, в котором никто не дерзает представить своего опасения в рассуждении будущего, не дерзает свободно объявить своего мнения»; в «Наказе» находим: «опасения о будущем каком приключении» (т. е. о том, что приключится в будущем. — *В. Л.*) . . . ниже́ свободно говорить своего мнения». «Боже сохрани, — пишет Екатерина в «Наказе», — чтобы после окончания сего законодательства был какий народ больше справедлив, а следовательно больше процветающ на земли» (п. 520); в переделке Карамзина читаем: «сохрани боже, чтобы, по совершении сего законодательства, какой-нибудь народ на земле был счастливее российского». Вместо «приведения в совершенствование» Карамзин пишет «усовершенствовать», вместо «имеет более попечения» — «более печется», вместо «противу жизни и безопасности государя» — «против государя», вместо «именуется» и «нарицается» — «называется». Карамзин заменяет иногда слова *земледелец*, *земледелатель*, *хлебопашец* своим излюбленным *селянин*, — в «Наказе» это слово, кажется, не встречается совершенно.

Во всех приведенных случаях измененные Карамзиным пункты «Наказа» представлены все же как прямые цитаты. В случаях, когда содержание тех или иных пунктов только пересказывается Карамзиным, эти замены, естественно, еще более разительны. Словам «безрассудная нескромность не есть злоба» соответствует в «Наказе» такая фраза: «. . . толь великое различие между нескромностию и злобою, и толь малая разнота между выражениями, от нескромности и злобы употребляемыми» (п. 481).

Пересказывая по-своему отдельные места «Наказа», Карамзин выбрасывает такие слова и выражения, как *паки*, *понеже*, *потеряние имения*, *ненаказание преступлений* (ср. у Карамзина в этом месте: «упущение вины»), *в претерпении наказания*, *уврачевати зло*, *произрастший*, *приобыкнуть*, *воспящать*, *вселящи в них должности*, *вперяти в них любовь к отечеству*, *дав им сие нарицание в чести* (ср. в изложении Карамзина: «были везде первыми пламенными гражданами») и т. д.

В то же время бесспорно, что книжная, стилистически приподнятая лексика занимает в «Историческом похвальном слове . . .» очень большое место. Это прежде всего отражается в более широком, чем в других произведениях Карамзина, употреблении лексики отвлеченной, публицистической, что связано с самим содер-

жанием текста. См., например: «привести в лучший порядок внутреннее правление государства»; «торговля, отрасль государственного благосостояния, была особенным предметом ее внимания»; «определяет для каждого рода особенные наказания, извлеченные из самого естества вины»; «политическое и нравственное действие такого нового, всеобъемлющего учреждения долженствовало скоро означиться в государстве»; «открытие наместничеств открыло дворянам новое поле деятельности»; «с тех пор мы не боимся ужаснейшей эпохи в физическом бытии нашем»; «быть всегдашним . . . источником просвещения»; «метафизика, которой глубокомыслие и тонкоумие самым ученым едва вразумительно»; «словесность, сей главный орган гения и чувствительности»; «тайные желания мудрого человеколюбия обратила в государственные уставы»; «сия геройская ревность к добру соединялась в Екатерине с редким проницанием, которое представляло ей всякое дело, всякое начинание в самых дальнейших следствиях»; «самое добро в философическом смысле может быть вредно в политике, как скоро оно не соразмерно с гражданским состоянием народа» и др.

Мы уже видели, что отвлеченная лексика такого рода не представляет для Карамзина ничего необычного: в теоретических, публицистических, научных сочинениях и переводах она всегда была представлена достаточно широко. Но бесспорно, что в «Историческом похвальном слове. . .», как это было и в других случаях, книжный элемент имеет и собственно стилистическое значение. Здесь, естественно, чаще, чем в других своих произведениях, автор обращается к тем словам, которые составляли свойственный «новому слогу» фонд эмоциональной, приподнятой лексики. См., например, уже с самого начала: «Сограждане! дерзаю говорить о Екатерине — и величие предмета изумляет меня»; «спасительное действие ее правления»; «в силе творческого духа»; «чудесный промысел всевышнего, непостижимый для смертных»; «в искренних излияниях дружества»; «животворный огонь Прометеев»; «берега Дуная не преставали обагряться кровию неверных»; «возвратились в недра своего отечества»; «тайная злоба ее воспылала» (см. также «война воспылала»); «вся воспылала гневом на врага вероломного и ревностию наказать его»; «воспоминание незабвенное и радостное для патриотов»; «город святого Петра созерцает их памятники»; «осенился знаменами Екатерины»; «всемогущая судьба пресекла дни монархини»; «чудесные дела Екатерины могли быть увенчаны новым чудом»; «в сем главном судилище»; «изъявляя пламенную ревность свою ко благу России, заклиная вас любовию к отечеству»; «муж достойный почтения россиян дерзнул представить ей возражения в деле важном и государственном»; «деятельность, которая объемлет все части целого»; «сие творение так достопамятно и священно, что сердце мое пылает ревностию представить вам главные черты

его» и многие другие; к книжным элементам «Исторического похвального слова. . .» можно отнести еще постоянное *ибо*.

К этому же лексическому слою относятся отмеченные выше метафорически употребленные слова, которые в прямом своем значении выглядели архаично (многие из них, как уже отмечалось, развивали и новые переносные значения и в таком употреблении вообще резко ослабляли или теряли свою стилистическую исключительность). В «Историческом похвальном слове. . .» Карамзин, может быть, шире, чем в других сочинениях, пользуется этим стилистическим средством. Вот несколько примеров: «Сии любимцы неба (имеются в виду великие деятели, «полубоги человечества». — *В. Л.*) подобны солнцам, *влекущим* за собой планетные системы. Они . . . неизъяснимою силою *влекут* миллионы людей к некоторой угодной провидению цели», — где не только первое *влечь* («влекущим планетные системы»; см. подобное употребление также в переводе «Платона»), но и второе («влекут миллионы людей») соотнесены с прямым смыслом слова как физического действия; «любовь всевышнего *запечатлела* их своею печатью»; «обратить к добру их [страстей] бурное *стремление*», где *стремление* связано еще непосредственно с первоначальным значением слова «движение» («стремление коней» и т. п.); «чтобы *утвердить* славу мужественного, смелого, упорного Петра» (см. также «*утвердить* покой нашего государства»); «*свергается* в толпу народную»; «Екатерина . . .*свергла* бы венец с главы своей»; «*испровергли* законы»; «не могли остановить торжественного *течения* ее воинов» и др. под.

Можно назвать также устаревающее употребление некоторых слов, обычно сложных, в их «этимологическом» значении, в то время как они преимущественно употреблялись уже по-иному, со стертым первоначальным смыслом. По всей вероятности, эти два употребления в ряде слов отличались и стилистически. Таковы в «Историческом похвальном слове. . .»: *благотворный* в значении «творящий благо» («была она божеством, невидимым, но благотворным»; см. также: «Она еще и по смерти благотворит»); *благодетельный* («так сильные порывы благодетельного ветра волнуют весеннюю атмосферу»); *ратоборствовать* в его прямом значении («сражаться на поле брани»); *животворный*, *вдохновение* («под божественным вдохновением души», «небесным вдохновением», где вдохновение еще как отглагольное имя от *вдохнуть*); *событие* — также как имя по глаголу *сбыться* («Что в другом оказалось бы гибельною дерзостию, то в нем [Суворове] было спасительною надежностию и предчувствием события») и, может быть, некоторые другие [10]. Степень стилистической окрашенности

[10] Сюда не относится *молниеносный* в выражении «молниеносные россияне», так как, судя по словарям и живому словоупотреблению, единственным его значением в то время было «несущий молнию», «наполненный молнийным веществом» (см. Словарь АР).

различна в различных словах этого типа. Но бесспорно, что подавляющее большинство их не выходит за пределы литературной нормы книжного языка, о чем свидетельствует их употребительность у многих писателей первой половины XIX в., в том числе и у Пушкина (наиболее устаревшим из приведенных слов надо признать *событие*) [11].

Таким образом, книжный элемент в языке «Исторического похвального слова. . .» Карамзина очень значителен, но это не свидетельствует ни об отказе от принципов «нового слога», ни о пересмотре состава лексики литературного языка. Языку Карамзина, как мы видели, и раньше не была чужда лексика стилистически приподнятая, хотя в разных произведениях в различной степени. Важно, что это те слова, которые не противоречили карамзинскому представлению о норме литературного употребления.

В «Историческом похвальном слове. . .» представлена и собственно в ы с о к а я лексика. Но как и в других случаях, стилистическое обоснование этих высоких слов редко ограничивается общим тоном всего повествования, заранее выбранным стилем. Для них легко найти и более конкретные функции. Так, многие из таких слов представляют собой трафаретную, обязательную форму изображения государя, в частности Екатерины, образ которой в литературе отличается особенной величественностью. Карамзин следует этой традиции. «Дерзаю говорить о Екатерине — и величие предмета изумляет меня», — пишет он. Он озабочен тем, чтобы «не унизить предмет свой»: ведь ему «должно изобразить монархиню, которая своим величием удивила вселенную. . . первую героиню нашего времени». Слова *шествовать*, *шествие* употреблены только по отношению к Екатерине, в сравнении ее с Семирамидой, которая «при звуке бесчисленных мусикийских орудий шествовала по цветущим областям ее». Редкий у Карамзина глагол *вещать* применяется в «Историческом похвальном слове. . .» также только при описании Екатерины — и только в ограниченных ситуациях: она *вещает* в своем «Наказе». В минуту опасности «она вещает вождю своего отдаленного воинства: иди далее и побеждай»; «искреннее усердие вещало ей». Даже такое близкое к нейтральному фонду слово, как *ответствовать*, употребляется, кажется, только применительно к императрице: «Она ответствует на угрозы дворов: я отражу нападение» [12]. Несколько раз слышится в «Историческом похвальном слове. . .» «небесный глас» Ека-

---

[11] Надо заметить, что сохранение «этимологического» значения не всегда имело стилистическую значимость; например, такое употребление слов *добродушный*, *великодушный*, *малодушный* и некоторых других было для первых десятилетий XIX в., очевидно, нейтральным (см.: И. С. И л ь и н с к а я. К истории словарного состава русского литературного языка XIX в. «Мат-лы и исслед. по истории русск. лит. языка», т. III. М., 1953).

[12] Сюда не относится случай употребления этого слова в значении *соответствовать*: «не ответствовали новым потребностям россиянина».

терины: «монархиня повелела — и глас ее, как лира амфионова, творит новые грады»; она исправляет пороки «гласом убедительного наставления» и т. д. Кроме применения этого слова к Екатерине, *глас* употребляется только в сочетаниях «глас судьбы», «глас неба», «глас истины» и один раз — «тихий глас патриотов». Дважды встречается *дщерь* — и оба раза в завещании «родительницы Екатерины», отказавшей «любезной дщери» свою библиотеку (разумеется, завещание писано не по-русски; слово *дщерь* здесь, следовательно, перевод Карамзина). К *стопам* Екатерины падают побежденные «российским гением» Крым и Варшава. Ее благосклонным *воззрением* гордятся философы и поэты; «Я *зрел* лучезарный запад сего светила», — говорит Карамзин о Екатерине; см. также о тех, которые «никогда не *зрели* образа бессмертия». Екатерина в обращении к *россиянам* говорит, что она *взирала* на них «с радостью матери». Екатерина «*влияла* в легионы наши дух чести и благородства», «дух ревности, *влиянный* ею в главное правительство империи, распространился во всех частях ее»; императрица «писала для юных *отраслей* августейшего дому», ласкала эти «цветущие *отрасли*»; Екатерина «беспрерывными шагами *текла* к своему великому предмету» — кроме этого случая, *течь* в таком значении употребляется еще только в вымышленном обращении императрицы к народу: «Я указала вам великую цель: *теките* к ней, осененные моими лаврами, путеводимые моими законами» (правда, дважды встречается еще в тексте *течение* — о движении народов, но *течь* [*тещи*] и *течение* в этих случаях стилистически не вполне соотносительны). Только в связи с образом Екатерины встречаются в «Историческом похвальном слове. . .» и некоторые другие высокие славянизмы.

Наличие в этих контекстах архаических слов, разумеется, не может удивить. Традиция изображения монарха не связана ни с какими стилями. Это, так сказать, общая норма. Удивительна, напротив, умеренность Карамзина в этом отношении. Эта умеренность проявилась и в самом составе лексики, и в низкой частоте ее употребления. В некоторых случаях, когда можно было бы ожидать «славенского» слова, Карамзин пользуется словом нейтральным, простым; например, постоянно, говоря о Екатерине, он употребляет *рука*, а не *десница*, даже в сочетании с прилагательным *державная*: «в ее руке снова расцвел иссохший жезл бессмертного»; «меч, извлеченный для обороны, блистал в руке ее»; «державная рука ее бросила в урну сей недостойной республики жребий уничтожения»; «я лобызаю державную руку» и др. [13] См. еще: «она с ангельскою улыбкою *говорила* достойнейшим из своих подданных» (ср. *вещала*, *рекла*); «любила смотреть на веселых питомиц, которые. . . спешили к ней *навстречу*» (ср. обычное в таких

[13] *Десница* вообще, очевидно, относится к редким для Карамзина словам — даже в очень высоких текстах.

случаях *во сретение*). Карамзин говорит о «редком соединении божественных *прелестей*» в Екатерине, хотя такое употребление слова *прелесть* в данном случае не соответствует «высокости» предмета. Вообще, простые слова в местах, традиционно требующих слов высоких, отборных, в «Историческом похвальном слове. . .» обычны: «Я *вижу*, кажется, перед собою юного Алкида»; Румянцев, обращаясь к «российским легионам», не *вещал*, не *рек*, а *сказал*, и «российские легионы» не *потекли*, а *пошли* сражать оттоманов; Суворов — *пошел*, «обнажив меч истребления»; см. еще: «*пришел* Суворов!»; когда граф Панин, «муж достойный почтения россиян», возражал Екатерине, то «не трепетал *голос* его»; Екатерина «*открывает путь* славы для всех состояний» (ср. *отверзает стезя*), — не говоря уже о случаях типа «*открыть путь* к столице», «гавани *открылись* для вывоза богатых произведений России». В обобщенной картине Карамзин говорит о том, как «*плуг* углубился в свежую землю». И даже в такой риторической фразе: «земледельцы, сельскою добродетелью от плуга на ступени Фемидина храма возведенные» — *плуг*, а не *рало*, как например, у Хераскова в «Полидоре», причем в контексте более обычном, описательном. См. еще: «*тысячи* российских Альцивиадов»; «скрывается от *глаз* наших»; «от *глаз* историка»; «отдаленные *берега* Ледовитого моря»; «на *берегах* Днепровских» (хотя есть и «на *брегах* величественной Волги»); «в сем юном *городе*» и т.д.

В приведенных выше примерах наше внимание привлекает не только строгая мотивированность употребления высокой лексики, но и удивительная трафаретность и ограниченность ее состава: *шествовать*, *течь*, *вещать*, *зреть*, *глас*, *дщерь*, *воззрение*, *влиять*, *отрасль* — все это слова, широко употребляемые в литературе первых десятилетий XIX в.; здесь нет ничего, что воспринималось бы с точки зрения художественной литературы этого времени как «обветшалое». Разумеется, этими словами состав высокой лексики в «Историческом похвальном слове. . .» не ограничивается. Но и остальные слова такого рода не представляют собой далеких отклонений от среднелитературной нормы. Это тем более очевидно по отношению к таким словам, как *хладный*, *огнь*, *глас*, *град*, *очи*, *древо*, *брег*, *глава*, *воссиять* и под., обычным не только в высоком, но и всяком поэтически украшенном контексте. Более высокими и архаичными представляются слова *пастырь*, *стогны*, *оратай*, *воскриляться*, *мышцы* и *рамена*, *одеянный*, *се*, *блато*, *жезл*. Говоря об употреблении этих слов в рассматриваемом произведении, надо отметить одно важное обстоятельство. Выше уже говорилось, что существуют условия, облегчающие употребление высокой лексики, ослабляющие ее необычность — например, переносное значение, включение в состав фразеологического оборота или перифразы. Но этими наиболее очевидными случаями такие условия не ограничиваются. Очень важным оказывается наличие в высказывании обобщенного

смысла, что придает и слову в данном контексте некоторую обобщенность и символичность, ослабляет его обращенность на конкретный, единичный предмет, хотя и не затрагивает его значения. В картине, рисующей благоденствие россиян, Карамзин говорит о земле, где природа «за каждое *лону* ее вверенное зерно дает богатый колос земледельцу, где на *тучных паствах* рассыпаются стада бесчисленные, где свирели и нежные песни веселых *пастырей*, простота нравов, миролюбие и общее добродушие жителей напоминают воображению счастливые берега Ладона»; при описании того «величественного дня», когда в столицу съехались депутаты для создания Уложения, автор поэтически рисует «мирных *пастырей* южной России», «звериными кожами *одеянных* камчадалов». Вот еще примеры употребления слова *стогны*: «драгоценная кровь российская багрила стогны Варшавы»; «если чувствительное сердце ваше имеет нужду излиться в благотворениях, то не на стогнах ищите предмета для оных»; «не в чертогах царских обнаруживается чувство народное. . . нет, оно явно только на стогнах града. . . в хижине мирного трудолюбия». *Стогны* здесь везде означают не конкретные улицы или площади, а служат лишь средством эмоционального выражения мысли, создания обобщенного образа. Карамзин говорит о торжестве правосудия, которое «берет под свою эгиду *пастыря* и *оратая*»; общая картина благоденствия и умиления рисуется через *селян*, которые *глядят* на *златые класы*. Любопытно здесь сочетание *глядят* и *златые класы* (ср. *взирают* и др. под.); но здесь ставится цель создания не высокого, громкого контекста, а чувствительного, трогательного; соединение простых слов с поэтическими в таких случаях не только допускается, но и предпочитается карамзинской стилистикой.

Иная «тональность», иная стилистическая окраска создается такими фразами, как «одна великая мысль и великий ум, *воскрылясь*, парит орлом под облаками!»; «*се глас* вечной судьбы»; «разум, помраченный невежеством, есть тихое, заросшее травой *блато*»; «юного Алькида, который. . . *утверждая мышцы и рамена* свои, готовится предприять геройские подвиги». Выделяются среди традиционно-книжной высокой лексики «Исторического похвального слова. . .» *лествица*, *феатр*, *зерцало*, *мусикийские орудия* (последнее — в стилизованном контексте о Семирамиде; впрочем, в Словаре АР *мусикийский* рассматривается и употребляется в толкованиях так же нейтрально, как и *музыкальный*). *Лествица*, очевидно, в переносных употреблениях не звучало так архаично, как это нам сейчас представляется; об этом свидетельствуют многие примеры из разных авторов. У Карамзина в «Историческом похвальном слове. . .» один случай употребления этого слова: речь идет о гражданах, которые, переходя в «сан благородных» дворян, «оставляют за собой лествицу для других». *Зерцало* употребляется Карамзиным образно и в составе полу-

фразеологизированных сочетаний: «зерцало веков — история»; «Наказ» — «зерцало ума» Екатерины; законы — «святые зерцала»; см. еще: «так называемое *Зерцало благочестия* (название книги. — *В. Л.*) есть зерцало всех взаимных гражданских обязанностей». Так же употребляется и *феатр*: «На величественном феатре их действий» (Петра и Екатерины. — *В. Л.*); Румянцев, «отягченный лаврами. . . сходит с феатра славы»; Польская республика была «феатром своевольства» вельмож. Любопытно, что во всех этих случаях первоначально было *театр*, но, очевидно, в таких употреблениях оно казалось слишком прозаическим (впрочем, и в последующих изданиях есть случаи сохранения первоначального варианта, возможно, по недосмотру, например: «Россия . . . став театром ее добродетелей. . .»).

Таким образом, язык «Исторического похвального слова. . .» Карамзина не может свидетельствовать об отказе от «нового слога» как литературной нормы. В то же время специфические художественно-стилистические задачи определили наличие здесь большого количества высоких и поэтических слов.

Любопытно, что изменения текста «Наказа» связаны в «Историческом похвальном слове. . .» не только с отказом от архаической и неуклюжей официально-канцелярской речи, но и со стремлением к некоторому его украшению: сухие и бесцветные слова «Наказа» приобретают иногда под пером Карамзина поэтичность, проникаются лирическим пафосом, тем, условно говоря, «высоким» колоритом, которым проникнуто «Историческое похвальное слово. . .» в целом.

Так, например, содержание п. 68—79 «Наказа» Карамзин передает такими словами: «Нарушитель благонравия да лишится выгод, сопряженных с благонравием; да ознаменуется стыдом, всенародным бесчестьем; да удалится из общества, которому он служит поношением; да загладит раскаянием дело свое и да исправится! Таким образом нарушитель общего покоя да лишится мирных его наслаждений, и губитель других да погибнет». Все это имеет очень далекое отношение к тексту соответствующих пунктов «Наказа», где нет и самой этой конструкции с частицей *да*, нет и таких слов и сочетаний, как *ознаменуется стыдом*, *служит поношением*, *губитель других* и др. (но есть такие официальные формулы, как «нарушение чистоты нравов», «касающиеся до повреждения нравов», «потеряние имения» и др. под.). О наказании, которому должен подвергнуться дворянин, нарушивший правила чести, Карамзин пишет высоко, торжественно: «Он свергается в толпу народную, где гражданское правосудие знаменует его стыдом и бесчестием»; но в п. 370 «Наказа» [14] говорится только о том, что тот, кто не сумел соблюсти «честь и непорочность дворянского достоинства», должен быть «исключен из числа дворян

[14] Карамзин ошибочно ссылается на п. 371.

и лишен дворянства» (ср. «свергается в толпу народную»). Екатерина, — говорит Карамзин, ссылаясь на соответствующие пункты «Наказа», — «страшным вратам темниц дозволяет отверзаться единственно для обличенных»; в самом же «Наказе» находим только выражения «взять под стражу», «содержание под стражей», «заключение в тюрьму». Целиком принадлежит Карамзину и сравнение законов со «светлым зерцалом», в котором «всякий гражданин. . . видел бы ясно судьбу свою» (при передаче содержания п. 448—462). «Среднее политическое состояние украшает грады», — этой фразой заменены слова «Наказа»: «в городах обитают мещане» (и далее: «сей род людей есть средний»); нет в «Наказе» и слов *пастыри* и *воинство*; «повиноваться законам под одним господином» передано Карамзиным в «под единым властелином» [15]. А вот как выглядит обобщение Карамзина после изложения п. 266—276: «Одним словом: она хотела благоденствия земледельцев; хотела, чтобы осыпанные изобилием природы, среди многочисленных семейств своих, они трудились для наслаждения и под смиренным кровом сельских хижин, где любит обитать спокойствие, не завидовали великолепным графским палатам, где часто праздность и скука изнуряет сердце; она хотела, чтобы трудолюбие, зернистые класы, златые нивы, полные житницы были для них истинною роскошью».

Вяземский, даже через много лет, все еще оценивал язык и слог этого произведения Карамзина очень высоко [16]: «Правильность, ясность, свободное, но вместе с тем последовательное и, так сказать, *образумленное* течение речи, искусство ставить каждое слово именно там, где ему быть надлежит и где оно выразительнее — все это является здесь в изящном порядке и полной силе». Как видно, Вяземский не рассматривал «Историческое похвальное слово. . .» как отступление или отклонение от норм «нового». карамзинского слога. «Трезвость слога не влечет за собою сухости, — говорит он далее. — Некоторые ораторские приемы, свойственные вообще похвальному слову, не заносятся до высокопарности. Все живо, но мерно, все одушевлено ясною мыслью и теплым чувством». Приводя несколько отрывков из «Исторического похвального слова. . .», чтобы показать то, «что мы разумеем под слогом и под искусством писать», Вяземский снова подчеркивает, что «все это так просто и ясно сказано, что читатель, не посвященный в таинство искусства, может подумать, что и каждый сумел бы так изъясниться». Это очень существенное замечание:

---

[15] Эта замена может быть объяснена еще стремлением освободиться от слова *господин*, получившего к этому времени совсем иную экспрессию и сферу употребления, чем во времена Екатерины.

[16] П. В я з е м с к и й. Отметки при чтении «Исторического похвального слова императрице Екатерине Второй», написанного Карамзиным. [1873]. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 368—372.

в традиционных произведениях высокого, риторического слога автор, напротив, обычно стремился писать так, как не каждый сумел бы «изъясниться». В языке «Исторического похвального слова. . .» Карамзина Вяземский видит «плод многих и обдуманных изучений языка и свойства его». Это, следовательно, с точки зрения Вяземского, вполне типичный образец нового языка — впрочем, отражающий и эволюцию слога Карамзина: «будущий историк угадывается в некоторых местах» произведения, его можно расценивать как «пробу пера, которое автор готов исключительно посвятить истории». Но отмечая и некоторые архаизмы, Вяземский приводит только два примера: «так сильные порывы благодетельного ветра волнуют весеннюю атмосферу, чтобы рассеять хладные остатки зимних паров и приготовить натуру к *теплому влиянию* [17] *зефиров*», и выражение *Фемидин храм* как образ правосудия («земледельцы, сельскою добродетелию от плуга на ступени Фемидина храма возведенные»). Но собственно лексики это не касается — это скорее примеры устаревшей для времени написания статьи Вяземского манеры украшения слова перифразами. Вяземский и сам говорит о них как о «прикрасах чеканки», «литературных *чинкве-ченто*, ныне для нас странных и обветшалых» [18].

Лексика «Исторического похвального слова. . .», следовательно, не могла казаться устаревшей в свое время. Чтобы убедиться в этом, можно сравнить произведение Карамзина с аналогичным сочинением И. С. Захарова, его «Похвалой Екатерине Великой», написанной в том же 1802 г. Сравнение двух похвальных слов — Карамзина и Захарова — вполне отчетливо демонстрирует глубокие различия между «новым слогом» (даже в его наиболее высоком варианте, в значительной степени приближающемся к старым традициям высокого слога) и «славяно-русским языком». Помимо славянизмов того типа, которые встретились или могли встретиться и в похвальном слове Карамзина, например, таких слов, как *облобызать десницу* (впрочем, у Карамзина: «лобызать державную руку»), *в градах*, *по стогнам*, *оратай*, *воскриляясь*, *возлечь*, *восшествие*, *возлюбить*, *се*, *глас*, *хладный* («обитатели хладныя Сибири») и т. д., — Захаров свободно пользуется и такими словами, которые Карамзин уже просто не мог употреблять. Среди них устаревшие высокие слова, например: *деющий куплю* (т. е. купец), *возносить в горняя*, *отднесь*, *тысящи витийст-*

---

[17] Так цитирует Вяземский, у Карамзина — «веянию».

[18] Любопытно и объяснение этих фактов: «Мы теперь готовы открещиваться от этого зефира, от этого языческого наваждения, — говорит Вяземский. — Но в то время зефиры со всею братьею, со всеми сестрами своими были добрыми домовыми литературы: и писатели и читатели дружелюбно уживались с ними». Укорять Карамзина «в этих баснословных приемах — то же самое, что упрекать его в том, что он пудрит волосы. А между тем все пудрились», — замечает Вяземский.

венных устен, *лепотою облеченный образ*, *украшенная ряснами лжи неправда*, *облистать* («заря восшествия на оризонт облиставшего Россию солнца покрыта была обычным при таковых великих феноменах сумраком»), *внити*, *бесчадный*, *остуда*, *поборство*, *ликовствовать*, *всевожделенная весть*, *гнездилище*, *прелесть* (в архаическом значении — «прелесть мздоимства», «не уклоняться от великих правил прелестью маловажных» и др.). См. также: «истаевающие в заклепах темниц [ждут] освобождения»; «сокровенные в великих поставах (т. е. в шкафах, на полках. — *В. Л.*) всяких наук и языков книги»; «да кичение не обуяет»; «скрежещущая алчным зубом зависть»; «слабое перо мое течет начертать» (где *течь* [*тещи*] «бежать», «идти» в странном сочетании — «перо течет»). Сюда примыкают и некоторые архаические формы, например причастия *упояй*, *исшедый*, *создавый*, *носивыйся* (см., например, изображение бога: «Иже бывшей земле невидимей и неустроенней носивыйся верху бездны и единым словом создавый свет»), аорист *разыдошася* («и пораженну быв пастырю разыдошася овцы»); в обоих последних примерах отметим еще употребление оборота «дательного самостоятельного». Можно упомянуть еще такие выражения библейского происхождения, как «расточить тьму», «положила на уста их молчание и сокрушила зубы крамоле». Но «Похвала. . .» Захарова отличается от «Исторического похвального слова. . .» Карамзина не только наличием высокой архаики, но и употреблением устарелых элементов книжного языка вообще, а порой и искусственных слов; см., например, у Захарова такие слова, как *восчувствование*, *любостяжание*, *державствуя*, *острозрительным оком*, *воспящать*, *восприимствование*, *преткнуться*, обычные для XVIII в. *ирой*, *иройский*, *идра*; постоянны у Захарова не только *толь*, *колико*, *коликий*, *паче*, но и *яко*, *тако* и даже *точию*, *убо* (например, «убо восхвалим», «убо воззрим на нее»); обычно у Захарова и *паки*: «увидим паки ябеду, паки неправосудие, паки лихву, паки народные слезы».

У нас нет возможности дать анализ «Марфы Посадницы». Но бесспорно, что и здесь нет отказа от принципов и самого состава новых норм. В то же время художественные задачи специфического порядка, связанные с сознательным стремлением к воспроизведению древнерусского колорита, определили своеобразие отбора лексики в этом произведении, которое может рассматриваться в творчестве Карамзина как своеобразный стилистический эксперимент, многими признаваемый малоудачным (например, Гречем) [19]. Специального исследования заслуживает и язык «Исто-

[19] Одновременно с «Марфой Посадницей» в том же 1803 г. Карамзин написал и поместил в «Вестнике Европы» «Известие о Марфе Посаднице», почти полностью лишенное всякого архаического элемента. Карамзин стремился передать здесь летописное сказание: другая задача определила и другой слог. Надо вообще сказать, что исследователи Карамзина решительно боролись против представления об однообразии его языка и слога. Так, Вя-

рии Государства Российского», которого мы не касаемся здесь. Надо, однако, сказать, что представление о значительном отличии языка «Истории Государства Российского» от предшествующих сочинений Карамзина преувеличено. Это, очевидно, касается и собственно его стилистики, которая также не порывает здесь с приемами сентиментального стиля [20].

§ 55. Язык и слог важно разграничивать и для правильной оценки воздействия «карамзинской реформы» на дальнейшее развитие литературного языка. Мы видели, с каким трудом усваивались новые литературные нормы даже писателями, тяготеющими к карамзинскому «слогу», карамзинской стилистике. Это вполне естественный и необходимый этап в распространении любых новых норм, новых представлений о «хорошем» литературном языке, особенно если вопрос идет не о новшествах, а о судьбе старого языкового материала. Чем обычнее, чем «нейтральнее» было употребление тех или иных языковых фактов, тем труднее отказ от них. Можно было сознательно отказаться от славянизмов и архаизмов, чтобы избежать излишнего «парения», «громкости» — и в то же время бессознательно употреблять архаические слова как привычный элемент литературного языка. Надо было, чтобы какие-то факты языка, употребляемые в письменной традиции без специальных стилистических задач, пишущий ощу-

---

земский писал: «Самые противники Карамзина — говорим об одних добросовестных — убедились, что испытанный талант знает, каким языком можно написать „Бедную Лизу“ и каким должно писать историю» («Фонвизин», стр. 57—58); поэтому в ответ на слова Каченовского о том, что «История Государства Российского» написана лучшим слогом, чем «Бедная Лиза», Вяземский замечает, что вообще нельзя сравнивать «слог сказочный и исторический» (П. Вяземский. О двух статьях. . . Полн. собр. соч., т. I, стр. 93). Карамзинист П. Шаликов писал в своей статье «О слоге г-на Карамзина»: «„Марфа Посадница“ написана совсем иным образом, нежели „Бедная Лиза“; „Бедная Лиза“ совсем иным образом, нежели „Наталья, боярская дочь“, „Наталья, боярская дочь“ совсем иным образом, нежели „Юлия“, „Юлия“ совсем иным образом, нежели „Рыцарь нашего времени“; „Рыцарь нашего времени“ и „Похвальное слово Екатерине II“ писаны, кажется, двумя человеками, совсем разных талантов» («Аглая», 1808, ч. II, кн. 2, стр. 57). Очевидно, что здесь речь идет прежде всего о слоге — в узком смысле этого слова, о самой стилистике этих произведений, а не о языке как единой норме. Очень типичны следующие слова Шаликова относительно предстоящей работы Карамзина над «Историей Государства Российского»: «Нет сомнения, что „Российская история“ г-на Карамзина будет написана — как говорит Лагарп об „Истории“ Тита Ливия — не выше и не ниже своего предмета» (Там же).

[20] Этого следует ожидать уже потому, что карамзинский сентиментализм сказался в его «Истории Государства Российского» и на самом характере описания и интерпретации исторических событий. См.: H. Dewey. Sentimentalism in the Historical Writings of N. M. Karamzin. [American contributions to the Fourth International congress of slavicists] 'S-Gravenhage, Monton, 1958; см. также выступления на IV Международном съезде славистов К. В. Пигарева, И. З. Сермана, Ю. М. Лотмана, Д. Д. Благого (в кн.: «IV Международный съезд славистов». Материалы дискуссии, I. М., 1962, стр. 273—278).

тил или как устарелые, или как стилистически выразительные, или как ограниченные определенной сферой употребления (например, официального языка, разговорно-просторечные и т. п.). Для того, чтобы преодолеть ощущение обычности, нейтральности языковых фактов, нужны образцы и время, надо, чтобы сформировалась новая традиция. 90-е годы XVIII в. и начало XIX в. имели в этом отношении огромное значение. Это было то время, когда закреплялись новые литературные нормы, приобретая постепенно характер традиционных, обязательных. Поэтому язык подавляющего большинства писателей и ученых 90-х годов уже в первые два десятилетия XIX в. ощущался как устарелый и тяжелый. Для нового поколения пишущих не существовало уже тех трудностей, которые испытывали даже наиболее передовые литераторы старшего поколения. Иное дело — слог «карамзинской» литературы. Его принятие или непринятие было связано с состоянием самой литературы, с художественными вкусами и устремлениями писателей и целых литературных школ и т. д. А здесь старая традиция имела глубокие корни и была еще очень сильна (об этом ниже). Положение, следовательно, изменилось. Если раньше литераторы, активно подражающие карамзинскому стилю, могли оказаться неспособными овладеть новыми нормами литературного словоупотребления, то сейчас даже писатели, враждебные сентиментализму в литературе и слоге, тяготеющие к высокому стилю в литературе, могли органически и бессознательно усвоить эти нормы, — хотя и в различной степени.

Неразличением этих разных вопросов объясняются некоторые противоречия в высказываниях современников о степени воздействия «нового слога» на литературный язык. С одной стороны, Шевырев утверждает, что «слог Карамзина стал слогом всех»; Вяземский писал, что Карамзин, подобно великим полководцам, которые заставляют даже своих врагов сражаться по их системе, заставил принять свой язык и тех, кто выступал против него: «Присяжные заступники старинных писателей витийствуют за них и против новейших на языке, утвержденном сими последними» [21]. Это согласуется с тем, что писал позднее М. Погодин в своей большой работе о Карамзине: «Вся литература подчинилась его влиянию, и большинство писателей старались писать его языком». Среди последователей Карамзина Погодин называет не только В. Измайлова, Шаликова, П. Сумарокова, Жуковского, Мерзлякова, Гнедича, Воейкова, А. Тургенева, Блудова, Дашкова, Жихарева, Вяземского, но и Каченовского, Ф. Глинку, Востокова, Озерова, Крылова, которые «писали языком Карамзина, хотя некоторые, например Каченовский, и не сознавались в том» [22].

[21] П. А. Вяземский. Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева. Полн. собр. соч., т. I, стр. 127.

[22] М. Погодин. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, ч. I, стр. 391.

Действительно, незаметно, чтобы представители разных литературных направлений отличались бы друг от друга языком своих статей, писем, мемуаров и т. д. (разумеется, речь не идет об индивидуальных особенностях, которые всегда могут быть); здесь скорее надо говорить о языке разных поколений, чем о языке разных школ. В этом смысле Кюхельбекер, например, ближе к Вяземскому, чем к Шишкову. В то же время М. А. Дмитриев, утверждая, что, будучи издателем «Вестника Европы», Карамзин не имел сотрудников, замечает: «Кого нашел бы Карамзин в сотрудники, если бы и искал? Кто тогда, в 1802 и 1803 гг., мог бы писать по-карамзински? Это была бы такая пестрота в его журнале, которая тогда бросилась бы в глаза» [23]. Очевидно, что речь идет о разных вещах: с одной стороны, собственно о языке, его нормах, с другой — о слоге, о характере стиля, манере, художественном вкусе.

Очень любопытно в этом отношении замечание П. А. Катенина, убежденного противника Карамзина и его «школы», сделанное в одном из его писем Бахтину в связи с полемикой последнего с Гречем о роли Карамзина: «Большого затруднения я не вижу отвечать Гречу насчет влияния Карамзина на новый слог, — пишет Катенин. — Этот слог не только в прозе очистился, но равномерно и в стихах. Это действие времени необходимое: собственный же слог Карамзина путешественника и прочих ему подобных исчез, над ним смеются, сам Карамзин его переменил; не другие к нему приноровились, а, напротив, он сообразился с общим вкусом: это ясно и неоспоримо». В постскриптуме этого же письма Катенин снова пишет о том, что «время одно все сделало» [24]. Здесь очень точно разграничены разные вопросы. Катенин признает победу нового слога, хотя и отрицает роль Карамзина в его формировании: «время одно все сделало». В то же время здесь высказывается резко отрицательное мнение о слоге Карамзина периода «Писем русского путешественника», утверждается, что Карамзин изменил свой слог, «сообразился с общим вкусом» — очевидно, тех писателей, которые продолжают традицию высокого стиля.

Оставляя пока в стороне вопрос о слоге, можно утверждать, что выработанная в 90-е годы литературная норма становится в первые десятилетия XIX в. господствующей.

Не все стороны этой нормы принимались в одинаковой степени. Наименее очевидными и потому спорными были собственно новшества, внесенные в язык «карамзинской школой»: иностранные заимствования, кальки, неологизмы. Это естественно и неиз-

---

[23] М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1854, стр. 124.

[24] «Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину». СПб., 1911, стр. 39 (письмо от 9 марта 1823 г.).

бежно. Новшества такого рода во все эпохи находили поддержку у одних и встречали сопротивление у других. Известно, что и сам Карамзин пересматривал свое отношение ко многим ранее широко употреблявшимся им заимствованиям. Такой горячий поклонник Карамзина, как Шаликов, писал: «Выкиньте иностранные слова из языка г-на Карамзина — который дозволял себе оные в смелой молодости, в первых сочинениях, и которого не упрекнете более сим *преступлением* — и слог его останется. . . образцовым в чистоте и правильности» [25]. В этих словах, впрочем, немало иронии по отношению к тем, кто считает употребление иноязычной лексики «преступлением». В своем полемическом ответе «К издателю „Русского Вестника“» Сергею Глинке Шаликов иронически намекает на его пуристическую, славянофильскую позицию по отношению к употреблению иностранных слов: «О достоинствах вашего. . . не смею сказать *журнала*. . . вашего Вестника»; «неудовольствие сочинителя упомянутой поэмы, или его . . .опять встречаю то же затруднение: не знаю, что сказать вместо *энтузиастов* или *панегиристов*. . . оставим»; «первая *фраза*. . . простите наконец недостатку моего гения в *изобретении* слов»; «и к чему вы написали весь этот *параграф*» и т. д. «И значит ли наконец *оскорбление величества* для языка введение слов чужестранных?» — спрашивает Шаликов [26]. У принципиальных противников «нового слога», таких, как Шишков и его сторонники, отрицательное отношение к новым словам связано с защитой церковнославянской стихии и с неприятием самой стилистики новой литературной школы. В этих новшествах они не без основания видели своего рода манерность, некоторое щегольство, проявление салонного аристократизма. Поэтому у Шишкова и в Российской Академии это отрицательное отношение к новым явлениям в языке принимало характер крайнего пуризма, распространявшегося даже на освоенные уже языком слова. Выше (стр. 66) уже говорилось о призывах Российской Академии к любителям словесности искать замены для слов, прочно вошедших или входящих в литературный оборот.

Шишков, как известно, резко выступал даже против таких заимствованных слов (и вообще всякого отражения иноязычного влияния на русское словоупотребление), которые уже в то время получили широкое распространение, например, *эпоха*, *период*, *троп*, *фраза*, *интересный*, *энтузиазм*, *серьезно* и т. д., против слов *сосредоточить*, *переворот*, *трогательно*, *утонченный* и других ка́лек с французского. Известна его особая неприязнь к слову *влияние* в его калькированном значении, особенно к сочетанию *влияние на что-л.*: даже в 1826 г., цитируя сенатора Муравьева, Шишков пишет в примечаниях: «Влияние на цензоров,

[25] «Аглая», 1808, ч. II, кн. 2, стр. 55.
[26] Там же, ч. III, кн. 2, стр. 45—53.

влияние письменное, влияние на печатание книг. — Бедный русский язык!» [27].

Надо, впрочем, заметить, что не всегда легко сказать, в какой степени то или иное заимствование было действительно распространено и общепринято. Слово *серьезно* (*сериозно*), например, обыгрывалось еще в 20-е годы даже Гречем. П. Шаликов в упоминавшемся ответе С. Глинке писал, что когда-нибудь слова *адепт*, *мистический*, *диалектика*, *арена*, *профаны* будут известны каждому. Следовательно, в это время они еще не были «известны каждому». Очевидно, следует учитывать и индивидуальные пристрастия. Шишкову, например, не нравится не только слово *интересный*, но также и его «перевод» на русский язык — *занимательный*, а И. Мартынов, критикуя П. Макарова за выражение *много интереса*, рекомендует *много занимательного* («Северный вестник», III, 1804; здесь же осуждаются *монотонный* вместо *единообразный*, *галиматья* вместо *вздор*, *фальшивый* вместо *ложный*, *интрига* вместо *завязка* и др.).

Только тщательное исследование различных памятников литературного языка начала XIX в. может представить реальную употребительность этой лексики в рассматриваемый нами период. Это не входит в число задач настоящей работы [28]. Но бесспорным остается тот факт, что большинство неологизмов и заимствований «карамзинской» поры закрепилось в литературном языке и сохранилось в нем доныне, хотя, разумеется, многие из них претерпели различного рода изменения — в значениях, характере грамматических связей и др.

§ 56. Более устойчивыми были результаты деятельности Карамзина и его «школы», направленной на устранение из языка обветшалой «славенской» лексики. Это нашло отражение как в резком ограничении архаики общекнижного и приказного языка, так и в отказе от немотивированного употребления высокой лексики. Процесс этот может быть показан на большом количестве фактов. Очень любопытный материал в этом отношении дает публикация в «Вестнике Европы» (1808, сентябрь) «Записок» князя Я. Шаховского, написанных в 70-е годы XVIII в. При напечатании в «Вестнике Европы» текст «Записок» подвергся большим изменениям. Издателю было важно, как видно, передать лишь содержание «Записок», которые интересовали его как исторический документ, но не как памятник истории языка. Сохранение языка «Записок» не входило в его задачу. По существу можно сказать, что «Записки» Шаховского были п е р е с к а з а н ы, лишь с сохранением некоторых, очень слабых, примет старого языка.

---

[27] «Записки адмирала А. С. Шишкова», т. 1, стр. 149. Надо заметить, что, кроме *влияние на*, встречалось еще *влияние над*.

[28] См. соответствующий материал в упоминавшихся ранее работах В. В. Виноградова, Л. А. Булаховского, Г. О. Винокура, А. И. Ефимова, а также в ряде кандидатских диссертаций.

Издатель и сам предупреждает, что «все вообще предложено в ином виде относительно к слогу». П. П. Пекарский связывает это «исправление» текста «Записок» с тем, что «глажение языка и изгнание старинных слов составляло одну из главнейших забот писателей — современников Карамзина» [29]. Сравнение «Записок» Я. Шаховского и их пересказа в «Вестнике Европы» может, таким образом, дать представление о том, какие слова из текста Шаховского воспринимались в начале XIX в. как устарелые (эффективность такого сравнения, правда, несколько снижается тем обстоятельством, что исправления коснулись не только отдельных слов: в тексте «Вестника Европы» отсутствуют целые куски «Записок», опущены многие подробности; другими словами — перестройка текста не ограничивается стилистической его стороной).

Пекарский замечает, что язык «Записок» близок языку официальных документов, что видно и из сличения «Записок» и помещенных в них деловых бумаг. Неудивительно, что именно эти особенности «Записок» подверглись наиболее последовательной правке, что выразилось, например, в постоянных заменах неуклюжих, старомодных оборотов Шаховского. Так, «сделать доказательство о ваших достоинствах» заменено: «выхвалить ваши достоинства»; «не всегда делают низвержение» — «не опасно»; «оказав обрадование» — «радуясь от всего сердца»; «подвергнулся дух мой великому беспокойству» — «в крайнем беспокойстве»; «подали языку моему смелость велеречествовать» — «сделало меня велеречивым»; «с наибольшим восчувствованием предложил я себе правило» — «я решил»; «в полных удовольствия восхищениях» — «в полном удовольствии»; «регентова ко мне отменно пред прочими милостивая склонность» — «отменная ко мне милость Бирона» и др. под. Стилистический характер носят и такие замены, как «навлек на себя ненависть Бирона» вместо «впал в ненависть у герцога Бирона», «нажить неприятелей» вместо «от многих ненавидим буду», «радуются» вместо «берут участие радоваться» [30]. Отличается от приведенных выше, но также характерна следующая правка: «скончалась» вместо «от сей временной в вечную переселилась жизнь».

---

[29] П. П. Пекарский. Русские мемуары XVIII в., III. Оттиск из журнала «Современник», [б. г.], стр. 71. — Предисловие от издателя подписано буквой *К*. Пекарский полагает, что писал его Каченовский. Правда, именно в 1808 г. Каченовский не был издателем журнала; тем не менее, вполне вероятно, что публикация записок Шаховского была подготовлена все же Каченовским. В этом случае приведенное выше мнение Погодина получает объективное обоснование.

[30] Последний пример особенно любопытен: *брать* (*принимать*) *участие* — один из тех галлицизмов, которые имели широкое хождение в разных стилях русского литературного языка. Замену его в данном случае вряд ли можно рассматривать как отказ от этого выражения вообще; но происходит уточнение его грамматических связей — см. здесь сочетание его с инфинитивом.

Издатель «Записок» последовательно устраняет некоторые слова оригинала, которые были для начала XIX в. архаическими — по крайней мере, вне специальных стилистических условий. Так, *паки* или заменяется через *опять*, или устраняется в результате более значительных изменений текста; *паче* или *паче же* заменяется через *тем более*, *что* и *особливо*; устраняется *и тако* — либо без всякой замены, либо заменяясь на *и так* или *но как*; *яко* заменено через *как*, *понеже* — через *ибо*; исключаются из текста *токмо* и *ниже́*. Так, «не токмо намерений согласных, но ниже́ разговоров» заменено: «не имея никаких общих с ним намерений, и не слышав от него никаких суждений»; в других местах *ниже́* заменяется через *и даже не*, а *ни. . . ниже́* через *ни. . . ни*; *вящше* заменено сочетанием *еще более*; вместо *чрез* обычно *через*. Как правило, устраняется слово *ответствовать* или путем замены его словом *отвечать* (например, во фразе «ответствовал его высочеству»; в другом месте *отвечал* заменяет целое выражение — «изволил ответствовать»), или без всякой замены. Из других замен обращают на себя внимание: «поселил во мне мнение» вместо «понятие мое мне вперило»; «искренно» вместо «без всякой манности»; «почувствовал, сколь неприятно было мое положение» вместо «таковую приемность почувствовал»; «посматривали на меня с крайним презрением» вместо «весьма презорные взгляды мне оказывали» [31] (см. также «холодность и даже презрение» вместо «некоторые презорства и холодности»); «как бы предвидя» вместо «как бы по предуведомлению»; «тщеславные замыслы» вместо «тщеславные снискания»; «другой» вместо «инаковый» («инаковым [местом] гораздо знатнейшим был обнадежен» — «ожидавший себе другого назначения»); «проводил ночь» вместо «препроводил ночь»; «могли» вместо «превозмогли»; «непреложной его ко мне милости» вместо «неотменной»; «ожидая, что будет далее» вместо «во ожидании моего точного жребия»; «происшествия» вместо «происхождения»; «с видом почтительным» вместо «с постоянным видом» [32]; «удостоиться» вместо «усчастливиться»; «фортуне угодно было» вместо «фортуна восхотела»; «согласился» (на просьбу) вместо «не отрекся» [33]; «тайную вражду» вместо «потаенную» и некоторые другие. Стилистическое направление этих и подобных замен очевидно: устраняются слова и выражения, на которых лежала, с точки зрения нового литературного вкуса, печать «приказного» или книжно-схоластического слога, а отчасти и «высокие» слова. Такого же характера и некоторые сокращения: так, в сочетании «открытности и доверенности» остается

[31] Здесь характерно устранение не только слова *презорный*, но и сочетания *оказывать взгляды*.

[3] См. в Словаре АР одно из значений слова *постоянный*: «степенный, умеренно, воздержанно живущий: *он заслужил от всех похвалу постоянною своею жизнью*».

[33] См. выше, стр. 192.

только «доверенности», в «низвергнуть и погубить» — только «погубить», в «под надсмотрением и руководством» устранено «надсмотрением», вместо «веселообразно поцеловал» — оставлено только «поцеловал» и т. д.

Выше приводились случаи прямых замен слов и выражений или устранения их в результате сокращения или перестройки отдельных ограниченных отрезков текста. Если же принять во внимание случаи исключения или кардинальной перестройки больших кусков текста, произведенных, очевидно, не со специально стилистическими целями, отличия эти окажутся еще более значительными. Так, в результате сокращений исчезли такие слова и выражения, как *коликий*, *воспомоществовать*, *содвинувся*, *восчувствования*, *объятый болезнями* и т. д.

Надо заметить еще, что в результате различных изменений текста — прямых замен или перестройки целых кусков — оказались устраненными в переложении «Вестника Европы» некоторые специфические, типичные для делового языка XVIII в. иноязычные заимствования, такие, как *авантажный*, *персона*, *приватно*, *апробация*, *апробовать*, *амбиция*, *персонально* («персонально с ним изъясняться»), *фамилия* в значении «семейство» [34]; *протекция* заменена *покровительством*, *краткие экстракты — короткими записками*, вместо *взять под караул — взять под стражу*.

Вместе с тем язык переложения в «Вестнике Европы» свободен и от встретившихся в «Записках» Шаховского элементов бытового просторечия; он чище, строже, нормированнее и в этом отношении. Вместо фразы «поздравил меня с усмешкою, как я своими пролазами такое хорошее себе место промыслил», в «Вестнике Европы» видим: «поздравлял меня с получением такого хорошего места»; *вчерась* заменяется через *вчера* (хотя, как известно, и в начале XIX в. *вчерась* в разговорной, а отчасти и в письменной речи образованных людей употреблялось довольно свободно); «начал сказывать своему генералу» изменено на «объявил своему начальнику», «зачал со мною разговаривать» — на «начал разговаривать»; фраза «яко в таких делах сведущего и заобыклого» изменена в «как человека сведущего» — с устранением слова *заобыклый*.

Выделяется своим прямо противоположным характером лишь замена выражения «сошел с ума» словом «рехнулся».

Текст «Записок» Шаховского под пером издателя «Вестника Европы», таким образом, изменился в стилистическом отношении очень сильно: нет здесь этой типичной для книжного языка XVIII в. смеси «приказного» языка с его славянщиной и иноязычными заимствованиями — с элементами казенного красноречия и бытового просторечия.

---

[34] Впрочем, в языке Карамзина и его окружения такое употребление слова *фамилия* еще встречается.

Влияние новых норм могут испытывать и литераторы далекие — по крайней мере, по языку — от карамзинской школы, тесно связанные с традициями архаического «славяно-русского языка». Так, большой интерес в этом отношении представляют те изменения, которые вносил Херасков в свои повести «Кадм и Гармония» и особенно «Полидор, сын Кадма и Гармонии» при переиздании их в 1801 г. в составе его собрания сочинений [35]. Надо сразу оговориться, что изменения эти в большинстве своем проводятся непоследовательно: заменив какое-либо архаическое слово в одном месте, автор может оставить его нетронутым во многих других случаях; но все же общее направление этих исправлений выражено вполне отчетливо. Наиболее последовательно — преимущественно в «Полидоре» — устраняет Херасков *яко*; чаще всего его заменяет *как*, например, в таких фразах: «они его обожают, яко тебя некогда обожали»; «ты, яко Протей, различные виды на себя приемлешь»; души «плавают, яко невидимые пылинки», «я. . . яко царь. . .» (этот пример особенно интересен тем, что здесь заменяется *яко* в чисто «качественном» употреблении — «в качестве царя», т. е. в случаях, когда *яко* встречалось у разных авторов особенно часто и свободно) и др. под. Есть случаи замены *яко* словом *будто*, например: «движется яко Тифон ужасный». Несколько раз *яко* устраняется без всякой замены; так, вместо «пребыл надолго яко окаменелый» во втором издании находим «пребыл надолго окаменелым»; вместо «Полидор, яко свыше вдохновенный. . .» — «Полидор, свыше вдохновенный. . .», вместо «яко лев рыкал» — «льву подобен»; во фразе «любили они Ацета яко юношу дружелюбного» вместо *яко* — *сего* и т. д. Соответственно и *якобы* несколько раз заменено *будто бы* или союзом *что*.

Несколько раз устранено из текста местоимение *се*, причем разными путями. В крайне эмоциональном восклицании Полидора: «Боги! се они теперь сливаются — вижу — себя! — вижу и Зарему! — се мы!» при переиздании первое *се* заменено союзом *но* («но они теперь сливаются»), а вместо «се мы» находим — несколько неожиданно — совсем прозаическое и разговорное «это мы». Во фразе «се нарцисс над водами» — *се* заменено *то*; вместо «и се — они сокрылись» — во втором издании «и вдруг». Довольно часто (но очень непоследовательно) в «Полидоре» *един* заменяется через *один*, преимущественно в сочетаниях типа «я люблю едину из дев славянских», «един из старейшин» и т. д., а также и в таких случаях, как «я тебя един объемлю» (т. е. без Заремы, которая умерла), «я иду един сражаться», «уповаю на себя единого» (в последнем случае заменено не только *единого*, но и *уповаю*: «надеюсь на себя одного»), «един Полидор пребыл тверд» и т. д.

[35] «Творения М. Хераскова», ч. 8—11. М., 1801, 1802.

Так же вполне определенны по своей стилистической тенденции и другие правки в романах. Так, иногда заменяется *токмо* через *только*: «токмо помни, что. . .»; «будто меня токмо ожидали» — в этой фразе и *се* заменено *вдруг*; «Кадм и Гармония токмо человеки были» (т. е. они не были богами) и др. Есть случаи, когда *токмо* устраняется и другими путями, например, во фразе «Кадм и Гармония токмо подобие человеков имели» вместо *токмо* во втором издании — *одно* («одно подобие человеков»). Надо снова напомнить, что при этом десятки случаев с *токмо*, ничем не отличающиеся от приведенных, сохранены в неприкосновенности. Несколько раз *коль* исправлено на *сколь* (например: «коль прелестные вертограды!» и под.), *таковые* на *такие*. Довольно последовательно *хощу* (*хощешь* и т. д.) исправляется на *хочу* (например, в прямой речи: «пребуди с нами, ежели хощешь» — «ежели хочешь»); встретилась также замена этого слова через глагол *дерзать* («не хощешь признаться» — «не дерзаешь признаться»). Наречие *паки*, как правило, остается неизменным в обоих изданиях (см., например, исправление «паки восстановляются» на «паки возникли»), но есть и отдельные случаи замен: «шум начался паки» — «шум начался снова», «паки умолкает» — «вдруг умолкает» (в последнем случае, разумеется, замена не синонимична). Встретилось и устранение приказного *учинить* (см. выше замечание Карамзина): «ближними своими учинить намеревалась» заменено «соделать», но вообще *учинить* и, особенно, *учиниться* встречается в повестях очень часто без всяких замен, например: «сей лютости учинить не дерзаем» (любопытно, что *лютость* во втором издании исправлено здесь на *жестокость*, а *учинить* осталось нетронутым); «Газа дикою учинилась пустынею», «учинился сам себе не подобен»; «учиниться добродетельною»; «учинилась виною» и т. д.

Из других замен можно отметить еще такие, встретившиеся, правда, в единичных случаях: «какими чувствами он был *двигнут* к соделанию. . . преступления» — «влеком»; «его воззрения и *глаголы*» — «слова» (см. еще вм. «дыхание и глаголы мои заразительны суть» — «дыхание и слова мои»); «тако *вещаю*» — «тако говорила» (заметим, что *тако* осталось без изменения — это слово вообще употребляется очень широко; правда, во фразе «не тако злоба, сколько желание. . .» *тако* заменено *столько*, но вряд ли это связано со стремлением устранить *тако*: здесь просто восстановлена более точная конструкция: «не столько. . . сколько»); «преклонить главу на ее *перси*» — «грудь»; «ужас его. . . *начертавался*» — «представлялся»; «пагубную любви отраву *вкушающего*» — «поглощающего»; «из сетей *любострастия*» — «из сетей соблазна»; «хотела *препнуть* его путь» — «преградить»; «возопиял» — «возопил» (если это не опечатка); «тако беседующей Гармонии, Кадм *рек* ей» — «отвечал» (но сохранено и *тако* и оборот «дательного самостоятельного», да и замена *рек* на *отвечал*, мо-

жет быть, имеет здесь не стилистический, а чисто смысловой характер); «грядущего» — «идущего»; «старец *воссидел* на зеленом холме» — «сидел»; «счастлив в *животе* моем» — «в жизни моеи»; «нашу мощь» — «нашу мочь»; «повелел *уготовать* корабли свои» — «приготовить»; «счастливые и горестные дни нам *соделывают*» — «приключают»; «день един не *совершает* вечности» — «не делает»; «сей Ацет *седящ* под густою тенью развесистого древа» — «сидя» и т. д. *Заутра* заменено разговорным *завтре*, *мечтательности* («таковыми мечтательностями услаждаться», «игралище мечтательностей») заменено один раз словом *мечтания* (при этом *таковыми* исправлено на *такими*), другой раз — словом *видения*. В словах славян-язычников, сказанных Полидору: «кумиры наши нам могущее тебя быти мнятся» — *быти мнятся* заменено *быть кажутся* (кстати говоря, замена инфинитива на *-ти* инфинитивом на *-ть* встречается и в некоторых других случаях, но, как почти все замены в рассматриваемых произведениях, непоследовательно).

Общее направление в работе автора над языком повестей, несмотря на непоследовательность, совершенно очевидно [36]. Ставятся под сомнение — пусть только спорадически, в отдельных случаях — преимущественно некоторые книжно-архаические слова, придающие тексту приказную или ученую тяжеловесность; см., например, такие слова, как *яко*, *токмо*, *таковые*, *совершать*, *паки*, *начертаваться*, *учинить*, *соделывать*, *впечатлевать*, *един* и некоторые другие [37]. Собственно высокий элемент затрагивается меньше, но отдельные замены таких слов, как *рек*, *грядущий*, *воссидеть*, *се*, *писание*, *глаголы* и некоторых других, все же заслуживают внимания. Разумеется, все эти поправки и замены не меняют существенно архаического и книжного облика повестей Хераскова. Но они все же важны как показатели тенденций в развитии лексических норм литературного языка.

Выше (см. стр. 141) приводился список архаических слов, которые собраны и объяснены в книге Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». Мы приводили его для того, чтобы показать степень приверженности Шишкова славянщине и архаике, но список этот показателен и с другой стороны: Шишков сам свидетельствует, что слова эти вышли из употребления, что они нуждаются в разъяснениях и толкованиях.

Отказ от архаичных слов сопровождался утверждением и закреплением в языке тех книжных слов, которые составляют

---

[36] Мы не касались замен, которые не имеют стилистического значения, например, *сретали* на *сретили* и наоборот *сретили* на *сретают*. Эти случаи, напротив, говорят об устойчивости данного архаизма.

[37] См. еще: *заключение* заменено словом *умоключение*. Это, очевидно, одно из любимых слов Хераскова. Карамзин в своей рецензии на первое издание «Кадма и Гармонии» отметил это слово в числе неудачных, «к которым наше ухо не привыкло».

книжную разновидность литературного языка. Здесь снова надо заметить, что объем этого книжного пласта в первые десятилетия XIX в. определяется в основном практикой «карамзинской школы» еще в 90-е годы. Во всяком случае, в книжный слой общелитературного языка первых десятилетий XIX в. уже входили такие слова, как *воображение*, *восторжествовать*, *дерзать*, *возгораться*, *воссоединение*, *вместилище*, *скрежет*, *рев*, *благоговение*, *творчество*, *негодование*, *сострадание*, *благоденствие*, *отвержение*, *животворный* и др., много слов с суффиксами *-ние*, *-ство*, *-ость* и т. д.

Надо обратить внимание на то обстоятельство, что источником этой книжной литературной лексики является в основном не старо-книжная «ученая» или приказная лексика, а слова, примыкавшие в прошлом к высокому лексическому слою, слова стилистически выразительные. Ср., например, приведенные слова с такими, как *обрадование*, *удовольствование*, *презорство*, *приятство*, *неудобопреклонный*, *рассевать*, *рассевание*, *соплетать* и *соплетение*, *изрядство*, *восчувствование*, *беспреткновенный*, *воспящать*, *нарещи*, *посмеваться*, *воспрядать*, *вперение*, *небрещи*, *дебелый*, *надзрение*, *прозябение*, *приуготовление* и др. под., широко распространенные в книжном языке XVIII в. Это, разумеется, не значит, что уже в начале XIX в. все такие слова вышли из употребления; и Карамзин и близкие к нему литераторы употребляли слова, которые вскоре стали восприниматься как устарелые, например, *умствование* — без отрицательной оценки, *упражнение* как занятие чем-н., *опыты* в значении «доказательства»; см. также такие слова, как *любочестие*, *охуждать* и *охуждение*, *благорастворение*, *отринуть*, *вооружиться* против кого-н. и др. под.

Формирование книжной лексики, не выходящей за пределы общелитературной нормы, но не являющейся в то же время стилистически нейтральной, отграничение ее от обветшалых славянизмов, вышедших из употребления, и от слов, сохраняющихся в этот период только как элемент высокого слога или поэтической речи, один из важнейших процессов истории литературного языка конца XVIII—начала XIX в.

§ 57. Бесспорная победа новых литературных норм над старым книжным языком не означала абсолютного их господства. Литературное словоупотребление в первые десятилетия XIX в. характеризуется еще пестротой, наличием колебаний, иногда очень значительных. Важно, однако, разграничить колебания разного рода и разного происхождения. Это, прежде всего, те колебания, которые отражали различия в характере выучки, степени и характере образованности носителей литературного языка, принадлежность к различным поколениям, отчасти и их индивидуальные пристрастия и т. д. Подобные расхождения в понимании отдельных норм существуют во все эпохи, но в рассматриваемый период,

когда осуществлялась решительная ломка старых представлений о «хорошем слоге», эти расхождения принимали характер как бы одновременного сосуществования разных «систем» литературных норм. Расхождения касались прежде всего употребления той нейтральной в прошлом архаической лексике, о которой говорилось выше. Важно заметить, что литературная языковая борьба обычно не затрагивала эту устарелую лексику. Одни употребляли ее, другие избегали или даже осуждали ее, но не она служила главным предметом споров. Это очень существенно для понимания содержания той полемики которая развернулась в первые десятилетия XIX в.

Колебания в употреблении ряда слов могут отражать и некоторую неустойчивость их стилистической характеристики. Ранее уже говорилось (см. стр. 81—82), что некоторые слова, которые мы привыкли считать приметами высокого стиля или поэтического языка, приближались во второй половине XVIII в. к нейтральному языковому фонду. Относительно некоторых слов этого ряда надо сказать, что они и в начале XIX в. могли употребляться довольно широко и вне поэтического или высокого контекста. Не всегда легко поэтому отграничить общекнижные «архаизмы» от стилистически выразительных. Так, очевидно, к этой первой группе надо отнести такие слова, как *сопутник*, *воспоминать* (и, вероятно, некоторые другие с приставкой *воз-*, *вос-*), *соделать*, и *соделывать*, *ответствовать*, *пещись*, *предрассуждение*, *чувствование*, может быть, *сокрыть*, *могущий*, *мещет* (в выражениях «мещет взор, взгляд»), слова с основой *-емл-* — типа *внемлет*, *приемлет*, *объемлет* и др. (см. совр. *сопутствовать*, *воспоминания*, *ответственность*, *могущественный*, *неприемлемый*). Во всяком случае, для конца XVIII и первых двух-трех десятилетий XIX в. трудно заметить, чтобы эти слова употреблялись только со специальным стилистическим заданием. По всей вероятности, они отличались от своих однокоренных синонимов (*спутник*, *чувство*, *вспоминать*, *сделать* и *делать*, *отвечать*, *печься*, *предрассудок*, *скрыть*, *могучий*, *мечет*, *внимает* и т. д.) только большей книжностью, а некоторые из них, возможно, ощущались даже как их стилистически однородные дублеты. Нельзя, разумеется, не принимать во внимание и индивидуальных навыков и пристрастий. Во всяком случае, нечеткость, неустановленность стилистической характеристики этих и подобных им слов следует иметь в виду, чтобы не принять употребление этих слов за свидетельство сознательного тяготения автора к высокой архаике, особенно если перед нами представитель старшего поколения.

Сказанное относится до некоторой степени и к таким словам из этой группы, которые явно тяготели к тому, чтобы слиться с другими элементами поэтической или высокой лексики — например, *ветр*, *младой*, *младость*, *нощь*, *вотще* и др. Наряду с массовым употреблением этих слов — как обладающих яркой стили-

стической выразительностью или как поэтической вольности — встречаются еще и такие случаи, когда эти слова воспринимаются как факты общелитературного языка. Так, *ветр* встречается в нейтральном (или книжном, но не обязательно высоком или поэтическом) контексте у Радищева, Карамзина, Макарова, Державина (см. например, в примечании последнего к строке «который так, как жгущий эвр» из «Гимна лиро-эпическóго» [1812]: «Эвр, африканский полуденный палящий ветр» — Сочинения, 2 акад. изд., т. III, 1870, стр. 119), позднее — правда, в единичных случаях, — в прозе Грибоедова, Марлинского, в журнальной прозе, в словарных толкованиях; примеры употребления *ветр* в толкованиях Словаря АР выше приводились, можно было бы привести еще примеры из «Нового словотолкователя» Н. Яновского (например, в объяснении слова *аквилон*), в «Общем церковно-славяно-русском словаре» Соколова 1834 г. (даже в таком сочетании как *ветр из желудка* в статье *рыгать*). Встречаются случаи стилистически безразличного употребления слова *младой* [38] (нередко в значении младший, например, название романа Бартелеми Карамзин в своей рецензии в «Московском журнале» переводил «Путешествие *младого* Анахарсиса»). Такое употребление слов *младой* и *младость* можно встретить изредка и далее в разных литературных жанрах у разных авторов [39]. Не вполне ясно, в какой степени было стилистически ограничено наречие *вотще*, которое, помимо контекстов высоких и поэтических, встречается изредка и вне таких специальных условий (например, даже в критической прозе Белинского, если не видеть здесь некоторой, присущей вообще Белинскому, нарочитой стилизации под архаическую книжную речь) [40].

Трудности в разграничении разных типов архаизмов — общелитературных и поэтических — в этих, сравнительно немного-

---

[38] У Радищева в «Путешествии. . .» и некоторых других произведениях есть даже «младой человек».

[39] Так, оно встретилось нам несколько раз в авторском тексте в «Словаре древней и новой поэзии» Н. Остолопова (например, т. I, стр. 440, 514 и др.), у Сергея Глинки, в записках Шишкова (например *младой царь* — в стилистически нейтральном контексте), в учебной и исторической литературе (например *младые художники* в «Опыте исторического образотворного словаря» и т. д.). См. также название стихотворения Вяземского «Младой певец» и другие факты такого же рода.

[40] В то же время считаю нужным исправить ошибку, вкравшуюся в четырехтомное «Собрание сочинений» Жуковского (М.—Л., 1960): в письме последнего Гнедичу от конца 1814—начала 1815 г. читаем: «я радуюсь. . . гекзаметру, который вотще нашим почетным любимцам Феба, ближе к гармонии вдохновленных лир. . .» и т. д. (т. IV, стр. 561). Редактор тома повторил первую публикацию письма в журнале «Книжки недели» (1896, № 1). Между тем в автографе письма, хранящегося в Гос. публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, отчетливо читается *вопреки*. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить одного из редакторов «Собрания сочинений» Жуковского — В. А. Петушкова, оказавшего мне помощь в установлении правильного чтения этого текста.

численных, случаях усугубляются тем, что по мере выхода из общекнижного употребления такие слова могли сохраняться как стилистически значимые или даже приобретать стилистическое значение. Это обстоятельство обнаруживается и в некоторой сбивчивости и неопределенности в оценке многих слов у писателей и критиков первой половины XIX в., в частности и у Белинского.

Мы говорили о некоторых колебаниях в словоупотреблении, о пестроте языка в первые десятилетия XIX в., связанных с различиями в речевых навыках носителей литературного языка, а также и с некоторой неустойчивостью стилистических характеристик отдельных книжных слов. Но неизмеримо более существенным источником стилистических колебаний и противоречий в литературном языке начала века явилась неравномерность развития разных его стилей, разных сфер письменности. Так, официально-деловой язык обнаруживал еще очень заметную зависимость от традиций старого «приказного» языка, в нем долго сохранялись архаические элементы, особенно во всякого рода специальных формулах, трафаретах. Эти архаические элементы оказывались настолько устойчивыми, что их можно видеть в деловой переписке людей, показывавших в других сферах письменности образцы вполне современного слога. В этом отношении любопытный материал дает сопоставление языка писем, критических статей или публицистических произведений декабристов с их же ответами на вопросы следственной комиссии или с языком «Русской правды» Пестеля.

Еще бóльшую пестроту представлял собой язык «ученый». Научные книги, учебники, философские рассуждения писались еще часто тяжелым слогом, сохранившим тесные связи с книжным учено-схоластическим языком «докарамзинского» периода. Л. А. Булаховский правильно замечает, что «впечатление гораздо бóльшей устарелости, чем язык некоторых произведений художественной прозы самого начала XIX в., производило все, так или иначе связанное с мыслью философскою или научною» [41]. Булаховский объясняет этот факт разными причинами, в частности, и тем, что «язык науки, менее претендовавший на стилистическую изысканность по самой своей природе, дольше, чем язык беллетристики, пользовался лексикой и синтаксисом „казенной“, деловой переписки, уже налаженным в быту фондом слов и выражений рассудочного порядка» [42]. В этой связи надо обратить внимание на удивительную чистоту философского, вообще «рассудочного» языка Карамзина уже в 90-е годы. Но язык официальной

[41] Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX в. Лексика, стр. 20.

[42] Там же, стр. 21. Среди причин архаичности научного языка Л. А. Булаховский приводит также «социальный состав официальных представителей науки, в большинстве выходцев из духовенства» (там же, стр. 200).

науки, видимо, развивался по своим особым традициям, слабо отражая влияние карамзинского слога. Возможно, что отчасти в этом повинна и та излишняя изысканность и манерность слога, печать которой лежала не только на художественных произведениях Карамзина и его «школы», но и на их исторической, философской, публицистической прозе. Отказ от «ученого слога», боязнь «педантства» оборачивались здесь некоторой легковесностью, беллетристичностью. «Нежность прилепилась нынче и к врачебным книгам», — иронически писал по этому поводу Сергей Глинка в своем «Русском Вестнике» [43].

Можно было бы привести много примеров употребления архаической, книжной лексики разного типа из научных сочинений и деловой литературы этого времени. Это, однако, не представляется целесообразным: архаические элементы можно встретить в это время в любых сферах письменности, даже в письмах или мемуарах. Важно показать, что архаика в научном и деловом слоге составляет его специфику; но сделать это можно только при всестороннем и исчерпывающем анализе соответствующей литературы, что не входит в задачи настоящей работы и может стать предметом особого исследования.

Свидетельством необработанности и отсталости научного, философского, публицистического языка может служить и то обстоятельство, что состояние этого языка вызывало глубокое недовольство деятелей литературы. И в этом надо видеть не только признание бедности языка специальной терминологией, недостаток, как говорили, «номенклатуры», но и недовольство его стилистическими качествами — тяжеловесностью, архаичностью, следами «педантства», отсутствием «чистоты», «гладкости» слога [44]. Стилистические недостатки «ученой» прозы ощущались особенно отчетливо при сопоставлении со слогом лирической поэзии, высокое развитие которого признавалось безоговорочно.

Следует отметить очень важную и характерную особенность этих многочисленных жалоб и сетований: слабость книжного, «теоретического» языка, как правило, связывается с недостаточной нормализованностью языка разговорного, «общественного».

Открывая в 1812 г. Общество любителей российской словесности при Московском университете, его председатель А. А. Прокопович-Антонский говорил, что «одни классики не установят

---

[43] «Русский Вестник», 1809, № 7, стр. 112.

[44] Из многочисленных критических замечаний такого рода приведу только один. Говоря о вышедшей в 1803 г. книге известного ученого-медика Д. Самойловича, рецензент «Северного Вестника» (1804, ч. II) замечает: «Как жаль, что такая полезная книга писана таким тяжелым пером и что ученые часто презирают язык свой или слишком мудрят в изобретении и составлении новых слов». См. в приведенных в рецензии отрывках из книги: «предустановляет такожде в созерцаниях сих», «ласкосердие аки предохранитель», «ни в каковом виде» и под.; даже в названии книги встречаем выражения вроде «существенность всеблаготворительнейших средств» и под.

слога; нужен вкус лучшего состояния граждан»; совсем в духе Карамзина и Макарова он сетует на то, что «в большом свете, где вкус отечественной словесности обыкновенно образуется, более любят разговоры на чужом языке, нежели на своем». И далее: «Мы. . . не имеем ученых книг, которые обогащали бы нас понятиями и средствами изображать их, которые даровали бы собственность и определенность слогу, мы не подкреплены всеобщею любовью к языку, вкусом и разборчивостью лучшего состояния граждан» [45].

Эта же мысль развивается в другой речи Прокоповича-Антонского, произнесенной им семь лет спустя — в 1819 г.: оратор жалуется, что «. . . мы не имеем еще и исторического слога, во всех отношениях приличного»; «Мы не в состоянии, — говорит он, — выразить тех разнообразных оттенков движения сердца, какие встречаем у Цицерона, когда рассуждает он о страстях, не говоря о новейших исследователях сердца: Лабрюйере, Адиссоне, Фенелоне». С этим связывается и то, что «письма наши не могут еще хвалиться собственно себе принадлежащим слогом. Высокопарность и старинные германские чинонаблюдения составляют главное их достоинство». Как и в цитированной выше речи, Прокопович-Антонский ставит это положение в зависимость от состояния разговорного языка: «Разговор душа бесед, венец и красота слога, — говорит он. — Может быть, мы слога разговоров оттого не имеем, что в лучшей публике у нас говорят больше на иностранном, нежели на русском языке». Далее развивается совершенно «карамзинская» идея: решение этой проблемы — дело самих писателей, которые должны, разрабатывая язык науки, философии, публицистики, тем самым способствовать и нормализации разговорного «общественного» языка. «Не столько от публики, сколько от ученых и просвещенных мужей ожидать должно всего изящного, всего возвышенного. Они должны действовать на публику и на успехи образованности. . .». Приводятся примеры из других языков: «Англичане прежде говорили и писали на латинском языке, пока Мильтоны и Шекспиры заставили их полюбить язык отечественный. Самые французы страстно любили язык италианский, пока Корнели и Расины не заставили их предпочитать всему языка родного. Почему и нам не ожидать сего?» [46]

---

[45] «Труды Общества любителей российской словесности», ч. 1, 1812, стр. 9—10, 13. Известно, что жалобы на господство в гостиных французского языка исходили также — и особенно настойчиво — и за лагеря шишковистов. Но совпадение это внешнее: и идеологические, и литературно-языковые стилистические основы этой борьбы с французоманией здесь иные.

[46] «Труды Общества любителей российской словесности», ч. 13, 1819, стр. 15—17. См. также приводившиеся ранее (стр. 128) высказывания Шевырева на ту же тему.

Вопрос о необработанности общественного языка — при высоких качествах языка поэтического — вообще одна из центральных тем речей в Обществе любителей российской словесности при Московском университете. Кроме выступлений Прокоповича-Антонского, можно еще упомянуть речи А. Ф. Мерзлякова [47], П. Шаликова [48], А. Глаголева [49] и др.[50] Жихарев в своих записках вспоминает, как Гнедич передавал ему слова П. И. Соколова, непременного секретаря Российской Академии: «вся эта поэзия, все эти традиции и поэмы одна только роскошь в литературе; а нам не до роскоши, когда мы нуждаемся в насущном хлебе. Нам нужны не поэты, а люди, которые бы умели писать в прозе правильно и ясно; у нас нет ни эпистолярного, ни делового слога, о котором похлопотать непременно бы следовало; а заботиться о прочем — одна суетность и, право, не стоит труда» [51]. Гнедича возмущает пренебрежение к поэзии, к литературе: «Вот извольте видеть, как рассуждает Петр Иванович, а еще секретарь Академии!» — восклицает он. Но в оценке состояния литературного языка он, очевидно, не расходится с Соколовым; достаточно вспомнить в этой связи его известное «Рассуждение о причинах, замедляющих развитие нашей словесности»: «. . . у нас нет во всех родах образцовых сочинений, а еще более в прозе, — говорит Гнедич. — У нас нет еще книг, чтоб совершенно узнать все тонкости языка общественного и формы различных слогов, а особенно прекрасного слога среднего, признанного за превосходнейший во всех языках живых и мертвых» [52].

Отсутствие «языка философского» и «номенклатуры ученой» констатирует также А. А. Бестужев в своем отчете о торжественном заседании Российской Академии: «Признавая богатство рус-

---

[47] Так, в своем «Рассуждении о российской словесности в нынешнем ее состоянии» А. Ф. Мерзляков, говоря о языке, замечает, что поэты — Ломоносов, Сумароков, Херасков, Державин, Петров — «испытали токмо один рудник — стихотворство», что «мы не знаем его в других отношениях». «В самом обществе говорят по-французски; следовательно мы не знаем его (русского языка — *В. Л.*) благородной простоты и гибкости, мы не имеем еще образцовых писем. . . переводчики наши чувствуют величайшую трудность, начав переводить что-нибудь из книг философских» («Труды Общества любителей российской словесности», ч. 1, 1812, стр. 67—68).

[48] См. его «Речь о состоянии нашей словесности» (Там же, ч. 8, 1817).

[49] См.: «О русских приветствиях». — «Сочинения в прозе и стихах. Труды Общества любителей российской словесности», ч. V, 1824; см. ниже, стр. 371.

[50] См., например, шутку «Сновидение или суд на Геликоне» (Там же, ч. 16, 1819), где «любители русского слова» жалуются Аполлону на то, что «все богатство и великолепие русского слова. . . не что иное есть, как суета суетствий. В больших домах ему отказывают; в бонтонные общества его не допускают, в собраниях исключен и забыт как язык мертвый». Рассерженный Аполлон требует, чтобы люди сами «показали великолепие языка».

[51] С. П. Жихарев. Записки современника. М.—Л., 1955, стр. 428.

[52] «Описание торжественного открытия имп. публичной библиотеки. . .». СПб., 1814.

ского языка в живописном и звучном выражении, должно, кажется, признаться, что в логическом и метафизическом он не превосходит языков, сделавшихся классическими» [53]. В другом месте Бестужев уподобляет русский язык «прекрасному усыпленному младенцу: он лепечет сквозь сон гармонические звуки или стонет о чем-то; но луч мысли редко блуждает по его лицу» [54]. П. А. Вяземский остроумно замечает, что «русский язык похож на человека, у которого лежат золотые слитки в подвале, а часто нет двугривенника в кармане, чтобы заплатить за извозчика» [55]. Вяземский понимает, что развитие языка философии, науки зависит от развития самой научной и философской литературы: «Наш век требует мыслей, а не схоластического прения о словах», — писал он [56] (см. в этой связи замечание Белинского о том, что Карамзин был не только преобразователем языка, но «прежде всего нововводителем идей»).

Огромное значение разработке и нормализации «метафизического языка» придавал Пушкин. Он готов согласиться с Лемонте (автором предисловия к французскому переводу басен Крылова), что, подобно французскому языку, «и наш язык не столько от своих поэтов, сколько от прозаиков должен ожидать европейской своей общежительности. . .». «Положим, что русская поэзия достигла уже высокой степени образованности, — писал Пушкин, — просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения. . . Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных. . .» [57].

Белинский даже в 1845 г. утверждал, что «особенно беден доселе разговорный, общественный русский язык», противопоставляя его высокой поэзии, для которой «еще нашими писателями до Пушкина. . . сделано было много, а Пушкиным довершено их дело» [58].

Как видим, развитие литературного языка не шло равномерно, не все его сферы развивались одинаково интенсивно, та неудовлетворенность состоянием «метафизического языка», о которой только

---

[53] «Соревнователь просвещения и благотворения», 1821, ч. 13, кн. 2; ср. название речи Шишкова, произнесенной им в этом заседании Академии — «О древности и превосходстве русского языка перед другими в логическом отношении».

[54] А. Бестужев. Взгляд на русскую словесность в течение 1823 г. — В кн.: А. Бестужев-Марлинский. Сочинения в двух томах, т. 2. М., 1958, стр. 546.

[55] П. А. Вяземский. Старая записная книжка. Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 134.

[56] П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 87.

[57] А. С. Пушкин. О переводе г-на Лемонте. . . [1825]. Полн. собр. соч., т. 11, стр. 34.

[58] В. Г. Белинский. Грамматические разыскания В. А. Васильева. Полн. собр. соч., т. IX, стр. 224.

что говорилось, имела, бесспорно, вполне объективные, вполне реальные основания. Но она в то же время и свидетельство того прогресса, который произошел во взглядах на литературный язык, на его оценку, на понимание путей его развития. Замечательной и знаменательной особенностью этих новых воззрений на литературный язык является отказ от установки на «славенскую», архаическую языковую стихию, вообще на старую литературу, признание тесной взаимозависимости философской, публицистической, критической, научной прозы — и языка «разговоров», писем, обиходного языка общества. В упоминавшейся ранее речи при открытии публичной библиотеки Гнедич замечал, что «словесное богатство», которое писатель «найдет. . . в книгах церковных и летописных», — это лишь «прекрасный материал, который употреблять они искусства не откроют, ибо в языке гражданском мы имеем особые формы» [59]. Здесь утверждается, что «проза. . . во всех родах гражданского наречия образуется вместе с обществом»; причину отсутствия у классиков хорошего среднего слога, «счастливой средины» Гнедич видит в том, что «наш язык гражданский не утвержден еще постоянно употреблением общества». «Никакое дарование не успеет в ней [прозе], — говорит он далее, — без помощи общества, а тем более в языке, которым не говорят люди образованные. Всякое новое слово писателя, как бы оно ни было хорошо, всякое новое выражение, как бы оно ни было счастливо, не может утвердиться, если общество в кругу своем не полагает на нем печати употребления». Еще более выразительно звучат слова И. М. Муравьева-Апостола из его «Писем из Москвы в Нижний-Новгород» (письмо 10-е). Здесь высказывается мысль о том, что если бы «ввелось в обществах наших употребление собственного своего языка (вместо французского — *В. Л.*) . . . составился бы язык размышления и умствования или просто сказать язык книжный, которого до сих пор у нас еще нет, да и быть не может потому, что сколько бы академии не потели над словарями и грамматиками, проза чистая, логическая не составится, доколе она сперва не отделается в обществах, образованных вежливостью и просвещением» [60]. Здесь,

---

[59] Ср. известное замечание Карамзина в его статье «Отчего в России мало авторских талантов»: «. . . Прочитав множество церковных и светских книг, соберем только материальное или словесное богатство языка, которое ожидает души и красот от художника» (Н. М. Карамзин. Сочинения, т. III, стр. 528).

[60] «Сын Отечества», 1814, ч. 12, № 7. См. также в первой из цитированных ранее речей А. А. Прокоповича-Антонского: «В нынешнее время странно было бы требовать не только от светских, но и от духовных, чтобы они писали славенским наречием». Выспренние похвалы «славянскому языку», который является «изобильным и неиссякаемым источником», откуда черпаются «богатство слов, сильное изображение предметов. . . высокие свышедохновенные мысли», звучат здесь как обязательная дань традиции. Ф. Мерзляков, широко пользовавшийся в своей поэзии «славян-

как видим, решительно отрицается старый книжный язык, а создание нового книжного языка прямо ставится в зависимость от развития языка разговорного: «Язык разговорный к языку книжному — точно то, что рисование к живописи: не будет первого, не будет никогда и последнего».

Нельзя не увидеть в распространении этих новых и, бесспорно, господствующих воззрений на литературный язык, на соотношение в нем книжного и разговорного элементов крупную и принципиальную победу тех представлений и тех тенденций, которые, возникнув еще в XVIII в., нашли последовательное выражение в теории и практике «карамзинского» направления.

Разумеется, эти новые взгляды отразились и в самом языке. Можно привести примеры вполне современного языка в произведениях публицистики, критики, философии — например, в прозе Батюшкова, Жуковского, Вяземского, Тургеневых, Куницына, в статьях других, менее известных авторов, опубликованных в журналах этого времени (если говорить о самом начале века — особенно в «Вестнике Европы»). Нормы «нового» литературного языка не могли не найти отражения в этого рода литературе, точно так же, как и в письмах, записках, мемуарах этого времени. Все это свидетельствует о том, что жалобы на отсутствие «общественного языка» нельзя принимать совершенно безоговорочно. Их надо понимать так, что нормы этого языка не были вполне устойчивы и редко проводились последовательно, что наряду с образцами «чистого» и хорошего слога легко встретить примеры архаического, тяжелого слога; более того — что такого рода факты господствуют в некоторых видах письменности. Архаичностью и консервативностью отличался язык сочинений собственно научного характера, однако и здесь можно отметить определенное влияние новых литературных норм, что признавалось и современниками. Особенно отмечались заслуги в этом отношении Московского университета. Роль профессоров университета в обогащении и очищении языка признавал (сильно, однако, преувеличивая) Карамзин — например, в «Историческом похвальном слове. . .», в статье «О публичном преподавании наук в Московском университете» (1802). А. А. Прокопович-Антонский в цитированной выше речи при открытии Общества любителей российской словесности отметил «общее признание, что российский язык стал чище и образованнее с того времени, как Московский университет обратил на него особенное внимание» [61]. Об этом же позднее

ским» элементом, тем не менее также выступает против злоупотребления славянизмами, даже если они «сами по себе хорошие, но одичалые уже для слуха светского». И далее — в духе высказываний Карамзина: «Публика прихотлива; надобно угождать ей, и тогда, когда хотим ее научить» («Труды Общества любителей российской словесности», ч. 1, 1812, стр. 11 и 70).

[61] «Труды Общества любителей российской словесности», ч. 1, стр. 4—5.

писал Греч в «Чтениях о русском языке». Издатели сборника речей профессоров Московского университета говорят о том, что эти речи, будучи «расположены по порядку времени, показывают постепенный ход и совершенствование слога», и вообще оценивают их как «лучшие своего времени прозаические сочинения» [62].

И. И. Дмитриев — имея, правда, в виду не столько лексику, сколько синтаксис, — утверждал, что со времени Карамзина «так называемый высокий, полуславянский слог и растянутый, вялый среднего рода стали мало-помалу выходить из употребления. Ныне первый раздается только с кафедры, а последнего придерживаются еще немногие словесники, которым по укоренившейся привычке или по старости лет, уже трудно писать иначе. Молодые же профессора в изящных письменах, студенты Московского университета и лучшие писатели приняли в образец себе, с большим или меньшим успехом, слог нашего историографа» [63].

Наконец, надо отметить, что новые тенденции и веяния отразились и в такой консервативной сфере, как официально-деловая письменность. Н. Греч, например, замечает, что «с начала царствования Александра I преобразовался высший дипломатический слог, да и самый язык деловой и канцелярской сделался яснее, складнее и правильнее». При этом Греч особенно выделяет роль М. М. Сперанского [64]. Можно назвать и другие свидетельства такого же рода. Это находит подтверждение и в самой деловой письменности. Достаточно сравнить, например, язык следственного дела декабристов с языком дела Новикова, чтобы увидеть, как заметно очищался деловой язык от многих архаичных слов и форм.

Традиции высокого стиля в лексике литературного языка начала XIX в.

§ 58. Мы говорили о развитии общелитературных норм в начале XIX в. Как видим, несмотря на колебания, развитие это отчетливо шло в русле тех тенденций, которые вырабатывались еще в 90-е годы в «школе Карамзина». Сложнее обстоит дело собственно с тем, что мы называем «слогом». Как уже говорилось, речь здесь идет не о способах и приемах художественного изображения, не о слоге в узком смысле слова (можно, впрочем, сказать, что в этом смысле «слог» Карамзина и его «направления» устарел очень скоро, а бездарными подражателями был безнадежно ском-

---

[62] «Речи, произнесенные в торжественных собраниях имп. Московского университета русскими профессорами оного», ч. I, М., 1819, стр.1—2.

[63] И. И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь, стр. 86—87.

[64] Н. И. Греч. Учебная книга российской словесности, ч. IV. Краткая история русской литературы, стр. XLIII.

прометирован [65]), но в понятие «слог» мы включаем также и чисто языковой момент — самый материал, в данном случае словарный, употребляемый в произведениях художественной литературы.

Нормы «нового слога», разумеется, нашли отражение и в художественной литературе — и не только в «карамзинской», но и в той, которая была связана с классицистическими традициями. Но специфические особенности развития самого литературного процесса, сложность отношений разных художественных направлений и школ определили сложность и противоречивость и собственно языкового развития в художественной литературе [66]. Даже в пределах «карамзинской школы», как мы уже видели, проблема славянизмов, проблема архаического элемента решалась не вполне равнозначно в «общем» литературном языке и языке художественной литературы. Во всяком случае, специфи-

---

[65] Любопытны в этом отношении выступления самих карамзинистов против излишеств сентиментального стиля. Таковы, например, замечания Макарова («Московский Меркурий», ч. II, май) в очень доброжелательной рецензии на «Путешествие в Малороссию» Шаликова, книгу, которая «понравится . . . любителям слога и цветков воображения» и читая которую читатель «пленяется фразою, риторическою фигурою, каким-то приятным — нежным—колоритом, какою-то чувствительностью», — но чувствительностью «р о з о в о г о ц в е т а». Слог книги, говорит рецензент, «очень хороший, цветистый» и добавляет: «может быть слишком цветистый». Любопытно, что при этом Макаров оговаривается, что будет критиковать книгу Шаликова «отчасти как педант». Эта шутка должна как будто смягчить критику: рецензент как бы предупреждает, что становится на чуждые позиции; но как показатель существующего уже и среди самых «правоверных» карамзинистов недовольства сентиментальным стилем — это характерно. Вообще Макаров отмечает недостатки слога у писателей, явно подражающих новой литературной школе, усвоивших ее фразеологию, но употребляющих ее недостаточно «чисто» и точно, пристрастных к чересчур эффектным, но неточным выражениям. Так, в книге «Старинный друг, возвратившийся из путешествия. . .» критик отмечает слова *тишина сердца* в следующей фразе: «Кружась в вихре городских забав, они. . . не имеют ни времени ни довольно тишины сердца для чтения длинных романов»; фраза из опубликованной в журнале повести «Все вливает на душу сладкую меланхолию» в списке «исправлений ошибок» переправляется на «все рождает в душе сладкую меланхолию». Фразу «бросить к ногам вашим звания свои, чины, имение» критик сопровождает выразительным: «бросить звания к ногам!!» Его раздражают выражения: «мрачная пустота будет завиваться в сердце вашем», «бросьте милую улыбку на труды мои»; «противными строгой чистоте языка» считает он такие выражения, как «утопать в объятиях», «любил с силою бога» и под. (Там же, ч. I, январь).

[66] Разумеется, в настоящей работе невозможно дать анализ языка разных писателей, литературных школ или жанров. Литература этого времени была настолько разнообразна, что для такого анализа потребовалось бы специальное исследование. Здесь мы ограничиваемся лишь указанием на некоторые главные проблемы и основные явления в развитии языка литературы первых двух десятилетий XIX в. Поэтическая и высокая лексика этого периода несколько подробнее рассматривается мною в статье «Традиции высокого стиля в лексике русского литературного языка первой половины XIX века» («Мат-лы и исслед. по истории русск. лит. языка», т. V, 1962, стр. 183—214). В дальнейшем изложении, чтобы избежать повторения, я отсылаю читателей к этой статье.

ческие художественные задачи создавали своеобразие поэтического языка Карамзина и его последователей. И это — несмотря на принципиальное единство норм «нового слога» в разных видах и формах употребления языка. Если же иметь в виду всю литературу этого времени в целом, то станет очевидно, что судьба общекнижной, общелитературной архаики и архаики высокого слога, архаики художественной — это разные, хотя и взаимосвязанные отчасти проблемы. Сами понятия «архаизм», «архаисты» и т. д. наполняются здесь различным содержанием [67]. Уже говорилось, что, оставаясь сторонником высокого слога в литературе, можно было бессознательно усвоить — с той или иной степенью последовательности — новые нормы литературного языка. С другой стороны, можно было, будучи убежденным противником архаики и «славянщины» в общелитературном языке, поддерживать традиции высокого стиля в художественной литературе.

Самый подход к языку общелитературному и высокой поэзии, вообще высокой литературы, оценка этого языка основаны на разных принципах и разных критериях. Выражая неудовлетворенность языком науки, философии, языком «размышления и умствования» и ставя состояние этого языка в связь с состоянием языка «общественного», разговорного, литераторы того времени обычно противопоставляли ему язык поэтический — собственно язык высокой поэзии — и объясняли успехи этого языка именно его независимостью от разговорной речи, от языка общества. Плетнев в своем известном «Письме к графине С. И. С. о русских поэтах» отмечал, что «мы без всякого сомнения опередили век нашей образованности» именно в тех родах поэзии, которые меньше всего «зависят от разговорного языка», т. е. в эпосе и лирике в отличие от поэзии драматической. «Озеров только там истинно хорош в своих трагедиях, — писал Плетнев, — где предмет позволяет ему говорить или языком поэмы, или языком лирической поэзии» [68]. Для высокой поэзии установка на поэтические традиции Ломоносова и Державина, на «славянский язык» оставалась актуальной. «Язык поэзии. . . не только формами, но и самою сущностью отличается от языка общественного, — писал Гнедич в упоминавшемся ранее «Рассуждении о причинах, замедляющих развитие нашей словесности». — Сущность сию дает ему наш язык славянский, давно образованный и утвержденный»; для высокой поэзии есть «образцы превосходные»; «на успехи нашего языка стихотворного общество менее имеет влияния, чем на успехи прозы». Можно было бы привести много других высказываний того же рода — в том числе и вовсе не принадлежащих

[67] Этого, кажется, не учитывал Ю. Тынянов, утверждавший, что победа в языковой борьбе первых десятилетий XIX в. осталась не за «новаторами»-карамзинистами, а за «архаистами» (Ю. Тынянов. Архаисты и Пушкин. — В кн.: «Архаисты и новаторы»).

[68] «Северные цветы на 1825 г.», стр. 12.

непременно противникам новой поэзии и сторонникам старых классических традиций. Отголоски этих взглядов можно услышать и в приведенных ранее словах Пушкина и Белинского (см. стр. 331).

Только разграничив проблемы общелитературного языка и «слога» — языка художественного, можно понять смысл той ожесточенной борьбы, которая развернулась, то разгораясь, то затухая, в первой четверти XIX в. Выше уже говорилось, что собственно проблема славянского и архаического элемента в о б щ е л и т е р а т у р н о м языке не была предметом споров разных литературных школ. Вообще, если оставить в стороне разное отношение к новшествам в языке, к иноязычным заимствованиям, неологизмам, калькам, вопросы нормы общелитературного языка не обсуждались [69]. Шишков, по существу, перенес спор из области литературного языка в область «красноречия», художественного языка. Это было молчаливым признанием победы новых норм общелитературного языка. Те архаизмы и славянизмы, которые он отстаивает, защищает и разъясняет, оцениваются им не с точки зрения языка вообще, а как материал словесности, как то, без чего невозможно создавать произведения высокого стиля [70]. Еще очевиднее это у так называемых «младших архаистов» — Кюхельбекера, Катенина, Грибоедова и др., которых ничто уже не связывало со старыми литературными нормами, но которые активно противодействовали свойственному последователям Карамзина стремлению к «очищению» художественного языка. Это был спор о языке литературы, неотделимый от спора о самой литературе. Более того: это был в первую очередь спор о литературе, о направлении ее развития, и уже как следствие этого — о языке. «Новый слог» отвергался прежде всего потому, что «карамзинское» решение проблемы славянизмов не могло быть принято той литературой, которая продолжала, в разных формах, традиции высокого стиля классицизма. Неприязнь к «новому слогу», к Карамзину и его «школе» — нередко лишь отражение отрицательного отношения к самой этой «карамзинской» литературе и связанной с ней стилистической манере. Таково, например, содержание критических выступлений «Северного Вестника» И. И. Мартынова. Защищая направленную против сентиментальной литературы комедию Шаховского «Новый Стерн»,

---

[69] Обе стороны считали, что спорить здесь, собственно, не о чем. Вяземский утверждал, что противники «новой» школы даже воюют против нее на утвержденном ею же языке, а Шишков говорил о своих противниках, что, отрицая книжный язык, они сами пишут на книжном языке, только «дурном».

[70] См., например, его замечание в «Рассуждении о красноречии священного писания»: «Откуду же возьмем мы высокий слог или язык, когда не станем почерпать оный из единственного источника священных писаний» (стр. 66).

рецензент «Северного Вестника» высмеивает «молодых людей, зараженных *сантиментальностью* и охотою путешествовать без пользы, для того только, чтоб восхищаться природою и писать странным русским языком книги во вкусе стерновом» (1805, VIII); в другой статье критик выражает недовольство тем, что издающийся в Лейпциге журнал «Russische Miscellen» («Русская смесь») представляет иностранному читателю русскую литературу как выписки из «Вестника Европы», «Московского Меркурия» и из разных путешествий «маловажных по предмету и слогу», что он, «переводя одни безделки наших ведомостей и вестников, какие-нибудь грезы в дорожной коляске, ни слова не сказал о вышедших новых трагедиях, новых сочинениях заметных, бывших предметом всех умных разговоров и суждений»; не случайно, говорит критик, «тамошнее ученое общество удивилось *мелкости* наших произведений». Такой же характер носят оценки новой литературы и ее языка в «Цветнике» и других органах «Вольного общества», а затем и в кругу литераторов декабристского направления. Легко заметить, например, удивительную близость только что приведенных высказываний «Северного Вестника» с мыслями Кюхельбекера в его «Разборе фон-дер-Борговых переводов русских стихотворений», написанном двадцатью годами позже [71].

Не следует удивляться, что такого рода критика сентиментальной литературы могла даже совмещаться с признанием заслуг Карамзина и высоких качеств его языка и с критическим отношением к позиции Шишкова [72]. В этом нет непоследовательности — просто здесь имеются в виду разные вещи и ставятся разные вопросы. Любопытной иллюстрацией к сказанному может служить чрезвычайно интересная речь Андрея Тургенева (1801). Тургенев резко и отчетливо высказался за развитие «важной» литературы. Тем человеком, говорит он, который «увлечет за собою своих современников. . . должен быть теперь второй Ломоносов, а не Карамзин». В деятельности Карамзина А. Тургенев видит больше вреда, чем пользы: «Карамзин слишком склонил нас к мягкости и разнеженности. Ему бы надлежало явиться веком

[71] Кюхельбекер отмечает у переводчика «чрезвычайно односторонний выбор. . . только таких произведений, таких писателей, которые у нас, за исключением всех с ними не сходствующих, одобряются известною школою», влиянию которой «должны мы приписать изобилие водяной, вялой описательной лже-поэзии, коего преисполнены фон-дер-Борговы переложения»; «вычищенным» и «выглаженным» сочинениям, переведенным фон-дер-Боргом, Кюхельбекер противопоставляет произведения Державина, Катенина, Боброва («Сын Отечества», 1825, ч. 103, № 17).

[72] Тот же «Северный Вестник» одним из первых откликнулся — причем очень критически — на книгу Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (ч. I, 1804); там же с удовлетворением сообщается о переводе «Разговора о счастьи» Карамзина на греческий язык — и в этом журнал видит доказательство того, что «выбираемые им предметы и слог его общи всему просвещенному свету» (Там же, стр. 114).

позже, тогда, когда бы мы имели уже более сочинений в важнейших родах; тогда пусть бы он в отечественные дубы и лавры вплетал цветы свои» [73]. И далее, еще более выразительно: «Он вреден потому еще более, что пишет в своем роде прекрасно; пусть бы русские продолжали писать хуже и не так интересно, только бы занимались они важнейшими предметами» [74].

Таким образом, мы вправе изолироваться (но только до определенных границ) от вопроса о «новом слоге» как норме общелитературного выражения и остаться в пределах языка художественной литературы, где противопоставленными друг другу оказались прежде всего две системы художественной речи — восходящий к классицистическим традициям высокий слог и новая литература, связанная с «карамзинской школой».

В оде, религиозно-библейской лирике (гимны, переложения псалмов, описание библейских сюжетов), классической трагедии продолжал функционировать высокий слог в его традиционных формах; произведения Державина, Ширинского-Шихматова, Хвостова, Мерзлякова, Ф. Глинки, Грибоедова (в той мере, в какой он обращался к этим традиционным жанрам), драматические переводы Катенина и др. — достаточно яркие образцы этого высокого слога. Вспышка одописания в связи с наполеоновскими войнами и победой русского оружия естественно сопровождалась и усилением высокого слога. В то же время, как известно, традиции высокого слога оказались воспринятыми и гражданской литературой, литературой декабристского направления также и вне традиционных жанров классицизма. Достаточно вспомнить поэзию и, отчасти, прозу Гнедича, Кюхельбекера, Рылеева, Ф. Глинки, А. Одоевского, раннего Пушкина. В «бунте архаистов», замечает Тынянов, живет ода — если не как жанр, то как направление, а в своей известной статье в «Мнемозине» Кюхельбекер уже прямо выступает в защиту оды как жанра.

Художественные достижения «карамзинской школы» были усвоены и развиты в творчестве Батюшкова, Жуковского, в сентименталистской и преромантической литературе первых десятилетий XIX в.

Сама возможность такой изоляции вопроса о языке художественной литературы от проблемы норм общелитературного языка

---

[73] Ср. слова Батюшкова из его «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» (1816): «Ломоносов. . . испытуя русский язык в важных родах, желал обогатить его нежнейшими выражениями Анакреоновой музы. Сей великий образователь нашей словесности знал и чувствовал, что язык просвещенного народа должен удовлетворять всем его требованиям и состоять не из одних высокопарных слов и выражений» (К. И. Батюшков. Сочинения. М., 1955, стр. 381).

[74] Речь Андрея Тургенева впервые опубликована в журнале «Русский библиофил» в 1912 г. Здесь она цитируется по книге: «Русская литература XIX в. Хрестоматия критических материалов», вып. 1. Харьков, 1959, стр. 25—27.

свидетельствует о важных и принципиальных сдвигах в отношениях между этими категориями. Изменилось место языка литературы в системе литературного языка. Ранее говорилось, что для системы трех стилей нет особой проблемы художественной речи, поскольку эта последняя подчиняется нормам данного стиля литературного языка (только для низкого стиля отмечались некоторые специфические художественные проблемы). В рассматриваемое нами время, как видно из предшествующего изложения, художественная речь получила некоторую, так сказать, автономию. Многие языковые факты — в том числе и лексические — оказались исключительной (или преимущественной) принадлежностью определенных видов художественной речи, стали приметой языка художественной литературы. В условиях победы новых норм общелитературного языка и распада высокого стиля как живой разновидности литературного языка высокий стиль сохранялся лишь как разновидность художественной речи [75].

Высокая лексика употребляется в это время более строго, более упорядоченно и замкнуто, чем в последние десятилетия XVIII в. Стилистическая окраска этого рода слов воспринимается вполне определенно, они составляют достаточно обособленный пласт в системе литературного языка. Обусловленность таких слов — жанром или высоким содержанием — ощущается более отчетливо. Представление о том, что начиная с последней четверти XVIII в. идет беспрерывный и нарастающий процесс смешения, беспорядочного употребления высокой лексики, очевидно, ошибочно. Безразличие и некоторая беспорядочность сменяются упорядоченностью. Это означает, что отживающие элементы ограничиваются в своем употреблении, обособляются, замыкаются в более узкие рамки. Такого рода явления надо признать для определенных эпох естественным и вполне закономерным процессом. В свое время реформа Ломоносова устраняла зыбкость и беспорядочность в употреблении церковнославянского языка, характерные для предшествующего периода. Нечто похожее происходило и в рассматриваемый период. Решающую роль в этом процессе сыграли преобразования в самом литературном языке. Очищение «общего» языка от архаического элемента, отказ от стилистически безразличного употребления высоких славянизмов, установление более четких границ между различными

[75] Правда, следы высокого стиля можно обнаружить также и в некоторых видах нехудожественной литературы — в ораторской речи, в высокой публицистике, в сфере «официального красноречия» (например, в правительственных манифестах), но эти реликтовые явления не меняют сколько-нибудь существенно сделанного выше вывода, тем более, что самый состав высокой лексики и фразеологии оказывается здесь исключительно ограниченным и трафаретным. Кроме того, для рассматриваемого времени факты такого рода обычно рассматриваются и расцениваются как реминисценции художественной речи.

стилистическими категориями, выявление стершихся отчасти стилистических качеств слов — все это должно было способствовать обособлению всей этой стилистической группы.

Чуждость высокого слога тенденциям развития литературного языка в целом подчеркивает его чисто художественную функцию. Но, хотя и в менее отчетливой форме, это относится и к литературе «карамзинской школы». Здесь, несмотря на иные отношения к общелитературной норме, тоже присутствует (как это показывалось уже ранее на примере художественной прозы и, особенно, поэзии Карамзина) языковая специфика в виде обширного слоя так называемой «поэтической» лексики. Батюшков говорил о легкой поэзии, что «сей род словесности беспрестанно напоминает об обществе», что «он образован из его явлений, странностей, предрассудков и должен быть ясным и верным его зеркалом» [76]. Это, однако, не значит, что язык легкой поэзии признается в такой же мере зависимым от «общественного», как и нехудожественная проза. Иное дело, что сами эти специфически художественные приметы легкой поэзии — в отличие от элементов высокого стиля — соответствуют по своим эстетическим свойствам «здравому вкусу» общества.

Говоря об изменении места художественной речи в системе литературного языка и о появлении специфических проблем языка художественной литературы — отдельно от проблем общелитературного языка, надо в то же время иметь в виду, что эта специфика обособляет язык художественной литературы в пределах самого литературного языка, что самый подход к художественной речи остается нормативным, а не собственно эстетическим, или, вернее, сами эстетические категории носят здесь нормативный характер (см. введение, стр. 8—9). Это относится и к высокому слогу и к литературе «карамзинской школы», поскольку в обоих случаях сохраняется заданность, обязательность языка, его зависимость не от категорий индивидуального стиля (как это стало впоследствии), а от категорий общехудожественных. Это относится и к самому языковому материалу, и к принципам его употребления. Регламентируется не только то, что может быть использовано, но и то, что не должно быть употреблено в данном виде, роде или жанре или вообще в художественной литературе, — хотя сами принципы такой регламентации различны в литературе, восходящей к традициям классицизма, и в новой, «карамзинской». Язык художественной литературы оформляется в этот период как некоторая обособленная система стилей внутри литературного языка. Спорящие стороны по-разному оценивают отношение языка литературы к среднелитературной норме, к разговорной речи, но и для тех и для дру-

[76] «Речь о влиянии легкой поэзии на язык», стр. 384.

них — это вопрос о нормах и границах самого литературного языка, о его стилистической структуре, его стилистических возможностях. Учет этого обстоятельства необходим для понимания дальнейшей эволюции языка художественной литературы, его качественного преобразования на следующем, «пушкинском» этапе развития литературного языка и языка литературы.

Одна из существеннейших сторон той «революции», которая произведена в пушкинскую эпоху (и прежде всего в творчестве самого Пушкина), заключается в преодолении абстрактно-стилистического, нормативного подхода к языку художественной литературы, в выдвижении нового критерия — критерия художественности. Это обещало расцвет индивидуальных стилей, явилось одним из свидетельств развития реалистического метода, чуждого той «заданности» языка, которая свойственна в той или иной мере всей дореалистической литературе, а в плане собственно языка — знаменовало принципиальное изменение места языка художественной литературы в системе литературного языка, по существу, его «выход» из числа функциональных стилей языка.

Но этот процесс происходил уже за пределами того периода, который рассматривается в настоящей работе.

§ 59. Итак, в первые десятилетия XIX в. определились два разных направления развития художественной речи и, тем самым, разное понимание границ и стилистической структуры самого литературного языка. Различия эти настолько принципиальны, что — в значительной степени условно — можно говорить о сосуществовании в этот период двух стилистических систем, имеющих каждая свои понятия и категории [77]. Эти системы принципиально враждебны друг другу, но, по существу, не затрагивают друг друга. Ведь высокий стиль продолжает жить в той литературе, которая не получила развития в «карамзинской школе»; в этой литературе продолжает существовать жанрово-стилистический критерий, правда, только по отношению к высокому стилю. Этот критерий отстаивается и теоретически [78].

---

[77] Разумеется, такая изоляция одновременно существующих стилистических систем является абстракцией; говорящий, пишущий, читающий имеют реально дело все же с одной, пусть сложной, системой литературного языка. Тем не менее такое разграничение представляется целесообразным. Оно помогает, с одной стороны, точнее определить источники тех или иных стилистических групп, связь стилистических систем разного времени, а с другой стороны, оно оказывается полезным и в чисто синхронном плане, давая возможность уточнить стилистические отношения внутри системы, разграничить разные одновременно существующие стилистические планы, стилистические явления разного порядка, установить их иерархию.

[78] См. об этом в моей статье «Традиции высокого стиля в лексике русского литературного языка первой половины XIX в.» (стр. 195—196).

К приведенным в этой статье высказываниям можно добавить еще слова Кюхельбекера из его разбора «Петра Великого» Ширинского-Шахматова: «Не употреблять в оде, в поэме, в высокой лирической или даже описательной поэзии славянских выражений, считаем столь же странным, как употреб-

Наиболее крупными стилистическими категориями в лексике художественной речи начала века, следовательно, являются, слова высокие и поэтические[79]. Отношения между этими группами отличаются сложностью и противоречивостью. С одной стороны — это принципиально враждебные друг другу категории, относящиеся к разным стилистическим системам. Они несоотносительны и выделяются на разных основаниях (и то, что состав их частично совпадает, лишь подтверждает их несоотносительность). В то же время они не отменяют друг друга, а сосуществуют в разных видах литературного творчества, приобретая тем самым как бы признаки соотносительных элементов единой — сложной и противоречивой — стилистической системы.

Разграничить вполне точно высокую и поэтическую лексику этого времени и практически весьма затруднительно, тем более, что любое слово, которое мы будем называть поэтическим, в высоком, риторическом контексте выступает как элемент высокого стиля, является словом высоким. Следовательно, часто это отличие не в самом слове, а только в его художественной функции. Но дело в том, что эти отношения односторонни: каждое поэтическое слово может ощущаться как высокое, но не каждое слово высокое может употребляться как поэтическое. Поэтому наиболее объективным критерием для выделения поэтической лексики может служить ее употребительность не в высоком контексте, а в легкой, «средней» поэзии, в сентиментальном повествовании. Собственно, поэтические слова и можно трактовать как высокие, но употребленные в иной художественной функции — так и понимали их в первые десятилетия века. К этому — с противоположных сторон — пришли и «новаторы» и «архаисты». Для первых — это то, что сохраняется и в новой литературе, из отвергаемого в принципе «славенского языка», составляя в языке новую стилистическую категорию. Для вторых — это те элементы высокого стиля, стилистические свойства которых не препятствуют употреблению их и за его пределами. Следовательно, и для литераторов традиционного направления существуют эти стилистические различия внутри лексики высокого стиля. Любо-

---

лять оные в комедии, в легком послании, в песенке или в прозаической по содержанию и духу повести, хотя бы она и была в стихах». («Сын Отечества», 1825, ч. 102, кн. 15, стр. 264). См. еще замечание Катенина: «Язык общества, сказочек и посланий достоин ли высоких предметов библийских? . . . Это пастырь холмов ливанских во фраке» («Литературная газета», 1830, № 5; цит. по кн.: Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы, стр. 121). Трудно отрицать, что и Катенин, и Кюхельбекер правы: действительно, оды или классические трагедии нельзя писать без «славянских выражений». Правда, не все соглашались, что следует еще писать оды и классические трагедии — но это уже другое дело.

[79] Понимание поэтической лексики в ее отличии от высокой см. выше, § 31. Важно напомнить, что речь идет не вообще о словах, употребительных в поэтической речи, а об особой стилистической категории.

пытен в этом отношении следующий анализ Шишкова из его «Рассуждения о красноречии священного писания». Шишков сравнивает между собой стихи «Напрягся мышцами и рамена подвигнул» — у Ломоносова и «Лежат ее власы как злато по плечам» — у Хераскова. «Для чего в стихе Ломоносова надлежало сказать *рамена*, а в стихе Хераскова можно было употребить *плечи*?» — спрашивает Шишков и сам же отвечает: «Для того, что в первом из оных все прочие слова суть высокие: *напрягся*, *мышцы*, *подвигнул*: следовательно, мысль и слова в нем гораздо выше, нежели в стихе Хераскова; а потому равенство слога и требовало сочетания одинаковой высоты слов» [80]. Любопытно, что Шишков не замечает в стихе Хераскова *власы* и *злато* — их стилистическая окраска, особенно, в стихах, следовательно, не совпадает для Шишкова с окраской таких слов, как *рамена* или *подвигнул*. Можно вспомнить в связи с этим и спор о стихах Ф. Львова, о котором рассказывает Жихарев в своих «Записках современника». Спорили о том, можно ли употребить слово *драгая* вместо *дорогая* «в легком стихотворении к птичке», как это сделал Львов («Пеночка моя драгая, Что тебя сюда влекло?» и т. д.). Мнения разделились, «но Захаров порешил дело тем, что слово *драгая* вместо *дорогая* и в легком слоге может быть допущено» [81].

Самый состав поэтической лексики в первые десятилетия XIX в. не претерпел серьезных изменений: он приблизительно тот же, что был отмечен выше для художественной прозы и поэзии Карамзина и поэзии Дмитриева. Сохранилась — особенно в поэзии — и та внутренняя градация поэтической лексики, которая была основана на меньшей или большей степени близости к лексике высокой. Надо еще отметить, что объем поэтической лексики у разных авторов, несмотря на некоторые индивидуальные пристрастия, в целом довольно устойчив и одинаков. Больше разнообразия в зависимости от индивидуальных склонностей и вкусов писателя представляет собой лексика собственно высокая. Степень следования традициям высокого стиля XVIII в. оказывается у разных поэтов различной. Далее мы еще остановимся на этом вопросе; сейчас же важно заметить, что употребление высокой или поэтической лексики связано не только со своеобразием тех двух направлений в развитии литературы, о которых выше говорилось. Стилистические отношения в литературе были сложней и разнообразней. Нельзя забывать о тех языковых особенностях, которые связаны с отдельными «стилями» художественной литературы («литературными стилями») в более узком смысле этого выражения и которые способны были в той или иной мере

---

[80] А. С. Шишков. Собрание сочинений и переводов, ч. IV, стр. 66.
[81] С. П. Жихарев. Записки современника, стр. 359—360. — Речь идет об И. С. Захарове — члене Российской Академии, архаисте и защитнике высокого стиля.

нивелировать индивидуально-стилистическое своеобразие не только отдельных авторов, но и целых направлений.

Так, для начала XIX в. можно говорить об элементах «стиля» исторического повествования, о свойственных этому «стилю» языковых средствах и приемах изображения русской старины. Архаика представлена здесь намного свободнее, чем в повествованиях на современные темы. Но эту архаику было бы неверно представлять как средство исторической стилизации в том смысле, в каком мы говорим о современном историческом романе, т. е. как средство воссоздания языка эпохи.

Архаическая лексика в историческом жанре в общем выполняет ту же функцию, что и в других случаях, создания эпического, приподнятого повествования. В этом смысле можно говорить, что «стиль исторической повести и исторического романа последней четверти XVIII в. и начала XIX в. вообще не выделяется из общей системы стилей русской литературы той эпохи и из системы стилей литературного языка этого времени» [82]. Но само стремление к эпическому тону в историческом повествовании, определившее значительное усиление архаического элемента, выступает как определенная условность, примета этого литературного «стиля», и это нельзя не учитывать, привлекая произведения такого рода для характеристики состояния литературного языка начала XIX в. Эта художественная условность создает определенную общность языка произведений писателей, стилистически заметно отличающихся друг от друга.

Учет этих условностей, связанных с отдельными видами, «стилями» художественной литературы, необходим и при рассмотрении переводной и подражательной литературы. Можно, например, говорить о каких-то типических особенностях оссиановских переводов или подражаний Оссиану, об особенностях переводов гомеровских поэм и вообще античной литературы, о переводах и подражаниях итальянским поэтам. Не случайно все эти вопросы оказываются предметом острых споров; вспомним, например, не прекращающиеся до середины века споры о слоге переводов гомеровских поэм, споры Катенина и Сомова относительно переводов итальянских поэтов, развернувшиеся в 1822 г. на страницах «Сына Отечества» и др.

Своеобразие «стилей» художественной литературы отражается в различных сторонах произведения, но нам важно отметить, что оно выражено и в усилении высокого элемента. Однако архаический высокий фонд русского литературного языка этого времени воспринимается дифференцированно, в него входят элементы, обладающие разной степенью архаичности, разными стилистическими оттенками.

---

[82] В. В. Виноградов. О языке художественной литературы, стр. 530.

Нередко характеристика слова как высокого или поэтического недостаточна. Слово может получать и более конкретные, более частные характеристики, обрастать дополнительными стилистическими «обертонами», вызывать дополнительные ассоциации — и это делает его пригодным в одном окружении, одном контексте и непригодным в другом, хотя общие стилистические свойства этих контекстов одинаковы. Так, относительно стихотворения Кюхельбекера «Пророчество» Пушкин осуждающе замечает, что поэт воспевает здесь «великолепную, классическую, поэтическую Грецию, Грецию, где все дышит мифологией и героизмом — славяно-русскими стихами, целиком взятыми из Иеремия» [83]. Это замечание может показаться странным: какими же словами воспевать Грецию, где все «дышит героизмом», как не «славяно-русскими»? Однако Пушкин, очевидно, достаточно четко отличал, условно говоря, библейский стиль от античного [84]. Действительно, в этом стихотворении Кюхельбекера находим «глагол господень», «восстань, пророк свободы», «возблещет», «булат в деснице, в шуйце крест», «и се», «я в твоей деснице», «тобой сочтен мой каждый влас» и т. д. В стихотворении Батюшкова «Гезиод и Омир соперники» Пушкин находит «библеизм неуместный» — *юдоль*; в стихотворении «Пленный», по словам Пушкина, «русский казак поет как трубадур слогом Парни»; в стихотворении «Вакханка» *неги глас* кажется ему «слишком громким словом» [85]. Ф. Глинка в одном из своих псалмов, говорит Пушкин, «заставил бога говорить языком Дениса Давыдова»; «псалом Глинки, — добавляет Пушкин, — уморительно смешон» [86]. Рецензент «Сына Отечества» замечает по поводу одного стихотворения, что *предсказание* приличнее Аполлону, чем *пророчество*. Замечаний подобного рода можно было бы привести много.

Как попытка осмыслить отличия разных литературных стилей друг от друга и преодолеть традиционное и абстрактное понимание высокого стиля как общего для всякой «важной» лите-

---

[83] А. С. Пушкин. Письмо к Л. Пушкину от 4 сентября 1822 г. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 45.

[84] См. в связи с этим замечание Л. И. Поливанова относительно того, что Пушкин выбирал «из церковнославянского языка такие слова, которые не лишали бы картину античного колорита и не вытесняли бы его колоритом библейским». К таким словам Поливанов относит в стихотворении «Приметы» *земледел* (ср. *оратай*), *мраз*, *хлад*, *лоно*, *дева*, *селянин*, *злак*. Эти «элементы художественной антологии», замечает Поливанов, Пушкин нашел уже в лучших сочинениях Батюшкова (цит. по кн.: В. Виноградов. Язык Пушкина, стр. 104).

[85] А. С. Пушкин. ‹Заметки на полях второй части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова›. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 272—273.

[86] А. С. Пушкин. Автобиография, воспоминания, дневники. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 335. У самого Дениса Давыдова, замечает И. Н. Розанов, «есть два поэтических стиля: один — непринужденный для гусарских и сатирических стихотворений, другой — несколько изысканный, любовный — для лирики любви»; И. Н. Розанов находит между ними и чисто словесные различия (И. Н. Розанов. Поэты двадцатых годов XIX в. М., 1925).

ратуры замечательно предисловие Н. Гнедича к его переводу «Илиады» [87]. Гнедич стремится к созданию стиля, соответствующего данному конкретному произведению, а «отличительные свойства поэзии, языка и повествования гомерова, — говорит он, — суть простота, сила и важное спокойствие». Разнообразие характеров и предметов, «заключаемых Илиадой», заставляет переводчика отказаться от «однообразной высокости слога, которую иначе не можно передать нам, как языком славянским». Еще важнее при переводе такого произведения «отречься от раболепства перед вкусом гостиных, перед сею прихотливою утонченностью и изнеженностью обществ, которых одобрение мы робко ищем, но коих требовательность и взыскательность обессиливает язык». Переводя Гомера, невозможно «ограничиться языком гостиных и скудными еще нашими словарями». «Я осмелился пользоваться и наречиями областными», — говорит Гнедич. Трудность перевода Гомера на русский язык заключается, по мысли Гнедича, в том, что приходится «переводить . . . на язык, имеющий словесность», другими словами, приходится считаться с готовыми правилами, условностями, традицией. Это «условия, которые, разумеется, лишили меня способов, хотя бы я и желал, переводить, как Мефодий и Кирилл, буквально, не страшась оскорблять язык». Можно заметить, что самый язык «Илиады» Гнедича претерпел за годы работы над переводом заметные изменения, прежде всего в сторону освобождения от архаики и крайних элементов высокого стиля. Это особенно заметно при сравнении ранних опытов перевода, еще до перехода на гекзаметр, когда Гнедич предполагал лишь продолжить Кострова. См., например, первоначальный перевод песни VII, отрывок из которой был опубликован в журнале «Драматический вестник» (1808, ч. IV).

Другим обстоятельством, которое в еще большей степени, чем предшествующее, должно приниматься в расчет при рассмотрении высокой и поэтической лексики, является различение прозаической и поэтической речи. История взаимоотношений этих двух видов речи — один из важнейших и сложнейших процессов развития языка литературы (и литературного языка вообще) первой половины XIX в. Впрочем, наиболее существенные и решительные изменения происходили уже за пределами рассматриваемого периода, в 30—40-е годы; в начале века они лишь намечались.

В литературоведении господствует мнение, что, начиная с Карамзина, происходит все более тесное сближение языка поэзии и прозы. Причем, если для эпохи Карамзина характерно влияние поэтического языка на прозаический, то впоследствии, напротив, он подчинился нормам этого последнего. «Преобразовывая поэтический язык, — пишет Н. И. Мордовченко, — Карамзин уничтожал пропасть, существовавшую между прозаической и стихотворной

[87] См.: Н. И. Гнедич. Стихотворения. Л., 1956, стр. 309 и сл.

речью. Язык художественной прозы он приблизил к стихотворному языку» [88]. Все это сказано не совсем точно. Верно, что язык художественной (а отчасти и нехудожественной) прозы Карамзина близок к языку поэзии — как по составу, так и по приемам художественной изобразительности. Но, очевидно, нет оснований говорить о пропасти между ними в «докарамзинский» период. Высокая поэзия и высокая проза (а затем и так называемый «славяно-русский язык») по своему словесному материалу были чрезвычайно близки друг другу. Это было усвоено и высоким слогом начала XIX века. Во всяком случае, архаическая высокая лексика употреблялась не только в поэзии, но и в прозе.

Однако бесспорно, что уже в это время, несмотря на принципиальное единство языка поэзии и прозы, и в употреблении лексики высокой, и в употреблении лексики поэтической стихотворная речь фактически намного превосходила прозу — в самом объеме и особенно по степени концентрированности этого словесного материала. В это время усилился процесс превращения поэтических элементов в простую примету, условность стихотворной речи, это значит, что их единственной стилистической характеристикой во многих случаях была их принадлежность стихотворному языку; употребленные в прозе, они служили средством соотнесения ее с поэзией, но в пределах самой стихотворной речи они стали, по существу, нейтральными, так как могли не требовать никаких дополнительных мотивировок. Б. В. Томашевский заметил, например, что неполногласные слова являются в поэзии того времени «простыми дублетами соответствующих прозаических форм» [89]. В этом отношении употребление таких слов у Карамзина и Дмитриева выглядело более мотивированно, чем в 10—20-е годы XIX в.[90] (важно при этом вспомнить, что мотивированность поэтической лексики — иного рода по сравнению с лексикой высокой; см. выше, § 31 и др.). Надо еще добавить, что употребление славянизмов как простых условностей стихотворной речи захватывало отчасти и лексику собственно высокую, что в какой-то мере стирало грани между этими стилистически разнородными категориями.

Таким образом, уже в первые десятилетия XIX в. определились различия прозаической и стихотворной речи в употреблении поэтической и архаической лексики. В дальнейшем эти различия не сглаживались, а, напротив, усиливались — как результат неравномерности процесса освобождения языка от архаических и условно-поэтических элементов в прозе, с одной стороны, и в стихах, с другой. Быстрое развитие прозы привело к обособ-

[88] Н. И. Мордовченко. Русская критика первой четверти XIX в. М.—Л., 1959, стр. 43.

[89] Б. В. Томашевский. Стилистика и стихосложение, стр. 62.

[90] См., например, наблюдения Р. М. Цейтлин относительно употребления полногласных и неполногласных слов в поэзии Дмитриева.

лению языка поэзии [91]. Сближение языка поэзии и прозы — но на новых основах — произошло позднее, уже в послепушкинский период, и процесс этот не завершился полностью и до наших дней.

§ 60. Мы говорили о тех внешних условиях, которые способствовали устойчивости и живучести высокой лексики в начальные десятилетия XIX в. Их важно иметь в виду, чтобы не принять за признак какого-то особого пристрастия писателя к высокому архаическому языку то, что является общепринятым, по существу обязательным в избранных автором жанрах литературы, в тех или иных литературных стилях, в стихотворной речи. Ведь и Карамзин употреблял в оде такие слова, которые в общем чужды его художественной речи. Можно назвать и других поэтов этого времени, отнюдь не отличающихся крайней архаичностью слога и тем не менее широко употреблявших высокую лексику в своих произведениях, например Н. Гнедича, В. Озерова и др. Иными словами, не следует языковую позицию писателя смешивать с его литературной позицией, хотя первое и зависит от второго. Разумеется, можно увидеть серьезные различия у разных авторов в степени концентрированности высокой лексики в одинаковых стилистических условиях — это факт немаловажный, и нередко, если различия разительны, он имеет принципиальное значение. Но неизмеримо более существенным оказывается различие в с о с т а в е высокой лексики и некоторых приемах ее употребления. Если обратиться к этому материалу, то легко обнаружить, что среди пишущих «в высоком роде» выделяются свои «архаисты», далеко перешагнувшие в своем творчестве, так сказать, средние нормы высокого стиля. Следовательно, и в пределах одного жанра или одного литературного стиля существуют свои внутренние разграничения, уже полностью зависящие от языковой позиции, языковых устремлений автора.

Если судить по произведениям наиболее архаизирующих представителей высокого стиля (а они занимают видное место в литературе первых десятилетий XIX в.), то придется сделать парадоксальный вывод, что высокий слог этого времени в целом архаичнее высокого слога XVIII в. Исследователи отмечают, например, архаизацию языка Державина в последние десять—пятнадцать лет его жизни. Я. Грот пишет, что в эти годы «у Державина заметно умышленное употребление известных слов и оборотов (имеется в виду архаическая, «славенская» лексика — *В. Л.*), — стремление писать языком полновесным и сильным, не щеголяя легкостью и изяществом в новом вкусе» [92].

Вот, например, некоторые слова и формы из произведений Державина 1809—1816 гг.: *возблещут*, *елени*, *виждь*, *вратясь*, *веле-*

[91] См.: В. Д. Л е в и н. Традиции высокого стиля в лексике русского литературного языка первой половины XIX в., стр. 211—214.

[92] Я. К. Г р о т. Язык Державина. — В кн.: Г. Р. Д е р ж а в и н. Сочинения, т. 9, стр. 335.

гласно, опрясь, паки, млечный, надменье, внидет, тристаты, предзримый, содетель, сый, бывый, продерзкий, тмить, добльственный, вонми, воззвучать, рцы, стрещи, сдхнуть, озрясь; ср. также: *клочья влас, стук млатов* — в прямом, «предметном» употреблении. Особенно архаичен его «Гимн лиро-эпический» (пародически использованный позднее Пушкиным в «Тени Фонвизина»), см. здесь: *исшел, челоперунный, дмился, бысть, влага слана* (т. е. соленая), *женет, татьба, дивий, и се не бѣ* и т. д.

Точно так же сочинения Ширинского-Шихматова оказываются и по составу высокой лексики, особенно, по ее концентрации, архаичнее не только од Карамзина и Дмитриева 80—90-х годов XVIII в., но и произведений тех авторов этого времени, которые не были приверженцами «карамзинской реформы» [93]. Чрезвычайно насыщена славянизмами поэма Шихматова-Ширинского «Петр Великий», опубликованная в 1810 г. М. А. Дмитриев в своих воспоминаниях замечает, что Шихматов «держался школы Ломоносовской, которая тогда уже устарела . . . он употреблял слова и выражения библейские, которые в то время были отчасти забыты, звучали дико, непривычно» [94]. По всей вероятности, это было явление, выходящее за пределы даже норм высокого слога своего времени. Но замечательно, что даже 15 лет спустя, в 1825 г. Кюхельбекер полностью одобряет язык и слог этой поэмы, автора которой он ставит рядом с Ломоносовым, Сумароковым, Костровым, Державиным, Петровым, видя в чем-то даже его преимущества перед некоторыми из них («нигде слова и обороты славянские не перемешаны в оной поэме с низкими, простонародными, как то весьма часто случается у помянутых писателей»). Создается впечатление, что в отношении к славянизмам для Кюхельбекера вообще нет ничего запрещенного. Степень архаичности славянизма не кажется ему существенной при оценке слога писателя. Сама эта проблема, которая так остро ставилась в выступлениях «очистителей языка», не существует для Кюхельбекера. Его нисколько не смущает, что среди употребленных Шихматовым архаизмов и славянизмов есть такие, от которых «в последние 25 лет мы отвыкли»; «в этом напрасно кто вздумал бы винить нашего автора», — говорит Кюхельбекер. «Если же кто из наших парнасских судей подвергает опале неизвестное ему слово, — пишет он в другом месте, — . . . посоветуем сему отважному законодателю сперва научиться русской грамоте, а потом уже судить, рядить, рассуждать как и о чем угодно».

Между тем в цитируемых Кюхельбекером — и неизменно с восторженными оценками — отрывках из поэмы Шихматова встречаются слова безнадежно устарелые, такие, как *студ, ора-*

---

[93] Применительно к неполногласию это убедительно показано в упоминавшейся ранее работе Р. М. Цейтлин.

[94] М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти, стр. 224.

тели, *согромождать*, *преторгнуться*, *доилицы* (кормилицы — о коровах), *дхнуть*, *истнить*, *срамляться* и т. д. Выделяются излюбленные Шихматовым сложные слова, иногда очень искусственные, типа *винопийцы*, *громометный*, *солнцелучный*, *злосердый*: см. также: «сгорают жаждой кровопийства», «как пещь дышает небо жаром и небу огненны пески противодышат знойным паром», «шипят трижальные змеи» и др. под. Любопытно, что в некоторых случаях Кюхельбекеру приходится разъяснять устарелые или искусственные слова из поэмы Шихматова: так, к слову *зельный* («на буре зельной») дается разъяснение, что оно происходит от слова «*зело*, *очень*, то же, что великий». Разъяснение это Кюхельбекер обращает к «незанимающимся чтением древних книг», признавая тем самым их принадлежность даже не к лексике высокого слога, который знаком русскому читателю, а к древней письменности. К строке «презорством, зверством обуянных» делается сноска: «*презорство* то же, что пренебрежение к кому, надменность»; слово *отрожденный* («велелепный град, Стомя потоков отрожденный») разъясняется в сноске: «произведенный, иногда и вновь рожденный, возобновленный»; в строке «В пучине сланой их следы» после *сланой* в скобках дается «соленый»; после слова *влаются* («пропасти глубоки Зияют зрению очес и долу влаются незримы») в скобках разъясняется, что это значит «колеблются»; в молитве Петра к слову *премолчи* («не премолчи моих хвалений») дается толкование: «не презри»; разъясняется и, слово «женет» (гонит) и некоторые другие [95].

Сам Кюхельбекер, как известно, тоже писал очень архаично. Вот, например, отрывок из его эстонской повести «Адо»: «Днем исходили они вместе на бой с медведями, на ловитву лосей и лис. Тогда обвертывали они шуицу ветхим рубищем и лыком, а десницу вооружали пистолетом убийственным . . . Напрасно косматый властитель дубравы подъемлется, напрасно двуногий идет им во сретенье . . . и, гневный, разверзает пасть свою. Они предают

---

[95] «Сын Отечества», 1825, ч. 102, кн. 15. — В связи с высокой оценкой Кюхельбекером поэмы Шихматова см. отзыв Пушкина в его письме Кюхельбекеру от 1—6 декабря 1825 г.: «Шихматов, несмотря на твой разбор и смотря на твой разбор, бездушный, холодный, надутый, скучный пустомеля» (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 248). См. еще письмо Кюхельбекеру поэта В. И. Туманского (от 11 декабря 1823 г., т. е. задолго до опубликования разбора): «Охота же тебе читать Шихматова и библию. Первый — карикатура Юнга, вторая, несмотря на бесчисленные красоты, может превратить муз в церковных певчих — какой злой дух, в виде Грибоедова, удалил тебя в одно время и от наслаждений истинной поэзии и от первоначальных друзей твоих» («Русская старина», 1875, № 7, стр. 375). В последних словах — намек на отход Кюхельбекера от своих взглядов того времени, когда он был близок к поэтам карамзинского направления. Об эволюции взглядов Кюхельбекера на реформу Карамзина и роль славянизмов в поэзии см.: Б. В. Томашевский. Кюхельбекер о языке (Парижская лекция). — В кн.: «Стих и язык». М.—Л., 1959, стр. 353, 367—369.

зубам его единую длань обезопасенную, а другую — с мертвящим железом — вонзают и обращают в его растерзанных персях. Не избегнет их олень роговетвистый. . . дротик их поражает его крутую, гордую выю» [96].

Даже если принять во внимание, что это историческая повесть (жанр, в котором, как уже говорилось, «славенская» струя вообще была очень сильна), нельзя не отметить особой подчеркнутой архаичности этой лексики. Из других образцов крайне архаичного языка можно было бы назвать произведения С. Боброва. Так, в его поэме «Херсонида» (1804) [97] встретим: *лепота*, *очеса*, *изыти*, *сретить*, *озреться*, *сланый*, *велегласно*, *гладный*, *леторасли*, *бренение*, *угонзать*, *ликовствовать*, *мравий*, *благолепный*, *леполанитна*, *богошественный*, *дхнуть* и т. д. Такого же рода лексика и в другом «эпическом творении» Боброва — «Древняя ночь вселенной или странствующий слепец» [98]; см., например, здесь: *сочетавать*, *отревать*, *вопиет*, *удоботечный*, *лепота*, *вретище*, *немотствовать*, *стропотный* и др.

Можно было бы привести и другие примеры такого рода крайностей в употреблении архаической лексики в начале XIX в. Надо заметить при этом, что ни Шихматова, ни С. Боброва нельзя отнести к числу тех бездарных графоманов, стихи которых появлялись в журналах этого времени или выходили отдельными книжками. Если же иметь в виду всю эту многочисленную литературу, то станет особенно очевидным ее эпигонский и искусственный, подражательный характер, что отличает ее от высокого стиля XVIII в., который был вполне живым литературным явлением своего времени. И дело здесь не только в архаичности слога, но и в том отсутствии ощущения стилистических различий между разными лексическими пластами, в той бездумности и механичности в употреблении высокой лексики, которые характерны для этой «массовой» литературы высокого стиля начала века. То отсутствие «зиждительного духа», которое Я. Грот отмечал уже у подражателей Ломоносова во второй половине XVIII в., для описываемой поры особенно очевидно: «Возьмите оды и похвальные слова Ломоносова и сравните их с некоторыми нынешними стихотворными славено-российскими сочинениями, — писал поэт А. Мерзляков. — Читая первого, я не могу остановиться ни на одном слове: все мои родные, все кстати, все прекрасны; читая других, останавливаюсь на каждом слове, как на чужом». Отметив, что Ломоносов не употреблял многих слов, которые встречал в церковных книгах (например, *влаются*), Мерзляков говорит: «Как же мог другой, спустя 60 лет, надеяться пленить сими словами публику, еще более в продолжение сего времени уда-

[96] «Мнемозина», 1824, ч. I.

[97] Эта поэма представляет собой «вновь исправленное и умноженное» издание вышедшей в 1798 г. поэмы С. Боброва «Таврида».

[98] Вышла в 1809 г.

ленную от славянского». И далее: «Поздно уже заставлять нас писать языком славянским; осталось искусно им пользоваться» [99].

Но архаистические тенденции оказывали влияние и на язык таких писателей, которых никак нельзя отнести к бездумным подражателям и эпигонам классических традиций. Кроме названного уже Кюхельбекера, сюда надо отнести еще, например, П. А. Катенина. В поэмах, стихотворениях, переводах Катенина, написанных даже в 20-е годы, и позднее, наряду с распространенными в этот период славянизмами типа *зреть*, *сонм*, *воитель*, *брег* и под. и менее распространенными, вроде *алчба*, *прейти*, *претить* (в значении «воспрещать», «мешать») и др., найдем и такие, как *двигнуться*, *дхнуть*, *млеко*, *воздоить* («чьей груди, прекрасный, воздоен млеком!» — «Ахилл и Омир»), *родший* (причастие от глагола родить), *елень*, *соплетшиясь*, *крава* («крав сосцы». — «Мир поэта»), *озреться*, *зельный*, *вонми*, *ирой* и др. под. Вот еще примеры из его же трагедии «Андромаха», написанной между 1809 и 1818 гг. (но выпущенной автором в свет в 1828 г.): «мой сын драгой»; «в драгой цене»; «пожертый от огня»; «что зрю!»; «вещать» (с кем-н.); «брегись» («брегись, о мать, брегись, да брак сей не свершится», — говорит малолетний Астинакс Андромахе; он же говорит: «пожди, о мать, пожди, да стану я велик»); «истнить»; «продерзость»; «восхощу»; «страна» в значении «сторона» («со всех стран»); «собрегу»; «воздвигните десницы» (так Улисс говорит воинам, приказывая им разрушить гробницу); «млеком воздоила»; «узл святой»; «глагол» (например: «глагол твой в каждом слове лжив»); «пря»; «взыскую», «очеса»; «пренесть»; «прежить»; «поднесь»; «вои» и др. под. Следует иметь в виду, что все это — в драматическом сочинении, причем не только в лирических, но и в повествовательных местах (например, в рассказе Андромахи в III действии).

Однако такая крайняя архаизация свойственна не всем пишущим в высоком стиле. Большинство представителей высокой гражданской лирики, такие, например, как Рылеев, Одоевский, будучи в общем склонны к высокой архаической лексике, обнаруживают все же бóльшую умеренность в этом отношении. Так, в «Думах» Рылеева наиболее архаичными словами являются следующие: *алчба* — 1 раз («я к золоту алчбой дыша»), *вежды* — 2 раза, *вервь* — 1 раз («на них как верви вздулись жилы»), *вои* — 1 раз («притек сонм воев и князей»), *вран* — 3 раза («как хищный вран»; «как за добычей вран, так совесть за тобой!»), *выя* — 2 раза, *десная* — 1 раз, *днесь* — 1 раз, *драгой* — 1 раз («тиран отечества драгова»), *дщерь* — 1 раз («это ты — Бориса дщерь» — в восклицании Лжедимитрия), *ловитва* — 1 раз, *нощь*, — 1 раз (при частых ночь), *снедать* — 1 раз, *трикраты* — 1 раз, *чресла* — 1 раз. Вообще же следы старой высокой лексики в «Думах» очень значительны:

---

[99] А. Ф. Мерзляков. Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии, стр. 72.

брада, *брань*, *вещать*, *возопить*, *возжечь*, *вотще*, *глас*, *длань*, *зреть*, *рек* (или *рекла* и т. д.), *сонм*, *стенать*, *течь* («итти»), *чадо* и т. д., не говоря уже о таких, как *брег*, *ветр*, *влачиться*, *глава*, *град*, *дева*, *злато*, *златой*, *младой*, *огнь*, *очи*, *перси*, *уста*, *хлад*, *чело* и др. под., употребление которых выходит за пределы высокого риторического слога. Любопытно заметить, что в юношеском своем творчестве Рылеев был менее разборчив в употреблении высокой лексики (см., например, его прозаическую «Победную песнь героям»).

Высокая степень архаичности лексики Катенина или Кюхельбекера видна, например, при сравнении их творчества с произведениями такого писателя, как Озеров. Трагедии Озерова любопытны по своему языку как свидетельство противоречий и трудностей языка литературы этого времени. Озерова трудно отнести к какой-либо из враждующих групп. Бесспорно, что как писатель Озеров тяготел к карамзинскому лагерю. Его трагедии насыщены романтическим элементом, но по форме своей это — классические трагедии, и законы жанра не могли не отразиться в их языке. Трагедии Озерова относятся по языку к трагедиям Катенина так же, как рассмотренные ранее оды Карамзина и Дмитриева к традиционным одам. Слой высокой, архаической лексики, естественно, здесь значителен — и все же Озеров далек от крайностей, свойственных Катенину, не говоря уже о том, что и концентрация этого рода лексики у него менее значительна. Вот список наиболее архаичных слов в трагедиях Озерова «Димитрий Донской», «Фингал», «Поликсена», «Эдип в Афинах»: *бесщадно*, *брегись* (1 раз), *воздремать*, *вои*, *вран*, *выя*, *вретище*, *днесь*, *доднесь*, *драгой* (1 раз), *дщерь*, *ловитва*, *нощь*, *отженет* (форма 3 лица), *прежить*, *прейти*, *претить*, *преткнуть*, *стерть*, *тамо*. В основном же это те архаизмы, которые имеют относительно большое распространение в этот период: *алкать*, *возжечь*, *вотще*, *глагол*, *десница*, *зрак*, *зреть*, *игралище*, *могущий*, *премена*, *стогны* и др. под. (не говоря уже о таких, как *младый*, *брег*, *злато* и т. д.). Нельзя забывать к тому же, что многие случаи употребления архаических слов (например, *тамо*) связаны с размером стиха, другие — с рифмой (*нощь* и др.).

Не случайно и Державин и Шишков считали Озерова по языку (но не только по языку) недостаточно традиционным с точки зрения норм высокого слога, причисляя его к тем «господам писателям», которых противники славянского языка «совсем с пути сбили» [100].

---

[100] Языков заметил как-то, что «Андромаха» Катенина «слогом отстает от него [Озерова] на целое столетие, напоминая времена Сумарокова» («Языковский архив». СПб., 1913, стр. 310; цит. по кн.: Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы, стр. 129). О замечаниях Шишкова на «Димитрия Донского» Озерова см. в статье Л. П. Сидоровой («Записки Отдела рукописей Гос. б-ки им. Ленина», вып. 18, М., 1956).

Таким образом, «архаическая» лексика, генетически связанная с высоким стилем предшествующей поры, не была в начале XIX в. внутри себя однородна. Это относится не только к различиям лексики «поэтической» и «высокой», но и к различиям внутри последней. Такая неоднородность отчасти связана со своеобразием эпических, лирических и драматических жанров, с особенностями разных «литературных стилей», с разграничением стихотворной и прозаической речи. Эти различия носят вполне объективный характер и отражают некоторые черты стилистической системы художественной речи. Но как выше было показано, в стилистической неоднородности лексики высокого стиля этого времени отражается и различное представление о границах этого стиля (и, следовательно, о границах литературного языка вообще) у разных писателей — даже в пределах одного лагеря.

Это последнее обстоятельство чрезвычайно существенно. Оно смещает границы: так называемая «поэтическая» лексика и имеющие наиболее широкое употребление слои лексики высокой объединяются, составляют вместе собственно живую норму «поэтического», «художественного» языка эпохи — со всеми его вариантами и разновидностями — и отграничиваются от того лексического материала, который можно рассматривать как архаичный даже с точки зрения высокого стиля этого времени [101].

В этом отношении писатели, относящиеся к разным литературным направлениям, даже к борющимся между собой группировкам, могут в понимании границ художественной речи оказаться ближе друг к другу, чем единомышленники.

Вот, например, приблизительный список славянизмов в поэзии Батюшкова. В основном это широко распространенные в поэтической речи того времени слова: *брег*, *лобзать*, *прах*, *перси*, *ветрила*, *хладный*, *зеницы*, *младой*, *очи*, *уста*, *глас*, *зрак*, *стезя* и под.; наиболее «высокие» в поэзии Батюшкова славянизмы — *восшуметь*, *воссесть*, *пастырь*, *оратай* (например, в «Тибулловой элегии»), *отверзать*, *почто*, явно стилизованные *возлиянья*, *овен* («Гезиод и Омир — соперники»). Даже в таком стихотворении, как «Бог», пределом высокой архаики выступают *зреть*, *тварь бренная*, *обретать* (в прямом смысле — «находить»: «Хочу не знать тебя, хочу — но обретаю»). Остальные славянизмы здесь — *гром мещешь*, *средина*, *напечатленно*, *приемлет*, *златые класы*, *ветр*; в то же время в этом стихотворении — *сильною рукой* (о боге — ср. возможное *десницей сильною*), *хочу* (ср. *хощу*), *в ночи*, *и в страхе скажет он* (ср. *в нощи*, *речет*).

В стихотворных произведениях Дениса Давыдова, кажется, как наиболее высокие славянизмы можно назвать единичные *пря*, *ловитва*, *брегитесь*, *воздремать*, *возрыдать*; остальные сла-

---

[101] Может быть, это сближение высокого с поэтическим и было одной из причин поисков более выразительных и необычных высоких архаизмов.

вянизмы — широко употребительные элементы поэтического языка эпохи, отчасти как условно-поэтические, отчасти обладающие стилистической окраской высокого стиля: *брань*, *ветр*, *власы*, *вотще*, *врата*, *глава*, *глас*, *длань*, *дева*, *дол*, *златой*, *зреть*, *игралище*, *ланита*, *лобзание*, *ложе*, *лоно*, *младой*, *огнь*, *очи*, *перси*, *персты*, *стезя*, *стенать*, *течь* (идти, бежать) *уста*, *хладный* и некоторые другие [102]. Бесспорно, что это ближе к языку Рылеева, Одоевского, Ф. Глинки, чем язык этих последних к языку Катенина, Кюхельбекера, Шихматова или Боброва: во втором случае это отличие принципиальное, в самом понимании норм и границ поэтической речи, а в первом — оно выступает прежде всего, как следствие другого характера творчества, другой тематики, другой образной системы и т. д. Чем меньшее значение в данном конкретном художественном произведении имеют эти обстоятельства, тем ближе оказывается и состав славянизмов у этих поэтов. Обращаясь к традиционным жанрам или к таким, которые близки им по своей поэтической структуре (см. например, исторические элегии Батюшкова, юного Пушкина) [103], поэты-карамзинисты сближались по языку с представителями высокой поэзии, но редко переступали ту грань, о которой ранее говорилось. Именно эта норма легла затем в основу и пушкинского поэтического языка, подвергшись в нем дальнейшему сокращению и уточнению, хотя сами принципы применения этой лексики, приемы ее стилистического скрещения — все это решительно изменилось.

Таким образом, без учета собственно с о с т а в а употребляемой писателем высокой лексики невозможно определить место его языка в истории языка художественной литературы, установить его отношение к нормам этого языка. Анализ и сравнение частоты употребления этой лексики у разных поэтов должны быть подчинены этому качественному моменту, должны производиться отдельно по разным с точки зрения степени архаичности и характера стилистической окраски словам. Так, статистические данные, характеризующие употребительность условно-поэтической лексики типа *ланиты*, *брег*, *перси* и т. д., следует интерпретировать совсем не так, как такие же данные относительно слов типа *дщерь*, *пря*, *десница*, *глагол*, *мраз*, и уже совсем иную информацию несут с собой подсчеты употребительности тех архаизмов, которые вообще выходят за рамки художественного языка эпохи. В то же время соотношения второй и третьей групп между собой имеют особую важность, так как определяют состав собственно высокой лексики.

Учет самого состава высокой лексики как основы для стилистической характеристики художественного языка писателя

[102] См.: В. Ф. А л т а й с к а я. Лексика поэзии Дениса Давыдова (канд. дисс.). Ужгород, 1950.

[103] См. выше (§ 54) о признаках «неоклассицизма александровского времени», получившего отражение и в поэзии карамзинской школы.

важен еще и потому, что наиболее архаизирующие сторонники и продолжатели классицистических традиций оказываются нередко традиционнее в употреблении не только высокой лексики, но также и архаики общекнижного языка — в частности и тех наречий и служебных слов, о которых выше много говорилось. Это, однако, не означает непременно, что такие авторы придерживаются архаических норм общекнижного языка. Это лишь один из возможных случаев. Чаще же и эти слова привлекаются на правах стилистически значимых элементов высокого стиля. Но это обстоятельство еще более изолирует высокий слог в его крайних проявлениях от общелитературного языка [104].

§ 61. Разумеется, установление состава лексики произведений писателя предполагает также и анализ художественных приемов и способов ее употребления, ее конкретных стилистических функций, форм связи с тематикой и содержанием произведения и т. д. Это особая проблема, и мы не будем здесь ее касаться. Но существуют некоторые внутренние, присущие самому слову в данном контексте свойства, такие специфические условия его использования, которые могут решительно менять его стилистическую характеристику, определяя степень его распространенности в литературе. Наиболее очевидные такие приемы и условия связаны с разного рода фразеологическими сочетаниями или перифразами поэтического языка, в которых слова эти выступают обычно в переносном значении (см., например, *дщери ада*, *чадо славы*, *хлад смерти*, *глас истины*, *на праге вечности* и т. д.). Явления подобного рода отчасти уже описаны [105]. Тщательно отобранный список таких сочетаний с неполногласной лексикой можно, в частности, найти в упоминавшейся уже диссертации Р. М. Цейтлин. Надо, однако, сказать, что приемы эти не ограничиваются переносным употреблением и фразеологическими сочетаниями. Существенными оказываются такие факторы, как наличие символического смысла в слове, присутствие дополнительных ассоциаций, степень обобщенности изображаемого, прикрепленность к ограниченным объектам или ситуациям и наличие определенной традиции в этом отношении и т. д. В задачи настоящей работы не входит подробное рассмотрение этих явлений и их классификация; ограничусь лишь двумя примерами.

Для слова *блато* характерно употребление его не как конкретного обозначения, а как элемента обобщенного пейзажа, часто

[104] Особое место занимают эти архаизмы общего языка в переводе «Илиады» Гнедича. Можно даже предположить, что они служат здесь средством отграничения от привычного поэтического языка начала XIX века, частичного отказа от этого языка.

[105] См., например, в книге В. В. Виноградова «Стиль Пушкина», в работе Л. А. Булаховского «Русский литературный язык первой половины XIX в.» и др. Структуре поэтической перифразы конца XVIII — начала XIX в. посвящены работы А. Д. Григорьевой и Н. Н. Ивановой в сб. «Русская литературная лексика и фразеология в XIX веке» (в печати).

с эмоциональным подчеркиванием или обширности пространства, или гибельности места и т. д. (не случайно слово это употреблялось почти исключительно во множественном числе). Так, у Карамзина в «Письмах русского путешественника»: «Россию с ее грозными скалами, шумными реками, блатами» — причем в переводе стихотворного текста; у Батюшкова: «Пускай теперь сойду во области Плутона, Где блаты топкие и воды Ахерона Широкой цепию вкруг ада облежат» («Тибуллова элегия», III); у Кюхельбекера в насыщенной сверх меры славянизмами повести «Адо», во вступлении от автора: «вековые дщери Эстонии, тундры, блата непроходимые»; подобные примеры можно привести и из других писателей, ср. еще у Державина: «На блата, тундры опустясь. . .» («Облако»). Случаи более конкретного употребления этого слова, разумеется, встречаются, но в общем нетипичны, особенно для писателей, тяготеющих к «новому слогу» (впрочем, такой пример можно найти в «Марфе Посаднице» Карамзина).

Обобщенное и эмоциональное употребление слова *блато* послужило основой для создания традиционного поэтического образа Петербурга-*града*, построенного Петром *на блатах*. Это еще у Державина: «На блатах грады насадил» («Петру Великому»), а также у Сумарокова, С. Боброва [106]; этот же, построенный на контрасте образ у Вяземского: «Я вижу град Петров чудесный, величавый, По манию Петра воздвигшийся из блат» («Петербург», 1818), у Шевырева: «И родится чудо-град Из неплодных топей блата» («Петроград», 1829). Как видим, знаменитые пушкинские строки в «Медном всаднике» опираются на определенную поэтическую традицию.

Употребление высокого слова *стогны*, как правило, ограничено двумя условиями, которые во многих случаях выступают вместе. Во-первых, слово это прикреплено обычно к старым, историческим городам. Карамзин в «Марфе Посаднице» употребляет *стогны* применительно к древнему Новгороду, в «Истории Государства Российского» находим «на стогнах Кремля», «народ безумствовал на стогнах» и др. под. Жуковский употребляет *стогны* в переводе отрывков из «Илиады», Батюшков — в «Умирающем Тассе» («под стогнами всемирныя столицы» — о Риме), Дмитриев — в «Освобождении Москвы», Рылеев в неоконченной думе «Марфа Посадница» («на стогнах Новограда»), Боратынский — в стихотворении «Рифма» («на стогнах греческих недавних городов»); см. еще у Гнедича — в переводе «Илиады», у Шевырева — в стихотворении «К Риму», у Загоскина в «Брынском лесе» («по стогнам греческим»), у Озерова в «Димитрии Донском», у Полежаева в «Кориолане», у Фета в стихотворении «Сабина»

---

[106] См.: Л. В. Пумпянский. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII в. — В кн.: «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», 4—5. М.—Л., 1939, стр. 94 и сл.

(«стогны Рима»), у Майкова — в прозе: «на стогнах всемирного града» («Прогулки по Риму») и др. У Пушкина из 8 случаев употребления этого слова (в основном тексте) 5 — такого же рода: 3 — в «Руслане и Людмиле» (о старом Киеве), 1 — в незаконченной трагедии «Вадим» («на стогнах и на вече»), 1 — в отрывке «Мы проводили вечер на даче» — в поэтическом описании древнего Египта (о стогнах Александрии).

Как видно, традиция употребления этого слова применительно к историческим, древним городам была довольно устойчивой и захватила не только архаические стили художественной литературы. Другое условие для употребления этого слова (часто, как уже говорилось, совмещающееся с первым) заключается в некоторой обобщенности слова, его перифрастичности. Редко имеются в виду реальные, конкретные площади. Пушкинское «стояли стогны озерами» («Медный всадник») — случай относительно редкий. Обычно *стогны*, *по стогнам*, *на стогнах* (часто со словами *градские*, *града*) означают просто «в городе, во всем городе» и т. д. Это можно видеть и во многих из приведенных выше примеров, но подобные случаи встречаются и без исторического колорита. Если речь идет о слухах, новостях и т. д. *по стогнам* означает, что эти новости или слухи везде распространены, у всех на устах: например: «По стогнам, в россказнях бесед» (Вяземский. «К Языкову»), «Чье имя уж давно по стогнам и садам В припевах удалых сопутствовало нам» (Языков, «Пожар»); «Она не пропускала мимо ушей . . . ничего, что носилось по стогнам нашего города об отличных качествах Хвостилова» (П. Анненков. «Воспоминания») и др.

Обобщенность слова может привести к ослаблению или забвению его реального значения, как это, например, случилось у Полежаева в поэме «Чир-Юрт»: «В домах, по стогнам площадей. В изгибах улиц отдаленных. . .», где совершенно невозможное сочетание «стогны площадей».

Вопрос об особых приемах употребления архаической лексики должен быть предметом специального исследования [107]. Здесь он затронут лишь с целью обратить внимание на необходимость учитывать при анализе этой лексики также и упомянутые выше условия, способы, приемы ее употребления. Это особенно важно в случаях, когда речь идет не о поэтической лексике, широко употребительной у представителей разных школ и вне таких условий, а о словах «высоких». Слова типа *дщерь*, *десница*, *глагол*, *снедь*, *выя*, *блато*, *лествица* и т. д. принадлежат к лексике, свойственной высокому стилю. Но наличие тех условий, о которых шла речь, в той или иной степени делает такие слова приемле-

---

[107] См. еще анализ употребления слов *глагол*, *выя* и некоторых других в моей статье «Традиции высокого стиля в лексике русского лит. языка первой половины XIX в.», стр. 203—204.

мыми и вне высокого стиля. Поэтому *дщери ада*, *божья десница*, *божественный глагол* или *глагол вечности*, *снедь гроба*, *преклонить выю*, *лествица славы* и т. д. не могут свидетельствовать об архаических пристрастиях художника в той мере, как эти же слова, употребленные вне этих специфических условий. Ограничение условий употребления слова может сопровождаться расширением его употребительности в пределах данных ограниченных условий. Стилистическая окраска слова в этих случаях в той или иной степени ослабляется, поскольку приобретают более самостоятельное значение те дополнительные смысловые оттенки, которые получает слово. Приводившиеся ранее примеры крайностей высокого стиля (в повести Кюхельбекера «Адо» и др.) звучат особенно архаично еще и потому, что славянизмы употреблены здесь в их прямом, а не метафорическом смысле. Действительно, если, например, слова *дщерь* или *чадо* встречаются у писателя только при наличии таких условий, в частности только в составе поэтических перифраз (см., например, эти слова у Пушкина), трудно говорить о том, что они вообще входят в состав лексики его произведений. Судьбу сочетаний типа *дщери ада*, *хладная могила* или *дева гор* нельзя рассматривать, следовательно, только в плане истории слов *дщерь* и *хладный* в их отношении к словам *дочь* и *холодный*; приходится учитывать историю самих этих сочетаний, вообще сочетаний такого типа в поэзии и шире в литературе.

Без учета всех этих обстоятельств, только по наличию слова невозможно судить о степени архаичности текста. Способ употребления слова имеет здесь нередко решающее значение. Это относится, помимо названных слов, к таким еще, как *алчба*, *алкать*, *алчный*, *влачить*, *влачиться*, *выспренний*, *вертоград*, *возрастать*, *глас*, *длань*, *древо*, *дщерь*, *дольний*, *зерцало*, *иго*, *игралище*, *лествица*, *ловитва*, *лоно*, *мраз*, *низвергать*, *опровергать*, *отверзать*, *стезя*, *сокровенный*, *хладный*. Эти и другие подобные слова неоднородны — и с точки зрения стилистической (ср., например, *алчба* и *алкать*) и, что особенно важно, с точки зрения соотношения прямых и переносных (в самом широком смысле) употреблений. В одних случаях можно уверенно говорить о поэтическом метафорическом применении слова при наличии в языке прямого употребления, которое выглядит архаичнее, — например, в словах *отверзать*, *глас*, *мраз*, *десница*, *длань* и т. д; иногда эти прямые употребления остаются лишь как реликты и, возможно, уже в то время воспринимаются только на фоне более привычных, приобретающих отчасти и общеязыковое употребление переносных, например *алкать*, *игралище*, *упоение*. Наконец, в ряде случаев мы имеем дело с новым общеязыковым значением слова, ср. например: *откровенный*, *сокровенный*, *выспренный*, *высокопарный*, *опровергать* и др.

В последнем случае можно было бы говорить по существу об омонимии, если быть уверенным, что здесь действительно про-

изошел полный отрыв этого переносного значения от старого, прямого. Например, хотя «светское» и «церковное» значения таких слов, как *прелесть*, *прелестный*, *обожать*, *боготворить*, *зодчий*, *кадить* и *каждение*, *творец*, *предтеча*, *юдоль* и т. д., различались достаточно отчетливо [108], нельзя быть уверенным, что они не связывались между собой в «языковом сознании» [109]. Так, еще в 1825 г. «Светский словарь», помещенный в «Вестнике Европы», может шутливо толковать слово *обожать* как «почесть принадлежащая творцу, но весьма часто воздаваемая твари». Можно привести и прямые примеры архаического употребления этих слов.

Учет тех условий, о которых шла речь, очень важен при рассмотрении нехудожественной — ораторской, публицистической прозы этого времени. Проза эта, как уже выше говорилось, нередко широко пользуется архаической, «славенской» лексикой, но легко заметить, что, как правило, мы имеем здесь сравнительно ограниченный и устойчивый набор переносных употреблений, перифраз, фразеологических сочетаний книжно-поэтического характера и т. д., таких, например, как «отверзает храм наук», «сего нового вертограда» (о лицее — в речи А. Ф. Малиновского при открытии лицея; предполагается, что речь эта писалась И. И. Мартыновым) [110], «Когда человек шествовал к цели своей твердою стопою? Когда выбирал он стезю надежную и кратчайшую»?, «Отверзается для питомца муз. . . храм природы», «сретаю вас. . . стекшихся в храм муз», «Высокий Вертоград наш, усмирив бури Европы» (из речей А. Ф. Мерзлякова в Обществе любителей российской словесности) и др.[111]

---

[108] См., например, в статье П. Калайдовича «О словах, изменивших свое значение»: «Прелесть теперь берется в хорошем смысле, в каком французское слово les charmes. . . А в церковных книгах в дурном и означает прельщение, соблазн» («Труды Общества любителей российской словесности», ч. 18, 1820, стр. 89—90).

[109] Не говорю уже о словах *божественный*, *небесный*, *апостол* и под., где связь переносного и прямого употребления, как известно, вызывала даже цензурные затруднения (см. отголоски этого во «Втором послании к цензору» Пушкина).

[110] См.: Б. С. Мейлах. Пушкин и его эпоха. Л., 1958, стр. 30—31.

[111] Любопытно, что некоторые сочетания такого рода оказываются в прозе более устойчивыми, чем в стихах, где чаще встречаются в этих случаях колебания между архаическим, «поэтическим» словом и его нейтральным синонимом, хотя вообще архаические слова этого типа в стихах встречаются несравненно чаще, чем в прозе. Это замечено в упоминавшейся уже работе Р. М. Цейтлин; однако надо полагать, что это обстоятельство связано не со стремлением «подчеркнуть поэтичность» сочетания в прозаическом тексте, как считает Р. М. Цейтлин, а с тем, что в данном случае архаическое слово является нормой, а его нейтральный эквивалент появляется в стихах в связи с версификационными условиями, в то время как вообще, вне этих случаев, отношения чаще обратные.

В дальнейшем этот тип высокой прозы стал выходить из употребления и восприниматься как нечто старомодное и даже смешное — во всяком случае, лишенное поэтической свежести [112], но реминисценции из него в виде некоторых устойчивых формул и метафорических употреблений продолжаются и далее, поэтому и в позднее время можно встретить случаи типа «поэзия — живой глагол действительности», «на ловитве европейского просвещения» (Белинский), «он точно изрекал глаголы оракула» (Гончаров) и т. д. См. еще характерный пример у Герцена в «Записках одного молодого человека»: «Хорошо, что у ней гибкая шея. А если б у нее была непреклонная выя Байрона!»

Таким образом, в первые десятилетия XIX в. продолжался напряженный и сложный процесс формирования нового книжного литературного языка. В разных сферах языка этот процесс развивался по-своему. Особенно сложные отношения внутри литературного языка возникли между общелитературной нормой и языком художественной литературы, который сам представлял собой целую систему соотносительных (а отчасти и не вполне соотносительных) стилей. Несмотря на то, что языковое развитие начала века идет под знаком победы «карамзинских» принципов, старое и новое оказалось здесь причудливо перемешанным, особенно в художественной литературе, где новые представления о норме пришли в противоречие со сложным характером развития самой литературы.

Но уже в это время отчетливо видны тенденции дальнейшего развития литературного языка. Разграничение проблем общелитературного языка и языка литературы, установление связи книжного языка с языком «общественным», усиливающееся разграничение прозаической и поэтической речи (как этап к их сближению, но на новой основе), постепенная выработка границ поэтической речи с ее разновидностями — все это характеризует язык начала века как переходную ступень к пушкинскому этапу в истории русского литературного языка и языка художественной литературы.

Проблема просторечия в литературном языке начала XIX в.

§ 62. Мы говорили — в самом общем виде — об истории высокой лексики в начале XIX в. Совершенно иной была судьба «низкой» лексики — с этим связана с значительной степени и иная, по сравнению с высоким стилем, судьба низкого стиля

---

[112] См. любопытное замечание Белинского, в его разборе од Державина: «Выражения *наперсник у северной Минервы, друг Аполлона во храме муз, вождь на поле Марса* для нас слишком прозаичны, но по понятиям того времени, в них-то и заключалась вся сущность поэзии» (В. Г. Белин-

вообще. Впрочем, направление развития высокого и низкого стилей в карамзинское время было во многом одинаковым. Стремление к средней литературной норме, как уже говорилось, вызвало как бы «расслоение» каждого из этих стилей на два варианта: один вполне традиционный, другой — сближающийся с нормами «нового слога», причем тенденция к отказу от натуралистического сгущения специфически «низких» элементов обнаружилась, как мы уже видели, еще в «докарамзинский» период, вместе с первыми признаками формирования простого стиля (в том смысле, какой придан этому термину в настоящей работе — см. выше, § 24). Эта тенденция явственно проступала уже в комедиях Фонвизина (особенно в его «Недоросле»), в прозе Крылова, Новикова и др.

Но интенсивность и результаты этого процесса в высоком и низком стилях оказались несоизмеримы.

Оды и другие произведения высокого стиля, написанные Карамзиным или представителями его «школы», хотя и обнаруживают бóльший вкус и умеренность в употреблении «славенского» элемента, все же остаются в рамках старых традиций, во всяком случае заметно зависимы от них. Напротив, «низкие», или простые, жанры под пером карамзинистов решительно преобразовались. Можно сказать, что, несмотря на некоторые свои особенности, например, на несколько больший доступ разговорного элемента, они вливаются в общий поток литературы «нового слога».

По отношению к этим жанрам провозглашаются и вполне последовательно осуществляются те же принципы, которые определяют своеобразие «нового слога» вообще — чистота и «приятность», отказ, с одной стороны, от архаики и книжности, и, с другой стороны, от просторечности, сближение с идеально понимаемой разговорной речью тех, кто «говорит хорошо». В некотором отношении эти принципы проведены здесь даже более последовательно, чем в литературе «теоретической», а отчасти даже и в повествовательной. Во всяком случае, язык этого рода произведений, естественно, еще более свободен от книжного элемента и еще теснее связан с бытовой речевой практикой образованного человека. И несмотря на то, что доступ непринужденной, разговорной речи в «низкие» жанры оказывается по традиции более свободным (см., например, произведения И. И. Дмитриева), эта литература вполне отчетливо демонстрирует стилистическую сглаженность и однотонность «нового слога» — в сравнении как с предшествующей традицией, так и с литературным языком второй четверти XIX в.

Вполне отчетливо это сказалось на понимании языка комедии. Выше уже приводились в другой связи слова И. И. Дмитриева из его статьи «О русской комедии» о том, что «чистый разговор»

с к и й. Сочинения Державина. Статья первая [1843]. Полн. собр. соч., т. VI, стр. 597).

является одним из достоинств комедии [113]. Можно привести также более позднее замечание Н. И. Греча, утверждавшего, что «язык комедии есть разговорный слог благородного общества» [114].

Отказ от грубой, «противной вкусу» простонародности — или, по крайней мере, резкое ее сокращение — еще последовательнее проводится в басне. Самый образ рассказчика в басне претерпел решительное изменение. Ранее приводилась уже принадлежащая Г. А. Гуковскому характеристика рассказчика в басне Сумарокова или Ржевского как «балагура, не стеснявшегося в выражениях и заигрывающего с читателем». Это, — говорит Н. Л. Степанов, — «беззастенчивый говорун ярмарочных балаганов, любящий крепкое словцо, грубую шутку, народную речь. Его язык не только разговорный, но и вульгарный, комически прибауточный» [115]. Рассказчик басни Дмитриева, напротив, тот «изящный собеседник и чувствительный поэт» [116], тот человек из хорошего общества, образ которого создан всей литературой сентиментализма. Блудов говорил о Дмитриеве (имея в виду его басни и сказки) как о писателе, показавшем, что «есть разница между выражениями простыми и низкими».

А. Е. Измайлов, романист и баснописец начала XIX в., высказавший ряд теоретических положений о басне (см. его статьи «О рассказе басни», «Разбор басен»), требовал, чтобы басни писались «просто и с тем вместе приятно», считая при этом, в духе высказываний Карамзина, что «для сего потребно особенное искусство, которое приобретается не столько учением и чтением книг, сколько посредством обращения с людьми лучшего тона». «Все писатели, отличающиеся простотой и приятностью слога, — замечает Измайлов, — учились сему искусству в хороших обществах» [117].

Отметив, что «простота слога состоит в том, когда сочинитель изъясняется в немногих и обыкновенных словах и выражениях», Измайлов разъясняет, что «под словами и выражениями обыкновенными» он понимает «те, которые употребляются в повседневном разговоре и понятны для людей всех вообще состояний одной нации». И далее: «Слова, выражения и обороты, приличные собственно сочинениям возвышенного рода, также слова и выражения низкие, употребляемые чернью и принадлежащие к какому-нибудь областному наречию, ни в басне, ни в других сочинениях, которые

---

[113] См. выше, стр. 132.

[114] Н. Греч. Учебная книга российской словесности, ч. 4. Изд. 2, стр. 65. См. также в его «Чтениях о русском языке» о комедиях Н. Хмельницкого: «. . . язык простой, натуральный, но отнюдь не низкий и не подлый».

[115] Н. Л. Степанов. Русская басня. — В кн.: «Русская басня XVIII и XIX в.». Л., 1949, стр. XXIII.

[116] Там же, стр. XIX.

[117] А. Измайлов. Новые басни и сказки. СПб., 1817, стр. 137.

должны быть писаны простым слогом не могут иметь места, разве только употреблены будут с особенным намерением» [118]. В соответствии с этими правилами он осуждает не только применение в басне слишком высоких, книжных слов или форм, но также и «низких», например *не моги*, *стеречи*, *печи*, *гуторить* у Крылова. Как пример «чистого слога» он называет басню Хемницера «Ленивые и ретивые кони», где «нет ни одного высокого, ни низкого слова».

Таким образом, «в противоположность грубости и гротескности сумароковской басни, ее натуралистическому бурлеску, поэтика сентиментализма выдвигала требование „естественности" и „приятности"», — замечает Н. Л. Степанов [119]. И далее: «Басня перешла из „низкого" рода в разряд жанров, близких к лирическим, из „просторечия" возвысилась до поэзии» [120]. Это очень существенное замечание: басня стала оцениваться как и любое другое поэтическое произведение. Вяземский, например, ценил И. И. Дмитриева и за то, что «он первый начал у нас писать басни с правильностью, красивостью и поэзиею в слоге» [121]; о «поэзии» в баснях писал и Жуковский в своей известной статье «о баснях Крылова» [122]. А. Измайлов считает, что поскольку «басня есть поэма (т. е. произведение поэтическое, стихотворное — *В. Л.*), — следовательно все стихотворные обороты, все почти риторические украшения, тропы и фигуры могут иметь в ней место». «Надобно только, — продолжает он, — употреблять их с особенным искусством и благоразумием, смотря по важности предмета» [123] (см. также замечание Жуковского, что в басню «входят и красоты, принадлежащие всем другим родам стихотворства»). Измайлов высоко оценивает, например, басню Дмитриева «Кот, Ласточка и Кролик», где отмечает «быстрый и счастливый переход из простого слога в возвышенный, стихотворный»: «Прозаик сказал бы только *Кролик перед восхождением солнца пошел щипать траву*, но поэт приводит Кролика *ко двору Авроры*». Но это относится не только к тропам, метафорам, поэтическим перифразам, но и к поэтической и даже высокой лексике. Во всяком случае, как положительные примеры приводятся такие строки, как «Злодейство на челе час от часу яснеет» — в басне Дмитриева, «Того, кто небесам главой своей касался» — у Крылова. Измайлову не нравятся строки «Воссяду на кирпич с поникшей головой Небесного под

[118] А. Е. Измайлов. Указ соч., стр. 129—131. Позднее дословно повторено в «Словаре древней и новой поэзии» Н. Остолопова (ч. 1, стр. 107).

[119] Н. Л. Степанов. Указ. соч., стр. L.

[120] Там же, стр. LIV.

[121] П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 135.

[122] См.: В. А. Жуковский. Басни Ивана Крылова. «Вестник Европы», 1809, № 9. Эта статья, с некоторыми изменениями печаталась затем в собраниях сочинений Жуковского под названием «О басне и баснях Крылова».

[123] А. Е. Измайлов. Указ. соч., стр. 126.

кровом свода» только потому, что их произносит ремесленник: «Ни один простолюдин не скажет у нас *воссяду* и с *поникшей головой*. . . он сказал бы просто *сяду на кирпич*, *повешу голову* и проч.»; но оказывается, что и в басне «стихи сии были бы очень хороши в устах какого-либо важного лица» и при этом «не в простом разговоре». Относительно слова *почто* в басне Дмитриева («Кричит ему: почто невинных убивать») Измайлов замечает, что оно «в обыкновенном разговоре не может иметь места. Мы говорим: *для чего*, *на что*, *зачем*». Но это же слово признается, очевидно, вполне приемлемым в концовке басни Крылова «Лягушки, просящие царя», где «Юпитер начинает говорить лягушкам свойственным ему важным и благородным тоном» [124].

Таким образом, если можно говорить о каких-либо специфических языковых условностях в басне, то это прежде всего не условности низкого стиля, а те, которые типичны для поэтического языка этого времени вообще [125].

Совершенно различной оказалась степень влияния «карамзинских» вариантов высокого стиля, с одной стороны, и низкого, с другой стороны, на литературно-языковой процесс начала XIX в. Старый высокий стиль, как было уже показано, обнаружил большую устойчивость и независимость от эстетических норм «нового слога»; что касается низкого стиля, то традиции его не нашли дальнейшего развития: как относительно замкнутая стилистическая разновидность литературного языка (или даже только языка художественной литературы) он перестал существовать. Отдельные литературные явления, в которых можно видеть связи с некоторыми признаками старого низкого стиля, вроде романов В. Нарежного, не меняют этого положения [126].

Было бы естественным ожидать, что «архаисты», «классики», отстаивая высокую славянщину и высокий слог, будут одновре-

---

[124] А. Е. Измайлов. Указ. соч., стр. 133 и сл. Ср.: он же. Опыт о рассказе басни с присовокуплением разбора некоторых образцовых басен. . . СПб., 1826, стр. 108.

[125] См. любопытную характеристику трех стилей у Н. И. Гнедича в упоминавшемся ранее «Рассуждении о причинах, замедляющих развитие нашей словесности». Первый слог определяется как «высокий», третий — как «цветущий или приятный», а второй как «средний, т. е. средина между высоким и приятным, счастливая смесь того и другого». Низкий стиль заменен здесь «приятным». Впрочем, возможно, что здесь сказалось отчасти и влияние рассуждения о «трех словесностях» из речи Шишкова при открытии Беседы любителей русского слова, где говорится о словесности, которая «состоит в народном языке, не столь высоком, как священный язык, однако же весьма приятном» (см. выше, стр. 138). Во всяком случае, отсутствие упоминания о низком стиле весьма симптоматично.

[126] См. характеристику языка романов Нарежного, принадлежащую П. А. Вяземскому, вообще ценившему Нарежного как писателя: «Жаль, что язык неприятный, грубый, иногда даже дикий, вкус неочищенный, или — справедливее — совершенное отсутствие вкуса, много вредят достоинству сих романов» (П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 204).

менно выступать и в защиту простонародности в низком стиле. Ю. Тынянов справедливо заметил, что «„низкий“ и „высокий“ стиль и жанры — органически связанные между собою явления; „средний“ же враждебен им обоим» [127]. И действительно, крайний пуризм «карамзинской школы» по отношению к разговорно-просторечным элементам вызывал протест, но ни Шишков, ни тем более так называемые «младшие архаисты» не были сторонниками и защитниками «простонародности», во всяком случае отношение к старым традициям низкого стиля было неизмеримо более настороженным, чем к высокому стилю с его «славенским» элементом. Шишков высоко ценил народный язык, но «очищенный несколько от своей грубости, возобновленный и приноровленный к нынешней нашей словесности» [128].

Против «подлого наречия», вульгаризмов «простонародной» речи нередко выступали не только представители «карамзинской школы», но и их противники.

Ранее приводились некоторые примеры осуждения просторечия и простонародных выражений издателем «Московского Меркурия» П. Макаровым. Но такие же протесты можно найти и в критических статьях, помещенных в «Северном Вестнике» И. И. Мартынова, литератора достаточно далекого от «карамзинской школы»; так, например, рецензент находит «неблагопристойные слова» в опере «Два Антона» (ч. IV); в другом месте он пишет: «К удивлению нашему слыхали мы также то, чего прежде не слыхивали, а именно, что князь бранит слугу своего сукиным сыном. Это непростительно» (ч. III); в комедии «Победа невинности» (напечатанной впервые еще в конце 80-х годов XVIII в.), отмечая с похвалой, что «разговор почти везде чист и обыкновенен», рецензент выделяет слово *проволочить*, которое он считает «несколько низким в таком разговоре» (впрочем, он находит и извинение для автора: «послушайте, как модные люди говорят по-русски! Вы согласитесь, что сочинитель был прав, заставя Ветромыслу так говорить» (ч. I). Естественно, что еще строже осуждаются «простые . . . слова, со многими комическими шутками» за пределами низких жанров, например, в «Димитрии Самозванце» Нарежного, где особо отмечаются такие фразы, как «Боже! как вы непроворны», «глупа, смею доложить», «почесывает бороду» (последнее — в авторской ремарке), «пуще оробеешь», «Ах, господи! Мати божия», и др. под.[129]

---

[127] Ю. Тынянов. Указ. соч., стр. 115.

[128] А. С. Шишков. Разговоры о словесности. Собр. соч., ч. 3, стр. 163.

[129] «Димитрий Самозванец» В. Нарежного любопытен как один из ранних опытов новой в русской драматургии «преромантической» драмы, где чередуются сцены высокие с простонародными, где обнаруживаются новые стилистические приемы выражения патетического содержания; см., например, приведенные в этой же рецензии такие выражения, которые при-

Любопытно, что даже пуриста и карамзиниста Макарова Мартынов упрекает в употреблении «низких слов» (таких, как *чепуха*, *волочиться*, *девки* и некоторые другие) и приводит замечание Буало о том, что «ничто так не обезображивает язык, как низкие слова» (ч. III).

Требование «приличия», опоры и в «простых» жанрах литературы на обиходную речь «хорошего общества» стало господствующим, всеобщим. Иное дело, что понимание границ литературности в этом обиходном «общественном» языке, а отсюда и пределов допускаемого просторечия в комедии или басне не отличались устойчивостью и определенностью и были различны у разных лиц и в разных литературных школах. Так, тот же «Северный Вестник» (ч. III), например, защищает крестьянскую драму Н. Ильина «Великодушие или Рекрутский набор» от нападок журнала «Патриот», издаваемого В. Измайловым, одним из эпигонов «карамзинизма». В ответ на замечание рецензента «Патриота», что «всегдашнее подражание простонародным выражениям не может не иметь вредного влияния на слог и язык самого автора», «Северный Вестник» утверждает, что «приятнее и полезнее истина грубым понятием объемлемая и грубыми выражениями изъясняемая, нежели вздор улыбающимися фразами и неувядаемыми цветами облеченный» [130]. Полемика с эпигонами сентиментализма увлекла несколько автора статьи, но было бы неверно предполагать здесь действительную защиту простонародности в литературе. Кстати говоря, и язык персонажей этой драмы Ильина (как и его более ранней драмы «Лиза или Торжество благодарности») при всей своей близости языку крестьянских персонажей в комедиях XVIII в. демонстрирует и заметные отличия в этом отношении. Они выражаются хотя бы в том, что здесь совершенно отсутствует свойственная низкому стилю грубая, вульгарная лексика; пределом экспрессивно-выразительного просторечия являются здесь: *дух из вас вышибу*, *полно дурить*, *качай в Питер*, *выпою ему*, *пикнуть не смела*, *прошататься*, *ни на волос*, *проворить* и некоторые другие; почти все они, как видно из этого списка, относятся к широкоупотребительным и устойчивым элементам нелитературного просторечия. Остальные — это единичные диалектные слова вроде *притоманно*, прошу *прислушать*, *нишни*, *приличили* (т. е. *уличили*) и довольно обильно представленные трафаретные внешние приметы крестьянской

знаются «непонятными» или «дерущими уши»: «адом бьется сердце», «голова лепечет последние звуки жизни», «собратия заклятий», «дьявол хитрости потерял у сатаны кредит свой» и др.

[130] Здесь же содержится и протест против выражения «подлый язык» применительно к речи «бурмистров, подьячих»; выражение это объясняется «остатком несправедливости тех времен, когда говорили и писали *подлый народ*». Это замечание, между прочим, существенно и для эволюции значения слова «подлый».

речи типа *эка беда, и !, како за ней приданое, как хошь, ноне, экой милости, николи не бывало, али, ан, кабы, эдакий, нивись как, встрелась, для ча, неча делать* и др. под. [131] Очевидно, что эти наивно-этнографические и нейтральные в отношении экспрессивности элементы не были так же «противны вкусу» образованного читателя, как экспрессивные вульгаризмы «простонародной» речи, а в силу своей отчетливой нелитературности они в то же время воспринимались как удобное средство воспроизведения — нередко с комическими целями — всякой «неграмотной» речи [132].

Надо добавить, что драмы Ильина вообще нетипичны для первых десятилетий XIX в., будучи все же заметно связаны с традициями низкого стиля. Вообще же язык театральных сочинений этого времени отличался гораздо большей сглаженностью, нередко доходящей до безликости и бесцветности. О драмах Ильина Греч говорил впоследствии как о явлении необычном, произведшем «своей национальностью. . . сильное действие», так как в то время «у нас в этом роде не было решительно ничего» [133]. Неудивительно, что они вызвали оживленную полемику. Особенно резко порвали с простонародным языком и просторечием стихотворные комедии этого времени. В. Ф. Одоевский, недооценивая таких драматургов, как Хмельницкий или Шаховской, несколько преувеличивая, писал, что «. . . до Грибоедова слог наших комедий был слепком слога французских; натянутые выглаженные фразы, заключенные в шестистопных стихах, приправленные именами Милонов и Милен, заставляли почитать даже оригинальные комедии переводными; непринужденность была согнана с комической сцены» [134].

§ 63. Таким образом, старые низкие жанры перестали быть в «карамзинское» время носителями «низкого стиля». В отличие от высокого стиля, все более замыкавшегося в рамках определенных видов художественной литературы (и отчасти в ораторской прозе, официальном языке) и терявшего свое общелитературное значение, так называемый «простой стиль», освобожденный от

---

[131] Любопытно, как в этой «драме из одних крестьян», как называл ее сам автор, Н. Ильин стремился к сохранению двух типов языка, разграничивая до известной степени речь отрицательных и «добродетельных» крестьян. У последних эти «этнографизмы» встречаются намного реже и объединены с приметами народно-поэтического, а отчасти и книжного языка, см., например: «забилось ретивое», «радостная слеза выкатилась из темных очей», «большие люди трепещут земли», «пока очи мои не сомкнулись» и под.

[132] Употребление таких внешних примет неграмотной речи было и в дальнейшем обычным приемом при изображении крестьян, слуг, мещан и т. д., в самых разнообразных видах литературы, самый состав таких примет обладал большой устойчивостью и постоянством, и это, разумеется, нельзя рассматривать как простое продолжение традиций низкого стиля.

[133] Н. И. Греч. Чтения о русском языке, ч. 2, стр. 88.

[134] Цит. по кн.: Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX века. Лексика и общие замечания о слоге. Изд. 2-е, Киев, 1957, стр. 162.

собственно «низкого» языкового элемента, напротив, преодолевал постепенно свою языковую исключительность, изолированность, приобретая все более заметную общелитературную роль. Это было явлением исключительной важности для развития литературного языка. Надо сказать, что и язык басен Крылова, несмотря на свое яркое своеобразие, не противостоит отмеченной выше тенденции развития низких жанров. Более того, он может служить выразительным свидетельством наличия этой тенденции. Об этом будет сказано ниже.

Отмеченное только что усиление общелитературной роли языка «простой» литературы определяет его место в системе литературного языка, его связи с другими формами и видами употребления языка. В словаре Остолопова *простой слог* определяется как такой, который «употребляется в обыкновенных разговорах, в письмах, в баснях, в комедиях, в ученых трактатах. Главное достоинство сего слога состоит в чистоте и ясности» [135].

Совершенно очевидно, что это не имеет ничего общего со старым «низким стилем». Человека, воспитанного на старой литературе и правилах традиционных риторик и «пиитик», должно было поразить соединение здесь таких жанров, как басня, комедия — и ученый трактат; но как связующее звено между ними выступают здесь *обыкновенные разговоры* — та стилистическая категория, которая только с самого конца XVIII в. начинает рассматриваться в плане литературного языка. Ранее говорилось уже, что недостатки научного, публицистического, «метафизического» языка связывались с ненормированностью языка «общественного». Но еще острее ощущалось влияние этого обстоятельства на состояние языка комедии, вообще театральных сочинений. Действительно, язык театра — одна из наименее решенных проблем этого времени. Высокий слог трагедии все более обнаруживал свою искусственность и анахроничность, а низкий стиль в театре, как уже отмечалось, имел в это время чрезвычайно ограниченное распространение.

Театр мог ожидать обновления только от последовательно осуществляемой ориентации на обиходный язык, на живую, но литературно нормированную речь. Слабость, необработанность, неустойчивость этого языка ставили перед драматургами большие трудности, отражались в неразвитости драматического языка. Очень точно высказал это положение П. Плетнев в своем «Письме к графине С. И. С. о русских поэтах»: «Повсеместное употребление в лучших обществах французского языка остановило у нас усовершенствование драматической поэзии, которая заимствует лучшие свои обороты из лучшего только разговора. От бледности разговорного языка все возвышенное в трагедии кажется у нас напыщенным, а все простое в комедии становится низким.

---

[135] Н. Остолопов. Словарь древней и новой поэзии, ч. 3, стр. 198.

Озеров только там истинно хорош в своих трагедиях, где предмет позволяет ему говорить или языком поэмы, или языком лирической поэзии. Но в тех родах, которые менее драматической поэзии зависят от разговорного языка (имеется в виду эпос и лирика. — *В. Л.*), мы без всякого сомнения опередили век нашей образованности» [136].

Та же мысль на год раньше была высказана в статье А. Глаголева. «Любители русской словесности — пишет автор статьи, — часто спрашивают, отчего лирическая поэзия наша достигла возможного совершенства, а басни спорят в преимуществе с Лафонтеновыми, между тем как комедия наша еще во младенчестве, — разговоров нет, при сочинении писем встречаем всегда множество затруднений?» «Мы отвечаем, — говорит далее Глаголев: — Лирики наши заимствовали благородный и высокий тон свой в книгах священных, баснописцы нашли красоты свои в языке народном; а комедий, разговоров и хороших писем очень мало потому, что мы не имеем языка общественного, который должен служить им основанием» [137].

В этом последнем высказывании обращает на себя внимание замечание относительно высоких достоинств слога басни. Действительно, язык и стиль басни, с одной стороны, заметнее, чем драматический язык, сохраняет преемственность с традицией, и, с другой стороны, во многом питается достояниями поэтической речи своего времени. Плетнев писал, например, что «Крылов обладал неизъяснимым искусством сливать этот язык (т. е. народный язык. — *В. Л.*) с общею нашею поэтическою речью» [138]. Это преимущество басенного языка делает его особенно важным, особенно существенным фактором развития литературного языка в целом. В частности, успехи языка и слога басни рассматривались и как одно из условий развития драматического языка. Вяземский, например, утверждал, характеризуя поэзию Дмитриева, что «разговорный язык поэта нашего, встречающийся в баснях и сказках его, удостоверяет нас, что он, верный в изображении лиц, умел бы сохранить ту верность и в языке, коим он заставил бы говорить их на сцене» [139]. Любопытно, что ту же мысль, но уже относительно Крылова, высказал А. А. Бестужев, выразивший сожаление, что «Крылов подарил театр только двумя комедиями». «По своему знанию языка и нравов русских, по неистощимой своей веселости и остроумию, — говорит Бестужев, — он мог бы дать ей [комедии] черты народные» [140].

---

[136] «Северные цветы на 1825 г.», стр. 12.

[137] «Сочинения в прозе и стихах. Труды общества любителей российской словесности», ч. 5, 1824, стр. 230—231.

[138] П. А. Плетнев. Сочинения и переписка, т. 2. СПб., 1885, стр. 34.

[139] П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 140—141.

[140] А. А. Бестужев-Марлинский. Взгляд на старую и новую словесность в России, стр. 530.

Можно привести в связи с этим и замечание В. Г. Белинского, сделанное им позднее, в 1840 г.: «. . . можно думать, что если бы Крылов явился в наше время, он был бы творцом русской комедии». Язык басен Крылова Белинский назвал «прототипом» языка «Горя от ума» [141].

Таким образом, литературе «простого стиля», а басне в особенности, принадлежала очень заметная роль в развитии норм литературного языка вообще. «В истории басни, как в миниатюре, отражается история простого и среднего стилей русского литературного языка XVIII и начала XIX в. и их роль в создании новой системы общерусского национального языка» [142]. Резко возрастает роль этой «простой» литературы в закреплении национальных основ литературного языка и языка художественных произведений; см., например, в этой связи очень точное определение Жуковского: «Все языки имеют между собою некоторое сходство в высоком и совершенно отличны один от другого в простом или, лучше сказать в простонародном» [143].

В связи с этим приобретает особый интерес и особое значение дальнейшее развитие языка этого рода литературы в первые десятилетия XIX в., и прежде всего языковая практика Крылова. По объему разговорного элемента, просторечия басни Крылова не идут ни в какое сравнение с басенным творчеством «карамзинской школы». Басни Крылова наглядно показали, как экспрессивно беден и стилистически однообразен карамзинский «новый слог» даже в том его варианте — наиболее близком к разговорной речи, — который запечатлен в сказках и баснях Дмитриева. Это необычайно ярко отразилось в синтаксисе: вместо сглаженной карамзинской фразы читатель нашел у Крылова строй речи, проникнутый живой, непринужденной разговорной интонацией. Но это касается и лексики и, особенно, фразеологии. В басенный язык оказались вовлечены мощные пласты народной речи, остававшиеся в пренебрежении [144].

---

[141] В. Г. Белинский. Басни Ивана Крылова. Полн. собр. соч., т. IV, стр. 151.

[142] В. В. Виноградов. Язык и стиль басен Крылова. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1945, т. IV, вып. 1, стр. 25. Необходимо сказать, что это нисколько не противоречит положению об организующей роли в развитии литературного языка среднего стиля, или, лучше сказать, среднелитературных норм, противопоставленных высокому и низкому стилям. Нет никаких оснований утверждать, что нормы литературного языка первой половины XIX в. складывались на основе низкого стиля (см., например: А. И. Горшков. История русского литературного языка. Изд. 2, М., 1961, стр. 114—115). Общелитературная роль «низких» жанров определилась именно отказом от специфических примет низкого стиля, вовлечением этой литературы в сферу, условно говоря, среднего стиля.

[143] В. А. Жуковский. Басни Ивана Крылова, стр. 52. Относительно слова *простонародный* см. сноску на стр. 375.

[144] Народный элемент в баснях Крылова описан, хотя и не исчерпывающим образом, в ряде работ. См., например, из работ последних десятиле-

Естественно, что оценка языка Крылова современниками не могла быть единой. Людям, воспитанным на «карамзинской» литературе и безоговорочно придерживающимся норм и границ «нового слога» (и не только им, впрочем) язык Крылова должен был казаться грубым и простонародным. Так, например, воспринимали его и карамзинист Блудов и сравнительно далекий от «карамзинизма» Каченовский. Вяземский до конца жизни (а умер он в 1878 г.) предпочитал во всех отношениях Дмитриева Крылову (хотя, как известно, просторечие совсем не чуждо поэзии Вяземского). Жуковский, оценивавший поэзию Крылова и его слог очень высоко, находит у него все же и отдельные «погрешности против языка; несколько выражений, противных вкусу» [145]. Признавая Крылова «более великим художником», чем Дмитриев, он замечает все же, что басни его «не имеют той безупречности языка, которой обладает его предшественник» [146].

Можно привести и другие высказывания такого же рода. В то же время именно, как говорил Белинский, «народная физиономия языка» Крылова определила восторженную оценку его басен Гоголем, Пушкиным, Плетневым, Надеждиным и многими другими. Многие отмечали впоследствии преемственную связь языка Пушкина и Крылова. Кюхельбекер писал в своем дневнике, что «мы, то есть Грибоедов и я, даже Пушкин . . . обязаны своим слогом Крылову» [147]. Белинский тоже говорил, что «сам Пушкин не полон без Крылова в этом отношении» (т. е. в отношении народности языка. — *В. Л.*) [148]. Очевидно, со временем такое мнение стало общепринятым; Чернышевский, например, писал, что в от-

---

тий: В. В. Виноградов. Очерки. . ., стр. 216—225; Он же. Язык и стиль басен Крылова; А. С. Орлов. О языке басен Крылова. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1946, т. V, вып. 4 (или в кн.: А. С. Орлов. Язык русских писателей. М.—Л., 1948); В. Гофман. Басенный язык Крылова. — В кн.: И. А. Крылов. Полное собрание стихотворений, т. I, 1935 (См. также: В. Гофман. Язык литературы. Л., 1936). Отдельные наблюдения над языком Крылова и вообще басни содержатся в книге Л. А. Булаховского «Русский литературный язык первой половины XIX в. Лексика». Лексике басен Крылова посвящено несколько кандидатских диссертаций, см., например: Б. Д. Абрамис. Словарь глаголов, встречающихся в языке басен И. А. Крылова (Б. м. и г.); И. Шахов. Лексика и фразеология басен И. А. Крылова. М., 1952, и некоторые другие. Замечания о языке Крылова можно найти также в литературоведческих исследованиях, посвященных развитию жанра басни и творчеству Крылова (см., например, работы Д. Д. Благого, Н. Л. Степанова, Б. И. Коплана и др.).

[145] В. А. Жуковский. Басни Ивана Крылова, стр. 65.

[146] Этот отзыв находится в написанном Жуковским на французском языке и до сих пор, кажется, не опубликованном конспекте по истории русской литературы. См.: П. И. Лебедев-Полянский. Великий баснописец Крылов. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1945, т. IV, вып. 1, стр. 23.

[147] В. К. Кюхельбекер. Дневник. Л., Изд-во «Прибой», 1929, стр. 304.

[148] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 407; т. IV, стр. 151.

ношении развития литературного языка «как уже тысячу раз было замечено в наших журналах, Крылов должен быть считаем одним из предшественников Пушкина» [149].

Указание на демократизм языка Крылова, тесную связь его с разговорной речью, просторечием — все это давно стало общим местом в литературе о великом баснописце.

Употребление слов «просторечие», «просторечный» лишено в настоящей работе достаточной терминологической строгости. В целом оно здесь ближе всего к тому, которое отражено в стилистических пометах Словаря АР и вообще свойственно словоупотреблению конца XVIII и начала XIX в. Просторечно то, что специфично для разговорной речи и отличает ее не только от книжного языка, но и от нейтрального «стиля». И в литературе, письменности эти факты языка сохраняют свою характеристику. Как известно, наиболее спорный вопрос, который встает постоянно при определении современного просторечия — его отношение к литературной норме (см., например: Ю. С. Сорокин. Просторечие как термин стилистики. «Докл. и сообщ. филол. ин-та ЛГУ», вып. I. Л., 1949). Для современного языка принято разграничивать разговорно-литературную речь и нелитературное просторечие (наиболее последовательно это проведено в стилистических пометах «Толкового словаря русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова и четырехтомного «Словаря русского языка» АН СССР). Для рассматриваемой нами поры провести такое разграничение не удается — прежде всего потому, что в это время не решена была еще сама проблема разговорной речи как факта литературного языка. Поэтому к просторечию окажутся отнесенными и те слова и выражения, которые закрепились впоследствии в литературном языке, и те, которые сохранились лишь в нелитературном просторечии. В то же время есть необходимость отличать факты просторечия от диалектных, узкопрофессиональных, «простонародных», которые хотя отчасти и могли быть свойственны разговорной речи образованных людей, однако обладают и другими стилистическими характеристиками. Впрочем, как ясно из дальнейшего изложения, именно разграничение просторечия и «простонародной» речи представляет собой наиболее сложную проблему.

Но сказанного недостаточно для определения места Крылова в истории литературного языка. При такой односторонней характеристике остается неясным, в чем своеобразие языка басен Крылова в сравнении с языком многих баснописцев XVIII в. Во всяком случае, придется признать, что Крылов уступает этим последним в отношении «народности», поскольку они превосходят его в употреблении просторечия и, тем более, элементов простонародной речи.

Очень важно иметь в виду, что народность и «просторечность» басен Крылова не означает возврата к «низкому слогу». Отмеченное выше стремление к литературной нормированности языка басни, к сближению или даже слиянию с нормами общелитературного и поэтического языка обнаруживается и в поэзии Крылова вполне отчетливо.

Современники Крылова часто отмечали это качество басенного языка Крылова, оценивая его как язык правильный и «чистый».

---

[149] Н. Г. Чернышевский. Очерки гоголевского периода русской литературы. Полн. собр.соч., т. III, стр. 18.

Жуковский, например, даже находя у Крылова «выражения, противные вкусу, грубые» в то же время признает, что «слог басен его вообще легкий, чистый и всегда приятный».[150] Вяземский, несмотря на свое отрицательное отношение к Крылову, находил, что «у Крылова. . . руссицизмы очищеннее и в самой простоте своей художественнее»[151], чем у И. М. Долгорукого. Бесспорно, что «чистотой» слога Крылов превосходит и А. Измайлова, взгляды которого на слог басен приводились выше[152]. Вяземский, например, называл Измайлова «пьяным Крыловым»[153]. Та же мысль и даже тот же образ, более развернуто — в записках Ф. Вигеля: «Между ними [Крыловым и Измайловым] была та разница, что Крылов умел облагораживать простой язык, а этот сохранял ему всю первобытную нечистоту. Одним словом — и все в том согласились — это был Крылов навеселе, зашедший в казарму, харчевню или в питейный дом»[154]. Можно привести и другие высказывания современников Крылова, где, подчеркивая близость его языка к разговорной речи, авторы отмечают в то же время отсутствие у него пристрастия к «низкому слогу», к натуралистическому воспроизведению вульгаризмов и вообще всякого рода нелитературных элементов простонародной речи. Именно в связи с Крыловым писал П. Плетнев о том, что «искусственный подбор простонародных слов так же далек от простонародного языка, как словарь от книги»[155].

---

[150] В. А. Жуковский. Басни Ивана Крылова, стр. 53.

[151] П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 478.

[152] Надо заметить, что литературная практика Измайлова-баснописца не вполне совпадала с его теоретическими высказываниями; см.: Н. Л. Степанов. Русская басня, стр. LVI.

[153] П. А. Вяземский. Записные книжки. М., 1963, стр. 23. — В прижизненной публикации Вяземский несколько смягчил это выражение: «Баснописец Измайлов — подгулявший Крылов» (см.: П. А. Вяземский. Старая записная книжка. Л., 1929, стр. 59).

[154] См. комментарий Л. Гинзбург к «Старой записной книжке Вяземского» (Там же, стр. 296).

[155] П. А. Плетнев. Сочинения и переписка, т. 2, стр. 34. В высказываниях такого рода не должна вводить в заблуждение некоторая терминологическая нечеткость: слово *простонародный* употреблялось часто в смысле современного *народный*; именно так надо понимать в приведенном высказывании Плетнева выражение *простонародный язык*; ср., например, еще высокую оценку языка Крылова его современником, приведенную М. И. Сухомлиновым в его «Истории Российской Академии» (Сухомлинов приписывает ее Мартынову, но Л. А. Булаховский склонен считать ее принадлежащей академику Озерецковскому; см.: Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX в. Лексика, стр. 107); «г. Крылов совершенно владеет как вообще русским языком, так и в особенности простонародными словами. Хотя басня есть такой род сочинения, который и сам собою требует слов простонародных; однако искусство употреблять оные кстати г. Крылову принадлежит, кажется, преимущественно». В качестве примеров таких «простонародных слов» в баснях Крылова приводятся далее *нашколил*, *не шевеля поводов*, *у коренной*, *серчал*, *вы не отста-*

Это же имел в виду Пушкин, когда говорил, что «некоторые пишут в русском роде, из них один Крылов — коего слог русский» [156].

Надеждин в своей статье «Европеизм и народность» приводил басни Крылова как «блистательный пример возведения простонародного языка. . . на высшую ступень литературного достоинства» [157].

Об отсутствии у Крылова пристрастия к «простонародности» речи говорят и современные исследователи его творчества и стиля (см., например, замечание Н. Л. Степанова: «Языковое новаторство Крылова свободно от той нарочитости «просторечия», которое так характерно для писателей XVIII века, старавшихся передать искусственную грубость крестьянской речи») [158]. Но важно осмыслить этот факт именно с точки зрения тенденций развития «простого» стиля, «вдвинуть», так сказать, Крылова в историю литературного языка первой половины XIX в. Белинскому принадлежит приводившаяся уже ранее известная характеристика языка Крылова в его отношении к языку Карамзина: «Если Крылов и обязан Карамзину чистотой своего языка, то все же язык Крылова во сто раз выше языка Карамзина, по той простой причине, что язык Крылова до nec plus ultra язык русский. . .» [159]. Естественно, что исследователи обращают внимание только на вторую часть этой характеристики, но заслуживает внимания и первая часть формулы Белинского — «. . . Крылов обязан Карамзину чистотой своего языка». Не случайно Белинский относит Крылова (и не только, разумеется, хронологически) к «карамзинскому» периоду русской литературы.

С этой точки зрения надо оценивать и функцию просторечия у Крылова. Очевидно, что отчасти здесь осуществляется несколько более свободное, чем в «карамзинской школе», включение в художественное произведение в характерологических целях речевых примет различных социальных групп. Но главное в том, что, отразив основные достижения «нового слога», язык Крылова демонстрирует в то же время другое представление о границах самого литературного языка. Ведь и отношение критики — положительное или отрицательное — к языку Крылова исходит из оценки его просторечия как факта литературного языка, а не только как художественного средства. Поэтому рост народного, разговорного элемента у Крылова не находится в. противоречии с общей тенденцией укрепления общелитературной роли языка «простых» литературных жанров (а в некотором смысле

вай, псы залились в хлевах; ясно, что речь здесь идет не о собственно «низких» словах, если пользоваться старой терминологией.

[156] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 191.

[157] «Телескоп», М., 1836, ч. XXXI.

[158] «И. А. Крылов. Исследования и материалы». М., 1947, стр. 136.

[159] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 223.

даже усиливает эту роль). Это станет особенно очевидным, если соотнести язык басен Крылова с живой речью этого времени, традициями «низкого стиля» и нормами карамзинского «нового слога».

§ 64. Разговорная речь образованного круга представляла собой в это время довольно пеструю картину. Известно, что уже с последних десятилетий XVIII в. наметилась нормализация бытовой речи, освобождение ее от диалектизмов и вульгаризмов, от «простонародности». «Карамзинская школа» провозгласила сближение — или даже слияние — письменного литературного языка с «обработанной», нормализованной разговорной речью. Это был двухсторонний процесс: «нормы литературной речи приспособлялись к языку дворянского салона, а разговорный язык светского общества в свою очередь устанавливал свои нормы под влиянием форм литературного выражения» [160]. Но степень, интенсивность и самый характер проявления этих тенденций в разговорной речи и письменном литературном языке были, разумеется, совершенно различны. В письменной речи действительно устанавливалась некая идеальная, нейтральная норма литературного выражения, и в этом отношении «новый слог» дает очень много для понимания того, что́ из разговорной речи могло расцениваться — хотя бы частью образованного общества — как нейтральное и потому литературное; это был своего рода эталон нейтральности. Но нет оснований предполагать такую же последовательность в осуществлении этой тенденции в самой живой речи.

Прежде всего надо отметить, что все более и более углублялась речевая дифференциация в обществе, отражавшая различия и в речевых навыках разных поколений, и в характере воспитания, и в литературных вкусах и т. д. Помимо различного рода свидетельств современников, это находит подтверждение в языке писем, мемуаров и других произведений так называемой «домашней литературы» этого времени. Даже если не брать в расчет письма полуграмотных провинциальных помещиков [161], эта дифференциация легко обнаруживается при сравнении писем и записок людей в той или иной мере образованных, даже литераторов. Достаточно сопоставить, к примеру, письма Державина и Карамзина или Дмитриева, чтобы вполне отчетливо ощутить, насколько речь первого ближе к диалектной «простонародной» стихии; см., например, у Державина такие слова, как *шпетишь*, *куликать*, *брязги*, *мотарыга*, *шиканы*, *прошлец*, *щетить*, *охинеть*, а также обычные *окроме*, *нонешний*, *пошва* («почва» — впрочем, так упо-

---

[160] В. В. Виноградов. Язык Пушкина, стр. 59.

[161] См.: П. Я. Черных. О некоторых вопросах изучения языка А. С. Пушкина. «Уч. зап. Московского обл. пед. ин-та», т. XXXII, вып. 2, 1955.

треблял это слово и Вяземский) [162], *завтре*, *зачать* (в значении «начать») и т. д.[163]. Ранее приводились образчики разговорной речи из записок Андрея Болотова; примеров такого же или близкого типа речи можно было бы привести очень много. На этом фоне отличия языка карамзинских писем выглядят разительно.

Вместе с тем глубину дифференцированности разговорной речи в обществе не следует преувеличивать. Она имела свои пределы. Есть основания утверждать, что разговорная речь образованного общества в целом сохраняла еще в начале XIX в. свою близость к «простонародной» стихии, смыкаясь с диалектами. Во всяком случае бесспорно, что в это время она еще довольно далека от той «литературности», которая стала свойственна ей в середине и второй половине XIX в.; она включала еще такие языковые факты, которые в силу своей просторечности не закрепились в литературном языке, а вскоре вышли и из устного обихода. Греч, например, характеризуя комедии Фонвизина как «собрание образчиков тогдашнего разговорного слога, который с тех пор до чрезвычайности переменился», замечает далее: «В комедиях Фонвизина нахожу выражения и обороты, которые слыхал я в изустном разговоре в моей молодости, и которые ныне совершенно вывелись» [164]. Молодость Греча падает на начало века — он родился в 1787 г. Можно вспомнить в этой связи и известное свидетельство И. Аксакова о том, что «одновременно с чистейшим французским жаргоном. . . из одних и тех же уст можно было услышать живую, почти простонародную, идиоматическую речь, более народную во всяком случае, чем наша настоящая книжная или разговорная» [165]. В. Одоевский утверждал, что в «Горе от ума» Грибоедова «находим. . . совершенно такой язык, каким говорят у нас в обществах» [166]; между тем речь грибоедовской комедии не свободна от устаревших впоследствии разговорно-просторечных примет. Вспомним также утверждение Пушкина о том, что «откровенные, оригинальные выражения простолюдинов повторяются и в высшем обществе, не оскорбляя слуха» [167], или его же замечание в одной из пропущенных строф «Евгения Онегина» относительно принятого «в гостиной светской и свободной» простонародного

---

[162] Заметим при этом, что Вяземский употребляет это слово в серьезном, даже стилистически приподнятом тексте; например, «. . . утолить жажду души, чуждой земным благам, души, иссохнувшей бы на *пошве*, где. . . растет человеческое счастье» («Записные книжки», стр. 46).

[163] Этот материал представлен в неопубликованной работе В. Фонштейн, посвященной описанию разговорной речи в письмах и «Записках» Державина, с которой автор имел возможность ознакомиться.

[164] Н. Греч. Чтения о русском языке, ч. 2, стр. 115.

[165] И. Аксаков. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886, стр. 10.

[166] «Московский телеграф», 1825, кн. III.

[167] А. С. Пушкин. О новейших блюстителях нравственности. Полн. собр. соч., т. 11, стр. 98.

слога [168]. Выразительно звучит также следующее признание Вяземского: «При всем моем французском отпечатке, сохранил или приобрел я много и русского закала. Простонародные слова и выражения попадались мне под перо и нередко, кажется, довольно удачно. Впрочем, за простонародием никогда я не гонялся, никогда не искал я образовать школу из него. Это русский ключ, который пробивался во мне из-под французской насыпи» [169]. Можно назвать и другие свидетельства такого рода. Таким образом, хотя «карамзинская школа, сузив границы литературного просторечия, произведя отбор его форм, отбросила все его внелитературные формы в простонародность», тем не менее «простонародность от этого не сократилась в дворянском обиходном, несалонном языке и не исчезла из «светской» салонной речи» [170].

Язык писем и мемуарной литературы должен подвергнуться поэтому интерпретации, он не может рассматриваться во всех случаях как зеркальное отражение живой речи. Надо брать в расчет также и глубокое различие в отношении к письму, оценку его с точки зрения литературности у Карамзина и представителей его «школы». Если даже рассматривать как преувеличение характеристику дружеского письма начала XIX в. как «факта литературы» [171], остается бесспорным, что язык письма, в том числе и письма дружеского, стал оцениваться в карамзинском кругу как факт литературного языка. Элементы живой речи отбирались здесь как в любом другом письменном тексте, хотя в этом отборе и отражалась специфика «жанра». Вяземский, оценивая опыт публикации в альманахах писем писателей, считает, что «эти нескромности приносят. . . пользу языку, доставляя материалы для образования среднего наречия, чуждого чопорной строгости книжного и своевольности разговорного» [172].

Это могло относиться только к письмам литераторов, принадлежащих «новой школе» или близких к ней. Письма Державина и других писателей старшего поколения не могли бы служить таким образцом — и не только потому, что там могла отражаться другая литературная норма, но прежде всего потому, что их вообще трудно рассматривать с точки зрения норм литературности. Это поток живой речи во всей ее «своевольности», лишь соединенный

---

[168] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 627. См. также в замечании о Шекспире: «И если иногда герои выражаются в его трагедиях как конюхи, то нам это не странно, ибо мы чувствуем, что знатные должны выражать простые понятия, как простые люди» («О народной драме. . .» Там же, т. 11, стр. 179).

[169] П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. LVIII.

[170] В. В. Виноградов. Язык Пушкина, стр. 392.

[171] Ср.: Н. Степанов. Дружеское письмо начала XIX в. — В сб. «Русская проза». Под ред. П. Эйхенбаума и Ю. Тынянова. Л., 1926.

[172] П. А. Вяземский. Об альманахах [1827]. Полн. собр. соч., т. II, стр. 21.

(или, лучше, смешанный) с элементами приказного слога и книжного языка. Таким образом, надо полагать, что речь Державина и речь Карамзина были намного ближе друг к другу, чем язык их писем. Неудивительно, что когда «младшие карамзинисты» — Вяземский, Батюшков, А. Тургенев, затем Пушкин и др. — стали культивировать несколько отличную от карамзинской эпистолярную манеру, не такую сглаженную, характеризующуюся более свободным вводом фамильярного просторечия, язык их писем стал несколько ближе к «докарамзинским» традициям, хотя не приходится сомневаться, что ни разговорная речь этих литераторов, ни их представление о нормах литературного языка не могли сколько-нибудь заметно отличаться от карамзинского; если же привлечь к сравнению письма лиц, вообще далеких от этого литературного круга, например Грибоедова, то станет особенно очевидным, что письма представителей «карамзинской школы» не могут служить вполне надежным источником для суждения о разговорной речи молодого поколения. Другими словами, люди, которые одинаково разговаривали, могли по-разному писать свои письма или мемуары.

Сказанное не должно служить основанием для отрицания бесспорного факта речевой дифференциации в первые десятилетия XIX в., оно лишь направлено против преувеличенного представления об этой дифференциации. Но если «домашняя литература» карамзинистов не может рассматриваться как исчерпывающее отражение их бытовой речи, она тем не менее чрезвычайно важна как показатель иной, чем у их предшественников, оценки разговорной речи с точки зрения норм литературности, иного способа «переживания» собственной устной речи. Поэтому большое значение для понимания норм литературного языка этого времени в отношении к бытовой речи имеет различение случаев невольного, «неустановочного» (по терминологии Л. А. Булаховского) употребления просторечных слов, выражений, форм и т. д. и сознательного их использования в письменном языке. Упоминавшееся только что замечание Вяземского относительно «простонародных слов и выражений», которые ему «попадались под перо», интересно как свидетельство живучести этих слов и выражений в обиходной речи, и в то же время здесь останавливает внимание его утверждение, что он «не гонялся за простонародностью» и «не искал образовать школу из него».

В связи со сказанным приобретает особое значение не только факт речевой дифференциации представителей разных поколений, но и разграничение «речевых стилей» в зависимости от ситуации, содержания и назначения речи — в пределах разговорного языка у одних и тех же лиц. Не освободив вполне свою бытовую речь от «простонародного» элемента, светские люди, однако, могли отчетливо ощущать его нелитературность и поэтому ограничивать сферу его употребления. Различение «салонной» и «несалонной»,

обиходной речи в приведенном выше высказывании В. В. Виноградова чрезвычайно существенно. Ведь именно трудности, связанные с разграничением этих «речевых стилей», и глубокая неудовлетворенность состоянием обиходного языка и послужили одним из источников господства не только в письменном, но и в устном обиходе, французского языка.

Таким образом, не только в книжном языке, но и в разговорной речи была своя архаика, отличающаяся резкой просторечностью. Обращает на себя внимание в этой связи определение понятия «архаизм» Н. И. Гречем в его «Учебной книге российской словесности»: «Выражения обветшалые (архаизмы) суть слова и обороты живого языка, которые при возрастающем его обогащении устарели и не употребляются хорошими писателями, хотя иногда встречаются в языке простонародном. Они суть: a) выражения, означающие низкие действия человека, напр., *жрать*, *рыгать*; b) слова испорченные: *оченно*, *некрут*, *чать*; c) слова низкие и подлые: *треснуть* вм. *ударить*, *сварганить*, *буркалы*, *бахвалить*, *тарантить*; d) вышедшие из употребления; напр., *звычайный*, *коноб*, *говяда*». И далее следует характерное примечание: «Из числа обветшалых должно исключить сильные и выразительные слова языка славянского, употребляемые хорошими нашими писателями» [173].

Разумеется, этот просторечно-архаический фонд не был внутри себя однороден, включая разные лексические и фразеологические пласты. Здесь были слова и выражения, действительно, несвойственные уже речи образованных людей, особенно представителей нового поколения; эти слова сохранились — если говорить о дворянстве — лишь в обиходе малограмотных помещиков, может быть, отчасти и лиц образованных, но полностью примыкавших по своим речевым навыкам к традициям XVIII в. П. Я. Черных приводит свидетельство Водовозовой из ее воспоминаний о смоленских помещиках, которые говорят *нетути*, *надысь*, *намеднись*, а также описание Корсаковым казанского помещика, который «говорил. . . речью, близкой к простонародному местному говору, употребляя, например, такие слова, как *таперича*, *хоша*, *ономнясь* и т. п.» [174]. П. Я. Черных иллюстрирует этими примерами положение о сохранившейся еще близости дворянского просторечия крестьянскому. Но здесь не менее показательна и реакция наблюдателей, которым эта речь представляется неграмотной, простонародной и устарелой. Ведь об этом казанском помещике мемуарист прямо говорит, что он «являлся архаическим остатком провинциального служилого дворянства XVIII века» [175]. Другие элементы просто-

---

[173] Н. И. Греч. Учебная книга российской словесности, ч. 1, стр 29—30.

[174] П. Я. Черных. О некоторых вопросах изучения языка А. С. Пушкина, стр. 91.

[175] Там же.

речия имели, по-видимому, более широкое распространение, будучи в той или иной степени свойственны и речи представителей молодой «интеллигенции», но отношение к этим фактам было различным у разных культурных групп дворянства: для одних были они обычны, другими они воспринимались в той или иной мере как нелитературные архаизмы, их избегали употреблять — и не только в письмах, но, возможно, и в устной речи [176], хотя время от времени они могли употребляться невольно, бессознательно. Наконец, живая речь самих образованных представителей столичного дворянства заключала в себе широкий слой простонародных слов, выражений, оборотов и т. д., которые вообще нельзя назвать архаизмами, даже если они впоследствии отчасти и не закрепились в литературном языке или даже только в разговорной речи. Иное дело, что в первые десятилетия XIX в. этот языковый пласт находил слабое отражение в письменности, не выходя обычно за пределы эпистолярных форм или — чаще с художественными задачами и очень ограниченно — в некоторых видах литературы. Это уже связано с вопросом о нормах письменного литературного языка этого времени.

Разумеется, границы этих групп не были вполне устойчивыми и определенными. Так, казалось бы, можно бесспорно отнести наречие *нонича* (или *нонече*) к словам, ставшим полностью чуждым образованной речи (в отличие от *нынче*, имевшего широкое распространение); но оно несколько неожиданно встретилось у Лермонтова в словах Печорина, причем вполне серьезно, без всякой стилистической «установки». «Я буду иметь честь прислать к вам нониче моего секунданта, — прибавил я, раскланявшись очень вежливо» [177] (ср. единственный пример употребления *нонече* у Пушкина — в речи кузнеца Архипа в «Дубровском»). Можно отметить еще встречающиеся изредка слова *откудова*, *отсюдова*, *покудова*, *завсегда*, *поздо*, *зачать* («начать»), например, большинство их есть в письмах Грибоедова, где встретилось даже *намеднись* [178]. Л. А. Булаховский отметил в письмах и дневниках таких образцовых носителей литературной речи, как А. И. Тургенев, Н. И. Тургенев, Вяземский, Жихарев, Языков, единичные *нарахтились*, *щулепничаешь*, *охреян*, *замытиться*, *щетиться*, *оборыши*, *вараксать*, *перекохчать* [179]. С. П. Жихарев в своих «Воспоминаниях старого театрала» воспроизводит такое восклицание Шаховского: «Это все, братец, ваши затеи с К., а старику и в го-

[176] См., например, известное свидетельство Вяземского о Пушкине, что последний «не любил щеголять. . .простонародным наречием» (П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 361).

[177] М. Ю. Лермонтов. Собрание сочинений, т. 6. М.—Л., 1957, стр. 319.

[178] См. И. С. Ильинская. О языке писем Грибоедова. «Литературное наследство», 47—48, 1946, стр. 293.

[179] Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX в. Лексика, стр. 240 и след.

лову бы не пришло ставить трагедию; шематоны вы этакие!» (см. *шаматон* у Пушкина в «Капитанской дочке» в речи старика Гринева) [180]. Даже если не согласиться с Л. А. Булаховским, что во всех приведенных им случаях эти слова «неустановочны» (в некоторых примерах эта установка на просторечие бесспорна, что подтверждается, между прочим, и выделением слова на письме, как в примере с *замытиться* из дневника Жихарева) — то и в этом случае употребление такого рода слов небезразлично для суждения о границах просторечия в «домашней» речи дворянства начала века.

Несмотря на все эти и другие подобные случаи, само разграничение разных типов просторечия, безусловно, отражает реальную языковую действительность. Письма, дневники и другие произведения этого рода могут, при соответствующей интерпретации, служить здесь важным источником. Об эпистолярном стиле младших карамзинистов В. В. Виноградов писал, что они «охотно вступали на путь каламбурного или шутливо-иронического использования обиходно-просторечных, иногда устно-профессиональных выражений или же проявляли эстетическое любование простонародной речевой экзотикой [181]. Но важно заметить, что это «любование речевой экзотикой» редко обращено на факты архаические, не закрепившиеся впоследствии в разговорно-литературной речи или на ее ближайшей периферии.

«Домашняя литература» младшей ветви карамзинистов поэтому чрезвычайно интересна как свидетельство о том неисчерпаемом резерве для литературного языка, который таила в себе бытовая «интеллигентская» речь этого времени [182]. Вот некоторые примеры из писем Жуковского, вообще более умеренных в отношении просторечия, чем письма Вяземского или Пушкина: *наговорить с три кузова*, *авось*, *свихнуться* (в значении «заболеть»: «. . .до декабря я был в добром порядке; но в декабре опять свихнулся: биение

---

[180] С. П. Жихарев. Записки современника, стр. 574.

[181] В. В. Виноградов. Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева, стр. 171; см. также упоминавшуюся уже статью Н. Степанова «Дружеское письмо начала XIX в.».

[182] В этом отношении письма Вяземского, Батюшкова, Пушкина, отчасти Жуковского представляют бóльший интерес, чем, например, письма Грибоедова, — с одной стороны, благодаря этой ярко-экспрессивной стихии, и, с другой стороны, из-за более тщательного отбора, отказа от архаического просторечия. Примеры, которые далее приводятся, разумеется, не вполне равнозначны стилистически; отчасти это отражено — хотя и очень непоследовательно — пометами в Словаре АР: одни из них характеризуются как простонародные, другие как просторечные, третьи не снабжены никакими пометами, наконец, некоторые и совсем не зафиксированы в словаре, хотя их бытование бесспорно. Все же все перечисленные ниже слова имеют много общего: это тот экспрессивный фонд разговорного языка, который не воспринимался как вполне литературный, и лишь случайно проникал за пределы «простой» литературы, в той или иной степени связанной с традициями «низкого» стиля.

сердца, прерывчатый пульс, кровотечение, одышка. . .» — Гоголю, 24 декабря 1845 г.), *растегайство*, *хлебнуть*, *таскаться*, *восвояси*, *удариться* («удариться в софизм» — Вяземскому, 26 декабря 1826 г.), *писака*, *деньжура* («. . .ибо деньжура будет мне крайне нужна при моем возвращении на святую Русь» — Плетневу, 17 июля 1840), *заколдобила*, *аляповатый*, *загомозиться*, *как по маслу*, *раскудахтаться*, *проруха*, *историйка* («. . .мне нужна будет какая-нибудь краткая, но хотя несколько сносная русская историйка» — А. И. Тургеневу, 7 ноября 1810), *брюхом тянет* (каламбурно: «. . .меня все к тебе тянет, — не брюхом, которое имею уже весьма порядочное, но сердцем» — Пушкину, 15—20 ноября 1836); *брюхом хочу*, *брюхом хочется* — есть также несколько раз у Пушкина, зафиксировано это выражение в Словаре АР [183]. В письмах Батюшкова встретим: *тащиться*, *краснобай* (в Словаре АР это слово характеризуется как простонародное), *баста* (см. также у Жуковского, но латинским шрифтом — basta), *зарвался*, *отбрил*, *марателн* (*марать* и производные — шутливо или пренебрежительно — у Батюшкова очень часто: *мое маранье*, *намарал* и т. д., см. также у Вяземского, Пушкина и др.), *враль*, *наврал много дичи*, *делу квит* и т. д. В «Записных книжках» Вяземского, написанных вообще довольно гладко, во всяком случае с меньшим налетом просторечия, чем его письма или шутливые куплеты и сатирические стихи, можно найти такие слова и выражения, как *цыганит* (в Словаре АР: *цыганить* — пересмехать, пересужать) [184], *наобум*, *распинаться за кого-нибудь* (в Словаре АР — *распинаться* в значении *клясться*, *божиться* — просторечное), *замуслит*, *тягу даст*, *навострить лыжи* и др. под.; вот также любопытный пример разговорно-каламбурного переосмысления книжного текста в «Записной книжке»: в ответ на слова Шишкова из предуведомления к его переводу «Тассовых Бдений» о том, что он стремился «погрузить в оных ту высокоумную горячку, тот великолепный бред, какими преисполнен подлинник», Вяземский замечает: «Будьте покойны! и горячка и бред — все найдешь у вас с избытком» («Записные книжки», стр. 25; см. *нести горячку* — у Крылова, *написал горячку* — у Державина в письмах и др.; ср. в Словаре АР: *горячка* — только «болезнь, состоящая в сильном движении крови»). В небольшом «Письме с Минеральных вод» Вяземского найдем: *шляться*, *натолковать*, *мыкаться*, *тащиться*, *вертеться*, *убраться*, *не худо*; вот еще несколько примеров только из одного письма Вяземского Пушкину (26 августа и 6 сентября

---

[183] Приведенные примеры относятся к разным годам — от начала века до его середины, следовательно, они выходят за пределы рассматриваемого времени. Поскольку, однако, речь идет об одном лице, причем с достаточно устойчивыми вкусами, это не имеет существенного значения. Впрочем, можно заметить, что объем разговорного элемента в письмах Жуковского возрастает с середины второго десятилетия.

[184] В этом разделе и далее Словарь АР — по изданию 1806—1822 гг.

1825 г.): «Что за горячка? Что за охота быть пострелом?»; «ты человек неугомонный, с которым ничто не берет»; «если приперло тебя потеснее другого . . .»; «это положительный барыш, а в барышах будет и то, что ты уважил заботы друзей», «наклада никакого не вижу», «вбей себе в голову», «вдруг меня прорвало», «возвратиться восвояси», «что за охота дать себя ухлопать аневризмом», см. там же: *исподтишка*, *барахтаться*, *подтакивать*, *амуриться*, *норовить* и др. См. у него же *закадышное* (в письме А. Тургеневу [185]; в Словаре АР *закадычный* помечено как просторечное). В написанном превосходным литературным языком дневнике известного театрала С. П. Жихарева употребляются такие слова и выражения, как *не дал ему разинуть рот*, *набить руку*, *дым коромыслом*, *стихокропатель*, *втерлись в литераторы* (в передаче слов Шишкова), *хоть шаром покати*, *ума не приложу*, *безделка*, *смекнул в чем дело*, *толстобрюхий*, *распотешилась*, *отбояривать* [186] и др. под.

В письмах разных лиц встретим: *рехнуться* (или *с ума рехнуться* — так у Державина и др.; в словаре АР *ряхнуться* — просторечие), *зевать* (скучать), *пробпасть*, *глазеть*, *куралесить*, *колобродить*, *улизнуть*, *хрыч*, *сутяга*, *взмоститься* [187], *попасть впросак*, *встать в пень* (например, у Вяземского; это выражение встречается у Болотова, Державина; ср. *стоять как пень*), *куда* (или *куды*) *зря* [188] и др.

Большой интерес представляют случаи разговорного экспрессивно-переносного употребления слов, например у Жуковского: «Не брыкайтесь и не становитесь на дыбы», «пригвоздил себя на несколько месяцев к одному месту», «цензуре здесь похлебать будет нечего», «дашь мне хлебнуть твоих «Мертвых душ», «Тебя же прошу продолжать быть колокольнею и разбубенить противное тому, что ты уже соблаговолил разбубенить» (*бубенить* в Словаре АР: в просторечии — «разглашать», «рассказывать», «барабанить»).

---

[185] См.: Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX в. Лексика, стр. 393.

[186] *Отбояривать* у Жихарева употреблено непривычно в следующем контексте: «Гаврила Романович с нетерпением сказал: „Э, да ну, братец, читай! что ты за педант такой?“ И вот я, покраснев от стыда и досады, взял у Горчакова тетрадь и давай отбояривать» (далее следуют стихи, которые автор читает вслух). Ср. в Словаре АР: «. . . *отбояривать*, простонародное. Ласковым, учтивым образом отказывать кому в чем, или давать восчувствовать истину» — и примеры: «его отбоярили ни с чем; в бывшем споре его ловко отбоярили». Так приблизительно употребляют это слово и в литературе (См. у Радищева: «Иван всех [женихов] отбоярил»).

[187] *Взмоститься* и *вскарабкаться* Шишков помещает в число простонародных слов (вместе с такими, как *навьютил*, *взрютил*, *старый хрен*), которые некий вымышленный Шишковым сторонник «нового слога» осуждает у Сумарокова («Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», стр. 446).

[188] *Куды зря* — например, у Жихарева в его дневнике, правда, с прибавлением слов «как говорят».

«Моя авторская гардероба вся истрачена, и лоскутка даже от старых костюмов нет в запасе, а новых шить . . .некогда. Не отказываюсь от надежды вперед что-нибудь смастерить; но теперь совершенно беден» (*мастерить*, по Словарю АР, «слово низкое», употребляется «как в физическом, так и в нравственном смысле»), «мои работы будут жестоко хромать», «состряпать для себя будущее» (*состряпать* в таком употреблении — одно из любимых у Жуковского слов, — см., например: «беды свои, которые сам же состряпал», «постараюсь состряпать еще несколько сказок» и др.; см. также у Пушкина в письме Вяземскому: «состряпать из этого статью. . .»; Словарь АР не указывает такого употребления); вот еще подобные случаи из упоминавшегося письма Вяземского: «Стоит ли барахтаться, лягаться и упрямиться. . .», «Душа должна быть тверда, но не нужно ей и щетиниться при всякой встрече. Смотри, чтобы твоя не смотрела в поросята!», «раскуси, разжуй и развари мое письмо». Примеров такого рода из разных авторов можно было бы привести множество. Особенно любопытны те шутливо-переносные, основанные на бытовых словах выражения, на которых лежит яркая печать индивидуального авторского своеобразия, например: *шпиковать стихами*, *пинок совести*, *эллинская выкройка*, *поэтический запор* (Жуковский), *стихотворческая отрыжка*, *замашки мысли* (Вяземский; последний пример, впрочем, относится к 60-м годам) и др.[189]

Более подробное изложение вопроса о языке писем начала XIX в., вообще о разговорной речи этого времени не входит в задачи настоящей работы — это предмет особого исследования. Надо только заметить, что, говоря о разных типах просторечия этого времени и об их дальнейшей судьбе, целесообразно разграничить экспрессивно-выразительные и нейтральные в этом отношении языковые факты (а среди последних заметное место, как это отмечалось и для книжного языка, занимают наречия, местоимения, служебные и неслужебные слова) [190]. Дело в том, что в судьбе этих двух лексических групп отражены отчасти явления принципиально различного характера, здесь могли действовать различные факторы; это отчасти разные проблемы, причем вопросы собственно общелитературного языка связаны с судьбой неэкспрессивного языкового фонда, естественно, более непосредственно, чем с историей употребления экспрессивной, оценочной лексики. Но об этом далее будет сказано несколько подробнее.

§ 65. В каком же отношении находятся все эти разнородные факты живой речи к нормам литературного языка (как они отрази-

[189] Любопытен также прием шутливого оформления при помощи книжных словообразовательных средств слов и выражений разговорной речи, типа *вздорология* (Карамзин), *куростройство* (от *строить куры*—Плетнев) и др.

[190] См.: И. С. Ильинская. Из наблюдений над лексикой Пушкина. (Элементы современного просторечия у Пушкина). «Труды Ин-та русского языка АН СССР», т. II, 1950.

лись в «новом слоге») и к тем тенденциям развития литературного языка, которые нашли свое наиболее полное выражение в баснях Крылова?

«Новый слог» слабо различал разные стилистические варианты в кругу специфически разговорных элементов языка. Карамзинский пуризм распространялся не только на просторечную архаику, но и на те слова и формы из обиходной речи, которые были живыми и широкоупотребительными и которые невозможно отнести к архаическому фонду разговорного языка. Отступления от этого пуристического отношения к разговорной речи (например, в баснях Дмитриева) незначительны, хотя их и не следует совсем игнорировать. В языке Крылова стилистические различия внутри разговорной речи определены вполне отчетливо. Уже говорилось, что Крылов не обращался к тем традициям низкого стиля, которые речевая и литературная практика конца XVIII и начала XIX в. отбросила в архаический языковой фонд. И в этом отношении язык Крылова — вполне «карамзинский», во всяком случае, в большей степени, чем язык И. Долгорукого, А. Измайлова или Нарежного. Действительно, мы не найдем здесь многих слов и выражений диалектного характера, которые были широко представлены еще в записках Болотова, отчасти Державина и других, типа *варакать*, *шишлять*, *барабошить*, *колты*, *стрякотки — блякотки*, *наблошниться*, *шильничать*, *прикрый*, *тазать*, *подтибезить*, *оболахтывать* и др. под. Надо заметить, что это относится и к лексике нейтральной в экспрессивном отношении, в частности и к устаревшим просторечным наречиям, служебным словам и т. д.

В баснях Крылова не употребляются даже в характерологических целях такие слова, как *анадысь*, *таперича*, *нонече*, *ономнясь* и др. под. Любопытны в этом отношении случаи исключения Крыловым некоторых слов этого рода при переиздании басен или при работе над рукописью [191]. Так, *робенок* исправлено на *ребенок* («Воспитание Льва»), нож *вострои* на *острый* («Крестьянин и Лисица»), *ропчет* на *ропщет* («Волк и Кукушка»); устраняются *теперя*, которые были первоначально в баснях «Рыцарь», «Мышь и Крыса»: в первом случае вместо «теперя и овса ты видишь не всегда» стало «теперь знаком ты мало и с овсом», во втором случае вместо «теперя погулять и нам пора настала» — «вот отдохнуть и нам пора настала»[192]. Последовательно устраняются некоторые внешние, отчасти даже орфографические приметы архаического просторечия, такие, как *страмиться* (заменяются на *срамиться* — например, в баснях «Щука и Кот», «Слон и Моська»);

[191] Рукописные и печатные варианты басен Крылова исчерпывающе представлены в издании, подготовленном А. П. Могилянским (И. А. Крылов. Басни. М.—Л., 1956).

[192] Ср.: Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX в. Лексика, стр. 469, где приводится только ранний вариант этой строчки — с *теперя*, без указания на последующее изменение.

частицы *-ко* и *-тко* часто заменяются на *-ка* (например, вместо *послушай-ко* стало *послушай-ка* — «Лжец», «Осел и Соловей»), вместо *возьми-тка* — *возьми-ка* («Крестьянин в беде»); вместо *поди-тко поскорей* стало *поди сюда скорей* («Купец»); в басне «Зеркало и обезьяна» были варианты *взгляни-тко*, *смотри-тко*, *смотри-тка* и, наконец, в окончательном тексте — *смотри-ка* [193]; *вить* исправляется на *ведь* («Лжец»; но *вить* находим в недоработанной и неопубликованной басне «Подсвечник и огарок»), *эдакий* (или *едакий*) последовательно исправляется на *этакий*, *поздо* — на *поздно* («Госпожа и две Служанки»), *в стретенье* — на книжное *в сретенье* («Чиж и Еж») и т. д. Исправления такого рода чрезвычайно показательны, так как свидетельствуют одновременно о том, что все эти элементы не чужды языку автора (в большинстве случаев они с самого начала не несли здесь никакой художественной нагрузки, а употреблялись невольно, механически), и о том, как они воспринимаются при осознанном отношении к ним. Это важно как показатель того отбора, который производился при воспроизведении разговорной речи в литературе.

Кажется, наиболее архаичными с точки зрения установившихся впоследствии норм литературного языка и наиболее близкими просторечию XVIII в. являются у Крылова слова: *тароватый* («Синица», «Фортуна в гостях»), *ббыть* («Вороненок»), *простак* («Червонец»), *прилика* (Хозяин и Мыши»), *клепать* (Там же), *гуторить* («Муха и Дорожные»), *ухитить* («украсть» — см. Словарь АР; «Лиса-строитель»), *запасть* («Куда ты там запал?» — «Купец»; см. в Словаре АР одно из значений *западать*: «В просторечии употребляется также для означения, когда о ком или о чем сведения нет, когда в забвенье что-нибудь пришло»; слово это широко известно в низком слоге XVIII в.), *нажидать* («Разбойник под вечер добычи нажидал» — «Разбойник и извозчик»; в Словаре АР *нажидать* определяется: «допускать другого приближиться к себе»), *льзя-ль*, словечко *лих*, частица *ан* и некоторые другие. Надо, однако, заметить, что вряд ли они находились в это время в одном ряду с теми словами, которые приводились ранее; они, кроме *гуторить*, помеченного как простонародное, не снабжены в Словаре АР никакими стилистическими характеристиками, большинство из них, бесспорно, было широко употребительно в речи, а *прилика* (*улика*), *клепать* встречаются и в официальных документах.

Надо далее заметить, что Крылову в общем чужда, даже как средство стилизации, и та лексика, которая не будучи в такой же мере архаична, как названная ранее, отличалась в то же время резкой сниженностью, грубоватостью, вульгарностью — типа *подтибрить*, *хайло*, *обожраться*, *насандалить*, *валандаться*, *якшаться*,

[193] Но эта правка проведена непоследовательно, например, в басне «Купец» *смотри-тко* исправлено на *вглядись-ко*, а в басне «Обоз» даже осталось *гляди-тко*; сохранились и другие случаи такого рода.

назюзюкаться, *шмякать*, *дрыхнуть*, *натрескаться* и т. п. По всей вероятности, наиболее «низкими» в словаре Крылова надо признать: *горланить* («твой хор горланит вздор» — «Музыканты»; в Словаре АР, впрочем, это слово определено как употребляемое в просторечии, а не простонародное), *треснуться* («И плотно так он треснулся на царство» — «Лягушки, просящие царя»; в Словаре АР такое употребление этого глагола не отмечено), *таскаться* («охотники таскаться по пирам» — «Синица»; «Бедняжка — нищенький под оконьем таскался» — «Фортуна и Нищий»; в Словаре АР, однако, *таскаться* — «ходить, волочиться» — дано без стилистических помет; правда, *тащиться* в значении «с трудом идти, брести. . .» помечено как употребляемое в просторечии), *слупить* («барыш на всем большой он слупит» — «Фортуна в гостях»; в Словаре АР *лупить* в значении «весьма дорого брать» помечается как простонародное) [194], *хватить* («комара с просонья так хватил» — «Комар и Пастух»; см. в Словаре АР: «хватить кого чем, в простонародном употреблении значит: ударить сильно») и некоторые другие [195]. Как видно уже из приведенных примеров, это в основном слова, сниженный, просторечный характер которых не выступает подчеркнуто резко; не случайно все они сохранились в современном просторечии, находясь, так сказать, на «близкой периферии» литературного языка. Еще менее снижены другие слова этого типа — *насолить*, *втереться*, *окорнать*, *навостриться*, *нести вздор* (встречается еще — *нарубить вздор*, *пороть вздор*), *дичь нести*, *уши вянут* (в Словаре АР толкуется как «стыдно слушать»), *шушукать*, *ободрать* (Словарь АР не снабжает никакими пометами употребление этого слова в значении «грабить»), *убирать* («Лев убирал за завтраком ягненка» — «Лев и Волк»; см. в Словаре АР; «в просторечии говорится о человеке, который алчно или много ест»), *очищать* (тарелку — «Демьянова уха»), *честить* («Не очень вежливо честил свой гурт гусиный» — «Гуси»; в Словаре АР *честить* — только «угощать кого, оказывать кому честь», но с пометой «в просторечии»), *доконать*, *кропотливый* (в значении, определенном в Словаре АР, как «брюзгливый», ворчливый», причем без стилистических помет, но *кропотать*, *кропот* — с пометой «просторечное»); *ворочать* («Ослу колом ворочает бока» — «Осел»; Словарь АР не отмечает такого употребления), *отнести* (в значении «отрубить, снести»: «отнес полчерепа медведю топором» — «Крестьянин и Работник»; Словарь АР помечает такое употребление как свойственное просторечию), *выйти соком* («Осел»), *стянуть* («украсть» — «Собака», «Мор зве-

---

[194] *Барыш* в Словаре АР помечено как простонародное только в обобщенном значении — «выгода, польза», но не в значении «прибыток, полученный в торгу» (см. пример из письма Вяземского на стр. 385).

[195] Нецелесообразно и неверно ставить в ряд с этими словами лексику собственно бранную — типа *дурак*, *болван*, *олух* и т. д.; ср. В. Гофман. Язык литературы, стр. 288.

рей»). Резче, «простонародней» других слов выглядят, на первый взгляд, слова *враки*, *враль*, *врать* (в обычном в то время значении — «говорить вздор, пустословить»), тем более, что *врать* и в Словаре АР помечено как простонародное, но фактически слова эти встречаются в то время довольно широко; *враль*, например, есть даже у Карамзина в «Письмах русского путешественника».

Можно отметить также несколько случаев устранения просторечных слов со сниженной экспрессией при работе Крылова над текстом басен: так, первоначальное *вышла за каляку* заменилось на *за калеку* («Разборчивая невеста»), в той же басне *смекала жениха* изменено на тоже разговорное, но менее сниженное *смышляла жениха* [196]; *дух сперло*, возможно, под влиянием критики Жуковского, переделано в *дыханье сперло* («Ворона и Лисица»). Можно привести еще замену *вздурился* на *взбесился* («Крестьянин и Топор», хотя вообще *вздурился* встречается еще в басне «Лев и Комар») и даже *мух бы пропасть нахватал* на *вдоволь нахватал* («Подагра и Паук») [197] и некоторые другие.

Таким образом, нелегко найти у Крылова такие просторечные слова или идиомы, которые не закрепились бы впоследствии в общерусской разговорной речи [198]. Любопытно, что и те, кто упрекал Крылова в отсутствии «вкуса», в грубости, с трудом выискивали примеры для подтверждения своих упреков. Жуковский, например, отметил как «неприятное выражение», которое «едва ли. . . понравится людям, привыкнувшим к языку хорошего общества» — «От радости в зобу дух сперло». Наиболее заметным отклонением от литературной нормы оказалось *гуторить* (в басне «Муха и Дорожные») — на это слово обратили внимание и Каченовский и Измайлов. Чаще же всего упреки эти касались вообще не столько языка, сколько описываемых предметов, вроде знаменитой свиньи, которая «на барский двор когда-то затесалась» — ее заметили Каченовский («Вестник Европы», 1812, № 4, стр. 305) и Блудов, «изысканный вкус» которого, по словам Вяземского, «не допускал появления Хавроньи в поэзии» [199]. Впрочем, и сам

---

[196] Возможно, сыграло роль то обстоятельство, что *смекать* сочеталось здесь с винительным прямого дополнения, что не было, очевидно, обычным; см. Словарь АР, где такое употребление не отмечено; ср., например, сохранение *смекать* в басне «Напраслина»: «а он смекает, нельзя ли. . .» Надо добавить, что *смекать* в Словаре АР помечено как просторечное.

[197] Любопытно, что отличающиеся большей «простоpечностью» басни «Два извозчика» и «Подсвечник и Огарок», где встречаются слова *вонючка*, *уплелся*, *кажись*, *вить* (ведь), *сотняжку зашиб*, относятся к числу недоработанных и неопубликованных при жизни Крылова.

[198] Если не считать, разумеется, тех, которые были в то время широко распространены, но впоследствии вышли из употребления — типа *завсегда*, *пособить*, упоминавшиеся ранее *тароватый*, *прилика* и т. д.

[199] П. А. Вяземский. Старая записная книжка, стр. 68. См. также замечания Белинского о том, что Крылов подвергся упрекам за изображение «низкой природы», особенно за басню «Свинья» («Взгляд на русскую литературу 1847 года». Полн. собр. соч., т. 10, стр. 290).

Вяземский в письме к Пушкину, оспаривая пушкинскую характеристику Крылова как представителя духа русского народа, говорит не о языке и не о слоге, а вообще о характере творчества Крылова [200].

Надо иметь в виду, что выше назывались наиболее «сомнительные» с точки зрения литературности слова, отличающиеся в той или иной степени стилистической сниженностью, и, как видно из примеров, они занимают сравнительно скромное место в языке Крылова, будучи употреблены при этом с большим художественным тактом. Не им принадлежит главная роль в создании того неповторимого колорита народности, который характеризует язык басен Крылова: решающую роль (если говорить только о лексике и фразеологии) играет здесь безграничный поток непринужденно-разговорных, — но не грубых, вульгарных — национально-характерных (иногда с профессиональным оттенком) слов и выражений, таких, как *впрок*, *впервой*, *на диво*, *на лад*, *нет в помине*, *наславу*, *на беду*, *невидаль*, *тишком*, *ни гугу*, *гора с плеч*, *со всех ног*, *пуститься в разговоры*, *простыл след*, *в речь войти*, *не взвидеть света*, *был таков*, *слава*, (например: *наделать славы*; *на волка только слава*; *вошел в такую славу* и др.), *сбить спесь*, *жужжать в уши*, *дать потачку*, *вон из глаз*, *ноги таскать*, *ни на волос* [201], *удалые головы* [202], *сыт по горло*, *ни ногой*, *набить голову* (похвалами), *горой* (за кого-нибудь), *полон рот*, *сладко петь*, *хоронить концы*, *глаза разгорелись*, безличное *пришло* (в таких фразах, как «пришло хоть удавиться», «пришло хоть ноги протянуть») и мн. др.[203]

Разумеется, невозможно утверждать, что эти слова и выражения никогда ранее не встречались в литературе, но только у Крылова они стали вполне органическим, определяющим весь характер речи пластом. Находясь в единстве с синтаксическим строем басен, они создают то своеобразие, ту «народную физиономию» басенного языка Крылова, которую современники ощущали чрезвычайно отчетливо. Вяземский впоследствии выразительно опре-

---

[200] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 238.

[201] Ср. критическое замечание И. И. Дмитриева об употреблении этого выражения в серьезном («пышном») описании Петербурга в «Северном вестнике» (И. И. Дмитриев. Сочинения. СПб., 1895, т. 2, стр. 187).

[202] Шишков называл это выражение низким, отнеся его, однако, к тем, которые Ломоносов «умел употреблять даже в высоком стиле, при этом не унижая слога» («Рассуждения о старом и новом слоге российского языка», стр. 15).

[203] Любопытны случаи употребления идиоматических выражений или переносных значений слов с «оживлением» лексического состава и первоначального смысла; таковы, например: «волки-де совсем сдирают кожу с нас» в жалобе овец («Слон на воеводстве»), «оскомину набьешь» («Лисица и виноград»), «ни носа выставить, ни квакнуть безопасно» («Лягушки, просящие царя»), «собачонка... у Льва из-под когтей кусочек урвала» («Лев и Волк»), «... а ты уж не щенок», — обращаясь к волку (Там же).

делил это ощущение, заметив, что в отличие от Дмитриева, который «пишет» свои басни, Крылов их «рассказывает» [204].

Будучи связанным с традициями предшествующей литературы, язык Крылова в то же время не сводим к традициям. Его главный источник — не литература, а сама народная речь, сама народно-разговорная практика. Поэтому язык Крылова оказывается демократичнее низкого слога XVIII в., отличающегося в общем довольно трафаретным и искусственным набором просторечных и простонародных элементов.

Вообще же язык и стиль Крылова с трудом поддаются анатомированию. Ощущение непринужденности, естественности, подлинной народности и национальной характерности создается не отдельными словами или выражениями и даже не отдельными синтаксическими оборотами — оно в необыкновенной органической связи всех элементов стиля между собой и с содержанием, мыслью, авторской эмоцией. Гоголь говорил о Крылове, что «у него не поймаешь его слога»: «Все так сказано метко, так найдено верно и так усвоено крепко вещи, что даже и определить нельзя, в чем характер пера Крылова» [205].

Важно еще раз подчеркнуть, что у Крылова, может быть, впервые народно-разговорная речь, выступая как языковая основа литературного произведения (а не побочный его элемент), в то же время представлена очищенной от архаико-простонародных вульгаризмов старого низкого слога. Это обстоятельство создает основу для «отрыва» этого речевого слоя от низкого стиля, для вовлечения его в общелитературный язык, для органического его соединения с книжными и даже высокими пластами языка. Неудивительно, что язык басен Крылова отличается от языка его предшественников, в том числе и Дмитриева, не только неизмеримо более широким участием народно-разговорной стихии, но и более свободным обращением к книжному языку. В. В. Виноградов справедливо отметил, что «басня Крылова, несмотря на свою принадлежность к малым формам литературы, отражает все разнообразие стилевых средств русского литературного языка начала XIX в. и намечает новые пути их смешения и синтеза на широкой демократической основе» [206].

Таким образом, отраженный в баснях Крылова и, отчасти, других произведениях этого рода процесс демократизации литературного языка не означал, что снимались все преграды для разговорной речи, что она попросту узаконена как литературная. Здесь тоже производится отбор элементов живой речи в литературный язык, но характер этого отбора (и, как далее будет показано, его

---

[204] П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 157—158.

[205] Н. В. Гоголь. В чем же, наконец, существо русской поэзии. Полн. собр. соч., т. 8, стр. 394—395.

[206] В. В. Виноградов. Язык и стиль басен Крылова, стр. 33.

принципы) редко отличны от карамзинского. Следуя карамзинистам в своем отношении к просторечной архаике [207], стремясь, как и они, к «чистоте» языка, Крылов, однако, резко расходился с ними в понимании объема и функции разговорного элемента в литературе. Граница литературного и нелитературного здесь резко смещается. Отчетливо выделяется стилистическая неоднородность разных речевых групп внутри разговорного языка, как бы скрытая и затушеванная в «карамзинской» литературе. Можно сказать, что происходит та стилистическая дифференциация — с точки зрения литературного языка — в кругу разговорных речевых средств, которую «карамзинская школа» осуществляла в сфере книжного языка [208]. Разумеется, этот отбор и эта дифференциация отражали живые тенденции развития самой разговорной речи, но именно в литературе эти тенденции закреплялись как устойчивые нормы литературного словоупотребления, а утвердившись в литературе, эти нормы воздействовали в свою очередь и на саму разговорную речь [209].

§ 66. Итак, говоря о месте разговорно-просторечного элемента в письменном языке начала XIX в., можно отметить два, как может показаться, диаметрально противоположных, а на самом деле взаимосвязанных явления: с одной стороны, отказ — и в книге, и в разговоре — от остатков низкого слога с его простонародной архаикой, тяготение к более нормированным формам литературного выражения, и, с другой стороны, стремление преодолеть «карамзинский» пуризм, распространение и закрепление в литературе остававшихся в пренебрежении в «новом слоге» слов, выражений, конструкций живой разговорной речи. Оба эти процесса развивались и углублялись. Так, отказ от некоторых просторечно-разговорных элементов, признанных архаичными и нелитературными уже в «докарамзинское» и в «карамзинское» время, стал распространяться и на такие слова, которые не воспринимались

---

[207] Надо, впрочем, напомнить, что эти тенденции отчетливо сказывались уже в сатирической прозе Крылова конца XVIII в. — и вполне независимо от «карамзинской школы». Именно проза Крылова может служить ярким образцом и того простого (не «низкого») стиля литературного языка, о котором ранее говорилось (стр. 106—107).

[208] Попытку стилистически разграничить разные слои разговорной речи можно обнаружить еще в высказываниях Шишкова (см. анализ этого материала в книге В. В. Виноградова «Язык Пушкина», стр. 384 и сл.). Однако замечания эти обнаруживают, как далеки были представления Шишкова о нормах литературного языка и разговорной речи от живых тенденций того и другого.

[209] В. В. Виноградов («Язык и стиль басен Крылова», стр. 32) заметил, что речь баснённых героев Крылова «отражает и предопределяет сложную структуру русского интеллигентского языка». Хотелось бы подчеркнуть здесь, что не только отражает, но и п р е д о п р е д е л я е т. Действительно, речь героев Крылова, отличаясь поразительной естественностью, часто литературнее и чище русской «интеллигентской» речи этого времени. См. в этой связи характерное замечание А. Бестужева-Марлинского о том, что Крылов «научил нас говорить по-русски» (Сочинения, т. 2, стр. 590).

в «карамзинской школе» как специфически-простонародные, относились к нейтральному языковому фонду или, по меньшей мере, тесно к нему примыкали. Так, в течение первой половины XIX в. вытеснялись из литературного употребления — а некоторые приобретали несколько разговорную окраску — такие обычные еще для «карамзинской» поры слова, как *потчевать* (ср. *угощать*), *полюбиться* (в значении «понравиться») [210], *подгорюниться* [211], *нахлучить*, *горница*, *гульбище*, *отменный*, *великий* (в значении «большой»), *одинакий* (в значении «одинаковый»), *худой* (в значении «плохой»), *пособлять*, *зачать* (в значении «начать»), *завсегда*, *всякий* (в количественном значении, например, *всякий день*; ср. *каждый*), *вперед* (в значении «впредь»), *вчерась*, *вечор*, *поутру*, *ввечеру*, *нынче*, *ныне* (в значении «сегодня», но не в значении «теперь»), может быть, *давеча*, *давешний*, *особливо*, *подле*, *нежели*, *вдругорядь* и некоторые другие, полный перечень которых трудно представить без исчерпывающего анализа всего материала.

Эти слова были постепенно вытеснены словами более книжными, закрепившимися как общелитературная норма [212]. Процесс этот происходил неравномерно для разных слов. Некоторых из них, очевидно, сознательно, избегал уже Карамзин — например *нынче*, *давеча*, *вчерась*, *завсегда*, но и в последующее время они все же употреблялись еще довольно долго как слова нейтральные или близкие к ним. Например, слово *нынче* встречается в это время повсеместно и в значении «сегодня», и в значении «теперь» (Карамзин в обоих значениях предпочитал *ныне*); в дальнейшем все же оно было вытеснено из нейтрального употребления, особенно в значении «теперь»; *ныне*, напротив, резко снизило свою употребительность в значении «сегодня». Отчасти здесь могли отражаться и индивидуальные или групповые пристрастия: достаточно сравнить, например, письма Пушкина, Вяземского, Жуковского, с одной стороны, и Грибоедова, Нащокина, — с другой.

В то же время углубляется процесс дальнейшего проникновения в литературный обиход слов и выражений, считавшихся в «карамзинской» традиции просторечными или даже простонародными, нелитературными. Представить полный список таких слов можно будет только после всестороннего изучения их употребления в разных видах письменности на протяжении всей первой половины XIX в. Но и на основании уже имеющихся в литературе указаний, свидетельств современников и предварительного ознакомления

---

[210] Ср. более просторечный, очевидно, глагол *взмилиться*, встретившийся у И. Дмитриева (в сказке «Картина»).

[211] *Подгорюниться* часто у Карамзина, причем совершенно нейтрально; но ср. у Шишкова, где *пригорюниться* стоит в одном ряду с *калякать*, *кобениться*, *треснуть в рожу* («Рассуждение о красноречии священного писания», стр. 57).

[212] О судьбе некоторых таких слов см.: В. Д. Левин. Наблюдения над стилистическими изменениями в лексике русского литературного языка в первой половине XIX века, стр. 97—118.

www.ruslang.ru

с материалом сюда можно отнести, кроме названных уже отчасти при рассмотрении языка Крылова, такие слова, как *быт*, *богач*, *бедняк*, *бедняга*, *блажь*, *белоручка*, *истома*, *жара* (ср. литературное *жар*), *взбалмошный*, *желанный*, *назойливый*, *закадычный*, *вдоволь*, *вполне* (с первоначальным значением «полностью», «без остатка», например «заплатить деньги вполне», «напечатать стихи вполне» и т. д.), *жаль*, *навеселе*, *надо* (ср. *надобно*), *наповал*, *наотрез*, *зубоскалить*, *краснобай*, *мастерить*, *надоедать* (ср. *наскучивать*), *толковать* (в значении «разговаривать, беседовать», а также «втолковывать»), *чваниться*, *юркнуть*, *так как* (союз, ср. *как* обычно с предшествующими союзами *а*, *и*, *но*) и др. Степень их неприемлемости и время вхождения в литературный язык были, разумеется, неодинаковы, некоторые из них (например, *быт*, *богач*, *бедняк*), очевидно, уже очень рано теряли свою просторечную окраску, другие — в первые десятилетия века, а большинство закрепились как литературные, вероятно, уже за пределами рассматриваемой поры — во второй четверти XIX в.[213]

В середине XIX в. И. И. Давыдов, выступая с речью относительно состава нового академического словаря, который должен был заменить только что вышедший слишком традиционный «Словарь церковнославянского и русского языка» 1847 г., констатировал, что «с развитием народной словесности стали входить в литературный язык слова, доселе считавшиеся простонародными; в современных романах, повестях и комедиях встречаются речения, которые прежде составляли принадлежность низких слоев общества». «После Фонвизина Крылов, Пушкин, Гоголь, Даль, Загоскин, Вельтман сочинениями своими облагородили тысячи прекрасных речений из языка простолюдинов, которые теперь стали для литератора необходимы как разноцветные краски для живописца», — говорил он далее. Среди слов, «недавно вошедших в литературный язык», Давыдов называет *хилый*, *хиреть*, *матерый*, *проторить*, *муравчатый*, *тарабарить*, *сгинуть*, *таранта* и *тарантить*, *тарыбары*, *толмачить* и некоторые другие; в другом месте своей речи он снова говорит о «словах и выражениях. . . областных и народных, введенных в литературный язык писателями, а чрез них и в образованное общество», — таких, как *непогодь*, *маять жизнь*, *безвременно*, *заломить шапку*, *ходенем* (из Крылова) [214].

Как видно из этого списка, представления о границах между нормой общелитературного выражения и привлекаемыми писателем в характерологических целях средствами народной речи не были еще вполне определенными, но как показатель тенденций демократизации литературного языка и языка литературы такие свидетельства представляют большую ценность.

---

[213] О судьбе некоторых из этих слов см. там же, стр. 70—97.
[214] «Известия АН по ОРЯС», 1852, т. I, стр. 212—213, 217.

Очевидно под влиянием живой речи стало закрепляться в литературном языке слово *одинокий*. Значение этого слова выражалось словом *одинакий*, которое совмещало его со значением «одинаковый» (соответственно и *одиначество* означало *одиночество*: «состояние одинакого, бессемейного, удаленного от общества человека»). В начале XIX в. ощущается стремление дифференцировать слова *одиначество*, *одинакий* и *одиночество* и *одинокий*, что нашло свое выражение в Словаре 1847 г., но ни смысловые, ни стилистические характеристики этих слов не были еще в начале века устойчивыми (см.: В. В. Виноградов. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958, стр. 52—53). Жуковский, например, в своей статье о Крылове отмечает ошибку Крылова в строке «Жил некто человек безродный, одинакий» из басни «Пустынник и медведь»: «Крылов употребил слово *одинакий* (с кем или с чем-нибудь совершенно сходный) вместо слова *одинокий* (не имеющий ни родства, ни связей)». Тем не менее Крылов сохранил здесь *одинакий* и при переизданиях басни (возможно, впрочем, из-за рифмы *всякой*); но в той же басне с самого начала тремя строками ниже было: «А в одиночестве способен жить не всякой». *Одинакий* в значении «одинокий» (или «одиночный)» встречаем и у других писателей, но преимущественно у представителей старшего поколения, например у И. М. Долгорукого («окончины одинакие и двойные» — «Славны бубны за горами») и др. Любопытна и неожиданна по результатам попытка разграничить эти слова в синонимических заметках, помещаемых в «Трудах Общества любителей российской словесности»: здесь *одинокий* человек объясняется как человек, живущий «один, без семейства», а *одинакий* — как имеющий «ровный нрав», причем уже разграничиваются также *одинакий* и *одинаковый* («Сочинения в прозе и стихах», ч. 4, 1824, стр. 160—161) (Ср. в Словаре АР: «одинаковый — то же, что *одинакий*, в первом значении», т. е. не в значении *одинокий*).

Чрезвычайно интересны как показатель отношения литератора, верного «карамзинским» традициям, к новым тенденциям развития литературного языка, замечания И. И. Дмитриева, рассыпанные в его письмах разным лицам и в его мемуарах. Среди слов «низких», «простонародных, «площадных», «хватских», свойственных «старухам и сказывальщикам», «подслушанных на биваках, на рынках и в лабазах», Дмитриев называет *теплится*, *юркнул*, *виднеется*, *закорузлый*, *истомить*, *подмога*, *суметь* (вместо *уметь*, *сладить*), *проблескивают* (вместо *просвечивают*), *пехотинец*, *конник*, *приют*, *ответить* (вместо *отвечать*), *цыпочки*, выражения *колея привычки*, некоторые наречия, местоимения, служебные и полуслужебные слова: *нисколько* (вместо *нимало*), *давным-давно*, *покаместь* (вместо *пока*, *доколе*), *так как*, *вот*, *словно* (вместо *как бы* [215], *подобно*), *этих* (вместо *сих*, *оных*), *надо* и еще некоторые [216].

---

[215] Но ср. приводившееся ранее замечание Карамзина о том, что *как бы* «очень противно» в речи молодой женщины.

[216] См. письма И. И. Дмитриева к Языкову, Шишкову, Свиньину, Жуковскому (И. И. Дмитриев. Сочинения, т. 2, стр. 185, 277, 308, 315, 389. Этот материал приведен также в книге В. В. Виноградова «Язык Пушкина» и в его статье «Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева»); также см.: И. И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь, стр. 98—99. Надо заметить, что некоторые из перечисленных слов, например, *надо*, *покаместь*, *пехотинец*, очевидно, особенно раздражали Дмитриева: он упоминает их по нескольку раз.

Любопытно, что эти слова стоят у Дмитриева в одном ряду с такими, как *аль*, *коли*, *кажись*; между тем все они, как легко увидеть, впоследствии прочно закрепились в литературном языке, в большинстве своем даже не сохранив разговорной окраски, полностью нейтрализовавшись, а в некоторых случаях даже оттеснив в просторечье (а затем и совсем вытеснив) свои считавшиеся литературными синонимы (см., например, судьбу слова *надобно*, союза *как* в причинном значении). И в то же время бесспорно, что названные Дмитриевым слова действительно не были в первые десятилетия XIX в. принадлежностью литературного языка. Вхождение их в литературный язык происходило в разное время. Так, *нисколько* не зафиксировано в Словаре АР (и даже в Словаре 1847 г.), нет его и в виде толкования к слову *нимало*, которое объясняется через *никак*; совсем не употребляли его Фонвизин, Крылов ни в своей прозе (см. словник, приложенный к диссертации Е. Ф. Петрищевой), ни, кажется, в баснях, при обычных *нимало*. У Пушкина *нисколько* всего один раз — в «Повестях Белкина» («От издателя»), при 20 *нимало* — в разных жанрах. *Надо* встречается в литературе XVIII и начала XIX в. исключительно редко и только в «низком» стиле (например, у Фонвизина — только в репликах Вральмана и Цифиркина), несколько раз — в ранних комедиях Грибоедова. Любопытно, что Крылов, правя свои басни, заменяет *надо* на *надобно*. У Пушкина *надо* употребляется несколько шире, чем у его предшественников, но все же намного реже, чем *надобно* и *нужно*, и при этом сохраняя, очевидно, оттенок разговорности. Причинный союз *так как* даже в «Практической Грамматике» Греча определяется еще как слово «простого слога», но у Пушкина он употребляется уже достаточно свободно и, очевидно, вполне нейтрально [217]. *Покаместь* (или *покамест*) не зафиксировано в Словаре АР, в литературе оно встречается также редко, явно воспринимаясь как нелитературное; академик Румовский, переводивший в самом начале XIX в. на русский язык Тацита, писал в ответ на критические замечания графа Завадовского относительно слога перевода: «Что касается слова *покамест* . . . постараюсь везде поставить *доколе*» [218]. Но *покаместь* часто употребляется Пушкиным (137 раз), чаще, чем *пока* (93 раза) и намного чаще, чем *доколе* (или *доколь*) — 8 раз [219]. Глагол *виднеться* не отмечен в Словаре АР, не встретился он нам в литературе, нет его

---

[217] В то же время Д. Свербеев даже в 70-е годы, когда он диктовал свои записки, предпочитал *поелику*: «Этим вышедшим из употребления, но благозвучным и более логичным словом заменяю ненавистное мне союз или наречие *так как*» (Д. Свербеев. Записки, т. 1. М., 1899, стр. 77).

[218] М. И. Сухомлинов. История Российской академии, вып. 2, стр. 106.

[219] См., впрочем, замечания И. С. Ильинской («Из наблюдений над лексикой Пушкина», стр. 90—92) о том, что *покамест*(ь) у Пушкина употребляется в функции наречия, а *пока* — союза.

и у Пушкина, но в Словаре 1847 г. это слово уже зафиксировано. Почти совершенно не встречается в литературе начала века и даже 20—30-х годов глагол *ответить* — особенно в инфинитиве и прошедшем времени; у Пушкина, впрочем, он употреблен 7 раз — но из них 5 раз в форме будущего времени. В Словаре АР — только *отвечать*, но в Словаре 1847 г. при нем дается и форма совершенного вида *ответить* (Дмитриев утверждает, говоря о глаголе *ответить*, что «так говаривали прежде только крестьяне и крестьянки в Кашире и других верховых городах») [220]. Бесспорна оценка Дмитриевым также слов *теплиться*, *юркнуть*, *закорузлый*, *пехотинец*, *конник*; менее очевидна она для некоторых других из названных им слов.

Список Дмитриева любопытен еще в одном отношении: все названные им слова, за единичными исключениями (например, *юркнуть*, *закорузлый*), нейтральны в отношении экспрессивности. Казалось бы, процесс «порчи» языка просторечьем и «пошлыми речениями» можно было бы иллюстрировать более выразительно. Макаров, например, отмечал у своих современников прежде всего такие слова и выражения, как *пронюхал*, *шельма*, *точить балы*, *покалякать*, *держать ухо востро*, *глазеть* и т. д.; Н. Греч при обсуждении плана нового словаря призывал «исключить многие примеры отвратительные, низкие, подлые», встречающиеся в старом словаре — например, *зюзя*, *напился зюзя зюзей*, *нарезался*, *насандалив нос*, *черного кобеля* [221]. Но замечания Дмитриева глубже и серьезнее.

Дело в том, что слова вроде только что приведенных или даже менее сниженные и грубые ощущались лишь как экспрессивные синонимы к словам нейтральным, обычным, общеупотребительным и литературным. Их применение было связано с сознательной установкой. В отношении к этим словам отражалась литературная позиция, литературно-языковые вкусы и т. д. Это была традиционная проблема. Те слова, которые приводил Дмитриев, в подавляющем своем большинстве, в силу отсутствия такого оценочного, экспрессивного момента должны были восприниматься как лишенные всякой сознательной установки дублеты литературных слов, грозящие их вытеснением.

Это была проблема норм литературного языка в ее чистом виде, без всякой примеси вопроса о художественности, характерологичности, «приличности» жанру или изображаемой в произведении действительности и т. д. Не удивительно, что такого рода неэкспрессивное просторечие, если оно не признавалось литературным, должно было раздражать особенно сильно, как нечто чуждое, несущее с собой иную языковую культуру, иное представле-

---

[220] И. И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь, стр. 99.
[221] «Известия АН по ОРЯС», т. I, 1852, стр. 337.

ние о норме литературного выражения [222]. Это сродни той борьбе, которую вел впоследствии Пушкин против языка «дурных обществ».

Тем не менее трудно предположить, что эти слова, во всяком случае большинство из них, были чужды не только литературному языку, но и дворянскому просторечию начала века. Замечания о «лабазах», «биваках» и т. д. могут здесь значиться только, что это та стихия, где разговорная речь общества смыкается с простонародным языком. Уже приведенные слова (даже относительно наиболее далекие от литературных норм — *надо*, *покамест*, *так как*) не свидетельствуют об их чуждости разговорной речи; еще более очевидно это для некоторых других из названных Дмитриевым слов. Так, глагол *истомить* зафиксирован в Словаре АР без всяких помет (но *истома* отмечено как простонародное) [223]. Есть в Словаре АР, и также без всяких помет, глагол *проблескивать* (правда, не в значении «просвечивать», которого, кстати говоря, в словаре нет) и существительное *приют*.

Бесспорно разговорное *давным-давно*, не отмеченное словарем, употреблено, однако, несколько раз Пушкиным; оно служит заглавием и рефреном в известном стихотворении Вяземского (1823), встречается это выражение изредка и у других авторов этого времени. Слово *колея* упомянуто здесь, очевидно, только в связи с необычным выражением *колея привычки* (см. современное «привычная колея»), хотя Дмитриев и замечает, что «это слово чаще других употреблено было ямщиками».

Не вполне понятно замечание относительно местоимения *этот*; по всей вероятности, имеется в виду лишь субстантивированное его употребление в некоторых разговорных конструкциях. Поэтому Дмитриев называет здесь только форму *этих* — родительный падеж множественного числа. Вызывает недоумение также упоминание слова *вот*. Очевидно, Дмитриев имел в виду употребление его как семантически опустошенного вводного словечка или частицы; в указательном значении оно постоянно встречается у Карамзина; так, например, «Предуведомление» издателя «Московского журнала» (ч. 1) начинается словами «Вот начало»; см. также у Карамзина: «вот завязка трагедии», «вот черта, которая показывает, сколь хорошо знал автор сердце человеческое» и др. Кроме формы глагола *ответить*, наиболее чуждыми речевой практике дворянского круга были, очевидно, *конник* и *пехотинец*, о которых Дмит-

---

[222] Любопытно, что, противопоставляя простонародным *нисколько*, *сметь*, *покамест*, *ответить* и др. литературные *нимало*, *уметь*, *пока* и *доколе*, *отвечать* и т. д., Дмитриев объявляет эти последние характеризующими «язык Ломоносова, Шишкова, Карамзина» («Взгляд на мою жизнь», стр. 98). В этом отношении Шишков и Карамзин оказались в одном лагере.

[223] Ср.: В. В. Виноградов. Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева, стр. 171.

риев замечает, что «нынешние авторы, любя подслушивать, оба свои названия переняли у рекрутов» [224].

Таким образом, замечания Дмитриева не свидетельствуют еще об «отрыве» литературного языка от дворянского просторечия как одного из главных источников его обогащения и демократизации [225]. Но процесс вовлечения разговорного элемента в литературный язык развивался в первой половине XIX в. crescendo. Качественно новым в этом процессе явилось то, что к середине века он охватил также обширные слои лексики и фразеологии из устной речи других социальных групп, из диалектов, профессиональной речи. Ю. С. Сорокин приводит большой список диалектных слов, ставших известными русской литературе не ранее 40-х годов XIX в.; среди них такие, как *бесшабашный*, *детвора*, *дешевка*, *жулик*, *жульничать*, *зазнайка*, *заправский*, *измываться*, *костить*, *несуразный*, *неудачник*, *семенить*, *слащавый*, *сутолока*, *шустрый* и др.[226] Сорокин замечает, что подавляющее большинство этих и других подобных слов неизвестно или почти неизвестно старой литературе, и даже, как правило, не зафиксировано словарями.

Трудно без тщательного исследования сказать, стали ли эти и подобные им слова уже в середине XIX в. фактом литературного языка или оставались лишь характерологическим средством, материалом для нарочитого «простонародничанья». В упоминавшейся ранее речи И. И. Давыдова, произнесенной в 1850 г., как образцы слов, «облагороженных» писателями, приводятся все же преимущественно те, которые были и ранее известны в «простом слоге» и зафиксированы словарями. Тем не менее, самый факт обращения к новым пластам разговорного языка чрезвычайно важен, зна-

---

[224] *Пехотинец* в Словаре АР не зафиксировано, но оно уже есть в Словаре 1847 г. Что касается слова *конник*, то оно отмечено в Словаре АР с примерами из церковной литературы и с пометой «сл[авенское]». Очевидно, все же оно не было употребительно в книжном языке, оказалось забытым, и просторечное (и, может быть, жаргонное) *конник* генетически не связано с ним.

[225] Следовательно, когда Дмитриев называет слова *нисколько*, *суметь*, *покамест*, *словно*, *проблескивает*, *конник* и др. под. «нововведенными», то он имеет здесь в виду лишь новизну их для литературного употребления, — в отличие от стоящих у него в том же ряду, очевидно, действительно новых *вдохновлять*, *безграничный* (это слово есть у Пушкина — в «Моцарте и Сальери»), *поэтичнее* или необычных сочетаний вроде *колея привычки*, *палач-война*, *требовательный слог*, *огромные надежды*.

[226] Ю. С. Сорокин. Об общих закономерностях развития словарного состава русского литературного языка XIX в. — ВЯ, 1961, № 3, стр. 32—33. См. также упоминаемое В. В. Виноградовым («Язык Пушкина», стр. 379) свидетельство И. И. Лажечникова о словах *рохля*, *дотошный*, *дока*, *трущоба*, *вря*, *огорошить* и др., О роли мещанского просторечия в развитии литературного языка см.: В. В. Виноградов. Очерки. . ., стр. 306, 328—332 и др.; см. также: Н. С. Авилова. Материалы по лексике и фразеологии физиологического очерка 40-х годов XIX в. «Мат-лы и исслед. по истории русск. лит. языка», т. IV. М., 1957.

менуя начало нового этапа в укреплении демократических основ русского литературного языка [227].

§ 67. Таким образом, процесс демократизации литературного языка в течение всей первой половины XIX в. расширялся, захватывая новые и новые речевые пласты. Но мы говорили только о к о л и ч е с т в е н н о й стороне, между тем дело здесь не ограничивалось увеличением объема включенного в литературный обиход разговорного элемента. Уже тот отбор, который осуществлял Крылов в своих баснях, не говоря уже о Пушкине и писателях его поры, отличался от карамзинского также и принципиально.

Был поставлен под сомнение и по существу отвергнут важный для «карамзинской» системы принцип стилистической нейтральности языковых фактов. Правда, применительно к книжному языку этот принцип никогда полностью не был осуществлен: бесспорно, что в пределах «нового слога» можно видеть его книжную разновидность, близкую к средней общелитературной норме, но не сливающуюся с ней абсолютно. Выше об этом уже говорилось (см. § 41 и др.). Но этот принцип с относительной последовательностью проводился в отношении просторечия и вообще всего, что несло на себе печать разговорности. Образцовая разговорная речь, которую предстояло еще формировать хорошим писателям, абсолютизируется как норма «среднего» литературного языка вообще. Способность нейтрализоваться выступает для разговорного языка как критерий литературности. Тем самым не остается места для стилистической экспрессии разговорности, которую можно было бы противопоставить в пределах литературного языка нейтральному «стилю». Для карамзиниста принципиально не существует разговорной речи как особой стилистической разновидности литературного языка. Элементы просторечия в баснях и «сказках» Дмитриева, будучи слабой данью традиции, не меняют существенно этого вывода: их незначительность и экспрессивная бедность очевидны.

---

[227] Показательно, что в 30-е и 40-е годы усилились жалобы пуристов на «порчу» языка «просторечными» словами и выражениями, несвойственными языку хорошего общества; см. ироническое воспроизведение таких жалоб Гоголем в «Театральном разъезде» — в суждениях одного из зрителей (литератора) о «Ревизоре»: «Ну что за разговорный язык? Кто говорит эдак в высшем обществе? Ну скажите сами, ну говорим ли мы с вами эдак?» См. жалобу «Северной пчелы», что «у нас еще не создан язык разговорный высшего общества, язык философический, а мы бросились . . . в просторечье» (цит. по кн.: В. В. В и н о г р а д о в. Очерки. . ., стр. 306). Вот еще любопытное признание М. А. Дмитриева в его мемуарах; сравнивая середину века с первой его четвертью, он писал: «Не скажу, чтобы в читателях было тогда более вкуса; но они состояли из другого, образованнейшего класса. Переменился не вкус, переменились читатели. Прежде сами авторы образовывали вкус читающей публики; нынче они сами применяются ко вкусу читающих». И далее: «Прежняя (литература. — *В. Л.*). . . была изящнее, разборчивее в цели и в средствах, метила на образованнейший круг читателей» («Мелочи из запаса моей памяти», стр. 260).

Но тот поток бытового просторечия, который мы встречаем уже в баснях Крылова и других произведениях этого типа, по самому своему характеру не мог и не должен был непременно подвергнуться такой нейтрализации. Воспринимаясь как принадлежность литературного языка, народно-разговорные элементы сохраняли здесь определенную стилистическую окраску, стилистическую характерность — именно как разговорные. Дело не сводится, следовательно, к простому увеличению количества подвергшихся нейтрализации элементов просторечия. Это особенно очевидно применительно к экспрессивно-выразительным словам, но отчасти справедливо также и для слов нейтральных в этом отношении.

Принципиальное значение этого факта заключается в том, что он знаменует зарождение новой стилистической категории, которую можно назвать разговорно-литературной речью или разговорной разновидностью литературного языка, противопоставленной — в пределах литературного языка, литературной нормы — не только книжному языку, но и нейтральному литературному «стилю». Важно подчеркнуть, что при этом имеется в виду не собственно разговор, устная речь: проблема нормы устной речи перерастает здесь в вопрос о разговорности как экспрессивной окраске, как стилистической категории литературного языка вообще, в том числе и его письменной формы [228]. Иное дело, что в идеале — как тенденция — «разговорно-литературная речь», таким образом понятая, стремится совпасть с реальной разговорной «общественной» речью.

Надо заметить также, что состав этой вновь формирующейся стилистической разновидности литературного языка не был устойчивым. Она была ареной столкновения двух речевых потоков, идущих в разных направлениях — из нелитературного просторечия в литературный язык и из нейтрального слоя литературного языка на его периферию. Но элементы просторечия могли развиваться далее в сторону полной нейтрализации, а слова и формы, оттесненные в разговорную речь из старого нейтрального (или близкого к нему) фонда, могли в дальнейшем вообще выйти из литературного употребления. Это относится в наибольшей мере к фактам, не обладающим экспрессивно-оценочным характером, но отчасти и к словам и выражениям экспрессивным.

Сближаясь, следовательно, одной стороной с нейтральным «средним» стилем литературного языка, разговорно-литературная речь постоянно взаимодействует с примыкающей к ней с другой стороны «окололитературной периферией», которая отчасти является ее резервом, а отчасти, напротив, сферой бытования просто-

---

[228] Ср. замечание Ф. И. Буслаева о том, что «Пушкин, совершенствуя начатое Карамзиным, оживил книжную речь внесением в нее разговорных элементов из просторечия» (Ф. И. Буслаев. Историческая грамматика русского языка, ч. I. Изд. 3. М., 1868, стр. 21).

речно-архаических элементов языка [229]. Но взаимодействие это двустороннее. Уже карамзинисты стремились к слиянию литературной и разговорной речи, но, отказавшись от обширных слоев живого языка, гипертрофируя принцип нейтральности, «новый слог» не мог оказать реального воздействия на живую речевую практику. Отказ от этого принципа, опора на отношения, сложившиеся в самой живой речи, определили возросшее воздействие письменного, литературного языка на разговорную речь, причем на определенном этапе развития языка, когда письменный язык вышел за пределы практики дворянского круга, это воздействие стало решающим.

Но говоря о формировании разговорно-литературной речи в первой половине XIX в., надо подчеркнуть, что это был постепенный процесс, переживший ряд этапов. В полной мере говорить о ней как о новой категории литературного языка можно только тогда, когда употребление данных языковых фактов станет всеобщим и достаточно жанрово неограниченным, когда будет достигнута свобода объединения их с другими пластами литературного языка.

Значит, требуется не только расширение с о с т а в а, о б ъ е м а народного элемента в литературе, но и расширение с ф е р ы (а поэтому и самих принципов) его употребления. В этом отношении басенный язык Крылова, язык «Горя от ума», как и некоторые другие явления того же рода, носят еще промежуточный характер. Здесь во многом осуществлен отход от старых традиций применения народного языка в литературе. Но нельзя не видеть, что описанные выше процессы ограничены еще в этот период довольно узкими жанровыми рамками. Белинский, исключительно высоко оценивавший язык Крылова и его роль в развитии литературного языка, писал: «Но сфера языка Крылова сама по себе довольно ограниченна, и потому не в ней русский язык мог достичь своего установления и не на басне остановиться» [230].

Нельзя забывать, что басня традиционно относилась к низкому стилю, и это должно было до некоторой степени ослаблять ощущение новизны, необычности басенного языка Крылова. Я. Грот, отводя Крылову первое место в кругу тех писателей, которые «отважились идти своим путем» и нарушить тяготевшее

---

[229] См. определение просторечия как «подосновы разговорного типа литературного языка» в статье В. В. Виноградова «Основные вопросы изучения современных славянских литературных языков» («Вестник МГУ», 1949, № 7, стр. 33).

[230] В. Г. Б е л и н с к и й. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 223. См. также замечание Кюхельбекера в его «Дневнике»: приведенные выше его слова относительно влияния Крылова на слог Грибоедова, Пушкина и его самого продолжаются следующим образом — «но слог только форма, роды же, в которых мы писали, все же гораздо выше басен, а это не безделица».

над языком «что-то похожее на пуризм французской академии», добавлял: «но он писал только басни, а эта тесная область поэзии считалась состоящею на особых правах» [231].

Надо при этом напомнить, что Крылов все же решительно опередил своих современников: у других авторов эти следы старых традиций сильнее и очевиднее, например, даже у таких комедиографов, как Шаховский или Хмельницкий, где еще дают себя чувствовать некоторая нарочитость и подчеркнутость просторечия [232]. К просторечию относятся еще настороженно, когда дело идет о серьезной литературе. Своеобразной «уловкой», имеющей целью преодолеть ощущавшуюся уже как недостаток излишнюю сглаженность книжной речи, была манера заключать вполне серьезные мысли в форму дружеского письма или дневниковой записи; см., например, появление даже критических статей в форме письма к другу, письма к издателю и т. д. Жанр выступал здесь как своего рода оправдание.

Любопытно отметить, что стихи отражали в этот период «экспансию» разговорной речи раньше и более заметно, чем проза [233]; см., например, звучащее парадоксально замечание И. И. Дмитриева (в письме к Шишкову), недовольного усилением просторечия в языке, что в этом отношении «поэты-гении заразили даже смиренных прозаистов» [234]. Можно привести случаи, когда стихи и проза одного и того же автора отличаются тем, что стихи оказываются заметнее связаны с разговорной речью и просторечьем; таково, например, творчество И. Долгорукого, а из писателей, более близких пушкинской эпохе, — Дениса Давыдова и некоторых других.

Проза полнее отражает общелитературные нормы, поэзия, напротив, свободнее в отклонениях от этой нормы, легче принимает в себя условности всякого рода. Это отчетливо видно на судьбе элементов высокого стиля, но и употребление просторечия не свободно от этой условности. Кроме названных уже фактов, можно напомнить еще о перекликающемся со старыми традициями жанре шутливой поэмы (см., например, связь «Расхищенных шуб» Шаховского с ирои-комической поэмой XVIII в., а «Руслана и Людмилы» — с «Душенькой» Богдановича), о создающем новые традиции жанре дружеского стихотворного послания и других произведений «легкой поэзии». Но на этом сходство в употреблении высокого и «низкого» элементов кончается. Если в высокой поэзии налицо стремление к широкому овладению старым архаическим

---

[231] Я. Грот. Филологические разыскания, стр. 6—7.

[232] См., например, в «Уроке кокеткам» Шаховского: *взбеленилась*, *отборно говорит*, *вертляного народа*, *закалякал*, *мне ништо*, *авось*, *либ*, *ин быть по-твоему* и др.

[233] Речь не идет о прозе типа романов Нарежного с их нарочитой простонародностью.

[234] И. И. Дмитриев. Сочинения, т. 2, стр. 277.

«славенским» фондом, то в «простых» литературных жанрах осуществляется отбор из разговорной речи с точки зрения норм литературности, отказ от простонародной архаики (поэтому мы и говорили выше о все возрастающей общелитературной роли этого рода произведений). Принципиально различна и дальнейшая судьба этих двух рядов жанровых «условностей». Высокий элемент все более изолировался, сужал рамки своего применения и в конце концов вышел из употребления; те тенденции развития языка, которые обнаруживались в «простых» литературных жанрах, особенно в басне, напротив, расширяли сферу своего воздействия, распространялись далеко за пределы этой литературы — и вообще художественной литературы, — приобретая все более нормативный характер.

Формирование разговорно-литературной речи оказало воздействие на всю систему литературного языка; оно ставило в иные отношения книжно-литературную речь, нарушило ту односторонность, которая характеризовала литературную норму «карамзинского» периода, придало литературному языку недостающую ему стройность и, так сказать, симметричность. Четко обозначились контуры новой стилистической системы русского национального литературного языка.

Завершение этого процесса — за пределами периода, который рассматривается в настоящей книге. Это должно стать предметом дальнейших исследований.

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова

Содержание

Введение 3

Стилистическая характеристика лексики литературного языка второй половины XVIII в. («докарамзинский» период) 11

Недостаточность системы трех стилей и развитие «славяно-русского языка» (§ 1—4) 11

Некоторые особенности системы трех стилей (§ 1); о месте языка художественной литературы в этой системе (§ 2); «славяно-русский язык», его место в истории литературного языка (§ 3, 4)

Место и роль «славенской» лексики в литературном языке второй половины XVIII в. (§ 5—16) 20

Традиционное употребление славянизмов как элемента высокого стиля; своеобразие такого употребления в некоторых видах литературы (§ 5—8); славянизмы в философской и исторической прозе, публицистике, деловой письменности, мемуарах и т. д.; славянизмы в среднем стиле (§ 9—14); наблюдения над «славенской» лексикой в прозе Фонвизина (§ 15); замечания о функциях славянизмов в переводах с французского языка (§ 16).

Основные стилистические категории и лексические группы в литературном языке второй половины XVIII в. (§ 17—26) . . . 62

Роль славянизмов в процессе формирования книжно-литературной лексики; отношение этого процесса к системе трех стилей (§ 17, 18); стилистическая дифференциация внутри книжной лексики (§ 19, 20); просторечие и простонародная лексика, их место в литературном языке; «простой» стиль литературного языка, его отличие от «низкого» стиля (§ 21—26)

Стилистические изменения в лексике литературного языка конца XVIII в. («карамзинский» период) 115

Теоретические основы «нового слога» (§ 27—31) 115

Историзм взглядов Карамзина и «карамзинистов» на литературный язык; понятие «вкуса», его роль в теории «нового слога» (§ 27); взаимоотношения книжного и разговорного языка в понимании «карамзинистов» (§ 28); взгляды «карамзинистов» и «архаистов» (Шишков и др.) на стилистическую систему русского литературного языка (§ 29); оценка норм литературного словоупотребления в «карамзинской» школе и архаистами (§ 30); основные стилистические процессы в области лексики в понимании «карамзинской» школы; отношение «нового слога» к системе трех стилей и «славяно-русскому языку» (§ 31).

www.rustang.ru

Начальный период развития «нового слога» (80-е годы) (§ 32—34) 154

Замечания о лексике переводов Карамзина 80-х годов; наблюдения над языком «Детского чтения . . .» (§ 32); сопоставление двух переводов «Contemplation de la nature» Бонне (§ 33); А. Петров как один из предшественников Карамзина (§ 34).

Основные лексико-стилистические группы в языке «карамзинской школы» (90-е годы) (§ 35—53) 173

Общая характеристика лексики «нового слога» (§ 35); сопоставление некоторых прозаических переводов Карамзина (из Бюффона, Бартелеми, Руссо, Тасса) с переводами его предшественников или современников (§ 36, 37); оценки языка и слога в рецензиях Карамзина и П. Макарова (§ 38, 39); лексические варианты в разных изданиях сочинений Карамзина (§ 40); книжный общелитературный элемент в «новом слоге» (§ 41); высокая и поэтическая лексика в прозе Карамзина, ее состав, отношение к традиции, принципы и приемы употребления (§ 42—45); карамзинские переводы из Оссиана в сопоставлении с переводами А. Дмитриева и Кострова (§ 46); высокая и поэтическая лексика в стихотворном языке Карамзина и И. Дмитриева (§ 47, 48); разговорно-просторечный элемент в «новом слоге» (§ 49); замечания о стилистической роли заимствований в «новом слоге» (§ 50); о степени влияния «нового слога» на развитие литературного языка конца XVIII в.; язык переводов произведений Стерна (А. Колмакова, Я. Галинковского и др.) (§ 51—53).

Некоторые стилистические процессы первых десятилетий XIX в. (предпушкинский период) 294

Судьба книжного элемента в литературном языке начала XIX в. (§ 54—57) 294

Вопрос о разграничении «языка» и «слога» в карамзинской реформе; лексика «Исторического похвального слова Екатерине II» Карамзина в ее отношении к нормам «нового слога» (§ 54); некоторые примеры влияния «нового слога» в лексике литературного языка начала века (§ 55, 56); источники колебаний норм употребления книжной лексики; вопрос об «общественном» языке в его отношении к книжному языку (§ 57).

Традиции высокого стиля в лексике литературного языка начала XIX в. (§ 58—61) 334

Вопрос об отношении языка художественной литературы к общелитературному языку (§ 58); особенности употребления высокой лексики в связи с развитием художественной литературы, своеобразием литературных стилей и различиями стихотворной и прозаической речи (§ 59); стилистические различия внутри высокой и поэтической лексики начала века (§ 60); о некоторых специфических условиях употребления высокой и поэтической лексики (§ 61).

Проблема просторечия в литературном языке начала XIX в. (§ 62—67) 362

Судьба «низкой» лексики в связи с судьбой «низких» жанров художественной литературы (§ 62, 63); замечания о просторечии и разговорной речи в их отношении к литературным нормам (§ 64); лексика басен Крылова, ее отношение к традициям «низкого» и «простого» стилей и к общелитературной норме (§ 65); углубление процесса стилистической дифференциации в сфере разговорной речи (§ 66); разговорно-литературная речь как новая стилистическая категория литературного языка (§ 67).

БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА
ИН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

Виктор Давыдович Левин

Очерк стилистики
русского литературного языка

*

Утверждено к печати
Институтом русского языка
Академии наук СССР

*

Редактор издательства *Б. С. Шварцкопф*
Художник *М. Л. Компанеец*
Технический редактор *Н. Д. Новичкова*

Сдано в набор 28/XI 1963 г. Подписано к печати 14/II 1964 г.
Формат 60×90¹/₁₆. Печ. л. 25,5. Уч.-изд. л. 27,9.
Тираж 2700. Изд. № 2255. Тип. зак. № 498.
Темплан 1964 г. № 384

Цена 1 р. 82 к.

Издательство «Наука»
Москва, Б-64, Подсосенский пер., 21

1-я типография Издательства «Наука»,
Ленинград, В-34, 9 линия, дом 12

ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
42	9 св.	*посмеиваться*	*посмеваться*
47	17 сн.	оковы	ковы
75	18 св.	*отвергнуть*	*отверзать*
98	4 сн.	пометами	приметами
122	2 сн.	стр. 27—29	стр. 527—529
164	18 сн.	*удобопленный*	*удоботленный*
193	12 сн.	*отречьсь*	*отречься*
219	11 сн.	усилительный	усыпительный
371	23 св.	достояниями	достижениями
395	4 св.	*желанный*	*жеманный*

В. Д. Левин.